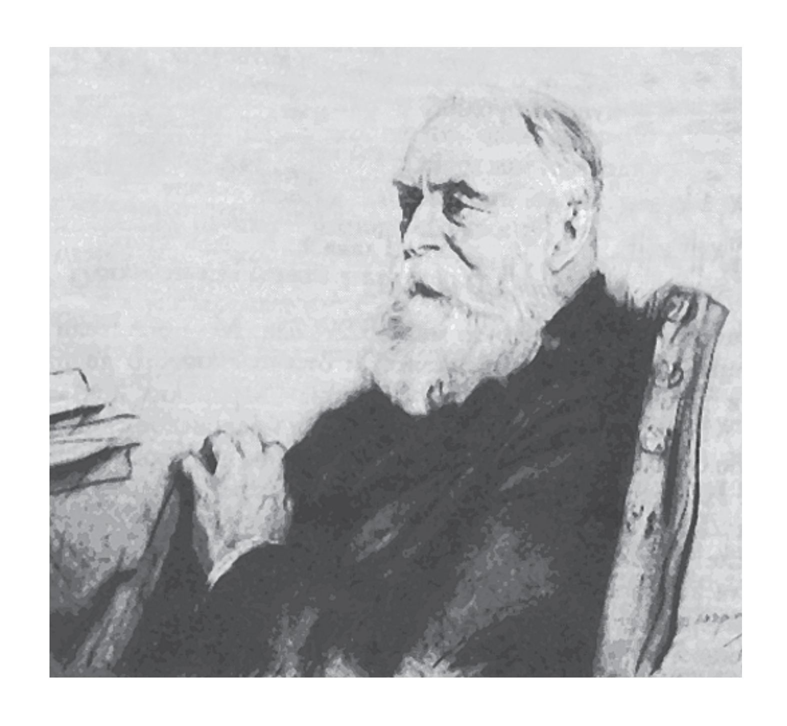
Б.Н. Чичерин

ВОСПОМИНАНИЯ

Московский университет
Земство и Московская дума




ЗАПИСИ ПРОШЛОГО
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМ. САБАШНИКОВЫХ



Б. Н. Чичерин. Рисунок В. Серова. 1902 г.

Б.Н. Чичерин

ВОСПОМИНАНИЯ

Том 2

Московский универститет

Земство и Московская дума

МОСКВА
Издательство им. Сабашниковых
MMX

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)
Ч72

*Издательство выражает благодарность
Российской государственной библиотеке
за помощь в подготовке настоящего издания*

Под редакцией
Л. Заковоротной
Примечания
С. Бахрушин
Рецензенты
А. Жидкова, Г. Любина

Чичерин, Борис Николаевич
Ч72 Воспоминания.В 2-х тт. /Б.Н. Чичерин; примеч. С. В. Бахрушин. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 2010. – с. 528.

ISBN 5-8242-0121-8

Борис Николаевич Чичерин (1828 – 1904), юрист, историк и общественный деятель был свидетелем ключевых моментов российской истории, выступал в роли оппонента или единомышленика многих знаковых фигур своего времени: А. Герцена и Н. Чернышевского, К. Победоносцева и М. Каткова, реформаторов Д. и Н. Милютиных, писателей Льва Толстого, Ивана Тургенева и многих других.

Данный том воспоминаний рассказывает о профессорской деятельности Б.Н. Чичерина в Московском университете, преподавании курса государственного права молодому наследнику великому князю Николаю Алесандровичу, работе в губернских земских учреждениях и Московской городской думе.

ISBN 5-8242-0121-8

Вступление на кафедру

Вернувшись в деревню после заграничного путешествия, я нашел в ней совершенно новую жизнь. «Положение 19 февраля»* вступило в силу и прилагалось разумно и честно. Брат Владимир был мировым посредником, постоянно разъезжал, составлял и вводил уставные грамоты, и все шло как нельзя лучше. Раз в месяц посредники собирались на съезд. Предводителем дворянства в Кирсановском уезде был в то время Михаил Степанович Андреевский, человек вполне порядочный и преданный общественному делу. В числе посредников был Баратынский, сын Сергея Абрамовича, доктор, как и его отец, человек самых высоких нравственных свойств. Брат, разумеется, всегда был с ним заодно. Остальные подчинялись общему духу и действовали в данном направлении. Помещики, даже не сочувствовавшие реформе, по русскому обычаю покорялись своей участи и не оказывали противодействия. Только со стороны крестьян кое-где обнаруживалось упорство, иногда даже в противность собственным их выгодам; но так или иначе все улаживалось. И у нас в Карауле произошло маленькое замешательство. При разверстании надо было перенести один поселок на другое место. Крестьяне не хотели согласиться; все попытки властей уговорить их были напрасны. Решили, наконец, привести роту солдат. Тогда сестра, в то время еще 22-летняя девушка, однажды утром пошла на село, собрала мужиков и стала их увещевать, представляя им, что после столь долгих и отличных отношений к помещикам, было бы стыдно, если бы в Караул привели солдат для усмирения непокорных. Кончилось тем, что она всех их привела с собою, и они изъявили согласие на переселение.

Все, что я видел и слышал, исполняло меня самыми отрадными чувствами. Провинция во всех своих слоях, на верхних и нижних, спокойно и трезво исполняла великое дело, соблюдая обоюдные выгоды и руководствуясь идеею самой чистой справедливости. Это был залог светлого будущего.

---

* 19 февраля 1861 г. был подписан Манифест об отмене крепостного права в России и Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости.

Такой благоприятный ход преобразования, изменявшего весь строй русской жизни, конечно, делал честь дворянству, на плечах которого лежало все исполнение; но он свидетельствовал, вместе с тем, о прочности фундамента, на котором строилось новое здание.

Изучая «Положение 19 февраля», я исполнился благоговением к этому созданию созревшей русской мысли. Я видел в нем лучший памятник русского законодательства. Это не было просто сведение к единству накопившихся с течением времени и вызванных практикой положений. Тут все приходилось создавать вновь, вводить чуждые жизни начала, установлять неведомые практике отношения. И эти отношения охватывали самые коренные интересы важнейших элементов русской земли, первенствующего сословия и народной массы. Надобно было развязать веками затянувшийся узел, заменить свободою установившееся не только в силу закона, но, главным образом, вследствие жизненных условий, полновластие. Задача была самая сложная, трудная и обширная, какая могла представиться законодателю; а, между тем, она была решена с таким ясным разумением цели и средств, с таким твердым сознанием как теории, так и практики, в таком цельном и последовательном направлении, что нельзя было не питать глубокого уважения и к новому закону, и к его составителям. Все, кому приходилось прилагать на деле этот великий законодательный памятник, разделяли это убеждение. Станкевич, который был назначен от правительства членом губернского присутствия в Воронеже, говорил, что он благоговеет перед «Положением 19 февраля». Ни легкомысленные руки, которым вверено было верховное исполнение, ни бесчисленные, друг другу противоречащие циркуляры нового министра внутренних дел, не могли поколебать крепкого его строя. Единственный существенный недостаток заключался в правилах о даровом наделе, введенных реакционерами Государственного совета. Это была печальная уступка притязаниям аристократии, окружавшей престол.

Против «Положения 19 февраля» предъявлялись возражения с разных сторон. Закоснелые помещики утверждали, что крестьянам дано слишком много; демократы, особенно в позднейшее время, уверяли, что крестьянам дано слишком мало. В действительности соблюдена была строгая справедливость. При разрешении вековых уз, крестьяне приобрели в среднем выводе то, чем они пользовались в то время, как их застигла реформа, а помещики за отходящие от них выгоды получили надлежащее вознаграждение. Конечно, невозможно было во всяком конкретном случае сохранить полную соразмерность. При бесконечном разнообразии условий русской земли, единственное, к чему можно было стремиться, это – соблюдение справедливой средней пропорции, что и было сделано. Землевладельцы черноземной полосы в сущности в данную минуту не поте-

ряли ничего; они в большинстве местностей получили ту плату за земли, которая в то время существовала, и очень хорошо могли устроить свое хозяйство при вольном найме; крестьяне же, если в некоторых местах лишались земельного избытка, которым они пользовались у щедрых помещиков, зато получили всю выгоду от последовавшего затем возвышения ценности земель. В нечерноземной полосе помещичье хозяйство значительно более затруднилось; многие принуждены были даже совсем его прекратить. Но они в виде оброка получили за свои земли гораздо более того, что они стоили; сюда вошла и плата за отходящий труд. Если при новых условиях часть помещиков разорилась, то виновато в этом не «Положение 19 февраля», а неподготовленность значительной доли русского дворянства к правильной экономической деятельности вместе с неумением держать свои расходы в должных пределах. Многие дворянские имения перешли в руки капиталистов, но это во всяком случае было неизбежно и не может считаться злом: таково естественное последствие подвижности поземельной собственности. Только чисто искусственным путем можно было удерживать земли в руках лиц, обремененных долгами, и помешать покупке их теми, у кого были деньги в руках. С другой стороны, и среди крестьян с течением времени обнаружилось ухудшение состояния. На первых порах благосостояние их поднялось, однако, ненадолго. Народонаселение увеличивалось, а земля оставалась все та же, и привычки к сбережениям не было; отсюда всеобщее обеднение. К этому присоединялись и другие неблагоприятные условия: сохранение общинного владения, налагающего путы на первый и коренной источник всякого экономического благосостояния – личную самодеятельность; железные дороги, которые, поднимая цены на землю и произведения, рядом с этим уничтожали значительные прибытки от зимнего извоза; семейные разделы, которые отныне могли совершаться беспрепятственно; наконец, развившееся безмерное пьянство вследствие свободной продажи удешевленного вина. Сельский быт, несомненно, требовал дальнейшего устроения. «Положение 19 февраля» положило этому только начало. Оно занялось главным делом – уничтожением крепостного права и заменою его новыми отношениями, основанными на свободе; все же остальное оно предоставило дальнейшему движению законодательства, по указаниям жизни. Оно установило даже 9-летний срок для пересмотра многих узаконений. Но когда этот срок истек, законодательная деятельность уже остановилась. Все работники, приложившие руки к «Положению 19 февраля», сошли со сцены. Место их заступила реакция, опирающаяся на бюрократическую рутину. В это время в петербургских высших сферах не оставалось уже ни одного человека способного начертать путный закон. Все было предоставлено на произвол судьбы, а то, что делалось, было

ниже всякой критики. Русское правительство как будто истощилось в громадном усилии и затем погрязло в полном бездействии.

В конце августа я уехал в Москву с самыми отрадными впечатлениями, полный светлых надежд. Но, боже мой, что нашел я в столице! Между тем, как страна спокойно и обдуманно совершала свое великое дело; между тем, как и помещики и крестьяне с сознанием своего долга работали усердно и неутомимо, – русская интеллигенция предавалась тому неистовому беснованию, которое так возмущало меня в Герцене, и которое легкомысленно поддерживали петербургские его поклонники и приятели. Университеты были в полнейшем брожении; в литературе и в обществе господствовал невообразимый умственный хаос. Из Петербурга приходили известия, что там издаются подпольные газеты, печатаются прокламации, взывающие к истреблению всего высшего сословия в государстве. Зрелище было надрывающее сердце, но вместе и весьма поучительное.

Расстройство Московского университета началось давно. Еще в 1857 году случилась история, которая разом изменила дотоль мирное настроение студентов. Где-то в непотребном месте произошла драка между студентами и полициею. Студентов сильно поколотили. Полиция в этом деле вела себя нагло и неприлично. Как скоро весть об этом происшествии разнеслась между учащеюся молодежью, весь университет разом преобразился. Студенты вступились за своих товарищей, волнение было громадное; начались шумные сборища; обращались к начальству с просьбою о заступничестве. Это была искра, которая зажгла давно уже накопившиеся горючие материалы. Начальство, действительно, заступилось, и виновные полицейские были наказаны. Это внушило молодежи сознание своей силы. Начались походы против негодных профессоров, которых в печальную пору принижения университетов набралось не мало.

В это время между студентами был кружок так называемых консерваторов, к которому принадлежали мои младшие братья, и кружок социалистов; между теми и другими происходили иногда препирательства. Но инициативу движения приняли первые. На кафедру славянских наречий недавно был назначен совершенно бездарный Майков. Студенты словесного факультета решили, что надобно от него отделаться. На одной из его лекций первый встал, сделавшийся потом профессором истории, Герье и вышел вон; за ним последовала вся аудитория. Студенты объявили, что они к Майкову ходить больше не будут, потому что слушать его невозможно. Деканом был тогда Соловьев. Он уговорил их ходить, и сам пошел на несколько лекций. Он убедился, что курс действительно был невозможный. Об этом было представлено начальству, и Майков лишился кафедры. Разумеется, такой подвиг не остался без подражания. На других факультетах были еще более негодные профессора. У юрис-

тов Орнатский был общим посмешищем. Студенты и к нему перестали ходить. Он тоже принужден был покинуть университет. Математики не хотели отставать от других и тем же способом заставили выйти Варнека. Таким образом студенты стали хозяевами университета. Они делали, что хотели, завели у себя столовые и кассы. По всякому поводу собирались сходки, на которые иногда вызывались ректор и деканы, и те ходили, объяснялись, старались успокоить молодежь. Всякая власть исчезла. Попечители Ковалевский и после него Бахметев были люди мягкие и добрые, но совершенно чуждые университету, не имевшие понятия о том, как следует обращаться с молодежью: они старались только ей угодить. Разумеется, об исправном посещении лекций совершенно перестали думать. Вместо того, по рукам ходили беспрепятственно в оригинале и в литографированных переводах сочинения Фейербаха, Бюхнера, Молешотта и всякие социалистические издания. Кружок консерваторов исчез, а социалистические учения, напротив, приобретали все большую силу. Они выдавались за последнее слово науки.

Если таковы были порядки в Московском университете, то в Петербургском, подверженном непосредственному влиянию Чернышевского с компаниею, дело обстояло еще несравненно хуже. Те же явления повторялись и в провинции. Наконец, правительство испугалось и решилось положить конец безурядице. Вместо слабого Ковалевского, министром народного просвещения назначен был граф Путятин, адмирал, вовсе незнакомый с университетами, человек честный, но ограниченный, крутой и упорный. Вместе с тем, приняты были меры, которые должны были разом пресечь зло в самом его корне. Всякие сходки, депутации, прошения и адресы были строго воспрещены. Для преграждения посторонним лицам доступа в университет, студентам выданы были матрикулы, которые они должны были каждый раз предъявлять при входе. Ежедневно записывались имена приходящих. Наконец, чтобы остановить наплыв в университет демократических элементов, отменено было освобождение бедных от платы за слушание лекций.

Нельзя было придумать ничего более неловкого. Это значило прямо возбуждать студентов такими мерами, которые должны были привлечь к ним сочувствие общества. Как только открылся осенний семестр, начались сборища с целью поднести адрес об отмене новых порядков. Сперва волнения начались в Петербургском университете, а затем перешли и в Московский. Когда я приехал в Москву, я застал уже все в полном брожении. Новый попечитель, назначенный на место умершего Бахметева, Николай Васильевич Исаков, был в отпуску. Округом правил его помощник Василий Андреевич Дашков, совершенный младенец, неспособный ни к какому решению или действию. Все бремя пало на университетское правление. И ректор

и деканы старались уговаривать студентов, убеждали их не нарушать закона недозволенными сходками. Все было напрасно. Тогда правление решило закрыть два первые курса юридического факультета, которые волновались более всех. Однако и эта мера не подействовала. Студенты тем более могли надеяться на безнаказанность, что они находили поддержку не только в обществе, но и в городских властях. Профессора в этом случае вели себя безупречно. И старые, и молодые единодушно стояли за водворение порядка. Молодые профессора в это время собирались в субботу вечером поочередно друг у друга. Никто из нас не одобрял новых мер, но все мы – от первого до последнего – были убеждены, что для восстановления правильной университетской жизни необходимо прекращение смут. В этом профессора старались убедить студентов, и старшие курсы в значительной степени склонялись на их увещания. Но с младшими, наиболее многочисленными, не было никакого ладу. При многолюдности сходок, университетская инспекция была совершенно бессильна: оставалось прибегнуть к помощи полиции, а на это робкий В. А. Дашков тем менее мог решиться, что генерал-губернатор отнюдь не был склонен к такого рода мерам. В то время Москвою правил Павел Алексеевич Тучков, человек в высшей степени почтенный и благородный, но мягкий и даже слабый. Как у всех русских властей, первая его забота состояла в том, чтобы как-нибудь все уладить втихомолку и не дать разыграться скандалу. В этих видах, когда правление, исчерпав все средства, которыми оно могло располагать, обратилось к нему с просьбою о полицейской помощи, он не только в этом отказал, считая употребление полиции мерою слишком крутою, но частным образом разрешил запрещенные законом сходки. Тучков сам даже втайне принимал студентов и поправлял составленный ими, вопреки новым правилам, адрес. Я слышал это своими ушами от В. А. Дашкова у которого я был в начале волнений и который действовал совершенно под влиянием генерал-губернатора. Через это положение в крайности обострялось. С одной стороны, корпорация профессоров, не одобряя правительственных мер, твердо стояла за сохранение порядка; с другой стороны, правительственные власти мирволили нарушению закона. На что же можно было опереться?

В это время брат Василий, который из Турина был переведен в Петербург советником Министерства иностранных дел, просил меня уведомить его о том, что делается в Москве, а сам описывал то, что происходило в Петербурге. Он был хорошо осведомлен, и я привожу здесь нашу переписку, как любопытный памятник тогдашнего времени.

«Студенческие дела, – писал брат, – приняли довольно серьезный оборот. Лекции уже начались было, и в прошлый понедельник, 25 сентября, хотели раздавать матрикулы. Студенты объявили, что их

не примут. Они, кроме того, в подражание привезенной из Лондона прокламации, стали сочинять свои, еще безумнее, с эпиграфом Рылеева, с требованием распространения мирских выборов на все управление и с провозглашением крайних коммунистических теорий. Под видом помощи бедным студентам, которые не в состоянии платить 50 рублей, они составили общую кассу, но деньги употребляли на запрещенные книги, перепечатывали прокламации и т. д. Кассу у них отняли, т. е. взяли в университетское правление, чтобы контролировать издержки. Наконец, на стенах университета появилась прокламация, и студенты выломали дверь в один зал, в котором хотели иметь сходку. Решено было временно закрыть университет, и объявление об этом студенты нашли на дверях в понедельник. Под объявлением один из них написал: «А в 11 часов сходка на дворе!» Собралось их, говорят, до 1500, и тут же решено массой идти к попечителю за объяснениями. Он живет на Владимирской, и процессия с Васильевского острова прошла через весь Невский. На Владимирской стоял батальон солдат, и были собраны жандармы верхом. Филипсона не было дома. Шувалов (обер-полицеймейстер) стал говорить студентам, что с толпою рассуждать нельзя, что надобно прислать депутатов. «А ручаетесь ли вы, что им ничего не сделают?» «Нет, не могу». «Ну, так мы не можем прислать их, мы хотим все равно ответствовать».

Филипсон подъехал и объявил, что выслушает их в университете. Процессия потянулась назад. Один из очевидцев рассказал мне, что жандармы выхватили сабли и поехали шагом на толпу, которая побежала: в какую минуту, этого я не мог разузнать. Филипсон потерял голову; он пошел пешком вместе со студентами и перед тем спросил, идти ли ему в шинели. В толпе закричали: «без шинели», и он повиновался. Потом он взял извозчика, а студенты закричали: «смотри, улизнет». Толпа остановилась на университетском дворе, а трое студентов пошли объясняться. Попечитель сказал, что университет закрыт только до 2 октября для внутренних переделок. Ему стали возражать против матрикул, и он обещал хлопотать. Вообще его критикуют: 1) потому что он должен был быть в университете, узнавши в 9 часов, что будет сходка, 2) что пошел пешком и позволил процессии вторично пройтись по Невскому, 3) что его объяснения имели вид извинений.

Во вторник студенты ходили по улицам и приглашали гуляющих на сходку на следующий день в 10 часов. Опять у университета были поставлены солдаты. Генерал-губернатор приехал и увидал офицеров между студентами. Он приказал их арестовать, но студенты расступились и их скрыли, а над Игнатьевым стали подшучивать. И эта сходка разошлась без результата, но на следующий день явилось

объявление, что всякие сборища студентов запрещены и университет закрыт впредь до приказания.

В отсутствие государя (он был в Крыму), для экстраординарных случаев назначена им комиссия: Михаил Николаевич, Путятин, Валуев и Шувалов. Великий князь призвал в понедельник еще Горчакова, Строганова и Муравьева. Решено напечатать новое Положение об университете и объявить, что те, которые не примут матрикул, не считаются студентами. Но для этого нужно быть уверенным в профессорах. Их созвали и спросили мнения: 14 одобрили все распоряжения, 15 заступились за студентов. Тогда им сказали, чтобы они письменно изложили свои замечания. Кавелин написал записку, и четыре профессора ее подписали. Между прочим, в ней сказано, что сходки должны быть дозволены, потому что молодые люди привыкают говорить в публике и, таким образом, готовятся к свободным учреждениям. Чтобы объяснить такие невероятные требования, некоторые говорят, что умственные способности Кавелина со времени потери сына не совсем в порядке. Подписали записку: Утин, Спасович, Стасюлевич. Печальнее всего, что из остальных профессоров осталось только трое на стороне университетского начальства. Между тем, публикованные вчера новые правила решительно не подают повода к открытому неповиновению; в них даже есть хорошие распоряжения, как, например, уничтожение карцера и учреждение суда над студентами из профессоров. Совет, над которым председательствует Михаил Николаевич, призвал Ковалевского и просил указать, что есть дурного в университетских правилах. Ковалевский, как ни хотелось ему покритиковать, ограничился замечанием, что они писаны канцелярским слогом и что есть выражения слишком резкие, например, вместо исключаются следовало сказать увольняются.

Университет закрыт, а студенты продолжают волноваться. Они объявили, что завтра будет демонстрация в Казанском соборе, и сегодня весь город только об этом и говорит. Вся эта история была бы ребячеством, если бы власти умели действовать разумно и с энергиею. Но чего ожидать от Игнатьева и К°?

Еще одно обстоятельство дает ей серьезный характер: волнения между студентами в связи с прокламациями, и студенты только ищут, к чему привязаться, чтобы выразить les opinions de jour*. В процессии и на сходках видели офицеров и, когда генерал-губернатор хотел их арестовать, они скрылись, что до сих пор было делом неслыханным. Один офицер сказал моему знакомому: «Мы пускаем вперед студентов, как представителей молодого поколения и интеллигенции, но если они ничего не добьются, мы выступим вперед». Следо-

* Злободневные мнения.

вало бы узнать, насколько такие мнения распространены между военными. Я не могу об этом судить, но мне давно уже говорили, что гвардейские офицеры очень неблагонадежны.

Натурально, люди, которые заходят бог знает куда с своими требованиями, за очень немногими исключениями делают это не из убеждения, и в случае строгих мер едва ли будут приносить себя в жертву. Я даже думаю, что они болтают оттого, что не знают, что делать из относительной свободы, которою они пользуются. Это либералы, которые напрашиваются на железный гнет, люди, потерянные с тех пор, что их не держат на помочах.

Отовсюду слышны вздохи о власти, которая смиренно скрывается. Чапский пишет: «Quand commercera-t-on à nous gouverner?»* Он уверяет, что волнения в Литве производятся очень немногими крикунами, которые пользуются полною безнаказанностью. Россия просто просит палки, и не только низшие классы, но и высшие слои общества. А искренним либералам, при виде этого коммунистического движения, остается поддерживать абсолютизм, который все же лучше анархии. Ты знаешь, что Михайлов во всем сознался, и что захвачено 28 студентов, из которых трое выпущены.

Возвращение государя будет критическим временем. Петр Казимирович** говорит: «Des decisions qu'il prendra depend le sort de son réqne!»*** Пессимисты, – а их много, – говорят, что пяти лет не пройдет без отречения от престола, другие идут гораздо дальше. Хотя эти страхи очень преувеличены, однако несомненно, что дело очень серьезное, если власти будут все так же неловки.

Не можешь ли ты написать мне письмо, обдуманное и довольно пространное, которое я показал бы Горчакову».

Из этого письма видно, что в Петербурге волнения приняли еще гораздо более острый характер, нежели в Москве. Там находился самый центр политической пропаганды. В это самое время явилась безумная прокламация Михайлова****, которая взывала к истреблению не только царской фамилии, но и всех помещиков и высших чиновников. В Петербурге печаталась подпольная газета, которая рассылалась в значительном числе экземпляров, и полиция никак не могла напасть на следы преступления. Брожение в обществе было непомерное, войска были заражены; в литературе высказывались самые крайние мнения. В «Современнике» главный руководитель всего этого движения, Чернышевский, явно проповедовал социалистические и материалистические теории. Он был в это время на вершине своей популярности и выступал перед публикою с самыми на-

* «Когда же нами начнут управлять?»

** Мейендорф, бывший посол в Берлине и Вене. – *Прим. Б. Н. Чичерина.*

*** «От решений, которые он примет, зависит судьба его царствования».

**** Известная прокламация М. Л. Михайлова «К молодому поколению».

глыми изъявлениями. Незадолго перед этим умер другой выдающийся корифей этой школы, Добролюбов, и друзья его выпросили у правительства разрешение читать о нем публичные лекции. Между прочим, Чернышевский рассказывал громадной, собравшейся на чтение публике первый визит к нему Добролюбова. «Когда он ушел, – говорил он, – я сказал своей жене, Ольге Сократовне: «Ты знаешь, душа моя, что я считаю себя самым умным человеком на свете; ну, представь себе, что я встретил человека, который еще умнее меня». И это отвратительное кривляние, показывающее ту степень самоуверенности, до которой дошли эти господа, и эта бессмысленная пропаганда, клонившаяся к разрушению всего существующего общественного строя, учинялись, в то время как правительство освобождало двадцать миллионов крестьян от двухвекового рабства. Сверху на Россию сыпались неоценимые блага, занималась заря новой жизни, а внизу копошились уже расплодившиеся во тьме прошедшего царствования гады, готовые загубить великое историческое дело, заразить в самом корне едва пробивающиеся из земли свежие силы.

В Москве был только отголосок петербургского движения, которое в университетской молодежи находило, разумеется, наиболее сочувствия. Масса публики недоумевала, а важнейшие литературные органы, к стыду их, молчали. Ни Катков, ни Аксаков, который в то время издавал «День», не давали ни малейшего отпора пропаганде «Современника» и компании. Катков все еще проповедовал свой отрицательный либерализм, а Аксаков ратовал против правительства и высших классов, оторванных от народной почвы. В университетском вопросе оба держали себя двусмысленно. Стоять за закон и порядок печатно никто не дерзал. Были и такие журналисты, которые подзадоривали студентов. Нелепая графиня Салиас, издававшая тогда «Русскую Речь» и воображавшая себя созданною для журнальной деятельности, кипятилась за них с всею необузданностью своего рьяного либерализма. Рассказывали даже, что она на студенческие сходки присылала каких-то эмиссаров, которые ходили между молодежью и говорили: «Господа, держитесь. Евгения Тур* вам сочувствует». Это была ее лебединая песнь: вскоре ее постигло падение, воспетое Алмазовым** и предсказанное в острой эпиграмме Константина Рачинского:

В замке Турнемирском
Злоба и сумбур;
В гневе богатырском
Восседает Тур.

---

* Псевдоним гр. Салиас, рожд. Сухово-Кобылиной. – *Прим. Б. Н. Чичерина.*

** «К портрету новейшей г-жи Сталь». (Собр, сочинений Б. Н. Алмазова, т. II, стр. 484).

Пала героиня,
Стасова, в борьбе;
Подожди, графиня,
Будет и тебе!

В ответе брату я описывал все происходившее в Москве, бессилье университетского начальства, способ действий генерал-губернатора, и затем писал: «Между тем, не надобно ошибаться насчет характера здешнего студенческого движения. Прежде всего, в нем высшие курсы вовсе не участвуют. Четвертый курс юристов формально объявил на сходке, что он демонстраций не одобряет. Это, как ты понимаешь, чрезвычайно смелый акт. Между молодыми людьми отстать от товарищей считается преступлением, и очень многие потому только участвуют в сходках, чтобы не отстать от других. Главные буяны – первокурсники. Я сам слышал от студента 3-го курса, что им отстать нельзя, а что 4-е курсы по существу своему консервативны. Из профессоров нет ни единого, который бы показывал студентам какое-либо одобрение. Все стараются удерживать их сколько могут, и все громко требуют призвания полицейской власти.

Ты еще более поймешь значение этого воздержания, когда я тебе скажу, что требования умеренной партии студентов в сущности совершенно справедливы. Адрес этой партии – тот, который был показан Тучкову, – содержит в себе две статьи. Студенты просят: 1) отмены 50-рублевой платы; 2) позволения объясняться с начальством через депутатов.

Что касается до первого, то ты должен знать, что в силу новых распоряжений студенты, представляющие свидетельство о бедности, не избавляются более от платы 50 рублей в год. Этим думали исключить из университетов слишком демократические элементы. Кто хоть немного знает университеты, понимает, что это совершенные пустяки. Однако правительство имело бы полное право сделать такое ограничение, если бы оно распространялось только на вновь вступающих. Мера осталась бы не только бесполезною, но и вредною и в высшей степени непопулярною; никто не мог бы назвать ее несправедливою. Но когда бедный студент вступил в университет в надежде на закон, который избавляет его от платы, и вдруг, после 2 - 3-летней работы принужден выйти, потому что ему нечем заплатить, то это идет против всех начал справедливости. Кто писал подобный закон, тот не имел ни малейшего понятия о том, что такое законодательство. Оттого у нас общее мнение все стоит за студентов. Нравственно они правы.

Второй пункт столь же справедлив. Когда студентам говорят, что их сходки и адресы беззаконны, они отвечают, что они новыми распоряжениями лишены всякого законного средства объяснять начальству свои нужды, и потому поневоле должны прибегать к беззаконию.

И, несмотря на это, мы все единогласно против студентов, потому что мы убеждены, что первое и главное дело состоит в восстановлении власти. Отсутствие всякой власти – вот единственная причина всех происходящих в университетах беспорядков. Я бы мог доказать это многими примерами. Тут не нужно никаких стеснительных мер, никаких ограничений. Все это положительно вредно. Нужно только усилить полицию и действовать энергически, когда нарушаются правила. Вообще, в настоящее время в России потребны две вещи: либеральные меры и сильная власть. Но когда думают прекратить беспорядки мерами стеснительными, несправедливыми, раздражающими, и нет власти для их поддержания, то иного результата быть не может, как полная анархия. К этому мы и идем. Я просто прихожу в ужас от господствующего у нас ослепления. Ради бога, постарайся убедить князя Горчакова и других людей, имеющих значение в правительстве, что во всем этом движении, университетском, литературном, общественном, не только нет ничего опасного, но даже ничего нет сколько-нибудь серьезного. Все это копошится литературная дрянь и мелюзга, 20-летние офицерики, да студенты 1-го курса. В Петербурге можно еще найти несколько даровитых людей, которые увлекаются этим направлением; в Москве нет ни одного сколько-нибудь серьёзного человека, который бы желал принять в нем малейшее участие. Недавно приезжал сюда Громека с проектом адреса о свободе слова; мы почти единогласно отвергли мысль о какой бы то ни было демонстрации. Москва, как и наши 4-ые курсы, по существу своему консервативна. Но, к несчастью, у нас решительно не имеют понятия о том, что происходит в обществе. Принимают меры неловкие и ненужные и боятся употреблять власть, когда она нужна. В министры народного просвещения сажают по чину, то горного чиновника, то моряка, и к совету призывают шефа жандармов и министра юстиции. На все смотрят преувеличивающими глазами и не подозревают собственной силы. Я все здесь твержу, что дело кончится тем, что нас всех пересекут, и правых, и виноватых, что найдется же, наконец, в правительстве хоть один храбрый человек, который возьмет палку в руки, и тогда все возвратится к старому порядку. Не то могут случиться страшные несчастия. Русский человек любит, чтобы его изредка посекли; не нужно только держать его в постоянных кандалах. Что будет, то будет».

На это письмо брат мне отвечал:

«Ты не можешь себе представить, какой эффект произвело твое письмо. От Горчакова оно ходило к Михаилу Николаевичу и другим властям, и переписано для государя, за исключением конца, где ты говоришь, что в министры назначают по чину, что кончат тем, что нас всех пересекут и т. д. Ты имеешь репутацию одного из самых передовых людей, и из твоих уст слышать, что необходима крепкая

власть, Горчакову очень драгоценно. Он формально поручил мне тебя благодарить за доставленные сведения и сказать тебе, что он с содержанием письма вполне согласен. «Либеральные меры и сильная власть это, – говорит Горчаков, – тема, которую я всегда проповедовал. Я рад, что с Вашим братом схожусь в этих мыслях, но, разумеется, не переговорив с ним, не могу знать, во всем ли так же схожусь».

Я ответил: «Чтобы дать некоторое понятие об общем направлении его мыслей, скажу, что он против конституции у нас». Он: «Но не следует ли ввести учреждения, не употребляя слова?» Я: «Только не надо допускать контроля совещательных собраний». Ему, очевидно, не хотелось ясно высказать своей мысли.

Потом он сказал: «Я хочу воспользоваться этим письмом, с некоторыми пропусками, в очень высоком месте, но я желал бы предварительно иметь на то ваше согласие». Я: «Я не вижу никаких к тому препятствий, поскольку дело идет об общем смысле, но вы могли заметить, что оно написано в интимном стиле, как пишет брат к брату». Он: «Я опустил конец, но то, что касается Тучкова, слишком важно; я не назову вашего брата; однако, если будут настаивать, я уступлю; по существу, в письме нет ничего такого, под чем бы я охотно не подписался». Я: «Я позволю себе подчеркнуть то, что мне кажется наиболее важным; ради бога, настаивайте на том, что власть должна выказать себя крепкой и не ронять себя. Но вместе с тем, не надо показывать вида страха, ни прибегать к бестолковой строгости диктуемой страхом».

Он: «Да, это необходимо. Вы можете сообщить вашему брату, что одна из мер строгости, которую я хочу предложить, заключается в отсылке к родителям всех, кто откажется принять матрикулы, чтоб очистить столицу от их присутствия. Я надеюсь, что ваш брат одобрит эту меру»*. В заключение он изъявил надежду, что ты будешь продолжать сообщать свою оценку всего, что происходит.

Перейду к разбору твоего письма. Я писал тебе вчера по почте, что из двух пунктов адреса умеренной партии, первый, касательно платы вступивших студентов, разрешен. Прибавляю, между нами, что начало необратного действия Положения было принято теперь только в правительственном Совете. Я тебе писал и повторяю просьбу изложить в умеренных выражениях, почему у нас такая мера бесполезна и вредна. На каких основаниях можно желать и требовать дарового высшего образования? (Тут советую быть осторожным). Что касается сходок, то также повторяю: 1) студентам остается право доносить о своих нуждах индивидуально; 2) правительство явно стремится уничтожить для студентов всякие корпоративные

* В подлинике вышеприведенный диалог дается по-французски.

права и самую мысль о корпорации; 3) в эти последние годы сходками так злоупотребляли, что студенты сами виноваты, хотя бы даже это право было рационально. В прошлом году студенты вздумали сами в аудитории судить одного товарища за простую кражу, посадили его в карцер и т. п. Кроме того, произносили речи об общем ходе правительства и т. д. Итак ты можешь опять же с осторожностью развить свою мысль о корпорации.

NB. Барон Петр Казимирович Мейендорф говорит, что студенты везде имеют корпоративные права, например, форму. Он того мнения, что корпорации по факультетам лучше, нежели по национальностям, и что выбранные из студентов депутаты составляют залог спокойствия, потому что через них можно действовать на других. Передаю тебе различные мнения, чтобы ты мог ими руководствоваться. Но Петр Казимирович против демократизации университетов, в особенности против служебных привилегий».

Я просил тебя о разборе новых правил. Поговори с товарищами, не говоря зачем, и передай общее суждение о них, в частности о проректоре, о педелях. Насчет педелей вот еще разговор.

Кто-то сказал Горчакову: «Добейтесь их отмены – это непопулярная мера, и от нее надо отказаться». «Нет, сейчас не надо ничего переменять; если это распоряжение непопулярно, то оно и без отмены не будет осуществлено целиком». «Но, в таком случае, допускается прежняя ошибка; зачем сохранять вещь, которая не будет исполнена?»*

Ответа не было. Я не присутствовал, но, кажется, разговор передан довольно верно.

Что ни говори об Горчакове, однако, он единственный человек из окружающих государя, который имеет либеральные поползновения. На практике он не выдерживает и говорит иногда: «Le pouvoir ne peut pas se passer sans un peu d'arbitraire»**. Кроме того, занятый политикой, он не ясно сознает, в чем могут заключаться либеральные действия. Но все же либерализм ему доступнее, нежели другим, и нужно только представить ему программу, которая дала бы более определенный ход его красноречию... Итак напиши мне, что ты ценишь одобрительные слова, которые мне поручено было передать тебе».

В письме, посланном по почте, брат говорит, что особенно подействовало выражение: «либеральные меры и сильная власть», и просил подробнее развить эту тему. В ответ на его вызов, я написал ему длинное письмо, которое привожу здесь целиком.

---

* В подлиннике– по-французски.

** «Власть не может обойтись без небольшой доли произвола».

Москва, 11 октября 1861.

Ты желаешь, чтобы я подробнее развил тебе свое выражение: «либеральные меры и сильная власть». Оно не случайно попалось мне под перо. По моему мнению, оно должно быть лозунгом правительственно-либерального или, если хочешь, консервативно-либерального мнения в России. Это мнение едва зарождается. При невозможности печатно обсуждать наши внутренние вопросы, при том разгаре страстей, который возбужден освобождением крестьян, образование его встречает почти непреодолимые трудности. Тем не менее, либеральное мнение в России положительно раздваивается, хотя люди, которые ничего в этом не понимают, всех нас крестят названием красных. Различное обсуждение моего письма к Герцену* до очевидности показало это раздвоение. Особенно в Москве есть зерно людей, которые так уже и прозваны государственниками.

В настоящее время первая наша потребность – предоставление обществу значительной доли самодеятельности. Без этого жить нельзя. Без этого мы вечно останемся в том положении, которое привело нас к бедствиям Крымской войны. Этого даже и уничтожить невозможно. Общество почувствовало свою самостоятельность и никогда уже не возвратится к тому полному подчинению, какое бывало в прежние времена русской истории. Это надобно сказать себе раз навсегда. Но это явление не печальное. Если правительство поймет свое положение и сумеет им воспользоваться, то Россия выиграет двойные силы от возбуждения энергии общественной. Правительство само всего делать не может. А покорные орудия сами ничего делать не в состоянии.

Отсюда необходимость либеральных мер по всем отраслям общественной жизни. Надобно, чтобы везде человеку была предоставлена свободная сфера деятельности. В особенности же надобно избегать тех мелочных стеснений, которые раздражают людей и унижают начальство, ставя его в мелочные столкновения с гражданами. Правительство теряет через это свое высокое значение и становится ответственным за всякую глупость самого последнего исполнителя, как это до очевидности показывает нынешнее состояние нашей цензуры. Пусть появляется множество бестолковых статеек, пусть студенты не ходят на лекции и толкуют между собой обо всяком вздоре. Государственный человек обращает внимание не на эти пустяки, а на общее направление умов. Тут нужен широкий взгляд на вещи, а не взгляд 3-го отделения.

Но чтобы все это сделать совершенно безвредным, надобно, чтобы над всем этим господствовала сильная власть, которая всегда была бы готова сдерживать непокорных. Закон должен быть широк, но

* Письмо Б. Н. Чичерина напечатано в «Колоколе» 1 декабря 1858 г.

исполнение его должно быть строгое и непременное. Уверенность в непременном наказании – лучшее ограничение свободы. Но, как скоро можно явно и безнаказанно нарушать закон, так водворяется анархия. В настоящее время сильная власть нужнее, нежели когда-либо. Она одна может сдержать расшатавшуюся Россию. Только не надо смешивать сильной власти, сохраняющей возвышенное свое положение, с мелочным вмешательством во всякие дрязги. В особенности приложение власти должно соединяться с глубоким знанием русского общества. Иначе она всегда будет бить невпопад. Теперь, для управления всеми внутренними делами, как насущный хлеб, потребны нам государственные люди, которые бы соединяли в себе чувство власти с знанием общества и с ясным пониманием настоящего положения дел. Но где их найти?

То, что я говорю о соединении либеральных мер с сильною властью, ты можешь видеть на освобождении крестьян. Вот мера вполне либеральная, которая соответствует самым существенным потребностям России, которая дает правительству право на вечную признательность со стороны всякого кто искренно любит отечество. Отчего же она сначала возбудила такие, смуты? Оттого, что она была объявлена, когда управление не было еще устроено. Вблизи не было власти, которая бы могла ее поддерживать. Неповиновению позволили сначала распространиться. Поэтому впоследствии нужны были гораздо сильнейшие меры. Вообще строгие меры избавляют от строжайших. Когда явилась власть, водворилось спокойствие, и явилась вместе с тем возможность законного и гражданского развития этого вопроса. Там, где «Положение» строго исполняется, где мировые посредники не льготят ни крестьянам, которые отказываются от отбывания повинностей, ни помещикам, которые хотят захватить больше, нежели им предоставлено законом, там все идет хорошо. Ты сам мог это видеть у нас. Дурно идет дело только в тех местах, где есть послабление той или другой стороне.

Посмотри же теперь, что сделано в университетах. Все происшедшие в университетах беспорядки суть только отражение того, что происходит в России. Вся Русская земля немного сбилась с толку. Взошло для нас весеннее солнце и произошла оттепель. Зелень еще впереди, если солнце будет продолжать греть, а пока только непроходимая грязь. Естественно, что это общественное состояние прежде всего отражается на молодых людях, которые увлекаются более других, и которых всегда следует сдерживать разумным употреблением власти. К несчастью, именно этого-то и не было сделано. Ты знаешь, что вся полицейская власть в университете находится в руках попечителя. Во многих отношениях это очень хорошо, но надобно уметь с нею обращаться. Мы на своих попечителей жаловаться не можем. Как предыдущий, так и настоящий, люди весьма благо-

намеренные, готовые на все хорошее. Но невозможно требовать от человека, который всегда служил на другом поприще, который не имеет никакого понятия о народном просвещении, чтобы он вдруг приобрел нужные для этого места знание и такт. Всякий благонамеренный человек сначала естественно остерегается и делает скорее менее, нежели более, чем нужно. Результатом этого было то, что в университете исчезла всякая полицейская власть. Студенты могли делать все, что им угодно, и, разумеется, нередко употребляли свою свободу во зло. Чтобы помочь этому, стоило только разбудить немного дремлющую власть, запретить сходки, прокламации, литографии и т. д., и дать университетскому начальству средства приводить в исполнение свои предписания, т.-е. усилить полицию и восстановить карцер, который один может заменить строгую меру исключения из университета. Больше ничего не было нужно.

«Вместо того приняли ряд мелочно-стеснительных мер. Студентам выдаются матрикулы и билеты, которые они всегда должны иметь при себе; университетская передняя загромождена баррикадами, которые сторожатся солдатами; запрещены всякого рода объяснения с начальством и т. д. Когда же дело дошло до выполнения этих мер, то оказалось, что власти никакой нет, и когда университетское начальство обратилось к генерал-губернатору, то генерал-губернатор принял под свое покровительство явное сопротивление закону. Вот что я называю радикально-ложною политикой от начала до конца. Тут не либеральные меры с сильною властью, а стеснительные меры и слабая власть. Вот что ведет к анархии. Кто же тут виноват, студенты или начальство? Когда молодых людей с одной стороны раздражают, а с другой – позволяют им явно нарушать закон, то иных последствий быть не может как то, что мы видим в настоящее время.

Мысль уничтожить корпорацию студентов совершенно фантастическая. Студенты корпорации не составляют, а всегда составляли и всегда будут составлять товарищество, вопреки всем постановлениям, ибо это естественно вытекает из их положения. В этом ничего нет дурного. Напротив, товарищество – лучшая сторона университетской жизни, и даже для человека зрелого это лучшее воспоминание молодости. Ты сам это знаешь. Дурно только то, что это товарищество употребляется иногда на недозволенные цели. Но для того, чтобы этого не было, нужно только, чтобы молодые люди знали, что над ними есть власть, которая непременно накажет всякое нарушение порядка. Свобода действий и карающая власть – с этим можно смело надеяться на успех.

Но из всех принятых мер – самая в настоящее время неловкая, по единогласному мнению всех, весьма умеренных профессоров нашего университета, это – обязательная плата студентов. Мы на днях

намерены даже просить министра народного просвещения ходатайствовать об отмене этой меры, как уже оказавшей свои вредные последствия, и вот наши доводы: 1) Ты говоришь, что в Англии и Германии высшее образование не даровое. В Англии, точно, оно стоит очень дорого. Но зато Англия самая богатая страна в мире. Притом там общие средства образования, помимо университетов, несравненно доступнее, нежели у нас. В Германии же всякий студент, представляющий свидетельство о бедности, избавляется профессором от гонорара и от пошлин за матрикуляцию. Во Франции академическое обучение большею частью даровое: платят за степени. Мы же страна самая бедная, средства образования самые скудные; помимо университетов и других высших учебных заведений, их даже вовсе нельзя иметь. Следовательно, другие страны не могут нам служить примером.

2) Опытом дознано, что работают именно беднейшие люди. Они должны пробивать себе дорогу трудом. Из них выходят учители, без которых нам обойтись невозможно. Из них же выходят хоть сколько образованные чиновники, которые для государства необходимы. Детям бедных чиновников просто деваться некуда, если закрыть им доступ в университеты.

3) И главное, эта мера, при настоящих обстоятельствах, в высшей степени неполитична. В том безграничном умственном хаосе, в который погружена теперь Россия, у нас есть одна живая струя, которая вынесет нас на берег. Это – жажда просвещения. Всякий русский человек, и бедный и богатый, и образованный и дикий, чувствует, что наша первая и насущная потребность состоит в образовании. Оттого всякая мера, сколько-нибудь ограничивающая образование, возбудит всеобщее негодование и даст всякому протесту против нее опору в сочувствии общества. В этом сочувствии студенты находят себе главную поддержку. Не только в тверском дворянстве, но везде в клубах, в присутственных местах идут подписки на бедных студентов. Чиновник Казенной палаты или Опекунского совета жертвует на это часть своего скудного жалования. В этом явлении есть глубокий и отрадный смысл. Неужели же правительство пойдет против этих благороднейших и священнейших стремлений русского общества. Ты пишешь мне, чтобы я вообще об этой мере распространялся с крайнею осторожностью, я же, напротив, считаю долгом совести при всяком удобном случае говорить об этом с величайшею настойчивостью, потому что эта мера подкапывает значение правительства и составляет лучшую опору для той безрассудной оппозиции, которая слышится у нас со всех сторон. При этой мере разумным образом поддерживать правительство становится невозможным. Я прежде всего желаю сильной власти, но сильная власть не может существовать без нравственного влияния на обще-

ство, а это влияние неизбежно исчезает, когда правительство теряет в глазах общества свое высшее значение – значение образователя народа, когда оно полиции жертвует просвещением.

Вот тебе очень длинное письмо. Надеюсь, что я изложил все, что тебе нужно знать. Если в тебе родятся еще какие-либо недоумения, напиши.

P. S. Внуши, пожалуйста, что заставлять студентов посылать прошения по городской почте и получать стипендии в частных домах – признак трусости, а это хуже всего.

На это брат отвечал:

«Когда я рекомендовал тебе величайшую осторожность, я не подозревал мягкости и, можно сказать, прямодушия Горчакова. По прочтении твоих замечаний на счет дарового университетского образования, он сказал: «Это я поддерживал в Совете ограничительные меры в отношении университетов. Я это сделал под впечатлением того, что видел в Германии, где мест не хватает для всех молодых людей, оканчивающих свое учение; они остаются на улице и становятся опасным элементом. В России условия иные, и я признаю что, может быть, был неправ»*. Но, сознавшись, что мера могла быть неудачна, он думает, что теперь невозможно ее отменить. Заметь, что в Совете Горчаков составляет едва ли не крайнюю левую, и что если он считает отмену невозможною, то чего же ожидать от других? Впрочем, он не останавливается на отказе и вслед за тем начал развивать мысль о преобразованиях, которыми можно бы помочь делу. Он просил об этом не говорить, потому что его мысли еще недостаточно разъяснились. Во всяком случае несомненно, что человек самый благонамеренный и ум самый всесторонний не могут отыскать настоящего исхода в деле, которого не изучали. Оттого я повторяю, если тебе приехать нельзя, то следует обсудить с Дмитриевым и другими, как правительству действовать, не исповедуя открыто, что оно ошиблось. Сделать новое Положение, на новом основании, ему легче, нежели из нынешнего Положения вычеркнуть несколько статей.

Твое письмо я должен был почти целиком переписать для государя. 1) Личная форма в нем устранена, т. е. ты знаешь, ты желаешь и т. д. 2) Выпущен твой намек на письмо к Герцену, потому что иначе следовало бы объяснить, что такое это письмо, может быть, представить его и т. д. 3) Намек на цензуру вычеркнут. Это вопрос посторонний, который требует развития. «Обращать внимание на общее направление умов», допуская, чтобы появлялось «множество бестолковых статеек», это – такие мысли, которые здесь неясно понимают и которыми пугаются. Несмотря на безотчетную цензуру (а может

* Слова Горчакова в подлиннике приводятся по-французски.

быть и вследствие ее безотчетности), направление литературы самое крайнее и даже вредное на общество. Не легко убедить правителей, что дать ей большую свободу не даст нам последнего толчка в пропасть. Изменить нашу цензуру едва ли возможно; можно ее преобразовать на совершенно иных основаниях. Каким же образом действовать на общее направление умов, этого никто не подозревает, разве только барон Александр Казимирович. Не читавши даже твоего письма, но слышав от моего тестя, что ты защищаешь даровое образование, он привез мне листок, который просит тебе передать. Прилагаю его. Напиши мне (для меня), что ты об нем думаешь и прибавь несколько слов, которые я мог бы ему прочесть.

Теперь здесь толкуют, кем бы заменить Путятина. Иные говорят о Титове, другие о Пирогове; вероятно ни тот, ни другой не будут назначены.

Государь полон доброй воли, но надобно известным образом представлять ему вещи, чтобы его убедить. А именно: не должно касаться самодержавия. Либеральные меры и сильная власть – кажется, должно понравиться. Едва ли можно убедить в необходимости изменить университетское Положение, но легче представить новую реформу и с точки зрения порядка, просвещения, общественного мнения. Должно напирать на «расшатавшуюся Россию» и побольше развить, что опасно «стягивать вожжи», о чем многие толкуют. Должно резче высказать, что все благонамеренные люди за правительство, но что не следует их отчуждать, потому что общее отчуждение от правительства наша главная опасность, а она произошла оттого, что слишком вожжи были стянуты.

Уверяют, что Шувалов во всем происходившем видел только генерал-адъютантские эполеты. Но кроме него, есть и многие другие, которые преувеличенно смотрят на все. Сам Горчаков говорит: «Молодежь нам сделала величайшее моральное зло; я люблю молодежь, но в этом случае я не могу ее извинить»*. Потому я считаю твою точку зрения отличной, и дай бог, чтобы ее оценили: что студенты дети, а что главная вина на начальстве, которое не должно быть мелочно строго, но твердо.

Не забудь написать, что ты ценишь одобрение Горчакова. Эта слабая струнка в нем есть, но в последнее время, видя его часто, я его ценю больше: мягкий, благонамеренный, допускающий всякие убеждения, готовый быть либеральным, лишь бы не зайти слишком далеко. Одна из его слабостей – присваивать себе совершенно всякую мысль, которая ему понравится; например, выражение: «либеральные меры и сильная власть» – не твое, потому что Горчаков давно уже написал его на своем знамени. На днях, за обедом он

* В подлиннике по-французски.

характеризовал всех присутствующих; меня назвал rougeatre*, а себя liberal modere**. Надобно отдать ему справедливость, что он от этого наименования никогда не отказывался, даже когда отстаивал плату студентов и в крестьянском деле был за добровольные соглашения. Но даже в случаях более серьезных он по-своему оставался с собою консеквентным. Так, на счет Польши, он тотчас сказал: «Надо бороться всячески с уличными беспорядками, но держаться на почве законности и от нее не отступать»***, – и я думаю, он много содействовал тому, что мы не отступали от дарованных полякам прав. В крестьянском вопросе он искренне радуется удаче мировых посредников. На чины он смотрит совсем не как действительный тайный советник, а домогается их уничтожения. Но во внутренних делах этот либерализм далеко не систематичен, и особенно в вопросе о цензуре его мысли отнюдь не установились. Тут следовало бы внушить ему программу, которую он с обычною ловкостью мог бы защищать перед царем и перед товарищами по Совету.

Завтра вечером хочу поехать к Петру Казимировичу и, если можно, прочесть ему твое письмо. П. Б.**** едет в Москву в пятницу, и я с ним напишу, если будет что. Но я желал бы, чтобы ты сам приехал. Сегодня Горчаков спрашивал, написал ли я тебе об этом и повторял, что хотел бы с тобой поговорить».

Ехать в Петербург я в это время не мог, ибо должен был начать свой курс, да в сущности и не было в том нужды. Я отвечал следующим письмом:

«Любезный друг, прошу тебя передать князю Горчакову, что я весьма ценю его одобрение моих мыслей. Он единственный наш государственный человек, который не заражен баронскими предрассудками и способен понять толковое мнение, не пугаясь ложных призраков демократии и красной республики. Это редкость, потому что высшие круги составляют у нас совершенно особенный мир, который к России не имеет решительно никакого отношения и не ведает, что в ней творится.

Примерами могут служить хоть бы записочка твоего дядюшки А. К. Мейендорфа, и мнение другого твоего дядюшки, П. К. Мейендорфа, об университетском образовании. Все это очень умно, все выписано из глубоких писателей, из Гизо, из Токвиля, все вынесено из Германии, из С.-А. Штатов, но к России решительно неприложимо. Говорить в России об излишнем разлитии образования в массах или о демократизации наших университетов, это русскому человеку, зна-

* Красноватый.

** Умеренный либерал.

*** В подлиннннике по французски.

**** Так в рукописи.

ющему состояние нашего просвещения, покажется довольно странным. В России эти массы – ничтожная капля в море. У нас необходимо, чтобы в университет стекалось как можно больше людей, для того чтобы образовался хоть кто-нибудь, чтобы из этого числа выработались какие-нибудь серьезные силы, а серьезные силы нам нужны на всех поприщах. Если дожидаться хорошо подготовленных молодых людей, то наши университеты останутся совершенно пусты. У нас университеты заменяют все – и гимназии, в которых почти не учатся и не могут учиться, потому что нет порядочных учителей, и специальные школы, и литературу и, наконец, самое общественное образование, которого у нас нет. У нас университеты вовсе не такие высшие учебные заведения, как в других странах. Наши университеты – это умственная атмосфера, в которой человек получает хоть какое-нибудь развитие. Через университеты русское общество выходит из сферы «Мертвых душ». Совершенно несправедливо, что демократическими и социальными идеями заражаются преимущественно люди, которые не в состоянии заплатить 50 рублей в год. Напротив, эти люди вступают в университет, чтобы проложить себе дорогу и должны работать и жить своим трудом, тогда как студенты с большим достатком могут предаваться безделью и на досуге наслаждаться разными дикими мечтами. В университетах проявляются дикие мысли, не потому что в них есть, soi disant, демократические элементы, а потому что в них отражается дикость всего нашего общества, как высшего, так и низшего, и я, право, не знаю, которое в этом отношении заслуживает пальму первенства. У нас из самых аристократических фамилий выходят такие студенты, что уму непостижимо.

Для того, чтобы университетам дать разумное направление, необходимо прежде всего, чтобы управляли ими люди знающие как университеты, так и состояние общества. Между тем в продолжении последних 13 лет у нас не было ни одного министра и ни одного попечителя (в Москве), который бы в этом что-нибудь понимал. Каково бы было состояние нашей армии, если бы в течение десяти лет военными министрами и генералами назначали дипломатов или чиновников почтового ведомства. Между тем, вопросы об армии – вопросы технические, а вопросы о народном просвещении в настоящее время вопросы политические. Это надобно себе сказать и крепко сказать.

Все наше несчастие в настоящее время состоит в том, что правительство и общество составляют как бы два лагеря, которые не имеют между собой решительно ничего общего. Правительство живет в заколдованном кругу тайных и действительных тайных советников, а общество всякого тайного и действительного тайного советника считает почти что личным своим врагом, потому что долгий

опыт убедил его, что, за весьма немногими исключениями, тайные и действительные тайные советники больше заботятся о собственной своей пользе, нежели о пользе общественной. Отсюда отрицательное направление литературы, которая людей, принадлежащих к заколдованному кругу, приводит в негодование и изумление. Литература другого направления иметь не может, пока правительство совершенно уединяется от общества. Надобно, чтобы правительство опиралось на какие-нибудь разумные общественные элементы, чтобы оно в среде своей имело людей, которые бы в состоянии были иметь какое-нибудь влияние на общество. Пока этого нет, будет продолжаться настоящая анархия.

Людям весьма немногочисленным, которые с глубоким прискорбием видят это состояние России и, стоя между обоими лагерями, не в силах их сблизить, остается только по возможности распространять в обществе более здравые понятия о вещах, нежели те, которые теперь в ходу, и стараться приготовить как можно более людей, которые были бы в состоянии действовать, как скоро правительству благоугодно будет выйти из заколдованного круга тайных и действительных тайных советников. Давать же какие-нибудь советы и стараться проводить какие-нибудь меры совершенно бесполезно. Совет можно дать только один: призывать по каждой части людей, которые эту часть знают. Иначе наилучшие меры ни к чему не послужат.

Из всего этого ты поймешь, что я решительно не намерен обсуждать никаких мер, относящихся до народного просвещения. Не намерен, потому что я не вижу в правительстве серьезного желания решить эти вопросы разумным образом и прямо смотреть на вещи. Сегодня, например, князь Горчаков с величайшею ловкостью успеет убедить государя в пользе какой-нибудь благоразумной меры, но кто поручится, что завтра князь В. А. Долгорукий или граф В. Н. Панин с такою же ловкостью не нагородят какого-нибудь вздора и не ввернут в постановление такую заковычку, которая даст ему совершенно превратное действие? Если правительство серьезно желает принять, наконец, какую-нибудь разумную систему относительно народного просвещения, то путь один: представить новые меры на обсуждение университетских советов и затем созвать в Петербурге комиссию из сведующих людей, которые бы могли выработать из этого что-нибудь толковое. Если князь Горчаков желает добра нашему образованию, то пусть он на этом настаивает.

Я очень рад, если ни Титов, ни Пирогов не будут назначены в министры народного просвещения. Оба – хорошие люди, но оба на это место не годятся. Титов тряпка, а Пирогов фантазер. Человек, который заводит журнальную полемику о своих собственных мерах, не имеет понятия о власти, а власть теперь нужна. По-моему Путятину надобно непременно остаться, пока все совершенно успокоится.

Иначе студенты подумают, что они его выгнали. А единственным возможным министром, по моему мнению, все-таки был бы Григорий Щербатов. Он во время своего петербургского попечительства давал студентам излишние льготы*. Но тогда это было общее направление, которое не оказало еще своих вредных последствий. Но он человек твердый, знающий дело, и, как попечитель московский и петербургский, приобрел значительную популярность. Только ему нужно хорошего товарища.

Вероятно, это последнее политическое письмо, которое я пишу тебе теперь. Кажется, я сказал все, что нужно. Мы от Совета делаем донесение министру о ходе событий, с изъяснением причин. Мы решили не ходатайствовать прямо об отмене обязательной платы. В настоящее время это была бы вредная уступка. Но мы довольно ясно на это укажем. Донесение пойдет на будущей неделе. Я думаю, что при обсуждении мер относительно университетов, не дурно будет вытребовать это донесение. Если князь Горчаков желает подробнее познакомиться с делом, он найдет в нем многое такое, что надобно принять к сведению».

Донесение, упомянутое в предыдущем письме, было представлено Советом по окончании университетских беспорядков, которые пришли к давно ожидаемой развязке. Она последовала по приезде попечителя, который вернулся наконец из отпуска. Исаков был военный генерал, вовсе не сведущий в деле народного образования, но человек хладнокровный, твердый, разумный и порядочный. Он попал в самый разгар страстей, когда студенты бунтовали, профессора давали им отпор, а генерал-губернатор им мирволил. Разумеется, все обрушилось на попечителя, от которого, главным образом, зависел исход дела. Он приехал в университет и тут произошла неприличная сцена. В профессорскую ворвалась масса студентов, которые подступили к попечителю с требованием об отмене новых мер. Он отвечал твердым отказом. Между тем, комната все более и более наполнялась народом, так что его, наконец, прижали к стене. Из толпы слышались неприличные крики. Тут было несколько профессоров: Бодянский, Ешевский и другие, которые старались образумить студентов. Сам Исаков, которого положение было весьма незавидное, в течение целого часа сдержанно и твердо настаивал на своем отказе делать какие бы то ни было уступки. Наконец, толпа, видя, что ничего не добьется, вышла из комнаты.

Тогда студенты решили обратиться коллективно к генерал-губернатору. На следующее утро толпа двинулась из университета на Твер-

---

* Министр нар. просвещения Е. П. Ковалевский считал Щербатова «человеком недальним и... первым виновником беспорядков в нашем (Петербургском) университете» (А. В. Никитенко, Запискии. Дневники, т. II, стр. 10).

скую площадь. Но власть, которая допускала сходки в университетском саду и в аудиториях, не хотела терпеть скандала на улицах. Произошло побоище на Тверской площади, или «Дрезденская битва», как ее называли в шутку вследствие того, что происшествие случилось против гостиницы «Дрезден». На собравшихся студентов накинулись не только полицейские, но и дворники из соседних домов. Их разгоняли, даже били. Толпа разбежалась, многих арестовали и посадили на съезжую.

Тем собственно история и кончилась. Встречая везде отпор, студенты поняли, что надеяться не на что, и притихли. Частным образом сделана была еще попытка. Трое студентов: двое медиков, Покровский и Понятовский, и юрист граф Салиас поехали в Петербург, чтобы представить студенческий адрес прямо государю. Адрес был возвращен в университетское правление с поправкою рукою государя двух орфографических ошибок. Это была последняя и довольно постыдная неудача. Некоторое время продолжалось еще глухое брожение, но большинство заявило покорность, и можно было открыть курсы. Для разбора дела на Тверской площади от генерал-губернатора учреждена была комиссия, в которую приглашен был депутат из университета. Выбрали Баршева. Дело кончилось пустяками. С виновным поступлено было очень снисходительно. Исключены были весьма немногие, самые рьяные вожаки. Университет, с своей стороны, счел нужным изложить высшему начальству все дело, как оно происходило, и вместе раскрыть причины и указать исход*. С этой целью выбрана была комиссия, в которую вошли Соловьев, Ешевский, Бодянский и я. Соловьев был выбран председателем, а я докладчиком. Это был первый доклад, который мне доводилось писать. В Совете он был принят общим сочувствием и я получил за него благодарность**. В следующем году он был тайными путями доставлен в «Колокол» и напечатан с заметкой, что история не забудет имен подписавших. Как-будто мы совершали какое-то великое преступление, между тем как мы чисто объективно излагали все обстоятельства дела, ничего не преувеличивая и ничего не утаивая. Исход, на который мы указывали, состоял в пересмотре устава 1835 года. Мы вовсе не думали, что университеты нуждаются в каких-либо коренных преобразованиях; но в виду тех известий, которые мы имели из Петербурга о настроении правительства, особенно того, что писал

---

* Шестаков, бывший тогда инспектором, в своих воспоминаниях говорит, будто бы, при выходе из профессорской, я сказал ему об одном из вожаков: «отчего вы его не арестовали?» Очевидно, что в его памяти перепутались лица. Сказать этого я не мог, потому что меня там не было. Вследствие беспорядков я еще не начинал лекций и не ходил в университет. – *Прим. Б. Н. Чичерина.*

** Записка эта напечатана А. А. Титовым в «Чтениях О-ва истории и древностей российских» 1905, II.

брат, мы полагали, что этим способом всего легче можно будет отменить стеснительные меры и восстановить нормальный порядок. Так именно и сделалось. С тем вместе я мог наконец открыть свой курс. На вступительную лекцию собралось, по обыкновению, масса народу, и студенты, и профессора, и даже посторонние. Я прямо и откровенно высказал свою точку зрения: указал на значение эпохи, в которую мы живем, на великие совершающиеся преобразования, на освобождение крестьян, на готовящиеся земскую и судебную реформы; сказал, что, вообще говоря, преобразования совершаются обдуманно, с соблюдением истинных интересов государства, что мы быстрыми шагами идем вперед и с доверием можем глядеть на будущее, и что при таких условиях только непростительное легкомыслие может ограничиваться критикою частных стеснительных мер или укоренившихся веками злоупотреблений. Я указал и на открывающееся обширное поприще для общественной самодеятельности, в особенности на потребность разумного и сдержанного общественного мнения, способного противодействовать обуревающей нас умственной анархии, которую я, вспоминая древне-русские элементы, характеризовал названием умственного и литературного казачества. Я говорил молодым людям, что они к будущей своей деятельности должны готовиться не чтением газетных статеек, а серьезным научным трудом, в тишине университетской жизни, удаленной от политического брожения, носящего печать современных страстей. Излагая затем существо и значение государства, я сказал, что первая и необходимая потребность разумного государственного порядка состоит в повиновении закону, «и не только хорошему, но даже и дурному, ибо свобода, подчиняющаяся закону, одна способна установить прочный порядок, тогда как своеволие неизбежно ведет к деспотизму. Наконец, я сделал воззвание к памяти Грановского. Намекая на недавнюю шумную манифестацию на его могиле в день годовщины его смерти, я сказал, что мы эту драгоценную для нас память не должны призывать в свидетели своих страстных увлечений, а должны беречь как душевное сокровище, для освящения мирного и плодотворного труда, составляющего жизненное дело университета. «В этом, – заключил я, – состоит завещанное нам предание, которое мы обязаны свято хранить, предание, которое, непрерывною цепью передаваясь от поколения к поколению, делает из университета учреждение незыблемое, краеугольный камень русского просвещения и надежду русской земли».

Студенты были увлечены. Рукоплескания были шумные и продолжительные. Профессора, с своей стороны, выразили мне свое сочувствие. В петербургских высших сферах я также встретил одобрение. Брат писал мне: «Твоя лекция очень понравилась и консерваторам, и всем умеренным людям. Она отвечала потребности, кото-

рую все вообще ощущали и, потому, произвела большое впечатление; со всех сторон у меня ее спрашивают. Горчаков представил ее государю, который надписал: «Много весьма дельного и хорошего».

Зато газеты на меня обрушились. В Петербурге какой-то Берви, который вскоре потом был сослан, разразился яростным фельетоном, а в Москве на меня ополчился Иван Сергеевич Аксаков. Смешивая необходимый государственный порядок с современною русскою казенщиною, он в своем журнале заявил, что я поддерживаю мертвечину» и стою за внешнюю форму, тогда как истинный дух русского народа состоит в том, чтобы искать не внешней правды, а внутренней; как будто искание внутренней правды избавляет гражданина от повиновения внешнему закону.

Такие нелепые, можно сказать младенческие, нападки тем более были способны смутить взволнованную молодежь, что остальные органы литературы молчали. Между студентами началась агитация; меня выставляли поборником правительственного деспотизма. Были слухи, что от петербургских вожаков, которые были крайне недовольны умиротворением Москвы, пришло приказание сделать неприятность попечителю и некоторым профессорам. Наконец, решено было учинить против меня демонстрацию. Накануне я был об этом предупрежден. Утром, перед лекциею, пришли ко мне несколько студентов из моих слушателей и уговаривали меня не ходить на лекцию, потому что собирается толпа с других факультетов, преимущественно медиков, с целью меня освистать. Я сказал, что я все-таки читать буду. Когда я пришел в профессорскую, мне сообщили, что в аудитории собралась масса посторонних студентов. Баршев, который был деканом юридического факультета, пошел их уговаривать, а ко мне явилась депутация от трех курсов, которым я читал: они просили меня итти на лекцию и обещали, что с своей стороны сделают все, от них зависящее, чтобы не допустить скандала. Я пошел в назначенный час. При первых же словах послышалось несколько свистков, но затем раздались оглушительные рукоплескания. Студенты вскочили с лавок и даже на лавки и кричали: «Вон свистунов!». Нашедшую постороннюю толпу буквально вытолкали в двери. Когда все успокоилось, я поблагодарил студентов за поддержку и спокойно прочел свою лекцию. Победа была полная. Несколько дней спустя, когда я взошел на кафедру и собирался читать, встает один студент и заявляет, что он желал бы со мной объясниться. Я сказал, что теперь не время, а после лекции сколько угодно. По окончании чтения, я спросил, что он желает сказать. Он высказал, что и он и другие его товарищи не одобряют происшедшей манифестации, но, тем не менее, они считают долгом заявить мне, что они не сочувствуют моему направлению, признавая меня защитником царизма и деспотизма. Я отвечал, что я защищаю только то, что должен защи-

щать каждый либеральный человек, если он здраво смотрит на вещи, а именно законный порядок, без которого невозможна свобода. Каков мой образ мыслей, это покажет мой курс, по которому единственно студенты могут судить о моем направлении. Препирательство продолжалось четверть часа, после чего я сказал, что теперь настало время для другой лекции, а если кто желает подробнее со мной потолковать, то пускай придет ко мне на квартиру. Студент, мне возражавший, действительно пришел, и потом часто возобновлял свои посещения. Скоро он разубедился в моих наклонностях к деспотизму, и мы стали друзьями. Это был Хлебников, впоследствии профессор Варшавского университета, автор книги об общественных отношениях древней Руси*.

С тех пор я, в течение всего своего семилетнего пребывания в университете ничего, кроме сочувствия, в студентах не встречал. С первых же пор установились наилучшие отношения. Вообще, после события на Тверской площади Московский университет на много лет успокоился совершенно. Два-три месяца спустя, не заметно было даже ни малейших следов прежнего волнения. Без всяких стеснительных мер, одним дружным действием власти и профессоров, их нравственным авторитетом, спокойствие было восстановлено вполне.

Не то было в Петербурге. Там тоже произошло побоище, которое брат описывал мне в письме от 13 октября.

«Положение дел теперь следующее: 654 студента приняли матрикулы. Третьего дня курсы открыты. Студентов было очень мало, преимущественно оттого, что перед университетским зданием стояла толпа непринявших матрикулы, которые подтрунивали над входящими. Вчера то же самое повторилось: 120 человек стояли перед университетом. Паткуль попросил их разойтись; но они отвечали отказом. Тогда он сказал: «Господа, я должен буду вас арестовать». «Мы этого и желаем». «Но ведь я вас отведу в крепость». «Нам этого и хочется». «В таком случае будет сделано по-вашему».

С Паткулем было только несколько жандармов и городовых; он послал за двумя батальонами преображенцев (которые, вероятно, были приготовлены), студентов окружили и повели, между тем как они кричали и махали фуражками. Во время шествия вдруг, из-за угла, около 200 студентов кинулись с палками на солдат с криками «Ура, выручим!». Одного из них, который хотел прорваться, один солдат ударил прикладом по челюсти, так что тот упал. Жандармов студен-

---

* Б. Н. Чичерин имеет в виду вышедшую в 1872 г. докторскую диссертацию Н. И. Хлебникова: «Общество и государство в до-монгольский период русской истории». Любопытно отметить, что Хлебников в 1879 – 1880 г. выступал в «Киевских университетских известиях» со статьями, направленными против социализма и материализма.

ты тоже били палками, и двое или трое отвечали саблями, впрочем необнаженными. Солдаты начали горячиться, и их очень трудно было сдерживать. Все кончилось несколькими ранами. Прибывших вновь студентов тоже оцепили, и всего 280 человек посажены в крепость. По городу говорили, что они в казематах на хлебе и на воде; это вздор. Все это почти официальные сведения».

В Петербурге положение обострилось близостью социалистической литературы, которая вела тайную и явную пропаганду, а также и фальшивым положением наиболее влиятельных профессоров, которые, с одной стороны, старались воздержать студентов, с другой стороны – вели оппозицию против правительства. Но последнее, ободренное в особенности водворившимся в Москве спокойствием, не думало уступать. Дело кончилось тем, что пятеро из лучших профессоров Петербургского университета: Кавелин, Утин, Пыпин, Стасюлевич и Спасович, а затем и Костомаров – вышли в отставку. Юридический факультет опустел, а, между тем, надобно было открывать курсы. Тогда в правительственных сферах возникла мысль перевести меня в Петербург, чтобы пополнить пробел и водворить в Петербургском университете консервативный дух. Я прямо получил предложение от ректора Горлова, на которое отвечал отказом, но на этом не успокоились. Брат писал: «Петр Казимирович (Мейендорф) сказал мне: «Я им говорю, что его надо беречь; опасно подорвать его популярность орденом или слишком заметным проявлением милости». Я обратился к Горчакову, чтобы просить его удержать излишнюю благосклонность. Он отвечал: «Нет, дело идет не об ордене, а скорее о приглашении его в здешний университет»*. Я положительно уверял, что ты не оставишь своей кафедры, потому что, отказавши здешним профессорам, ты не можешь принять предложение правительства».

Я отвечал брату: «Скажи Горчакову, что я места в Петербургском университете, не приму: 1) потому что я сердечно привязан к Московскому университету, 2) потому что я здесь в кругу людей, которые одинаких со мной мнений и с которыми можно действовать заодно, 3) потому что мне здесь больше времени для работы, 4) потому что, если меня выпишут в Петербургский университет для распространения консервативных мнений, то я буду поставлен в самые неловкие и неприятные отношения как к профессорам, так и к студентам. Это свяжет меня по рукам и по ногам. Впрочем, я очень благодарен за доброе ко мне расположение».

Однако, и на этом дело не остановилось. Вскоре прибыл в Москву сам министр народного просвещения, граф Путятин; он обратил-

* В подлиннике по-французски.

ся ко мне с тем же предложением. После длинного разговора с ним, я писал брату:

«Министр приезжал сюда показаться университету и вербовать профессоров. Я имел с ним разговор в продолжение часа и, несмотря на лестное ко мне внимание, убедился, что он невозможен: он не понимает ни нравственных отношений, ни общественного состояния. Он просто туп и вдобавок упрям. Ему хочется во что бы ни стало пополнить юридический факультет Петербургского университета, доказать вышедшим профессорам, что можно без них обойтись.

А пополнить порядочным образом факультет невозможно; дурно пополнить хуже, нежели вовсе не пополнять. По-моему, лучше факультет закрыть, нежели. компрометировать себя тщетными попытками. Я ему объяснял, что даже временно не могу перейти в Петербургский университет, потому что поставлю себя в самое фальшивое положение; что отправиться в чужой университет с целью восстановлять порядок, невозможно; что вышедшие профессора, хотя, по моему мнению, увлекаются, но все же – цвет Петербургского университета, и никто не согласится явиться в их же университет с протестом против них; наконец, что я могу содействовать правительству только находясь в независимом положении, но, как скоро я становлюсь орудием правительства для исполнения его целей, я погибаю безвозвратно. Он мне отвечал, что надобно жертвовать собою, что не надобно искать популярности, и тому подобные пошлости, которые показывают, что он ничего этого не понимает».

И эти письма были прочтены Горчакову и с некоторыми выпусками представлены государю. Брат писал мне:

«По секрету могу сообщить тебе надпись, сделанную его величеством: «Это показывает, что испорченность общественного мнения ставит людей самых благомыслящих в фальшивое положение». Эти слова почти буквальны, и об них у меня было рассуждение. Значит ли это, что Путятин в фальшивом положении или скорее, что ты, несмотря на свои отличные намерения, поставлен в то фальшивое положение, что не можешь не только искать, но даже принять покровительство правительства. Я думаю, что он рассуждал так, что при правильном общественном мнении похвала правительства выставляет человека, а у нас будто унижает. Он не ясно сознает различие между литератором и чиновником».

Положение независимого писателя так мало понималось в правительственных сферах, что я в то же время получил весьма любезное письмо от министра внутренних дел, который приглашал меня писать в затеваемой им «Северной Почте», которая должна была служить руководительницею русского общественного мнения. «Позвольте принести Вам покорнейшую просьбу не исключать этой газеты из числа тех повременных изданий, в которых Вам угодно по-

мещать Ваши статьи, – писал мне Валуев, – Приношу Вам эту просьбу прямо и собственноручно, чтобы иметь удовольствие воспользоваться этим случаем для непосредственного засвидетельствования Вам моего искреннего уважения».

Я отвечал:

«Милостивый государь, Петр Александрович. Мне в крайности прискорбно, что я должен отвечать отказом на приглашение, которое я имел честь получить от Вас. Надеюсь, что взглянувши на причины моего несогласия, Вы сами убедитесь, что мое участие в «Северной Почте» едва ли было бы полезно для цели, которую Вы себе предполагаете.

Положение писателя вообще довольно щекотливо. Он может действовать на общественное мнение только силою своего убеждения, а искренность убеждений измеряется полною их свободою и независимостью. Малейшее сомнение в том, что мысли писателя внушены ему извне, или что он служит орудием чужих видов и целей, роняет его в глазах публики. Поэтому участие в каком бы то ни было официальном журнале противоречит моим правилам. Тут есть своего рода честь, которую лучше доводить до крайности, нежели компрометировать ложным положением. Как деятель, я могу служить своему отечеству в самой подчиненной сфере; как писатель, я могу служить ему, только оставаясь вполне независимым.

У нас в России писатель должен быть вдвойне осторожен. У нас правительство имеет такое преобладающее значение, оно в такой степени возвышается над обществом, что свобода мнений считается заслугою, и оппозиционная мысль всегда может рассчитывать на популярность. У нас нужна некоторая смелость, чтобы самостоятельному человеку поддерживать в литературе правительственное направление. Писатель же который налагает на себя официальный штемпель, немедленно лишается всякого влияния на общество. Никто не хочет верить в его искренность и независимость, потому что независимость у нас слишком еще недавнего происхождения и слишком мало обеспечена. Служить правительству так выгодно, что естественно является подозрение в материальных расчетах. Я, разумеется, не придаю этому более веса нежели следует; я думаю, что человек с убеждением не только может, но и должен действовать иногда наперекор общественному мнению. Но компрометировать свое положение можно только тогда, когда есть в виду существенная польза; в настоящем же случае я убежден, что произойдет более вреда, нежели пользы, ибо всякое слово, сказанное в защиту власти, имеет несравненно более веса в независимом органе, нежели в официальном журнале, где оно получает характер казенного внушения. Правительство может действовать на общественное мнение не словом, а делом; поддерживать же его словом в благих его начинаниях

оно должно предоставить частным людям, которые могут судить о нем беспристрастно и свободно спорить с другими. Только независимые силы, возникшие среди самого общества, в состоянии уничтожить ту бездну, которая в настоящее время, вследствие давно накопившихся причин, отделяет правительство от общества, и которое, по мнению всех здравомыслящих людей в России, составляет одно из главных наших зол. Покровительство власти или материальная солидарность с правительством может только парализовать эти едва возникающие стремления. Я, с своей стороны, льщу себя надеждою, что я могу несколько содействовать желанному сближению. Теперь мое положение тем благоприятно, что я могу сказать: «Мне до правительства дела нет; я совершенно независимый человек и сужу о нем беспристрастно; но именно, как беспристрастный зритель, я должен сказать, что оно желает добра, если не всегда его видит, и что в самых существенных вопросах оно действует для блага России». Если бы я сделался сотрудником «Северной Почты», подобные доводы были бы для меня невозможны.

Вы видите, милостивый государь, что на Ваше письмо, писанное в форме, к которой мы не привыкли, я счел долгом отвечать с полною откровенностью. Мне казалось, что я не могу лучшим образом показать Вам, что я умею ценить и лестное для меня предложение и способ, которым оно делается. Надеюсь, что Вы примете в уважение изложенные мною причины отказа, и прошу Вас, милостивый государь, принять уверение в истинном моем почтении и преданности».

Петербургские литераторы, ближе стоявшие к чиновничьей сфере, иначе смотрели на это дело, нежели я. Главным редактором «Северной Почты» был назначен почтенный А. В. Никитенко, который однако же недолго остался на этом месте. По обыкновению министр обещал ему всего на свете и не сдержал ничего. Впоследствии Валуев на ту же удочку притянул Цитовича, который не устоял против искушения и с первых же шагов погиб безвозвратно.

Стараясь всячески отстоять свою независимость, я не мог, однако, помешать нашим мудрым властям оказать мне медвежью услугу. Вдруг я узнаю, что цензорам запрещено пропускать возражения на мою первую лекцию. Меня это взорвало, и я тотчас написал графу Путятину следующее письмо:

«Ваше сиятельство! До меня дошли слухи, которые я имею основание считать достоверными, что цензурным комитетам запрещено пропускать возражения на мою первую лекцию. Я был глубоко огорчен этим известием. Писатель, который выступает на поприще свободных прений под защитою полицейской власти, справедливо подвергается не только нареканиям, но и презрению общества. Я этого не заслужил. Я для защиты своих мнений никогда не просил,

не прошу и не буду просить полицейского покровительства. Я свободу прений считаю необходимым и непременным условием успешного развития общественной мысли и возможности действовать на общественное мнение. Поэтому покорнейше прошу, Ваше сиятельство, снять с меня клеймо, оскорбительное для моей чести, как писателя, и официально предписать цензурным комитетам пропускать какие бы то ни было возражения против каких бы то ни было статей, писанных мною, если только эти возражения в других отношениях не противоречат цензурным правилам. Иначе человеку с независимою душою и с честными убеждениями невозможно будет сказать ни единого слова в пользу власти, порядка и закона. Честь имею быть и проч.»

Копию с этого письма я послал брату с просьбою распространять его всюду и вместе хлопотать о снятии запрещения. Это и было сделано. Мое личное положение было, однако, делом совершенно второстепенным. Главная задача состояла в том, чтобы отстоять существующее устройство университетов, на которое ополчились не только в литературе, но и в правительственных сферах. В то время как студенты бунтовали, как все университеты были расшатаны, из среды выдающихся, петербургских профессоров послышались голоса, требующие коренного изменения всего их внутреннего строя. Костомаров написал статью, в которой он доказывал, что университеты должны быть не школами для юношества, а открытыми для публики заведениями, рядом публичных лекций, на которые могут приходить люди всякого пола и возраста. Он восставал и против корпоративного устройства, утверждая, что корпорации вовсе не в духе русского народа, а составляют заимствование извне, чистый анахронизм, порождение свойственной нам в последние века слепой подражательности. Он ссылался при этом на Хомякова, который, как чисто русский человек, хотел чтобы учебные заведения были открытые и чтобы самые экзамены производились публично. С своей стороны Стасюлевич, возражая Костомарову, допускал, что корпорации не в духе русского народа, но указывал на то, что у русского народа есть своеобразное учреждение, мир, и из этого выходит, что студенты должны образовать мирские сходки.

Московские профессора были возмущены этими статьями. Мысль образовать из студентов мирские сходки была до такой степени дикая и нелепая, что трудно было понять, как она могла зародиться в человеческом мозгу. И что же я впоследствии узнал? Эта мысль принадлежала Кавелину, который развивал ее в записке, бывшей у меня в руках*. Проповедовать печатно такого рода воззрения

* Очень умеренная записка К. Д. Кавелина «О беспорядках в СПБ университете», составленная 1 октября 1861 г., напечатана в Собрании его сочинений.

значило прямо поддерживать студентов в самых крайних их притязаниях. Это была, однако, еще наименьшая опасность. В правительстве предложение о мирских сходках очевидно не могло найти отголоска. Но мысль Костомарова понравилась. Корпоративному устройству приписывали солидарное действие студентов; думали, что лучшим исходом будет уничтожение самого студенчества. Нам сообщили, что в высших сферах об этом весьма помышляют. Делянов, назначенный попечителем петербургского учебного округа, прислал в Москву статью Костомарова с приложением проекта, написанного в этом духе.

Я тотчас написал брату: «Здесь распространился слух, что хотят университеты сделать совершенно открытыми заведениями, уничтожив даже экзамены. Ради бога, скажи князю Горчакову, что он России окажет незабвенную услугу, если он настоит на том, чтобы не бухнули нам этого на голову, не спросив наперед тех, кто это дело знает. Говорю по искреннему убеждению: большего удара русскому просвещению нанести невозможно, Все предшествующие меры, даже ограничение комплекта – ничто в сравнении с этим, ибо это – уничтожение высшего преподавания и обращение университетов в кафедры общественной пропаганды.

Напиши, что об этом знаешь».

Брат отвечал: «Вчера получил твое письмо о слухах, что университеты хотят всем открыть без экзаменов. Я был нездоров, но через третье лицо сообщил твои замечания; они приняты к сведению, как очень важные; но мне отвечено, что до сих пор ничего не решено. Вот что я узнал стороной: проект в этом роде будет представлен Корфом, который имеет наиболее шансов наследовать Путятину. Некоторые из сановников добиваются, чтобы его допустили в Совет министров, чтобы защищать свою программу; но рассуждения еще не было, и, во всяком случае, ты хорошо сделал, что выразил так категорически свое мнение. Я знаю людей благонамеренных, которые были в пользу этого проекта, а теперь призадумались. Постараюсь еще кое-кому внушить твое воззрение. Может быть, это ни к чему не поведет, но попытаться следует. Единственным серьезным ручательством было бы натурально созвать людей, близко знающих дело, но, кажется, исполнить это в настоящую минуту невозможно. Одно из препятствий, что здесь были недовольны петербургскими профессорами. Кроме того, самый этот способ действия пугает: вызвать одного, другого профессора из Москвы, Казани, на это, пожалуй, согласятся, но составить из них комитет, на это смелости не хватит».

Тогда я решился печатно возражать Костомарову и высказать убеждения, что наши университеты не нуждаются в радикальном преобразовании. «Им нужен пересмотр уставов, – писал я, – но ско-

рее для того, чтобы возвратить им должное значение, чтобы утвердить их на установленном преданием пути, нежели для перестройки их на новый лад. Университетам нужно не столько преобразование, сколько поддержка, а прежде всего нужны осторожность, уважение и любовь». Я резко восставал против водворившейся в русском обществе страсти к мечтательным нововведениям, против легкомыслия, с которым колеблются все жизненные устои. Я говорил, что учреждений, основанных на нравственном духе и принесших многие полезные плоды, следует касаться со страхом и трепетом. Тут преобразования должны совершаться не иначе, как по настоятельной необходимости, на основании зрелого суждения и ясно дознанного опыта. Иначе общество лишится всяких прочных основ.

В другой статье я разбирал вопрос об отмене служебных преимуществ университетов. Я доказывал, что это значит дать привилегии невежеству. Я старался доказать и неприменимость у нас служебных экзаменов и опять настаивал на том, что в деле народного образования следует поступать с крайнею осторожностью и необходимо держаться твердой и последовательной системы действий. Вместо того, чтобы менять учреждения, часто достаточно поставить настоящих людей.

Костомаров мне отвечал, и я написал новое возражение. Брат писал мне: «Твоя статья в «Ведомостях» всем уже известна, и твою точку зрения очень одобряют... О проекте Корфа стали меньше говорить. Он сам уже не кандидат в министры, потому что получил место Блудова во 2-м отделении».

Правительство решилось, наконец, составить комиссию из профессоров и попечителей для просмотра университетского устава. Брат писал: «На днях Горчаков спросил у меня, когда ты сюда будешь. Я отвечал, что к Пасхе. Ему бы хотелось, чтобы ты был пораньше, прежде нежели окончательно решат преобразование университетов. Горчаков сказал: «Не могли бы он устроить так, чтоб его выбрали? Это дало бы возможность его пригласить сюда. Хотят вызвать попечителя и двух профессоров, и мое мнение было таково, что следует предоставить право избрания этих двух Совету университета, но на это не соглашаются. Во всяком случае, я не думаю, чтобы можно было поручить это попечителю; он бы выбрал лиц; одинакового с ним образа мыслей; надо чтобы выбор принадлежал, по крайней мере, министру». Петр Казимирович, напротив, говорит: «Я думаю, что не следует вызывать Вашего брата, чтобы его не затаскать; лучше вызвать людей более преклонного возраста, которым нечего терять; надо сохранить Вашего брата для будущего»*. Это мнение и я защищаю».

* В подлиннике по-французски.

Попечителем назначены были Соловьев и Бабст, которые и поехали в Петербург на совещание. Выбор был отличный; можно было надеяться на благополучный исход всего дела.

Вместе с тем, министром народного просвещения на место графа Путятина назначен был Головнин. Брат спрашивал, какого я о нем мнения. Я отвечал: «Я с ним за границею довольно хорошо познакомился и нахожу, что он в кругу людей, не близко его знающих, имеет совершенно ложную репутацию. Его считают человеком очень умным и коварным, а по-моему, он человек честный и небольшого ума, усидчивый, трудолюбивый, упорный, но до крайности узкий и педант... Головнин воображает себя великим государственным мужем и имеет рецептики на все государственные вопросы, чем и пробавлялся Константин Николаевич. Он два года был членом Главного правления училищ; может быть, он тут и занимался народным просвещением. Но практически он этого дела вовсе не знает, и неизвестно, что он заберет себе в голову. Если он попадет на хороший путь, из него может выйти порядочный министр, но отвечать за это нельзя, а можно опасаться, что он в покое не останется, а начнет придумывать разные полезные или бесполезные предприятия, чтобы ознаменовать свое пребывание в министерстве».

Это действительно и случилось. В Петербурге он тотчас завел публичные лекции в Думе, нечто вроде открытого университета, какого требовал Костомаров. Скоро, однако, опыт показал всю несостоятельность этого предприятия при тогдашних условиях русского общества. Вследствие производимых публикою беспорядков эти лекции были прекращены. В Москве не представлялось повода к такого рода нововведениям; но Головнин хотел сразу учинить грандиозное пополнение университетов свежими силами. Одна из первых бумаг, которую мы получили от него в Совете, содержала в себе вопрос: какое, по нашему мнению, лучшее средство в короткое время приготовить значительное количество профессоров и преподавателей? Мы отвечали, что такого средства не существует, что в этом деле надобно поступать с разбором и осторожно, оставлять при университете и посылать за границу только молодых людей, действительно подающих надежды, каких в каждом выпуске бывает немного. Однако Головнин этим не удовлетворился; по рекомендации петербургских журналистов, он послал за границу целую ватагу молодых людей, из которых большею частью ничего не вышло.

Самый университетский устав подвергся бесконечным обсуждениям. Выработанный комиссией проект не только был разослан по всем университетам для обсуждения в советах, что имело некоторый смысл, но был послан разным иностранным ученым, которые о положении и потребностях русских университетов не имели ни малейшего понятия, а потому не «в состоянии были сказать путное слово.

Все это тщательно было собрано в многочисленные фолианты, которые рассылались направо и налево. Сам Головнин задался мыслью прославить свое министерство уничтожением служебных преимуществ высшего образования. В то время это считалось либеральною мерою. С этим планом он приехал в Москву. В течение целого вечера мы с Дмитриевым старались убедить его, что при нашей служебной системе это будет только премиею невежеству и открытием самых широких дверей протекции. Он остался при своем мнении, но, разумеется, из этого ничего не могло выйти; чтобы отменить служебные преимущества университетского образования, надобно было предварительно пересоздать всю государственную службу. Новый устав вышел таким, каким он должен был быть. Сохранены все существенные основания университетского устройства. Власть попечителя намеренно осталась несколько неопределенною для того, чтобы в случае нужды можно было придать ей нужную силу. Самая важная перемена против прежней системы состояла в подчинении инспекции избираемому Советом проректору; но так как попечитель оставался высшим руководителем, то это не было в сущности ограничением его власти. После студенческих беспорядков менее всего можно было думать о том, чтобы ограничить права начальства. Поэтому, когда впоследствии старались выставить устав 1863 года плодом господствовавшего в то время крайнего либерализма, то это было бессовестным искажением истины. Из предыдущего изложения можно видеть, что московские профессора, которые вырабатывали и обсуждали этот устав, вовсе не были заражены духом крайнего либерализма. Можно, напротив, сказать, что он был плодом здравого консервативного направления, впервые тут выразившегося. Как я подробно расскажу ниже, поход против устава 1863 года был предпринят Катковым и Леонтьевым из чисто личных целей, и так как они не брезгали никакими средствами, то они с обычным своим бесстыдством представляли в совершенно превратном виде дело хорошо им известное. А отуманенное правительство и невежественная публика принимали все это за чистые деньги.

12 января, день основания Московского университета праздновался одним из тех публичных обедов, которые вошли в обычай в последние годы. Профессора были поставлены в затруднительное положение. Нам известно было, что в публике, при тогдашнем анархическом брожении умов, при постоянном подстрекательстве радикальных газет, многие весьма недоброжелательно смотрели на стойкое наше положение во время университетских волнений. Нас предупреждали даже, что хотят воспользоваться обедом, чтобы публично учинить нам какой-нибудь скандал. По этому поводу я писал брату: «Вот тебе маленький образчик такта, с которым действуют наши власти. 12 января затевается обыкновенный университетский

обед. Несвоевременнее этого ничего быть не может. При шатком положении университета, при общем раздражении умов, наверное можно сказать, что тут произойдет какая-нибудь демонстрация или скандал. Наша публика вообще приличия не знает, а за этими обедами имеет обыкновение напиваться. Предметом скандала будут, разумеется, профессора. Между тем, обед затевает губернский предводитель в виду предстоящих выборов; обед будет такой многочисленный, какого никогда не было, потому что вместо 6 рублей плата 3 рубля, следовательно, будет публика всякого рода. Из университета об этом никого даже не спросили, и теперь мы стоим между двумя опасностями: если мы не поедем – скажут, что мы струсили, и это будет иметь вид демонстрации, что очень дурно; если поедем – мы подвергаемся неприличным выходкам со стороны пьяной и буйной части публики, не говоря уже о том, что всякие демонстрации возбуждают страсти, а университету нужен прежде всего покой. Когда есть власть предупреждать волнения, надобно употреблять ее с толком. Но, разумеется, теперь запретить обед было бы гораздо хуже, нежели предоставить все на произвол судьбы. Я сильно опасаюсь, что при этих обстоятельствах, с наплывом студентов из Петербурга, у нас будет дурное полугодие. Мы должны на своих плечах выносить все глупости, которые делаются вокруг нас».

«Говорят еще, – прибавлял я, – что Чернышевскому разрешено читать публичные лекции. Это тоже искра на порох. Право, у нас, кажется, не имеют ни малейшего понятия о том, что делается в обществе. Живут в каком-то заколдованном круге, из которого ничего не видят. Знаешь ли, что все военно-учебные заведения заражены духом Чернышевского? Вероятно, если бы об этом догадались, то стали бы исправлять самым косолапым образом, вроде последних университетских мер. Неужели нужен переворот, чтобы у нас явился государственный человек?»

Предупрежденные о возможности скандала, большинство профессоров, с Соловьевым во главе, не поехали на обед. Но я думал, что ехать надо, хотя мне говорили, что демонстрация будет направлена против меня, в отместку за неудавшийся скандал в университете. Я сообщил свои мысли Щербатову, который поддержал меня в моем намерении, и сам поехал со мной на случай, если б оказалась нужною какая-нибудь помощь. Все обошлось благополучно. Когда я вошел в залу и пошел занимать место за столом, я заметил, что Козлов, один из вожаков социалистической партии, впоследствии образумившийся и сделавшийся профессором философии, застучал ножом, чтобы обратить на меня внимание. Обед прошел тихо; но как только мы встали, ко мне подошел Усов, в то время крайний радикал, говорун и балагур. Он начал развивать тему, что университет уже более не существует. К счастью, в эту самую минуту кто-то его

отвлек. Щербатов меня толкнул, и мы уехали незаметно. Демонстрации не над кем было производить.

Мои опасения насчет наплыва петербургских студентов тоже не оправдались. Московские студенты не двинулись. Закончив свои лекции, я обратился с маленькою речью к трем курсам юристов, которые меня слушали. Я сказал им, что теперь они с полным сознанием могут судить о том, какого я держусь направления; что к газетным толкам я совершенно равнодушен и дорожу только сочувствием аудитории. Дружные рукоплескания показали мне, что я это сочувствие успел приобрести. Оно могло вполне вознаградить меня за то, что я в публике прослыл ярым консерватором и сделался мишенью для владычествующего в нашей журналистике радикализма.

Одно, что во всей этой университетской истории причинило мне сердечную боль, – это был окончательный разрыв с Кавелиным. Еще недавно, предлагая мне кафедру в Петербургском университете, он писал мне, что хотя мы во многом расходимся, но он «уверен, что личная наша взаимная оценка осталась прежняя, без всяких перемен. Имея против Вас зуб, – прибавлял он, – я никогда не смешивал личных раздражений с понятием, которое составил о человеке». Понятие это было таково, что, отвечая на просьбу о позволении посвятить ему мои «Опыты по истории русского права», он писал мне, что он «с наслаждением и гордостью» помышляет о том, что я был его слушателем в университете. Я и сам гордился таким отзывом и еще более дорожил теми сердечными отношениями, которые завязались между нами в предшествующие годы. Теперь же он до такой степени разъярился, что всякие личные оценки были кинуты в сторону. Я в течение зимы писал ему несколько раз. Между прочим, он словесно через Сатина просил меня уведомить его, кто из профессоров Московского университета подал голос за допущение женщин в университет. Одним из любопытных знаменьев времени было то, что этот вопрос, по предложению высшего начальства, обсуждался в университетском Совете. Я в шутливом тоне отвечал, что нашлось только двое: Зернов и Армфельдт. У последнего, профессора судебной медицины, были взрослые дочери, которые сделались нигилистками и впоследствии были арестованы и сосланы в Сибирь. У первого, профессора математики, было также множество дочерей; рассказывали, что они были одна другой безобразнее, и что он не знал, куда их пристроить, чем и объясняли совершенно несвойственный ему либерализм. Все же остальные профессора, и старые и молодые, понимали всю нелепость подобного предложения. Допускать молодых женщин в университет, когда не знаешь, как справиться с молодыми мужчинами, это было верхом безумия. Но Кавелин за это безумие стоял горой. Я послал ему и свое письмо к Путятину по поводу запрещения писать против меня в газетах. Он все молчал, но, к

крайнему моему изумлению, по рукам стало ходить письмо его к Валентину Коршу, в котором он в самых резких выражениях отзывался о мне и моих товарищах. Очевидно, он был оскорблен. Он принял на свой счет то, что я говорил в своей первой лекции о близорукой пошлости, которая в великих событиях и в знаменательных эпохах видит одну мелочную сторону, потому что иного она понять не в состоянии. Еще более раздражил его мой презрительный отзыв о предложении обратить университет в мирскую сходку. Не подозревая, что эта мысль принадлежит Кавелину, я восклицал: «Боже мой, где мы? Из каких закоулков человеческого мозга вытаскиваются у нас доказательства при обсуждении самых живых современных вопросов?». Этого он никогда не мог простить. Наконец, я получил от него письмо, которое может служить образчиком бессмысленного раздражения, носившегося в тогдашней петербургской атмосфере и всецело охватившего эту впечатлительную душу. Вот оно:

«Письмо Ваше от 6 декабря, почтеннейший Борис Николаевич, было мне доставлено Бабстом только вчера, и потому до вчерашнего дня я не мог ни выполнить Вашего поручения, ни отвечать Вам. Прежде не отвечал на Ваши письма, потому что отвечать было нечего. Клеветам на Тучкова я не верил; целое правление, отправляющееся к Тучкову просить помощи против студентов – дело слишком позорное для университета, чтобы было на это что-нибудь сказать; извещение о профессорах, которые имели довольно здравого смысла, чтобы не запереть двери университета женщинам, конечно, меня очень изумило: я надеялся прочесть другие имена, но, к сожалению, ошибся. На это тоже нечего было сказать. Что же еще? Догадка, что университет волнуют поляки? Это, как выражается один мой приятель, политическая мифология. Непременно нужно олицетворение, нужно найти виноватого, так уж голова у людей устроена. В 1831 году поляки отравляли колодцы, что произвело холеру; в 1834 году они поджигали всю Россию; в 1861 году они бунтуют университеты. Если бы мне это написал косолапый мужик, я бы улыбнулся; от Бориса Николаевича Чичерина мне было странно получить известие о таком открытии, и опять на это отвечать было нечего. Теперешнее письмо Ваше совсем другого свойства. Вы бросили перчатку всему, что недовольно в России, и теперь собственным опытом изведали, что за причина этого недовольства. Мне Вас очень жаль, хотя вначале, когда разнесся слух, что Вам отправлено высочайшее благоволение за Вашу первую лекцию, я душевно обрадовался. Паря в превыспренних идеи и науки, созерцая с высоты величия дела людские и презирая, как и следует, наши мелкие скорби и печали, Вы находите смешными и жалкими наши вопли и сетования. Куда же Вам, олимпийцу, собеседнику вечного, снизойти до того, что, может

быть, и в нелепо выраженной скорби есть своя доля правды, которую можно выразить и лепо. Вы сами снизошли к нам с недосягаемой высоты, храбро доказали нам всю нашу несостоятельность и пошлость и – как логическое последствие Ваших действий – сопричислены к лику благонамеренных. Что ж тут необыкновенного? Я удивляюсь, отчего у Вас недостало мужества и гражданского героизма принять и этот естественный вывод из того, что Вы делали и делаете. Скажу Вам больше: это с Вашей стороны слабость, и слабость непростительная, после самоотвержения, которое Вы доказали так блистательно. Ведь правительство разумно и победоносно шествует вперед к благу отечества? Ведь одни пустозвоны им недовольны, ищут скандалов и нарушают своей глупой трескотней торжественное развитие судеб нашего великого отечества? Отчего же Вас так смутило, что оно, мудрое наше правительство, неусыпно пекущееся о благе своих верноподданных, заградило уста клевете, неблагонамеренности и тем доставило истинам, выраженным в Ваших писаниях, полное нераздельное торжество? Я бы, с Вашей точки зрения, этому весьма бы возрадовался и возвеселился. Какое Вам дело до порицаний пустозвонов и безмозглых порицателей? Какое Вам дело до их сочувствия? Мудрое наше правительство, без сомнения, находит полное сочувствие во всех благомыслящих и разумных сынах своих; следовательно, все благомыслящее и разумное должно только радоваться, что Вы, глашатай вечной истины, можете невозбранно поучать юношество и публику. Повторяю, я не понимаю, чем Вы огорчены и опечалены. Неужели Вы думали, что благословляя и одобряя правительственные распоряжения и бросая гром и молнию против порицателей правительства, Вы не будете занесены, в том или другом виде, в список кандидатов на Анну на шею? И отчего Вам не хочется получить Анну на шею? Ведь, написавши умную и дельную книгу, прочитав хорошую лекцию, Вы довольны, когда слышите кругом себя одобрительный говор? Может быть, Вы, объявляя войну врагам правительства, имели в виду не то правительство, с которым мы все имеем дело, а другое, сложившееся в Вашем воображении, и потому недовольны, когда это, действительно существующее благодарит Вас по-своему? Но тут уж Вы сами кругом виноваты. Вам бы следовало точнее оговориться, а то из Ваших слов можно подумать, что Вы относитесь не к воображаемому идеалу, а к действительности, которые далеко не сходятся. И глупая эта публика вовсе Вас не поняла по Вашей же вине: она, читая Ваши бесподобные отзывы о правительстве, представила себе, что Вы говорите о Чевкиных, Паниных, Муравьевых, Строгановых, Филипсонах и т. п. и удивилась; ее-то удивление и заставило Путятина оградить Вас от нападений.

Я свято исполнил Ваше желание: сообщил кому только мог Ваше письмо. До получения его я делал гораздо больше: направо и налево защищал Вашу добросовестность, как делал это давно тому назад, по поводу Вашего знаменитого письма, напечатанного в «Колоколе». Одного я не защищал и не мог защищать, если б даже хотел, это – ясного понимания Вашего окружающей действительности, тонкого чутья правды и неправды в той среде, в которой нам суждено жить. Мне казалось лучше ограждать самое дорогое для всякого, по крайней мере для меня, именно добросовестность и честность писателя, чем настаивать на таланте понимать действительность. Последний ведь имеет много оттенков и им можно злоупотреблять...

Вот уж второй раз, что мы ведем между собой такую странную переписку. На этом разе она во всяком случае должна кончиться. Восхваляйте правительство, громите пустозвонов, сколько Вам угодно, составляйте обвинительные акты без числа против Тучкова и подобных ему генерал-губернаторов; продолжайте смотреть на студентов как на негодных мальчишек, достойных розог, и на глухое недовольство против правительства как на дело невежества, легкомыслия и бретерства. Только, бога ради, не думайте ни одну минуту, чтоб я мог сколько-нибудь Вам сочувствовать. Теперь мне совершенно ясно, что наши взгляды, пути, способ действий, симпатии и антипатии совершенно различны. Нас разделяет бездна, которую не наполнит ни память о Грановском, ни память о том, что мы прежде были близки и действовали вместе. Каждый из нас пойдет своей дорогой, не вдаваясь в бесполезные словопрения, которые только поднимают злость со дна души, без всякого результата».

И все это писалось несколько месяцев после освобождения двадцати миллионов русских людей, в то время как вырабатывались и судебная и земская реформы! Трудно даже постигнуть подобное ослепление. И когда подумаешь, что это писал человек искренний и благородный, еще недавно совершенно трезво смотревший на вещи, то можно составить себе понятие о царившем вокруг него умственном хаосе, среди которого люди шатались в каком то бреду, и как бы в густом тумане, затмевающем свет солнца, виднелись им всюду чудовищные призраки. Конечно, всякому другому я на подобное письмо или вовсе бы не ответил или отвечал бы в другом тоне. Но к Кавелину я счел нужным обратиться с последним воззванием, нисколько впрочем не обольщая себя насчет успеха. Вот мой ответ:

«Сейчас получил Ваше письмо, почтеннейший Константин Дмитриевич, и спешу на него отвечать. Мне уже было известно, что Вы на меня сердитесь, но я тщетно старался уяснить себе причины Вашего раздражения. По прочтении Вашего письма, они для меня еще менее понятны. Если бы я попросил Вас указать, что именно я сделал или написал такого, что могло вызвать Ваши нарекания, то Вы

были бы в большом затруднении. Единственное, что я могу придумать, это то, что в начале своей вступительной лекции, говоря о реформах, которые происходят у нас, я сказал слово в пользу правительства, которое их совершает. Нигде, кроме этого, я своих отношений к правительству не высказывал. Но позвольте Вас спросить по совести: всякий разумный и либеральный человек не обязан ли глубокою благодарностью правительству, освободившему крестьян? Не составляет ли это для нас залог всех будущих реформ? Вы, по крайней мере, так думали прежде, а я так думаю и теперь. И не обязаны ли мы сказать слово в пользу этого правительства, когда против него со всех концов России раздается вопль помещичьего негодования. Полагаю, что честный и либеральный человек может иметь такое мнение, не подвергаясь за это нареканиям со стороны честных же людей. А больше этого никто не в праве мне приписать. Если вы удивляетесь, почему я, поддерживая правительство в тех реформах, которые оно совершило или предпринимает, не соглашаюсь принять Путятинского покровительства или Анны на шею, то в Вас говорит раздражение, которое мешает Вам понимать и уважать чужие убеждения. Я протестую против Путятина, потому что я стою за свободу мнений и одинаково возмущаюсь против деспотизма сверху, который хочет преградить всякое прекословие, и против нетерпимости снизу, которая говорит: «Я вас знать не хочу, потому что вы не разделяете моего образа мыслей, или даже просто потому, что вы не так раздражены, как я». Опомнитесь, Константин Дмитриевич, я Вас прошу об этом в последний раз, прежде нежели Вы решитесь разорвать без всякой причины с человеком, который искренне Вас уважал и любил. Вспомните, что шесть лет тому назад мы с Вами стояли на одной почве, и что я этой почвы не переменил; вспомните, что и причины не было переменить почву, потому что в эти шесть лет совершилось то, до чего не доходили самые пламенные наши мечты, вспомните, наконец, что не далее как в Гейдельберге Вы сами в минуты откровенности сознавали, что Вы увлекаетесь личным своим чувством. Взвесьте все это и поймите, что искренний и либеральный человек может не раздражаться так, как Вы, что он в совершенных преобразованиях может видеть ручательство за другие, что мы вовсе не в безвыходном положении, как при «Незабвенном»*; вспомните, что дружное действие людей, одушевленных искренним желанием пользы России, теперь нужнее, нежели когда-либо, и протяните нам руку. Я знаю что в людях известного разряда то положение, которое я принял, возбуждает бог знает какие нарекания. Подлые души понимают только низкие побуждения. Им я отвечаю одним

*«Незабвенный» – эпитет, который прилагался в официальных кругах к имени Николая I (см. Л. М. Жемчужников «Мои воспоминания из прошлого», ч. II).

презрением. Не трудитесь против них отстаивать мою честность. Я дорожу мнением только тех людей, которых я сам уважаю, а потому еще раз прошу Вас опомниться. Я апеллирую от Кавелина раздраженного к Кавелину успокоенному, и, зная душу Кавелина, я твердо уверен, что моя апелляция не будет безуспешна».

Ответа не последовало, и всякие сношения между нами с тех пор прекратились. Шесть лет спустя я встретил Кавелина у постели пораженного ударом Милютина. Во мне воскресли воспоминания моего старого профессора и некогда близкого человека, и я с сердечным чувством обратился к нему с вопросом: не пора ли после столь долгого времени забыть прошлое и протянуть друг другу руку? Но я нашел его кипящим злобою по-прежнему. Он объявил мне, что никогда не забудет и не простит нашего поведения в университетской истории. Он, по его словам, вел тогда оппозицию против правительства, а мы эту оппозицию подорвали: им указывали на нас, кололи им глаза нашим стойким поддержанием порядка, и тем лишили их всякой почвы, что и принудило их наконец покинуть университет. Напрасно я представлял ему, что мы в этом вовсе не виноваты, что мы действовали за себя, в виду тех обстоятельств, в которые мы были поставлены, и что результат оправдал наше поведение. Он ничего не хотел слышать и с негодованием отверг протянутую ему руку. Даже о почтенном и тихом Соловьеве отзывался не иначе, как с величайшим раздражением, называя его «попом» – за то, что тот не приехал совещаться с ним об университетском уставе. Я в то время уже забыл, вследствие чего это случилось, но когда я рассказал об этом Соловьеву, тот отвечал: «Да как же мне было к нему ехать после письма его к В. Коршу?» Так кончились многолетние дружеские сношения с одним из любимых моих профессоров. Это один из тех эпизодов моей жизни, о которых я не могу вспомнить без грусти.

Моей репутации крайнего консерватора содействовали также статьи, которые я писал в эту зиму по другому вопросу, волновавшему умы. В это время в Москве происходили совещания дворянства. Освобождением крестьян дворянство было выбито из прежней колеи, ему приходилось уяснить себе, какое оно примет положение при новом порядке вещей. Тут обозначилось двоякое течение. С одной стороны, закоренелые дворяне хотели замкнуться в своих сословных привилегиях, предлагали впредь допускать вступление в дворянство не иначе, как по баллотировке сословием. Главным представителем этого направления в Московском собрании был Николай Александрович Безобразов. Он подавал записки, говорил пламенные речи, являлся рьяным агитатором. К нему примыкал Орлов-Давыдов, человек, весьма недалекий, исполненный не столько дворянского духа, сколько мелких претензий, но колоссально богатый и желавший играть общественную роль. В связи с этими стремления-

ми были и конституционные поползновения. Прикрываясь мантиею либерализма, вздыхавшие о старых порядках дворяне думали этим способом забрать власть в свои руки и повернуть дело в свою пользу. Они прямо говорили: «это единственное средство связать настоящее с прошедшим». В этом направлении тут впервые начал выдвигаться звенигородский предводитель Голохвастов, сын бывшего попечителя Московского учебного округа, еще очень молодой человек, вовсе не подготовленный к политической деятельности, но весьма неглупый и обладавший несомненным даром слова. Из этого странного сочетания крепостнических вожделений и конституционного либерализма вышел представленный государю от московского дворянства адрес, который однако был возвращен при рескрипте, объявлявшем подобные заявления незаконными. Истинные либералы, конечно, не могли сочувствовать подобным демонстрациям, а люди более радикального направления требовали совсем другого. Если дворянство, лишившись крепостных крестьян, стремилось к расширению своих политических прав, то с другой стороны вся либеральная печать и за нею значительная часть общества высказывались за полное упразднение дворянства как излишнего отныне политического органа. С уничтожением крепостного права, оно должно было распуститься в земстве, то есть в неустроенной массе.

Среднее положение между этими двумя течениями принял мой старый университетский товарищ и короткий приятель, князь Александр Алексеевич Щербатов, который в то время был верейским уездным предводителем. Я был свидетелем первой речи, которую он произнес в собрании. Когда он встал, я, стоя в публике, слышал вокруг себя скептические восклицания; но как только он начал говорить, все собрание было увлечено. Несколько запинаясь, но с тоном глубокой искренности, он сделал воззвание к стоящей выше сословных интересов любви к отечеству. Он умолял своих сочленов, чтобы они, не отрекаясь от созданного историею государственного положения, не отделялись от других сословий, а протянули им руку для совокупной работы на общую пользу. Он говорил, что не само дворянство должно возлагать на себя венец, а пусть его возлагают на него другие, видя его ревность к общему делу и его способность быть руководителем общества. Взрыв рукоплесканий встретил эту прочувствованную речь.

С этой минуты Щербатов приобрел выдающееся положение, как один из разумно-либеральных деятелей среди московского дворянства. Он был выбран членом комиссии о дворянских нуждах; его чествовали обедом, на котором присутствовал и я. Тут мне пришлось даже сказать несколько слов по поводу неожиданной выходки Н. А. Жеребцова, который злился на меня за статью о пресловутой его книге: «Histoire de la civilisation en Russie», напечатанную в газете

«Le Nord» во время моего пребывания в Париже в 1858 году. Воспользовавшись какою-то сделанною мною журнальною заметкою, он в обеденной речи резко на нее опрокинулся. Вести полемические прения на обеде, данном в честь моего приятеля, было совершенно неприлично, и я ограничился несколькими словами ответа, чтобы не подать повод думать, что я уклоняюсь от вызова. После обеда Щербатов упрекнул Жеребцова в неуместной его выходке; тот признался, что он не мог простить мне моей статьи.

В комиссии Щербатов выступил с предложением о некотором преобразовании дворянского сословия. С освобождением крестьян, очевидно, значительная часть дворянских имений должна была перейти в другие руки. Ему казалось полезным для дворянства, залогом силы и прочности его положения – принятие в свою среду избранной части этих новых землевладельцев. В этих видах он предложил включить в число дворян всех землевладельцев, имеющих не менее 500 десятин и окончивших курс в университете. Он прочел мне записку, которую он хотел представить в комиссию, и я ее одобрил, считая эту меру политическою, способною в будущем упрочить положение дворянства, как в провинциальной среде, так и в общем государственном строе. Вопрос был животрепещущий и важный; желательно было гласное его обсуждение не только в дворянском собрании, но и в печати. Поэтому я не очень противился, когда Н. Ф. Павлов стал уговаривать меня написать об этом статью в его газете.

С 1862 года «Наше Время» начало выходить ежедневно. В Москве и Петербурге ходили упорные слухи, что Павлов получает субсидии от правительства. Он это отрицал, и я не имею на этот счет никаких достоверных сведений. Знаю только, что если и были даны какие-нибудь субсидии, то его тут же и бросили. Валуев в это время затевал свою «Северную Почту», которая поглотила огромные деньги, не принеся никакой пользы, а о поддержании охранительного органа он не думал. Павлов в течение первого же года бился из-за денег, искал их направо и налево, и скоро «Наше Время», за неимением средств, кончило свое существование. При тогдашнем настроении общества издавать журнал в умеренном направлении было очень не легко, да и Павлов, в сущности, был к этому неспособен. При всем своем уме и таланте, он был насквозь литератор, а вовсе не политический человек. К тому же на старости лет ему трудно было преодолеть укоренившиеся привычки лени. Каждая маленькая статейка требовала нескольких дней обдумывания и приготовления. Выносить дело на своих плечах он был не в силах. Зная его, я даже крайне удивился, когда узнал, что он затевает газету, и не верил, чтобы из этого могло выйти что-нибудь путное. В действительности это была чистая спекуляция. Павлов был совершенно разорен, жить

было нечем, а, между тем, надобно было содержать довольно многочисленную семью. Он и принялся за издание газеты. Но, зная все это, я, тем не менее, считал своим долгом, насколько мог, поддержать в трудных обстоятельствах старого друга моего отца, человека, которому я сам стольким был обязан. Несмотря на свое решение не писать больше в журналах, я, в виду общественной важности вопроса и личной связи с издателем, склонился на убеждение Павлова и написал в его газете ряд статей о дворянстве.

Отвергая обе противоположные крайности, сословную замкнутость и распущение в массе, я старался доказать, что сословная организация, неуместная в конституционном правлении, в самодержавии имеет существенное значение, что она служит охраною права, опорою и связью рассеянных лиц. Я указывал на то, что русское дворянство создано историею, и что упразднять его в настоящее время нет ни малейшей практической нужды, тем более, что у нас почти не существует то среднее состояние, которое в других странах выступило ему на смену. Не подлежало, однако, сомнению, что с освобождением крестьян материальная основа дворянства поколеблена, а с тем вместе должна измениться его политическая роль. В этом смысле я поддерживал предложение князя Щербатова, как способное упрочить положение дворянства в стране постоянным пополнением его лучшими землевладельческими элементами. Но, вместе с тем, я высказался против центрального представительства от сословий, полагая, что при современном состоянии России оно может сделаться источником значительных затруднений. «В настоящую минуту, – заключал я, – все мы, русские, от мала до велика, все, кому дорого отечество, должны иметь в виду одно великое дело – освобождение, крестьян. Теперь не место для раздоров, пререканий и требований. Мы все должны подать друг другу руку, чтобы общими силами разрешить этот коренной вопрос для Русской земли. Забывая свои частные сетования и потери, мы должны поддерживать власть, которая руководит этим делом. Главная роль принадлежит здесь дворянству... Если оно свято исполнит свое дело, если оно явится достойным своего призвания, оно заслужит вечную благодарность русских людей, и тогда перед ним откроется гораздо более блистательное поприще, нежели то, на котором оно могло подвизаться при крепостном праве».

Вся русская журналистика ополчилась против моих статей. В Москве не только «День», но и «Русский Вестник» ратовали против сохранения дворянства. Одержимый англоманией, вне которой он ничего не хотел видеть и знать, Катков ссылался на то, что английские публицисты находят вредными горизонтальные деления общества, а безвредными только вертикальные, т. е. разделения на партии; как будто это могло иметь какое-нибудь приложение к тогдашней

России, где партии еще не образовались, а сословия выработались историею. Среди самого дворянства выдающиеся люди находили мое направление слишком консервативным. В Петербурге, на одном вечере я встретился с тогдашним губернским предводителем, графом Петром Павловичем Шуваловым, который далеко не принадлежал к числу рьяных либералов. Лицо, которое нас знакомило, называя меня, сказало: «Один из немногих защитников дворянства». «Я нахожу, что он нас даже слишком усердно защищает»*, – отвечал Шувалов.

При таких нападках, пришлось защищаться и выяснять многое, сказанное вскользь и подававшее повод к недоразумениям. Втянутый в журнальную полемику, я решился вполне высказать свою точку зрения. С этою целью я написал в «Нашем Времени» статьи: «Что такое среднее сословие?», «Что такое охранительные начала?» и «Различные виды либерализма». Я различал либерализм уличный, который умеет только ругаться, либерализм оппозиционный, который ограничивается одною критикою, и либерализм охранительный, который стремится сочетать свободу с положительными или связующими элементами общества, не держась непременно известной, данной историею организации, а стремясь, по мере изменения потребностей, заменить одну организацию другою, столь же прочною и надежною. «Сущность охранительного либерализма, – писал я, – состоит в примирении начала свободы с началами власти и закона. В политической жизни лозунг его: либеральные меры и сильная власть, – либеральные меры, предоставляющие обществу самостоятельную деятельность, обеспечивающие права и личность граждан, охраняющие свободу мысли и совести, дающие возможность высказаться всем законным желаниям, – сильная власть, блюстительница государственного единства, связующая и поддерживающая общество, охраняющая порядок, строго надзирающая за исполнением закона, пресекающая всякое его нарушение, внушающая гражданам уверенность, что во главе государства есть твердая рука, на которую можно надеяться, и разумная сила, которая сумеет отстоять общественные интересы против напора анархических стихий и против воплей реакционных партий».

Я с тем большею уверенностью мог становиться на охранительную почву, что в это самое время, как бы в укор бессмысленным порицателям правительства, обнародовались главные основания намеченных реформ, судебной и земской. И об них я высказался в «Нашем Времени», приветствуя с радостным чувством эти новые шаги на пути гражданственности и свободы. Но, разумеется, русскому радикальному озлоблению все это казалось ничтожеством.

* В подлиннике по французски.

Наконец, был еще вопрос чисто политического свойства, который я счел необходимым подвергнуть печатному обсуждению. В это время носились упорные слухи о том, что затевается однородное министерство с первенствующим министром во главе. Мне такое учреждение представлялось весьма опасным в самодержавном правлении, где оппозиция не имеет возможности высказываться и действовать, как при конституционном порядке, и где поэтому, с составлением однородного министерства, устраняются уже всякие возражения. Я высказал свои опасения в письме к брату, который, однако, советовал мне не касаться этого вопроса, а если я все-таки решусь о нем писать, то сделать это с крайнею осторожностью, чтобы не задеть некоторых самолюбий. Дело в том, что роль первого министра хотел играть князь Горчаков, который и бил на эту комбинацию. В виду этих предостережений, а также из опасения цензурных урезок, я решился изложить свои мысли в форме исторического исследования, что, конечно, вовсе не соответствовало требованиям газетной статьи. Политические соображения были потоплены в массе фактического материала, это сделало статью неудобочитаемой, но при тогдашних условиях трудно было об этом вопросе писать иначе.

Таким образом, вопреки своему твердому намерению, я силою обстоятельств был вовлечен в журнальные прения. Но это случилось со мною уже в последний раз. Высказавши все, что я имел сказать, я дал себе слово на этом покончить. С тех пор мне доводилось помещать в газетах случайные заметки и даже вступать в мелкие полемики, но никогда уже сколько-нибудь серьезного участия в журнальной работе я не принимал.

Зато газетные статьи привлекли ко мне такое внимание, какого никогда не удостаивались научные труды, встречавшие только общее равнодушие. Когда я, заключив свой курс, поехал перед святою в Петербург – отчасти, чтобы повидаться с знакомыми, отчасти, чтобы проститься с братом, который был назначен советником посольства в Париж, – я был принят с самою отменного любезностью. У князя Горчакова я обедал несколько раз, и лично он сделал на меня хорошее впечатление. Он был умен, жив, доступен; любя эффектные фразы, он не пересыпал ими разговор, а умел слушать других. Но под этою приветливою внешностью я нашел мало основательного. О внутренних делах он не имел никакого понятия и при этом не добивался дельных сведений, а ограничивался пустыми разговорами. Его жиденький либерализм был в сущности выражением полного отсутствия твердых убеждений. Несомый волною, он мог иногда явиться выразителем истинно национальных интересов, каким он и был в 1863 году, когда, во время польского восстания, на нас ополчилась вся Европа; но точно так же под влиянием случайных побуж-

дений, пошлой угодливости и в, особенности, задетого самолюбия, он мог пожертвовать самыми существенными интересами отечества. Это он и доказал, содействуя страшному усилению Германии, вопреки элементарным требованиям политики, воспрещающей давать слишком усиливаться соседям.

Я представился и министру внутренних дел Валуеву, в котором нашел уж совершеннейшую пустоту. Разглагольствуя о направлении внутренней политики, он, между прочим, отпустил мне такую фразу: «Je m'en tiens au mot de Danton, qui du reste n'est pas mon héros; il faut de l'audace! de l'audace! de l'audace!»* Передаю буквально слышанное собственными ушами. Зачем Петру Александровичу Валуеву потребна была дантоновская смелость, которою он вовсе и не обладал, которой никогда не выказывал, и которая в сущности ни на что не была нужна, этого я никак не мог понять. Еще менее было мне понятно, каким образом в такую критическую минуту можно было вверять управление Россиею такому пустозвону, к которому, как нельзя лучше, прилагались известные стихи Барбье:

Ces marchands de pathos et ces faiseurs d'emphase
Et tous ces baladins qui dansent sur la phrase.**

Это, как и многое другое, доказывало, что Россия все выносит и живет не умом государственных людей, а собственною силою и крепостью. По возвращении моем в Москву, ко мне явился наперсник Валуева, маленький Фукс, и стал меня допрашивать, какое впечатление произвел на меня министр внутренних дел. Я, разумеется, отвечал, что самое отличное.

Во время моего пребывания в Петербурге у Елены Павловны был большой вечер, на котором присутствовала вся царская фамилия. Великая княгиня представила меня императрице и Константину Николаевичу, а государь сам подошел со мною разговаривать, что, как водится, привлекло ко мне всеобщее внимание. Если бы мое самолюбие могло удовлетвориться этими лестными знаками милости, то я мог бы быть вполне доволен. Но всему этому я придавал весьма малую цену, будучи уверен в непостоянстве придворной фортуны, и зная, что для приобретения прочного расположения необходимы качества, которых я не имел, да и не желал иметь. Значение имели для меня не мимолетные знаки внимания, а серьезное дело, и я вернулся в Москву с твердым намерением посвятить себя всецело университету и научной работе, где я мог самостоятельным трудом сделать что-нибудь полезное.

---

* Я держусь слов Дантона, который, впрочем, не мой герой; здесь требуется смелость, смелость и смелость!

** Эти господа, торгующие пафосом и мастерящие воодушевление, все эти фигляры, жонглирующие фразами.

К сожалению, в самом университете, после успешного водворения спокойствия единодушным действием профессоров, являлись уже признаки внутреннего разлада и поднималось дело, которое должно было иметь весьма печальные последствия для университетской жизни.

Наше стойкое положение во время студенческих волнений было главным образом делом молодых профессоров. Этому значительно содействовали наши субботние собрания, на которых мы могли столковаться и обсудить порядок действий. Собирались поочередно у каждого из участвующих. Тут были и некоторые из более старших профессоров, приглашенных с общего согласия: Соловьев, Мильгаузен, из математического факультета Давидов и Лясковский, из медиков Млодзиевский. Среди всех происходивших вокруг нас волнений и возбужденных в обществе вопросов собрания были одушевленные, веселые и дружные. Но старые профессора, не принимавшие в них участия, смотрели косо на этот, как бы замкнувшийся кружок, который сделался силою в университете. В особенности неприятен он был Леонтьеву, которого честолюбие было направлено на то, чтобы иметь преобладающее влияние в университетской корпорации. Но, по своему обыкновению, вместо того чтобы дружелюбным отношением к молодым профессорам приобрести среди них право гражданства, он вздумал их пугнуть и тем заставить их перед ним преклониться. Вдруг, без малейшего повода, в «Современной Летописи» «Русского Вестника» появилась статейка, в которой в самом невыгодном свете описывалось состояние университета и отношение молодых профессоров к студентам. Это была чистейшая гадость, и притом гадость опасная. В то время как брожение между студентами еще не совсем улеглось, а со стороны на нас сыпались всякого рода обвинения, подобная статья, напечатанная в журнале, которого редакция состояла в ближайших отношениях к Московскому университету, являлась подтверждением всех нареканий и могла только усилить волнение. Она была тем коварнее, что все в ней говорилось в общих туманных выражениях, без малейшего указания на какие-либо факты. Многих из нас это возмутило. Когда эта статья была прочтена на одной из суббот, я тотчас сказал, что этого нельзя так оставить и что надобно требовать удовлетворения. Я тут же набросал проект заметки, которую редакция «Русского Вестника» должна была от себя напечатать в «Современной Летописи». Проект был следующий:

«В 49 номере «Современной Летописи» за прошедший год напечатана статья под заглавием: «Администрация и педагогика», в которой в самых черных красках изображается состояние наших учебных заведений и в особенности университетов. Редакция до крайности сожалеет, что в статью, помещенную в журнале, за кото-

рый она ответствует, по ее недосмотру, вкрались обвинения, против которых она должна протестовать всеми силами. Университеты наши, как и все учреждения не безгрешны, они подлежат суду общественного мнения. Но обвинения должны быть доказаны. Обвинения же, оскорбляющие целое сословие и лишенные всяких доказательств, недостойны литературы. Состоя в ближайшей связи с университетом, редакция знает по опыту, сколько в означенном изображении преувеличенного и неверного, а потому покорнейше просить читателей не считать ее солидарною с автором этой статьи».

Этот проект был предъявлен Леонтьеву, но он наотрез отказался напечатать какое бы то ни было извинение. Тогда мы решили послать ему коллективное письмо. Тут, однако, между молодыми профессорами оказался значительный разлад. Редакция «Русского Вестника» имела между ними рьяных приверженцев. Таков был профессор физики Любимов, человек не лишенный дарования, но самый совершенный тип пресмыкающегося, какой я встречал в жизни. Он весь был погружен в материальные интересы и ничего другого не понимал: поесть, пожуировать и получать побольше денег, – такова была для него вся цель существования. От редакции «Русского Вестника» он имел хорошее вознаграждение за журнальные работы и был ее покорным орудием, преданным ей телом и душою. Другой клеврет был недавно поступивший на кафедру гражданского права Никольский, человек ограниченный, бездарный, грубый и подлый. Он был постоянным наперсником и прислужником декана юридического факультета Баршева, которого мы звали нашей игуменьей, а вместе с тем он состоял в близких отношениях к редакции «Русского Вестника», которая сделалась центральным притягательным пунктом для старых профессоров и старалась вербовать между молодыми. Нашлись и другие, которые не желали разрывать с редакциею, а потому уклонились от подписи коллективного письма.

У меня в бумагах сохранился следующий документ с подлинными подписями:

«Мы, нижеподписавшиеся, возмущенные клеветами, помещенными в 49 номере «Современной Летописи», и имея в виду отказ профессора Леонтьева дать товарищам должное удовлетворение, считаем такой поступок недостойным товарища и профессора Московского университета». Подписали: К. Рачинский, Бабст, Соловьев, Ешевский, Чичерин, Мильгаузен, Дмитриев, Борзенков, Бредихин.

Имена таких людей, как Соловьев, которого только оскорбленное нравственное чувство могло заставить отступить от примирительного способа действий, и Мильгаузена, которому всякий резкий поступок был противен, показывают, что дело действительно было возмутительное. Однако подписей было слишком мало для того, что-

бы эта совокупная демонстрация могла иметь желанное действие. Мы решили перенести дело в Совет. Я взял это на себя. В ближайшем заседании Совета я сказал, что считаю долгом обратить внимание Совета на те клеветы, которым подвергается университет со стороны органов печати, стоящих к нему в близких отношениях, клеветы особенно опасные после недавних волнений, при неспокойном еще состоянии умов. Я прочел вслух статью «Современной Летописи» и затем характеризовал ее, как изменническое нападение на товарищей, не в лицо, а сзади, в виде таинственных намеков, без приведения каких-либо фактов, которыми могло бы подкрепляться такое строгое осуждение. Присутствовавший тут Леонтьев заявил себя оскорбленным, пытался кое-как оправдаться и пробовал даже обратить дело против меня. Но содержание статьи было таково, что поддержки он не нашел. Сколько помнится, Совет не сделал никакого постановления, но Леонтьев перестал ходить в заседания.

Однако же, такое положение слишком противоречило его интересам, и он решился идти на сделку. Несколько месяцев спустя он написал ректору письмо, в котором заявлял, что он не может исполнять своих профессорских обязанностей, вследствие того, что он в Совете подвергся оскорблению, и это сделало для него участие в заседаниях невозможным. Ректор А. А. Альфонский взялся уладить это дело. Он приехал ко мне и просил, как личное ему одолжение, чтобы я взял свои слова назад. Я сказал, что хотя мои слова совершенно верно характеризуют поступок, но я готов на примирение, только нужно, чтобы Леонтьев сделал первый шаг. В настоящее время нет никакой надобности снова поднимать этот вопрос в печати, но если Леонтьев извинится перед Советом, то я обещаю взять назад свои слова. Так и было сделано; Леонтьев пришел в Совет; перед началом заседания, он подошел ко мне и спросил: возьму ли я свои слова назад, если он скажет, что статья появилась по оплошности редакции, которая весьма об этом сожалеет. Я протянул ему руку и мы поцеловались. Дмитриев уверял даже, что он видел, как Леонтьев воспользовался этим случаем, чтобы меня ужалить прямо в щеку. Внешнее примирение состоялось, но таившаяся в душе злоба не исчезла, как мне передавали впоследствии с его собственных слов; он дожидался только случая, чтобы отомстить. После восстановления его отношений к Совету некоторые из его приверженцев пытались ввести его в наши субботние собрания. Между прочим, Давидов, в то время декан математического факультета, спрашивал меня: «Отчего между нами нет Леонтьева?» Я отвечал: «Вы по этой истории можете видеть, что такое Леонтьев; если только ввести его в наши собрания, они примут совершенно другой характер. Теперь мы ведем дружескую, непринужденную беседу, тогда все пойдет в разлад». После этого никто его не предлагал. Но отсутствие его на наших собраниях не

помешало распадению плохо сплоченного кружка. Не участвуя в них лично, он делал все, что от него зависело, чтобы поселить раздор между молодыми профессорами, и в этом он успел совершенно. Поводом послужило дело об аренде «Московских Ведомостей».

В то время «Московские Ведомости» издавались от университета, который получал и весь доход с газеты. Бывший редактор, Валентин Федорович Корш, в этом году взял на аренду «Петербургские Ведомости» и уехал из Москвы. На его место был назначен Бодянский. Это был косолапый медведь, и вместе хитрый хохол, своеобразный, своенравный, нелепый и пошлый. В редакторы газеты он совершенно не годился, и самая материальная часть шла у него, бог знает как. Подписка убывала, и доходы уменьшались. Очевидно было, что так дело идти не может. В Совете было предложено рассмотреть положение «Московских Ведомостей». Выбрана была комиссия, председателем которой был Соловьев, а я докладчиком. Разобравши все счета и документы, мы пришли к убеждению, что хозяйственная часть идет безобразно. С другой стороны, мы убедились, что при новом положении ежедневной печати, при том политическом значении, которое она получила, ученой корпорации невозможно брать на себя ответственность за издание. Отдача на аренду «Петербургских Ведомостей» служила для нас примером, и мы предложили Совету сделать то же самое и с «Московскими». Бодянский пытался защищать свое управление; но ему цифрами была доказана вся несостоятельность его доводов. Совет принял предложение комиссии. В газетах было объявлено, что «Московские Ведомости» сдаются на аренду, и что желающие их взять могут предъявить свои условия.

Осенью поступило несколько заявлений, из которых наиболее выгодные были, с одной стороны, от Каткова и Леонтьева, с другой – от Бабста и Капустина. В отношении платы и условий разницы было мало, так что университету приходилось руководствоваться более нравственными соображениями и степенью доверия к лицам. Как редакторы Катков и Леонтьев были бесспорно выше Бабста и Капустина. Бабст был человек образованный и даровитый, с большими сведениями по экономической части, но шаткий в мыслях и характере. Он то восставал без малейшего основания против всего, что ему казалось резким, то вдруг сам прорывался с какой-нибудь резкою выходкой, совершенно некстати. Капустин не был так даровит, как Бабст. Обладая необширным умом, но большими сведениями по юридической литературе, он в своем образе мыслей представлял какую-то бесцветную жижицу, а характера был самого мягкого и обходительного. Ни тот, ни другой авторитетом между профессорами не пользовались и своей редакторской способности не проявляли, тогда как их соперники имели за себя долговременную редакторс-

кую деятельность, увенчавшуюся успехом. Катков в прежнее время был уже редактором «Московских Ведомостей» и тут выказал себя с выгодной стороны. Против них было одно: передать им в аренду «Московские Ведомости» значило отдать всю московскую журналистику в руки людей, которые не терпели чужого мнения, разогнали всех сколько-нибудь независимых сотрудников и проводили свои личные, крайне однообразные взгляды. «Наше Время» очевидно не могло продержаться; газета Аксакова* была чисто славянофильская и ничего кроме пустой болтовни в себе не содержала. Получив «Московские Ведомости» в дополнение к «Русскому Вестнику», Катков и Леонтьев остались бы единственными органами общественного мнения в Москве.

Какого рода услуга была оказана этим русской литературе и обществу, об этом можно спорить. Но насчет последствий – это вообще не могло быть желательно, а при свойствах редакторов в особенности. Но для того, чтобы им противодействовать, надобно было подготовить почву в Совете, а об этом никто не думал. Мне, конечно, менее всего подобало об этом хлопотать. Лично я в этом деле вовсе не был заинтересован. Высказав в ряде статей свои взгляды на настоящее положение, я решил устраниться от дальнейшей журнальной деятельности и не хотел даже подавать вида, что я хлопочу о приобретении органа для себя. Но и те, которые затевали предприятие, ничего не делали, чтобы заранее обеспечить себе успех. На субботах ни разу не поднимался об этом вопрос; как будто избегали даже о нем говорить, чтобы не возбудить пререканий. С противной стороны, напротив, были пущены в ход все средства. В интригах редакция «Русского Вестника» была великий мастер, и все было ею старательно подготовлено для достижения цели. Старые профессора и без того к ней примыкали; теперь она всеми силами хлопотала о том, чтобы перетянуть к себе возможно большее число молодых. Бабст и Капустин являлись в этом случае как бы представителями последних; но они имели за себя только часть собиравшегося по субботам кружка. Когда к концу года дело поступило, наконец, в Совет, оно было уже заранее решено. Против Каткова и Леонтьева говорил я один. Я представил односторонность их направления, их нетерпимость к независимым мнениям, сказал, что желательно, чтобы в Москве были органы с различным направлением. Но для большинства Совета, состоявшего из математиков и медиков, такие доводы были весьма мало убедительны. Им, в сущности, было даже совершенно непонятно различие оттенков либерального направления. Мне возразили, что если редакторы «Русского Вестника» разогнали своих сотрудников, то тем более делает им честь, что они вы-

* «День».

носят издание на своих плечах. Никольский с большим жаром говорил в их пользу. Бодянский его поддержал, сказавши, что он знал Каткова как редактора «Московских Ведомостей» и привык его уважать. Другие говорили в том же смысле. С нашей стороны не раздался ни один голос, который бы меня поддержал. Я увидел, что дело проигранное, и не стал настаивать. Значительным большинством голосов «Московские Ведомости» были переданы Каткову и Леонтьеву. [В правильности] этого шага для внутренней жизни университета едва ли возможно сомнение. Можно утвердительно сказать, что этим роковым решением Московский университет сам наложил на себя руку. В нем водворился разлагающий элемент, который видел в университете только орудие личных целей и употреблял все средства для устранения всего, что могло препятствовать их достижению. И чем талантливее издавались «Московские Ведомости», чем большую силу редакция приобретала в правительстве и обществе, тем губительнее была ее деятельность в отношении к университету. Сначала вытеснены были все независимые люди, и редакция, по-видимому, воцарилась уже без всяких преград; когда же затем покорное большинство, не вытерпев тяготеющего над ним деспотизма, взбунтовалось и забаллотировало Леонтьева, начался против университетов наглый поход, который привел, наконец, не только к отмене устава 1863 года, но и к уничтожению всех корпоративных прав и всякой внутренней независимости. По мановению Каткова, университеты подверглись полному разгрому.

После такого исхода дела об аренде «Московских Ведомостей», разумеется, о единодушном действии молодых профессоров не могло быть более речи. Между нами оказался глубокий разлад. Самые субботние собрания прекратились. Но этого перелома я не видал. В конце 1862 года я поехал в Петербург, куда был вызван для преподавания наследнику.

Занятия и путешествие с наследником

Летом 1862 года я получил от графа Сергея Григорьевича Строганова, бывшего в то время попечителем наследника Николая Александровича, следующее характеристическое для него письмо:

«Милостивый Государь, Вы не удивитесь, если в стремлении к добросовестному исполнению своего долга и в надежде на успех, я ищу приблизить к государю наследнику людей, которых считаю наиболее способными содействовать успехам его занятий, и отдаю предпочтение тем, кто своим заслуженным авторитетом может лучше других способствовать нравственному его развитию. Будучи исполнен чувства доверия и уважения к Вашим первым опытам университетского преподавания, я предлагаю Вам, Милостивый Государь, не отказать принять на себя чтение курса государственного права е. и. в. наследнику-цесаревичу. Согласно программе его занятий, курс этот намечен на первый триместр 1863 г. Молодой великий князь прошел в прошлом году курс энциклопедии права с профессором Андреевским; в настоящем году он штудирует гражданское право с г. Победоносцевым.

Если Вы согласны на мое предложение, я снесусь с Вами относительно утверждения программы, которую Вы составите. Считаю нужным Вас уведомить, что при прохождении государственного права часть времени должна быть посвящена изучению английской конституции и французского административного строя.

В случае, если бы какие-либо личные причины не позволили Вам дать положительный ответ, я просил бы Вас оставить между нами настоящие переговоры, о которых я сообщил только отцу молодого человека»*.

Мне уже не в первый раз делались подобные предложения. Еще в 1859 году, до назначения графа Строганова попечителем наследника, когда после отставки Титова не знали куда обратиться, я за границею получил письмо от баронессы Раден, которая от имени великой княгини Елены Павловны спрашивала меня: не возьму ли я на себя руководить занятиями великого князя? Тогда я отвечал ре-

* Письмо приведено в подлиннике на французском языке.

шительным отказом, говоря, что, при моей полной неопытности в деле преподавания, я не могу взять на себя руководство чьими бы то ни было занятиями, а тем более наследника русского престола. И теперь я чувствовал себя мало подготовленным к этому делу. В университете я прочел всего только один курс, и то краткий, содержавший в себе большею частью только историю политических учений. Подробный курс государственного права, какой от меня требовался, далеко еще не был у меня выработан. Тем не менее, при скудости наших ученых сил, я не счел возможным отказаться и отвечал графу Строганову, что, несмотря на некоторые опасения за достаточную свою подготовленность, я постараюсь сделать, что могу.

Выше я уже говорил, что первоначальное воспитание наследника оставалось в непростительном пренебрежении. Бывший при нем воспитатель Н. В. Зиновьев, несмотря на то, что он был директором Пажеского корпуса, сам не имел никакого образования и, по-видимому, не считал даже нужным дать надлежащее умственное развитие вверенным ему питомцам. С своей стороны, родители не заботились о восполнении этого пробела. В младенческие годы эта забота, конечно, должна была лежать на матери, и в этом отношении русское общество возлагало все свои надежды на императрицу Марию Александровну. Она не любила ни светской жизни, ни роскоши, ни нарядов, не требовала этого от других и сама одевалась просто и жила уединенно. В этом отношении она представляла резкий контраст с своею предшественницею, Александрой Федоровной. Когда посторонним удавалось иногда видеть ее еще великою княгинею, скромно одетою и окруженною детьми, она производила самое отрадное впечатление. Говорили, что она вся погружена в семью и занимается исключительно воспитанием детей. Впоследствии оказалось, что ожидания были напрасны. Императрица Мария Александровна бесспорно была женщина умная, образованная и с возвышенным характером. Воспитанная в скромной доле, она с первого раза привлекла к себе внимание тогдашнего наследника Александра Николаевича, когда он поехал за границу отыскивать невесту. Сделавшись его женою, она не возгордилась и перенесла на престол привычки своей уединенной молодости. Будучи характера несколько холодного и сдержанного, она не обладала той приветливостью, которая имеет дар обвораживать сердца, но общественную свою роль она играла умно и с большим достоинством, а в тесном кругу она была чрезвычайно приятна. Разговор у нее был умный, тонкий, живой, в сношениях проявлялась мягкость и обходительность. Окружающие ее любили, а некоторые из детей, в том числе старший, относились к ней особенно нежно. Но все эти высокие качества подрывались одной чертой, которая парализовала их в самом корне. У нее была изумительная инерция, которая делала ее неспособной к

какой бы то ни было деятельности. Выйти из обычной колеи было для нее подвигом, стоившим неимоверных усилий. Я слыхал об этом разные характеристические анекдоты. Так, в виде иллюстрации, баронесса Раден рассказывала мне, что однажды она была у императрицы с великою княгинею Еленою Павловною. Выходя оттуда, они прошли мимо залы, где выставлены были разные картоны, и господин в мундире расхаживал как бы в ожидании посетителей. Оказалось, что это были снимки с древних византийских икон, привезенные с Афона Петром Ивановичем Севастьяновым. Великая княгиня, с своим пылким нравом, с своим живым интересом ко всяким проявлениям мысли, тотчас этим заинтересовалась и провела целый час в осмотре этих копий. Тут же посетительницы узнали, эти снимки были выставлены во дворце вследствие желания императрицы, которая от кого-то слышала о путешествии Севастьянова на Афон и при свойственной ей ревности к православию захотела видеть привезенные имобразцы. И вот уже десять дней они стояли в залах Зимнего дворца, и каждый день с утра до сумерек несчастный Севастьянов в мундире ожидал посещения императрицы; каждый день императрица проходила мимо залы, но не находила удобной минуты, чтобы взглянуть на снимки. Тогда великая княгиня взялась устроить это дело. Она вернулась к императрице и так живо представила ей весь интерес выставки, что посещение, наконец, состоялось, и Севастьянов был отпущен.

Еще поразительнее то, что мне рассказывала Анна Федоровна Аксакова*. В Ницце, во время последней болезни наследника, но еще до окончательного кризиса, императрица жила на villa Bermond и каждый день навещала сына после катанья. Случилось, однако, что он почувствовал себя несколько хуже и именно в эти часы стал отдыхать. Императрица выразила Анне Федоровне, как ей досадно, что она всегда заезжает в то время, когда он спит, и сколько дней уже она не может его видеть. – «Да отчего же Вы не поедете в другой час?» – спросила та. – «Нет, это мне неудобно», – отвечала императрица. И это был любимый сын, который сам с нею сблизился и жил с нею душа в душу. Мне рассказывали, что однажды, еще будучи ребенком, он взял свои игрушки и пошел играть в комнату матери. С тех пор она его особенно полюбила, по его, а не по ее инициативе.

При такой инерции забота о воспитании детей, требующая постоянного и неусыпного внимания, конечно, отходила на второй план. И в этом отношении я слышал характеристические анекдоты. Князь Николай Иванович Трубецкой рассказывал мне, что однажды, приехав в Петербург, он отправился представляться во дворец.

---

* Урожденная Тютчева. (См. А. Ф. Тютчева. При дворе двух императоров., М., 1928, вып. I, стр. 76 – 81).

Ему сказали, что государь на экзамене младших детей. Из этого он заключил, что если государь, обремененный делами, присутствует на экзамене, то императрица подавно там; но так как он уже напялил мундир и приехал во дворец, то он пошел к ней расписаться. К крайнему его удивлению, ему сказали, что императрица принимает, и пока он у нее сидел, пришел государь и стал рассказывать об экзаменах.

Но тут все-таки проявлялось какое-либо участие. Это было уже в позднейшую пору, когда догадались, наконец, что без учения детей оставлять нельзя. К начальному же воспитанию наследника не было приложено даже и этой заботы. Он был уже взрослым мальчиком, а, между тем ровно ничего не знал. Тогда только спохватились, что так продолжаться не может, и состоявший при нем Зиновьев был уволен; назначили Титова. Я уже сказал, как добрейший Владимир Павлович, лишенный всяких педагогических способностей, разом завел преподавание высших наук, когда надобно было начинать едва ли не с азбуки. Попытка вышла неудачная. После отставки Титова решились взять бывшего преподавателя великого князя Константина Николаевича – Гримма. Как настоящий немец, он начал с начала и в год-другой успел сообщить молодому человеку, по крайней мере, элементарные сведения, которые давали ему возможность, при некоторых способностях, слушать высшие курсы. Серьезные занятия начались, когда наследнику минуло 16 лет, и попечителем к нему назначен был граф Строганов.

Нельзя было сделать лучшего назначения. Из всех высокопоставленных лиц, между которыми предстоял выбор, граф Строганов был единственный человек, не только вполне просвещенный, но и с живым интересом к преподаванию, и притом с характером, способным внушить к себе уважение и приобрести нравственный авторитет над умом впечатлительного юноши. Пребывание его попечителем Московского учебного округа оставило по себе яркий след. Он знал всех преподавателей и довольно верно умел их ценить. Как только он вступил на свою новую должность, он с жаром принялся за свое дело, которое приходилось ему по сердцу, и которому он отдал всю свою душу.

К наследнику были приглашены лучшие профессора из Петербургского и Московского университетов: из Петербургского – Андреевский и Стасюлевич, из Московского – Соловьев, Победоносцев и Бабст. Из Троицкой академии вызван был Кудрявцев для преподавания истории философии, которую граф Строганов считал необходимым элементом серьезного образования. Победоносцев и Бабст сопровождали наследника в летних путешествиях по России, предпринимавшихся ежегодно с целью ознакомить царственного юношу с страною, которою он призвал был управлять. Подобные путе-

шествия были в обычае и в прежнее время, но приглашение в свиту ученых было нововведением. Победоносцев должен был объяснять учреждения, Бабст экономическое состояние края. Не забыта была и художественная сторона, которою граф Строганов особенно интересовался. По этой части с ними путешествовал Боголюбов.

В начале сентября 1862 года вся эта кампания уже на обратном пути приехала в Москву. Графу Строганову очень хотелось, чтобы наследник посетил некоторые университетские лекции. Но после недавних историй опасались каких-нибудь демонстраций со стороны студентов, а потому он с горестью отказался от этого предположения. Нас всех, прежних и приглашенных вновь преподавателей, собрали на обед, где я в первый раз увидел своего будущего слушателя. Он произвел на меня самое выгодное впечатление. Высокий, стройный, красивый, при этом умный, живой и приветливый, он мог очаровать и привязать к себе тех, кто к нему подходил. Вся окружающая атмосфера дышала каким-то задушевным и возвышенным строем. Чуждый всяких претензий и не любя пошлости, граф Строганов всегда заводил разговор о предметах серьезных, а тут было кому его поддержать. Беседа была живая и непринужденная; рассказывали о своем путешествии, о том, что видели и слышали. Я уехал исполненный светлых надежд на будущее.

Тут же я представил графу Строганову свою программу. Он вполне ее одобрил, и в конце декабря я переехал в Петербург, чтобы с января начать уроки.

Программа была в сущности та же самая, которой я следовал в университетских лекциях, хоть я и не надеялся всего исполнить в один семестр. Я начинал с истории политических учений, которую я считал необходимым введением в курс государственного права, затем я переходил к общему государственному праву и заключал политикою, предупреждая, впрочем, что в полгода я едва ли успею дойти до последней, как и оказалось на самом деле. Уроки назначены были по три раза в неделю, по часу. Это были изустные лекции, но я заранее писал их и оставлял тетради наследнику для повторения. Неизменным посетителем был граф Строганов, который не раз выражал мне свое одобрение. Всегда присутствовал и состоявший при наследнике Рихтер. Раза два-три приходила императрица, которая, заинтересовавшись со слов великого князя моим преподаванием, пожелала меня послушать.

После нескольких лекций граф Строганов объявил, что надобно сделать репетицию. Я сказал наследнику, чтобы он приготовился по моим тетрадям к назначенному дню и собственными словами рассказал бы мне вкратце все доселе прочитанное. Задача была нелегкая. Изложить кратко и ясно целый ряд учений, большею частью с философским содержанием, не всегда под силу даже не совсем дю-

жинному уму. Любой студент над этим бы призадумался. А, между тем, великий князь исполнил это так отчетливо, последовательно и даже изящно, что ничего лучшего нельзя было желать. И я, и присутствовавший при репетиции граф Строганов остались в полном восторге. Мы тут же с радостным чувством поздравили друг друга. То же впечатление произвели на нас и другие репетиции. Самые отвлеченные мысли, категорический императив Канта, философское учение Гегеля легко усваивались даровитым юношей, которого природные способности и восприимчивый ум восполняли недостаток первоначального обучения.

Одно, чего я не мог добиться, это – чтения. Я говорил и великому князю, и графу Строганову, что для образования ума мало одних лекций, необходимо прочесть, по крайней мере, важнейших политических писателей. Но придворная жизнь и в особенности беспрерывные парады и смотры налагали неодолимое препятствие всяким постоянным занятиям в этом роде. Даже граф Строганов ничего тут не мог поделать. Я убедился, до какой степени полезно немецким князьям пребывание в каком-нибудь провинциальном университете, где ничто не мешает занятиям, и где несколько лет юности могут быть плодотворно посвящены умственному труду. Живя в Петербурге, среди придворного водоворота и военных упражнений, это решительно невозможно. Великий князь успел прочесть кое-что из Макиавелли, который произвел на него сильное впечатление, но до Монтескье, а еще более до новейших писателей он не добрался. Я, впрочем, не отчаивался, что со временем найдется свободное время и для более усидчивого чтения, тем более, что с окончанием лекций наши сношения не прекратились. При прощании граф Строганов сказал мне, что на следующий год наследник предпримет путешествие за границу, и он надеется, что я не откажусь ехать с ними.

Погруженный в свое преподавание, готовя не только каждую отдельную лекцию, по мере того, как я их читал, но и часть будущего курса, еще не читанного в университете, я мало посещал петербургское общество. Но меня заинтересовали открывшиеся в то время заседания петербургского дворянского собрания, на которых обсуждались животрепещущие вопросы дня, в особенности предполагаемое устройство местного управления. В первый раз в России я видел чисто парламентскую обстановку. Губернский предводитель, граф Петр Павлович Шувалов, председательствовал отлично. Каждый оратор, в свою очередь, выходил на середину залы, говорил свою речь, не прерываемый никем, и все шло так чинно и стройно, что можно было только любоваться этою вовсе не обычною в наших дворянских собраниях процедурою. Но под этими строго парламентскими формами скрывалась крайняя бедность и талантов и содер-

жания. В Москве было несколько человек, которые умели хорошо говорить: Юрий Самарин, Черкасский, Голохвастов; в Петербурге все ораторы, которых мне довелось слышать, царскосельский предводитель Платонов, Андрей Шувалов, Григорий Щербатов, Орлов-Давыдов, Николай Михайлович Орлов, бывший калужский губернатор Смирнов, были ниже посредственности. Самое содержание речей далеко не искупало недостатка формы. Когда люди знакомые с практическим делом обсуждают какой-нибудь жизненный вопрос, прения получают интерес помимо всякого красноречия. Здесь же все ограничивалось тою неопределенною фразеологиею, к которой прибегают ораторы, в сущности не знающие, чего хотят.

В то время петербургское дворянство, так же, как московское, представляло в себе то странное сочетание дворянских притязаний и напускного либерализма, которое составляло довольно естественную принадлежность людей, внезапно выбитых из обычной колеи и недоумевающих, куда им идти. Между тем как большинство провинциального дворянства, примирившись с своею судьбою, работало на месте, приводя в исполнение «Положение 19 февраля» и стараясь, по возможности, устроить свой хозяйственный быт, столичные дворянства волновались по – пустому и становились в оппозиционное отношение к правительству, освободившему крестьян. Они домогались каких-то прав, но не сознавали ясно ни своих целей, ни своего положения.

Отказ государя принять адрес московского дворянства, просившего земского собора, подействовал несколько отрезвляющим образом. Петербургское хотело держаться строго законной почвы; но тогда уже исчезал всякий повод к оппозиционным выходкам. Самодержавное правительство производило одну либеральную реформу за другою. Судебные уставы, земские учреждения, городовое положение могли удовлетворить русское общество. Истинно либеральным людям оставалось только поддерживать правительство всеми силами в его благих начинаниях. Можно было не соглашаться с теми или другими частностями, желать того или другого улучшения, но добиться этого было гораздо легче, оказывая поддержку правительству, одушевленному желанием блага, нежели становясь к нему в систематическую оппозицию. Поэтому дворянские стремления того времени, какою бы мантиею они ни прикрывались, в какой бы форме ни выражались, не могли найти сочувствия в людях, серьезно смотревших на положение России. Это было либеральничанье в пустоте, которое должно было остаться бесплодным.

Эти бесцельные стремления были тем менее уместны, что в то время уже выдвигался вопрос, который должен был иметь решающее значение для всего нашего общественного развития. В Польше вспыхнуло восстание.

Оно подготовлялось давно. Горючие материалы, накопленные долгим гнетом николаевского царствования, были здесь гораздо значительнее, нежели в России. Неудовольствие поддерживалось и усиливалось во всяком патриотическом сердце ненавистью к иноземному владычеству. Когда с новым царствованием гнет ослабел, и суровый деспотизм заменился мягкою снисходительностью, поляки воспользовались этим для достижения своих целей. Начались уличные демонстрации, перед которыми слабые местные власти оказались бессильными. В Польше водворилась анархия. Тогда правительство, уступая обстоятельствам, решилось поставить во главе управления польского магната, человека с сильным умом и крепкою волею, который брался сдержать движение, удовлетворив разумным требованиям поляков, относительно местного самоуправления. То был маркиз Велиопольский. Но безрассудно увлекающийся характер народа парализовал все его намерения. Разгоряченные первоначальною удачею уличных демонстраций, поляки вообразили, что они этим путем могут достигнуть всего. Маркиз Велиопольский стоял один между аристократическою партиею, которая мечтала о восстановлении старой Польши, и революционною пропагандой, которая действовала на народ, побуждая его к восстанию. Земледельческое общество под предводительством Андрея Замойского было центром агитации, которая старалась всеми мерами противодействовать Велиопольскому. Наконец, оно издало манифест, в котором открыто заявляло о восстановлении границ 1772 года, т.е. о возвращении издревле русских областей, от которых Россия никогда не могла отказаться. Пришлось закрыть аристократическое общество. С своей стороны революционная партия действовала неутомимо. Чтобы покончить с нею, Велиопольский решил посредством внезапно объявленного рекрутского набора забрать всех главных вожаков. Это было сигналом к восстанию. Революционная партия решилась его предупредить. Не имея войска, не будучи в состоянии явно противостоять русскому оружию, она повсюду организовала шайки, нападавшие врасплох на русских солдат и людей. Действуя кинжалом и виселицей, она распространяла неслыханный террор и этими средствами успела захватить страну в свои руки. Скоро в Петербург пришли известия, что не только Польша, но и Литва объяты пламенем. Официальные власти оказались бессильными; тайное правительство делало, что хотело.

Вся Россия встрепенулась. Каковы бы ни были различия мыслей, когда дело шло об отечестве, русские люди всех сословий и оттенков единодушно столпились вокруг престола. Собранное в это время петербургское дворянство первое подало патриотический адрес. Затем пришли адресы из Москвы и, наконец, из провинций. Одушевление было всеобщее. Глашатаем этого охватившего всех движения

сделался Катков, который через это приобрел необыкновенную силу. Это был набат, гремевший во все колокола и призывавший всех на защиту отечества. Даже в Петербурге, где он менее всего пользовался популярностью, статьи его принимались с восторгом и возбуждали общее одобрение. И наследник и граф Строганов с живым сочувствием читали «Московские Ведомости». То же впечатление они производили и на меня. Относясь вообще очень недружелюбно к этой газете, имея весьма невысокое понятие о нравственных свойствах ее редактора, я не мог не отдать справедливости силе таланта, выражавшейся в этих красноречивых воззваниях, полных патриотического огня. Конечно, политического смысла в них было мало. Не предлагалось ни одной практической меры, не высказывалось ни одного трезвого взгляда. Я пришел даже в негодование, увидав, что в самом пылу борьбы, в то время как Россия была вся расшатана, а Польша находилась в полной анархии, Катков весьма прозрачными намеками указывал на решение польского вопроса дарованием общей конституции обеим странам. Но эти случайно брошенные политические мысли исчезали в общем возвышенном патриотическом строе, который как нельзя более отвечал потребностям минуты. Смешно, конечно, считать Каткова зачинателем этого движения, которое само собою возникло с неудержимою силою из глубины русских сердец; еще нелепее видеть в нем спасителя отечества; но нет сомнения, что во время польского восстания он был самым видным органом общих чувств, так же как Сергей Глинка в двенадцатом году.

Я никогда не был врагом Польши. Напротив, я всегда думал и думаю, что Россия поступила с нею с возмутительною несправедливостью. Отнять у людей самое дорогое, что есть на свете, – отечество всегда составляет преступление против высших нравственных требований, вытекающих из святыни человеческого духа и одинаково обязательных для отдельных лиц и народов. Когда же кинжал вонзается в сердце брата, поступок становится еще более вопиющим. Ссылка на историю, которая будто бы произнесла свой приговор, есть не более, как пустозвонная фраза, которою прикрывается внутренняя неправда. Эту историю сочинили мы сами; дележ был актом насилия, который тем менее может быть оправдан, что он был совершен не в пылу борьбы, а обдуманно и хладнокровно, пользуясь слабостью соседа. Высказанная Пушкиным мысль, что это домашний старый спор славян между собою, в котором Прага явилась отместкою за Кремль, подобно тому, как взятие Парижа было ответом на взятие Москвы, представляет только поэтическую фантазию, лишенную исторической подкладки. Борьба, действительно, была в старину, но в конце XVII века был заключен вечный мир, а с тех пор Польша не только с нами не враждовала, а, напротив, являлась нашей постоянною союзницею. В Северную войну, которая положила

основание величию России, она в течение нескольких лет принимала на себя все удары шведов, давая нам возможность собраться с силами, и когда прусский король Фридрих-Вильгельм сообщил Петру Великому проект раздела Польши между могучими соседями, Петр отвечал ему дружеским советом не вступать в такие планы, ибо они противны богу, совести и верности, заявляя, что сам он не только никогда на это не согласится, но будет помогать Речи Посполитой против всех, кто войдет в эти виды*. Поведение Екатерины не оправдывается тем, что присоединенные ею без малейшего права области были искони русские. Эти области не сами ей отдались, как Малороссия, которая была законным приобретением московских царей. Екатерина искала вознаграждений после войны с Турцией, а так как ей не дозволяли округлить свои владения на счет Оттоманской Порты, то она решилась среди полного мира поделить чужие земли с беззастенчивыми соседями, которые искали только случая, чтобы обобрать слабейших. Это был разбой, учиненный среди белого дня, в виду всей Европы. Я не мог без внутреннего возмущения читать в записках Сиверса** повествование о Гродненском сейме, на котором поляки, путем подкупов, страха и, наконец, вооруженного насилия, принуждались подписать свой собственный смертный приговор. Никогда злоупотребление силою и презрение ко всему человеческому не достигали такой степени цинизма. Бесспорно, поляки своим легкомысленным поведением, анархическим своеволием наверху, угнетением внизу, – сами были причиною своей слабости и подготовили свое падение. Но нет сомнения также, что когда они хотели исправлять несовместные с крепостью государства учреждения, их не допускали до этого те же своекорыстные соседи, которые, присвоив себе путем насилия гарантию чужой конституции, намеренно требовали ее сохранения, зная, что она служит источником неисцелимой слабости.

Если коварная политика Екатерины возбуждала во мне негодование, то я с тем большим сочувствием взирал на человеческие стремления Александра I, который со всем пылом благородной души возмущался против раздела Польши и мечтал о том, чтобы загладить учиненную бабкою неправду. Я не мог без сердечного умиления читать рассказ о беседах его с Чарторыжским***, перед которым царственный юноша изливал свои заветные думы и в котором он при-

---

* Соловьев. История России, XVII, стр. 373, 392. – *Прим. Б. Н. Чичерина.*

** Автобиография Сиверса целиком не напечатана. Б. Н. Чичерин читал, вероятно, изданный в 1857 г. в Лейпциге очерк К. Л. Блюма: «Ein Russischer Staatsmann. Des grafen I. I. Sievers. Denkwurdigkeiten zur Gesehichte Russlands».

*** В 1865 г. в Париже вышла книга: «Alexandre I et le pr. Czartoryski. Conversations et correspondence particuliére, publiées par le pr. L. Czartoryski»; русский перевод помещен в «Рус. Архиве» ,1871 г.

обрел преданного друга. Восстановление Польши, с свободными учреждениями, под скипетром русского царя, сделалось любимою его мечтою, и он успел, наконец, осуществить эту мечту, не взирая ни на какие сопротивления и на возражения собственных советников, ставши после падения Наполеона главным распорядителем судеб Европы. Для поляков такое настроение русского монарха было неоцененным даром судьбы. Они не только получили политическую автономию, собственное войско и независимое управление, но из всех окружающих народов, они одни имели свободные учреждения. Всеми этими благами они не умели воспользоваться. Вместо того, чтобы ценить то, что им было дано, и упрочить приобретенное благоразумным поведением, они мечтали о большем и пустились в мелочную оппозицию, раздражавшую благоволившего к ним государя. Когда же июльская революция снова разбудила в Европе элементы брожения, они схватились за оружие, не имея ни малейшего шанса отстоять себя против вдесятеро сильнейшего врага. Это безумное восстание было, разумеется, подавлено. Тридцатилетний гнет был заслуженным наказанием за кичливое легкомыслие.

Этот жестокий урок не послужил им в пользу. С новым царствованием опять открылась для них новая эра. Ссыльные были возвращены; административная автономия была дарована. Рука об руку с освобожденною Россией поляки могли идти путем правильного и постепенного гражданского развития. Они нашли человека, способного руководить этим делом. И вдруг подпольная революционная сила низвергла все эти начинания. При этом были пущены в ход такие средства и орудия, которые не могли не возмущать всякую благородную душу. Не в открытом, честном бою, а путем тайных убийств подпольное правительство устанавливало свою власть, распространяя террор в стране.

Русское общество не могло оставаться к этому равнодушным. Каково бы ни было различие мнений относительно польского вопроса, все здравомыслящие люди понимали, что перед революционным движением не может быть речи ни о каких уступках. Еще менее можно было допустить грозящее вмешательство иностранных держав. Русское народное чувство против этого возмущалось, и вся Россия, как один человек, обратилась к царю с выражением безграничной преданности престолу и с готовностью всем пожертвовать для пользы и славы отечества.

С адресами стали прибывать депутации. В пылу патриотического одушевления Москва вздумала даже учинить у себя нечто вроде национальной гвардии. С этим предложением приехал в Петербург мой старый товарищ и приятель, князь Александр Щербатов. Незадолго перед тем в Москве введено было новое городовое устройство, сословное, по примеру Петербурга. Первым городским головой ог-

ромным большинством выбран был Щербатов, который успел приобрести себе значительную репутацию участием в дворянских совещаниях и, в особенности, своим искренним стремлением к сближению сословий. Лучшего выбора нельзя было сделать. Он принялся за работу со всем пылом своей горячей и благородной души и с тем практическим смыслом, которым он отличался. Новая городская дума сделалась одушевленным центром московской общественной жизни. Участие было всеобщее. Симпатичная личность председателя привлекала всех, а его умение ладить и примирять сглаживало все столкновения. Можно сказать, что это был золотой век московского городского самоуправления. Среди этого общего одушевления внезапно возникший польский вопрос еще более воспламенил московских граждан. Они заявили готовность отправлять военно-полицейскую службу по призыву правительства. Щербатов, с своим практическим взглядом, долго противился этому предложению. Он видел, что, в сущности, к нему не было ни малейшего повода – Россия не находилась в опасности и не было никакой нужды прибегать к чрезвычайным мерам для ее защиты. Но увлечение москвичей не знало границ. Все на этом настаивали, большинство с патриотической, некоторые с либеральной точки зрения, думая этим путем передать военную власть в руки граждан. Катков, в то время еще не повернувший на сторону реакции, всеми силами стоял за городовую дружину и подстрекал общественное мнение. Щербатов увидел, что надобно уступить и решился сам стать во главе движения, которое через это, во всяком случае, становилось безвредным. Но в Петербурге это предложение было благоразумно отсрочено, а затем оно пало само собою.

Вместе с другими прибыла депутация и от Московского университета. Это был комический эпизод среди общего восторга. Университет также получил новые права: ему возвращен был выбор ректора, отнятый в 1849 году. Аркадий Алексеевич Альфонский сошел со сцены, и с ним прошли «Аркадские времена»*. Надобно было выбрать ему преемника. Кандидатом нашего кружка был, разумеется,

---

* Под заглавием «Аркадские времена (подражание Ломоносову) известна злая эпиграмма на ректора Московского университета Арк. Алексеевича Альфонского, напечатанная в «Рус. Арх.», 1912 г. № 1 и начинающаяся строфой:

О, ты, что в горести напрасно
Так сильно ропщешь на Совет,
Аркаша, ректор мой прекрасный
Внемли сей праведный ответ.
Где был ты, как перед тобою
Наш попечитель Исаков
Музеи дерзостной рукою
Перенести уж был готов?..

Соловьев. Но после истории с арендой «Московских Ведомостей» прежний дружеский союз распался. Многие из молодых профессоров примкнули к старым. Влияние редакции «Московских Ведомостей» значительно усилилось вследствие приобретенной ею популярности в польском вопросе, а редакция, конечно, стояла не за Соловьева. При баллотировке в Совете он остался в меньшинстве. Наибольшее число голосов получили Щуровский и Баршев. Приходилось выбирать из двух зол наименьшее: Щуровский был умнее, а потому казался опаснее. При вторичной баллотировке голоса приверженцев Соловьева были перенесены на Баршева, который и был выбран ректором. Меня, признаюсь, это известие крайне огорчило. Не знаю, каким ректором был бы Щуровский, но Баршев, которого мы с легкой руки Дмитриева звали нашей игуменьей, был нам слишком хорошо известен. Это было воцарение пошлости в университете.

Можно себе представить, какую фигуру выказывал в Петербурге этот представитель первого ученого сословия в России, когда он явился с пошло написанным патриотическим адресом, в сопровождении декана медицинского факультета, профессора фармакологии Николая Богдановича Анке, добродушного старичка, любившего попивать, но не ознаменовавшего себя никакими учеными заслугами. Разумеется, их приняли с почетом, и они вернулись в полном восторге. Однажды, за обедом у великой княгини Елены Павловны, баронесса Раден вручила мне письмо от Дмитриева из Москвы. Я тут же его распечатал и расхохотался. Это было одно из его светских стихотворений, юмористическое переложение повествования Баршева об оказанном ему приеме в Петербурге, писанное во время самого заседания. Все пристали ко мне, чтобы я сообщил это приятельское произведение, и я тут же громогласно прочел следующие стихи:

Вставши с ложа спозаранку,
Захватив с собою Анку
И напяливши чепец,
Я пустилась во дворец.
Там я милою осанкой
Всех прельщала, как и встарь,
Нас заметил тотчас с Анкой
Восхищенный государь.
А министры так толпились,
Так толкались вкруг меня,
Так красе моей дивились,
Столько было в них огня,
Так пленительно мне было,
Что хоть к чести я строга,

А чуть-чуть не насадила
Я Никольскому рога. *

Стихотворение произвело фурор. Князь Сергей Николаевич Урусов, который тут же обедал, вскочил с своего кресла и с жаром пожал мне руку. Но смеяться посторонним было легко. Каково было жить в этой среде? Это были цветики, обещавшие обильные плоды.

Я остался в Петербурге до начала июня. В это время польский вопрос принимал все более и более тревожные размеры. В самой Польше восстание ослабело; в Литве оно было подавлено, благодаря энергии Муравьева. До назначения своего в Вильну, Муравьев пользовался весьма невысокой репутацией При отсутствии всяких убеждений, он был груб, коварен и раболепен. Про него повторяли собственное его изречение: что он не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают. В устах старого заговорщика эти слова служили вывескою характера. Но там, где нужно было, не останавливаясь ни перед чем, действовать с неуклонною энергиею, он был на своем месте. К тому же он был искренний патриот, всем сердцем преданный России. Назначение его в Вильну разом повернуло дело и он сделался героем русского общества. Его решительное поведение в Литве сравнивали с образом действий великого князя Константина Николаевича в Варшаве, который заискивал популярность и старался угодить полякам. Контраст был полный, и возвеличение Муравьева не знало пределов.

Но если внутренняя опасность почти миновала, то надвигалась опасность внешняя. Начался дипломатический поход европейских держав в пользу Польши. В дипломатических кругах утверждали, что с открытием навигации английский флот появится перед Кронштадтом. Юркий Катакази, который был адресован ко мне братом Василием для получения сведений о крестьянском деле в западных губерниях, говорил об этом, как о событии неизбежном. 21 мая, в день именин Елены Павловны, князь Горчаков приехал на утренний прием крайне встревоженный известиями, полученными из Лондона. В непонятном ослеплении, наш посол в Лондоне, барон Бруннов, уверял, что Англия непременно хочет войны, между тем как лондонский кабинет добивался только одного: поссорить нас с Францией. Польша не представляла для Англии ни малейшего интереса, и из-за нее она никогда бы не пожертвовала ни гроша. Бруннов считался одним из самых умных наших дипломатов и прежде всего знатоком Англии, а, между тем, два раза он ввел свое правительство в самое опасное заблуждение. Перед Крымской кампанией он настаивал на том, что войны не будет, чем по всей вероятности ее и накликал.

* Пародия написана на речь ректора на заседании 22 апр. 1863 г. Текст исправлен по напечат. в «Рус. Архиве», 1912, № 2.

Этим промахом он в то время сломил себе шею. Теперь, наоборот, он принимал призрак за действительное намерение. Будберг, напротив, писал из Парижа, что в сущности французское правительство вовсе войны не желает и ограничится одними демонстрациями; но князь Горчаков был с ним в разладе и мало ему доверял. Убежденный, что мы к войне не готовы, он старался уклончивыми ответами оттянуть время. Общество в тревожном ожидании следило за ходом этого дела.

Перед отъездом, простившись в Царском Селе с наследником, я пошел раскланяться к князю Горчакову, который в это время тоже туда переехал. Он оставил меня обедать. Мы были втроем, с преданным ему Гамбургером. Я сказал князю, что, уезжая в провинцию, я желал бы сообщить живущим там русским людям какие-нибудь утешительные известия насчет вопроса, за которым они следят с таким напряженным вниманием; что ж я могу сказать? «Скажите, что уступок никаких не будет», – отвечал Горчаков. Я заявил, что эти слова будут истинною отрадою для всякого русского сердца; но как должно их понимать? Значит ли это, что мы на все требования иностранных держав ответим решительным отказом, каковы бы ни были последствия? «Я еще не знаю, что я буду отвечать, – сказал Горчаков. – Это – дело импровизации. Я всегда так поступаю; когда я встаю в Государственном совете, я никогда не знаю, что я буду говорить. Затем, если этот импровизатор вам не нравится, берите другого». Меня крайне удивил этот способ обсуждения государственных вопросов; прирожденное легкомыслие Горчакова высказывалось здесь вполне. Однако на этот раз импровизация вышла удачною. Я в деревне с восторгом прочел окончательную ответную ноту русского правительства, которою твердо и с достоинством отвергались все предъявляемые нам притязания. Если бы князь Горчаков в эту минуту сошел со сцены, остался бы в истории как один из выдающихся государственных людей России, крепко державший русское знамя. К сожалению, вся его последующая карьера была рядом самых крупных ошибок, которые более чем изгладили минутный успех.

В сентябре я вернулся в Москву. Университет я нашел в новом настроении, которое оправдывало все мои опасения. Торжествующая пошлость сияла самодовольством и била ключом во все стороны. Аркадские времена с субботними собраниями были порою преобладающего влияния молодых профессоров; теперь настало владычество старых, погрязших в рутине прежнего порядка. Большинство, сомкнувшееся вокруг «Московских Ведомостей», было упоено успехами своего патрона, которые отражались и на нем, приобретая ему все больше и больше приверженцев. Воспетый Вяземским «Бобчинских и Добчинских род» неустанно кадил новому божку, провозглашая его спасителем отечества и низводя самый патриотизм

до какого то нахального и противного лакейства.* Никольского земля не носила: он лебезил перед ректором, лебезил перед Катковым, ораторствовал в Совете. О субботах, разумеется, не было и помину. Они заменились вечерними собраниями по пятницам у ректора, куда сходились все, и где царила непроходимая скука, завершавшаяся водкой и колбасой. Я раза два был на этих вечеринках; но все, что я тут видел и слышал, было мне так противно, что я перестал ходить. Дмитриев утешал себя советскими стихотворениями, которые обыкновенно экспромтом выливались из-под его пера во время заседаний. Однажды прямо против нас сидел профессор сельского хозяйства Калиновский, который был вместе и директором Зоологического сада. Он только что перед тем получил чин действительного статского советника, составлявший предмет самых пламенных помышлений известного разряда профессоров. В Совете шли какие то глупые прения. Никольский ораторствовал, а Дмитриев что-то строчил. Я сидел возле него; он подал мне бумажку, и я прочел:

Новый блеск у нас в компании,
Радость новая в сердцах:
Калиновский в новом звании,
В генеральских он чинах.
Он с своею важной рожею
Ныне сделался вельможею;
Вот куда его завез
Изученный им навоз!
А в саду-то беззаботные
Так и прыгают животные;
Но всех более процвел
Светлой радостью осел.

Скоро муза Дмитриева была призвана к более обширному поприщу. К концу года профессора вздумали дать новому ректору коллективный обед. Искали какого-нибудь повода. Одни говорили, что это будет отплатою за те закуски, которыми он угощал нас по пятницам. Другие старались придать этой демонстрации высшее, общественное значение: утверждали, что профессора хотят отпраздновать восстановление выборного права, хотя с тех пор прошел уже почти год, и никто об этом прежде не помышлял. В сущности, это было

* Б. Н. Чичерин намекает здесь на эпиграмму кн. Вяземского, направленную против Каткова, которую он приводит в VI гл. своих Воспоминаний и в которой имеются следующие строки:

Все это вздор; но вот в чем горе:
Бобчинских и Добчинских род
С тупою верою во взоре
Пред ним стоит, разинув рот.

торжество ликующей пошлости, которая после временного принижения воспрянула с новою силою. Университет был спокоен; ректор был выбран совершенно по плечу господствующей партии, которая заискивала перед ним в ожидании наград и не могла нарадоваться своему представителю. Наконец в лице Каткова был приобретен патрон, голос которого звучал на всю Россию, исполняя гордостью сердца его приверженцев и давая им крепкую опору во всех их маленьких делишках. Как же было не ликовать при таком неожиданном обороте дел? Очевидно, надобно было, по русскому обыкновению, устроить попойку.

Меньшинство, с Соловьевым во главе, ни на минутку не колебалось насчет своего образа действий. Можно было, как неизбежное зло, иметь Баршева ректором; но чествовать коллегиальным обедом такого пошляка казалось нам унизительным для собственного нашего достоинства и несовместным с достоинством университета. Надобно было, чтобы русское общество знало, что не все профессора с наслаждением купаются в этом омуте, что есть между ними люди, которые иначе понимают честь университета. Мы решили не ехать. Напечатанное в газетах описание обеда оправдало все наши ожидания. Один за другим представители факультетов и выдающиеся профессора курили фимиам сидящей перед ними старой и глупой бабе. На сцену выступил и Катков, который указал на Баршева, как на одного из зачинателей либеральных реформ в уголовном судопроизводстве. Не забыты были и обычные для всякой пирушки телеграммы князю Горчакову, Муравьеву и Бергу. Все завершилось громким «Gaudeamus», который заревели отяжелевшие от вина старички, после чего деканы торжественною депутацией поднесли супруге ректора коробочку конфект. Одним словом, все было как следует, и все веселились всласть.

Дмитриев вздумал увековечить этот обед торжественной одой. Однако, на этот раз вдохновения хватило только на отрывки. Он написал первые три строфы, затем мастерски пародировал речи Юркевича, Крылова и Любимова; но на этом он остановился. Я все побуждал его докончить это историческое произведение; но он говорил, что как то не пишется, хотя у него уже подобраны некоторые рифмы, которые он непременно вставит, а именно: *медицинский и свинский, Анке и стклянки.* Тогда я вспомнил свои прежние похождения по этой части, взялся пополнить пробелы. Исходя от придуманных им рифм, я написал остальное. Произведение вышло удачное и всех наших друзей насмешило не мало. Общий тон был хорошо поддержан; трудно было даже догадаться, что ода писана в две руки. Помещаю ее здесь, как памятник тогдашней университетской жизни.

Ода
на обед, данный ректору профессорами
Московского университета.

В дни верноподданных скандалов,
Когда пел оды Шевырев,
В честь тупоумных генералов
Давали много мы пиров.
Но ныне времена другие:
Стремясь к развитью своему,
Теперь покорствует Россия
Уже не силе, а уму.
Изобразит ли стих мой слабый,
Как старший университет
Однажды в честь беззубой бабы
Задал торжественный обед?
На пир сей истинно-московский
Стеклись друзья из всех углов:
Из синагоги Гивартовский,
Из океана Соколов*.
Враг независимости польской,
Сей препоясанный на брань,
Сей ярый патриот Никольский
Принес сюда свою гортань;
И вместе с ним, послушен гласу
Леонтьева, сюда пришел
Пеховский, воротясь из лясу,
Где он ваканции провел.
Тут был премудрый Калиновский,
Преподаватель для коров,
Сладкоглаголивый Лясковский,
Страдающий теченьем слов;
Мильгаузен, отец уступок,
Всем сердцем возлюбивший всех,
И все, что только есть поступок,
Уже считающий за грех;
И факультет тут медицинский
Весь в сборе, эка благодать!
Читатель просит рифмы: свинский
Ну нет, уж лучше промолчать!
Все дружно яства пожирали,
При громе Сакса скрипачей,
И длань игуменьи лизали
С приправой тостов и речей.

* Профессор сравнительной анатомии, вследствие массивности прозванный Левиафаном. – *Прим. Б. Н. Чичерина.*

Вот Николай Богданыч Анке,
О чудо! встал и говорит;
Он знал лекарственные стклянки,
А также херес и лафит;
Но было вовсе не по нраву
Ему публично говорить,
И красноречия отраву
С трудом он силится испить.
За ним бесцветны, но приятны,
Потоки полились речей;
Давыдов, Лешков непонятный
И сам Полунин Алексей,
С дьячковским голосом и видом,
Поют игуменье хвалу.
Сравнишься мудростью с Давидом
И Валаамову ослу
Подобна ты, о мать святая,
И всех чаруешь нас вполне,
Ты, в юбке ректорской блистая,
С звездой на левой стороне!
Гостеприимна ты по-русски,
Мила в ужимках и в речах;
Ты даже в пятницы закуски
Для нас устроила на днях;
И мы за сыр и за селедку,
За колбасу и за икру,
За то, что смачиваешь глотку
Ты нам бутылкой ввечеру,
Тебе днесь пиршество на славу
Всей корпорацией даем,
Как будто выборному праву
Мы честь поздненько воздаем.
Мы, верь, давно тебя желали
И ясной дождались поры;
Забудь лишь, матушка, что клали
Тебе мы черные шары,
И возвратившееся стадо
Ты попеченьем не оставь,
Не обойди ты нас наградой
И всех in corpore представь!»
Так пел Полунин вдохновенный,
Какой-то издавая стон,
И слышен клик одушевленный
Ему в ответ во всех сторон.
Но чтоб беседе этой росской,
Которой тон немного прост,

Придать оттенок философский,
Юркевич предлагает тост.
Он пьет за наше единенье,
Вне всяких партий и преград,
Союз во имя просвещенья
И получения наград;
И с Матюшенковым, с Пеховским,
Ни от кого не сторонясь,
И с Калиновским и с Лясковским,
Со всякой пошлостию связь.
Он говорит: «Я к вам в обитель
Судьбой недавно занесен,
И на нее смотря, как зритель,
Советом вашим я прельщен.
Хотя и ссоритесь вы дома,
Хоть и деретесь вы слегка,
Но вам пословица знакома:
Рукою моется рука.
Там говорит Никольский в меру,
Имеет Лешков должный вес,
И мнится ветренную Геру
Прогнавши, царствует Зевес».
И мать игуменья, вздыхая,
Стыдливо говорит в ответ:
«Извольте видеть, честь большая
Мне выбор ваш и ваш обед.
Ах, знаю я, что недостойна
На этом месте я сидеть;
Все говорят, что непристойно
Меня вам ректором иметь.
Но хватит все ж у нас умишка,
Чтоб вам, где нужно, угодить,
И своего чтобы делишка
При этом тоже не забыть.
Да и смирна я непомерно;
Зато от вас такая честь!
Всяк думает: на ней уж верно
Верхом мне можно будет сесть.
Не выставляюсь я осанкой,
Не оскорбляю вас умом;
Большой, вот видите, приманкой
Нам служит пошлости диплом.
Не любим важности посольской,
Свой брат кому из нас не мил?
Вот и оратор наш Никольский
Ко мне в дворецкие вступил.

Он у меня на побегушках;
Я прикажу: плясать пойдет,
И чай подаст и на пирушках
Гостям шампанского нальет.
Всего вернее путь лакейский,
Гласит нам опыт, и держась
Смиренно мудрости житейской,
И я чинишка дождалась;
И ректорства и генеральства
Меня сподобила судьба.
Раба я высшего начальства,
Совета нашего раба!»
«Хвала, – изрек Крылов ученый, –
О, милый ректор наш, тебе!
Ты, правда, малый не мудреный,
Но ты пришелся по избе.
Под властию Аркаши* строгой
Наш голос оставался нем;
Хоть бунтовали мы немного,
Но все как будто не совсем.
Но днесь казенному указу
Конец, конец уже настал;
Auspicia sunt fausta!** сразу
Наш выбор на старуху пал».
Не утерпел тут и сладчайший,
И медом речь его лилась:
«Друзья, на праздник величайший
Семья вся наша собралась.
Семья! ах, кто при этом звуке
Не скажет: университет!
О alma mater! и в разлуке
Ты слаще меду и конфект.
В стенах сих университетских
Нам сладко все: хвалы друзей,
Интриги кумушек советских
И гром Никольского речей;
И здесь, на маленьком просторе,
Как может маленький субъект
С ходуль болтать о всяком вздоре,
И выйдет маленький эффект...
Друзья, здесь все наш дух пленяет!
А потому я, так сказать,
Коли никто не возражает,
На стул свой сесть хочу опять».

* Аркадий Алексеевич Альфонский, ректор Моск. ун-та.
** «Предзнаменования благоприятны!» – формула римских жрецов.

Так рек Лясковский, улыбаясь
На весь профессорский комплект,
И все с ужимкой озираясь,
Чтоб видеть, вышел ли эффект.
Но вот для новых комплиментов
Археолог и либерал,
Искатель милости студентов,
Буслаев антикварный встал.
«Почтим мы ныне силу слова!
Где сила, тут при ней и хвост;
В честь, понимаете, Каткова
Я предлагают этот тост».
И на привет сей отвечая,
Восстал в величии Катков;
Глазами медленно вращая,
Он рек всей тяжестию слов:
«Я силы слова представитель,
Таким сам клуб меня признал,
России нашей я спаситель,
Я всю Европу застращал.
В моем журнале помещает
Кто и плохие лишь статьи,
Тот лавры вечные стяжает,
Тому приветствия мои.
Когда-то ректор ваш для формы
В моих напакостил листах,
И вот от дряни сей реформы
У нас подвинулись в судах».
«Ну так уже если за Каткова, –
Гласит игуменья, – мы пьем,
Так и за Берга, Муравьева
И Горчакова мы тряхнем.
То пира всякого программа;
Привет им клуб Немецкий шлет;
Бахмутских барынь телеграмма
Их вновь на подвиги зовет.
От сих народных ликований
Ужель отстанет наш порыв?»
И встретил гром рукоплесканий
Патриотический призыв,
И долго длится пир громадный.
И всякий речи говорит;
Один Любимов плотоядный
Все ест, все пьет и все молчит.
И только светится во взоре
Душевный ректору привет,

Зане он с баснью не в раздоре:
«Сильнее кошки зверя нет».
Распорядитель угощений,
Молчит он больше на пирах,
И лишь наевшись, наш Менений*
Встал с мудрой притчей на устах.
Он говорит им: «Это шутка;
Наш пышный ректорский обед
Есть праздник истинный желудка,
И смысла в нем иного нет.
Желудок – враг разъединенья,
Раздора он не признает;
Он одинакие внушенья
Глупцу и мудрому дает.
В еде никак не разойдемся
Мы и при разности натур,
При всех тенденциях напьемся,
Так gaudeamus igitur!»
«Пока мы молоды, – запели
Всем сонмом вдруг профессора, –
Возвеселимся; надоели
Давно нам лекции. Пора
Не миновала наслаждений,
И час пока наш не настал,
В честь легких дев и обольщений
Полней нальем вина бокал!»
Трикраты песнью огласился
И кликами высокий зал;
Сам Брашман тут остервенился,
И Фишер пуще всех орал.
Но все проходит в этом мире;
Напиткам даже есть конец.
Побушевав на долгом пире,
Домой все идут, наконец.
Отяжелев, немного пьяны,
Чтоб дружный завершить обед,
В подарок ректорше деканы
Несут коробочку конфет.
Отверзла ректорша затворы:
Легко коробка отперлась,
И, как из ящика Пандоры,
Оттуда пошлость понеслась.
Удушлива и бесконечна,
Во все углы она вошла,

* Менений Агриппа, согласно рассказу Т. Ливия, успокоил волнение среди плебеев притчей о возмущении членов тела против желудка (Liv. II, 33).

И по Никитской быстротечно
И в новый дом переползла;
Затем и в клиники вселилась
И в медицинский институт;
Повсюду вонь распространилась,
Науки русской атрибут.
И долго стены сохраняли
Зловония протухлый след,
И долго други вспоминали
Веселый ректорский обед*.

Разумеется, мы это произведение держали в секрете, сообщая его только самым близким людям из опасения возбудить непримиримую вражду. У нас не было даже писанного экземпляра. Но чем более мы смеялись, тем грустнее было на душе. К университету мы были привязаны всем сердцем; с ним соединялись лучшие наши воспоминания. Мы мечтали о том, что после временного гнета и последовавшей затем неурядицы он воспрянет обновленный и освеженный. Эта мечта казалась даже близкою к осуществлению. И вдруг все это повернулось разом. Под влиянием двух негодяев, которые свои крупные дарования обращали в орудия чисто личных целей, вся накопившаяся годами и временно придавленная пошлость всплыла наружу и затопила все. Больно было присутствовать при этом падении университета, и противно было дышать этим смрадом. На зимние ваканции я с удовольствием уехал в Петербург.

Там я нашел Николая Алексеевича Милютина, который из-за границы вызван был по польскому делу. Я виделся с ним почти каждый день, и он подробно рассказывал мне свои разговоры с государем. Все, что он мне сообщал, внушало мне глубокое уважение к царю, который освобождением крестьян и целым рядом предпринимаемых преобразований приобрел уже право на безграничную благодарность всех русских людей. Государь умно и отчетливо излагал перед ним все положение дел. Он говорил, что если бы можно было решить польский вопрос дарованием конституции России и Польше, то он ни на минуту не поколебался бы это сделать. Но он был убежден, что в настоящее время подобная мера может принести только величайший вред; она повела бы к разложению России. Он понимал также, что высшие классы польского народа умиротворить нельзя. Единственное, что можно сделать в интересах России, это стараться привлечь к ней низшее народонаселение широкою мерою крес-

* Сатира напечатана в «Рус. архиве» за 1912 г. № 2, где она входит в состав «Шуточной хроники Моск. университета полвека назад». «Хроника» разбита на две части: «Времена Аркадские», относящиеся к ректорству А. А. Альфонского и «Времена Исторические» – к ректорству С. Баршева. Сатира помечена в «Рус. Архиве» – октябрем 1863 г.

тьянских реформ. Польские крестьяне со времен Наполеона были лично свободны, но их поземельный быт не был устроен. При Николае были приняты некоторые частные меры; теперь надлежало обратить их в поземельных собственников. Для этого и был призван Милютин.

Он взялся за работу с тою обдуманною страстностью, которая его отличала. Немедленно был кликнут клич всем прежним сотрудникам по крестьянскому делу. Из Москвы были вызваны Черкасский и Самарин; в Петербурге завербованы Соловьев и другие. Милютин сам со своими товарищами отправился на места, под конвоем объезжал деревни, допрашивал народ, собирал документы, и, вернувшись, принялся за разработку проекта. Он нисколько не обманывал себя насчет успеха своего предприятия. Он сам мне говорил, что умиротворить Польшу и привязать ее к России несбыточная мечта; но с помощью крестьянской реформы хватит на 25 лет, может быть, даже и более, а это все, что может предположить себе государственный человек. И он, и его сотрудники добросовестно и с полным успехом совершили возложенное на них дело. А между тем, пославший их государь, которого волю они честно и усердно исполняли, одною рукою поддерживал их, а другою давал оружие их злейшим врагам, подставлявшим им бесчисленные препятствия на пути. Впоследствии мне довелось читать всю их переписку, относящуюся до этого времени. Я не мог надивиться этой двойственной политике со стороны монарха, прямо и трезво смотревшего на вещи. Но таковы печальные плоды безграничной власти, в которой самые противоположные свойства державного лица ведут к одинаково вредным последствиям. Один, превозносясь, верит только себе и не терпит противоречия; другой, не доверяя себе, не доверяет и другим, и сам себе возбуждает противодействие. В конституционном правлении есть оппозиция, которая громко высказывает свою критику, выясняя оборотную сторону каждого вопроса; в самодержавии, где общество молчит, надобно, чтобы среди тех самых лиц, которым вверяется дело, были люди, которые бы эту оборотную сторону доводили до сведения монарха. Вследствие этого правительство составляется из противоречивых элементов, которые ведут между собою глухую борьбу, и сама верховная власть их в этом поддерживает, видя в этом гарантию своей независимости. А что в этой борьбе бесплодно расточаются силы, теряется вера в свое дело, приобретается привычка действовать тайными путями, лукавить и изгибаться, об этом всего менее заботятся. Самодержавный монарх привык смотреть на людей, как на простые орудия, которые должны двигаться по его воле, и которые откидываются в сторону, как скоро в них оказывается призрак независимости. Он сам иногда устраивает сражения, где каждый должен играть свою роль, не смея жаловаться на

то, что ему намеренно ставятся препятствия под ноги. При таких условиях, при том глубоком презрении к людям, которое водворяется в силу этого порядка, сила характера и честность убеждений, конечно, всего менее ценятся. Все кругом раболепствует; каждый считает долгом исполнить то, что ему приказано, хотя бы это шло наперекор всему его образу мыслей. Вследствие этого можно было графа Панина назначить председателем редакционных комиссий, а графа Берга наместником в Царстве польском. Подлецам подобная политика приходится совершенно на руку; но порядочные люди или выбрасываются вон или удаляются сами, видя бесплодность своей работы. Редкие исключения вызываются чрезвычайными обстоятельствами. Самодержавная власть бережет людей только тогда, когда не может без них обойтись.

Милютин желал, чтобы я написал статью о крестьянском деле в Царстве польском. Он дал мне все документы, и я, вернувшись в Москву, усердно принялся за работу. Статья была написана, но никогда не увидела света. Причина была та, что мы несколько разошлись во взглядах, как относительно общих вопросов, так и относительно самого способа осуществления крестьянской реформы в Царстве польском.

С одной стороны, я хотел воспользоваться случаем, чтобы откровенно высказаться насчет возможности дарования конституции как Польше, так и России. Этот вопрос в то время сильно занимал умы, а между тем, при других условиях, трудно было обсуждать его в печати. «Время ли теперь начать подобные опыты? – спрашивал я. – Организация русского общества достаточно ли крепка, чтобы вынести на своих плечах такой порядок? На это нельзя отвечать иначе, как отрицательно. Россия вся обновляется; у нас нет ни одного учреждения, которое бы осталось на месте; которое бы не подверглось коренным переменам. Изменяется местная администрация, изменяется все судебное устройство, а без суда не мыслим конституционный порядок. Ныне пошатнулись основы всего общественного здания, отношение различных классов между собою и участие их в местном управлении. Освобождение крестьян нарушило весь прежний порядок, а новый еще не создался... Нужно время, чтобы все сладилось, устроилось, свыклось с новыми учреждениями. Тут неизбежно возникнет множество недоразумений, столкновений, неудовольствий, и только после многих опытов и колебаний русское общество придет опять в твердое, нормальное положение. В таком переходном состоянии чего можно ожидать от народного представительства? Какие практические сведения принесут в собрание земские люди, когда для них все ново, все неизвестно. В совещаниях дворянства о земских учреждениях, те и другие партии неизменно отправлялись от теоретических начал, потому что практических

данных никаких не было. То же случится и в общем представительстве. Между тем, теоретическое образование, само по себе недостаточное для политической жизни, у нас весьма слабо. Нестройный хор бессвязных мнений, составляющий неизбежное последствие всякой переходной эпохи, целиком проявится в общем земском соборе. Всякое замешательство, всякое столкновение внизу – отразятся наверху. Силы и внимание, нужные на местах, оттянутся к центру; общественное брожение, едва начинающее утихать, возбудится с новою силою. Одним словом, при настоящем положении дел, от народного представительства ничего нельзя ожидать, кроме хаоса. Созвать думу, да еще с неопределенными правами, и значением без твердых основ, полагаясь единственно на патриотизм и здравый смысл общества, это значит пуститься на всех парусах в неизвестные моря. Это хуже, нежели сочиненная конституция; это конституция на авось... Пробьет час, – говорил я далее, – и новые права, укрепившись в народе, получат дальнейшее развитие. Но преждевременные попытки ведут только к бесплодному брожению, к разочарованию и диктатуре. Крепкому и разумному народу свойственно идти медленным, но верным шагом. Россия слышала из уст государя многознаменательные слова: торопиться было бы не только вредно, но и преступно».

Милютин говорил, что все это совершенно верно; но все-таки нежелательно, чтобы из нашей партии исходило осуждение конституционного порядка, хотя бы и временно. Не придавая важности современным конституционным стремлениям русского общества, подбитым главным образом помещичьим неудовольствием, он думал, что лучше об них умалчивать, нежели поднимать вопрос, в сущности не имеющий практического значения. В этом была своя доля истины; но мне казалось, что для общественного самосознания весьма важно выяснение политических вопросов; я считал полезным заявить громко, что предложенное либеральное решение устраняется не в силу закоснелых предрассудков, а вследствие разумно понятого положения дел.

Другое разногласие было важнее. Изучая ход крестьянского дела в Польше, я пришел к убеждению, что каково бы ни было состояние страны, русскому правительству не следует прибегать к чисто революционной мере даровой раздачи земли крестьянам. Правда, революционный ржонд в своей прокламации объявил землю собственностью крестьян без всякого вознаграждения помещиков, и крестьяне фактически уже ею владели, считая ее своею. Но мне казалось, что революционная прокламация не составляет права и что законному правительству не подобает следовать этому примеру. Поэтому я остановился на мысли прямо приложить к помещичьим землям ту весьма невысокую меру повинности, которая была установле-

на для имений казенных и майоратных, с выкупом этих повинностей путем кредитной операции. Милютин же утверждал, что проведение такой меры требует времени, а у нас его нет. Революционное положение заставляло прибегать к революционным средствам. Нам нужно было во что бы то ни стало положить конец восстанию и привлечь польских крестьян на свою сторону, а это можно было сделать только дарованием им от имени правительства того, что им было обещано ржондом и чему уже подчинились польские помещики. Вследствие этого учрежденная под его председательством комиссия остановилась на даровом наделе, и эта система, одобренная Главным комитетом под председательством князя Павла Павловича Гагарина, была утверждена государем и приведена в исполнение.

Таким образом, моя работа пропала даром, на что я впрочем не сетовал, но понимал серьезность возражений, если и не мог с ними согласиться. Впоследствии возложенный на меня труд, в виду ознакомления с вопросом иностранной публики, был поручен Катакази, который в Министерстве иностранных дел считался умным человеком и бойким пером. Ему также были доставлены все документы; но из этого вышло весьма плачевное произведение. Я уже говорил, что брат Василий, бывший тогда советником посольства в Париже, адресовал ко мне Катакази за справками о крестьянском деле в западных губерниях, о чем ему также было поручено написать статью для иностранных газет. Из разговора с ним я убедился, что он в этом вопросе ничего не знает, не понимает, и по крайнему легкомыслию даже и понять не в состоянии. Его расспросы представлялись мне какою-то комическою сценою, а потому я нисколько не удивился, когда, прочитавши статью, основанную на известных мне материалах, я увидел в ней только пошленькую газетную компиляцию, не способную не только произвести впечатление на иностранную публику, но и дать сколько-нибудь ясное понятие о ходе дела. Это показало мне вместе с тем полное отсутствие у нас надежных орудий для действия путем печати.

Не вполне сочувствуя способу проведения крестьянской реформы в Царстве польском, но признавая ее в существе своем мерою необходимою и справедливою, я вовсе не мог сочувствовать тому обороту, который приняло польское дело после удаления Милютина и Черкасского. У них уже родилась мысль уничтожить наместничество и подчинить польские губернии прямо министерствам. Ведя борьбу с графом Бергом, они пришли к убеждению, что пока существует наместник, он непременно будет противодействовать всякому исходящему из Петербурга направлению, стараясь по возможности играть роль местного царька. Будучи не в силах сместить графа Берга, они били на то, чтобы уничтожить самую его должность. Насколько эта мысль у них созрела и была близка к исполнению, не

могу сказать. Но когда Милютина постиг удар, а Черкасский, несмотря на все настояния, вышел в отставку государь хотел показать, что он и без них проведет самые радикальные меры. Царство польское было включено в число русских губерний. Этим думали навсегда покончить с Польским вопросом.

Я считал и считаю эту меру крупною ошибкой. Росчерком пера национальные вопросы не разрешаются, а принятый способ всего менее мог содействовать правильному решению. Через это смешивались и сливались в одно два вопроса, которые поляки всегда старались связать, но которые в самых интересах России должны быть строго разделены: вопрос о западных губерниях и о Царстве польском. Мы не можем допустить отторжения русского края, случайно присоединенного к Польше и впоследствии возвращенного России, каким бы путем ни совершилось это возвращение. Но столь же мало имеем мы право держать под своим гнетом чисто польский край и лишать отечества братское нам население. Доводы, которые приводятся в защиту русского владычества, в моих глазах не имеют силы. Говорят о ненависти к нам поляков; но разве поляк, сохранивший искру любви к отечеству, может любить Россию? Я чувствую, что если бы я был поляк, я бы ото всей души ненавидел русских. Ссылаются на интересы России; но интересы притеснителей не имеют ни малейшего права на существование. В настоящем же случае, интерес далеко не первостепенный. Я не могу допустить опасности для стомиллионного народа со стороны пяти миллионов соседей, имеющих притом с другого бока враждебное им сорокамиллионное немецкое население. Не только в интересах человечества, но во имя нравственного достоинства своей родины, которую я люблю более всего на свете, я от всей души желаю, чтобы полякам была, наконец, оказана справедливость, и я не сомневаюсь, что когда-нибудь этот час пробьет, хотя последнее польское восстание, может быть, более всего другого содействовало его отдалению. В настоящее время говорить о справедливости в политике есть глас вопиющего в пустыне; но когда в Европе поднимется славянский вопрос, – а это время по-видимому не очень отдалено, – судьба поляков ляжет веским элементом в его решении. Тогда Россия увидит, какую фальшивую роль она играет, выступая освободителем одних братьев и угнетая других. Русский народ довольно крепок и могуч, чтобы не быть притеснителем; он имеет в себе довольно нравственной силы; чтобы принести в жертву низкие интересы требованиям справедливости и человеколюбия. Конечно, я этого не увижу, но я всем сердцем призываю этот исход. Самое пламенное мое желание состоит в том, чтобы мое отечество не осталось в истории с печатью Каина на челе.

В этой работе, среди лекций и экзаменов, протекла весна. Она ознаменовалась для меня печальным событием. Умер старый друг

нашей семьи, человек, который приголубил нас в первый наш приезд в Москву и с которым я постоянно оставался в самых близких отношениях – Николай Филиппович Павлов. Последний год его жизни протек спокойнее, нежели прежние. В конце 1862 года, уезжая в Петербург, я оставил его в самом ужасном положении. «Наше Время» имело мало подписчиков. Расходы не окупались, а денег взять было неоткуда. Приходилось закрывать журнал; а, между тем, на руках была довольно значительная семья, которую надо было содержать. Старик не знал, что ему делать. Каково же было мое удивление, когда он вдруг явился ко мне в Петербург, бодрый, живой, с новыми планами и надеждами. Эта удивительно эластическая натура не поддавалась никакому гнету обстоятельств. Из всякого положения он умел вынырнуть и воспрянуть с обновленными силами: «Знаешь, что я придумал? – сказал он мне. – Я хочу издавать газету для народа, по три рубля; она наверное пойдет. Этим миллионам освобожденных крестьян надобно дать какое-нибудь путное чтение, чтобы они знали, что делается на свете. Я уверен, что само правительство окажет мне помощь в этом деле. Нельзя ему оставаться безучастным и отдать народ всякому писаке». И точно, помощь была оказана. Со своею вкрадчивою убедительностью, Павлов сумел сразу обворожить министра государственных имуществ Зеленого, который взялся разослать его газету во все волости государственных крестьян. То же самое обещал и Валуев. Дешевая газета нашла многочисленных подписчиков и среди низшего московского и провинциального населения. Предприятие удалось вполне, и Павлов мог наконец вздохнуть свободно. Но именно тут настигла его смерть. Он был очень мнителен и еще со времени возвращения из Перми все щупал свой пульс и говорил, что у него перебои. Друзья над ним подсмеивались, но оказалось, что опасения не были напрасны. У него сделалось ожирение сердца, которое в марте 1864 года пошло весьма быстро. Он все задыхался; наконец призванные на консультацию доктора объявили его безнадежным. Я почти целые дни присутствовал при этом медленном и мучительном угасании. «Мне бы хотелось поговорить с Филаретом», – сказал он мне однажды. Разумеется, этого нельзя было исполнить; обычные же утешения не способны были на него повлиять. Накануне смерти ему стало как будто немного лучше, хотя говорил он с трудом. Я сидел возле его постели и старался чем-нибудь его развлечь. Я читал стихи наизусть, между прочим по какому то случаю вспомнил стихи Лермонтова:

Но спят усачи гренадеры
В равнинах, где Эльба шумит,
Под небом холодным России,
Под знойным песком пирамид.

Вдруг старик воспрянул на своем ложе. «Холодной России, как можно: холодным!» – воскликнул он с жаром. Так до самых последних минут живо сохранялось в нем чувство литературного изящества. Думаю, что в настоящее время немного найдется людей, которые в состоянии даже понять этот тонкий оттенок.

На следующий день, в семь часов утра, за мною прислали. Я со Спиридоновки отправился на тот конец Москвы с гнетущим чувством неотразимого исхода. Он уже не говорил и не узнавал никого; мозг был поражен. Но еще целый день длилась тихая агония. К вечеру он стал дышать все реже и реже. Наконец, он медленно повел рукою, положив ее на грудь, и все было кончено. В первый раз я видел торжество смерти во всем его величии.

Павлова похоронили на Пятницком кладбище. Немногие друзья сопровождали его гроб. После похорон Кетчер, Н. М. Сатин, Дмитриев и я отправились обедать вместе. Нам хотелось совершить последнюю тризну по усопшем. Мы вспоминали те богатые дары, которыми наградила его природа, и ту бурную жизнь, в которой он их растратил, его блистательный ум, его разносторонние таланты, умение увлекать людей, мастерство писать, а вместе горячее сердце, неизменное в дружбе, отзывчивое на добро, чуткое к нравственным требованиям, хотя слишком часто поддававшееся страстным увлечениям, из-за которых люди, не знавшие его близко, не могли разглядеть таившегося в нем огня. Не я один, связанный с ним многолетнею дружбою, оставшеюся наследием от отца, но все мы в один голос произнесли над свежею могилой примиряющий приговор и с сердечным чувством подняли бокал в память умершего. Для меня в этой могиле хоронились воспоминания о лучших днях моей молодости, о первом вступлении в обаятельную сферу умственных интересов, наполнявших московское общество сороковых годов, о теплом участии, которое приветствовало первые мои успехи в университете и на литературном поприще.

Надобно было хлопотать о судьбе «Русских Ведомостей», которые оставались единственною опорою многочисленной семьи. Наследником являлся законный сын Ипполит, который жил с отцом и страстно его любил. Но распространялись ли права наследства на издание газеты? Это был вопрос сомнительный, ибо разрешение дано было лицу известному правительству, а не случайным его наследникам. В настоящем случае дело осложнялось еще тою поддержкою, которую правительство оказывало предприятию, рассылая газету по волостям. Я написал письмо к Валуеву, и Ипполит Павлов отправился с ним в Петербург. Валуев принял его благосклонно и согласился утвердить за ним издание. Новому редактору приходилось получать деньги, собранные с волостей. В департаменте ему объявили, что их передаст ему сам министр. Но когда он явился на

частную аудиенцию, Валуев, вместо 33 тысяч рублей, вручил ему три. Куда девались остальные деньги, осталось неизвестным. Можно думать, что не казна вознаградила себя на счет редакции за оказанную помощь.

Имея значительную частную подписку, «Русские Ведомости» могли вынести этот налог. Но Ипполит Павлов был вовсе не создан для журнального дела. Весьма неглупый, литературно образованный, талантливый, но легкомысленный и неспособный к усидчивому труду, он мог отлично переводить стихи, мог даже, когда хотел, быть хорошим преподавателем, но писать газетные статьи было ему не по силам и не по нраву. К счастью, нашелся человек, который вынес предприятие на своих плечах. То был Скворцов, постоянный сотрудник Н. Ф. Павлова как в «Нашем Времени», так и в «Русских Ведомостях», человек еще молодой, недавно кончивший курс в университете, небольшого ума, со скудным образованием, но с некоторым талантом, натура добрая и мягкая, хотя крайне неустойчивая. Однажды он пришел к Павлову, прося у него работы. Тот, увидя в нем способность писать и нуждаясь в сотрудниках, оставил его при себе. Скворцов к нему привязался, переносил с ним самые тяжелые времена, отказывался даже от выгодных предложений, а после его смерти остался главною опорою «Русских Ведомостей». Последние перешли наконец совершенно в его руки. Ипполит Павлов женился самым легкомысленным образом, без любви и без расчета; брак вышел неудачный. Тогда он бросил и редакцию, и жену, предоставив то и другое Скворцову. Но Скворцов не довольствовался народною газетою. Успех предприятия доставил ему порядочные средства, которыми он воспользовался, чтобы превратить журнал в политический орган. Когда «Московские Ведомости» приняли решительно попятное направление, «Русские Ведомости» остались единственным представителем либерализма в Москве. Но придать им серьезное общественное значение Скворцов был не в состоянии. У него не было ни ясной политической мысли, ни основательного образования. Он мог быть хорошим сотрудником под руководством умного человека, как Павлов, но к самостоятельной роли он тем менее был способен, что по слабости характера он легко поддавался чужому влиянию. К этому присоединилась вызванная достатком наклонность к разгульной жизни. Вследствие этого «Русские Ведомости» сделались органом различных радикалов довольно низкого пошиба. После смерти Скворцова они перешли в руки акционерной компании социал-демократов, которая владеет ими доселе.

В конце апреля я получил от графа Строганова письмо с извещением, что путешествие наследника, наконец, решено. Он спрашивал, согласен ли я их сопровождать, прибавляя, что наследник очень этого желает, и сам он особенно дорожит моим содействием. Я не

имел ни малейшей причины отказываться и охотно дал свое согласие. Мы отправились в половине июня. Кроме графа Строганова и меня, свита состояла из постоянно находившегося при наследнике полковника Рихтера, секретаря Оома, доктора Шестова и двух молодых ординарцев, Козлова и князя Барятинского.

Рихтер был еще молодой человек; ему было не более 30 лет. Он учился в Пажеском корпусе, затем служил на Кавказе. Оттуда вызвал его бывший воспитатель великого князя Зиновьев, который обратил на него внимание, еще будучи директором Пажеского корпуса. Он был назначен к наследнику, при котором состоял безотлучно. Действительно, для этой должности нельзя было сделать лучшего выбора. Ума он был посредственного и, как все воспитанники Пажеского корпуса и вообще гвардейские офицеры, имел весьма скудное образование; но это был истинно порядочный человек. Немец по происхождению, но вполне обрусевший и преданный России, он сохранил лучшие черты своего племени. Это была натура честная, правдивая, чуждая искательства и лести, а тем более интриги. Спокойный, сдержанный, молчаливый, с безукоризненно светскими формами, он держал себя всегда с величайшим достоинством, но открыт был всякой благородной мысли и всякому сердечному побуждению. С ним можно было откровенно говорить обо всем; он понимал все оттенки человеческих отношений. Были, конечно, и недостатки, свойственные среде, в которой он воспитывался и жил. В нем иногда не совсем приятно поражали замашки так хорошо описанных Тургеневым молодых генералов: порою с важным видом занятие пустяками, великосветские позы, со сверстниками особого рода фамильярность, долженствующая быть высокого тона, но в сущности довольно пошлая. Он любил отпускать плохие каламбуры, что вовсе не шло к его вообще серьезному и сдержанному тону. Но эти мелкие стороны совершенно исчезали перед его прекрасными свойствами. С наследником поведение его было безупречно. Я внимательно всматривался в их отношения и не мог ими налюбоваться: с одной стороны постоянная, неусыпная заботливость, преданность без малейшего угождения, мягкость без уступчивости, неустанное стремление воздержать все мелкое и дурное, направить молодую душу на все хорошее, внушить искреннее и благородное отношение к людям и вещам; с другой стороны горячая, нежная, почти женская привязанность, самое чуткое внимание, самая ласка, в которых ясным пламенем светилась чистая и любящая душа привлекательного юноши. Глядя на них нельзя было не полюбить того и другого. Путешествуя вместе в течение года, я подружился с Рихтером, а общее горе еще более нас сблизило. Когда после смерти наследника он сделался начальником штаба гвардейского корпуса, я останавливался у него во время поездок в Петербург. Скоро, однако, он должен был оставить

это место и временно удалиться из столицы. Он женился на своей родной племяннице, дочери бывшего русского посланника в Брюсселе. Для всех это было неожиданностью. Рихтер любил позировать великосветским львом, ухаживал не без успеха за модными дамами, и никто не подозревал в нем глубокой привязанности к девушке, которая при отменных качествах ума и сердца, не блистала ни красотою, ни богатством, ни даже светским положением. По протестантским законам такие браки дозволялись; но она была православная. Ценя его прежнюю и настоящую службу, на это смотрели сквозь пальцы; но оставить его в Петербурге было невозможно. Его назначили военным агентом во Флоренции. И там я у него гостил среди самой счастливой семейной обстановки. Потом ему дали дивизию на юге, где он умел снискать всеобщую любовь. Наконец, в новое царствование он опять был призван в Петербург, на должность начальника главной квартиры, а вместе управляющего преобразованною комиссией прошений. Он стал одним из самых приближенных людей к царю. Тут, однако, ему пришлось пройти через всякого рода испытания. Сначала он откровенно высказывал свои мысли и взгляды, но скоро увидел, что лучше от этого воздержаться. Жестоким ударом был для него погром, постигший родные его балтийские губернии. Он говорил мне, что прослужит еще три года до полной пенсии, необходимой ему при недостатке средств, и затем удалится. Но три года прошли, и он не удалился. Придворная жизнь и высокие почести взяли свое. Это отразилось и на наших отношениях. Несмотря на то, что мы по целым годам не видались, дружеская связь поддерживалась дорогими нам воспоминаниями, и мы встречались всегда с искренним чувством. Но это продолжалось только до тех пор, пока я за слишком независимый образ мыслей не подвергся немилости. Тогда я, вместо прежнего теплого привета, при сохранении внешних форм, почувствовал внутренний ледяной отпор. Отношения к людям вообще, испытываются во времена невзгод, которые служат пробным камнем истинного и ложного. Опыт жизни научает нас, что дружба придворных обращается в ледяную кору там, где перестает светить верховное солнце. Видя такие примеры перед глазами, я иногда спрашиваю себя: что есть истинного в душе человека? Были ли пустым призраком проявлявшиеся в молодости прекрасные свойства? Или, может быть, развращающая среда действует с неотразимою силой на всякую душу, не закаленную в борьбе, оттесняя в ней все хорошее, выдвигая все дурное, и мало-помалу превращающая наконец человека в совершенно иное сочетание качеств, нежели каким он являлся в молодых летах? Думаю, что немногие, крепкие как скала натуры способны противостоять растлевающему действию почестей и власти; обыкновенные же смертные легко поддаются гибельным их чарам, а при слабости характера совершен-

но утопают в грязи. К сожалению, мне пришлось это видеть на близких людях.

Отменным, безукоризненно честным и добрым человеком был другой наш спутник, Федор Адольфович Оом. Он весь был предан своему долгу и тому лицу, к которому он был приставлен. Живой, веселый, общительный, участливый, он сердцем стоял, может быть, выше всех остальных, но ума он был весьма недалекого, и мелочные стороны его характера выказывались иногда довольно забавно. Он важно обсуждал все вопросы, придавая преувеличенное значение мелочам, вкривь и вкось толковал о людях, пытался разыгрывать несвойственную ему великосветскую роль, обижался, когда ему давали слишком маленький крестик. Я полюбил его, как доброго человека, и всегда остался с ним в очень хороших отношениях; но общего было, в сущности, мало.

Еще менее я мог сойтись с доктором Шестовым. Он был человек не дурной и обходительный, но пошлый. К наследнику он был определен по рекомендации лейб-медика Енохина, которому он приходился племянником, и который всячески старался выдвигать русских. На этот раз выбор был неудачный. Шестов, говорят, учился хорошо, но доктор он был плохой; он не имел ни любви к медицине, ни каких-либо научных интересов, а любил пожуировать и обладал весьма низкопробными артистическими наклонностями: делал наброски карандашом без всякого таланта и покупал старые галебарды, которые годились только на дрова. Увидав, что я собираю гравюры, он тоже накупил всякой дряни и очень огорчился, когда я ему сказал, что все это не имеет никакой цены. С Оомом они были в дипломатических отношениях, друг над другом исподтишка подсмеивались, однако, с соблюдением полного приличия.

Что касается до двух молодых ординарцев, то это были добрые, милые, веселые ребята, но настоящие гвардейские офицеры, без всяких умственных интересов и без малейшего образования. Козлов был больше идеалист, за что его особенно любил наследник. Впоследствии он сошел с ума, будучи женихом очень богатой, но некрасивой княгини Орбелиани, рожденной Сомовой, вышедшей потом замуж за Мюрата. Говорили, будто он не мог вынести мысли, что женится на деньгах, явление довольно редкое, которое делает ему честь. Барятинский, напротив, очень красивый собою, более прилегал к прозе. Отец его, Анатолий, брат фельдмаршала, был известный кутила, мать столь же известная красавица и кокетка*. Сам он был добрейший малый, без всяких претензий, веселый товарищ, но совершенный младенец, родившийся еще до изобретения различия между добром и злом, и таковым он остался всю свою жизнь. Каково

* Олимпиада Владимировна Каблукова.

же было всеобщее удивление, когда много лет спустя, другого наследника, тоже Николая Александровича, отправили путешествовать на восток и руководителем поставили Владимира Барятинского! Граф Сергей Григорьевич Строганов и Владимир Барятинский! Одно сопоставление этих имен показывает, какое коренное изменение во взглядах произошло в промежуток двух царствований, как прежде смотрели на путешествие наследника и как смотрят на него ныне.

Граф Строганов действительно был проникнут сознанием своих высоких обязанностей. Он хотел, чтобы путешествие принесло серьезную пользу, чтобы наследник видел и понял все замечательное в Европе, чтобы он набрался новых, возвышенных впечатлений. Объезд германских дворов, с сопровождающим их пустым церемониалом, был неизбежен; имелось в виду и приискание невесты. Но главная цель поездки был Рим, где мы должны были провести четыре или пять зимних месяцев. Я скоро увидел, что я был в путешествии необходимым элементом, ибо мы одни с графом Строгановым могли поддерживать серьезный умственный разговор, в котором наследник, с свойственною ему восприимчивостью, всегда принимал живой интерес. Остальные делали свое дело. Молодые люди веселились и хохотали; на Ооме лежала вся хозяйственная часть; доктор исполнял свои обязанности. Все клеилось, как нельзя лучше. Все жили в полном согласии; в течение годичного путешествия не было и тени неприятности. Отношения были самые непринужденные; стеснения не было ни малейшего; разговор был всегда оживленный и дружественный; можно было высказываться обо всем с полною откровенностью.

Мы путешествовали как кружок друзей, разных возрастов, различных положений, но все соединенные общим чувством и общими стремлениями. Центром этого маленького мира был прелестный юноша, с образованным умом, с горячим и любящим сердцем, веселый, приветливый, обходительный, принимающий во всем живое участие, распространяющий вокруг себя какое-то светлое и отрадное чувство. И как хранитель этого драгоценного цветка, «надежды отечества», стоял русский вельможа старого времени, пользовавшийся всеобщим уважением, имевший за собою незабвенные заслуги, одушевленный самыми возвышенными стремлениями к просвещению и самою пламенною любовью к отечеству, с цельным характером, выражавшимся в строгих внешних формах, но мягкий и обходительный в частной жизни. Все преклонялись перед его авторитетом, но рука его не тяготела ни над кем. Впоследствии говорили, будто граф Строганов сурово обходился с наследником, особенно во время его последней болезни. Я, близко видевший их отношения, могу свидетельствовать, что ничего подобного не было и не могло быть. Тут было благоговейное уважение с одной стороны и

самое мягкое попечение с другой. Лучшего ничего нельзя было желать.

Так мы отправились в путь. Могли ли мы предчувствовать, как мы через год вернемся?

Первая остановка была в Берлине, где на этот раз мы только переночевали. Мы не избегли мундиров и представлений, но все это было в весьма умеренном количестве. Нас поместили в доме русского посольства. Вечером я пошел к наследнику и застал его одного с князем Николаем Алексеевичем Орловым, в то время нашим посланником в Брюсселе. Он случайно был проездом в Берлине и пришел откланяться великому князю, с которым был близок

Орлова я знал уже прежде. Еще в 1858 году, во время моего кратковременного пребывания в Париже, где он в ту пору жил, он сам приехал ко мне знакомиться, позвал меня обедать, и с тех пор между нами завязались хорошие отношения. Это была одна из самых странных личностей, каких мне доводилось встретить. Сын первого любимца императора Николая, воспитанный в придворной сфере, близкий к великим князьям, он был совершенно чужд господствовавших в этом круге понятий, а, напротив, питал в себе неодолимое стремление к просвещению, при ярко либеральном образе мыслей. А так как он не был довольно умен, чтобы сладить с этим противоречием между стремлениями и средою, то он в сущности не знал, что делать с своим умственным достоянием, и часто попадал в неловкое положение. Сначала он служил в военной службе. Под Силистрией безрассудная храбрость, которая побудила его настаивать на предприятии несчастного ночного штурма, была причиною потери глаза. Он вышел в отставку и поселился в Париже. Там он водился преимущественно с литераторами, часто без большого разбора. Он был в коротких отношениях с Тургеневым, с графом Салиас, с Феоктистовым; в Брюсселе, куда он был назначен посланником после внезапной смерти Рихтера, одним из его приближенных был Молинари. Во время Польского восстания он вдруг выкинул самую удивительную штуку. Как либерал, он стоял за независимость Польши, а как человек, витающий в облаках, он вздумал осуществить эту мысль немедленно, по собственной инициативе. С этой целью он отправился к Людовику-Наполеону и на частной аудиенции предложил ему решить польский вопрос назначением великого князя Константина Николаевича королем Польши. Император французов, разумеется, скоро согласился, о чем Орлов тотчас поехал сообщить государю. Для дипломата это было нечто чудовищное. Только высокое положение и мягкость государя, который любил его за его честность и прямоту, спасли его от отставки. Впоследствии он сделался послом, сначала в Вене, потом в Париже. Везде он умел снискать любовь подчиненных, которых привлекали его мягкий, обходительный нрав и безу-

коризненное благородство характера. Отношения были чисто товарищеские, чему я сам был свидетелем, проезжая через Вену. Но света он по-прежнему чуждался, что для посла было не совсем удобно. В Париже он часто видался с Тьером, а после смерти последнего жил почти в полном уединении. С летами его яркий либерализм несколько угомонился; но в то время, о котором идет речь, он выражался иногда в весьма резкой форме. После довольно продолжительной беседы, прощаясь с наследником и со мною, он меня обнял и сказал: «До свидания, надеюсь, в русском парламенте, хотя мы с вами, по всей вероятности, будем сидеть на разных скамьях, ибо я, наверное, буду сидеть налево». Эта странная выходка, не вызванная даже предшествующим разговором, поразила как меня, так и великого князя, который очень любил князя Орлова. Что она означала? Хотел ли он внушить молодому человеку мысль о необходимости конституции или это была просто либеральная поза? Всего менее я мог понять, зачем ему нужно было заранее обрекать себя на оппозиционную роль, между тем как созвание русского парламента очевидно предполагало в правительстве такое направление, которое должно было найти сочувствие и поддержку всех либеральных людей. После смерти наследника, Орлов хотел почтить его память проведением в русском законодательстве отмены телесного наказания. Он явился ко мне в Москву с этим проектом, которому я, разумеется, вполне сочувствовал. Он был главным двигателем этого дела, чем оказал серьезную услугу России.

Из Берлина мы проехали прямо в Киссинген, где императрица пила воды и где находился сам государь. Наследнику тоже было предписано лечение ваннами. Перед отъездом из России у него вдруг сделалась сильная боль в пояснице. В отсутствии Рихтера, который уехал на несколько дней в Остзейский край проститься с родными, он в сырую погоду отправился на охоту с Николаем Максимилиановичем Лейхтенбергским. Говорили, что он тут простудился и схватил lumbago. Доктора, созванные на консилиум, не нашли ничего серьезного и предписали киссингенские ванны и затем морские купания в Схевенингене. Но ваннами великий князь не пользовался, ибо чувствовал себя совершенно хорошо. На вид он казался бодрым и здоровым. Никто не подозревал, что в нем таилась уже болезнь, которая через несколько месяцев должна была свести его в могилу.

В Киссингене был большой съезд. Тут находился Баварский король*, в то время еще совершенно юный, с интересною наружностью. Он был неразлучен с наследником, которому однако скоро надоел своими фантазиями. Был также большой сбор дипломатов: сам канцлер князь Горчаков, наш посол в Париже – барон Будберг, чело-

* Людвиг II (род. 1845).

век умный, сметливый, живой, но интриган и неразборчивый на средства; приехал из Турина и граф Штакельберг. Горчакова сопровождали ближайшие его сотрудники, Гамбургер и Жомини. Были и другие высокопоставленные лица, которые толпились около двора.

Свиту наследника разместили по разным гостиницам. Я обедал обыкновенно за обер-гофмаршальским столом, под председательством графа Андрея Петровича Шувалова, в пестрой компании скучных стариков и не менее скучных молодых. Иногда меня приглашали к царскому столу, где чопорный этикет царил во всем своем величии. Разговоров почти не было; все больше молчали и глядели подобострастно, в ожидании, что на них упадет милостивое слово. После чинного обеда были столь же чинные обходы; каждому дарилось пустое словечко, которое делало его счастливым. Когда нас распускали, я уезжал с чувством невольного облегчения. К счастью, придворная жизнь для меня этим ограничивалась. Граф Строганов и Рихтер, которые почти ежедневно приглашались по вечерам, говорили, что там царила такая невообразимая скука, что они просто не знали, куда деваться.

В Киссингене происходили, однако, важные дипломатические совещания. Это был тот момент, когда раздавленная немецкими войсками Дания готова была сдаться на всех условиях. Англия и Франция предлагали России сделать для ее защиты совокупную морскую демонстрацию. К этому, сколько мне известно, подбивал Будберг, который вел интригу против Горчакова и громогласно порицал его политику, как лишенную всякой цели и всякого содержания. Он мне самому высказал это, вовсе не стесняясь. Я отправился к Горчакову и нашел его в очень дурном расположении духа вследствие затеянных против него подкопов. «Говорят, зачем канцлер в Киссингене, – сказал он мне. – А затем, что присутствием канцлера в Киссингене предупреждена европейская война». Действительно, Горчаков настоял на отказе русского правительства в совместном действии. Дания была отдана на жертву врагам, и у Пруссии были развязаны руки. Это был роковой шаг, из которого вытекли все последующие события. Князь Горчаков ничего этого не предвидел. Впечатлительный и тщеславный, он руководствовался в своей политике не глубоко обдуманными целями, не сознанием истинных интересов России, а случайным настроением в пользу той или другой державы. В первые годы после Крымской войны вся наша дипломатия двигалась одним чувством: ненавистью к Австрии, которая отплатила нам неблагодарностью за оказанные ей услуги. После Польского восстания предметом негодования сделались французы, хотя Людовик-Наполеон заранее предупреждал государя о разногласии по польскому вопросу. В то время Пруссия, которая не менее нас была заинтересована в подавлении польского мятежа, одна оказала нам дипломатическую

поддержку, и за эту ничего не стоившую ей услугу она теперь получила существенное вознаграждение.

Из Киссингена мы прямо отправились на морские купания в Голландию. Мы выехали с царским поездом. Императрица оставалась еще допивать свои воды, а государь вернулся в Россию. Часть пути мы ехали вместе; на станциях были общие завтраки и обеды за царским столом. Я все всматривался в фигуру монарха, который здесь являлся мне в обыденной жизни, и я все удивлялся, как мало его наружность говорила о величии совершенных им дел. В нем не было ни обворожительных приемов Александра I, которые покоряли сердца, ни внешнего величия Николая, поражавшего всех, кто к нему приближался. Лицо было довольно красивое, с мягким выражением, но ничего не значащее; какие-то телячьи глаза, тщательно приглаженные наперед виски, пустая речь, довольно пошлые ухватки. Вместо самодержавного венценосца, я видел перед собой армейского майора. Откуда же взялись все эти великие деяния, которые перевернули русскую землю и разом поставили ее на новый путь? За эти деяния я готов был любить его всем сердцем, но понимал, что личным обаянием он действовать не мог. Этого дара ему не было дано. Мягкий, добрый, снисходительный, одушевленный самыми благими намерениями, он не доверял ни себе, ни другим, а потому не в состоянии был никого к себе привязать. Его трагическая смерть поразила всех ужасом, но мало возбудила сожалений. Он мог служить примером того, что провидение для совершения величайших дел употребляет иногда весьма обыкновенные орудия. Когда вопрос созрел в общественном сознании, для решения его не нужно гения; достаточно человека благонамеренного и здравомыслящего.

Прибыв в Голландию, мы прежде всего заехали на поклон к вдовствующей королеве Анне Павловне, весьма известной в России тем, что ее имя последнее провозглашалось на ектенье в те времена, когда диакон с амвона перечислял одних за другими нескончаемых членов царской фамилии. Она приняла нас в своем загородном дворце, и тут я увидел настоящий старый тип вдовствующей королевы, тип, исчезнувший навсегда среди новых условий и понятий. Во всей ее особе выражалась какая-то торжественная важность и павлинность, прикрывающая совершенную пустоту. Она двигалась и поворачивалась медленно и плавно, снисходительно роняла поочередно любезные слова, и в каждом слове выражалось глубокое сознание, что этим самым оказывается милость и что эту милость должны чувствовать .

За обедом я сидел возле секретаря русского посольства, Сиверса, который приехал встретить наследника. Чтобы завязать разговор, я самым невинным образом спросил его: давно ли он в Гааге. Вдруг он выстрелил, как бомба – это было самое больное его место: «Представьте, двадцать лет! – воскликнул он с жаром. – Никто не

понимает, отчего я так долго здесь сижу. Я давно бы имел право на высшее назначение, но вследствие интриг меня все обходят». Конечно, все, кроме самого Сиверса, очень хорошо понимали, отчего он так долго сидел на месте. Карикатурист Всеволожский, незадолго перед тем состоявший при посольстве в Гааге, оставил там прелестный альбом с жизнеописанием Сиверса, который завершал свою дипломатическую карьеру тем, что в придворном мундире, с глубоким поклоном подавал свою кредитивную грамоту какому-то негритянскому корольку.

В Схевенингене мы пробыли месяц, и это время осталось для меня лучшим воспоминанием всего путешествия. Мы жили исключительно в своей компании, купались в море, гуляли, осматривали достопримечательности страны. Все были бодры и веселы. Никаких придворных приемов не было. Ежедневно к обеду приезжал приставленный к наследнику адъютант короля, ван Капеллен, очень милый человек, которого мы расспрашивали о Голландии и который сопровождал нас иногда в наших экскурсиях.

Все мы Голландиею очень заинтересовались. Мне в первый раз доводилось быть в этой совершенно оригинальной стране, отвоеванной у моря; и непохожей ни на какую другую. Свежая зелень лугов, во все стороны перерезанных каналами; пестрые пасущиеся на них стада; всюду вертящиеся мельницы, оживляющие ландшафт; паруса, которые, вздымаясь над невидимою лодкой, как бы скользят по траве, и рядом с этим безбрежное море с тысячами переливов, усеянное судами, пенистые валы, прибивающиеся к плоскому берегу, окаймленному грядою песчаных холмов, – все это представляло своеобразную и привлекательную картину. Кругом все носило печать мирной и довольной жизни: необыкновенно опрятные жилища; голландки с их чистыми юбками и золочеными головными уборами; крепкие рыбаки, вытаскивающие с судов ежедневную морскую добычу; всюду следы заботливости, бережливости и труда. И среди этой обстановки целый рой воспоминаний о героических временах и чудеса искусства, свидетельствующие о высоком некогда подъеме народного духа. Создания художества делают особенно сильное впечатление, когда их видишь в той среде, которая их произвела. Граф Строганов был любитель и знаток картин. В этом мы с ним сходились вполне. Мы с жадностью посещали музеи в Гааге, Амстердаме, Гарлеме, Лейдене, Роттердаме. В первый раз я увидел это чудо голландского искусства, единственное произведение, достойное стать на ряду с итальянскою живописью, «Ночной дозор» Рембрандта, где яркость, сила и игра красок и света, вместе с энергическим выражением лиц, могут соперничать с лучшим, что производила человеческая кисть. Я любовался и изумительно тонкими переливами теней в знаменитом «Уроке анатомии», и полными жизненной правды фи-

гурами Ван-дер-Гельста, и смелыми, выразительными портретами Франца Гальса, быком Поль Поттера, внутренностями жилищ Питтер-де-Гуга, которым врывающийся в окно солнечный луч придает какое-то чарующее освещение, прелестными семейными сценами, животными, пейзажами, подобных которым не производила никакая школа. Каждая маленькая картинка представлялась перлом, на который нельзя было наглядеться.

Здесь я положил начало и своему собранию картин. Однажды, когда мы с графом Строгановым осматривали в десятый раз Гаагский музей, директор сказал нам, что у него в задней комнате есть картины для продажи. Граф Строганов тотчас же накинулся на два маленьких пейзажа ван-Гойена, за которые он заплатил триста франков, а я столько же дал за два фамильных портрета Петра Назона, которые продавались каким-то разорившимся роттердамским семейством. Они теперь висят у меня в Карауле.

Я продолжал собирать и гравюры. Каждый день после завтрака, когда не было других предположений, я отправлялся пешком через лес, соединяющий Схевенинген с Гаагою. Я или шел в музей или чаще заходил к продавцу гравюр Фишеру, у которого был порядочный материал. Я показывал свои приобретения наследнику, который тоже любил и умел ценить искусство. Он, в свою очередь, заинтересовался гравюрами и положил начало собранию, которое после его смерти исчезло неизвестно куда. Там, между прочим, были довольно ценные портреты Вильгельма Оранского, которого великий князь высоко чтил. Живя в Схевенингене, он читал историю Мотлея, которая могла внушить уважение к изумительной стойкости этого маленького народа и к доблестям его героев.

В наших поездках, разумеется, не был забыт и Заандам, эта колыбель русского величия. С глубоким благоговением вошли мы в низенький деревянный домик, где жил могучий гений, создавший новую Россию; мы видели простые стулья и убогую кровать, на которой богатырь едва мог растянуться. Здесь он в униженном виде работал неутомимо для славы своего народа, и теперь, на поклонение его памяти, в эту ветхую хижину являлся наследник русского престола, хранитель великих преданий, будущий властитель земли, разросшейся во все стороны и ставшей одною из могущественнейших держав в мире. Мы нашли здесь и следы прежних посещений русских царственных особ: подписи в книге, стихи Жуковского, некогда сопровождавшего тогдашнего наследника Александра Николаевича; нашли и курьезный перевод, сделанной на доске голландской надписи: «Ничто великому человеку мало» (Nichts ist dem grossen Mann zu klein)*, Посещение Заандама могло исполнить нас патрио-

* Ничто не мелко для великого человека.

тическою гордостью при сравнении прошедшего с настоящим, при мысли о великом начале, принесшем столь обильные плоды.

Среди этой приятной жизни нас постиг неожиданный удар. Из России пришло известие, что старший сын графа Строганова* скончался внезапно. Он лег спать здоровым, а поутру его нашли мертвым в постели. Старик был совершенно сражен горем. Он обыкновенно разыгрывал из себя спартанца, но тут он не выдержал; таившаяся в сердце любовь выразилась самым трогательным образом. Он немедленно по телеграфу просил позволения поехать недели на две в Петербург, чтобы утешить жену. Разумеется, разрешение было тотчас дано. При своей ненависти ко всяким демонстрациям, он просил, чтобы его не провожали на железную дорогу. Но я рассудил, что ему слишком грустно будет уезжать одному, и все-таки поехал; он был этим тронут. Я нашел там и старого его товарища, тогдашнего русского посланника в Гааге, добрейшего старика Мансурова. Они оба были адъютантами Александра Павловича и вместе, еще молодыми офицерами, сопровождали тело императора из Таганрога.

Нас крайне озабочивало назначение временного заместителя. Ну как пришлют какое-нибудь высокопоставленное лицо, которое нарушит весь строй нашей жизни! Скоро однако мы успокоились: назначен был граф Матвей Юрьевич Виельгорский, брат весьма известного в петербургских литературных кружках, в то время уже покойного Михаила Юрьевича, добрейший и милейший человек, обходительный, ласковый, страстный музыкант. Я знал его давно по родственным связям с Веневитиновым, который был женат на его племяннице, дочери Михаила Юрьевича, и мог только радоваться этому назначению.

Прежде, однако, нежели он прибыл, наша компания умножилась лицом совсем другого типа. На свидание с наследником приехал в Схевенинген Владимир, или, как его называли, Вово Мещерский, будущий редактор «Гражданина». Рихтер объяснил мне, что его старались сблизить с великим князем вследствие того, что из всех петербургских молодых людей высшего общества он один имел некоторые умственные и литературные интересы. Действительно, он был внук Карамзина и хранил в себе литературные предания семьи. Но рядом с этим у него была прирожденная наклонность к самому утонченному искательству и раболепству. Еще будучи совершенно молодым человеком, чуть ли не двадцати лет, он выхлопотал себе весьма характеристическое поручение в Западном крае: он должен был присутствовать на экзаменах в мужских и женских заведениях и лучшим ученикам и ученицам раздавать фотографические карточки

* Александр Сергеевич Строганов (1818 – 1864).

императрицы. Такое начало обещало много. С тех пор заветною его мечтою сделалось сближение с наследником русского престола. Он всячески подольщался к Николаю Александровичу, но вследствие ранней смерти последнего хлопоты его пропали даром. Тогда он обратился к новому цесаревичу. Однако, тут его искательство было до такой степени беззастенчиво и назойливо, что он наконец совершенно подорвал свой кредит. Как видно, он с летами не научился тонкости, а потому иногда самым забавным образом попадался в просак. Однажды он встречает Оома и, глядя на него с участием, говорит: «Федор Адольфович, вы что-то очень бледны и худы; вам бы следовало полечиться. Поедемте в Карлсбад». «Куда мне в Карлсбад! – отвечал тот – Я должен сопровождать наследника* в его путешествии по России, и мне некогда разъезжать по водам». Через несколько дней произошла новая встреча. «Федор Адольфович, на вас лица нет! – воскликнул Мещерский. – Поверьте, вам необходимо лечиться. Поедемте вместе в Карлсбад». Тот опять решительно отказался. Вдруг, несколько времени спустя, Оому приносят список лиц, назначенных сопровождать наследника, и оказывается, что его имени тут нет, а вместо него назначен Мещерский. Он тотчас отправился к великому князю узнать, что это означает. «Да разве вам не нужно ехать лечиться в Карлсбад? – спросил цесаревич. – Мещерский мне сказал, что вам это необходимо, но что вы совеститесь об этом говорить». «Я, ваше высочество, никогда не отказывался от исполнения своих обязанностей и вовсе не в таком положении, чтобы мне нужно было непременно ехать на воды. Мещерский меня уговаривал ехать вместе с ним, и я решительно отказался». «Я тебе давно говорила об этом Мещерском», – воскликнула сидевшая тут цесаревна. Тотчас было приказано назначить Оома для сопровождения во время путешествия, а Мещерскому запрещено было даже являться в те места, где будет проезжать наследник.

Он успел однако опять втереться в милость. Чтобы заманить к себе великого князя, он устраивал у себя вечеринки, на которые приглашал более или менее интересных людей, способных вести серьезный разговор. Но и это была неудачная выдумка. До умственных интересов Александр Александрович был не охотник, и это скоро ему надоело. В 1871 году я проводил зиму в Петербурге. Однажды я получаю записку от Мещерского, с которым мы даже не обменивались визитами; он приглашал меня на вечер, устроенный будто бы по желанию наследника для известного педагога, барона Корфа, который в это время гостил в Петербурге. Барон Корф был человек интересный, и я поехал; но меня заранее предупреждали, что эти вечера – дело известное: они всегда устраиваются по желанию на-

* Будущего Александра III.

следника, и наследник никогда на них не бывает. И точно, Мещерский встретил меня с выражением сожаления, что великий князь никак не может быть, потому что отозван на вечер к государю. После я узнал, что никакого вечера у государя не было, и наследник преспокойно просидел дома. Для меня это было безразлично, и я провел приятный вечер с бароном Корфом, в котором нашел человека очень живого и страстно преданного своему делу. Но сам Корф был в большом затруднении. Мещерский уверил его, что великий князь пламенно желает его видеть, а, между тем, ему необходимо было ехать в Новгород, где ему готовились овации и хотели дать обед. «Я не могу медлить поездкою в Новгород, – говорил он, – но для нас так важно, что наследник русского престола интересуется народными школами, что я готов пожертвовать всем». Несколько времени спустя я случайно встретил Мещерского. «Ну, чем же кончились затруднения барона Корфа?» – спросил я. Он только отвернулся и замахал рукой. «Лучше не говорите», – сказал он грустным тоном. Оказалось, что несчастный Корф съездил в Новгород наскоро и нарочно оттуда вернулся, чтобы видеть великого князя, и все-таки его не видал. Нельзя не сказать, что симпатическую роль играл тут один барон Корф.

Видя, что не удается ему сделаться другом наследника, Мещерский избрал другой путь: он затеял газету с ярко крепостническим направлением, нечто вроде «Московских Ведомостей», но без ума, без образования и без таланта. На этот раз предприятие вышло удачное. Несмотря на то, что газета была смесью пошлости и нахальства, она имела успех в высших сферах, которые на этот счет весьма неразборчивы. Я слышал, что она получает довольно значительные субсидии. Даже случившаяся с редактором грязная история, наделавшая скандал, не лишила его оказываемых ему милостей. Мещерскому не удалось снискать дружбу царственных особ, но он сделался лицом в русском обществе.

В отсутствие графа Строганова королева София вздумала развлечь наследника, устроив для него маленький вечер. Она пользовалась репутацией значительного ума и любезности, но вечер вышел один из самых невыносимых, какие мне доводилось проводить в своей жизни. Для увеселения гостей устраивались разные хитроумные игры (jeux d'esprit). Я вспомнил баронессу Раден, которая говорила, что это страсть всех царственных особ. Сама королева заранее к этому приготовилась и хотела блистать своим остроумием, но все остальные были поставлены в тупик. Тут, между прочим, был лорд Нэпир, бывший английский посол в Петербурге, человек очень умный, образованный и приятный, который нарочно приехал в Гаагу на поклон к королеве. С его помощью можно было вести салонный разговор, оживленный и интересный. Вместо того его заставляли

разгадывать разные глупые загадки, и он играл роль совершенного дурака. До сих пор не могу забыть его печальной физиономии, когда он в раздумьи стоял перед королевой, не зная, что ему вымолвить. Столь же неудачны были попытки выказать ум принца Оранского*. Он тоже не умел ничего разгадать и ответить и постоянно убегал в соседнюю комнату болтать с фрейлинами, что для него было гораздо интереснее. Наследник, разумеется, не мог отвертеться, а мы все время старались прятаться по углам, чтобы нас не притянули к этой пытке. Когда кончился вечер, мы вздохнули свободно и с чувством облегчения от нестерпимого гнета вернулись домой. Перед отъездом пришлось раскланяться с королем, и тут опять произошла комическая сцена. Тяжелый и неповоротливый король голландский** видимо не находил, что ему сказать этому ряду облеченных в мундиры людей, совершенно ему незнакомых. Он подходил по очереди к каждому и с грустным видом повторял одну и ту же фразу: «Et vous aussi, vous nous quittez!»***. Кто-нибудь один из нас мог отвечать, что жаль расставаться с таким интересным краем; но разнообразить ответ было мудрено. Из всех венценосцев, которыми нам приходилось представляться, я нашел, что самый изобретательный был король португальский****. Обходя всех по очереди, он каждому шептал что-то на ухо, так что соседи не могли расслышать. Этим способом можно было одну и ту же фразу отпустить всем, не будучи смешным.

Из Схевенингена мы прямо проехали в Копенгаген. Это была одна из главных целей нашего путешествия, ибо тут находилась та юная особа, которую наследнику прочили в невесты *****. С первого взгляда впечатление было самое благоприятное: мы увидели прелестную молодую девушку, с миловидным лицом, с скромным и симпатическим выражением. Наследнику она тотчас полюбилась, и мы все были очарованы. Под этим впечатлением все окружающее показалось нам в привлекательном виде: и добрый датский король и его умная и глухая жена ******, и несколько патриархальный пошиб двора, и любезная и приятная статс-дама, графиня Ревентлов, прогулки, обеды, даже обходы и вечера. Нам было так весело на душе, что мы ничем не тяготились.

Русским посланником в Дании был в то время барон Николаи, женатый на сестре жены моего брата, рожденной Мейендорф*******.

---

* Вильгельм (род. 1840).

** Вильгельм III.

*** Вы тоже нас покидаете!

**** В 1864 г. королем Португальским был Людвиг I, брат умершего в 1861 г. Педро V.

***** Принцесса Дагмара, будущая имп. Мария Федоровна.

****** Христиан IX и королева Луиза.

******* Софии Егоровне Мейендорф.

Они были очень милые люди, и я был с ними в хороших отношениях. Они стали расспрашивать меня о наследнике; я сообщил то, что я видел и знал. Они чрезвычайно обрадовались. «Представьте, – сказали они мне, – в виду предполагаемого брака, мы старались собрать сведения о великом князе, и от людей, по-видимому весьма близко стоящих к этим сферам, получили самое безотрадное изображение его характера. Нас уверяли, что он очень сердит, очень лукав и очень скуп». Этот отзыв показал мне, какие чувства господствуют в окружающей престолы среде, где самое низкое раболепство умеет сочетаться с самым беззастенчивым злословием.

Через несколько дней мы уехали с самым радостным чувством и направились в Дармштадт, где наследник должен был сообщить родителям о результатах своего посещения. Императрица гостила там у своего брата; вслед за тем подъехал и государь. По этому случаю великий герцог*, большой любитель театра, задал парадный спектакль. У государя спросили: какую пьесу он хочет видеть. Он выбрал «Robert et Bertrand», историю двух воришек. Для парадного представления это был довольно странный выбор. Государь любил театр, как отдохновение, и особенно, как случай посмеяться. Когда он несколько лет спустя, поехал в Париж, он еще с дороги по телеграфу заказал себе ложу и в самый вечер приезда отправился смотреть оперетку «La duchesse de Geroldstein». Великий герцог дармштадтский, который гордился своим театром, при вторичном представлении сам уже назначил пьесу: давали «Гугенотов». Во время антрактов выходили пить чай в боковую залу, где на двух противоположных концах накрыты были большие столы, один для высочайших особ, другой для придворных и свиты. Матвей Юрьевич Виельгорский приходил от этого в негодование. «Посмотрите на этих немецких князьков, – говорил он мне, – как они держат себя особняком. У нас к царскому столу всегда приглашают и других, а тут они считают ниже себя мешаться с обыкновенными смертными». «А я нахожу этот этикет очень удобным, – отвечал я, – мы тут сидим и разговариваем без всякого принуждения, а если бы произошло смешение, непременно почувствовалось бы общее стеснение».

В Дармштадт приехал и граф Строганов. Он остановился в Франкфурте и прислал пригласить меня к себе. Мы обедали вдвоем. Он расспрашивал о Копенгагене, и я сообщал ему свои впечатления. Во время обеда старик вдруг остановился. «А мне, право, совестно, – сказал он, – что я в Схевенингене вел себя совершенно ребенком». И при этом он опять не выдержал, слезы полились градом. Напускная спартанская твердость не в состоянии была побороть внутреннего горя.

* Людвиг III.

Надобно было опять ехать в Копенгаген с формальным предложением. Но прежде этого пришлось сделать несколько родственных визитов. Мы отправились в Фридрихсгафен, резиденцию Вюртембергского короля* на Боденском озере, где собралась вся царская семья праздновать полное совершеннолетие наследника. 8 сентября ему минуло 21 год.

Пошла обычная рутина придворной жизни: представления, мундиры, парадные обеды, скучные обходы с пустыми разговорами и, к довершению всего, пожалование крестиков. Я питал к ним неодолимое отвращение, видя как суетные люди страстно их домогались и с гордостью их носили, и я не раз упрашивал, чтобы меня от них избавили; но мне говорили, что это невозможно. Утром 8 сентября нам принесли вюртембергские ордена, которые мы должны были надеть к обеду. В первый раз мне приходилось украшаться этою вывескою человеческой пошлости, и я сделал это с каким то чувством негодования и отвращения. Перед обедом наследник, увидев меня в полном параде, подошел ко мне и сказал с улыбкою: «А, наконец, и вы в ордене!» «Мне очень жаль, ваше высочество, – отвечал я, – что мне пришлось в первый раз оскверниться в день вашего рождения». Он рассмеялся. Скоро пришлось к этому привыкнуть, а после смерти наследника я, при парадной форме, всегда надевал датский орден, как грустное воспоминание прошлого.

К счастью, в Фридрихсгафен приехала великая княгиня Елена Павловна со своею свитой. Среди придворной суеты и пустоты это было для меня умственное и сердечное отдохновение. После первого вечера мы возвращались домой вместе с баронессой Раден. «А знаете ли, – сказал я – ей, что король вюртембергский, который слывет далеко не за умного человека, сделал на меня хорошее впечатление. Он подошел ко мне и стал говорить о своих путешествиях. Это – первое человеческое слово, которое я слышу на этих придворных обходах». Она расхохоталась. «Это я ему непременно скажу, – отвечала она. – Представьте, он вас принял за отчаянного республиканца; говорит, что вы слушаете с таким высокомерным видом, как будто все, что вам говорят, не стоит внимания». Я заметил, что это вероятно происходит оттого, что они все привыкли видеть вокруг себя раболепные физиономии, и когда их не встречают, находят это странным и неприличным. На следующий день король вюртембергский отыскал меня в толпе и долго беседовал со мною. Он, видимо, был польщен моим отзывом.

Из Фридрихсгафена мы поехали на поклонение к другому старому родственнику, будущему императору Вильгельму, который в это время находился в Потсдаме. Опять пошли представления, мунди-

* Карла, женатого на дочери Николая I, вел. кн. Ольге Николаевне.

ры, парадные обеды, которые отличались только тем, что здесь была несметная толпа генералов и все носило военный характер; пошли обходы с пустыми разговорами и, наконец, неизбежное пожалование крестиков. Федор Адольфович пришел сообщить мне с огорчением, что нам дали самый маленький орден короны. Я воспользовался пребыванием в Потсдаме, чтобы всякий день ездить в Берлин, где я проводил утро, осматривая музеи и рыская по продавцам гравюр.

Наконец, в Киле мы сели на царскую яхту, которая привезла нас в Копенгаген. Наследник с графом Строгановым и Рихтером тотчас отправились в загородный дворец, где находилась королевская семья, а прочие остались в Копенгагене дожидаться результата. К вечеру нам прислали сказать, что мы можем ехать с поздравлением. Мы встретили молодую чету в коридоре, отправляющуюся вдвоем, под руку, в свои апартаменты. Это была одна из самых радостных минут моей жизни. Оба были молоды, красивы, влюблены друг в друга; оба сияли счастием. Будущее представлялось в самом радужном свете не только для них самих, но и для всей России. Мы с неудержимым порывом бросились их поздравлять. А шесть месяцев спустя, мы провожали гроб нареченного жениха, увядшего в цвете лет.

Однако любовь его не пропала даром. Избранная им невеста сделалась русскою императрицею и проявила на престоле те прекрасные сердечные свойства, которыми одарила ее природа. Иным это казалось мало. Граф Строганов, который требовал от императрицы ума, образования и характера, способных поддержать высокое общественное и всенародное положение, приходил иногда в отчаяние. Глядя на сохранившуюся до зрелых лет неумеренную любовь к танцам и нарядам, он с горечью говорил: «C'est une poupee de Saxe!»*. Но этот приговор был слишком строг. Она гораздо более, нежели саксонская кукла: она – чистое и любящее существо, добрая жена и нежная мать. Ей в значительной степени нынешняя царская семья обязана тем счастливым семейным бытом, который составляет лучшее ее украшение. Когда изредка случается представляться императрице, меня всегда пленяет ее милый и приветливый взгляд, ее ласковая улыбка, даже некоторая робость и неумение выражаться, несвойственные высокому сану. Я вспоминаю ту поэтическую минуту, когда я видел ее молодою и счастливою, под руку с столь же счастливым царственным женихом, и мне кажется, что не даром он отдал ей свое сердце. Мы две недели прожили в находящемся близ Эльзенёра загородном дворце датского короля, Фреденсборге. Для влюбленной четы время, конечно, быстро летело, но мне оно показалось очень

* Это кукла из саксонского фарфора!

долгим. Придворная скука совсем меня одолела. Для человека, привыкшего к серьезным умственным интересам, этот быт через некоторое время становится невыносимым. Я не тяготился этикетом; напротив, я находил его чрезвычайно удобным, ибо знаешь заранее все, что нужно делать. Меня даже забавлял вид торжественных церемоний в довольно патриархальной среде. Перед обедом все собирались в аванзале, а царственные особы проходили в гостиную. Старый гофмаршал с важностью затворял двери, пока те строились в ряд. Затем дверь с шумом растворялась, и вся процессия попарно шествовала торжественным ходом мимо нас. За нею все устремлялись в обеденную залу, где каждому назначено было свое место. За обедом еда была некоторого рода развлечением; но самое убийственное начиналось после. Каждый из членов королевской семьи считал непременною обязанностью ежедневно обойти всех и всякому сказать приветливое слово. Намерение было самое похвальное; но приветливые слова исчерпывались, и говорить было решительно нечего. Я старался прятаться где-нибудь сзади, в надежде, что меня не заметят, но редко удавалось ускользнуть от разговоров. Однажды я в грустном ожидании стоял поодаль, рядом с милейшим и добродушнейшим капитаном царской яхты Дмитрием Захаровичем Головачевым, и вдруг мы видим, что после всех пускается в движение какая то молодая королевская родственница, гостившая в Фреденсборге. «Господи, и эта со своими подходцами!» – воскликнул он в отчаянии. Хорошо еще, когда этим все кончалось; но обыкновенно после роспуска нас ловили и приглашали на вечер. Не могу забыть, как я раз, получивши такое приглашение, зашел сообщить это печальное известие графу Строганову. Старик только что снял мундир, облекся в халат и уселся спокойно писать письма домой. Как теперь вижу его негодующую физиономию: «О, о, о! Это уж слишком», – воскликнул он, качая головой. Чтобы избавиться от придворных приемов, он уезжал на несколько дней в Копенгаген, будто бы для осмотра древностей, а я ездил с ним под предлогом, что нельзя старика оставлять одного. Я разыскал там у одного любителя собрание гравюр, где среди всякого хлама были отличные вещи. Здесь я приобрел перл своей коллекции, великолепный оттиск «Поэта Виргилия в корзине» Луки Лейденского, что вознаградило меня за всю испытанную скуку.

Приезд принца Вельского* с семейством и свитой внес более внешнего оживления, но нисколько не более занимательности в патриархальную атмосферу копенгагенского двора. Я увидел здесь, какие глупые игры могут веселить англичан. Есть игра, которая вся состоит в том, что сосед говорит соседу: «Хотите купить мою утку?»

* Альберт-Эдуард, будущий король Эдуард VII.

(Will you buy my duck), и эта фраза идет кругом. Другая игра заключается в том, что один говорит: «Тот может мало сделать, кто не может сделать это, это, это» (He can do little, who cannot do this, this, this), и при этом три раза известным способом постукивает чем-нибудь по столу. Каждый по очереди должен это повторить, и так идет кругом, после чего первый говорит туже фразу, но уже постукивая иным способом, и опять все должны повторить те же слова и жесты. Это называется игрою. Когда же хотят веселиться безумно, то садятся вокруг стола, посреди которого кладут большой кусок ваты. Все начинают дуть на эту вату, стараясь направить ее на соседа, который должен отдуваться. Если он не успеет этого сделать, и вата на него упадет, то возбуждается всеобщий хохот. Веселее этого уж ничего нельзя придумать.

Среди этих забав и развлечений, которые для молодежи могли иметь свою прелесть, наступила минута отъезда. Прощание было самое сердечное и трогательное. Мы прямо проехали в Дармштадт, где царская семья с радостным чувством встретила молодого жениха. Теперь нам предстояло отдохнуть от всех этих волнений среди возвышенных впечатлений Италии. Но предварительно надобно было сделать еще несколько официальных визитов к родственным германским дворам. От этого граф Строганов меня избавил. Он советовал мне поехать в Кассель посмотреть картинную галерею и затем присоединиться к ним в Мюнхене. Баварский король находился в загородном дворце, куда наследник поехал один с Рихтером. По его возвращении, мы через Тироль проехали в Венецию. Здесь нас встретило полное очарование. Погода была дивная, и Венеция сияла в полном блеске. Мы были опять одни, в своем дружеском кружке, и могли, не стесненные ничем, с легким сердцем наслаждаться окружающим нас великолепием. Днем мы с увлечением осматривали дворцы, церкви и галереи; а вечером, на следующий день после нашего приезда, при открытых окнах, наследнику дана была серенада, представлявшая совершенно волшебное зрелище. Десятки гондол, украшенных разноцветными фонарями, собрались на Большом канале перед нашею гостиницею, и мелодические голоса итальянских хоров распевали нарочно сочиненную для этого случая песню. У меня осталась в памяти последняя строфа, грустно напоминающая то время:

Delia Neva sulle sponde
Fra i pompi ed i tetori,
La conzone dei pittori
Forte in mente ti verra
E ricordo di Venezia
Essa mai per te sara*.

* В виду особенностей народного диалекта, на котором составлена песнь, редакция воздерживается от перевода.

Бедному юноше не суждено было, среди пышности и блеска, вспоминать очаровательную Венецию на берегах Невы. Здесь в первый раз появились признаки той болезни, которая должна была свести его в могилу. Он почувствовал сильную усталость и в последние дни уже с видимо ослабевшим интересом осматривал картины. Мы приписывали это всем предшествующим волнениям и не придавали этому особенного значения, тем более, что доктор был совершенно спокоен.

Из Венеции мы отправились в Турин, остановившись на день в Милане, где в то время находился принц Гумберт. Граф Строганов не преминул воспользоваться остановкой, чтобы съездить в Павию, посмотреть прелестную Чертозу*, которую мне довелось видеть в первый раз. В Турине Виктор-Эммануил задал нам большой обед, на котором присутствовали значительнейшие политические деятели Пьемонта. Это было, конечно, гораздо интереснее, нежели придворные церемонии. Меня посадили возле министра народного просвещения, с которым я вел приятную беседу. Короля мы нашли в мрачном настроении духа. Это была та минута, когда решено было перенести столицу из Турина во Флоренцию. Коренные пьемонтцы были от этого в негодовании. Председатель Сената, почтенный и ученый граф Склопис, которого я знавал еще во время первого моего путешествия, вышел в отставку. В спокойном Турине произошло нечто вроде народного возмущения; сам король подвергся неприязненным демонстрациям. Это глубоко его оскорбило, ибо он свой Пьемонт любил больше всего, и если решился на такую жертву, то единственно в виду блага Италии. После обеда он к нам подошел и долго, в общих выражениях, распространялся о неблагодарности людей, говоря, что он находит утешение только в охоте, где он может удалиться в горы, подальше от человеческого общения. Я с сочувствием смотрел на эту странную фигуру, невысокую, толстую и безобразную, с глазами на выкат, с громадными усами и эспаньолкой, имевшую вид какого то зверя, но с умным и энергическим выражением.

Из Турина мы проехали в Геную, где осматривали великолепные дворцы; затем, вместо того, чтобы прямо ехать во Флоренцию, мы завернули на несколько дней в Ниццу, куда прибыла на зиму императрица. Оттуда уж, на русском военном корабле, мы переправились в Ливорно и в тот же вечер прибыли во Флоренцию.

В самый день приезда я почувствовал себя нехорошо. Данное мне потогонное не подействовало, и на другое утро мне было еще хуже. В следующие дни болезнь шла, все возрастая. Я слег в постель. Открылся сильнейший тиф, который осложнился опасною местною,

* Certosa di Pavia (основ, в 1396 г.), в 28 км от Милана.

так называемою просяною горячкою (fievre miliaire), с сыпью и судорогами. Больше месяца я пролежал в этом положении. И доктора и мои спутники считали меня безнадежным. Тело мое превратилось в щепку; у меня сделались мучительные пролежни. Меня переворачивали с боку на бок, ибо сам я поворачиваться был не в состоянии. Мне постоянно клали лед на голову и каждый час давали бульон для поддержания упадающих сил. За все это время я ни единой минуты не смыкал глаз, а, между тем, оставался в сознании, хотя временами довольно смутном. Была даже критическая минута, в которой я метался в бреду; об этом мне рассказывали после. Особенно мучительны были долгие ночи, когда все спало кругом, и не слышно было ни малейшего шороха. Час за часом считал я бой часов на колокольне по ту сторону Арно, пока, наконец, в семь часов утра я с каким-то облегченным чувством приветствовал стук молотков на мостовой, которая была повреждена недавним наводнением и чинилась перед нашей гостиницей. Я сам был уверен, что я умираю; не раз мне казалось даже, что жизнь так и утекает из меня каким-то тихим журчащим ручьем. Я подзывал приставленную ко мне сиделку, добрую старуху Терезу, и просил ее посидеть возле меня в мои последние минуты. Эти минуты не были для меня страшны. Смерти я не боялся; во мне не было того инстинктивного чувства, которое побуждает человека хвататься за жизнь, как за последнее убежище бренного его существования. В загробную жизнь я в то время не верил, но и прошедшая моя земная жизнь не научила меня ею дорожить. Я прощался с нею, как некогда прощался с молодостью, с грустным чувством чего-то неисполненного, каких-то неудовлетворенных стремлений, несбывшихся надежд и не успевших выказаться сил. В эти долгие ночи, когда я был как бы оторван от всего земного и погружен исключительно в себя, все мое прошлое восставало передо мною, в смутных, но вместе существенно ясных чертах. Подробности исчезали, но все заветное, все затаенное в глубине души, все, что составляет временно затмевающуюся, но в сущности, вечную и незыблемую основу человеческого существования, всплыло наружу с неудержимою силою. Одно непоколебимое отныне чувство овладело мною: сознание невозможности для бренного человека отрешиться от живого источника всякой жизни, от того, что дает ему и смысл, и бытие. Мне показалось непонятным, каким образом я мог в течение пятнадцати лет оставаться без всякой религии, и я обратился к ней с тем большим убеждением, что все предшествующее развитие моей мысли готовило меня к этому повороту.

Я сказал уже, что под влиянием гегелизма и построенной на нем собственной философии истории, я верил в будущую религию духа, ведущего человека к конечному совершенству; все же существующие и существовавшие религиозные формы я считал преходящими мо-

ментами человеческого сознания, не достигшего полноты. Мои исторические исследования убедили меня, что мы в настоящее время стоим на перепутье между двумя религиозными эпохами: между христианством, которое я считал религиею прошлого, и поклонением духу, в котором я видел религию будущего, еще не раскрывшуюся человеку. На этом я и успокаивался, уверяя себя, что в такие переходные эпохи человеку мыслящему волею или неволею приходится оставаться без религии. Однако, более зрелое размышление убедило меня, что то, что я считал преходящими моментами сознания, в действительности выражает собою вечные, неустранимые начала мирового бытия. Если дух составляет конечную форму абсолютного, то есть и форма начальная, – никогда не оскудевающая всемогущая сила, источник всего сущего; есть и форма посредствующая, бесконечный разум, дающий всему закон. Христианство есть религия верховного разума, слова божьего, открывающегося в нравственном мире и полагающего нравственный закон человеку. Будучи совершенным в своей области, оно может только восполниться, а не замениться другою религиею, также как оно само только восполнило, а не устранило ветхозаветную религию бога силы. Это убеждение созревало во мне мало-помалу, и я говорил себе, что на старости лет я обращусь к этим вопросам и постараюсь дать им посильное решение. Болезнь ускорила этот процесс. Я живо почувствовал, что каково бы ни было умственное состояние современного человечества, отдельный человек не может, не отказавшись от себя, от глубочайших основ своего духовного естества, от всего, что в нем есть самого высокого и святого, оторваться от абсолютного начала всякого бытия, сознание которого запечатлено в нем неизгладимыми чертами. Я понял, что всякая религия служит живою связью между человеком и божеством, а потому человек не может и не должен от нее отрекаться, хотя бы она была несовершенна и не вполне отвечала его убеждениям. Это чувство возбудилось во мне с тем большею силою, что я вместе с тем живо сознавал, что сам человек, своею личною волею, не в состоянии себя обновить. Нужна высшая духовная власть, которая, проникая в тайны человеческого сердца, сказала бы ему: «прощаются тебе грехи твои», и благословила бы его на новый путь. И во мне возгорелось страстное желание приобщиться вновь к христианству. Как только мне стало несколько лучше, я попросил к себе находившегося на фрегате священника, который навещал меня во время болезни, и после многолетнего перерыва исповедовался и причастился.

В то же время во мне родилось и другое убеждение. В эти долгие, мучительные ночи, когда перед моим умственным взором проходила вся моя прошлая жизнь: мое счастливое детство, обуреваемая страстями молодость, – я живо почувствовал, что для человека нет и не

может быть счастья вне семейной среды. До тех пор я об этом не думал; но теперь вся пустота одинокого существования представилась мне с такою же поразительною ясностью, как и горькая доля человека, отрешившегося от бога. Я понял, что для нормального человеческого существования необходимо основание собственного семейного очага.

Этим мечтам суждено было сбыться. Крепкая природа взяла свое, и я, неожиданно для всех, воскрес. Пробуждение к жизни имело ни с чем несравнимую прелесть. Физические страдания исчезли; в душе водворилось какое-то ясное, безмятежное, почти райское состояние. Всякая мелочь казалась мне полною чарующей поэзии. Когда в первый раз мне отдернули занавески и показали свет, я не мог оторвать своих глаз от пошлых обоев комнаты, где я лежал. На них изображались китайские беседки, окруженные гирляндами из роз с зелеными листиками. Эти цвета казались такими привлекательными, что я не мог ими налюбоваться. Когда затем открыли окно, окутав меня с головы до ног фланелью, и в комнату внезапно ворвался весь городской шум, голоса людей, стук экипажей, плеск бегущего под окнами Арно, мне казалось, что я нахожусь в каком-то волшебном мире, где раздаются райские звуки. В окно как будто влетало все обаяние бытия, мечты, надежды, радости и волнения, уносившие меня в бесконечную даль. Самые детские яства, тюря из белого хлеба с теплым молоком, напоминавшая мне детские годы, парное ослиное молоко, которым поили меня ежедневно в семь часов утра, были для меня источником неизъяснимого наслаждения. Просыпаясь после тихого и глубокого сна, я с сладкими мечтами ждал свою ослицу и, выпивая стакан пенистого молока, говорил, что это наверное был тот нектар, который боги пили на Олимпе. Но еще более, нежели вещи, радовали меня люди. Каждый человек, который приходил меня навестить, представлялся мне ангелом, посланным с небес; я любил его всем сердцем и приветствовал его, как давно желанного друга. При известии о моей болезни приехал из Парижа брат Василий. Это было для меня величайшее счастье; но я был еще так слаб, что мне позволили видеть его только на минуту. Он долго не мог тут пробыть, а потому из Петербурга выписали брата Андрея, который и остался при мне до полного выздоровления. Когда я стал поправляться, мне сообщили, что мои спутники уезжают и, вследствие нездоровья наследника, не в Рим, как предполагалось, а обратно в Ниццу. После я узнал, что во время моей болезни с великим князем сделался жесточайший припадок: вдруг появилась такая сильная боль в пояснице, что он должен был слечь в постель. Все переполошились; созвали консилиум. Один итальянский доктор сказал, что у него нарыв в спинной кости. Впоследствии оказалось, что это был единственный верный диагноз. Скоро, однако, ему сделалось лучше, и медики пришли

в сомнение. Но двигался он все-таки с трудом и ходил сгорбленный. При таких условиях везти его в Рим было бесполезно. С другой стороны, доктора советовали уехать из Флоренции, опасаясь неблагоприятного климата. Решили возвратиться в Ниццу к императрице, которая очень беспокоилась о сыне. Но наследник не хотел уезжать, оставив меня между жизнью и смертью. Только когда моя болезнь приняла благоприятный оборот, он решился отправиться в путь. Из Ниццы мне писали, что вызваны были знаменитейшие французские медики Рейе и Нелатон, которые не нашли ничего опасного. Они определили болезнь, как застарелую простуду, и предписали оставаться пока в Ницце, а на весну ехать в Баньер или Люшон, около По, для лечения ваннами. Эти известия меня успокоили.

Мое выздоровление шло медленно, но правильно. Все представлялось мне в радужном цвете. Воспрянув к новой жизни, я мечтал о возвращении домой, о разных работах, которые я хотел предпринять. Большим развлечением в моем затворничестве были собранные мною во время путешествия гравюры. Я часто рассматривал их со стариком Липгартом, который навещал меня почти ежедневно. Это был поселившийся во Флоренции немец из Остзейского края, высокий, сухощавый, необыкновенно живой, образованный, страстный любитель и знаток художества, на которое он потратил значительную часть своего состояния. У него также было отличное собрание гравюр, впоследствии пущенных в продажу. Было и собрание рисунков, которые он приносил мне показывать, что для меня было истинным наслаждением. Он все жалел о том, что в моем положении нельзя было со мною обегать все уголки Флоренции, которую он знал, как свои пять пальцев. У него можно было многому научиться, хотя у него были свои коньки. Подобно многим записным знаткам, он пренебрегал тем, что было всем известно, и склонён был давать преувеличенное значение тому, что он сам отыскивал. Его оригинальность выражалась иногда в забавных выходках. Десять лет спустя, когда я, женатый, приехал опять во Флоренцию, он с первого слова объявил мне, что он покончил с Перуджино и Франчиа. «Они скучны; у них все одно и тоже», – сказал он и тут же в лицах, с разными ужимками, начал представлять, как держит себя богоматерь Перуджино на известной фреске Распятия. Я познакомил его с женою. Он тотчас спросил ее, что она видела во Флоренции. Она отвечала, что пока мы успели побывать только в Уффици и Питти. «Я желал бы, чтобы эти галереи сгорели дотла!» – воскликнул он с негодованием. Жена с удивлением спросила его, отчего он так их не жалует. «Оттого, что они отвлекают внимание от фресок, которые несравненно важнее», – отвечал Липгарт.

Почти ежедневно по вечерам навещал меня и Юрий Федорович Самарин, который на обратном пути из Рима остановился на несколь-

ко дней во Флоренции. После освобождения крестьян он три года был членом Губернского присутствия в Самаре. Совершив свое дело, он вышел в отставку и поехал отдохнуть за границу. С ним мы беседовали больше о русских делах. В это время приходили из Москвы известия о бывшем там дворянском собрании. Газеты приносили речи Голохвастова, Безобразова, Орлова-Давыдова. Мы с Самариным сходились вполне в оценке тогдашнего напускного дворянского либерализма. Его тянуло туда, и ему, видимо, было досадно, что он не участвует в этих прениях. Впрочем, он был в отличном расположении духа и необыкновенно забавно передразнивал разных членов редакционных комиссий. Особенно памятна мне воображаемая речь, произнесенная при возвращении в Полтаву В. В. Тарновским. Все ужимки и акценты этого типического представителя Малороссии передавались с неподражаемым мастерством.

Как скоро я в состоянии был выехать, доктор – немец, пользовавший меня в течение всей болезни, советовал мне уехать из Флоренции, говоря, что я скорее поправлюсь с переменою климата. Но путешествие в Ниццу было еще слишком утомительно. Мы с братом Андреем решили поехать на несколько дней в Рим. Там мы нашли семейство Алексея Васильевича Капниста, богатого малороссийского помещика, сыновья которого воспитывались в Московском университете и были товарищами моих младших братьев. Андрей был очень дружен со всею семьей, и я был знаком с ними еще в Москве, в конце пятидесятых годов, перед первою поездкою за границу. Но я не знал старшей дочери, в то время 19-летней девушки, которая славилась красотою. Молва была не напрасна. Я увидел прелестный ангельский лик, напоминавший мадонны Беато Анджелико. Это был первый женский образ, который представился после моей болезни, образ полный грации и поэзии. Провидение как будто указывало мне ту, которая должна была осуществить мои мечты. Но в то время я еще не подозревал, что несколько лет спустя, она сделается моею женою.

В Риме я быстро поправился и мог уже ехать к своим спутникам. Брат сопровождал меня до Ниццы и оттуда отправился обратно в Россию. Я был очень тронут его приездом и его заботами.

В Ниццу я приехал, как в свою семью. Все меня встретили с искренней радостью, как воскресшего из мертвых. Но мое впечатление было невеселое. Я нашел наследника исхудалым, осунувшимся, сгорбленным. Болей он не чувствовал, но он не мог разгибать спины, а потому лишен был возможности гулять пешком и ездить в общество. В ожидании будущих ванн в Люшоне, его лечили электричеством, но оно приносило мало пользы. Для молодого человека, и притом жениха, положение было незавидное. Он сделался задумчив, порой даже раздражителен. Прежняя беззаботная веселость, радуж-

ные мечты исчезли. На масленице ему наняли комнату на главной улице, и он как будто встрепенулся: бросал букеты, даже бегал по лестницам. Но это была только вспышка. Однако опасности никто не предвидел. Успокоенью французскими знаменитостями, мы все считали его болезнь упорно засевшим ревматизмом. Один граф Строганов беспокоился. Ему казалось неестественным, чтобы молодой организм не мог осилить ревматического состояния. Слабость и худоба внушали ему сомнения. Он поехал в Париж, чтобы повидаться с братом, но, в сущности, чтобы поговорить с докторами. Вернувшись, он рассказывал свой разговор с Рейе, который его успокоил. Он прямо поставил последнему вопрос: считает ли он возможным для великого князя жениться. «Я не вижу никакого препятствия», отвечал Рейе. «Но подумайте, что это наследник русского престола; от его здоровья зависит судьба его потомства, а вместе и судьба России». «Если вы так на это смотрите, – отвечал Рейе, – то отложите свадьбу на три месяца. Другого я ничего не могу посоветовать». Граф Строганов несколько успокоился, но продолжал зорко следить за вверенною его попечению молодою жизнью. Когда его впоследствии обвиняли в том, что он ничего не видел и даже побуждал наследника делать чрезмерные усилия в видах спартанского воспитания, то это опять одна из тех клевет, которые так легко возникают в придворных сферах и оттуда обильными потоками распространяются по великосветским гостиным.

Одно время казалось, что великому князю стало лучше. «Знаете ли, – сказал он мне однажды, недели за две до последней болезни, – я сегодня посмотрел на себя в зеркало и увидел, что моя спина почти совсем выпрямилась». Он сам несколько повеселел. По вечерам у него обыкновенно сидели некоторые из нас, и он откровенно беседовал о себе и о братьях. Мне врезалось в память одно его изречение: «У нас у всех несколько лисья натура, – сказал он, – у одного брата Александра хрустальная душа». Это был любимый его брат, с которым он в детстве был неразлучен. Увы! развращающее действие самодержавной власти таково, что от нее тускнеет самый чистый кристалл. Даже сильные характеры принуждены лукавить; слабые неизбежно заражаются двоедушием.

Я воспользовался вынужденным затворничеством великого князя, чтобы заинтересовать его чтением. Я дал ему прочесть Токвиля: «L'ancien Régime et la Révolution». Эта книга произвела на него сильное впечатление. Между прочим, его поразила мысль, которую в одной из своих речей привел Кавур, именно, что отобрание имуществ у католического духовенства оторвало его от почвы и обратило его к ультрамонтанизму. Я не совсем был согласен с пригодностью такого лекарства для отвращения католического духовенства от излишней преданности папе, но уже одно то, что эта мысль порази-

ла молодой ум, показывало в нем недюжинные политические способности, которые со временем могли принести благодатные плоды.

Этому не суждено было быть. Незамечаемая никем, уже приближалась роковая развязка. В конце марта великому князю стало хуже. Болей он не чувствовал, но он был в нервном состоянии, спал плохо, принужден был отдыхать днем. После прогулки он не мог уже всходить по лестнице; его вносили на креслах. Собранные на консилиум доктора решили, что это вероятно происходит от приморского климата. Послали Оома нанять виллу на берегах Комского озера, а, между тем, великого князя, который дотоле жил на набережной, перевезли в отдаленную от моря Villa Bermond, которую занимала императрица. Мне давно хотелось съездить на несколько дней в Париж – повидаться с братом Василием, которого я только мельком видел во Флоренции; но я все медлил, не желая оставить великого князя в таком положении. Мне сказали, что теперь самое удобное время для поездки в Париж, откуда я могу прямо проехать на Комское озеро. Накануне отъезда я провел вечер у наследника на Villa Bermond. Он был оживлен, разговаривал охотно; на нем не заметно было болезненное состояние. Я решился ехать и сообщил ему свое намерение. Но на следующее утро, когда я пришел с ним проститься, он мне не понравился. Я застал его сидящим в саду, сгорбленным, осунувшимся, с зеленоватым цветом лица. Он как будто устал и простился со мною с несвойственным ему равнодушным видом. Отказаться от поездки не было возможности; это значило только возбудить тревогу. Но я просил Рихтера телеграфировать мне каждый день о состоянии здоровья великого князя.

Я уехал на страстную среду и первые дни по приезде в Париж получал самые успокоительные телеграммы: великий князь чувствовал себя лучше, спал хорошо. Вдруг, в понедельник на святой неделе, я получаю известие, что у него сделался мозговой припадок и что он почти безнадежен. Я немедленно полетел в Ниццу и застал его уже в беспамятстве. У него оказался туберкулезный менингит, от которого не было спасения.

Отовсюду созваны были знаменитейшие доктора. Из русских приехали Пирогов и Здекауер; из Вены выписан был Оппольцер. Все было напрасно. При первом известии о болезни наследника государь приехал из Петербурга с Александром Александровичем; из Копенгагена прибыла молодая невеста с матерью. Как недавно еще мы видели ее рука об руку с женихом, обоих сияющих счастьем, и вдруг, вместо брачного венца, она явилась к одру умирающего! Говорят, он ее узнал, но только сквозь туман; он едва мог произнести несколько слов. Было что-то раздирающее душу, и вместе и высоко поэтическое в этой торжественной драме, которая разыгрывалась перед ли-

цом всего мира: этот царственный юноша, надежда отечества, угасающий на чужом берегу, вдали от любимой родины; всевластный повелитель необъятного государства, из своей северной столицы поспешающий к одру умирающего сына, пораженного недугом, против которого тщетны были все человеческие усилия; мать, удрученная горем, в эти последние дни не отходившая от больного; молодая, полная прелести невеста, встречающая жениха на пороге смерти; вдали миллионы сердец, которые с напряженным вниманием и горячими молитвами следили за медленною борьбою угасающей жизни; а кругом великолепная обстановка южной природы, сияющее солнце, голубое Средиземное море, цветущие померанцевые деревья, разливающие в воздухе свой упоительный аромат. Когда я выходил из дома, где лежал умирающий, душа еще мучительнее надрывалась при виде этого контраста между ликующею в невозмутимой красе природою и исполненными скорбью сердцами людей. Весна сияла в полном блеске; безоблачное небо простирало свой лазоревый свод над цветущими долинами, над пышно вздымающимися горами, над сверкающими тысячью переливов волнами безбрежного моря; все воскресало к новой роскошной жизни; а там смерть сторожила свою обреченную жертву, готовая унести все человеческие радости и надежды.

12 апреля с утра уже ждали конца. Царская семья окружала постель больного. Нареченная невеста стояла возле него на коленях, даруя ему последние ласки и последние заботы. В соседней комнате, куда отворены были двери, собрались все окружающие, а также сановники, сопровождавшие государя или находившиеся в то время в Ницце. Все стояли безмолвно или говорили шепотом. Страшны были эти долгие томительные часы в ожидании неизбежной развязки. Агония была тихая, но продолжалась весь день. Только поздно вечером он испустил последнее дыхание. Все было кончено. Царь, обливаясь слезами, обнял и благодарил графа Строганова и Рихтера, благодарил и других спутников покойного. Все молча разошлись, убитые горем.

На следующее утро, также молча, собрались все к первой панихиде. Посреди комнаты стоял смертный одр и на нем лежал юноша, с тем торжественным и привлекательным обликом, который налагает на человека смерть. Духовенство облачилось в свои ризы. Диакон хотел возгласить: «Упокой, господи, душу раба твоего», но, вместо слов, из груди его вырвалось громкое рыдание, и за этим стоном зарыдали все стоящие кругом. Так продолжалось несколько минут. Немного успокоившись, диакон хотел снова начать надгробную молитву, и снова неудержимые рыдания прервали его голос, и за ним опять громким воплем зарыдали все. Это была раздирающая душу сцена.

Вернувшись к себе, я почувствовал неодолимую потребность излить свое горе и вместе возвестить России понесенную ею утрату, не в официальных выражениях, а в исходящих от сердца словах. Я написал статью, которую передал Рихтеру для представления на одобрение государя. Адлерберг сказал мне, что государь и императрица были ею очень тронуты. Она была напечатана в «Инвалиде» и других газетах*.

Вскрытие тела обнаружило не только туберкулезный менингит, но и внутренний нарыв в спинной кости, который был коренным источником болезни. Оказалось, что итальянский доктор один был прав в своем диагнозе.

Пошли догадки, откуда мог произойти этот нарыв. Тогда вспомнили, что года два тому назад наследник, в присутствии всей царской фамилии, скакал вперегонки с принцем Ольденбургским. В отсутствии Рихтера, который на несколько дней был в отпуску, он велел себе положить новое, щегольское, но непривычное для него английское седло и на всем скаку слетел с лошади. Он тут же встал на ноги; казалось, падение не оставило по себе следа. Но прирожденная ему золотуха, по-видимому, устремилась в ушибленное место, медленно и незаметно подтачивая организм. С тех пор он изредка стал жаловаться на боль в пояснице. Бывший с ним перед отъездом из России припадок, который приняли за ревматизм, был очевидно признаком таившейся в нем болезни. Если бы его не унес менингит, он мог умереть в страшных мучениях.

Решили тело покойного везти в Россию морем, на русском фрегате, представлявшем уже русскую землю. Граф Строганов отказался ехать. Дело его было кончено; пользы он принести уже не мог, церемоний не выносил, а в Петербурге терпеливо ждала его семья, тоже постигнутая недавним домашним горем. При таких условиях, в его летах, совершить такое далекое плавание было ему невмочь. Вместо него для сопровождения тела назначен был проводивший зиму в Ницце генерал-адъютант Анненков. По старым отношениям к наследнику, просил позволения ехать и прибывший на похороны Владимир Павлович Титов. Кроме лиц, сопровождавших наследника в его путешествии, с телом ехали также Скарятин и Стюрлер, недавно назначенные, один гофмаршалом, другой шталмейстером вновь образованного двора великого князя.

Бесконечная похоронная процессия двинулась из Ниццы в Виллафранку, где стоял фрегат «Александр Невский», который должен был везти тело в Россию. Для сопровождения собрана была целая эскадра: корвет «Витязь», под командой капитана Кремера, другой

* Эта статья (см. «Военный Сборник,» 1866 № 5: «Несколько слов о вел. князе наследнике») здесь опускается.

корвет, которого имени не помню, под начальством Бирилева, и клипер «Алмаз», с капитаном Зеленым. «Александром Невским» командовал Федоровский, а всею эскадрою адмирал Лесовский.

Шествие продолжалось несколько часов. Одни были верхами, другие пешком. Я шел с находившимся тут князем Петром Андреевичем Вяземским, с которым беседовал о понесенной Россией утрате. К вечеру уже прибыли на место. Убранный цветами гроб взвился на воздух и был поставлен на фрегат. Отслужена была панихида. Когда все уже почти разошлись, я пошел бродить по палубе. В уединенном углу я нашел сидящего, убитого горем старика. Это был граф Строганов. Воспитанию наследника он отдал всю свою душу; казалось, на склоне своих дней, он мог еще оказать отечеству незабвенную услугу, и вдруг все исчезло, как дым. Сраженный столь недавним своим личным горем, он постигнут был новым, еще более жестоким ударом. И сердечная привязанность, и любовь к отечеству, и мысль о собственном его назначении в жизни, все соединилось, чтобы повергнуть его в прах.

Между нами слова были излишни; мы молча пожали друг другу руку. Я проводил его до трапа, и мы простились с глубоким чувством общего, связывающего нас горя. Фрегат уже разводил пары; скоро зашумел крутящийся винт, и корабль медленно отошел от берега, неся драгоценные останки через голубое Средиземное море, через бурные валы океана, в отдаленную северную родину.

Путешествие продолжалось целый месяц. Три дня мы стояли в Гибралтаре. При входе в океан нас застигла сильная буря. В первый раз я видел вздымающиеся, как горы, валы, по которым громадный фрегат носился, как щепка. Но мне было не до грозных картин. Я, вместе с большинством своих спутников, лежал в каюте, как пласт. Все люки были забиты, и все-таки по полу переливалась морская волна. Прикрепленные вещи иногда с грохотом отрывались и кидались в противоположную сторону. О принятии пищи не было помину. Надо было лежать с чувством невыносимой тошноты, с далеко неутешительной надеждой, что авось либо через много часов успокоится взволнованная стихия. Так мы пришли в Лиссабон, где также простояли несколько дней, нагружаясь углем. Затем были стоянки в Плимуте, в Христиании и в Эльзенёре прежде, нежели мы вошли в Балтийское море.

Это долгое плавание было тем томительнее, что в нашей компании были элементы, вовсе не подходящие к общему настроению. Николай Николаевич Анненков был совершенный контраст с графом Строгановым. Ума у него было очень мало, а образования еще меньше; разговор был самый пошлый, тоску наводящий. Это был не вельможа с независимым положением, а человек, пробивший себе дорогу бюрократическим путем. Когда-то, при графе Чернышеве, он

был главным деятелем в военном министерстве. С тех пор его употребляли на все руки; ему давали самые важные поручения. При Николае он послан был ревизовать Сибирь; в 1849 году его сделали председателем верховного цензурного комитета, который должен был решать судьбу несчастной русской литературы. В Крымскую войну он был генерал-губернатором Одессы, во время польского восстания – генерал-губернатором в Киеве. Наконец, он занимал должность государственного контролера. Глядя на него, я все удивлялся, какие способности могли побудить русских монархов дорожить такого рода деятелем. Он невольно напоминал известное изречение Бомарше, вложенное в уста Фигаро: «mediocre et rampant, avec cela on parvient a tout»*. Другое, совершенно такое же лицо, может быть, с еще более низким нравственным уровнем, я узнал впоследствии в московском генерал-губернаторе, князе Владимире Андреевиче Долгоруком. Иногда Анненков забавлял нас своими выходками. Однажды за обедом доктор Шестов вздумал вольнодумничать: отрицал существование бесов. Анненков обратился к нему с строгим увещанием: «Как, – воскликнул он, – неужели вы не признаете ничего в пространстве между вами, планетами и всемогущим богом?». Этот анекдот рисует человека. Сей великий государственный муж воображал, что всемогущий бог сидит где-то непосредственно за планетами, а что между ними и землею непременно должны витать бесы. Каково же было мое положение, когда несколько лет спустя, мне случилось посетить в деревне его вдову, важную и напыщенную Веру Ивановну, которая приходилась деревенскою соседкою семейству моей жены, и после обеда эта почтенная дама отвела меня в отдаленный кабинет, заперла за собою двери и, показавши мне целый ряд тщательно переплетенных документов, обратилась ко мне с такою речью: «Вы так близко знали моего покойного мужа, что я должна вам прочесть свои воспоминания о нем». И я принужден был в течение целого часа слушать тошнейшее повествование о том, какой великий государственный деятель был Николай Николаевич. Будущие историки, может быть, ей поверят.

Совсем иной человек был Владимир Павлович Титов. Это была честнейшая душа, мягкий, образованный, обходительный. Тем не менее, он в этом путешествии смертельно всем надоел. Мы были поражены глубоким горем, не оставлявшим места ни для каких других интересов. Не хотелось ничего смотреть и ни о чем говорить. А Титов был в вечной суете; ему нужно было все видеть, все осмотреть самым подробным образом; он приставал с разговорами о разных предметах, болтал без умолку. Однажды мы узнали, что он велел раз-

---

* «Посредственный и раболепный – с такими качествами можно всего достигнуть».

будить себя ночью, оделся и вышел на палубу, чтобы видеть отстоящий на несколько миль маяк, мимо которого мы проходили. Как это ни было забавно, но нам было вовсе не до того. Поэтому мы по возможности устранялись от сопутствовавших нам государственных людей и радовались, когда видели их погруженными в интересные разговоры друг с другом. Мне случилось выходить погулять на палубу; вижу: с одного бока ходит Владимир Павлович, а с другого Николай Николаевич, и я печально скрывался в свою каюту.

В Балтийском море, перед входом в Финский залив, нас опять настигла буря. Фрегат кренило на 45 градусов на один бок и столько же на другой. Все опять были больны; однако, в силу привычки, я выдержал пытку несколько лучше, нежели в первый раз. Наконец, мы кинули якорь в Кронштадте. Встреча была торжественная; весь Балтийский флот убрался трауром. Приехал великий князь Константин Николаевич и отслужил панихиду. Дежурными к гробу были приставлены два старых адмирала, один из них наваринский герой Епанчин. Лежа в своей каюте, я слышал, как один рассказывал другому, что он может съесть целое ведро соленых грибов.

Через день мы пошли в Петербург. Погода была тихая, но мрачная и холодная, совершенно подходящая к общему настроению. Однообразное серое небо уныло расстилалось над северной столицею. Одетые гранитом берега Невы, с их величественными дворцами, были уставлены многими тысячами народа. У пристани возвышался убранный трауром павильон, где ждала царская семья. Все в глубоком безмолвии смотрели на приближающуюся эскадру. Зрелище было торжественное и внушительное. Тихо и плавно подошел фрегат, неся дорогие останки. Гроб был поставлен на катафалк, и длинная процессия, состоявшая из всех чинов государства, двинулась к Петропавловской крепости. Нас распределили в разные места; мне пришлось идти с ученым сословием. Я встретил тут Победоносцева, которому очень обрадовался. Я был с ним в то время очень дружен; близко зная покойного, он горевал, так же, как и я. Были и другие профессора Московского университета – Бабст, Соловьев – преподававшие великому князю. Я находился опять в своей родной среде.

Пробраться в собор при такой толпе не было никакой возможности. Я дождался, пока все разбрелись, и вошел в опустевший уже храм, чтобы поклониться дорогому праху. Погруженный в воспоминания, я стоял в раздумье перед едва закрывшеюся могилой. Услыхав шорох, я обернулся: за мною стоял Владимир Мещерский. Он тотчас приступил ко мне с модными в то время нападками на графа Строганова. Я отвернулся с негодованием. Для Мещерского восходило новое светило, и он кидал грязью в то, что окружало старое. Он являлся как бы представителем того, что ожидало нас впереди.

Для меня не было нового солнца. В этой ранней могиле были похоронены лучшие мои мечты и надежды, связанные с благоденствием и славою отечества. Россия рисковала иметь образованного государя с возвышенными стремлениями, способного понять ее потребности и привлечь к себе сердца благороднейших ее сынов. Провидение решило иначе. Может быть нужно было, чтобы русский народ привыкал надеяться только на самого себя.

Выход из университета

Вернувшись в деревню, я принялся за сочинение, которого план созрел у меня уже во время путешествия. Бродившие в русском обществе конституционные стремления, вызванные отчасти желанием дворянства вознаградить себя за отмену крепостного права и этим путем захватить власть в свои руки, отчасти общим брожением умов, не дававших себе ясного отчета в положении дел, давно убедили меня в необходимости выяснить этот вопрос в печати. В этих видах была написана упомянутая выше статья о польских крестьянах, которая никогда не увидела света. Недавние прения в Московском дворянском собрании и разговоры во Флоренции с Юрием Самариным еще более утвердили меня в этой мысли. Но обсуждать конституционный вопрос в газетных статьях особенно в приложении к России, не было возможности. Правительство никогда бы этого не допустило. Чтобы высказаться печатно, надобно было придать изложению ученый характер, воспользовавшись изъятием книг от предварительной цензуры, установленным новыми законами о печати.

Я тем более сознавал потребность напечатать именно книгу, что в моих глазах журналистика без книжной литературы лишена всякой серьезной почвы. Только книги дают прочную основу общественной мысли; журналы, особенно там, где нет политической жизни, служат лишь средствами популяризации. В русском обществе начали уже бродить политические мысли, а, между тем, политической литературы вовсе не было. Надобно было положить ей основание. Мне казалось, что только этим способом можно было несколько умерить и ввести в правильную колею то хаотическое брожение, в которое было погружено так называемое общественное мнение, безотчетно следовавшее за голосом журнальных заправил. Этим, вместе с тем, можно было показать, что русская мысль достаточно созрела для достаточного и всестороннего обсуждения политических вопросов.

Конечно, при тогдашних условиях, исполнить эту задачу было не легко, ибо с полною откровенностью все-таки нельзя было высказаться. В самодержавном правлении, даже мягком и склонном к реформам, трудно выставить наглядно все темные стороны самовла-

стия и выгоды конституционного порядка, который в будущем представлялся мне идеалом, хотя я считал его неприложимым в настоящую минуту. Надобно было сделать это весьма осторожно, скорее дав читателю почувствовать, в чем дело, нежели явно выразив свою мысль. Но я надеялся на то, что русский читатель привык читать между строками, и думал, что во всяком случае книга, обсуждающая самые животрепещущие политические вопросы, подаст повод к разностороннему рассмотрению их в печати.

Я ошибся в своем расчете. Русский читатель привык понимать между строками только либеральные намеки, а никак не серьезную мысль. Даже люди развитые не поняли, что именно я хотел сказать, а большинство поняло меня совсем навыворот. Основная мысль моего сочинения заключалась в том, что теоретически конституционная монархия лучший из всех образов правления, что к представительному порядку неизбежно стремится всякий образованный народ, но что он требует условий, которые не везде налицо. Исследование этих условий составляло, по моему мнению, пробел в самой европейской литературе, посвященной этому предмету, и я хотел его восполнить, имея главным образом в виду состояние русского общества, но, не делая прямых приложений, а обсуждая вопросы с общей точки зрения и предоставляя читателю самому выводить заключения. Между тем, многие приняли меня, вообще, за противника представительных учреждений. Вследствие этого либералы остались недовольны моею книгою, усматривая в ней отпор их необдуманным стремлениям, а приверженцы самодержавия, с своей стороны, не сочувствовали сквозящему сквозь умеренный тон либеральному направлению. Когда в обществе разыгрались страсти и партии увлекаются в противоположные стороны, человеку умеренному, стоящему посредине, вообще приходится плохо. Но в образованной среде, по крайней мере, понимают, что автор хотел сказать, существует уважение к мысли и труду; у нас же все это блистало полным отсутствием. Журналистика, несмотря на то, что ей давался повод обсуждать эти вопросы по-своему, встретила книгу молчанием. Только в «Русском Вестнике» явилась пустая, но недоброжелательная статья только что начинающего в то время Градовского, приправленная шпильками Леонтьева, который мстил за прежние отношения. Редакция во всех случаях руководилась чисто личными видами и здесь осталась верна себе. Несмотря на то, книга «О народном представительстве», в отличие от всех других моих произведений, разошлась вполне. Впоследствии меня не раз настойчиво убеждали предпринять второе издание; но при существующем настроении русского общества я считал это совершенно лишним, тем более, что я занят был другими работами, от которых не хотел отвлекаться. Я был доволен и тем, что нашлись читатели, хотя следов этого чтения я нигде не

мог приметить. Во всяком случае, эта книга остается пока единственным самостоятельным политическим сочинением в русской литературе.

Этот труд занял у меня не только лето, но также и осень и даже часть зимы, которая разделялась между работою и чтением курса.

Не с радостным чувством вернулся я в университет. Я нашел там своих друзей, которых увидел с удовольствием; но большинство, патронированное редакциею «Московских Ведомостей», царило беспрепятственно и услаждалось своим торжеством. Оно считало уже себе все позволенным; пошли всякого рода мелкие гадости. Случилось, что какая то проделка ректора, – не помню именно что, – дошла до Совета. Клевреты Баршева хотели ее прикрыть; но мы вывели дело наружу. Тогда на нас ополчились в особенности Никольский и медик Матюшенков. Уверяли, что даже невежливо обличать таким образом ректора. Так как вопрос был неважный, мы не настаивали. Дмитриев довольствовался тем, что сочинил по этому поводу следующую эпиграмму:

Когда Диану дерзновенно
Узрел нагую Актеон,
Он был богиней раздраженной
На растерзанье обречен.
И мы игуменью святую
Узрели тож в дезабилье,
Простоволосую, босую,
Да и в запачканном белье.
И вот уже готова кара:
Собаки ринулись тотчас,
И лает бешеная пара,
И учит вежливости нас.
Никольский то зальется шавкой,
То вдруг поднимет хриплый вой;
А Матюшенков с бородавкой,
Беснуясь, брызгает слюной.
Ужасен этот лай сугубый,
Страшна отвага забияк,
Но к счастью их тупее зубы,
Чем актеоновых собак.

Скоро однако поднялась история, которая и для нас, и для университета имела самые печальные последствия. Мы принуждены были выйти в отставку. Юридический факультет был разгромлен; университет временно был отдан на жертву негодяям и никогда уже более не мог подняться на свою прежнюю высоту. Расскажу эту историю документально. Так как я играл в ней главную роль, то постараюсь изложить дело так, чтобы оно было ясно из самых фактов.

В декабре 1865 года кончили пятилетний срок службы двое из профессоров, Лешков и Менщиков. О Лешкове я говорил уже выше. Это был человек мягкий и добрый, но глупый и бездарный. Еще будучи студентами, мы смеялись над ним, когда он читал нам полицейское и международное право, а с тех пор, под влиянием славянофильских идей, превратившихся в его мутной голове в невообразимый хаос, он изобрел собственную свою новую науку, общественное право, которую и читал в университете, как плод русской мысли. Трудно себе представить, какая это была изумительная чепуха. Студенты на смех приносили иногда нам его тетради, и мы смеялись не меньше их, но так как этот бесконечный вздор приправлялся патриотическими и либеральными фразами, то были молодые умы, на которые это действовало. Для всякого человека, имеющего смысл и дорожащего пользою университета, было ясно, что терпеть в университете подобное преподавание было невозможно. Менщиков отличался от Лешкова только тем, что он не изобрел новой науки и довольствовался преподаванием всем известного греческого языка; но крайняя его ограниченность не была тайною ни для кого. Заменить его более молодыми силами было насущною потребностью.

По уставу, профессора, прослужившие двадцать пять лет, избирались Советом на каждое новое пятилетие, причем для выбора требовались две трети голосов. Это было установлено именно с тем, чтобы парализовать слишком привычное во всякой замкнутой корпорации кумовство и очистить место для более свежих элементов. И Лешков, и Менщиков прослужили уже тридцать лет; предстояло этих старцев или удалить или оставить еще на пять лет.

В январе 1866 года происходили выборы. Баллотирующиеся профессора отсутствовали; но было заявлено, что они передают свои шары друг для друга: Менщиков Бодянскому, а Лешков Беляеву. Я заметил, что это едва ли правильно. Они были выбраны на пятилетие, и в декабре кончился срок их службы, стало быть, они перестали быть профессорами, а потому не могут заседать в Совете и принимать участие в его действиях до тех пор, пока не будут выбраны вновь. Ректор согласился с моим замечанием, которое очевидно было юридически правильно, и Совет единогласно устранил оба шара.

При баллотировке оказалось, что Менщиков не получил даже простого большинства, а Лешкову было положено 25 белых и 13 черных, так что одного шара недоставало до двух третей. Делать было нечего; надобно было приступить к выбору декана юридического факультета, – должность, которую дотоле занимал Лешков. Выборы производились факультетом в заседании Совета. Перед баллотировкою ко мне сзади подошел Никольский и шепнул на ухо: «Поздравляю вас деканом». «Отчего ж меня?» – спросил я. «А кого же?» Я указал на сидящего возле меня Капустина и Бабста, которые были

гораздо старше меня профессорами. Он махнул рукой и отошел. Действительно, при баллотировке я оказался выбранным.

Лично мне этот выбор был неприятен. Должность декана влекла за собою участие в хозяйственных делах университета, которыми заведовало Правление, разбор массы мелких студенческих дел и просьб, а, главное, значительное сокращение каникул, которыми я очень дорожил. Приходилось жертвовать и временем потребным для ученой работы и любимою мною деревенскою жизнью для всякого рода мелочных хлопот. Я бы очень рад был оставить Лешкова деканом, лишь бы он перестал быть профессором. Но отказываться я был не в праве. Друзья мои радовались тому, что влиятельное место в юридическом факультете, а с тем вместе и в университете, получил человек из нашего кружка.

Деканом, однако, мне быть не пришлось; судьба избавила меня от этой обузы. Большинство было недовольно исходом выборов. Друзья Лешкова придумывали, как бы это дело исправить. Другого средства не было, как поднять вопрос об устраненных голосах. В следующем заседании Совета прочтено было письмо Лешкова, в котором он заявлял, что считает устранение голосов неправильным. Начались прения; решено было обратиться к начальству с вопросом: законно ли поступил Совет, устранивши голоса окончивших срок службы профессоров. Дело переходило таким образом к попечителю, а затем к министру.

Если бы в это время попечителем был Исаков, то исход, без сомнения, был бы правильный и для нас благоприятный. Но добрейший Дмитрий Сергеевич Левшин, патриархальный генерал старого времени, не имел ни малейшего понятия ни о науке, ни о преподавании, ни об юридических требованиях. Старые профессора к нему подлезли и обошли его кругом. К несчастью, в это время отсутствовал человек, с которым он имел обыкновение совещаться, Сергей Михайлович Соловьев. Он был вызван в Петербург для преподавания русской истории наследнику и великим князьям. Левшин вообразил, что все будут довольны, если он так устроит, что Лешков останется профессором, а я деканом. В этом смысле он сделал представление министру.

Министром был описанный выше Александр Васильевич Головнин. Здесь являлся для него случай себя показать, и он выказал себя в полном блеске. Он собрал совет мужей Министерства народного просвещения, и что же они изобрели! Во-первых, вопреки закону и здравому смыслу, они решили, что кончившие срок службы профессора все-таки сохраняют права профессоров до тех пор, пока не будут забаллотированы, а потому имеют право выбирать друг друга. Принявши такое решение, очевидно, оставалось только кассировать выборы и предписать произвести новые. Это был единственный

исход, дозволенный и законом и логикой. Но мудрый совет решил иначе. Так как Менщиков, будучи забаллотирован, не мог уже участвовать в выборе, то министерство предписало попечителю спросить у Бодянского: куда бы он положил шар, если бы он был допущен до баллотировки? Бодянский отвечал, что он положил бы направо. На этом основании, министр народного просвещения А. В. Головнин, собственною властью причислил шар Менщикова к положенным в ящик 25 белым шарам и утвердил Лешкова на новое пятилетие.

Это было нечто чудовищное, неслыханное. И закон, и здравый смысл, и практика всех русских учреждений, все беззастенчиво попиралось ногами, и для чего? Для того, чтобы сохранить в университете никуда негодного профессора, которого всякий человек, имеющий малейшее понятие о народном просвещении, рад был бы сбыть с рук при первом удобном случае. Надобно заметить, что министр легко мог получить настоящее понятие об этом деле, переговоривши с Соловьевым, который в это время был в Петербурге. Но призывая к совещанию всяких журналистов, через которых он надеялся приобрести популярность, Головнин считал совершенно излишним совещаться с человеком, пользующимся всеобщим уважением, вполне беспристрастным и близко знающим Московский университет.

Содержание министерской бумаги было нам известно прежде, нежели она была прочитана в Совете. Возник вопрос: что же нам делать? Мы видели очень хорошо, что дело проиграно. Когда попечитель и большинство Совета были заодно, когда министерство в угоду этому большинству оказывало полное презрение к самым элементарным требованиям права, то на что же было надеяться? Но молчать при таком вопиющем нарушении закона мы считали неприличным и недостойным университета. Решено было предложить Совету сделать представление министру на основании 78-й статьи основных законов, которая обязывает всякое подчиненное лицо или место, получившее противоречащее законам предписание, сделать о том представление начальству. Мы знали, что Совет не примет нашего предложения, но это был протест закона против беззакония. Дмитриев взялся его представить.

Когда бумага была прочитана в Совете, Дмитриев заявил, что желает сделать по этому поводу предложение, так как решение министра не согласно с университетским уставом. Ему заметили, что лучше сделать это заявление письменно, ибо вопрос требует большой осторожности. Он согласился, и к следующему заседанию приготовил бумагу, в которой, в весьма умеренных и почтительных выражениях, но с полною ясностью выставил всю незаконность решения министра. Содержание ее было следующее.

Предложение профессора Дмитриева по поводу утверждения профессора Лешкова

В 78-й статье Свода законов основных сказано: «Если бы в предписании, непосредственно от власти министра исходящем, начальство, ему подчиненное, усмотрело отмену закона, учреждения или объявленного прежде высочайшего повеления, тогда оно обязано представить о сем министру. Если и засим предписание будет подтверждено от лица министра в той же силе, тогда начальство обязано случай сей представить на окончательное разрешение Правительствующему Сенату».

Из этого следует, что представление министру о несогласии предписания его с законами есть не только право, но и непременная обязанность всякого подчиненного лица и места.

Опасаясь ответственности за неисполнение этой обязанности, находя в распоряжении г. министра народного просвещения, по делу профессора Лешкова, отмену закона о баллотировке, имею честь представить на усмотрение Совета следующее:

По 72-й статье университетского устава, министру предоставлено право утверждать профессоров только по избранию Совета, и случаи, когда профессора назначаются без избрания, указаны тут же, в ясных и определенных выражениях. Но в деле профессора Лешкова избрания не было, и не только Совет университета, но и Совет министра народного просвещения единогласно признали выбор несостоявшимся. Университетский Совет никогда не представлял профессора Лешкова, а ходатайствовал только о разрешении сомнения, возникшего после баллотировки, относительно законности устранения профессоров Менщикова и Лешкова. Разрешая сомнение подчиненного места, г. министр имел право только объявить выборы недействительными и предписать произвести новые, но никак не мог утвердить профессора Лешкова, ибо когда нет избрания, то и утверждать нечего. Это не только очевидно вытекает из смысла закона, но сверх того подтверждается и постоянною практикой русской администрации. Правительствующий Сенат, которого указы должны исполняться всеми подчиненными местами и лицами, как собственные указы императорского величества, в прошлом году точно таким же образом поступил относительно Московского дворянского собрания. Когда министр внутренних дел возбудил вопрос, законно ли были лишены шаров некоторые из дворян, и Сенат не нашел этого правильным, то он уничтожил произведенные выборы и разрешил министру открыть новые, но не уполномочил его отобрать голоса незаконно устраненных дворян, по состоявшимся уже выборам и на этом основании изменять результат их. Если бы и г. министр народного просвещения кассировал нашу баллотировку, то

был бы совершенно в праве; но он этого не сделал, а, вместо того, сам произвел выбор за нас, на что не был вовсе уполномочен законом.

Другая неправильность состоит в способе, которым был отобран голос заслуженного профессора Менщикова. Заключение Совета министра основывается, как в нем сказано, на «официальном» заявлении профессора Бодянского, что профессор Менщиков поручил ему положить шар в пользу профессора Лешкова. Очевидно, что выражение «официальное» употреблено здесь по недоразумению, ибо официальные заявления делаются только с соблюдением узаконенного порядка инстанций, следовательно, профессор Бодянский должен был сделать свое заявление в Совете, а он никогда не делал ничего подобного и даже не мог сделать: Совет не допустил бы такого нарушения тайной баллотировки, точно так же, как не допустил того же профессора Бодянского объявить свой голос после баллотировки, при избрании г. ректора. Устанавливая закрытую подачу голосов, закон никому не разрешает подавать голос явно, а тем менее в другом месте и спустя долгое время после выборов. Причисление же к баллотировке шара, который мог бы быть положен, лишено всякого законного основания. А потому и утверждение на основании голоса, заявленного впоследствии и вне Совета, не может быть рассматриваемо иначе, как отмена в данном случае того порядка выборов, который установлен университетским уставом. Если при этом, по замечанию Совета министра, шар неизбранного профессора Менщикова уже не может быть восстановлен, то подобное соображение нисколько не усиливает законного утверждения, а доказывает только всю несостоятельность того мнения, по которому профессор, сам баллотирующийся на новый срок, сохраняет свой голос при выборе другого лица.

Итак, распоряжение г. министра противоречит 46-й и 72-й статьям высочайше утвержденного Устава российских университетов. Полагаю, что отступление от закона в обоих случаях может иметь важные последствия. Решение г. министра есть прецедент, на который будут ссылаться впоследствии, и закон, ясный и определенный в своем смысле, может исказиться в приложении. Между тем, эти оба постановления Устава суть драгоценные права, ограждающие свободу университетской корпорации. Тайная подача голосов есть гарантия независимости от всяких личных влияний. Что же касается до статьи 72-й, определяющей права министра относительно утверждения профессоров, то она составляет важное приобретение университетов, шаг вперед с сравнении с прежним порядком. Устав 1835 года ничем не ограничивал права министра замещать кафедры, и оно действовало совместно с правом выбора университетских советов. Устав 1863 года, стремясь расширить самодеятельность уни-

верситетов, ограничил влияние министра на состав профессорских корпораций и допускает назначение, помимо выбора, только в виде редкого исключения. Это было сделано притом не случайно, а вследствие единодушного желания всех университетов, в том числе и Московского, которые, в своих замечаниях на проект устава, все высказались в пользу подобной меры.

Поэтому, – так как Совет никогда не представлял профессора Лешкова на утверждение г. министра народного просвещения, а только просил разрешения сомнения насчет правильности баллотировки; – так как выборы должны быть кассированы, если произведены неправильно, а если они произведены правильно, то профессор Лешков не может считаться избранным; – так как не положенный шар не может быть причислен к баллотировке, и голос, поданный явно, вне Совета, после выборов, не может служить законным основанием для утверждения: то, на основании 78-й статьи I тома Свода законов основных, предлагаю Совету почтительнейше представить г. министру народного просвещения, что распоряжение его высокопревосходительства по делу профессора Лешкова не согласно с законами об избрании профессоров и тайной баллотировке.

Однако это предложение не было допущено до чтения. Когда в следующем по заявлении заседании Совета Дмитриев хотел его прочесть, ему объявили, что, как входящая бумага, оно должно быть предварительно представлено ректору на просмотр. Дмитриев отвечал, что это вовсе не входящая бумага, а мнение члена по поводу предъявленного Совету решения министра, и что требование представить его предварительно ректору не основано ни на университетском Уставе, ни на практике Совета. Баршев, который сначала колебался, окончательно объявил, что он прочтения не допустит, и когда Дмитриев сказал, что в таком случае он изложит свое предложение словесно, ректор собственною властью прекратил всякие прения, объявив, что бумага министра прислана к исполнению, а потому никакому обсуждению не подлежит. Таким образом, протест во имя закона был устранен актом чистого произвола. Я заявил, что считаю такой способ действия незаконным и представлю об этом особое мнение.

Я изложил это мнение письменно, с возможною ясностью и осторожностью. Для большей уверенности я прочел его Щербатову, которому хорошо были известны бюрократические порядки и который всегда мог дать добрый совет. Мы тщательно просмотрели бумагу и выкинули все, что могло показаться неумеренным или подать повод к нареканиям. Прилагаю ее здесь, дабы читатель мог судить, насколько она способна была вызвать ту бурю, которая из-за нее поднялась.

Особое мнение профессора Чичерина по поводу вопросов, возбужденных в заседании 28 апреля 1966 года

В заседании 28 апреля профессор Дмитриев хотел прочесть заявленное им уже прежде в Совете предложение, по поводу утверждения профессора Лешкова на новое пятилетие г. министром народного просвещения. Но г. ректор не позволил ему объяснить это предложение ни письменно, ни словесно, объявив оное противозаконным и себя ответственным за допущение возражений против бумаг министра, присланных к исполнению. Сверх того, г. ректор потребовал, чтобы письменные предложения членов Совета были предъявлены ему на предварительный просмотр. Когда же было возбуждено сомнение в законности требования, то г. ректор сказал, что он не может допустить, чтобы члены оспаривали его права, как это неоднократно делается в Совете, ибо, если при всяком действии председателя каждый член будет иметь возможность подвергать вопросу законность его поступка, то ректор не в состоянии будет исполнять своих обязанностей, охранять порядок в заседании и руководить прениями. Поэтому его превосходительство объяснил, что считает нужным представить дело на усмотрение высшего начальства. Я, с своей стороны, вместе с профессором Дмитриевым, счел долгом протестовать против действий и требований, уничтожающих свободу голоса членов и заявил, что подам об этом особое мнение, которому прошу дать законный ход. Права председателей присутственных мест определены общими законами и в этих границах должны быть свято уважаемы, но не менее уважаемы должны быть права членов. Свободное их мнение должно быть ограждено от произвола, как этого прямо требует 95-я статья Общих правил о производстве дел в присутственных местах, и если председатель, выходя из постановленных законом пределов своей власти, стесняет права членов, если им не дозволяется исполнять по совести свои служебные обязанности, то каждый из них имеет не только право, но и обязан по закону и по совести возражать против этого и протестовать, если возражение его не будет уважено. Протест, основанный на законе, не может считаться неуважением к председателю. Если в Московском университете с недавних пор, к сожалению, неоднократно поднимаются вопросы о правах ректора, то причина этому заключается единственно в том, что члены Совета неожиданно узнают о новых правах председателя, которые в законе не объявлены, которые никогда не существовали и в обычае и о которых не было помину, даже когда ректор назначался от правительства. С тех пор, как я имею честь принадлежать к университету, я ничего подобного не видал. Московский университет радовался восстановле-

нию своих выборных прав, но полагаю, что последствием выборного начала должно быть не ограничение прав членов, не произвол председателя, устраняемый самою буквою закона, а справедливость и ограждение свободы голоса как большинства, так и меньшинства.

Вопросы, возникшие в последнее время насчет прав ректора, касаются трех пунктов: 1 – права останавливать предложения членов и не допускать их до обсуждения в Совете; 2 – права требовать письменные мнения или предложения членов на предварительный свой просмотр; 3 – права, помимо Совета, представлять начальству особые мнения по делам, обсуждаемым в Совете и восходящим на высшее утверждение. Рассмотрю эти три пункта один за другим.

1. Сомнение насчет права ректора не допускать предложений членов к обсуждению в Совете, возникло по следующему случаю: в январе нынешнего года профессор Лешков, вместе с профессором Менщиковым, баллотировался на новый пятилетний срок службы. При этом оба передали свои шары друг для друга, один профессору Бодянскому, другой профессору Беляеву. Совет, по сделанному мною замечанию, подтвержденному самим г. ректором, устранил эти голоса. Профессор Менщиков был забаллотирован; профессор Лешков получил 25 белых и 13 черных шаров, следовательно, менее двух третей голосов, требуемых законом, а потому также был сочтен неизбранным. Но профессор Лешков, в письме на имя г. ректора, протестовал против этого решения Совета, считая исчисление голосов неправильным и устранение двух шаров незаконным. Совет усомнился насчет последнего пункта и решил просить у начальства разъяснения, правильно ли была произведена баллотировка. При этом профессор Дмитриев представил особое мнение, а г. председатель объявил, что и он, по праву, присвоенному ректору, пошлет также свое мнение. Г. министр народного просвещения согласился с профессором Лешковым и нашел, что устранение голосов было неправильно, но не кассировал на этом основании произведенных выборов, а утвердил профессора Лешкова, причислив к 25 избирательным шарам шар профессора Менщикова, переданный профессору Бодянскому, но не положенный в ящик, а заявленный впоследствии г. попечителю профессором Бодянским, который объявил, что если бы его допустили к баллотировке, то он положил бы направо. Профессор Дмитриев счел этот способ утверждения противным закону и, когда бумага г. министра была прочтена в Совете, заявил, что желает сделать об этом предложение, ссылаясь на 78-ю статью основных законов, которая обязывает каждое подчиненное начальство, получившее незаконное распоряжение министра, сделать ему о том представление и затем, если последует подтверждение, вознести дело на окончательное решение Сената. Но г. ректор тогда же сказал, что считает незаконным обсуждение предписаний министра и не может

принять на себя этой ответственности. Однако, профессору Дмитриеву было предложено объяснить свое мнение письменно; но, когда в заседании 28 апреля он хотел его прочесть, г. ректор решительно объявил предложение противозаконным на том основании, что бумага прислана к исполнению. Хотя профессор Дмитриев ссылался при этом на основной закон Российской империи, но его превосходительству не угодно было обратить на это внимание. Таким образом, предложение профессора Дмитриева не было допущено к обсуждению, и член Совета был лишен возможности исполнить возложенную на него законом обязанность.

Я не вхожу в разбор мнения профессора Дмитриева. Оно могло быть совершенно неосновательно; Совет мог с ним согласиться или не согласиться. Но не было никакой законной причины не допускать его к обсуждению, а потому я, с своей стороны, считаю долгом протестовать против того, что, по моему убеждению, составляет нарушение и прав членов и прав Совета. В качестве председателя, г. ректор, несомненно, имеет не только право, но и обязанность не допускать противозаконных прений, но из этого не вытекает право устранять предложения, основанные на точной и ясной букве закона. Статья 78-я основных законов совершенно определительна. Какая бы бумага министра не была прислана к исполнению, если возбуждается сомнение в ее законности, этот вопрос не только может, но и должен быть обсужден в присутственном месте, и каждый член имеет при этом право совершенно свободно изъяснять свое мнение и делать предложения коллегии. Статья 147-я Общих правил о производстве дел в присутственных местах (Св. Зак., т.II, ч. I) не только дает каждому члену право, но и возлагает на него обязанность по всем выслушанным делам давать советы и объяснять свое мнение, а статья 149-я гласит: «Каждый член объясняет свое мнение свободно и явственно, по прямому своему разумению и чистой совести, несмотря на лица и не уважая ни посторонних предложений, ни частных писем, хотя бы они были от первейших особ в государстве». Следовательно, не дать голоса члену, не позволить ему выполнить по совести свои обязанности есть прямое и ясное противоречие закону. Никакому председателю не присвоено такое право и каждый член обязан против этого протестовать.

Но устранение предложения профессора Дмитриева нарушает не одни права членов; оно еще более нарушает права и обязанности Совета. По статье 248-й Общих правил о производстве дел в присутственных местах, за всякие упущения и беспорядки ответствует не один только председатель, но и все присутствующие. Следовательно, Совет несет на себе всю ответственность за исполнение незаконного распоряжения министра. Получивши такое предписание, Совет имеет не только право, но и обязанность сделать о том пред-

ставление начальству. Отрицать у него это право, объявлять противозаконным всякое возражение против бумаги министра, на том основании, что она прислана к исполнению, значит низвести Совет на степень слепого орудия и безмолвного исполнителя приказаний начальства. Это опять прямое противоречие закону. Ни одно присутственное место не исполняет присланных ему предписаний административной власти, не удостоверившись наперед в их законности. На каком же основании Совет императорского Московского университета будет в этом отношении поставлен ниже других? Он сам далеко не считал себя лишенным права обсуждать присланные ему предписания. Не далее как в прошедшем году, г. министр народного просвещения разослал по университетам одну изданную за границей брошюру. Г. министр действовал в пределах своего права; он не нарушал никакого закона. А между тем, Совет Московского университета не принял бумаги к исполнению, но, по предложению самого г. ректора, отослал брошюру назад, объявивши ее памфлетом, который университет не желает поместить в свою библиотеку. Даже в настоящее время, рядом с устранением всяких бумаг, присланных к исполнению, самим г. председателем признаются иногда и другие начала. В то самое заседание, в котором г. ректор объявил предложение профессора Дмитриева противозаконным, была прочтена бумага, в которой г. попечитель, пользуясь своим правом, отказывал в утверждении вновь избранного библиотекаря университета. Но г. ректор не принял бумаги к исполнению, а сам предложил Совету сделать попечителю новое представление об утверждении библиотекаря. На каком же основании к однородным делам прилагаются различные правила и мерила и как согласить это с справедливостью, с законностью и с уважением к правам членов?

2. По поводу того же предложения профессора Дмитриева г. ректор объявил, что письменные мнения или предложения (что по закону вовсе не различается) должны быть представляемы ему на предварительный просмотр. В заседании 7 апреля, при чтении бумаги г. министра народного просвещения, профессор Дмитриев хотел тут же изъяснить о ней свое мнение словесно, но ему предложили изложить свои соображения письменно, так как этот вопрос считался важным. Когда же он на это согласился, заявлено было, что письменное предложение должно быть предварительно одобрено г. ректором. Вопрос этот возобновлялся в двух следующих заседаниях: профессор Дмитриев не соглашался на требование, лишенное законного основания и протестовал против него. Я, с своей стороны, присоединяюсь к этому протесту, во имя свободы голоса и прав членов. Русские законы нигде не устанавливают цензуры председателя над мнениями членов. Нигде также они не делают ни малейшего юридического различия между мнениями и предложениями. Предложение

есть только мнение известного рода. Приведенная выше статья 147-я Общих правил о производстве дел в присутственных местах, предоставляя членам право и возлагая на них обязанность подавать советы и объяснять свое мнение по всем выслушанным делам, не различает того и другого и не постановляет никаких ограничений. Статья 95-я тех же Правил до такой степени ясна и определительна, что не оставляет ни малейшего сомнения на счет прав, присвоенных председателю и членам присутственных мест. Она говорит: «Члены обязуются должным к председателю почтением и повиновением во всем, относящемся до обязанностей службы; но власть его не распространяется на их мнения, которые во всяком случае свободны и от произвола его не зависят». Следовательно, требование г. ректора очевидно не согласно с законом. Права председателя в присутственных местах ограничиваются охранением внутреннего порядка; он, по статье 248-й, вместе со всеми присутствующими отвечает за медленность, беспорядки и упущения, но никогда за мнения членов, и если г. ректор сослался на свою ответственность при устранении предложения профессора Дмитриева, то эта ссылка не имеет законного основания.

Впрочем, насчет письменных мнений членов, существуют в некоторых коллегиях особые правила, но они имеют чисто формальный характер и клонятся к облегчению порядка делопроизводства, не давая председателю никакой власти. Таким образом, в собраниях, где обсуждаются многосложные дела, например, в Государственном совете – постановлено, что письменные мнения членов должны присылаться накануне заседания для того, чтобы можно было, если нужно, навести справку, или приготовить объяснение. В университете, ни по Уставу, ни по обычаю такое правило не установлено, и оно совершенно лишнее. При немногосложности дел нужную справку можно навести тотчас же. В случае необходимости, дело может быть отложено до следующего заседания, на что всякий член, подающий мнение, охотно согласится, ибо это несравненно меньшее стеснение, нежели установление цензуры председателя, которая, ограничивая свободу голоса членов, может, в крайних случаях, повести даже к тому, что ректор, выбранный большинством, будет устранять все предложения меньшинства. В университете доселе никогда не признавалось подобное правило, и это не затрудняло решения дел. Даже в то время, когда ректор назначался правительством, он не предъявлял притязания на цензуру над мнениями членов Совета и не требовал их предложений на предварительный свой просмотр. Но, даже если бы это правило было в высшей степени полезно, председатель не имеет ни малейшего права устанавливать его собственною властью. Делопроизводство коллегии, права председателя и членов определяются законом, иногда инструкциями

высших правительственных лиц; в законодательных палатах они установляются самим собранием; но нет примера, чтобы председатель сам от себя предписывал новые правила и создавал себе небывалые прежде права. Только в чисто канцелярском порядке начальник может требовать всякие бумаги на предварительный свой просмотр; но Совет Московского университета не состоит к своему председателю в отношении канцелярии к начальнику. Члены его пользуются свободою голоса и ограждены законом от произвола председателя, то есть от требований, лишенных законного основания.

3. При обсуждении возражений профессора Лешкова против решения Совета, объявившего его неизбранным на новое пятилетие, г. ректор заявил, что он, по праву ему присвоенному, пошлет свое особое мнение на усмотрение начальства. Это мнение не было прочитано в Совете и доселе осталось ему неизвестным. Не желая дать делу личный характер, я в то время не счел нужным возражать; но в следующем заседании, при чтении протокола, просил позволения возбудить вопрос о том, действительно ли существует право ректора посылать, помимо Совета, свое особое мнение по делам, решаемым Советом и восходящим на утверждение высшего начальства. Так как в прениях я не мог убедиться доводами защитников этого права, то я предложил просить разъяснения этого вопроса. В то время мое предложение не получило дальнейшего хода, но я заявил, что внесу его письменно, и теперь пользуюсь своим – правом, чтобы дать этому делу законное движение.

Я не считаю права, которое приписал себе г. ректор, основанным на законе. Оно не существует ни в одном присутственном месте и не присвоено законом никакому председателю. Оно противоречит взаимным отношениям, установленным между председателем и членами коллегий, и еще более тому доверию, которое должно господствовать между выборным ректором и Советом. Если председатель желает представить особое мнение об обсуждаемом вопросе, он прежде всего предлагает его коллегии для утверждения своих товарищей. Если они не согласятся, он имеет право приложить его к протоколу и послать на усмотрение начальства, точно так же, как делают члены. Но трудно понять, на основании каких законных соображений можно представить начальству мнение, не внесенное в коллегию для ее убеждения. Такой чисто личный путь помимо коллегии уместен только там, где все управление сосредоточивается в председателе, а прочие члены состоят при нем с чисто совещательным голосом. Там же, где дела решаются коллегиально и члены имеют самостоятельное значение, этот способ действия может иметь весьма важные неудобства. Это – мнение, на которое нельзя возражать; следовательно, начальство имеет перед собою одну только сторону дела, тогда как возможный ответ остается ему неизвестен. С

своей стороны и коллегия решает вопрос, не имея в виду всех данных, ибо председатель не счел нужным представить их на ее усмотрение. В настоящем случае, посылка мнения ректора, помимо Совета, едва ли могла иметь важные последствия; однако, для пояснения дела можно сослаться и на этот пример. Г. министр народного просвещения, утверждая профессора Лешкова, основался, между прочим, на заявлении г. ректора, что профессора Лешкова некем заменить на кафедре. Но это обстоятельство не было выставлено г. ректором в прениях Совета, и если бы оно было высказано, то немедленно последовало бы возражение, что суждение о замещении кафедр прежде всего принадлежит факультету, факультет же никогда не был об этом спрошен.

Едва ли впрочем кто-либо станет утверждать, что право посылать особые мнения помимо Совета принадлежит ректору в качестве председателя Совета. Защитники этого права ссылаются главным образом на то, что ректор имеет права и обязанности и независимо от Совета. В §4 университетского Устава ему вверяется ближайшее управление университетом; § 28 возлагает на него ближайшее попечение о благоустройстве университета. Но из этих постановлений закона нельзя вывести означенного права. В § 28 прямо обозначено, какие права вытекают из попечения о благоустройстве университета: они вовсе не относятся к делам, обсуждаемым в Совете, а касаются единственно исполнения. 4-й же параграф не устанавливает власти безграничной и не делает из Совета простое совещательное учреждение, существующее при ректоре, ибо в следующем 5-м параграфе сказано, что в состав университетского управления входят и факультеты, и университетский совет, и правление и университетский суд. Следовательно, вопрос сводиться к тому, какие права и обязанности присвоены каждому из этих лиц и учреждений. Все это точно обозначено в университетском Уставе. Права ректора изложены в главе IV-й; следовательно, из нее только можно вывести право, о котором идет речь. Но в ней нет ни единого слова, которое бы оправдывало подобный вывод. Здесь означены некоторые дела, возложенные исключительно на ректора, и в которые Совет не имеет права вступаться: так, например, ректор делает представления о награждении преподавателей и служащих. Но по всем делам, предоставленным ведению Совета, ректору, по 31 статье IV-й главы университетского Устава присвоены права председателя, и никакие другие. Все, выходящее из этих пределов, не имеет основания в законе, и хотя в Совете и было высказано мнение, что то, что не означено в законе, следует считать дозволенным, однако, относительно должностных лиц, юридическая теория и практика держатся противоположного начала. Им принадлежат только те права, которые именно присвоены им законом.

Сам г. ректор, в одном из следующих заседаний Совета, настаивая на своем праве, объявил, однако, что не будет им пользоваться, так как оно возбуждает противоречия. Но отречение от законного права столь же мало дозволяется должностному лицу, как и присвоение себе права, не установленного законом. Права должностных лиц суть вместе и обязанности. Они даются не для частных целей, а для общественной пользы. Поэтому никто не может отказаться от прав, предоставляемых ему законом, и объявлять, что не будет ими пользоваться. Во всяком случае, юридический вопрос нисколько этим не разрешается.

Таковы сомнения насчет прав ректора и членов, возбужденные в последнее время в Московском университете. Заявивши, что я подам об этом письменное мнение, покорнейше прошу приложить его к протоколу и дать ему дальнейшее движение. Соглашаясь в этом отношении с г. ректором, я считаю необходимым представить это дело на усмотрение высшего начальства, в видах ограждения свободы голоса и прав членов Совета.

Когда я это мнение прочел в Совете, Никольский вскочил и закричал, что это донос. Я обратился к председателю с вопросом: позволяет ли он в прениях Совета подобные выражения. «Отчего же нет?» – отвечал Баршев. Я просил занести это в протокол. Никольский продолжал, несколько более сдерживаясь в своих выражениях, но таким же запальчивым тоном. После него все заговорили разом; поднялся невообразимый шум, среди которого ректором было предложено не принимать моей бумаги. Профессора, в знак согласия, вскочили с своих мест. Я молчал; видя, что бумагу не хотят принимать, я спокойно положил ее в карман, думая, что все равно я подам ее прямо попечителю. Но тут опять поднялся страшный гвалт, в котором я ничего не мог разобрать. Вокруг ректора стояла толпа, которая обращалась ко мне с какими то требованиями, крича во все горло, как пьяные мужики в кабаке, а я только делал знаки, что не понимаю, чего от меня хотят. Тут Дмитриев не вытерпел: обращаясь к профессору хирургии Басову, который вопил громче всех, он сказал: «Да полноте орать!» Тогда на него из толпы посыпались ругательства, а Матюшенков устремился на него с поднятыми кулаками, но к счастью был удержан другими. Наконец, кто-то подошел ко мне и объяснил, что хотят, чтобы я отдал бумагу с тем, чтобы возвратить мне ее с надписью. Я тотчас ее отдал, ибо не имел причины ее держать. Совет кончился невообразимым хаосом. Это был неслыханный в летописях университета скандал.

Мое мнение было мне возвращено с надписью, как оскорбительное для ректора и Совета. Я немедленно представил его попечителю с письмом следующего содержания:

«Милостивый государь, Дмитрий Сергеевич. Честь имею представить вашему превосходительству мое особое мнение, подписанное некоторыми из моих товарищей, насчет возбужденных в Совете вопросов о правах ректора и членов. Это мнение было внесено в Совет, но большинство объявило себя оскорбленным бумагою, в которой я на основании закона отстаиваю свои права, и, по предложению г. ректора, решило ее не принимать. На каком законном основании это могло быть сделано, не умею сказать; я не мог потребовать ни объяснений, ни даже формальной подачи голосов, ибо заседание Совета окончилось такою сценою, которую я отказываюсь описывать. Покорнейше прошу Ваше превосходительство разобрать это дело и довести мое мнение до сведения г. министра народного просвещения, ибо это вопросы весьма существенные. От разрешения их зависит многое в университете. Могу заявить вашему превосходительству, что если права членов Совета не будут ограждены от произвола и их личность от оскорблений, то пребывание в Московском университете сделается совершенно невозможным».

Между тем, мне предстояло подать особое мнение еще по другому поводу. В том же заседании 12-го мая, в котором я подал свой протест, еще прежде нежели дошла до него очередь, была прочитана бумага попечителя, в которой он делал замечание насчет того, что, при представлении на его утверждение выбора доцента Зайковского, ему не было представлено мнение профессора Захарьина. Дело в том, что Захарьин в этом случае расходился с факультетом, представлявшим доцента; в своей бумаге он разъяснял, почему он не считал Зайковского достойным избрания. Выбор, на основании факультетского представления, все-таки состоялся, и Зайковский был представлен на утверждение попечителя, но мнение Захарьина было удержано, и попечитель узнал о нем только из «Университетских Известий», где оно было напечатано. На это и последовало замечание. Ректор объяснил, что он сделал это на основании закона, ибо при вопросах, решаемых баллотировкою, особые мнения не представляются. Такое объяснение очевидно было неправильно, ибо с протоколом о баллотировке представлено было заключение факультета, а приложенное к нему особое мнение было удержано. Тем не менее, Совет решил, что ректор поступил согласно с законом, присовокупив, однако, что впредь все особые мнения должны посылаться попечителю. Одно решение прямо противоречило другому. Я объявил, что подам об этом особое мнение.

После происшедшего скандала было ясно, что второе мнение возбудит такое же негодование как и первое. Но заявивши, что я подам особое мнение, я не мог уже отступить; это имело бы вид, что с испугался. С другой стороны, я вовсе не желал быть свидетелем

новых подобных сцен в стенах университета. Поэтому я решился отправить свое мнение ректору, с запискою, объясняющею причины такого отступления от обычного порядка. Записка была следующего содержания: «Милостивый государь, Сергей Иванович. В прошедшем заседании Совета, по поводу бумаги г. попечителя о непредставлении ему мнения профессора Захарьина, я заявил, что подам об этом деле особое мнение. Но, видя настоящее настроение Совета и не желая подавать повод к новым оскорбительным выходкам, честь имею препроводить свое мнение прямо вашему превосходительству, для приобщения к протоколу или для прочтения в Совете, по вашему усмотрению».

Вот и самый текст представленной мною бумаги:

«В заседании 12 мая была читана бумага от г. попечителя Московского учебного округа, в которой его превосходительство сделал замечание насчет того, что особое мнение профессора Захарьина по делу о выборе доцента Банковского, напечатанное в 7 номере «Университетских Известий», не было представлено ему вместе с протоколом о баллотировке. Г. ректор изъяснил, что, удержавши мнение профессора Захарьина, он поступил на основании закона, который не допускает подачи особых мнений при вопросах, решаемых баллотировкою, и Совет признал этот способ действия правильным. Я, с своей стороны, считая замечание г. попечителя Московского учебного округа вполне основательным и удержание мнения профессора Захарьина совершенно незаконным, заявил, что подам об этом особое мнение.

В примечании к § 45 университетского Устава прямо сказано: «в делах Совета, восходящих на утверждение высшего начальства, прилагается и мнение меньшинства членов». А так как выбор лиц идет на утверждение высшего начальства, то нет сомнения, что при этом должны быть представляемы и отдельные мнения членов, если они есть. Мнение профессора Захарьина было внесено в Совет, принято, приобщено к протоколу и напечатано в «Университетских Известиях». Следовательно, непредставление его г. попечителю Московского учебного округа есть прямое противоречие университетскому Уставу.

Однако, в Совете было высказано мнение, что самое принятие к протоколу мнения профессора Захарьина было неправильно; поэтому Совет, который прежде допустил представление этой бумаги, в настоящем случае решил, что г. ректор поступил правильно, удержавши ее. Большинство основалось на том, что: 1) §45 не относится к делам, решаемым баллотировкою, которые означены в §46; 2) что §70 прямо излагает способ избрания профессоров: они баллотируются в факультете, который доносит о результатах баллотирования в Совет, где производится новая баллотировка, но о представлении

особых мнений здесь ничего не сказано; 3) что подача особых мнений раскрывает тайну баллотировки.

Я не могу убедиться этими доводами и остаюсь при прежнем своем мнении, что при выборе профессоров, по самому существу дела, баллотировка не устраняет отдельных мнений. Закон, постановляя общее правило о мнениях меньшинства, не устраняет их при баллотировке; следовательно, недопущение их при выборах основывается не на букве закона, а на толковании. Это толкование могло бы быть правильным единственно в том случае, если бы баллотировка устраняла всякие словесные и письменные мнения, как большинства, так и меньшинства. Но этого никогда не бывает и быть не может, по самому характеру выбора профессоров. Факультет, когда делает Совету представление о замещении кафедры, никогда не ограничивается сообщением избирательного листа, но изъясняет достоинства предлагаемого лица. В некоторых университетах – например, в Харьковском, в Киевском – весьма целесообразно прилагаются подробные разборы сочинений баллотирующегося кандидата. Но как скоро допускается хвала, так необходимо должны быть допущены и возражения. В Совете происходят прения, которые не могут быть устранены без существенного ущерба преподаванию. Иначе значительное большинство членов Совета должно будет класть свои шары слепо, не имея возможности убедиться в достоинствах или недостатках предлагаемого преподавателя. Если же допускаются словесные мнения, то должны быть допущены и письменные, которые ничто иное, как более подробное и отчетливое изложение мнений словесных. Представление от факультета делается письменно и вносится в протокол; следовательно, должны быть допущены и письменные мнения членов, не согласных с факультетом. Это не есть раскрытие тайны баллотировки, ибо прения предшествуют баллотировке. Мнение не считается подачею голоса, но может иметь влияние на следующее решение, так же как на утверждение начальством. Каждый член имеет и право и обязанность излагать все, что он знает в пользу и против избираемого лица, после чего он кладет свой шар в ящик по долгу и по совести. Таким образом, в настоящем случае, медицинский факультет представил Совету кандидата Зайковского, как вполне достойного занять кафедру общей терапии; профессор Захарьин имел и право и обязанность изложить об этом свое мнение, выразить и словесно и письменно, что не считает представление уместным, ибо кандидат Зайковский занимался отраслями наук, вовсе не подходящими к этой кафедре. Здесь дело идет не о нравственных качествах, а об ученых достоинствах преподавателя, которые подлежат открытому и свободному обсуждению.

Но далее возникает вопрос: должно ли подобное мнение быть представлено высшему начальству? Утверждают, что баллотировкою

в Совете покрывается все остальное, и что один баллотировальный лист должен быть представлен начальству, как выражение мнения Совета. Г. ректор подтвердил это тем, что избрание преподавателей принадлежит собственно университету, утверждение же имеет чисто формальный характер: начальство удостоверяется только, что нет законных препятствий к выбору. Но эти толкования не имеют основания в законе. Как скоро есть мнение меньшинства, так оно должно быть представлено начальству во всех делах, восходящих на его утверждение. По смыслу Устава, к баллотировальному листу должны быть приложены, как представление факультета в Совет, так и особые мнения членов, если они есть. Это необходимо для того, чтобы и начальство не утверждало слепо, но имея в виду как достоинства, так и недостатки предлагаемого преподавателя. Утверждение избираемых профессоров вовсе не имеет чисто формального значения. Если бы право избрания было дано Совету для собственной его пользы, если бы избираемые были не преподаватели, а просто доверенные от Совета лица, начальство могло бы ограничиться рассмотрением чисто формальных препятствий. Но выборное право дано Совету – единственно для пользы преподавания, а это – точка зрения, которую нельзя отнять ни у попечителей учебных округов, ни у министра народного просвещения. Начальство утверждает избранного кандидата не потому только, что нет формальных препятствий к выбору, а потому, что считает его достойным занять кафедру. Но для этого необходимо, чтобы все дело было у него на виду, чтобы оно имело перед собою доводы обеих сторон. Отдельные мнения имеют целью не пустое заявление, не одно ограждение ответственности членов, но, главным образом, всестороннее разъяснение дела, восходящего на высшее утверждение. Они не могут быть устранены, даже если бы утверждение имело чисто формальный характер. Член может сделать возражение, которое Совет не примет во внимание, но которое начальство сочтет достаточною причиною для отказа в утверждении. Польза преподавания, которая должна быть здесь единственным решающим началом, требует, чтобы подобные возражения не были скрываемы, но чтобы все дело было выставлено на вид самым полным и всесторонним образом.

Итак, закон и польза народного просвещения равно не уполномочивают устранять особые мнения членов по вопросам об избрании новых преподавателей. Во всяком случае, если на этот счет существует сомнение, то оно должно быть возбуждено в Совете и разрешено высшим начальством. В Совете есть возможность возражать; член, которого мнение устраняется, который считает свои права нарушенными, может представить о том начальству, прежде нежели дело получило окончательное решение. Но удерживать мнение, которое принято в Совете и приобщено к протоколу, на это нет

ни малейшего законного основания. Никакой председатель не имеет подобного права; это – прямое нарушение прав члена и Устава университета. Никакое последующее решение Совета не может прикрыть подобного отступления от закона, ибо самые решения Совета должны иметь законное основание. Поэтому я считаю необходимым представить этот вопрос на усмотрение высшего начальства. Подача особых мнений есть драгоценное право членов, особенно в закрытой корпорации, которой суждения не публичны. Оно одно дает гарантии меньшинству, охраняет свободу голоса членов и дозволяет начальству решать вопросы, восходящие на его утверждение, на основании всестороннего обсуждения дела. Поэтому считаю в высшей степени важным ограждение этого права от всякого произвола».

Моя записка ректору была вызвана желанием избежать нового скандала; но ею воспользовались, чтобы выжить меня из университета. Когда я пришел в Совет, за несколько минут до открытия заседания, я увидел Баршева в таинственном совещании с Леонтьевым, который являлся в Совет только в важных случаях. После происшедшей сцены, испуганное собственными поступками большинство обратилось к своим патронам, которые и взялись устроить это дело. Тут представлялся удобный случай для мщения, а вместе для избавления университета от неприятных членов, и редакция воспользовалась им вполне. Как только открылось заседание, Баршев заявил, что он получил от меня особое мнение при записке и приказал секретарю прочесть то и другое. После чтения Леонтьев встал и объявил, что моя записка содержит в себе неприличные и непозволительные выражения, и что второе особое мнение мне надобно возвратить с надписью так же, как и первое. Я отвечал, что записка была предназначена для ректора, а вовсе не для чтения в Совете, и ничего неприличного и непозволительного в себе не заключает. Употребленные мною слова: «оскорбительные выходки» были только слабым указанием на то, что в прошедшем заседании происходило в Совете. Мне отвечали, что в Совете не происходило ровно ничего, что бы подавало мне повод употреблять подобные выражения. Я выразил удивление. Тогда Баршев, совершенно спокойным тоном, глядя мне прямо в глаза, спросил: «Да где же ваши доказательства?» «Мои доказательства в ушах всех тех, которые здесь сидят», – отвечал я. «Тридцать человек будут свидетельствовать противное», – возопили мне со всех сторон. Я увидел, что тут был формальный заговор. Это была уже не толпа пьяных мужиков, галдящих в кабаке, а шайка мошенников, которая решилась наглостью и бесстыдством прикрыть свои проделки и с невозмутимым цинизмом заявляла прямо в глаза, что ее не уличишь, потому что они все готовы лжесвидетельствовать. Это была самая возмутительная сцена, какую мне довелось видеть в своей жизни. Не только всякая совесть, но и всякое чувство

приличия исчезли в первом ученом сословии России. И эту гнусную стачку вел человек, жаждущий мести и лишенный всякого нравственного чувства, человек, для которого и университет, и польза просвещения, и самое достоинство корпорации, к которой он принадлежал, были только орудиями личных целей самого низкого свойства. По предложению Леонтьева, Совет постановил и внес в протокол: 1) что я в записке к ректору употребил неприличные и непозволительные выражения; 2) что в Совете не происходило ничего, что бы подавало повод употреблять подобные выражения; 3) что мое особое мнение должно быть мне возвращено с надписью, как оскорбительное для ректора и Совета. Меньшинство подписало несогласие; но к чему это служило? Выходя из заседания, Сергей Рачинский сказал мне: «Нынешнее заседание было не так скандально, как предыдущее, но оно было еще гораздо противнее».

Очевидно, мне оставалось только просить высшее начальство об отмене этих постановлений или выйти из университета. При сохранении их в силе, оставаться в нем с честью не было возможности. Но, признаюсь, я с некоторым омерзением смотрел даже на самый благоприятный исход этого дела. Я всю свою жизнь жил в порядочном обществе и не воображал, что мне придется когда-либо сидеть за одним столом с людьми способными на такие поступки. Я чувствовал себя униженным и оскорбленным не действиями Совета, а тем, что я принадлежу к коллегии, где возможны подобные явления. Продолжать заседать в этой среде было подвигом, требовавшим значительной доли самоотвержения. Но отступать в эту минуту не было возможности. Дело было не мое личное, а дело учреждения, которое было мне дорого и по воспоминаниям и по своему значению для русского просвещения. Надобно было дожидаться, что скажет начальство, от которого окончательно зависело решение.

Попечитель совершенно перешел на нашу сторону. Он увидел, что его кругом обошли. Все его маниловские планы насчет удовлетворения обоих сторон рушились. Лешков не только был утвержден профессором, но и вновь был выбран деканом. Большинство, находя всюду поддержку, закусило удила и считало себе все позволенным. В университете происходили неслыханные скандалы. Против членов Совета, выступающих в защиту закона, делались лживые и оскорбительные постановления, с целью выжить их из университета. Мнения, писанные в подкрепление требований самого попечителя, возвращались с надписью. Этому надобно было положить предел. Но попечитель был тут не главным лицом; окончательно все зависело от министра. И вот, новый министр народного просвещения явился в Москву.

Выстрел Каракозова был сигналом для свержения совершенно неповинного в этом Головнина. Он считался главным виновником общей разнузданности молодежи и пал жертвою возбужденного про-

тив либералов общественного мнения. Никто о нем не жалел. Не имея ни ума, ни образования, ни умения распознавать людей и с ними обходиться, чиновник с головы до ног, хотя с либеральным направлением, он все свои усилия устремлял на снискание популярности, но именно ее не нашел. Министр он был никуда не годный. Последние университетские события показали всю его несостоятельность. Он всеми неправдами поддерживал именно тех, кого следовало удалить, как в видах общественной пользы, так и для собственных его выгод. «Московские Ведомости» были его злейшим врагом, а он покровительствовал их клевретам и упрочивал их влияние в университете, прибегая при этом к самым непозволительным ухищрениям. Тупоумие этого человека обнаруживалось здесь вполне.

Теперь предстояло подтянуть слишком будто бы распущенные вожжи. С этой целью призван был обер-прокурор святейшего Синода, граф Дмитрий Андреевич Толстой. Я не имел о нем понятия. Когда Соловьев, кончив преподавание великим князьям, вернулся в Москву, я спросил у него: видел ли он нового министра и какое он на него произвел впечатление. «Как я на него взглянул, – отвечал он – так у меня руки опустились. Вы не можете себе представить, что это за гнусная фигура».

Впечатление было не напрасное. Немного можно назвать людей, которые бы сделали столько зла России. Граф Толстой может в этом отношении стать наряду с Чернышевским и Катковым. Он был создан для того, чтобы служить орудием реакции: человек не глупый, с твердым характером, но бюрократ до мозга костей, узкий и упорный, не видавший ничего, кроме петербургских сфер, ненавидящий всякое независимое движение, всякое явление свободы, при этом лишенный всех нравственных побуждений, лживый, алчный, злой, мстительный, коварный, готовый на все для достижения личных целей, а вместе доводящий раболепство и угодничество до тех крайних пределов, которые обыкновенно нравятся царям, но во всех порядочных людях возбуждают омерзение.

Граф Толстой воспитывался сначала в Университетском пансионе, а затем в Царскосельском лицее. Рано он стал искать путей, чтобы пробить себе дорогу в высших сферах. Подлаживаясь к Уварову и графу Строганову, он вздумал блеснуть учено-литературным трудом. Еще очень молодым человеком он издал «Историю финансов в России». Мне рассказывали, что все выписки из актов делал товарищ его Джунковский, который, уехав на несколько лет за границу, оставил свои бумаги в его руках, и по возвращении очень удивился, увидев свою работу изданною под именем графа Толстого*. Думаю,

* «История финансовых учреждений в России со времени основания государства до кончины императрицы Екатерины II». (СПБ, 1848)

что это не сплетня, ибо, когда мне пришлось самому изучать этот предмет, я увидел тут такие невероятные ошибки, которые могут объясниться только пользованием чужим материалом. Вдобавок это подтверждается проделкой с другим его сочинением: «Историей католицизма в России»*. Этим вопросом занимался приятель его Дмитрий Петрович Хрущев, бывший товарищем министра государственных имуществ; он посвятил на это не мало труда, делая выписки из архивов. Толстой упросил Хрущева дать ему просмотреть эти выписки, обещая скоро их возвратить. И что же вышло? Работа приятеля послужила материалом для собственной книги, и Хрущев никогда не мог получить обратно своих тетрадей. Он поднял бурю, взывал к посредникам; все было напрасно. Я знаю эту историю от сына Д. П. Хрущова.

В николаевское царствование граф Толстой, естественно, разыгрывал роль консерватора. Грановский со смехом рассказывал мне, что после посещения Поречья, куда Уваровым приглашен был и граф Толстой, тогда еще молодой человек, последний явился к нему и распространялся о том, что надобно в историю вносить консервативные начала. «Как это в историю вносить консервативные начала? – говорил Грановский, – если они есть, то их нечего вносить, а если их нет, то как же искажать историю?» Ученому казались дикими взгляды молодого карьериста. Но и с переменой декорации этот юный консерватор умел надевать и маску либерала. Одно время он подладился к Константину Николаевичу и приютился в его либеральном министерстве. Скоро, однако, он нашел, что благочестие выгоднее либерализма: он подольстился к обер-прокурору святейшего Синода Ахматову, который вывел его в люди и, по выходе в отставку, рекомендовал на свое место. Как далеко простиралась благочестивая начитанность графа Толстого – это обнаружилось в речи, произнесенной им несколько позднее, во время путешествия по России. На одном из многочисленных обедов, которые устраивались посланными вперед клевретами, но выдавались за самопроизвольное выражение общественного мнения, он сказал: «Французская пословица гласит: нет пророка в своем отечестве». Слова Христа выдавались обер-прокурором святейшего Синода за французскую пословицу. Речь была напечатана, и над нею много потешались.

Обер-прокурор жил тогда в небольшом доме на Невском. Но у графа Толстого подрастала дочь; надобно было давать балы, а для этого квартира была тесна. Представился случай купить на Литейной большой дом Нарышкина. Обер-прокурор убеждал членов святейшего Синода сделать для него это приобретение, но те противились, ибо церковному ведомству новое помещение было вовсе не

* «Le Catholicisme Romain en Russie» (Paris, 1863 – 1864).

нужно. Наконец заключена была сделка. В Синоде заседал протоиерей Богословский, человек пользовавшийся общею любовью и уважением, но по своей независимости неприятный другим членам. Графу Толстому предложили удалить Богословского в Москву, и тогда покупка будет совершена. Это и было исполнено. Князь С. Н. Урусов прозвал этот дом «село скудельничье», или «село крови».

Подобные проделки не были новостью для обер-прокурора святейшего Синода. Женатый на дочери Дмитрия Гавриловича Бибикова, он имел весьма хорошее состояние; но жадность его не знала пределов. При освобождении крестьян он хотел ограбить своих мужиков, присвоил себе земли, купленные ими в прежнее время на собственные деньги, но, как водилось при крепостном праве, на имя помещика. Кошелев, который был членом Рязанского губернского присутствия, говорил мне, что они остановили это вопиющее дело. Мировой посредник, помогавший Толстому во всех его грабительских предприятиях, Голубцов, впоследствии был сделан попечителем учебного округа.

Все это Толстому сходило с рук, ибо подлость его была непомерная. Однажды на выходе в Московском дворце, Александр Алексеевич Васильчиков, который сам был придворный и не чужд угодничества, подскочил к Соловьеву со словами: «Что за подлец ваш министр! Он публично поцеловал руку у государя». Но это было еще наименьшее из его прегрешений: граф Толстой унижался не только перед государем, но и перед его любовницами. В то время как петербургское общество, к его чести, чуждалось княжны Долгорукой, впоследствии княгини Юрьевской, граф Толстой не только приглашал ее на свои балы, но встречал ее внизу лестницы и под ручку вводил в зал. Мудрено ли, что он неудержимо лез вверх? И когда он в конце царствования Александра II, при страхе, внушенном заговорами нигилистов, отдан был на жертву всеобщей возбужденной им ненависти, он в новое цаствование, на беду отечества и как бы назло всем честным людям, снова был поднят на высоту и сделался первым человеком в государстве.

Но об этом будет речь впереди. Теперь граф Толстой явился в Москву и старался обворожить всех своею любезностью. Он пригласил меня к себе, и я имел с ним длинный разговор наедине. Ничего путного он не высказал, не расспрашивал ни о чем, заметил только, что он не согласен с моим мнением насчет бумаги Захарьина, но никакого серьезного возражения не представил, а очень долго распространялся о том, что ему, министру, занимающему два таких важных места, некогда заниматься мелочами. Я уехал с впечатлением, что тут нет ни крепкого ума, ни нравственной основы, ни любви к просвещению, а есть только личные цели и темные бюрократические пути. Затем он задал профессорам великолепный обед, на кото-

ром разносились двухаршинные осетры, потчевал всех, рассыпался в разговорах и сам на моих глазах подавал стулья даже молодым людям. Но насчет нашего дела толку от него нельзя было добиться никакого. Положение его было действительно довольно затруднительно. Если бы пререкания шли только между нами и большинством Совета, он не колебался бы ни на минуту. Мы были люди известные и в литературе, и в обществе, и при дворе; некоторые из нас были преподавателями покойного наследника и нынешнего. Большинство же, с Баршевым во главе, не представляло ровно ничего такого, чем бы можно было дорожить; к тому же они были кругом неправы и позволили себе неслыханные скандалы. Но за большинством стояла редакция «Московских Ведомостей», газеты влиятельной и в обществе, и в правительстве, а это существенно изменяло дело. Какое бы решение ни принял министр, он неизбежно должен был возбудить против себя неприязнь одной из сторон. Поэтому он попробовал прибегнуть к хорошо известному ему приему: уклониться от всякой ответственности и свалить все дело на плечи подчиненного. Он уехал, не сказавши ни да, ни нет, и предоставил Левшину, самому расправиться с Советом.

После каникул пошла война между попечителем и Советом. Попечитель указывал Совету на неправильные его действия и предлагал отменить сделанные против меня постановления. Большинство, руководимое Леонтьевым, оправдывало свои действия и отказывалось принимать предложения попечителя. При этом предъявлялись совершенно неслыханные притязания. Неприсвоенное никакой коллегии право – возвращать членам их мнения с надписью – выводилось из принадлежащей будто бы Совету дисциплинарной власти над профессорами. Утверждали, что Совет имеет право не только делать своим членам замечания, но и удалять их от должности за всякие действия, которые большинство сочтет неправильными. Ни Дмитриев, ни я, мы не участвовали в этих прениях. После происшедшего скандала мы перестали ходить в Совет и дожидались окончательного решения. Но Капустин подавал особые мнения, которые подписывались и другими.

Наконец, попечитель решил покончить дело, объявив действия Совета неправильными и сделав ему замечание. Но прежде нежели послать эту бумагу, он хотел заручиться согласием министра. С этою целью он поехал в Петербург по случаю бракосочетания наследника. Вернувшись, он мне самому рассказывал, что ему никак не удавалось поймать министра: все как-нибудь ускользнет. «Наконец, – говорил он, – мне удалось изловить его на обеде у Делянова. Я его припер к стене, прочел ему свою бумагу и получил его согласие. Дело, кажется, может считаться улаженным».

Не тут-то было. Видя такой оборот, редакция «Московских Ведомостей» пустила в ход все свои батареи. Против Толстого была пущена язвительная статья, и ему дано было знать, что если дело не будет решено так, как они хотят, то он может ожидать непримиримой вражды «Московских Ведомостей». Толстой очень верно расчел, что поддержка влиятельной газеты ему, в сущности, гораздо нужнее, нежели удовлетворение нескольких профессоров, которые, хотя и пользовались литературным именем, но не имели ни малейшего веса в правительственных сферах. Справедливость, совесть, закон, польза университета, все это ни мало не входило в круг его забот. Ему нужно было держаться на месте, а для этого требовались две вещи: иметь опору при дворе, что обеспечивалось ему угодничеством и низкопоклонством, и заручиться поддержкой влиятельного органа так называемого общественного мнения. Последнее предлагал ему Катков с тем, чтобы он пожертвовал ему университетом. Сделка была заключена. Для совершения ее был послан в Москву товарищ министра народного просвещения Делянов.

Это был клеврет, вполне подходящий к своему патрону. Маленький, толстенький старичок, с совиною армянскою физиономиею и с мягкими, добродушными приемами, он умственно был полнейшее ничтожество, а нравственно совершеннейший подлец, холоп всякого, у кого были сила и власть. Сам он не имел никаких целей и видов, кроме желания держаться, и готов был на всякие пакости, чтоб угодить начальству. Будучи попечителем, он трусил перед студентами, когда они волновались; они заставляли его делать, что хотели, высказывая ему при этом полное презрение. Как товарищ министра, он был чистым лакеем Толстого и употреблялся им на всякие грязные дела. Сделавшись впоследствии сам министром, он был таким же лакеем Каткова, который его посадил и держал его в руках. Капустин остроумно приложил к двум особам, которым в то время были вверены судьбы народного просвещения в России, имена действующих лиц в юмористической испанской трагедии Кузьмы Пруткова. Мы Толстого и Делянова иначе не называли как Дон-Мерзавец и Донна-Ослабелла.

Нам известен был день и час, когда заключена была сделка. У Каткова был обычный еженедельный приемный вечер; но ни он, ни Леонтьев не являлись к гостям. Наконец, в 12 часов ночи, отворился запертый на ключ кабинет Каткова, и оттуда вышли Делянов, Катков, Леонтьев, Баршев и Щуровский. Заседаний Совета не было в течении трех недель, чего никогда прежде не бывало. Ожидали чего-то важного.

Наконец, решающая бумага из Петербурга явилась. Это было утвержденное министром заключение его Совета. Помещаю здесь этот удивительный образчик министерской изобретательности. Бумага обращена была к попечителю.

«Представленные вашим превосходительством от 21 января за № 151 бумаги по делу о возникших в Совете Московского университета недоразумениях вследствие оставления заслуженного профессора Лешкова на службе при университете еще на пять лет, подвергнуты были рассмотрению в Совете министра народного просвещения, в заседании которого 27 января состоялись по этому делу следующие заключения:

1. Недоразумения по означенному делу возникли в Совете Московского университета вследствие заявления со стороны исполняющего должность экстраординарного профессора Дмитриева, который признает распоряжение бывшего министра народного просвещения относительно профессора Лешкова несогласным с законом об избрании профессоров. По буквальному смыслу 78 ст. I тома Свода законов основных, профессор Дмитриев мог считать себя в праве войти с представлением в Совет университета, но он необходимо должен был принять в соображение, что решение министерства по делу о баллотировке профессора Лешкова и об оставлении его на службе уже принято было Советом университета к сведению и надлежащему исполнению и что засим на основании точного смысла той же 78 ст. основных законов вполне зависело от усмотрения Совета дать или не дать протесту профессора Дмитриева законный ход.

2. Ректор не допустил прочтения протеста профессора Дмитриева в присутствии заседания Совета. Большинство членов Совета не воспротивилось этому запретительному заявлению ректора и этим самым одобрило его распоряжение и решило оставить бумагу профессора Дмитриева без дальнейшего движения.

3. Несмотря на столь ясно и положительно одобренное Советом распоряжение ректора, профессор Чичерин счел нужным, с своей стороны, внести в Совет университета особое заявление по поводу этого распоряжения. В этом заявлении он не входит в разбор соображений профессора Дмитриева, которые, как он сам говорит, могли быть совершенно неосновательны, но протестует против недопущения ректором рассмотрения протеста профессора Дмитриева, вменяя, так сказать, в вину одному ректору такое распоряжение, которое усвоено Советом. Сверх того, профессор Чичерин осуждает в этом заявлении и действие ректора, обвиняя его в превышении власти, в стеснении прав Совета, в попытках низвести его на степень слепого орудия и безмолвного исполнителя приказаний начальства.

4. Совет университета, хотя и подвергнул, как объяснено в журнале 28 сентября 1866 года, заявление профессора Чичерина обстоятельному разбору, но в журнале 12 мая большинством 24 голосов против 5 постановил краткую резолюцию: «Бумагу, зачитанную профессором Чичериным, как явно несправедливую и оскорбительную

для ректора и Совета, возвратить г. Чичерину с надписью на оной сей резолюции».

Совет министра, сообразив все обстоятельства дела, считает нужным объяснить, что ректор, будучи только председателем коллегии, ни в одном из случаев, указанных профессором Чичериным, не мог действовать и не действовал единолично, по собственному произволу, но всегда совокупно с Советом и не иначе, как с его одобрения. Осуждение ректора за действия и распоряжения, которые он совершил в присутствии членов Совета, при выражении значительным большинством, а иногда и единогласно, полного их к этим распоряжениям сочувствия, Совет министра находит совершенно несправедливым и неуместным, и вполне сознает, что подобным заявлением г. Чичерина Совет университета мог почитать себя оскорбленным. Но, с тем вместе, Совет министра считает полезным обратить внимание, что хотя Совет университета и не был обязан, по несуществованию в общем Уставе университетов 1863 года положительного правила, изложить в протоколе подробно и обстоятельно все причины и основания, по которым он признал мнение профессора Чичерина несправедливым и оскорбительным; но исполнив эту, в существе своем весьма важную, а в данном случае, при взаимных пререканиях, даже необходимую формальность, Совет университета поступил бы и осторожнее и более согласно с общепринятым порядком составления протоколов, так как протоколы должны быть кратким и обстоятельным повествованием не только того, что решено присутствием, но изложением причин, по которым то или другое решение состоялось. Такое краткое и обстоятельное означение соображений Совета поставило бы г. попечителя округа, которому протокол представляется для рассмотрения, в возможность вполне ознакомиться с основаниями, принятыми Советом при обсуждении мнения профессора Чичерина, и затем от него зависело бы или оставить дело без дальнейшего движения или же дать ему надлежащий ход.

Что касается вопросов, разрешение которых г. попечитель Московского учебного округа признает необходимым, в видах предупреждения на будущее время недоразумений, подобных возникшим в Совете Московского университета, то Совет министра, принимая в уважение, что разрешение этих вопросов должно иметь применение и к другим университетам, полагал подвергнуть эти вопросы особому от настоящего дела рассмотрению, в связи с некоторыми другими, в разных университетах и в самом министерстве уже возникшими.

Г. Министр народного просвещения, соглашаясь вполне с вышеизложенным определением Совета министра, присовокупил, «что настоящим определением он признает дело о возникших в Совете Московского университета пререканиях по поводу избрания профес-

сора Лешкова на пятилетие и о обвинении г. ректора в противозаконных действиях совершенно оконченным».

При этом г. министр выразил уверенность, что в недрах Совета не найдется ни одного члена, который не поставил бы процветание Московского университета выше каких бы то ни было личных воззрений, и что со стороны членов Совета будут употреблены все усилия для восстановления в среде университетского Совета того единомыслия и единодушия, которые необходимы для поддержания заслуженного и всеми признаваемого достоинства Московского университета».

Итак, поднятые мною вопросы были найдены столь существенными и важными, что они рассылались для обсуждения во все университеты, а мне, поднявшему эти вопросы, не только не давалось ни малейшего удовлетворения, но я подвергался осуждению на основаниях бессмысленных и даже ложных, ибо в виду у меня были только действия ректора; ни по одному из этих вопросов не было постановления Совета, и не было ни малейшей причины, почему бы он мог считать себя оскорбленным! Кто был нравственно безобразнее, ученая кооперация или министерство?

Попечитель сообщил мне копию с бумаги министра. Я немедленно повез ее Соловьеву, куда созвал и других товарищей, которые действовали с нами заодно. После прочтения бумаги, Соловьев немедленно сказал, что нам не остается ничего более, как выйти в отставку. Присутствовавшие тут Бабст, Капустин Рачинский, Дмитриев и я, – единогласно выразили то же мнение. Действительно, после того как бумага была заявлена Совету, мы все шестеро порознь подали прошение об отставке.

После сцен, которых я был свидетелем, для меня это был желанный исход. Но для других, в особенности для Соловьева, это был подвиг. Соловьев был человек с весьма небольшими средствами, обремененный семейством. Он и материально, и нравственно был связан с университетом, которому он отдал всю свою жизнь. К тому же он к делу вовсе был непричастен; из Петербурга он вернулся, когда в Совете все было кончено. При всем том, он не считал для себя возможным оставаться в университете при таком вопиющем нарушении всякого закона и всякой справедливости. Этот благородный человек ни единой минуты не поколебался пожертвовать всем для долга чести и совести. Столь же мало колебались и другие.

Подавши в отставку, мы сочли нужным написать министру письмо с изложением причин, заставивших нас сделать этот шаг. Копию с этого письма мы распространили в Москве и в Петербурге. Оно было следующее:

«Милостивый государь, граф Дмитрий Андреевич. Решение вашего сиятельства по делу о возникших в Московском университете

пререканиях вынудило нас подать в отставку. Считаем долгом объяснить вам в частном письме, почему мы не можем долее оставаться в университете.

В одобренном вашим сиятельством заключении Совета министра признается, что «профессор Дмитриев имел право на основании 78-й ст. Свода законов основных войти с представлением в Совет университета о неправильности утверждения профессора Лешкова бывшим министром народного просвещения». Но профессор Дмитриев осуждается за то, что он хотел сделать свое представление после того, как решение министра было уже принято Советом к сведению и надлежащему исполнению. Между тем, это осуждение основано единственно на неверном представлении фактов. Каждый член каждого коллегиального учреждения имеет неотъемлемое право при решении всякого рода дел высказывать свое мнение и, если большинство голосов оказывается против него, представить свое мнение письменно. Бумага эта заслушивается и затем, если другие члены остаются при своих мнениях, заносится в протокол. Соблюдение этого, установленного законом и признанного всеми, порядка – вот единственное, чего мы домогались с самаго начала и в чем нам постоянно отказывалось. Профессор Дмитриев поступил совершенно сообразно с этими правилами. Он хотел высказать свое мнение не после принятия бумаги министра к исполнению, а при самом ее чтении в заседании Совета; но ему тут же было предложено представить свое мнение письменно. Он на это изъявил согласие. Но когда он в следующее заседание хотел прочесть свою бумагу, чтение это было сначала отложено, а потом и совершенно устранено решением ректора. При этом высказано было не основанное ни на каком законе требование, чтобы письменные мнения членов представлялись ректору на предварительный просмотр, чего никогда не водилось в университете. Ни ректор для самого себя, ни Совет для своего председателя не имеют права собственной властью устанавливать новые права. Получив отказ, профессор Дмитриев объявил, что изложит свое мнение словесно; но и это не было допущено ректором. В этих действиях ректора мы не могли не видеть вопиющего нарушения свободы мнений в Совете. Если бы это было даже решение целого Совета против одного члена, то оно все-таки было бы беззаконием. Никакая коллегия не имеет права заглушать голос своих членов и устранять их мнения. Она может с ними не соглашаться, но она должна их выслушивать. Профессор Дмитриев в этом случае не только действовал в пределах своего права, но исполнял возложенную на него законом обязанность. Всякий член коллегии обязан указывать на то, что он считает законным, и представлять о том, что он считает незаконным. Этим ограждается и собственная его ответственность. Между тем, решением вашего сиятельства осуждается

член Совета именно за исполнение своей обязанности и оправдывается очевидное нарушение общих правил относительно подачи голосов. Этим уничтожается свобода мнений в Совете, и мы лишаемся возможности действовать на почве права и исполнять свои законные обязанности. В утвержденном вашим сиятельством заключении Совета министра сказано далее, что распоряжение ректора было одобрено Советом тем, что большинство против этого не протестовало, а профессор Чичерин осуждается за то, что он, с своей стороны, представил протест и при этом поставил в вину одному ректору то, что было усвоено Советом. Но в русских законах существует один только способ решения дел в коллегии: подача голосов, которая заносится в протокол. Решение дел посредством молчания – совершенно новый способ, который не мог быть известен профессору Чичерину, так как он в законах не значится. Протестующий имел перед собою одно только юридически существующее решение ректора, а потому имел право представить только о неправильности этого решения. Далее, в том же заключении Совета министра сказано, что «ректор, будучи председателем коллегии, ни в одном из случаев, указанных профессором Чичериным, не мог действовать и не действовал единолично, по собственному произволу, но всегда совокупно с Советом и не иначе, как с его одобрения. Осуждение ректора за действия и распоряжения, которые он совершил в присутствии членов Совета, при выражении значительным большинством голосов, а иногда единогласно полного к этим распоряжениям сочувствия, Совет министра находит совершенно несправедливым и неуместным и вполне сознает, что подобным заявлением г. Чичерина Совет университета мог почитать себя оскорбленным». Такое изложение дела опять противоречит тому, что действительно было и что значится в протоколах. Ни по одному из пунктов, указанных профессором Чичериным, не было решения Совета ни единогласного, ни значительным большинством голосов. Следовательно, на этом основании Совет не мог считать себя оскорбленным. Но даже, если бы действия ректора были одобрены Советом, то профессор Чичерин, считая их незаконными, имел не только право, но и обязанность сделать о них представление. Каково бы ни было большинство Совета, оно не имеет права нарушать закон и стеснять свободу мнений даже самого незначительного меньшинства. Всякий член, когда он считает те или другие действия председателя или самой коллегии противными закону, обязан об этом представить, и никто не в праве оскорбляться таким исполнением законной обязанности. Вопросы о правах ректора, возбужденные профессором Чичериным, были сочтены даже вашим сиятельством до такой степени сомнительными и важными, что они рассылаются для обсуждения по всем университетам; а, между тем, профессор Чичерин осуждается за возбуждение этих самых

вопросов. Его мнение объявляется несправедливым и неуместным. Подобным осуждением, основанным притом на мотивах, несогласных с фактами, члены Совета опять лишаются возможности исполнять свои законные обязанности.

Сочтя себя оскорбленным бумагою профессора Чичерина, Совет университета определил возвратить ему его мнение с надписью. Присутственные места поступают таким образом с посторонними просителями, когда находят их просьбы неуместными и неприличными; но никакой закон Русской империи не дает подобного права никакой коллегии относительно собственных членов. Г. попечитель Московского учебного округа объявил это определение незаконным и назвал подобное действие самоуправством. Решение вашего сиятельства узаконивает это новое право. Совет осуждается лишь за то, что он не изложил подробно мотивов своего решения, хотя и это изложение ваше сиятельство считаете, в сущности, необязательным для Совета. Этим узакониванием неведомого дотоле права опять уничтожается свобода мнений в Совете. Имея в руках такое оружие, большинство коллегии всегда может не только устранить неприятные ему суждения, но и в этой форме подвергнуть наказанию члена, который осмеливается поднять голос против происходящих в Совете злоупотреблений. Совет московского университета, раз решившись на такую меру, пошел далее по этому пути. Профессору Чичерину возвращена была и другая бумага, в которой он, соглашаясь с предложением г. попечителя, считал неправильным удержание ректором мнения профессора Захарьина по поводу избрания доцента Зайковского. Это мнение было принято в Совете, но не представлено начальству, как требует Устав. Совет, с одной стороны, признал требование г. попечителя законным, ибо решил впредь посылать ему все отдельные мнения членов, с другой стороны признал правильным и удержание г. ректором мнения профессора Захарьина. Но профессор Чичерин, пользуясь законным своим правом, объявил, что не может с этим согласиться и подаст об этом особое мнение. И эта бумага была возвращена ему, как оскорбительная для ректора и Совета.

Наконец, вашему сиятельству не угодно было обратить внимание на дальнейший ход дела. Мнение профессора Чичерина было в самом заседании Совета названо доносом, о чем он просил занести в протокол. Профессор Никольский произнес речь, которую потом изложил письменно, с дополнениями. Эта бумага была такого свойства, что самое большинство не сочло возможным допустить прочтение ее в Совете; она была без огласки приложена к протоколу. В самом Совете произошла неслыханная и невообразимая сцена, о которой и вспомнить совестно. После этого профессор Чичерин, которому предстояло подать новую бумагу о неправильном удержа-

нии мнения профессора Захарьина, не решился прочесть ее сам в Совете, но послал ее к ректору с запискою, в которой объяснял, что делает это для того, чтобы не подать повода к новым оскорбительным выходкам. Эта записка была внесена г. ректором в Совет с тем, чтобы иметь повод сделать определения, которые бы заставили выйти из университета члена, осмелившегося поднять голос против действий ректора. Предлогом послужило выражение «оскорбительные выходки», употребленное профессором Чичериным в записке к ректору. Совет определил и внес в протокол, что профессор Чичерин употребил неприличное и непозволительное выражение. Затем большинство Совета решилось официально сделать заведомо ложное постановление, определивши, что в Совете не происходило ничего, что бы уполномочило профессора Чичерина употребить подобное выражение. Очевидно, профессору Чичерину оставалось или выйти немедленно из университета или представить все обстоятельства дела на суд начальства. Гражданский долг требовал не оставлять этого дела без попытки добиться восстановления правды и закона. И его просьба, и протоколы Совета, которые служат здесь документом, находятся в руках вашего сиятельства. Весь ход событий вам вполне известен. Между тем, вы не сочли нужным дать по этим обстоятельствам какое бы то ни было решение и объявили все дело поконченным. На это мы не можем смотреть иначе, как на отказ в правосудии. После этого никакой член Московского университета, как бы ни нарушались его права, каким бы он ни подвергался оскорблениям, не может надеяться найти защиту и законное удовлетворение от начальства. Большинство может все себе позволить и на него нет ни суда, ни расправы. Безнаказанность и в этом случае принесла уже свои плоды: в Совете, после того, происходили новые выходки, которые повели к форменному протесту десяти членов против нарушения приличия, протесту, разумеется, столь же бесполезному, как и все предыдущие. Для личности членов в Совете нет никакой гарантии.

Таким образом, в Совете Московского университета произошел целый ряд незаконных действий, поводом к которым послужило незаконное решение бывшего г. министра народного просвещения. Действия эти имели целью устранить голос меньшинства и уничтожить свободу мнений в Совете. Когда меньшинство решилось протестовать, протест его хотели заглушить скандалом. Когда же оно обратилось к начальству, то нашло сперва заступника в лице г. попечителя Московского учебного округа, но Совет упорно отказывался принимать предложение г. попечителя, и дело дошло, наконец, до вашего сиятельства. Теперь же, вместо того, чтобы получить защиту и законное удовлетворение, меньшинство Совета осуждается за то, что исполнило свои законные обязанности. При таком порядке

вещей для нас нет возможности оставаться долее в университете. Действовать в каком бы то ни было учреждении с сохранением своего нравственного достоинства можно только при двояком условии: чтобы соблюдались закон и приличие. Тогда все разногласия становятся безвредными. Но когда то и другое нарушается явно и безнаказанно, когда подчиненные не находят защиты против злоупотреблений, тогда им остается один исход: удалиться. Не личные воззрения, а долг и совесть требуют, чтобы мы оставили учреждение, с которым мы связаны воспоминаниями своей молодости и которому мы посвятили лучшие годы своей жизни. Ваше сиятельство делаете воззвание к единомыслию, которое должно господствовать в университете; но желательно только единомыслие во имя нравственных начал. Оно одно в состоянии поднять достоинство университета и принадлежащих к нему профессоров».

Это письмо было писано мною и подписано всеми подавшими в отставку профессорами, за исключением Дмитриева, который в это время получил по болезни заграничный отпуск, и, подавши прошение об увольнении, уехал сперва в Петербург, где он следил за ходом дела, а потом в чужие края.

Вместе с нами просил увольнения и попечитель. С ним была сыграна еще более удивительная штука. Очевидно, бумагою министра авторитет его подрывался в самом корне, и он выдавался всецело своим подчиненным. Рьяный защитник начала власти, граф Толстой не колебался топтать ее в грязь, когда это требовалось личными его интересами. Но этим дело не ограничилось. После прочтения бумаги в Совете, Леонтьев стал рассказывать, что это еще не все: попечитель должен получить выговор за сделанное им Совету замечание. Встретив Левшина, я спросил его: правда ли это. Он отвечал, что никакой другой бумаги не получал. Но несколько дней спустя я встретил его вновь. «Представьте, – воскликнул он, – ведь я выговор получил. Леонтьев знал это заранее».

Бумага министра к попечителю была следующего содержания:

«Конфиденциально.

Милостивый государь, Дмитрий Сергеевич, по поводу сделанного вашему превосходительству Советом Московского университета представления на предложение по делу профессора Чичерина, вы, милостивый государь, признали нужным объявить Совету университета замечание.

Нисколько не желая ограничивать власть попечителя в тех чрезвычайных случаях, в которых попечитель, на основании 26-й ст. университетского Устава, уполномочен действовать всеми способами, хотя бы они и превышали его власть, я считаю однако необходимым покорнейше просить Вас, милостивый государь, на будущее время в случаях, подобных настоящему, сообщать мне предварительно о ва-

ших предположениях. К сему я побуждаюсь тем соображением, что при скорости почтовых сообщений между столицами от некоторого, впрочем, весьма непродолжительного промедления едва ли могут произойти весьма существенные неудобства и упущения времени в тех случаях, когда событие не принадлежит к числу тех, для предупреждения или для прекращения которых необходимо принять неотлагательно чрезвычайные меры. Примите и пр. Гр. Д. Толстой».

Таким образом, попечитель получил замечание за бумагу, которая была одобрена самим министром. Впоследствии, князь Владимир Андреевич Долгорукий рассказывал мне, что он спрашивал у графа Толстого: правду ли говорит Левшин, будто он читал ему ту бумагу, за которую он получил замечание. «Может быть, – отвечал Толстой, – я пропустил ее мимо ушей».

Очевидно, Левшину невозможно было далее оставаться на своем месте. Он просил меня, по его указаниям, написать ему два письма, одно к графу Толстому в ответ на бумагу, другое к военному министру с просьбою о переводе в Комитет раненых. Вот эти два документа, которые и были посланы по принадлежности.

«Милостивый государь, граф Дмитрий Андреевич. На письмо вашего сиятельства от 2 февраля 1867 года за № 26, честь имею объяснить следующее:

Замечание, которое я поставлен был в необходимость сделать Совету Московского университета, было вызвано вовсе не представлением Совета на мое предложение по делу профессора Чичерина, а нарушением в Совете законного порядка и превышением данной ему власти. Это и было выражено мною следующими словами: «что по-прежнему я остаюсь при убеждении, что Совет в отношении к одному из своих членов действовал неправильно и в решении своем по его делу вышел из границ предоставленной ему власти, и что вследствие этого я не считаю себя в праве оставить без внимания какое-либо отступление от порядка в подведомственных мне учреждениях, и к крайнему моему неудовольствию, вижу себя вынужденным сделать по указанному обстоятельству замечание университетскому Совету».

Указавши на истинную причину, послужившую поводом к сделанному мною замечанию, я должен предположить, что вашему сиятельству были неправильно доложены бумаги.

Далее, в письме своем вы изволите говорить, что не желаете стеснять власти попечителей в тех чрезвычайных случаях, когда они, на основании 26-й ст. университетского Устава, уполномочиваются действовать всеми способами, даже превышая свою власть; но что в случаях, подобных настоящему, я должен предварительно сноситься с вашим сиятельством. Из этих слов я усматриваю, что в настоящем

случае вы считаете мою власть превышенною. На это считаю долгом объяснить, вашему сиятельству, что на этот раз я не имел даже нужды прибегать к присвоенному мне упомянутой 26-й статьею праву действовать с превышением власти, а поступил на основании той же 26-й ст., которая вменяет попечителю в обязанность принимать все нужные, по его усмотрению, меры, чтобы принадлежащие к университету места и лица исполняли свои обязанности. Замечание, сделанное за отступление от законного порядка, есть самая легкая степень взыскания, которое может быть наложено начальником на подчиненных. Ст. 216-я II тома Свода законов, где излагаются различные виды дисциплинарных взысканий, присваивает право делать замечания прямо непосредственному начальнику. Без этого власть попечителя обращается в ничто, и он лишается возможности наблюдать за порядком в подведомственных ему заведениях, как требует от него закон. На основании 3 п. 262 ст. того же II тома Свода законов, я имею право сделать Совету даже выговор. А так как эти права присвоены мне законом, и, ваше сиятельство, вероятно, не желаете стеснять власти попечителей и в обыкновенном ходе дел, то я опять должен предположить, что все дело было предоставлено вам в превратном виде.

Письмо вашего сиятельства, вместе с присланным вами решением по поводу возникших в университете недоразумений, тем более меня удивили, что в течение всего дела, в неоднократных разговорах, ваше сиятельство изъясняли мне свое желание, чтобы я покончил эту историю сам, в силу предоставленной мне власти, давши законное удовлетворение, кому следует. Считаю долгом напомнить вашему сиятельству, что, в недавнюю бытность мою в Петербурге, предложения мои Совету были читаны вам и получили полное ваше одобрение. Замечание же, сделанное мною Совету, было ничто иное, как последствие тех самых предложений, которые Совет отказывался принять к исполнению. Достоинство вверенной мне власти не позволяло мне останавливаться на этом. Как начальник, я должен был настаивать на своем решении и имел, несомненно, право надеяться, что получу от вашего сиятельства полнейшую поддержку. Имея в виду и достоинство власти попечителя, и требование законного порядка, и наконец пользу вверенного мне учреждения, я не могу не считать этого нового, совершенно неожиданного для меня поворота дел в высшей степени прискорбным.

В заключение, не могу не выразить сожаления о том, что содержание конфиденциальных писем вашего сиятельства становится известным в Москве, прежде нежели я их получаю».

Письмо к военному министру* было следующее:

* Милютин Дмитрий Алексеевич.

«Милостивый государь, Дмитрий Алексеевич! Обращаюсь к вашему высокопревосходительству с покорнейшею просьбою, как к ближайшему начальнику по военному ведомству, к которому я имею честь принадлежать.

В прошлое лето расстроенное мое здоровье заставило меня думать об оставлении настоящей моей должности и о приискании более спокойного места для окончания моего служебного поприща. Я тогда же хотел обратиться с этим к вашему высокопревосходительству. Но неожиданно возвратившиеся силы побудили меня отложить это намерение. Я не хотел, без крайней нужды, оставить место, на которое я был призван не по собственному моему желанию, а волею государя императора. Сорокасемилетняя моя служба может свидетельствовать о том, что я никогда не отказывался исполнять возлагаемые на меня обязанности. Но ныне нравственные причины первостепенной важности заставляют меня выйти из Министерства народного просвещения. Позвольте мне объяснить вам вкратце, в чем состоит дело.

Еще весною прошедшего года в Совете Московского университета произошли между членами и ректором взаимные пререкания, которые сопровождались отступлением от законного хода дел и даже некоторыми беспорядками. Профессор Чичерин, который входил в Совет с представлением о том, что он считает незаконными действия ректора, обратился ко мне с просьбой рассудить дело. Его поддерживали некоторые из достойнейших профессоров университета. Я нашел, что ректор и Совет в данном случае поступили неправильно, и решился дать законное удовлетворение обиженному, основываясь в своих действиях на университетском уставе, который уполномочивает попечителя принимать все нужные по его усмотрению меры, чтобы подведомственные ему места и лица исполняли свои обязанности. В это время г. министр народного просвещения приехал в Москву. Я неоднократно с ним беседовал об этом деле; главные документы были ему известны; он сам говорил с обеими сторонами. Познакомившись с делом, г. министр выразил мне желание, чтобы я, во всяком случае, покончил его собственною властью, и именно в том смысле, в каком я предполагал. При этом он прибавил, что следует дорожить людьми, которые составляют цвет университета. Уверенный в поддержке начальника, я в сентябре месяце прошедшего года послал в Совет предложение, в котором изъяснял, что считаю действия его относительно профессора Чичерина неправильными. Совет отвечал мне отказом принять мое предложение к исполнению. Это побудило меня написать более настойчивую бумагу, и на этот раз я мог надеяться, что все дело будет покончено. Я сам в эту пору, по случаю бракосочетания государя наследника, ездил в Петербург, читал министру и свои бумаги и ответ Совета и

получил от него полное одобрение моих действий. В то же время в Петербурге находился и ректор Московского университета. Я сказал министру, что одного его слова ректору будет достаточно, чтобы прекратить неуместные пререкания между подчиненными и начальником, и г. министр обещал, что это слово будет сказано. По возвращении ректора из Петербурга, Совет отвечал мне новым отказом. Достоинство вверенной мне власти не позволяло мне останавливаться на этом. Я сделал Совету замечание о неправильности его действий, сказал, что считаю неуместным вступать с ним в полемику и объявил все дело поконченным. Немедленно я донес об этом министру, причем препроводил и самое дело. Каково же было мое удивление, когда г. министр, с своей стороны, объявил новое решение, совершенно противоположное моему, им самим прежде одобренному, решение, вследствие которого шесть из лучших профессоров Московского университета немедленно подали в отставку. Самое замечание, сделанное мною Совету за отступление от законного порядка, было сочтено г. министром народного просвещения превышением власти! Что же такое после этого власть попечителя и какими способами может он исполнять возложенные на него законом обязанности? И если бы это решение было вызвано новыми, дотоле упущенными из виду обстоятельствами, оно было бы еще понятно, но ничего подобного нет. Тут очевидно действовали посторонние влияния и интриги, о которых я не хочу распространяться.

Из всего этого, ваше высокопревосходительство, можете усмотреть, что я просто был обманут и предан своим непосредственным начальником. Не могу скрыть от вас, что я глубоко оскорблен таким способом действия, подобного которому я не видел в течение своей многолетней жизни. Я думал, что моя почти пятидесятилетняя честная и усердная служба государю и отечеству дает мне право на большее уважение. Но еще больнее мне не за себя, а за участь вверенного мне учреждения, которое расстраивается удалением лучших его сил, и в котором водворяется торжество интриги и беззакония, как пример для воспитывающихся в нем молодых людей!

Собственное мое нравственное достоинство и унижение в моем лице попечительской власти не позволяют мне оставаться при должности, на которую я был призван доверием государя. Усердно прошу вас довести до сведения его величества об истинных причинах, почему я должен просить увольнения. Извините, что я решаюсь вас этим утруждать. Знаю, что это дело щекотливое. Но вы – мой ближайший начальник, и других путей у меня нет. Зная вас, я надеюсь, что вы не откажете честному человеку, поседевшему на службе, который дорожит доверием своего государя и не желает, чтобы конец его жизни был омрачен представлением его действий в превратном виде.

В заключение, позвольте мне присоединить к этому еще одну просьбу. Я имел честь изъяснить вашему высокопревосходительству, что желаю кончить свое поприще на покойном месте. Если моя долголетняя служба и тяжелая рана, полученная в Турецкую кампанию, дают мне на это некоторое право, то я просил бы о назначении меня в Комитет раненых».

Последняя просьба была исполнена несколько времени спустя.

Между тем, наша отставка произвела шум. В жизни университета это было событие. Студенты волновались. Мы получали письма и адресы, покрытые многочисленными подписями, с заявлениями сочувствия и с просьбою не оставлять университета. Пошли толки и в обществе, как в Москве, так и в Петербурге. Но в высших сферах дело принимало неблагоприятный для нас оборот. Нас выдал единственный человек, который мог нас поддержать и спасти любимый им университет от разгромления – граф Сергей Григорьевич Строганов.

Душою преданный общественному делу, граф Строганов никогда не входил в положение лиц. Едва ли в течение всей своей жизни он двинул пальцем, чтобы кому-либо оказать помощь или защиту. Для него люди были пешки, призванные служить общей пользе. К этому присоединялись податливость на лесть, непомерное самолюбие и упорство. Ловкому человеку не трудно было, подольстившись, опутать старика, и граф Толстой сделал это с обычною своею вкрадчивостью и бессовестностью, представив дело в совершенно превратном виде. Я уже прежде посылал графу Строганову внесенные мною в Совет бумаги и получил от него одобрение. Теперь я послал ему изложение всех обстоятельств, резко выражаясь насчет министерских действий. Соловьев писал ему, с своей стороны. Но он был уже задобрен министром, а входить в разбор юридических тонкостей он был не в состоянии. Все это казалось ему ничтожными пререканиями, которыми надобно жертвовать для пользы университета. Я получил от него письмо, в котором он писал, что, рассылая поднятые мною вопросы для обсуждения по всем университетам, министр тем самым оправдывал нас в принципе, и что этим удовлетворением мы могли бы довольствоваться, так как в интересах университета надобно было отложить в сторону всякие личности. «Покидая профессуру (sic!), Вы и Ваши товарищи наносите смертельный удар цивилизации нашей общей родины, Вы приносите в жертву целое поколение студентов и принимаете на себя громадную моральную ответственность; перед такой перспективой – нет места сомнению; если я требую от Вас нового доказательства гражданской доблести, то это потому, что я верю в будущее и в Ваши таланты, для выполнения великого и дорогого для нас всех дела возрождения»*.

* Текст письма приведен в подлиннике по-французски.

Меня это письмо возмутило. Если он действительно так дорожил приносимою нами пользою, то надобно было нас оградить от оскорблений и сделать пребывание в университете возможным для порядочных людей. Одного слова графа Строганова было достаточно, чтобы правое дело было решено, как следует. Но вместо того, чтобы сказать это слово, он выдавал нас связанными по рукам и по ногам шайке негодяев, властвовавших в университете, и гнусному министру, который из личных видов оказывал им покровительство, и после этого он требовал от нас, чтобы мы пожертвовали и честью и нравственным достоинством для общественной пользы. Удар русскому просвещению, по его словам, наносили мы, уходя от невозможного положения, а не министр, который нас к этому принуждал. От нас требовалась добродетель, а от министра ничего. В этом смысле я написал ему ответ, прибавляя, что не иначе, как с сердечной болью приходится с ним расставаться, но другого исхода нет, после того как он вслед за министром отказывает нам в защите. Но когда я набросок этого письма прочел Соловьеву, он сказал мне: «Бросьте это! Старика совсем опутали; надобно ему простить за прежние его заслуги». Я разорвал письмо; но прежние сердечные отношения никогда не возобновлялись. Он считал меня беспокойным человеком, с которым ничего не поделаешь, а я увидел, что он под старость замкнулся для всех человеческих отношений и остался открытым только для потаенных путей. На графе Сергее Григорьевиче Строганове в значительной степени лежит вина в печальном исходе всей этой истории и в последовавшем затем падении Московского университета.

Дмитриев, остановившись в Петербурге, описывал мне подробно все тамошние толки и различные обороты нашего дела. Он был близок и ко двору Елены Павловны и к графу Строганову, по товарищеским отношениям к сыну, и к Исакову, и к Абазе, а потому хорошо был осведомлен обо всем, что говорилось и делалось. От 12 февраля он писал:

«Толков много самых разнородных. Наша отставка производит сильное впечатление. Это едва ли не единственный предмет разговоров. Все говорят, что Московский университет распадается, и в высших сферах об этом скорбят. Граф Толстой встревожен и не скрывает своего затруднения, но уверяет, что не мог поступить иначе. Он, кажется, поступил довольно ловко с своею бумагою, т. е. заручился заранее одобрением многих лиц. Едва ли даже она не была заранее читана государю. Несомненно, что он или говорил о ней наперед графу Строганову, или читал вчерне; но должно быть не всю, ибо мне показалось, что старик видел в ней вежливый выговор большинству. Строганов в большом недоумении. Твое письмо произвело на него сначала впечатление одного личного раздражения, и он от-

несся к нему неблагосклонно. Потом я видел его с глаза на глаз и старался объяснить ему наше положение. Он понял лучше, но, думаю, что ему надо писать еще и хладнокровнее. Ты не поскупился на выражения.

В публике толки разные. Многие, очень многие нас обвиняют, особенно потому, что дело известно только в общих чертах. Многие воображают, что мы требовали смены профессора, неправильно утвержденного Головниным, и сердимся на непослушание министра. Как Толстой рассказывает дело, можешь заключить из того, что он неоднократно беседовал о нем с Мухановым, который все-таки ничего верного не знал. Мне все толкуют, что мы забываем интерес университета. Я отвечаю, что положение между деспотическим большинством и выдающим министром невозможное, и что честному меньшинству остается только выйти, когда закон перестает его ограждать.

Нет сомнения, что нашей отставке будут стараться дать вид демонстрации. Этот характер, во что бы то ни стало, надо с нее снять. Коллективное письмо министру – мысль хорошая, особенно если его распространять в копиях. Но письма к государю не одобряю*. Это примется за жалобу и заставит сильнее клеветать на нас. Впрочем, если вы пошлете такое письмо, то располагай моей подписью, ибо в этом деле нельзя отделяться.

Толстой, кажется, ищет выхода. Глупый армянин Делянов уже говорил об этом с Победоносцевым и со мною; а Толстой, кажется, поручил Исакову разведать от меня. Я советовал послать путного и независимого человека разведать дело и решить его или ждать письма к министру (это я сказал конфиденциально). Исаков поразил меня и привлек своим огорчением. Он истинно привязан к университету. Думаю, что он может быть нам полезен. С ним будут очень советоваться.

Все это я говорю потому только, что люблю университет, и сердце как-то сжимается при разлуке с ним. Не хотелось бы предавать его в такие руки. Но сам за себя чувствую совсем другое. Не могу представить, как я ворочусь в среду дорогих товарищей. Так они мне омерзели, что, кажется, не буду смотреть на них равнодушно. Этот год, тяжелый для меня и в других отношениях, совсем испортил мои нервы... Ты не поверишь, в каком я грустном настроении духа. Даже путешествие нисколько меня не утешает. Мне и своего горя было вдоволь, а тут еще эта университетская история, которая и сердит меня и огорчает. В одном мы точно виноваты. Надо было знать заранее, что нас выдадут. На святой Руси нет союза прочнее личных интересов. Заметил ли ты нахлобучку Толстому от «Московских Ведо-

* Это предположение было нами оставлено. – *Прим. Б. Н. Чичерина.*

мостей», пока он медлил с отсылкой бумаги – статью о духовных училищах с похвалой Головнину и вчерашний их гимн справедливости и чувству законности нынешнего управления? Вот на чем держится Министерство народного просвещения!»

От 19 февраля Дмитриев писал:

«Ты, верно, уже знаешь, что министр народного просвещения точно так же понимает слова навыворот, как и ректор Московского университета. Это общая болезнь всего ведомства. Выражение: в частном письме навело Толстого на мысль внести ваше коллективное письмо в Совет министра. О логика тупоумия, усиленного бесстыдством! Разумеется, Совет министра остался неравнодушным к собственному осуждению. Он объявил, что за такое письмо стоит уволить без прошения. Толстой об этом рассказывал, чтоб удивлялись его великодушию.

Придать нашей отставке вид демонстрации не совсем, однако, удается. Императрица, говорят, сказала Толстому: «Ce sont pourtant des hommes de gouvernement. Ils ont soutenu l'autorité a l'époque des troubles de l'université»*. Граф Строганов, уговаривая меня, в обществе держит нашу сторону (?) и говорит, что нельзя выпускать таких людей. Исаков также стоит за нас усердно. Его письмо к Соловьеву я читал и сказал ему, что успеха не будет. Чего же ты хотел, кроме общих мотивов? Честные все против того, чтобы остаться в университете. Это письмо делает честь Исакову. У него к университету теплое чувство. В обществе толки самые разные. Я заметил, что особенно огорчаются отцы и матери. Одна дама, княгиня Гагарина, урожденная Дашкова, сказала на бале у графини Протасовой очень милую вещь: «Je suis toujours pour les minorités, parce que Intelligence n'est jamais en majorité»**. В бюрократии наша отставка понимается плохо. Академия – старая – нас бранит.

У великой княгини почти не было отношений к Толстому. Она видит его редко. Но она резко высказалась в нашу пользу и, может быть, это его смущает. С ним прямо она, кажется, не говорила.

Существует проект, приписываемый Толстому и, кажется, одобренный графом Строгановым, перевести всех нас в Петербургский университет. Толстой говорит, что надеется на вступление многих в другие университеты и радуется, что у него и там будут хорошие профессора. Отвечать на письмо он хочет по пунктам. Уведомь о его ответе.

Еще здешний слух. Говорят, на кафедру русской истории Толстой хочет пригласить Погодина. А редакция «Московских Ведомостей»

* «Это, однако, люди государственного ума. Они поддерживали власть во время университетских беспорядков».

** «Я всегда стою за меньшинство потому, что ум никогда не имеет большинства».

телеграфировала В. П. Безобразову, не хочет ли он на кафедру политической экономии. Кажется, он принимает.

Теперешняя версия нашей истории бьет уже не на демонстрацию, а на раздражительность ученых. Примирительная наружность Толстого и его благочестивая репутация дают вероятность его уверениям, что он действовал в видах соглашения. Но двух результатов мы положительно достигли: 1) многие заметили верноподданнические чувства Толстого к Каткову; 2) репутация глупости Баршева сильно распространилась. Этого не отвергает даже недогадливый армянин Делянов. Сей последний, с чужого голоса, все взывает к нашему патриотизму. Это, вообще, точка зрения, в которой нас осуждают. От нас требуют самоотвержения во имя высших начал. Любопытно, что никто не взывает к патриотизму министра. Видно, там он необязателен.

Знаешь ли, кто нам сильно повредил? – Щуровский. Он был здесь передо мною и прикидывался нейтральным. Едва ли он помог опутать графа Строганова.

Вашим письмом я не совсем доволен. C’est trop diffus, cela a trop l’air d’une recrimination*. Лучше бы посжатее, а конец сильнее. Но оно хорошо как краткая история.

А история все-таки кончится против нас».

Последнее письмо Дмитриева было от 6 марта, накануне его отъезда за границу.

«Самое главное, что я могу тебе сообщить, следующее: Толстой усердно рассказывает здесь, что он получил от профессоров очень дерзкое письмо, и указывает на тебя, как на автора. Это заставило меня внять совету великой княгини и написать ей по-русски письмо о нашей истории, более короткое, чем твое, и упирающее на главные пункты. Это письмо она передала императрице, которая показала его государю. Государь возвратил его со словами: «Письмо в сущности очень умеренное; мне приходило было на ум переслать его к Толстому, но потом я подумал, что это их личный взгляд, они смотрят на дело с своей точки зрения»**. Логика, как ты видишь, престранная. Я подумал сначала, что письмо не имело никакого успеха. Но великая княгиня уверяет, что именно эти слова свидетельствуют об успехе, или, по крайней мере, о хорошем впечатлении. По ее мнению, если бы письмо было отослано к Толстому, это доказывало бы, что дело предоставляется ему бесконтрольно. Письмо осталось у императрицы.

Но императрица не за нас, несмотря на ее разговор с тобою в декабре. После моего письма она перестала говорить, que nous

* Слишком расплывчато, слишком похоже на встречное обвинение.

** Слова государя приведены в подлиннике по-французски.

exagerons*, но повторяет, que Tolstoy est tres modere**. Великая княгиня сказала ей на это: «Если он такой умеренный, пусть назначит комиссию с участием Исакова для расследования дела»***. Та промолчала. Она, кажется, устраняется, чтобы не действовать против Толстого, который у нее в милости, но не совсем убеждена в его правосудии.

Другой интересный факт. Князь Василий Андреевич Долгорукий получил от брата письмо, в котором говорится, что студенты волнуются нашей отставкой. Это произвело опасения. Кажется, с этого времени поблек шуваловский проект – удержать всех, кроме нас с тобой, ибо де, мы рьяные. Впрочем, мои умеренные речи здесь поколебали и без того нескольких союзников Толстого: Муханова, Вяземского и т. д. Теперешний проект, по-видимому, состоит в отправлении весною в Москву графа Строганова. Об этом сильно говорят; но Строганов со мною секретничает, и я не нахожу политичным очень у него расспрашивать. Сегодня вечером я его увижу.

Надо тебе сказать, что в письме к великой княгине, выставив очень резко незаконность распоряжений Толстого, я особенно упирал на невозможность оставаться в университете без ограждения свободы мнений, и на то, что ее нельзя оградить иначе, как признав неправильность советского постановления. Упомянул вскользь и о сценах в Совете, сказав, что не смею утруждать рассказом об этих возмутительных происшествиях. Пусть Толстого спросят, что было.

Толстого все более и более тревожит мое пребывание здесь, особенно с тех пор, как в ответ на его уверения, что мы с тобой поджигаем других, ему говорят о моем умеренном тоне. Я думаю ехать завтра. Полагаю, что здесь нечего более делать».

Дмитриев несколько, впрочем, обманывал себя насчет впечатления, произведенного его умеренностью. Победоносцев говорил мне, что императрица отзывалась о нем: «C'est un vil intrigant!»****. Граф Толстой представлялся ангелом чистоты, а Дмитриев, который стоял за самые элементарные требования справедливости, обзывался гнусным интриганом. Таков непроходимый туман, господствующий в высших сферах, что все в нем чудится навыворот. Всех нас представляли красными революционерами, и этому верили. На этот счет я имел сведения от баронессы Раден. Она писала мне от 2 апреля.

«У меня перед глазами Ваши оба письма, и я не могу удержаться от чувства грусти. Итак, судьба университета решена по всем правилам, и его разрушение с точки зрения науки подписано и запротоко-

* Что мы преувеличиваем...

** ...что Толстой очень умеренный человек.

*** В подлинике по-французски.

**** Это гнусный интриган!

лено. Подумал ли хоть один из тех, кто способствовал этому плачевному результату, о том моральном зле, какое он делал. Но что значит совесть для некоторых характеров. Разве она не подчиняется неизбежному ослеплению, по мере того, как личное самолюбие все сильнее овладевает человеком. Граф Толстой даже похудел, но добился-таки того, что все вы, выдающиеся консерваторы, люди, что там ни говори, государственного ума, каждый из которых мог бы сыграть убежденно роль Руэ, вы все запятнаны мятежным либерализмом; на вас глядят, как на жирондинцев в зародыше (Girondins en herbe), как на красных, бедные мои друзья. Мне это было бы совершенно безразлично, и я принимала бы с одинаковым хладнокровием медовосладкие и уклончивые суждения князя Урусова и умеренную брань (invectives moderees) графа Толстого (императрица восхищается его умеренностью) и краткие и, с Вашего позволения, холопские сентенции графа Строганова, если бы такой образ мыслей в высших сферах не доказывал вавилонского смешения понятий. Я не могу не волноваться. Ведь это не просто опыты вивисекции; оперируют над живым человеческим мясом, режут нервы, от которых зависит будущность России»*.

Враги правительства, разумеется, потирали себе руки, видя как консерваторы попались впросак и на своих боках почувствовали всю прелесть той власти, которую они защищали. Казалось бы, при скудости наших умственных сил, при расшатанности общества, при том хаосе понятий, который в нем водворился, – надобно было, как зеницей ока, дорожить тем маленьким ядром мыслящих и крепких в своих охранительных убеждениях людей, которое случайно образовалось в Московском университете; а, между тем, правительство само, без зазрения совести, разбивало это ядро и рассеивало его по ветру, отдавая бренные плоды русского просвещения на жертву грязной сделке между министром и журналистом. Результат был тот, что всякий разумный консерватизм исчез, нигде не находя опоры. На место его выдвигалась наглая реакция, журнальная в лице Каткова и чисто бюрократическая в лице графа Толстого. Оба на развалинах Московского университета заключили между собою союз.

Не доверяя одностороннему изложению дела, государь старался, однако, разведать о нем у людей беспристрастных; но, как обыкновенно бывает у царей, не одаренных высшим чутьем, делал это совершенно невпопад. Лет десять спустя, легонький член Государственного совета Борис Павлович Мансуров, который при Головнине был директором Департамента народного просвещения, а с назначением Толстого оставил свое место и проживал в Москве, сам рассказывал мне, что, приехавши в это время в Петербург, он отпра-

* В подлиннике письмо приведено на французском языке.

вился представляться во дворец. Государь спросил его, как приезжего из Москвы, что он знает об этом деле и каково его мнение? Тот, не обинуясь, отвечал, что мы, разумеется, виноваты, ибо мы восстаем против большинства: если большинство решило, то надобно повиноваться. Сей государственный муж, прошедший всю бюрократическую лестницу и достигший высших почестей, по-видимому, не подозревал, что большинству не все дозволено, что свобода мнений меньшинства везде ограждается, и что на это существуют положительные законы Русской империи, в пределах которых каждый обязан действовать. Мы, конечно, сделали промах, тем, что не заботились о распространении истинных понятий об университетских событиях в московском обществе; но кому могло прийти в голову, что государь будет допрашивать Бориса Павловича Мансурова, и что Мансуров, с невероятным легкомыслием, выскажет ему мнение о деле, о котором он не имел ни малейшего понятия? Со стороны Толстого не последовало никакого ответа на наше письмо; это было слишком опасно. Но была сделана попытка к примирению, кажется, впрочем, только для вида.

Однажды на еженедельный вечерний прием к Соловьеву явился Калачов, и объявил, что Толстой поручил ему познакомиться с делом и постараться его уладить. Мы спросили: известна ли ему бумага министра, которая была причиною нашей отставки? Он отвечал, что нет. Ему прочли бумагу. Калачов, который был юрист, тут же воскликнул: «Да это нелепость!» Ему отвечали, что это не только нелепость, но вдобавок и ложь. Чтобы повернуть дело против нас, надо было что-нибудь сочинить; но умные головы Министерства народного просвещения не умели ничего придумать, кроме такого элементарного вздора, который мало-мальски опытному юристу кидался в глаза. И на основании этого чистейшего вздора нас осуждали, правительственные лица смотрели на нас, как на революционеров, и даже люди, подвизавшиеся на государственном поприще и занимавшие важные места, видели в нас бунтовщиков, ополчающихся против большинства! Таков был хаос понятий, среди которого приходилось жить и действовать. Посредничество Калачова не имело дальнейшего хода. Если бы он высказался против нас, то это бы, разумеется, раздули; но так как он понимал настоящее дело, то его просто устранили.

Окончательно вопрос должен был решиться с приездом государя в Москву по случаю бракосочетания наследника. В Москве пошли толки, что единственный выход из этой несчастной истории состоял в том, чтоб государь просил нас остаться. Попечитель жадно ухватился за эту мысль. Мне она была очень не по нутру. Отмена оскорбительных постановлений Совета была для меня вопросом чести, и я не думал, чтобы просьба государя могла служить достаточным

удовлетворением. Благороднее было бы даже пожертвовать личным делом общественному благу и пользе университета, не дожидаясь монаршего слова. Но я был не один. Другие мои товарищи не были в таком положении, как я; им подобный исход мог быть желателен. Поэтому я молчал, не предъявляя никаких требований и предоставив все ведение дела Соловьеву.

Со стен Кремля смотрел я на въезд, который был весьма неторжественный. Погода была мрачная и холодная; шел мокрый снег. Я видел в этом изображение наступившей для России поры реакции. Цесаревич созвал к себе всех бывших преподавателей своего покойного брата и своих. Это был знак сочувствия. О нашем деле не было сказано ни слова, но он старался быть по возможности любезен.

Во дворе был бал, на который приглашались по чинам. Поэтому я там не был, ибо чина не имел никакого. В университет я поступил исправляющим должность экстраординарного профессора, а по закону исправляющие должность не переименовывались в чин, соответствующий ученой степени. В таком бесчинном положении я остался и доселе, ибо, хотя, сделавшись ординарным, я был представлен, но вышел в отставку прежде, нежели я был утвержден.

На следующее утро, только что я проснулся, я получил радостную записку от Щербатова, который первый хотел известить меня о случившемся. Он писал, что на бале заявлена была просьба государя, чтобы мы остались в университете, что бывшие там профессора изъявили свое согласие, и что, таким образом, наше дело благополучно кончено. Меня, признаюсь, это покоробило. Вслед за тем я получил записку от попечителя с приглашением явиться к нему. Левшин рассказал мне, что он приступил к государю со словами: «Государь, спасите университет!» Государь сначала колебался, но затем спросил Левшина: уверен ли он, что мы не откажемся взять отставку назад? Левшин отвечал, что он не обратился бы к государю, если бы не был в том уверен. Тогда государь поручил ему сказать нам, что, хотя мы в этом деле виноваты но, так как некоторые из нас преподавали покойному наследнику, то он, в уважение к этим заслугам, просит нас оставаться в университете.

Итак, я не только не получил удовлетворения, но осуждался с высоты престола, подвергаясь при этом нравственному унижению, ибо я должен был вопросом чести жертвовать нехотя выраженному желанию осуждавшего меня государя. Мои товарищи могли изъявить согласие, ибо они находились совсем в другом положении; но я в собственных глазах считал бы себя виновным в раболепстве, если бы пошел на такую сделку. Но отказываться, и тем самым выдавать товарищей не было возможности. Я тут же решил оказать уважение воле государя и взять свое прошение назад, чем самым совокупное дело кончалось, и уничтожалась всякая солидарность; но затем я уже

мог действовать один и через полгода выйти в отставку. Так я и сделал. Но любопытно, что эти, по-видимому, столь простые и естественные рассуждения даже в самых близких мне людях не нашли поддержки и одобрения. Посторонние же видели в исходе этого дела какую-то одержанную нами великую победу. На Сокольничьем празднике, который дан был на второй или на третий день после бала, все с радостными лицами поздравляли меня, до такой степени в русском обществе слово государя считалось чем-то сверхъестественным, все покрывающим. Исаков даже рассердился, когда я сказал ему, что мы не только осуждены, но унижены, и что в этом положении я остаться не могу. В течение следующего полугодия меня со всех сторон уговаривали не покидать университета. Но я стоял на своем, могу сказать, один против всех, будучи убежден, что, жертвуя личным своим достоинством, я подал бы безнравственный пример молодым поколениям, которых я призван был руководить. Этого никто не в праве делать, и никакое преподавание не может вознаградить за такой недостаток нравственного чувства. Впоследствии мои друзья признали, что я был прав. Сам Соловьев сказал мне, что он жалел о том, что его сбили с толку, и он согласился остаться по просьбе государя: было бы гораздо лучше, если бы мы вышли все вместе. Действительно, подобные сделки дают только более силы торжествующей неправде. От этого у нас в России так мелки взгляды и так редки характеры.

Лично для меня это был наилучший исход. Никого не увлекая за собою, я выходил из среды, которая внушала мне омерзение и возвращался к независимой жизни и к любимым занятиям. Профессуру я покидал без сожаления. В сущности, я никогда не чувствовал к ней ни малейшего призвания. Я принял ее вследствие сердечных воспоминаний о проведенных в университете блаженных днях молодости и о тех людях, которые составляли его красу; я считал ее временно полезною для утверждения в науке, которую лучше всего изучаешь, когда ее приходится преподавать; но к самому преподаванию я не чувствовал никакой наклонности. Я рожден писателем, а не профессором. Постоянный монолог был мне всегда противен. Мне случалось иногда говорить с увлечением в общественных собраниях, где вопросы обсуждаются с разных сторон, и есть противники, которые смотрят на дело иначе. Но вечно говорить одному в виде поучения было для меня делом насилия над собою. Это не было свободное излияние мысли, а плод трудного приготовления. К этому присоединялось и то, что профессору приходится всякий год читать одно и то же, а повторение было мне всего ненавистнее. Не знаю, как делают другие, но я всегда чувствовал себя в самом неприятном положении. Обязанность заставляет читать студентам целую науку; но всю ее разом осилить нельзя: надобно обрабатывать ее по час-

тям. Поэтому приходится читать частью то, чего еще основательно не знаешь. К тому же читать по тетради каждый год одно и то же и самому неприятно и на слушателей производит нехорошее впечатление; а изменять изложение, единственно для того, чтобы не читать одно и то же, как-то глупо: это значит бросать время на совершенно бесполезный труд. Из этих затруднений я никогда не мог выпутаться и постоянно говорил своим друзьям, что я напишу руководство для студентов и затем выйду из университета; читать же двадцать лет одну и ту же науку я решительно не в силах. Судьба сократила этот срок и возвратила мне свободу, на что я вовсе не сетовал. «Вот Вы сразу достигли того будущего, о котором так мечтали, – писала мне баронесса Раден, – уединения в Карауле и литературного труда»*.

Но если я для себя лично не имел причин жалеть об исходе дела, то я не мог скорбеть о нем глубоко с общественной точки зрения. Я видел разложение любимого университета. Он, а с ним и судьба воспитывающихся в нем молодых поколений предавались на жертву господствующей грязи. Еще грустнее было думать о том положении общества, в котором возможны подобные явления. Это было уже не царствование Николая, когда невыносимый гнет подавлял всякий независимый голос. После освобождения крестьян, после всех совершенных реформ, обновивших всю русскую землю, при допущенной в ней широкой гласности, приходилось повторять стихи, писанные в самую темную пору прошлого царствования:

> В одной лишь подлости есть сила,
> В ней радость, слава, торжество**.

Самая свобода печати, к которой мы взывали, как к якорю спасения, служила орудием неправды. С целью приобрести поддержку влиятельного журнала, министр утверждал беззаконие и гнал честных людей. На что же было надеяться, когда и высшие сферы, и бюрократия, и журналистика, и первое ученое сословие в государстве все соединились, чтобы попирать ногами самые элементарные начала справедливости, закона и даже приличия? Я увидел, что России придется еще пройти через долгий путь, прежде нежели выработается что-нибудь порядочное из этого мутного потока, в котором могла найти обильную пищу только самая беззастенчивая ложь. Удалиться из этой смрадной атмосферы в тишину частной жизни и там, на досуге, заняться трудом, который мог бы служить материалом для будущего здания русского просвещения, такова была отныне моя цель.

---

* Слова баронессы в подлиннике приведены по-французски.

** Из пародии на стихотворение Шевырева, написанной самим Б. Н. Чичериным.

Осенью 1867 года я вернулся в Москву и возобновил свой курс, не посещая заседаний Совета. Но я не скрывал, что это полугодие будет последним. Я хотел, кончая курс, сказать несколько прощальных слов студентам; но университетское начальство приняло против этого свои меры. Накануне последней лекции, за несколько дней перед Рождеством, я получил неожиданное извещение, что все курсы закрыты, и чтения прекращены. Мне оставалось обратиться к своим слушателям письменно и проститься с ними заочно. Это я и сделал в следующем прощальном письме, которое я передал некоторым студентам, для сообщения остальным.

Прощальное письмо моим слушателям

Распоряжение университетского начальства, неожиданно прекратившее лекции ранее установленного срока, не позволило мне завершить свои чтения и проститься с вами, как преподавателю. Мы, надеюсь, встретимся еще на пути жизни, и встретимся добрыми друзьями, но на кафедре вы меня более не увидите. Жалею, что должен с вами расстаться, жалею, что не могу кончить начатого курса, но есть обстоятельства, когда требования чести говорят громче всяких других соображений. Честь и совесть не дозволяют мне долее оставаться в университете. Вы, мои друзья, еще молоды, вы не разучились ставить нравственные побуждения выше всего на свете. Поэтому, надеюсь, вы не будете сетовать на меня за то, что я прерываю свой курс. Я считаю себя обязанным не только действовать на Ваш ум, но и подать вам нравственный пример, явиться перед вами и человеком, и гражданином. Нравственные отношения между преподавателем и слушателями составляют лучший плод университетской жизни. Наука дает человеку не один запас сведений; она возвышает и облагораживает душу. Человек, воспитанный на любви к науке, не продаст истины ни за какие блага в мире. Таков драгоценный завет, который мы получили от своих предшественников на университетской кафедре. На ней всегда встречались люди, которые всегда высоко держали нравственное знамя. Теперь, покидая университет, я утешаю себя сознанием, что мы с товарищами остались верны этому знамени, что мы честно, по совести исполнили свой долг и не унизили своего высокого призвания. Желаю и вам крепко держаться этих начал и разнести доброе семя по всем концам Русской земли, твердо помня свой гражданский долг, не повинуясь минутному ветру общественных увлечений, не унижаясь перед властью и не преклоняя главы своей перед неправдой. Россия нуждается в людях с крепкими и самостоятельными убеждениями; они составляют для нее лучший залог будущего. Но крепкие убеждения не обретаются на площади; они добываются серьезным и упорным умственным трудом. Направить вас на этот путь, представить вам образец науки стро-

гой и спокойной, независимой от внешних партий, стремлений и страстей, науки, способной возвести человека в высшую область, где силы духа мужают и приобретают новый полет, таков был для меня идеал преподавания. Насколько я успел достигнуть своей цели, вы сами тому лучшие судьи! Во всяком случае, расставаясь с вами, я питаю в себе уверенность, что оставляю среди вас добрую память и честное имя. Это будет мне служить вознаграждением за все остальное.

Москва, 19 декабря 1867 г.

Со студентами я вообще был в самых лучших отношениях. Моя аудитория была всегда полна; многие ходили ко мне на дом за книгами и советами. Все толки об университетской истории и весть о нашей отставке они горячо принимали к сердцу. Еще в 1866 году, при самом начале пререканий, некоторые из выходящих юристов пожелали дать прощальный обед своим любимым профессорам: Бабсту, Капустину, Дмитриеву и мне. Это была дружеская беседа в тесном кругу. На следующий день мы все общей группой сняли свои фотографии. Теперь студенты всех курсов юридического факультета задумали дать мне прощальный обед. К ним присоединились и профессора, мне сочувствовавшие. Примкнули и мои старые университетские товарищи и друзья. Обед вышел многолюдный и сердечный. Помещаю здесь его описание, напечатанное в то время в «Русских Ведомостях» за подписью студента». Это будет последний из документов по этой печальной истории, единственный, который доставил мне некоторую отраду.

Прощальный обед Б.Н. Чичерину*

В пятницу, 26 января, мы давали прощальный обед нашему бывшему профессору – Борису Николаевичу Чичерину. Еще задолго до этого дня в университете разнесся слух о том, что наш многоуважаемый профессор, успевший в короткое время приобрести заслуженное уважение своей полезной деятельностью на кафедре и в литературе, – выходит по каким то обстоятельствам в отставку, не успев даже дочитать полного курса своим слушателям. Слух этот скоро был подтвержден печатно и мы не знали, чему приписать такое неожиданное удаление Бориса Николаевича из университета, которому он с усердием человека, понимающего всю важность взятой им на себя обязанности, честно посвящал в течение нескольких лет все свои силы и способности. Мы надеялись, что на последней лекции, которую Борис Николаевич должен был читать 19 декабря (последний день первого академического полугодия), по обычаю нашего универ-

* NB. 28 января 1868 года. «Рус. Вед.», 4 февраля, № 29. – *Прим. Б. Н Чичерина.*

ситета, он скажет нам несколько прощальных слов и уяснит ими хотя отчасти причины своей отставки. Но обстоятельства сложились так несчастливо, что нам не удалось послушать эту прощальную лекцию. Между студентами начали ходить всевозможные толки и, наконец, некоторые из нас решили отправиться к Борису Николаевичу за объяснением. Он счел долгом успокоить нас письмом, обращенным к студентам, в котором объяснил, что это не от него зависело. Убедившись в этом, мы решили заявить ему, по крайней мере, общее наше сочувствие, собравшись вместе на прощальном обеде.

Многие из прежних университетских товарищей Бориса Николаевича пожелали также принять участие в этом печальном пиршестве, и тотчас же около 180 человек послали ему приглашение на обед. Распорядителем мы выбрали профессора Федора Михайловича Дмитриева, так как нам известно было, что он находится в самых дружеских отношениях к Борису Николаевичу и примет, следовательно, живое участие в нашем намерении. Другим распорядителем обеда был П. Ф. Самарин, товарищ по студенчеству профессора Чичерина.

26 января мы все собрались в гостинице Лабади, где был назначен обед. Кроме студентов, в нем принимали участие следующие профессора: С. М. Соловьев, уважаемый нами профессор и историк, на глазах и под руководством которого воспитывалось не одно поколение в университете и в том числе Борис Николаевич, М. Н. Капустин, Ф. И. Буслаев, С. А. Рачинский, Ф. А. Слудский, В. И. Герье, Н. А. Попов, А. А. Дювернуа, Ф. Е. Корш. Из посторонних лиц участвовали в обеде многие бывшие товарищи Бориса Николаевича по университету, его друзья и знакомые. Из литераторов здесь находились: Ю. Ф. Самарин, Е. Ф. Корш, Н. Х. Кетчер, И. Е. Забелин, А. В. Станкевич и В. И. Сергеевич, недавно защищавший диссертацию на магистра государственного права, и одним из самых сильных оппонентов которого был Борис Николаевич.

Обед приготовлен был в зале артистического кружка. Около 5 часов приехал виновник пиршества и, только что он вошел, зал огласился аплодисментами и криками приветствия, которые провожали Бориса Николаевича до самого места, назначенного для него. Начался обед, вовсе не похожий на официальные обеды. Непринужденность, с которой держали себя обедавшие, живые разговоры, раздававшиеся непрерывным гулом по залу, – даже простой выбор кушаньев, – все это показывало, что дело не в обеде, а в том чувстве, которое одушевляло собравшихся и свело их в этот день, как старых друзей, несмотря на то, что большая часть из них не были даже знакомы между собою. Студент не стеснялся присутствием профессора и смотрел на него не как на начальника, а как на человека, пришедшего вместе с ним изъявить сочувствие их общему другу. Когда были

налиты бокалы, С. М. Соловьев обратился к профессору Чичерину с таким приветствием: «Борис Николаевич! Ваше профессорское поприще было кратко; но люди, которых вы видите здесь, пришли сказать вам, что в это короткое время Вы сделали много, и сделанное Вами забыто не будет. С горестью расставаясь с Вами, как с профессором, мы имеем утешительное убеждение, что не расстаемся с Вами, как с ученым; Вы не можете покинуть ученое поприще; Вы не имеете на это права; Вы не имеете для этого способности. Мы остаемся с Вами товарищами в стремлении к истине в науке и к правде в деле гражданском. Мы отпускаем Вас не на преждевременный отдых: от этих преждевременных отдыхов потеряно уже много сил, которые очень пригодились бы нашей России; отпускаем Вас с единодушным желанием, да поможет Вам бог продолжать Вашу сильную и многоплодную деятельность!».

Первые слова С. М. Соловьев говорил твердым голосом; но мало-помалу голос стал дрожать, и он окончил свою речь со слезами на глазах. Глубоко тронуты были слушавшие, видя, как этот заслуженный профессор, столько лет поддерживавший славу Московского университета, не мог скрыть своего чувства, прощаясь с одним из бывших учеников своих и товарищей по деятельности. Затем П. Ф. Самарин прочел следующее письмо кн. А. А. Щербатова: «Любезный друг Чичерин! Обстоятельства потребовали моего внезапного отъезда в Петербург. Грустно мне думать, что я не буду с тобой в тот день, когда твои друзья, товарищи и слушатели собираются вокруг тебя, чтобы выразить тебе свою любовь и уважение. Если бы я участвовал в сегодняшнем обеде, высоко я поднял бы бокал за твое здоровье, и от избытка сердца уста бы заговорили. Я бы сказал тебе многое и многое, и отвечаю, что не сказал бы ничего лишнего, ничего не сказал бы такого, что не исходило бы от чистого сердца, из убеждения. Я лишен этой возможности, но хотя отчасти хочу вознаградить себя, написавши эти строки, которые прошу кого-нибудь из присутствующих прочесть. Пусть мое слово, хоть к сожалению не живое, но искреннее и так и льющееся из под моего пера, будет услышано на твоем празднике. Мы оба с тобой не стары, но мы старые друзья: без малого 25 лет тому назад мы впервые сошлись с тобою на университетской скамье. От юношеских до теперешних наших лет много происходило с нами перемен; одно не изменилось: это наша взаимная дружба, основанная на взаимном доверии. И в радости, и в горе мы сочувственно протягивали друг другу руку и ободряли себя на житейском поприще. Искренно и долго любить можно только того человека, которого искренно уважаешь. Уважение – вот тот камень, на котором зиждутся самые прочные отношения между людьми, и это-то чувство, при 25-летнем испытании наших взаимных отношений, вполне и, можно сказать, навеки в нас выработалось. Наши попри-

ща деятельности были совсем различны. Не дано мне судить и оценивать твои заслуги науке; это я предоставляю другим; но я знаю одно, что при разрешении всех тех вопросов, которые жизнь задает человеку, ты являлся вполне честным человеком, а быть всегда и во всем честным человеком – это и есть задача человека. Честный человек будет и честным гражданином, на каком бы поприще судьба его не поставила – и ты был таковым. Если мне будет позволено заочно провозгласить твой тост, я желаю его выразить так: за здоровье честного гражданина Бориса Чичерина!»

По прочтении письма П. Ф. Самарин, много помогавший студентам в устройстве обеда, сказал от себя несколько дружеских слов: «Борис Николаевич, мы все, твои товарищи, присоединяемся к этому теплому привету. Собравшись на настоящем празднике, мы дорожим случаем, чтобы заявить тебе публично, что мы, твои товарищи, считаем всю твою деятельность, во всех ее проявлениях, безукоризненно честною».

В это время вошел профессор Н. А. Попов, который был в этот день присяжным заседателем в Окружном суде и потому опоздал на обед. Он прочел письмо от профессора А. Ю. Давыдова, не присутствовавшего на обеде по той же причине. Вот его содержание: «Находясь в настоящее время в Окружном суде присяжным заседателем, я, к сожалению, не могу принять участия в прощальном обеде, который дают Вам Ваши товарищи и ученики. Но я не могу не присоединиться к ним с выражением моей искренней печали о том, что несчастное для нас стечение обстоятельств вырывает Вас из среды нашей. Университет лишается одного из своих лучших деятелей, ученики Ваши – своего любимого наставника и, глубоко скорбя, прощаются с Вами Ваши товарищи, умевшие ценить Вас. Когда наставники, посвятившие лучшие годы своей жизни служению университету, оставляют его, нас утешает надежда, что они заменятся новыми, свежими силами; но когда удаляются молодые деятели, блистательно начавшие свое поприще, они уносят с собою наши лучшие надежды».

Затем начались прощальные речи студентов. Вот эти речи в том порядке, как они были сказаны. Первая речь была следующая: «Мы, студенты второго курса, еще недавно оставили школьную скамью и вступили в тот возраст, когда начинается сознательная жизнь, кладется фундамент будущих понятий и убеждений. Мы шли в университетские аудитории с затаенным чувством радости, с надеждами и ожиданиями всего нового и хорошего. Мы думали встретить здесь представителей мысли и правды, почтительные дружеские отношения к которым должны были на нас благотворно подействовать, и наши представления о семье университетской осуществились, и мы нашли таких людей. Само собою разумеется, что мы привязались к

ним всем сердцем, что нам дорого было каждое их слово. Как же должно быть грустно и тяжело нам, Борис Николаевич, в лице Вашем расставаться с одним из своих лучших, дорогих преподавателей! Мы только что успели понять и оценить Вас, и уже должны прощаться с Вами, и это тем более горько нам, что в Вас мы лишаемся и незаменимого профессора, и человека всегда готового протянуть нам опытную руку для нравственной помощи. Не в наших силах удержать Вас, хотя для этого можно многим пожертвовать. Нам остается выразить Вам горячую благодарность, пожелать Вам всего, всего лучшего и смело сказать, что то короткое время, когда Вы были с нами, навсегда останется в нашей памяти».

За этой речью следовала другая, столько же прочувствованная: «Вы нас оставляете! Юридический факультет теряет в Вас одного из лучших своих представителей; но бесспорно, что второй курс, к которому принадлежу и я, живее всех чувствует эту потерю, так как на нашу долю выпало лишиться любимого и уважаемого профессора, пройдя с ним только половину курса. Но не только профессора – мы лишаемся в Вас и друга, готового всегда и словом и делом помочь нам. Несмотря на это, Борис Николаевич, между нами нет никого, кто бы по совести решился упрекнуть Вас за Ваш выход, так как мы убеждены, что без особенно важных причин Вы не оставили бы нас на полдороге. Ваше преподавание, спокойное и беспристрастное, останется всегда в нашей памяти, и Ваше пребывание в университете составит одно из лучших наших воспоминаний о нем».

Затем следовали речи студентов старших курсов, несколько лет слушавших профессора Чичерина: «Борис Николаевич, было время, когда в университете преобладали патриархальные отношения. Они выражались в тесной связи слушателей с преподавателями и в духе единства между студентами. Это доброе, старое время имело, конечно, свои недостатки. Так, патриархальные отношения к профессорам и университетскому начальству доходили иногда до крайности, до смешного. Случались разные школьнические проделки с начальством, а дух единства между студентами принял, особенно в последнее время его существования, одностороннее и ложное направление, которое привело, наконец, к несчастной катастрофе 1861 года. Всякому известно, какое влияние имело это событие на университет. Прежний дух единства между студентами исчез, и вместе с тем явились новые отношения студентов к университету: отношения чисто формальные. Разъединившись между собою, студенты стали и к преподавателям своим в самые натянутые отношения. Профессора утратили возможность влиять нравственно на студентов и, следовательно, не могли выполнять всецело свое назначение. Винить, конечно, за такой порядок некого: виноваты обстоятельства, сложившиеся неблагоприятно; но во всяком случае студенты

лишились громадной доли пользы, которую они могли бы вынести из университетского образования при других отношениях. Потребность сблизиться опять чувствуется обеими сторонами. Вы, Борис Николаевич, принадлежали к числу тех уважаемых профессоров, которые деятельно стремятся восстановить прежние благотворные отношения. Для этого Вы не прибегали ни к каким искусственным мерам, а честным исполнением своих обязанностей внушили к себе полное доверие студентов. Слушая Ваши лекции, мы не только в содержании их находили себе руководство для самостоятельных занятий, но и по внешней отделке видим, что Вы положили не мало труда на исполнение своей обязанности. Отправляясь к Вам на экзамен, студент мог, соображаясь со своими познаниями, вперед безошибочно сказать, какую отметку Вы ему поставите. По сочинениям, поданным Вам и полученным от Вас обратно, видно, что и к этому нововведению Вы отнеслись не как к формальности, а как к мере действительно полезной. Нуждаясь в Ваших советах, всякий смело, без задней мысли, шел к Вам на квартиру. Наконец, если в Совете профессоров обсуждался какой-нибудь вопрос, живо затрагивающий наши интересы, мы были уверены, что Вы подадите голос за правое дело, не руководствуясь никакими посторонними соображениями. Одним словом, Вы не только Вашими знаниями приносили нам пользу в занятиях, но и оказывали вместе с тем благотворное нравственное влияние своею безупречною личностью и честною деятельностью. Прискорбно видеть, что обстоятельства заставляют подобных людей преждевременно покидать свое полезное дело; остается нам утешать себя тою уверенностью, что Вы можете влиять на нас благотворно и вне стен университета, посвятив себя деятельности более обширной».

Четвертая речь была такого содержания: «Выражать свои чувства к Вам в эту минуту было бы плеоназмом; факт, что мы собрались здесь за одним столом, как нельзя лучше доказывает глубокое уважение слушателей к своему любимому профессору, и если я прошу слова, то потому, что не могу, в последний раз прощаясь с Вами, не высказать беспредельной благодарности за лекции, которые всегда оставляли в слушателях истинное желание работать и трудиться. Да, Вы своим нравственным влиянием умели заставить нас забыть о пустых развлечениях и серьезно относиться к нашим занятиям. Но, к несчастью, кафедра опустела, и неизвестно кому быть Вашим преемником. А между тем, следующие за нами товарищи лишены того благотворного влияния, которым пользовались мы. Им не суждено воодушевляться тем живым, сильным словом, которое воодушевляло нас. Но хорошее семя посеяно. Нужно позаботиться о процветании благого дела, и я уверен, Борис Николаевич, что Вы не откажетесь поддержать дух трудолюбия, Вами в нас посеянный, не

откажетесь дать московским студентам руководительную нить к занятиям по своему предмету. Этим Вы удовлетворите искреннему желанию нашему, настоятельной нашей потребности и впредь быть руководимыми Вами и засвидетельствуете пред потомством о любви профессора к своим студентам. Благодарная же молодежь, будьте уверены, навсегда в стенах университета сумеет оставить твердую память о своих к Вам чувствах».

Пятая речь отличалась подробною оценкою университетской деятельности выходящего профессора: «Многоуважаемый наставник! Не всегда найдутся люди, способные вполне оценить те блага, которыми пользуются. Так и мы. Не один раз мы старались высказать Вам свои чувства, и, несмотря на это, замечание, которое я только что сделал, вполне верно. Только теперь каждый серьезно задумался над тем, что теряет он в Вас, и понял, чем Вы были для него. Сознавая перемену, происшедшую в его развитии и убеждениях, теперь каждый ясно, отчетливо видит, что эта перемена, результат Ваших чтений, глубока и плодотворна. Вот почему все мы и не только мы, будущие юристы, но и студенты других факультетов, не раз слушавшие Вас, так живо чувствуем свою утрату. Мы понимаем, как это отразится на наших менее счастливых преемниках. В самом деле, молодой человек, выходя из гимназии, разом освобождается от всякого контроля. В гимназии он занимается только потому, что его постоянно спрашивают, над ним тяготеет внешнее принуждение. В университете же все предоставляется его собственной воле. Я не говорю, чтобы такая свобода для студента была лишняя, но хочу только сказать, что поэтому самому здесь нужна другая сила, умеющая покорить себе молодые умы, покорить и направить их на лучшую дорогу. О том, что четыре года, проведенные в университете, самая важная эпоха в жизни человека – нечего и говорить. Можно наверное сказать, что тот, кто выйдет отсюда, не имея твердых и честных убеждений, не приобретет их во всю жизнь. Это ясно для всякого; это период, в котором развивается и крепнет умственная сторона человека, та благородная и возвышенная сторона, в силу которой мы уважаем и ставим человека выше всего, что есть на земле. Понятно, как необходим в этом периоде высокий руководитель. Россия нуждается в людях с твердыми и честными убеждениями; но такие люди вырабатываются не всякими наставниками. Конечно, никакой наставник не даст ума, если у слушателя его нет; но опытный руководитель сумеет пробудить и направить умственные силы питомцев. В отношении нас Вы были таким руководителем, до настоящего времени непосредственным, а далее, быть может, останетесь им при посредстве литературы. Вы сказали нам (в прощальном письме), что идеалом Вашего преподавания было представить образец науки строгой и спокойной, независимой от всяких партий, стремлений и стра-

стей, науки, способной возвести человека в высшую область, где силы духа мужают и приобретают новый полет. Вы хотели направить нас на этот путь. Без лести, ради одной истины, можно сказать, что Вы были к этому способны. Я не могу достаточно выразить той глубокой признательности, того глубокого уважения, которым мы проникнуты, произнося Ваше имя. Да, студенты могут сказать без лести: «Никто лучше его не умел внушить нам любви к истине, знанию и труду. В его широком воззрении на жизнь и историю мы находили смягчение односторонних и резких направлений, встречающихся в жизни». Вы убедили нас, что нет наук, более способных дать широкое и верное понимание прошедшего и настоящего, как юриспруденция и история. Вы и словом и примером показали, что верные и прочные воззрения добываются только упорным умственным трудом. Стоит взять любое из Ваших сочинений, и всякий, имеяй очи видети, увидит, как справедливы эти слова. И едва ли есть наука, изучение которой в такой степени смягчало эгоистические наклонности человека и поднимало его на высшую степень нравственности, как право и история, эти в высшей степени гуманные науки. Воздавая должное Вашему благотворному влиянию на нас, я не могу не обратиться мысленно к лику того высокого и благородного наставника, который приготовил и оставил нам такого руководителя. Пусть все, любящие истину, верно хранят в сердце своем память о Т. Н. Грановском!»

Последнее приветствие заключилось тостами. Вот оно: «От лица студентов третьего курса, представителем которых имею честь быть в настоящую минуту, изъявляю Вам нашу искреннюю признательность за согласие Ваше на этот прощальный обед. Он дает нам возможность хотя отчасти выразить то, что мы испытываем, что чувствуем, расставаясь с Вами. В последний раз собрались мы вокруг Вас, в последний раз имеем счастье видеть Вас в нашей студенческой среде. Вы, который с таким достоинством, с таким истинно-национальным духом в течение многих лет занимали кафедру государственного права, – Вы навсегда ее покинули; мы, Ваши слушатели, Ваши ученики, навсегда лишились талантливого профессора. Отныне 26 января 1868 года будет днем печальным для студентов нашего факультета. С этим днем будет соединено воспоминание, грустное воспоминание о бывшем профессоре Борисе Николаевиче Чичерине. Вы не ошибаетесь, Вы оставили среди нас добрую память и честное, незапятнанное имя. С этим согласятся и те, которые не сочувствуют Вашему направлению и Вашим идеям. Мы же, почитатели Вашего ума, таланта и красноречия, пьем за Ваше здоровье и желаем Вам жить долго, жить счастливо, на пользу русского просвещения, на славу русской науки».

Борис Николаевич, глубоко тронутый всеми этими искренними приветствиями, сказал в ответ следующую, полную чувства речь:

«Господа! Стану ли я говорить Вам, что я до глубины души тронут Вашим сочувствием и Вашим приветом?! Здесь, на прощальном пире, собрались люди близкие сердцу, и друзья моей молодости, и товарищи на общественном поприще, и то юношество, которому довелось мне посвящать свою деятельность. Здесь сошлись и старый университет и новый, и прошедшее и будущее.

Благодарю прежде всего за те теплые слова, которыми встретили меня товарищи моих студенческих лет. Слушая их, я переношусь в былое время, я вспоминаю наш старый университет, где мы все вместе воспитывались. Воздадим ему честь и хвалу на этом собрании людей, которые связаны университетской жизнью. В нем соединялось многое, что благотворно действовало на молодые умы; в нем были люди нерядовые. У нас был попечитель просвещенный, благородный, который всю душу свою положил на любимое дело, которому университет обязан всем, что сохранилось в нем хорошего до сих пор*. У нас был профессор, который представлялся нам идеалом нравственной чистоты и возвышенности мыслей. Для меня в особенности это имя заветное и дорогое; благодарю студентов за то, что они о нем вспомнили. Я был к нему близок и обязан ему большею половиною своего духовного развития. Когда я говорю об университете, для меня с ним неразлучна память о Грановском. Но были и другие, которых нельзя не помянуть добрым словом. И теперь, рядом со мною, сидит один из них, которого я в то время уважал, как своего профессора, и которого с тех пор, как товарища, я научился глубоко любить и почитать**. Вспомним и нашего старого инспектора, имя которого было синонимом доброты***. Да, действительно, в то время между университетским начальством и студентами господствовали патриархальные отношения: благодушное попечение, с одной стороны, веселое и беззаботное доверие, с другой. В то время и в обществе интересы науки были гораздо живее, нежели теперь. Практическая жизнь, политические стремления не отвлекали еще сил и внимания от умственных вопросов. Мы воспитывались в этой среде, не зная тех волнений, которые впоследствии внесли разлад в университетскую жизнь. И до сих пор мы храним, как драгоценное духовное достояние, благодарность тому учреждению, которое осеняло наши молодые годы. Если я вступил на кафедру, то главным моим побуждением было отслужить службу университету, отблагодарить его за то, что я провел в нем лучшую пору своей жизни.

* С. Г. Строганов.

** С. М. Соловьев.

*** И. Н. Красовский.

Переносясь в эти годы, я не могу не вспомнить того тесного, доброго товарищества, которое соединяло нас, бывших студентов. До какой степени оно было искренно и прочно, об этом свидетельствуют те старые друзья, которые собрались здесь в настоящую минуту. Нет связей более крепких, более заветных, как те, которые образуются в молодые лета, в стенах университета, в ту пору жизни, когда сердце человека настежь открыто для другого, когда чувство не успело еще очерстветь от житейских забот и разочарований, когда и настоящее и будущее представляются каким-то светлым праздником. Воспоминание о прожитых вместе годах юности навсегда соединяет людей; товарищеские отношения светлою струею тянутся через всю человеческую жизнь. И когда я здесь благодарю своих старых товарищей за их память и за их дружбу, я не могу не выразить сердечной, глубокой скорби о неожиданном отсутствии одного из них, человека, которого высокую честность, чье горячее участие к общественному делу Москва привыкла ценить. Вы слышали его письмо; мы с ним четыре года сидели на одной скамье, и с тех пор, в течение двадцатилетних самых близких сношений, я всегда находил в нем сердечное участие и добрый совет.

Господа! Я увлекаюсь воспоминанием о прошлом, которое воскресает передо мною, когда я вижу вокруг себя давно знакомые и дружеские лица. С тех пор многое изменилось. Для университета настали тяжелые годы. Военная дисциплина заменила просвещенное попечение об умственных интересах молодых поколений. Затем, после морозов, настала весенняя оттепель. Строгая дисциплина в свою очередь уступила место полной распущенности. Общественные страсти вторглись в университет, отвлекая молодых людей от терпеливого труда, от строгой науки.

В эту пору я имел честь вступить на кафедру, и с первого же раза счел долгом высказаться против увлечений молодежи. Мы вместе с сидящими здесь товарищами и в университете, и в литературе выступили в защиту старых университетских порядков. Нам казалось почти святотатством это легкомысленное посягательство на учреждение, которое заключало в себе столько добра, которому все мы обязаны лучшим цветом нашей умственной жизни. Перед нами носился идеал университета как святилища науки, где хранятся чистые ее предания, где вопросы обсуждаются не в тревоге общественной жизни, не в пылу ежедневных полемик, а спокойно и беспристрастно, насколько беспристрастие дано человеку. Мы с восторгом встретили в России новую зарю свободы, но мы хотели свободы, сдержанной законом, свободы не разрушительной, а созидающей. Я не могу без грусти вспомнить об этом времени, когда, казалось, единодушие во имя добра соединяло всех членов университета. От этой поры остались крепкие связи. Пока я жив, я сохра-

ню глубокую привязанность к тем товарищам, с которыми мы до конца шли рука об руку, одушевленные общим чувством долга и претерпевая вместе все испытания.

А испытаний было немало. Вы помните, каким нареканиям подвергались мы в то время. Нас обвиняли в отсталых убеждениях, в раболепной покорности власти. Нам говорили: «Университет более не существует, и Вы его разрушили. Есть профессора и есть студенты; но нет между ними нравственной связи. Духовное целое исчезло, остались одни разорванные члены». Господа, настоящее наше собрание служит самым красноречивым ответом на эти возгласы. Нравственная связь между профессорами и студентами существует, и существует не во имя передовых идей или популярных стремлений, а во имя честного отношения преподавателя к своему предмету и к своим слушателям. В этом состоит единственная наша заслуга, и это скоро было понято молодежью, с ее верным чутьем нравственных отношений. Преподаватель, который успел установить подобную связь, может считать себя счастливым. Поэтому, господа, для меня ничего не могло быть отраднее, как те речи, которые я слышал, как те заявления, столь искренние и трогательные, которые делаются мне студентами. В вас, мои бывшие слушатели, с которыми я теперь расстаюсь, но с которыми никогда не расстанусь сердцем, в вашем сочувствии я нахожу лучшую награду за свою деятельность на кафедре, награду, перед которой, поверьте, бледнеют все жизненные невзгоды. Положение профессора иногда невольно наводит на раздумье. Он готовится в своем кабинете, он читает в аудитории; но каковы результаты его работы – этого он часто не знает. Может быть, они невидимо зреют в душах многих из слушателей; может быть, со временем труд его принесет свои плоды, но все это для него скрыто в неизвестности, и он нередко усомнится в приносимой им пользе. Но когда он видит, что искра загорелась в молодых умах, когда брошенное семя возвращается к нему, как дань благодарности – о! тогда он переживает хорошие минуты; тогда сердце его исполняется радостью и некоторой гордостью. Он чувствует, что он не даром прошел по земле, если он принес хоть малую пользу зреющим поколениям, если ему удалось зажечь в них священный огонь, передать им то чистое сокровище истины, которое он получил от своих предшественников. В этом живом и сочувственном соприкосновении между преподавателем и слушателями состоит лучшая сторона университетской жизни. Здесь почерпаются силы для деятельности; здесь возгорается и надежда на будущее, надежда, основанная не на жизни одного человека, которого нежданно сражает смерть, а на целых поколениях, непрерывно обновляющихся и передающих друг другу светоч просвещения. В них заключается главная сила земли. Эта сила не оскудеет в России, пока в молодых сердцах горит

любовь к истине и к добру, и пока наука остается в обществе не мертвым кладом и не орудием страстей, а живым источником, к которому стекаются толпы юношей, чтобы утолить в нем свою духовную жажду.

Вы, господа, призваны осуществить эти надежды. А потому, поблагодарив Вас от души за Ваш прощальный привет, я, с своей стороны, поднимаю бокал за студентов Московского университета!»

За этой речью последовали громкие рукоплескания; когда они смолкли – Борис Николаевич снова поднял бокал и сказал: «Господа, я предлагал тост за студентов; теперь я предлагаю молодежи тосты за людей, большею частью им неизвестных, но которые сегодня соединились с ними в общем чувстве. Господа, за моих старых, добрых товарищей!» Тост этот был встречен так же шумно, как и первый. Затем Борис Николаевич еще раз встал и произнес: «Господа, мы провозглашали несколько тостов; позвольте же мне теперь провозгласить последний и самый главный. Я расстаюсь с университетом, но не становлюсь ему чуждым. Для меня университет остается тем же, чем он был прежде. И для всех нас Московский университет является знаменем русского просвещения. Господа, за процветание Московского университета!»

Затем студенты пили за здоровье Ф. М. Дмитриева и М. Н. Капустина, и как за профессора, и как за деятельного члена попечительства о бедных студентах. После профессоров своего факультета студенты предложили тост за С. М. Соловьева. Тогда М. Н. Капустин подошел к С. М. Соловьеву, приветствовал его и от имени его прежних учеников, между которыми многие теперь сами занимают кафедру: «Студенты, – сказал он, – предупредили нас, предложив тост за дорогое нам здоровье. Мои товарищи по курсу, первые слушатели С. М. Соловьева, поручили мне выразить ему свою благодарность и уважение. Он был постоянно живым представителем того доброго времени, о котором вспоминал сегодня мой однокурсник Чичерин. Его слова и его пример возбуждали в нас любовь к науке и чувство нравственного долга. Сергей Михайлович остался верным себе, и я могу засвидетельствовать с искреннею признательностью, что в нем находим мы ободрение и совет: его слова всегда за честное дело, своим примером он учит честному труду».

Студенты вспомнили и отсутствующего своего профессора Н. К. Бабста; потом ими были предложены тосты за С. А. Рачинского, Ф. И. Буслаева, всех присутствующих профессоров и, наконец, бывшего инспектора студентов И. Н. Красовского, который оставил между нами добрую память своею заботливостью об их нуждах и честным направлением.

После всех этих тостов, произнесенных и принятых с общим одушевлением, профессор Чичерин простился со студентами; но

едва хотел он выйти из залы, его подхватили на руки и пронесли через остальные комнаты и по лестнице вплоть до выхода среди громких рукоплесканий.

Так кончился этот прощальный праздник. Память о нем сохранится между студентами. Несмотря на грустный повод торжества, в нем была и утешительная сторона. Он доказал, какая живая связь может образоваться между профессорами и студентами, когда их сближает общее уважение к нравственным интересам.

Остается пожелать, чтобы поводов к подобным пиршествам было поменьше. Пробел, оставляемый в университете удалением такого профессора и без того велик!

Уже после обеда Борис Николаевич получил от профессора Захарьина привет следующего содержания:

«Лишенный возможности, за нетерпевшими отлагательства делами, принять участие в прощальном обеде, который был предложен Вам, спешу обратиться к Вам с выражением моего глубокого сожаления о потере нашим университетом такого высокодаровитого, зрелого и так блестяще проходившего свое поприще деятеля, как Вы.

Студент».

Этот обед был одною из хороших минут моей жизни. Оставляя кафедру, я мог убедиться, что я не прошел по ней даром. Не имея призвания к профессуре, я восполнял этот недостаток добросовестным отношением к делу, любовью к науке и сердечным расположением к молодым людям. Выражение их чувств было мне всего дороже: я видел в нем награду за прошлое и семена будущего. И эта связь не порвалась с моим выходом из университета. Впоследствии, когда мне приходилось встречаться с бывшими слушателями, иногда на самых дальних концах России, я всегда находил в них тот же теплый привет и выражение радости при виде своего старого профессора. Получал я и заочные заявления, из которых одно в особенности тронуло меня до глубины души. Оно было передано мне занимавшим в то время должность прокурора Окружного суда в Петербурге, Кони, тоже моим бывшим слушателем. Не могу не привести его здесь.

В то время, как я вступил на кафедру, на втором курсе юридического факультета были два брата Крамера, смирные, робкие, недалекие, но добросовестные работники. Они иногда ко мне ходили, брали книги, и я старался их приласкать. Когда Черкасский отправился в Польшу в качестве министра внутренних дел, он просил меня прислать ему несколько кончивших курс студентов. Я сделал вызов, и старший Крамер изъявил готовность ехать. Случилось так, что пришлось отправить его первого. В то время студенты могли разделять свои экзамены между маем и сентябрем, и Крамер один выдержал

экзамен в мае. Мне не совсем было приятно начать с посылки весьма небойкого экземпляра нашего студенчества, но я все-таки его отправил. Он прослужил в Варшаве несколько лет и затем перешел в Петербург. В это время брат его сошел с ума, и он остался один, угрюмый, одинокий, тяготясь жизнью. Наконец, он покончил самоубийством. На столе его нашли бумагу, писанную им перед самою смертью; она была передана прокуратуре. В ней прочли следующее: «И вот через несколько минут меня не станет, и нет человека на земле, которому бы мне хотелось протянуть руку на прощание. Нет, есть один – мой бывший профессор Б. Н. Чичерин. Прошу того, кто прочтет эти строки, передать ему мой сердечный привет и сказать ему, что я вспомнил о нем перед смертью и его благодарю». Такие заявления вознаграждают за многое.

Вскоре после обеда я уехал в Париж навестить брата Василия и вернулся в апреле. Проезжая через Петербург, я нашел там Соловьева, и от него узнал подробности газетной полемики, которая возгорелась в моем отсутствии. Первый поднял вопрос в печати Погодин. Сей древний муж, представлявший странную смесь ума и нелепости, таланта и безобразного неряшества, высоких стремлений и гнусной скаредности еще не раз во время истории приглашал нас с Дмитриевым обедать к себе на Девичье Поле, изъявляя нам сочувствие и убеждая не покидать университета. Когда мы ему возражали, что для нас это вопрос чести, он простодушно отвечал, что честь вовсе не русское начало, и что дорожить ею нечего. Теперь он с некоторым сожалением и укором коснулся нашего дела в своем журнале. Дмитриев отвечал краткой заметкой, указывая на обстоятельства. Тогда «Московские Ведомости» решились прервать молчание. В них появилась большая статья, в которой самым бессовестным образом история рассказывалась в совершенно превратном виде. Дмитриев отвечал и напечатал наши мнения. «Московские Ведомости» возразили с прежним бесстыдством. Дмитриев отвечал снова. Но тут, как выразился Соловьев, «черт ногу подставил». В числе приложенных Дмитриевым документов были два мнения Капустина, поданные им при обсуждении бумаг попечителя, в отпор неслыханным притязаниям, которые предъявлялись Советом. Эти мнения были подписаны и некоторыми другими профессорами. В том числе по ошибке значилась подпись Захарьина. Капустин поставил ее на своей черновой, предполагая, что он подпишет, но потому ли, что не встретил Захарьина, или по какой другой причине, только бумага была внесена в Совет без его подписи. Захарьин, который с одной стороны выказывал нам сочувствие, но с другой стороны находился в дружеских отношениях с редакторами «Московских Ведомостей», уважая в них патриотов, вдруг заявил печатно, что он этой бумаги не подписывал. Тогда «Московские Ведомости», обрадовавшись случаю,

яростно накинулись на противников, упрекая их в том, что они, для искажения дела, прибегают даже к подлогам. Полемика была перенесена на чисто личную почву и превратилась в брань, в которой Катков был первый мастер. Конечно, здравомыслящему человеку, желающему вникать в вопрос, не трудно было в нем разобраться, но кому было дело до этих пререканий между разъярившимися учеными? Катков и Леонтьев знали очень хорошо, что публику можно уверить в чем угодно, и что в газетной перебранке прав остается всегда тот, кто кричит громче других и менее стесняется совестью и приличием. Они на своем знамени поставили девиз «нахальство все превозмогает». Кто еще верил в пользу гласности, тот мог воочию убедиться, к чему она ведет в мало образованной среде.

В следующем году я опять затронул дело в печати по поводу последовавшего со стороны министерства решения насчет возбужденных мною вопросов. Как сказано, они были разосланы для обсуждения по всем университетам, и все, кроме Московского, единогласно высказались в нашу пользу. Только Новороссийский признал почему-то полезным предварительное представление особых мнений ректору. Согласно с мнением университетов последовало и министерское решение; при русских законах нельзя было давать другого толкования. По существу дела мы были оправданы; за что же нас было осуждать? Я высказал это в заметке, напечатанной в «Русских Ведомостях». Ожидали новой полемики, но на этот раз «Московские Ведомости» сочли более благоразумным отмолчаться. Они понимали очень хорошо, когда неприятный вопрос нужно заглушить криком и когда лучше задушить его молчанием.

Торжество их было по-видимому полное. Дмитриев вышел вслед за мною, по истечении второго полугодия. Рачинский подал в отставку еще прежде. Хотя он вовсе не был замешан в истории, но все, что происходило в университете, было до такой степени противно его тонкой и чуткой натуре, что оставаться в нем долее он не мог. Он уехал в деревню, где сперва, как ботаник, занялся цветами, а затем всецело погрузился в народную школу, отдавши ей всю свою душу и проявляя в этой новой деятельности свои чистые, возвышенные, хотя несколько витающие в облаках стремления. Бабст тоже вышел вскоре, дослужив 25 летний срок службы. Он был председателем правления Купеческого банка, и для него профессура стала уже делом сторонним. Капустин сделался директором Ярославского лицея. Из протестующих профессоров в университете остался один Соловьев; но он-то и сделался знаменем, вокруг которого собрались новые вошедшие в Совет элементы. Победа редакции была непродолжительна. Тяжелая ее рука стала, наконец, невыносима, и Совет взбунтовался. При новых выборах, вместо Баршева, ректором был выбран Соловьев. Это означало полный переворот. Леонтьев, кото-

рому истекал 25-летний срок, видел, что при законе о двух третях он не пройдет. Вследствие этого редакция стала напирать на министерство, чтобы этот закон был отменен, и послушный министр действительно внес в Государственный совет и провел отмену означенной статьи Устава. Однако, и это не помогло. Леонтьев был забаллотирован простым большинством. Тогда он явился в Совет и сказал громогласно в заседании: «Вы лизнули моей крови, но я отмщу». Начался самый бесстыдный поход против университетского самоуправления, из-за которого редакция так недавно еще ратовала против нас, выставляя волю большинства неприкосновенною святынею, на которую нельзя было посягать. Теперь все мелкие дрязги и сплетни по всем университетам злобно выводились наружу; факты, по обыкновению, извращались самым бесцеремонным образом. Во всем обвинялся либеральный Устав 1863 года, как будто он внес в университеты какие-то новые начала, между тем как он узаконил только самоуправление, которое было введено в них с самого их основания и которое составляет необходимое условие самой их жизни. Редакция требовала отмены всех выборных прав, тогда как в самую темную эпоху николаевского царствования правительство не решалось идти далее назначения ректора. Предполагалось отнять у университетов и право производить экзамены, которое вверялось назначаемым от правительства комиссиям, что опрокидывало все университетские порядки, все сложившиеся на практике обычаи без малейшего толка. Побуждаемое редакциею, министерство учредило странствующую комиссию для исследования состояния университетов. Председателем назначен был «недогадливый армянин» Делянов, как выражался Дмитриев, а главными деятельными лицами были лакеи редакции, Георгиевский и пресмыкающийся профессор физики Любимов. Последний собирал плохие студенческие записки, выбирал из них всякие нелепости, перевранные названия и т. п. и весь этот букет внес в комиссию, в доказательство крайне низкого уровня преподавания в Московском университете. Этот, на сей раз действительный, донос сделался известен в копии московским профессорам, товарищам Любимова. Они возмутились учиненною с ними гадостью. Любимову послано было коллективное письмо с заявлением, что с ним прекращают всякие сношения. И что же? Верный девизу редакции, что нахальство все превозможет, следуя, разумеется, ее совету, негодяй напечатал это письмо в «Московских Ведомостях» со своими комментариями. Возгорелась полемика, результатом которой было то, что главные противники Любимова, Герье и Усов, получили выговор через жандармского полковника, а Соловьев принужден был оставить не только ректорство, но и самый университет. «Тогда были только цветики, а теперь ягодки», – писал он мне в деревню. Таким образом, Катков и Толстой с их клев-

ретами выжили наконец из университета и этого достойного, всеми уважаемого и крайне умеренного человека. Честность и наука были опасным знаменем, от которого надобно было отделаться всеми средствами. Года два спустя, Соловьев согласился читать лекции в качестве стороннего преподавателя, но вся эта история сильно на него подействовала. Его здоровье было сломлено, и он вскоре скончался, не докончив своего обширного труда, который остался вечным памятником в русской историографии.

Толстой не решился, однако, внести в Государственный совет заготовленный им новый устав. Едва ли бы сам государь согласился на такую безобразную ломку. Зато, когда Толстой пал, «Московские Ведомости» на него обрушились. Но когда с новым царствованием, при изменившихся обстоятельствах уволенный министр снова был поднят на высоту, а Катков получил больше силы, нежели когда-либо, поссорившиеся друзья снюхались опять, и с помощью недогадливого армянина, который возведен был в сан министра народного просвещения, новый университетский устав был проведен во всей своей нелепости. Университеты были обезглавлены и перевернуты вверх дном. В них водворился хаос, в котором сами зачинщики не могли разобраться. Судьба русской молодежи была отдана на жертву властолюбию и жажде мести откинувшего всякий стыд и совесть журналиста.

Что касается до несчастного юридического факультета, главного приготовителя слуг отечеству на всех общественных поприщах, то после нашего выхода он никогда уже не мог подняться. Разрушать очень легко, но созидать в деле просвещения чрезвычайно трудно. У нас в особенности, при скудности умственных сил, убыль пополняется крайне медленно. Пришлось наскоро набирать неподготовленных молодых людей. Самыми видными оказались легкомысленные социал-демократы, которых правительство получило взамен вытесненных консерваторов. Впоследствии министерство само их удалило самовластным актом. Рядом с ними, за немногими почетными исключениями, водворилась целая масса отъявленных бездарностей. Преподавание низошло до такого уровня, что студент ничего уже не мог вынести из университета, кроме полного хаоса понятий.

Такова грустная повесть нашего высшего образования. Вместо того, чтобы заботливо оберегать рассадники скудной русской науки и лелеять их, как драгоценный цвет, насажденный на неблагоприятную почву, правительство сыпало на них удар за ударом, поддерживая в них пошлость и невежество, вытесняя честных и преданных науке преподавателей, отдавая университеты на жертву низменным интересам и гнусным интригам, попирая ногами самые элементарные требования права и нравственности, вверяя управление народным просвещением лицам, способным возбудить только ненависть

и презрение. Многие поколения молодых людей были этим погублены. Вместо света, приносимого свободою, в незрелом русском обществе водворилась кромешная тьма: понизился как умственный, так и нравственный уровень. И долго еще горькие плоды этой политики будут отзываться на всем нашем общественном быте, на всем строе нашей общественной мысли. Русское просвещение не скоро оправится от ран, нанесенных ему грязным союзом наглого журнализма с беззастенчивою властью. Правдивая история назовет имена Каткова, Леонтьева и графа Толстого как главных зачинщиков и виновников всех этих печальных событий. Но что скажет она о монархах, которые возвышали и поддерживали подобных людей?

Жизнь в провинции

Вернувшись в частную жизнь, я поставил себе две ближайшие цели: написать курс государственного права, начиная с истории политических учений, и заняться делами земства.

Первая задача осуществилась только отчасти. Историю политических учений я сначала предполагал кончить в трех томах. Но по мере работы, рамки все раздвигались; в течение десяти лет я написал четыре тома, и все-таки не довел предприятия до конца*. Меня отвлекли другие работы, которые казались мне более полезными и самого меня более интересовали. К тому же я убедился, что сочинение в тех размерах, в каких оно у меня окончательно сложилось, совершенно не подходило к современным потребностям русской читающей публики. Мне хотелось обогатить русскую литературу таким произведением, какого нет даже в европейской публицистике; но всякая литература должна соответствовать современному состоянию умов. Многолетний труд можно предпринять только тогда, когда он находит сочувствие и поддержку, а в том и другом мне было отказано. Сочинение, которому я посвятил десять лет своей жизни, встречалось молчанием или недоброжелательством. Ни малейших признаков принесенной пользы я не мог заметить. Может быть, комунибудь моя книга пригодилась при чтении лекций; но следы этого чтения не обнаруживались ни в чем. Напечатанные тома были для меня только обузою, и я наконец увидел, что лучше употребить оставшиеся силы на что-нибудь другое. Таким образом, значительная часть пятого тома, уже написанная, осталась у меня в портфеле, а этот том не был еще последним. Что касается до остального курса, то я за него и не принимался. Приготовленные для университетских лекций тетради, частью даже вовсе не читанные, лежат у меня нетронутые. Может быть, когда в русском обществе снова пробудятся серьезные умственные и политические интересы, и они кому-нибудь пригодятся. Пока оно пробавляется журнальными статьями, о научных трудах нечего думать.

---

* I часть «Истории политических учений» вышла в 1868 г., II – в 1872 г., III – в 1875 г., IV – в 1877 г. и V – в 1902 г.

Вторая моя цель осуществилась вполне. В самый год моей отставки происходили земские выборы на новое трехлетие, и я сделался гласным, сперва уездного, а затем губернского собрания.

Участие в делах земства, в течение многих лет, оставило во мне одни хорошие воспоминания. Мне доводилось на своем веку видеть самые разнородные собрания, но это было единственное, в котором я чувствовал себя совершенно на своем месте. Отчасти это могло произойти оттого, что я родился русским помещиком; но думаю, что тут кроются и другие причины. Едва ли в России найдется другая среда, которая бы до такой степени приходилась чувствам и потребностям порядочного человека. Это не собрание чиновников, всегда имеющих в виду, что думает и скажет начальство; это не съезд дельцов, заботящихся единственно о частных своих интересах; это не ученое сословие, печальный образчик которого мне пришлось видеть так недавно*; это и не городское общество, где нередко выставляются вперед весьма необразованные элементы; наконец это и не дворянское собрание, которое и по составу и по способу производства дел представляет какую-то бестолковую сумятицу. Земство есть цвет дворянства, поставленный в самые благоприятные условия для правильного обсуждения общественных вопросов; это – собрание независимых людей, близко знающих дело и совещающихся о тех жертвах, которые они готовы принести для общей пользы. Конечно, в семье не без урода. На обширном пространстве нашего отечества можно встретить всякого рода явления. Наши силы, вообще, скудны; людей слишком мало. Особенно там, где образованный дворянский элемент, живущий на местах, немногочислен, заправилами могут явиться лица весьма невысокого свойства. Но если в уезде находятся несколько честных и порядочных людей, готовых действовать дружно, земство всегда будет идти недурно. В продолжение более двадцати лет моего пребывания в земстве, я видел недостаток сил, небрежность, легкомыслие, иногда мелкие раздоры, но не видал ни безобразий, ни гнусных интриг; в собраниях всегда господствовало чувство приличия и нравственного достоинства, я видел себя среди своих равных и не чувствовал себя униженным. Поэтому и на старости лет я всегда возвращаюсь в земские собрания как бы в свою семью, где все мне близко, знакомо и дорого.

Это – лучшее, что я видел в России. Провинция есть та еще нетронутая среда, из которой может выйти для нее обновление.

Время, в которое я вступил в земство, можно назвать порою молодости и свежести земских учреждений. Местные помещики всей душей предались этому делу. Перед ними открывалось новое, обширное поприще для деятельности вполне независимой; являлась возможность собственными силами и средствами устроить свой местный быт, и они принялись за это без малейшей задней мысли,

одушевленные одним желанием общественной пользы. Кирсановское собрание было составлено отлично; в уезде было достаточно хороших элементов, которые все в него вошли. Не было таких выдающихся, европейски образованных личностей, какими некогда были Кривцов, Баратынские, мой отец. Это поколение сошло в могилу, унеся с собою те высшие дары, которые были его украшением; но оно оставило по себе живые предания, гуманный и образованный дух, который царствовал в собрании. Председателем был уездный предводитель, Михаил Степанович Андреевский, человек невысокого ума и образования, впечатлительный и несколько шатких мыслей, но отличных нравственных свойств, безукоризненной честности и прямоты. Скоро, однако, он вышел и заменен был моим братом Владимиром, который девять лет был уездным предводителем и председателем мирового съезда. Можно сказать, что это был золотой век Кирсановского уезда. Одушевленный самыми чистыми и возвышенными стремлениями, работник неутомимый, сам вникающий во все подробности, притом в высшей степени практический, с твердым и сдержанным характером, брат умел и направлять дела, и действовать на людей. Он пользовался неограниченным доверием всех, и даже когда, по расстроенному здоровью, он покинул должность, он остался, как его называли, старостою Кирсановского уезда. Председателем управы в течение двенадцати лет был Михаил Сергеевич Баратынский, человек благороднейшего характера, хранивший все лучшие предания семьи и всею душою преданный общественному делу. Управа была составлена из людей дельных и работящих. В собрание съезжались не только помещики, жившие на местах, но и люди служащие, владевшие имениями в уезде. Приезжал бывший кирсановский предводитель и член губернского присутствия, в то время тамбовский вице-губернатор Перфильев, сделавшийся потом московским губернатором, человек мягкий и уклончивый, любивший пожить, но приятный в обществе, добродушный и обходительный, с некоторыми умственными интересами. Неразлучен с ним был и другой бывший член губернского присутствия во времена освобождения, милейший старик Астафьев, гуманный и образованный, хотя несколько витающий в облаках. Приезжал управляющий акцизными сборами в губернии, ныне директор департамента Марков, невысокого ума, но живой, деятельный и сведущий. Постоянным членом собрания был старик Соловой*; Олив, французского происхождения, сын бывшего таврического губернского предводителя, сдержанный и молчаливый, но в высшей степени порядочный и дельный; Михаил Семенович Кишкин, в то время член губернской

* Григорий Федорович Петрово-Соловой (1806 – 1879) был одним из крупнейших землевладельцев Тамбовской губ., ему принадлежало в 1878 г. 25 000 дес.

управы, несколько болтливый и недалекий, но честный, работящий, усердный хозяин. Были и элементы другого рода: одним из последующих представителей старого времени являлся Матвей Фялагович Лебедев, начавший службу в должности лесничего в начале века и наживший всякими средствами порядочное состояние, человек весьма неглупый, сохранивший до глубины старости всю свою грубую энергию. Были и богатые помещики северной части уезда, Иван Иванович Сатин и зять его Вальгард, набивавшие себе деньгу хозяйством; старый купец Сосульников, кирсановский миллионер. Но все они не отделялись от общего строя собрания. О крепостнических стремлениях и жалобах на уничтожение крепостного права не было и помину. Иван Иванович Сатин, которому свои интересы были всего дороже, сам говорил мне, что он увидел свет со времени освобождения крестьян.

А с другой стороны, не было и популярничанья, которое так часто встречалось в те времена. С гласными от крестьян мы обходились как с себе равными, подавали им руку, но они большею частью играли роль безмолвных зрителей. Самых дельных мы приобщали к комиссиям, допрашивали и вызывали их на объяснения по делам, близко им известным и касавшимся существенных их интересов; но редко случалось, чтобы кто-нибудь из них вставал от себя, чтобы сказать несколько слов. Главное их значение состояло в том, что они были свидетелями того, что делалось в собрании, и клали шары в пользу тех, кому они доверяли. Они могли сообщить населению, что дела в Кирсановском земстве велись с полною справедливостью, не только без ущерба крестьянам, но с заботливым вниманием к их потребностям и интересам. Лежавшие на них натуральные повинности были сняты и обращены в денежные, распределенные на всех. Через это разом сократились на 50 000 рублей расходы по подводной повинности, что одно с избытком окупало все траты на земские учреждения. Начали заводиться школы; улучшилась столь важная для крестьян медицинская часть, которая дотоле, можно сказать, почти что не существовала. И все это делалось разумно и постепенно. В то время мы еще не зарывались, как впоследствии, тратами на медицину, а шли шаг за шагом, соображаясь со средствами. Уезд процветал, и будущее представлялось в самом благоприятном свете. Прения в собрании были везде дружеские. После заседания были общие, шумные и веселые обеды. Затем работающие шли в комиссии, которые обыкновенно продолжались до ночи; остальные проводили вечер в клубе. Три, четыре дня, в которые происходили заседания, были эпохами в уездной жизни. Каково было единодушие, которое в то время господствовало в Кирсановском собрании, можно видеть из следующего случая. Один из мировых судей, пользовавшийся общим уважением, потерял ценз; его приходилось выбирать единогласно,

тайною баллотировкою*. У него были конкуренты; между прочим, старик Лебедев проводил своего племянника. И несмотря на то, вследствие общего желания уезда, он два раза был выбран единогласно.

Несколько лет спустя, этот строй нарушился по вине крестьянина. В числе членов управы был гласный от крестьян Пенин, человек очень дельный и исполнительный. Председатель, испытавши его не раз, вполне ему доверял. Он был казначеем управы, получал хранимые в уездном казначействе суммы. Вдруг стали замечать, что он кидает деньги, завел любовницу. Многие уговаривали Баратынского от него отказаться; тот отвечал, что не может этого сделать по простому подозрению, надобно доказать вину. Член управы Селезнев, человек очень дельный, говорил, что он внимательно следил за каждым шагом Пенина, стараясь его уловить из опасения собственной ответственности, но ничего не может открыть. Тем не менее Баратынский, видя общее настроение, при новых выборах отказался баллотироваться; но Пенин был выбран вновь, хотя незначительным большинством. И что же вскоре оказалось? Негодяй воспользовался довольно первобытным устройством контрольной части в управе. Никому не приходило в голову, что надобно изредка сличаться с казначейством, и Пенин в течение нескольких лет брал деньги по подложным документам. На беду, у нас там лежали довольно значительные суммы железнодорожных гарантий, которые вследствие пререканий с правлением не выплачивались, а оставались без употребления. Из них было украдено свыше 30000; настоящей суммы не помню, да едва ли она была выяснена. Пенина предали суду; но прежде нежели дело началось, он умер в тюрьме, подорвав кредит тех людей, которые сказали ему доверие и приняли его в свою среду.

Этот печальный инцидент бросил, однако, лишь временную тень на наше уездное самоуправление. Когда нравственный порядок имеет прочные основы, он разрушается не легко. На смену стариков выступило новое поколение; может быть с несколько меньшей ревностью к общественному делу, с меньшим отсутствием всяких личных побуждений и меньшею осторожностью в расходах, но и доселе я с удовольствием возвращаюсь в свое Кирсановское земское собрание, а в то время, когда я в него впервые вступил, я чувствовал себя, как рыба, пущенная в воду после пребывания на знойном песке. Это была среда мне близкая и сродная, где я мог действовать на просторе, не имея дела ни с гнусными каверзами бюрократии, ни с

* Для избрания мирового судьи требовался определенный имущественный ценз (в уезде – недвижимая собственность, оценивавшаяся я в 15000 руб.); земским собраниям предоставлялось право избирать лиц, не имевших такового, но обязательно единогласно.

мерзостями журналистики, ни с личными интересами, гнездящимися в ученом сословии.

Я разом приобрел в собрании видное положение. С хозяйственными вопросами я почти вовсе не был знаком; но юридическое образование, знание русских законов, теоретическое изучение административных порядков отечественных п иностранных, и вдобавок полное отсутствие личных целей, привычка к работе, умение писать и изъясняться, все это давало мне некоторый авторитет. Старик Соловой с радостью сообщал мне, что все мною отменно довольны и даже купец Сосульников говорит обо мне с восторгом. Я одним из первых был выбран в губернские гласные.

В губернском собрании я познакомился уже не с местными только элементами, а с цветом всей губернии. На заседания, которые бывали в начале декабря, съезжались самые видные представители уездов, с севера и юга, с востока и запада. Это было уже чисто дворянское собрание. Крестьян не было вовсе, а из купцов весьма немногие. Но так как лица были менее друг с другом знакомы, и интересы более разобщены, то дела шли далеко не так удовлетворительно, как в уездных собраниях. В последних, по крайней мере в нашей губернии, лежал главный центр тяжести земских учреждений. Однако из губернских съездов я вынес хорошие впечатления. Это было собрание вполне порядочных людей; были и люди работящие. Прения велись добросовестно, если не всегда толково; о каверзах и интригах не было и помину.

Губернским предводителем был в то время и долго после Григорий Владимирович Кондоиди, женатый на моей двоюродной сестре Бологовской. Это был человек совершенно светский, большой поклонник прекрасного пола, почему его звали маркизом; но деловитостью он не отличался. Его неумение руководить прениями в значительной степени способствовало беспорядочному ходу дел. Он сам говорил, что в должности губернского предводителя единственно неприятные для него часы были те, когда он должен был сидеть в земском собрании на председательском кресле. Эти две недели были для него некоторого рода пыткою. Но в то время в нем ценили чувство чести и независимости, которыми он щеголял, как настоящий барин и дворянин. Ему можно было втолковать, что нужно, и положиться на то, что дело не получит кривого направления. Впоследствии он свихнулся. Живя широко и мало заботясь о хозяйстве, в котором он не знал толку, он вошел в долги и незаметно растратил свое довольно крупное состояние. Вследствие этого он стал покровительствовать разным довольно грязным лицам, которые давали ему деньги. Он начал заискивать и перед правительством, чего за ним прежде не водилось. В новое царствование, призванный к участию в правительственной комиссии, обсуждавшей реформу земских

учреждений, он выдал их графу Толстому. Тогда от него отвернулись те, которые его прежде поддерживали, и он наконец принужден был оставить свою должность.

Из гласных первое время самое видное положение в собрании занимал князь Виктор Илларионович Васильчиков, генерал-адъютант, бывший начальником штаба во время осады Севастополя. Там он снискал всеобщую любовь и уважение. После войны ему поручено было следствие о злоупотреблениях, и это поручение он исполнил блистательно. Затем он назначен был товарищем военного министра, но здесь, как говорил мне Дмитрий Алексеевич Милютин, он оказался несостоятельным. Он задумал разные неприложимые реформы и упорно стоял на своем. Видя, что его планы не принимаются, он вышел в отставку и поселился в своем имении Трубечин, Лебедянского уезда, где усердно занялся хозяйством. Это дело было совершенно по нем; он считался одним из лучших хозяев в России. Обладая большими средствами, ведя скромную холостую жизнь, он мог класть в имение все свои значительные доходы и действительно довел его до цветущего состояния, многократно вознаграждавшего положенный в него капитал. К нему ездили учиться; от него выписывали орудия, хотя подражать ему, при меньших средствах, было не легко. Вместе с тем, он был усердный земец. В собрании он имел значительный вес, как по своему общественному положению, так и по своим хозяйственным знаниям и наконец по характеру. Он был гуманен и обходителен; в нем не было и тени старых генеральских замашек. Приемы были самые симпатические, мягкие и сердечные. Но были и крупные недостатки: он был ограничен, самолюбив и упорен. Когда он что-нибудь вбивал себе в голову, его уже ничем нельзя было разубедить. В это время он задался мыслью ввести в наши села обязательное обучение грамоте, мысль совершенно неприложимая к нашему сельскому быту и неосуществимая при недостатке учителей. Собрание, конечно, не могло принять этого предложения, и Васильчиков очень сердился за то, что его не поддержали.

Одним из самых усердных и работящих членов собрания был гласный Моршанского уезда, князь Николай Николаевич Чолокаев, женатый на дочери Василия Васильевича Давыдова, ныне губернский предводитель (1892). Это был человек вполне честный, прямой, бескорыстный и дельный. Всякий вопрос он изучал самым добросовестным образом, во всех подробностях. И у него являлось иногда упорство в мелочах, но с ним можно было столковаться. Когда Кондоиди оставил должность губернскою предводителя, взоры всех обратились на Чолокаева. Долго он не соглашался расстаться с своею независимою жизнью в деревне. Страстный садовод, он с небольшими средствами завел себе великолепные оранжереи, сам нянчил-

ся со всяким растением и в это погружен был весь. Не легко ему было покидать свой деревенский приют, где он вел самую счастливую семейную жизнь с женою очень некрасивой наружности, но чрезвычайно сердечною, живою и приятною. Наконец он сдался, и Тамбовская губерния приобрела единственного путного губернского предводителя, которого я видел на своем веку. Другим представителем Моршанского уезда был тогдашний уездный предводитель, Василий Григорьевич Безобразов, милейшая личность, тихий и скромный, а вместе сердечный, разумный и толковый. Он был богат, имел большое семейство и отменно вел свои дела. Из дальней Елатьмы приезжал Петр Петрович Дьяков, некогда блестящий светский кавалер, музыкант и певец, в то время уже состарившийся, но сохранивший, как светское изящество, так и светскую легкость.

Совершенный контраст с этими представителями Севера составляли борисоглебцы. Их называли южными штатами. Тут встречались последние отголоски крепостнических стремлений, однако в преобразованном виде, приноровленном к новому быту. Весь уезд был в руках немногих лиц, которые делали, что хотели. Рассказывали, что вся полиция у них на откупу и сгоняет крестьян на работу. Когда же губернатор приезжал на ревизию, его встречали с величайшими почестями, кормили и поили с утра до вечера и провожали обратно ошеломленного и очарованного. Зато для своего уезда они умели выхлопотать и железные дороги, и банк, и всякие льготы.

Борисоглебск сделался одним из выдающихся городов Тамбовской губернии. Главными заправилами уезда были Дмитрий Васильевич Садомцев и Федор Михайлович Сальков. Последний был, в сущности, грубый мужик, весьма неглупый, отпускавший иногда острые и едкие шутки насчет лиц и дел, но ленивый, принимавший к сердцу только свои личные выгоды и весьма равнодушный к общественным вопросам. Садомцев же был человек гораздо высшего свойства. Студент Московского университета, он причастен был высшему образованию, но весь свой недюжинный ум и свою необыкновенную силу воли он обратил на практическое дело. В своем уезде он был и предводителем и председателем управы. Все перед ним преклонялось; всякую оппозицию он умел устранить.

Наш сосед Леонид Алексеевич Воейков, тоже борисоглебский гласный, искренний и правдивый человек, которому эти порядки вовсе не приходились по вкусу, рассыпался в тщетных протестах и наконец совсем вышел из земства. Но в губернском собрании, где личные его интересы не были замешаны, Садомцев был одним из самых полезных членов. Во всякий вопрос он вносил свет, выставляя все его практические стороны, не отказываясь, когда нужно, и от работы. Он был и приятный собеседник, бойкий, живой, с разнообразием практических сведений. Я очень жалел, когда он впослед-

ствии, расстроив свое состояние и потеряв наконец почву в уезде, выселился из нашей губернии. И рядом с этими двумя мужиковатыми представителями энергической практики, неразборчивой на средства, являлся изящный посетитель петербургских гостиных, камергер князь Волконский, сын декабриста*, впоследствии попечитель Петербургского учебного округа и товарищ министра народного просвещения. С несколько лисьей физиономией, свойственной семье Раевских, от которых он происходил по матери, он соединял утонченные формы, вкрадчивые приемы; он был отменно любезен и приятно пел итальянские арии. Но под этою светскою наружностью скрывались чисто практические цели, которые сблизили его с заправилами Борисоглебского уезда. Ему нужно было провести в Борисоглебск железную дорогу и на этом нажиться, а для этого ему необходима была помощь местных дельцов. Он явился для них искусителем. Ниже я подробно расскажу эту историю. Я сам видел фотографическое изображение этой странной группы, которая была снята в память успеха, увенчавшего предприятие: по обоим бокам сидят грубоватые провинциальные крепыши, Садомцев и Сальков, а посреди них, в камергерском мундире, возвышается тонкая фигура князя Михаила Сергеевича Волконского, с улыбкою, обличающею внутреннее довольство от крупной удачи.

В губернское собрание Волконский являлся изредка, больше для виду, не принимая живого участия в делах. Личного интереса тут не было никакого, а потому он держал себя больше в стороне. Только когда задумали устроить земский банк, он выбран был членом комиссии и согласился быть уполномоченным для ходатайства, но и это делалось больше для формы, ибо серьезного результата из этого не могло выйти.

Смесь самых разнородных элементов представляли выборные от многолюднейшего уезда, Тамбовского. Тут был уездный предводитель, Михаил Павлович Оленин, который двадцать четыре года оставался представителем дворянства, несмотря на весьма сомнительную репутацию. Причастный разным некрасивым делам, он умел подбирать себе партию и уступками и обходительностью ладил со всеми. В прениях губернского собрания он не принимал, впрочем, никакого участия. Рядом с ним сидел Лев Вышеславцев, бывший впоследствии много лет председателем губернской управы, человек вполне честный и порядочный, умеренного либерального направления, при этом хороший хозяин, способный к труду, но довольно молчаливый, сдержанный и недалекого ума. Тамбовским гласным был и брат Сергей, самый чистый и бескорыстно преданный земскому делу

* Князь М. С. Волконский был сыном князя Сергея Григорьевича Волконского и Марии Николаевны Раевской.

человек, какого можно было встретить, своим мягким характером снискавший общее расположение, без хозяйственных способностей, но хороший работник, не увлекающийся фантазиями. Удивительное сочетание разнородных свойств и побуждений представлял бывший секретарь дворянства Муратов, приобретший на этом месте репутацию ума, безукоризненной честности и знания дела, но в сущности темная личность, и умственно и нравственно. Из-под густой шапки его черных волос сверкали маленькие, глубоко впалые черные глаза, которые не предвещали ничего доброго. Когда он говорил, то так путался в мыслях, что трудно было разобрать, чего он именно хочет; но он очень хорошо знал, что именно ему нужно, и преследовал свою цель всякими потаенными путями. Неподкупный с денежной стороны, несмотря на весьма скудные средства, он готов был итти на всякие каверзы. Зная его прежнюю репутацию, я не прочь был с ним сойтись, но скоро отвернулся, увидев ложь на каждом шагу. Он был в это время и долго после членом губернской управы, где имел авторитет знанием канцелярских порядков и приносил ту пользу, что подбирал дельных исполнителей, на которых сваливал всю обузу, сам предаваясь лени и нисколько не заботясь об успешном ходе земского хозяйства. В этом отношении своею наклонностью к рутине и эгоистическим направлениям он скорее служил препятствием. Совершенно подстать ему был и другой тамбовский гласный, молодой купец Слетов, очень умный, бойкий и дельный, но весьма ненадежный, даже с какою-то прирожденною наклонностью к кривым путям и интригам. В первое время Васильчиков превозносил его до небес, но скоро его раскусил, и сам он не долго умел продержаться: стремясь к быстрому обогащению, он пустился в предприятия, разорился и вышел из земства.

Наконец, любопытную пару составляли два брата Бланк, выборные от Усманского и Липецкого уездов. Старший, Григорий Борисович, имел совершенно вид вороны, каркающей без перерыва при всяком удобном случае. Это был отъявленный крепостник, который еще при первых толках об освобождении крестьян яростно защищал крепостное право, видя в нем спасение России. Мне пришлось по этому поводу преподать ему весьма неприятный исторический урок печатно, и я думал, что он питает против меня злобу. Ничуть не бывало. Когда мы десять лет спустя встретились с ним в Тамбовском губернском собрании, он подошел ко мне с распростертыми объятиями, как будто я оказал ему величайшую услугу. Но это было не добродушие, а какое-то развязное отношение к людям и вещам, которое характеризовало всю его деятельность. Он говорил обо всем на свете с величайшею самоуверенностью, но обыкновенно без всякого толку, как будто он излагал затверженный урок, вовсе не заботясь о результате. Поэтому никто его не слушал; авторитета в собра-

нии он не имел никакого и свои крепостнические убеждения он не решался высказывать. Брат его, Петр Борисович, в то время председатель губернской управы, был, напротив, добродушнейший человек на свете, но толку от него было столь же мало, как от Григория Борисовича. Главная страсть его был писать проекты. На это он посвящал все свое время, исписывал целые кипы бумаг и все это рассылал для предварительного обсуждения по уездным собраниям. И досадно и смешно было читать эти, большею частью нелепые, произведения, которые отнимали драгоценное время. До обсуждения в собрании они обыкновенно не допускались, а хоронились в комиссиях; но Петр Борисович не унимался и к каждой новой сессии готовил новые кипы проектов.

При таком председателе и таких членах, как Муратов, который постоянно подкапывался под товарищей, и Кишкин, который больше болтал, нежели делал дело, управа не могла пользоваться весом. Тем не менее в год моего вступления она была избрана вновь. Васильчиков ее сочинил и поддерживал. Нужно было новое трехлетие, прежде нежели она износилась совершенно.

О кирсановских гласных я уже говорил выше. Все самые видные люди нашего уезда были членами губернского собрания: брат Владимир, Андреевский, Баратынский, Соловой, Астафьев. Вообще, собрание состояло из людей с умеренным образом мыслей и с практическим направлением. В нем не было резкого различия партий; господствовал скорее охранительный дух, но без сетований о прошлом и с гуманными взглядами; было желание улучшений, но без всякого задора. Мы твердо стояли на почве новых преобразований, стараясь устроить предоставленное нам дело, не оглядываясь назад и не забегая вперед. Это было именно то, о чем я мечтал.

Заседания обыкновенно продолжались от десяти до пятнадцати дней. Это было время большого оживления в довольно однообразной провинциальной жизни. И мужчины и дамы интересовались земскими делами, ездили на хоры, слушали речи. После заседаний обыкновенно бывали обеды, то у губернского предводителя, то у губернатора. Нередко приезжие высшего полета обедали в доме моей матери. Сестра*, тогда еще незамужняя, любила принимать и угощать. После обеда начиналась работа в комиссиях, часто до поздней ночи. Все завершалось общим земским обедом, на котором чествовали губернатора в знак согласного действия земства и администрации. Губернатором в то время был Николай Мартынович Гартинг, чистый чиновник, нередко мелочный, но толковый, с которым можно было жить. Он не старался везде выказать свою власть, не обижался, когда делали не по нем; если бывали несогласия, то не было

* Александра Николаевна Чичерина.

столкновений. Этого нельзя было не ценить. Я с признательностью поднимал бокал за его здоровье на земском обеде.

В самую первую сессию мне пришлось, однако, выступить против разных министерских циркуляров и распоряжений, характеризующих взгляды и приемы нашей высшей бюрократии. По поводу предположенного одним земским собранием института сельских учителей министр государственных имуществ разослал управляющим палатами циркуляр, в котором изъяснял им для руководства в будущем, «что всякий земский сбор, вызванный добровольным пожертвованием земства на осуществление какого-либо предприятия, хотя бы и весьма полезного, но не составляющего существенной необходимости», не должен распространяться на казенные земли. Земства пришли в недоумение, ибо по закону казенные земли облагались совершенно на одинаковых основаниях с прочими; ни о каких добровольных пожертвованиях в законе не было речи, а установлено было только различие между повинностями обязательными и необязательными. Некоторые земские собрания заключили, что министр говорит о последних, а так как у нас привыкли министерским циркулярам подчиняться наравне с законом, то на этом основании они выкинули казенные земли из раскладки на необязательные повинности. Однако на это последовал новый циркуляр, в котором объяснялось, что министр вовсе не имел в виду отрицать участие казны в необязательных расходах, например, по училищной или медицинской части, а вменяется только в обязанность представителям министерства протестовать в тех случаях, когда предполагается привлечь казну к участию в таких расходах, которые вызваны не существенными местными потребностями земства, а добровольными пожертвованиями на особые предметы и на предприятия, не имеющие прямого отношения к местным губернским интересам земств, например, на сооружение памятников, на устройство празднеств или на промышленные предприятия, в которых земство являлось бы учредителем и акционером. Тут уже окончательно нельзя было ничего понять, ибо институт сельских учителей, по поводу которого возник этот вопрос, очевидно, принадлежал к числу необязательных потребностей на народное образование, а отнюдь не мог быть причислен к разряду памятников или празднеств.

Между тем, в нашем губернском собрании возник именно вопрос подобного рода. Собрание просило о переводе Тамбовской губернии из Харьковского учебного округа в Московский, так как сношения с Москвою были и ближе и удобнее. Министр народного просвещения изъявил согласие, но с тем, чтобы земство уплачивало казне ежегодно по 5 500 рублей. На каком основании предъявлялось подобное требование, неизвестно; однако земство согласилось и определило внести эту сумму в смету. Но представитель министер-

ства государственных имуществ протестовал против разложения этих денег на казенные земли. Вопрос дошел до министра внутренних дел, который, усваивая себе теорию министра государственных имуществ, согласился с протестом и объявил, что это – расход для земства не существенный, а потому казенные земли не должны быть к нему привлечены. Губернскому собранию предстояло решить, согласится ли оно с министром или останется при своем мнении, в каковом случае вопрос, на основании 97-й статьи Положения о земских учреждениях, должен был перейти в Сенат.

Я был докладчиком комиссии, выбранной по этому поводу губернским собранием. Я выяснил, что и циркуляры министра государственных имуществ, и решение министра внутренних дел несогласны с законом, который точно и ясно определяет случаи, когда постановления земского собрания требуют утверждения министра или могут быть остановлены, случаи, неприменимые к настоящему. Законом установлено общее правило, что казенные земли облагаются наравне со всеми прочими; ограничение этого правила министерскими циркулярами и распоряжениями есть частная отмена закона административным путем, а вместе нарушение прав, дарованных земству верховною властью. Через это 14-я статья Временных правил, высочайше утвержденная, волею министра заменяется другою, в силу которой от усмотрения министра внутренних дел зависит, допускать или не допускать обложение казенных земель на потребности земства, смотря по тому, признает ли он эти потребности существенными или несущественными.

«Комиссия, – писал я, – считает делом существенно важным по отступаться от своего права, даже в маловажных делах, ибо одно нарушение влечет за собою другое, между тем как твердая и стойкая защита своих законных прав одна в состоянии устранить произвол и внушить уважение к земству Твердость законного порядка составляет ныне существеннейшую потребность отечества. Это – одно, что может упрочить те великие преобразования, которые делают настоящее царствование вечно памятною эпохою в русской истории. Содействовать всеми силами этой цели, таково одно из главных назначений земства. В прежнее время, пока в России господствовал один бюрократический порядок, смотрение властей было главным элементом управления. Но преобразованиями нынешнего царствования рядом с администрацией установлены самостоятельные учреждения, сдерживающие произвол, и между ними главное место занимает земство. Чтобы независимые друг от друга учреждения могли действовать согласно для общественной пользы, необходимо, чтобы каждое знало пределы своего права и чтобы все стояли на общей почве закона. Уважение к закону – таково непоколебимое основание, на котором зиждутся все наши права. Мы должны сами

показывать тому пример, мы можем требовать этого от других. Русское земство может твердо стоять па этой почве, с уверенностью, что державная рука, даровавшая ему права, не оставит его без защиты».

Вследствие этого комиссия полагала, что мы ни в каком случае не можем отказаться от обложения казенных земель. Но с другой стороны, плата вовеки веков 5 500 рублей в министерство народного просвещения, для удобства нескольких студентов и гимназистов, казалась нам расходом и не совсем правильным и в сущности бесполезным, тем более что при вновь строящихся железных дорогах сношение с Харьковом становилось гораздо легче. Поэтому мы предложили и собрание приняло следующее постановление:

«Имея в виду, что 14-ю статьею Временных правил для земских учреждений земству присвоено право облагать казенные земли на одинаковых основаниях с землями частных владельцев; что всякое ограничение этого права, как частная отмена закона, может быть установлена единственно законодательным порядком, и что поэтому ни означенные циркуляры г. министра государственных имуществ, ни основанное на них решение г. министра внутренних дел не может служить руководством для земства; Земское собрание не может согласиться в основании с мнением г. министра внутренних дел на счет обложения казенных земель, но, с другой стороны, имея в виду неудобство и препятствия, которые встречает издержка в 5 500 рублей на перечисление Тамбовской губернии из Харьковского учебного округа в Московский, а также изменившиеся обстоятельства, земское собрание определяет: исключить эту сумму из сметы».

В комиссии редакция этого доклада встретила возражение только со стороны одного из шести членов, Астафьева, не по существу, а по форме. Остальные все подписали согласие, не только с существом дела, но и с редакцией, в том числе не только образованные и либеральные люди, как брат Сергей и Дьяков, но и старые крепостники, Сальков и Григорий Бланк. В собрании доклад был встречен общим сочувствием; никто не счел меня революционером. В те времена земство высоко держало голову и говорило твердым языком, не требуя лишнего и не отступая от своего права. Так недавно еще воля министра считалась высшим законом, перед которым все должны были безмолвно преклоняться; совершенные преобразования все это разом перевернули: они дали независимым людям возможность отстаивать свое достоинство. И администрация, даже в эту реакционную пору, когда Шувалов был уже первым лицом в государстве, считалась с земством и оказывала ему уважение. Здесь была среда, в которой можно было действовать. Не знаю, возникал ли этот вопрос где-нибудь в другом месте; у нас, по крайней мере при мне, о нем не было более помину.

Я понимал однако, что такими случайными докладами нельзя пробавляться. Чтобы действовать в земстве, надобно было основательно изучить земское хозяйство. Лучшим для этого средством я считал ревизию. Я был выбран членом ревизионной комиссии, которая будущему собранию должна была представить свой доклад. За месяц до открытия заседаний я отправился в Тамбов и погрузился в работу. Случилось так, что из всех членов ревизионной комиссии налицо были только двое: брат Сергей и я. Он взял страховое дело, а я все остальное.

Главным предметом ревизии были обширные заведения, переданные земству бывшим Приказом общественного призрения*: больница, дом умалишенных и сиротский дом. К этому присоединялись вновь заведенная типография и губернский сбор. Для меня дело было совершенно новое; надобно было изучать его, начиная с азбуки. Всякий день, в течение месяца, с десяти часов утра до трех и затем от семи вечера до ночи я сидел в управе, изучая все подробности бухгалтерии, хозяйства и отчетности. К счастью, нашлись дельные люди, с которыми можно было работать. Управа была плохая; от нее трудно было добиться толку. Но канцелярия была хорошая: был весьма сведущий бухгалтер Коршунов и отличный контролер Доброхотов. От них можно было получить все нужные справки и указания. Когда же, в отсутствие контролера, я обращался за разъяснениями к члену, заведующему отделением богоугодных заведений, Муратову, я получал такие ответы, из которых я мог убедиться, что он дела не знает и, что еще хуже, для покрытия своего незнания – врет. Поэтому я перестал его спрашивать. К невинному Петру Борисовичу Бланку, разумеется, еще менее можно было приступать с вопросами: это значило вызывать бесконечные разглагольствования без всякого путного содержания. Однажды, когда я сидел за работой, он явился в управу в восторженном состоянии, неся в руках присланный ему из Петербурга проект всесословной волости. Я очень озадачил его, сказавши, что я вовсе не сочувствую подобному нововведению, ибо сам в волостные старшины не пойду, а жить под начальством мужика не желаю.

Я не ограничивался, впрочем, расспросами канцелярии. По ревизионной части я обращался за справками к братьям Андрею и Сергею, которые оба служили в контроле, а по хозяйственной части ко всем, кто практически был знаком с делом и мог доставить мне нужные сведения. Жители Тамбова с любопытством следили за ходом моей ревизии. В маленьком городе все известно. Мне сообщали, что

* В введении Приказов общественного призрения, учрежденных при Екатерине II (1775 г.), было народное образование, общественное призрение и народное здравие; на них же лежала забота об устройстве и содержании работных домов. После реформы большая часть их функций перешла к земствам.

губернатор говорил своим знакомым: «теперь дело идет о припеке». А несколько дней спустя: «теперь дело идет о квасе». В результате вышел, могу сказать, самый обстоятельный ревизионный доклад, который когда-либо представлялся тамбовскому собранию. Бухгалтерская часть, отчетность, припасы, продовольствие больных и умалишенных, постройка белья и одежды, ремонт зданий, все было исследовано в величайшей подробности; изложено состояние дела, указаны недостатки и средства исправления. Все были удивлены, ибо никто от меня этого не ожидал. С тех пор я получил репутацию делового человека. Доклад брата Сергея был тоже весьма ясный и обстоятельный.

Этим я не ограничился. Мне хотелось внести порядок в губернскую смету, которая была в довольно безобразном виде. По моему предложению, при открытии собрания была выбрана комиссия из десяти членов для рассмотрения смет и докладов. Она должна была по собственному усмотрению распределиться на две: на сметную и докладную. Я записался в первую и пригласил себе на подмогу самых дельных по этой части членов собрания: князя Челокаева, Садомцева, Воейкова. Я был председателем и докладчиком. Мы рассмотрели смету в мельчайших подробностях. Изучивши теоретически правила составления сметы во Франции и у нас, я приложил эти правила к губернской смете и предложил собранию принять их в руководство. Смета получила стройность и ясность. С тех пор я всякий год, и в губернии и в уезде, становился председателем и докладчиком сметной комиссии. Позднее, когда я, по своим частным обстоятельствам, устранился и даже временно вышел из земства, меня заменил Челокаев, который со страстью предался этому делу. Но года два тому назад, когда я опять вступил в губернское собрание, я снова пошел в сметную комиссию, и Челокаев, по старой памяти, предоставил мне председательство, как зачинателю этого дела.

Мне хотелось совершить еще одну, по моему мнению, необходимую работу: установить твердые и ясные правила отчетности и ревизии. Когда я вступил в ревизионную комиссию, я был как в лесу и не знал, к чему приступить. Нужен был упорный месячный труд, чтобы познакомиться с приемами. Этого нельзя было требовать от всех земских людей. Я считал необходимым выработать такие правила, чтобы каждый новый член ревизионной комиссии тотчас знал, за что ему приняться и как действовать. Но эту работу я не успел исполнить. Скоро я по обстоятельствам от ревизии отстал и потом, как сказано, временно вышел из земства. Когда я вступил в него снова, я предложил губернскому собранию избрать комиссию для составления этих правил. В нее вошли оба мои брата, сведущие по контрольной части. Но тут последовало преобразование, или, скорее, искажение земских учреждений. Было объявлено, что составление

правил отчетности и ревизии возлагается на особую правительственную комиссию, которая, однако, до сих пор ничего не выработала. Земская же комиссия, в виду этого, не принималась за работу. Так это дело и остановилось (1892). В 1870 году в губернском собрании возник политический вопрос, который косвенно был возбужден самим правительством. Последовало высочайшее повеление о замене платимых податными сословиями подушных окладов другими сборами. С этою целью в министерстве финансов был составлен проект, которым предполагалось собственно подушную подать заменить подворною, а подушный государственный земский сбор переложить на земли *. Комитет министров постановил разослать этот проект в губернии для обсуждения в земских собраниях, замечая при этом, что ни одно из положенных в основание проекта начал не предрешено правительством. От земства требовалось доставить заключение по следующим вопросам: 1) какие изменения, по местным условиям крестьянского быта каждой губернии, представляется нужным сделать в проекте, 2) какая часть общей суммы подушных сборов (подушной подати, государственного земского и общественного сборов), взимаемых в губернии, может быть переложена на земли и какая на дворы; 3) как уравнительнее распределить по уездам и волостям губернии подворный налог и указать, какие, по местным условиям, следует установить оклады подворного налога и поземельной подати в различных местностях губернии, так чтобы в общем итоге вносимая ныне по губернии сумма сборов не уменьшилась.

Вопрос касался, по-видимому, только податных сословий. Но тайная мысль правительства состояла в разложении податей на всех. В 18-й статье проекта прямо было сказано, что если поземельного налога не будет доставать на потребности, то при повышении излишек будет распределяться на все земли. В то же время последовало высочайшее повеление, в силу которого одна четверть существующего государственного земского сбора разлагалась на земли всех сословий. Очевидно, правительство било на общую меру, но не решалось прямо ее провести, а желало вызвать мнения земских собраний.

Для рассмотрения этого вопроса в губернском собрании была избрана комиссия, председателем которой был князь Васильчиков, а я докладчиком. Нам предстояло: 1) рассмотреть самые основания

---

* Подушной податью назывался установленный при Петре I (1718 г.) денежный сбор, взыскивавшийся с податных сословий: крестьян, мещан, цеховых и рабочих, от которого были освобождены привилегированные сословия, т. е. дворянство и верхи городской буржуазии. За единицу обложения принималась «душа» мужского пола; число податных душ было установлено при Петре специально проведенной переписью и затем проверялось путем периодически производившихся ревизий.

проекта; 2) указать те сведения, которые требуются от уездов для окончательного разрешения предложенных правительством вопросов.

При обсуждении оснований проекта мы отправлялись от того положения, что господствующая у нас система подушных сборов была вызвана существовавшим в России отношением между пространством и народонаселением: земли в старину было вдоволь, а население было скудное, вследствие чего земля сама по себе цены не имела и не могла нести податной тяжести, которая неизбежно падала на труд. Ныне это отношение изменилось, однако не настолько, чтобы земля могла нести главное бремя. На основании существующей арендной платы мы рассчитывали, что крестьянин с наделом в три десятины может чистого дохода от земли получить средним числом 15 рублей в год, тогда как взрослый работник без лошади в состоянии заработать от 60 до 70 рублей, а с орудиями и скотом гораздо больше. Поэтому мы полагали, что значительная часть податного бремени все-таки должна падать на труд. Но мы восставали против той формы обложения труда, которая была усвоена правительственною комиссией. Предполагавшаяся ею подворная подать была в сущности замаскированная подушная. Двор принимался только как податная единица; распределение же общей суммы по наличным работникам предоставлялось самим обществам. Это было возвращение к той системе, которая господствовала в XVII веке*. Мы признавали такое смешение двух разнородных начал совершенно ложным в теории и непригодным на практике, и предлагали взамен того отделить личную подать от подворной. Первая должна падать на всякого взрослого работника, в размере от одного до двух рублей, вторая на домовладельцев по степени их зажиточности, которая может быть удостоверена страховыми списками. Таким образом мы принимали троякий предмет обложения: землю, труд и капитал, которого признаком служит двор. «Подать, – говорили мы, – должен уплачивать каждый землевладелец, каждый домохозяин и каждый работник». С этой точки зрения мы определяли те сведения, которые требуются от уездов. Думаю и теперь, что принятые нами начала были верны.

---

* За единицу обложения двор был принят окончательно в 1670 г., причем общая сумма податных платежей для каждого округа вычислялась по числу дворов, а внутри округа она распределялась между дворами самими плательщиками, сообразно с платежными средствами каждого двора. Подворное обложение являлось переходом от обложения «посошного», при котором единицей обложения была «соха», заключавшая в себе определенное количество дворов в городах и известное пространство пашни в деревне, – к обложению подушному, при котором единицей служила «персона» плательщика.

В заключение мы высказывались насчет распределения податей на все сословия, указав на то, что этот вопрос возбуждается самим правительством.

«Комиссия полагает, – сказано было в докладе, – что земство, как учреждение всесословное, не может не сознать справедливость равномерного разложения всех налогов и повинностей; но в то же время оно не может отказаться от тех начал, которые служат основанием его существования. В земстве все сословия равно подлежат налогам, но вместе с тем все равно участвуют в установлении этих налогов и все обсуждают те потребности, на которые они даются, а сознавши необходимость налога, каждый легко и свободно несет его тяжесть. Всякое отступление от этого коренного закона повлечет за собою сомнение и лишит земские учреждения возможности сознательно заведовать своим хозяйством. Административное распоряжение, сделанное в Тамбовской губернии по поводу той четвертой части государственного земского сбора, которая отнесена в нынешнем году на земли всех сословий, служит тому наглядным примером. В прошедшем трехлетии, с губернии ежегодно взималось 858 000 рублей государственного земского сбора. Казалось бы, что четвертую часть этого сбора должна составлять сумма в 214 500 рублей, которую и следует разложить на все земли. Между тем, циркулярным предложением г. министра финансов от 12 июня предписано было всю взимавшуюся прежде сумму оставить подушным окладом на крестьянах, а сверх того сумму в 440 000 рублей разложить на все земли губернии. Таким образом, по смыслу предложения г. министра финансов, наша губерния должна уплачивать в полтора раза более, нежели прежде. Крестьяне не только не облегчены, но обременены новою тяжестью, падающею на все земли; остальные же сословия должны уплачивать подать, которая простирается от $8^1/_4$ и даже до $11^3/_4$ коп. с десятины. По каким соображениям и по какому расчету мы обложены таким образом, остается для нас сокровенным. Невольно приходишь к тому заключению, что такой способ обложения идет в разрез с утвержденным уже правительством порядком вещей, по которому равносильные этому налогу земские сборы подчинены всестороннему обсуждению земских собраний.

На основании всего вышесказанного, комиссия, сознавая последовательность и единство действия, при которых совершены все коренные преобразования последнего времени, пришла к тому убеждению, что и в настоящем случае правительство несомненно будет продолжать развитие признанных им уже начал и совершит эту новую реформу в духе общего законодательства о земских учреждениях».

Первоначально к этому заключению прибавлены были некоторые общие соображения насчет связи податного вопроса с консти-

туционным; но Васильчиков решительно воспротивился помещению их в доклад. Я предлагал включить их не от имени комиссии, а как высказанное в ней мнение некоторых членов. Он уперся и объявил, что скорее выйдет из комиссии, нежели подпишет подобный доклад. Пришлось уступить. Я изложил свои мысли в виде приложенного к докладу особого мнения, которое было подписано двумя членами: мною и Вышеславцевым. В таком виде я прочел его в собрании. Помещаю его здесь вполне.

«Двое из членов комиссии сочли нужным прибавить к этому еще следующие соображения, имеющие более общий характер. Уравнение тяжести есть, без сомнения, требование справедливости; но справедливость удовлетворяется только тогда, когда обязанностям соответствуют и нрава. Равенство бесправия не есть требование правды. Успех гражданственности состоит не в умалении, а в возвышении права. Ныне сословия в России разделяются на податные и неподатные. На первых лежит все бремя государственных налогов, которыми они облагаются без всякого с их стороны участия. Последние же изъяты от государственных податей, но в земских и сословных учреждениях они уплачивают те сборы, на которые они добровольно изъявили свое согласие. Обращение неподатных в податных было бы очевидно умалением, а не возвышением права. Развитие русской гражданственности на тех началах самоуправления и самодеятельности, которые насаждены великими преобразованиями настоящего царствования, может состоять единственно в поднятии низших к уровню высших, то есть, в призвании всех к участию в обсуждении платимых ими податей. Привилегии должны уступить место общему праву. Все значение привилегий заключается в том, что через них вырабатывается право, и если бы высшие сословия сошли с своего высокого места, не приобретши ничего для всех, они не исполнили бы своего исторического призвания,

Такое развитие учреждений вытекает из самого существа податных обязанностей, падающих на различные классы общества. Пока подати в государстве лежат на одних низших сословиях, обложению есть предел, установленный самою природою вещей. С низших сословий нельзя брать более того, что может платить бедный. Но как скоро податью облагаются зажиточные классы, этот предел исчезает. Тогда нужны гарантии другого рода. Они могут состоять только в устройстве податной системы на тех началах, которые положены в земских учреждениях. Низшие сословия безропотно несут все налагаемые на них тяжести, потому что они в одиночестве к государственной самодеятельности неспособны. Но как скоро податью облагаются высшие сословия, так естественно в них пробуждается желание знать, что и зачем они платят, и самим участвовать в распоряжении своими сборами. Вся история доказывает, что эти два вопроса не-

разрывно связаны друг с другом. Везде, где высшие сословия устранялись от участия в обсуждении податей, тем они, вместе с тем, освобождались от платежа, и, наоборот, всеобщая податная обязанность непосредственно влекла за собою и право.

От правильного решения этих вопросов зависит вся будущность нашего отечества. Мы не хотим предупреждать событий; мы во всем полагаемся на благую волю, обновившую Россию. Но, призванные к выражению своих мнений на счет предложенных нам вопросов, мы не можем не выразить глубокого убеждения, что уравнение податей должно совершиться на земских началах, С водворением справедливости должно идти рука об руку развитие свободы. Этот путь, прозреваемый нами в будущем и предначертанный в мудрых начинаниях монарха, составляет залог всего нашего благоденствия».

Вопрос был щекотливый, поэтому решено было, с общего согласия, что доклад и приложенное к нему мнение прочтутся перед самым закрытием собрания, которое, не пускаясь в прения, выберет новую комиссию для разработки данных, требуемых от уездов. В Петербурге наше заявление было принято неблагосклонно. Министр внутренних дел Тимашев рассказывал, что я требую конституции.

Конституции я не требовал, но указывал на связь податного вопроса с конституционным. Это я старался разъяснить своим московским приятелям еще во времена дворянских конституционных манифестаций. Восставая против тогдашних стремлений как несвоевременных, я говорил им: «Дайте змее съесть одного кролика; когда она его переварит, дайте ей другого. Но если вы ей дадите двух зараз, она лопнет. Со временем непременно возникнет податной вопрос; тогда я буду с вами». Он возник ранее, нежели я ожидал, и я сделал свое заявление, не думая через это достигнуть практической цели, но считая необходимым выяснить, как правительству, так и обществу, тесную связь обоих вопросов.

Но когда я после тамбовского губернского собрания приехал в Москву, я нашел там совершенно другое настроение. Под влиянием славянофильских идей демократического равенства под самодержавною властью московская комиссия била прямо на подчинение всех сословий податному бремени, без всяких гарантий. Столица увлекла за собою провинцию, чем оказала плохую услугу России. Вред славянофильского направления оказывался здесь на практике. Выше демократического абсолютизма, т. е. худшего образа правления, какой есть на свете, они ничего не видели. В Москву частными письмами созваны были представители земства отовсюду. Собралось более тридцати человек. Тут я в первый раз увидел Александра Илларионовича Васильчикова, который в то время уже подвизался на литературном поприще и который поразил меня своею важною пустотой. Он воображал себя авторитетом и, кроме вздора ничего

не говорил. Совещание происходило на квартире Петра Алексеевича Васильчикова, в доме графа Орлова-Давыдова на Страстном бульваре. Председательствовал Юрий Федорович Самарин. Прения были оживленные. Я доказывал, что высказаться в пользу уравнения податей, без всякой гарантии, значит просто открыть свой карман и сказать правительству: черпай оттуда все, что угодно. Мне возражали, что сначала надобно удовлетворить справедливость, а там уже само собою, когда будут бить по карманам, возникнут требования гарантий. Я ответил, что тогда будет поздно; общество, которое так легко жертвует своими правами, никогда не решится требовать новых. Наконец, Самарин поставил на голоса вопрос: следует ли уничтожить различие между податными и неподатными, между черными и белыми? Я отвечал, что готов подать голос за уничтожение этого различия, но с тем, чтобы черные сделались белыми, а никак не с тем, чтобы белые сделались черными. На это Кошелев отвечал: «Нет, вот видите, так как мы не можем быть все беленькими, так давайте быть все черненькими». Это был достойный эпиграф к трудам московской податной комиссии. И огромное большинство собрания с полною готовностью пошло в черненькие. Случилось, что в этот самый день я обедал у Пушкина с Голохвастовым. После обеда мы с Голохвастовым вышли вместе, взяли извозчика и поехали в заседание. Видя общее настроение, которое уже достаточно высказалось накануне, я ему заметил: «Вся конституционная партия в России сидит на этих дрожках». Нашелся, однако, третий, который не только подал голос вместе с нами, но и сказал сильную речь в пользу конституционных гарантий. Это был председатель Владимирской губернской управы, Петр Иванович Николаев. Остальные, помнится, все были за безусловное очернение.

Но можно ли было ожидать, что земские люди будут стоять за дворянские права, когда само московское дворянство, столь недавно еще волновавшееся конституционными вожделениями, рукоплескало отнятию присвоенных ему дворянскою грамотою прав? В это самое время вышел новый Рекрутский устав, которым дворянство, наравне со всеми прочими подданными империи, подвергалось рекрутской повинности. Это была отмена основной статьи жалованной дворянской грамоты, которою дворянству навеки веков даровалась свобода от обязательной службы.* При разрушении государственно-

* До 1762 г. права дворян на землю и на крестьянский труд ставились в связь с обязательной службой, военной или гражданской; 18 февраля 1762 г. указом Петра III дворянство было освобождено от обязанности служить, при чем вотчинные права дворян были оставлены неприкосновенными. Жалованная грамота Екатерины II, изданная в 1786 г. и составленная под сильным давлением дворянства, подтвердила за ним как свободу служить или не служить, так и неприкосновенность его вотчинных прав.

го строя, опиравшегося на сословные различия, и водворении на место его порядка, основанного на всеобщей свободе и равенстве, эта льгота, рано или поздно, конечно, должна была пасть. Нежелательно было уничтожение исторически укоренившейся свободы без замены ее другою, высшею. С точки же зрения чисто дворянской, подчинение благородного сословия рекрутчине, наравне с мужиками, шло наперекор всем понятиям о дворянской чести, которые установились в течение столетия. Как же отвечало на это русское дворянство? Московским губернским предводителем был в это время князь Александр Васильевич Мещерский, женатый на дочери графа Сергея Григорьевича Строганова, человек пустой, тщеславный, ограниченный и интриган. Он был одним из корифеев конституционного движения, в котором он видел способ связать настоящее с прошлым; за это он и был выбран губернским предводителем. Но теперь явился случай подслужиться к правительству, и он не преминул им воспользоваться. От московского дворянства послан был благодарственный адрес за подчинение дворянства рекрутскому набору наравне со всеми; как будто в прежнее время дворяне лишены были возможности добровольно исполнять свои обязанности перед отечеством! Вслед за Москвою, по принятому обычаю, посыпались адресы и от других дворянских собраний. В подобных случаях всякий у нас боится отстать и навлечь на себя выражение немилости. Это не помешало тому же князю Мещерскому в новое царствование, при ином обороте дела, в качестве полтавского губернского предводителя, предложить адрес, в котором говорилось об унижении дворянства в царствование Александра II и заявлялась горячая благодарность новому царю за возвещенную им дворянскую эру. К великой его досаде, один из полтавских дворян язвительно напомнил ему его прежние подвиги, подняв на обеде бокал за его здоровье, как за одного из деятелей в преобразованиях прошедшего царствования. Очевидно, конституционные стремления московского дворянства были чисто напускные. Это было минутное раздражение за освобождение крестьян; скоро оно рассеялось, не оставив по себе и следа. Сознание права не находило почвы в России. Века холопства не дали развиться этому началу, и проповедь, которая в немецкой сфере нашла бы самую горячую поддержку, у нас звучала в пустоте.

Петр Федорович Самарин уговорил меня написать по этому поводу статью о конституционном вопросе в России. Он брался напечатать ее за границею. Статья действительно была написана. Я развивал в ней ту мысль, что к представительному порядку само собою приходит всякое образованное общество; что и в России он должен явиться завершением всех произведенных реформ, которые служат ему приготовлением; но, убежденные в необходимости постепенного развития, мы отлагали разрешение этого вопроса до будущего

царствования, довольствуясь пока усвоением совершенных преобразований; ныне, однако, возбужденный самим правительством податной вопрос вызывает за собою вопрос конституционный. Я указывал на связь обоих, рассматривал состояние русского общества и способ, каким можно постепенно ввести представительные учреждения. Эта статья не была, однако, напечатана, она осталась в портфеле Самарина. Я на это не сетовал, ибо считал возбуждение вопроса бесполезным, особенно после того, как податная реформа канула в воду. Но я обещал себе впредь не тратить времени на писание статей по чужой инициативе.

Эта зима была последняя, в которой я всецело отдавался земскому делу. В 1871 году совершился важнейший поворот в моей жизни. Я женился. Это было осуществление самых заветных моих мечтаний. Я чувствовал, что я соединяюсь с тою, которую я избрал, или навек останусь одиноким. И мечта меня не обманула. Много пришлось нам пережить вместе тяжелого горя; но если, после ранней молодости, мне довелось испытать минуты радости и блаженства, я обязан ими той, которая свою судьбу связала с моею. На земле нет иной полноты счастья, кроме того, которое дается семейною жизнью.

Свадьба происходила в Москве, 25 апреля, в университетской церкви. Тут были все мои московские друзья и многие из родных. Щербатов был посаженым отцом; в церкви присутствовали Николай Алексеевич Милютин, который в то время больной доканчивал свой век в Москве, вся семья Самариных и Марья Федоровна Соллогуб, Черкасские, Станкевич, Кетчер, Соловьев, старый друг нашей семьи Антон Аполлонович Жемчужников. Дмитриев был у меня шафером вместе с Владимиром Самариным и братом Сергеем. В тот же вечер мы поехали в имение жены, Полтавской губернии, Золотоношского уезда, село Вознесенск, которое досталось ей по разделу после смерти родителей. Первая остановка была в Киеве. Тут я впервые увидел этот перл русских городов, расположенный на высоком берегу Днепра, с старинными златоглавыми церквами, утопающий в зелени, с стройными тополями, с прелестным видом на окрестность. Это была лучшая пора для Киева. С высоты, где стоит изящная церковь Андрея Первозванного, можно было видеть Днепр, разливающийся на десятки верст, сверкающий на солнце или гладкий, как зеркало, в тихое апрельское утро, и за ним простирающиеся в бесконечную даль леса и селения. Отсюда мы в старинном грузном дормезе, запряженном семью лошадьми, отправились по левому берегу Днепра на юг, через Переяславль, некогда стольный город Всеволода Ярославича, ныне ничтожный уездный городок. В Вознесенске я нашел прекрасную барскую усадьбу, большой дом с красивой архитектурой, окруженный великолепными многовековыми дубами.

Но кругом была чистая, гладкая, голая степь, с мелькающими кое-где деревнями и помещичьими усадьбами. Главное же, был недостаток воды; небольшой пруд через несколько лет совсем высох. Мы пробыли тут около трех недель. Погода все время стояла мрачная, холодная и сырая; но какое дело до погоды, когда сердце преисполнено счастьем?

Отсюда мы отправились в Тамбовскую губернию. При недавно построенных железных дорогах передвижения были не затруднительны. Я хотел представить жену моей матери, которая в это время переехала в Караул. Когда мы выехали из Вознесенска, дубы едва начинали распускаться; проезжая через Орловскую губернию, мы видели еще совсем голые ивы. Но когда мы 22 мая приехали в Караул, весна была в полном блеске. Густая и свежая зелень покрывала деревья; сирень пышно цвела, наполняя воздух благоуханием. Был прелестный, тихий и теплый майский вечер. Караул предстал нам во всей своей красе, как бы приветствуя молодую хозяйку, которая призвана была внести в него новую жизнь. На крыльце нас встретила слепая мать с иконою и священником, окруженная всеми домашними. Двор был полон народа; вся деревня была собрана, и мать представила нас миру как будущих хозяев Караула. Встреча была задушевная и трогательная. Это была одна из тех редких минут в жизни, когда все, что наполняет человеческое существование, и прошедшее и будущее, сливается в один радостный восторг, в одно невыразимое чувство бесконечного блаженства.

Пробыв в Карауле около месяца, мы опять поехали в Малороссию. Мне нужно было принять в свое управление полтавское имение, познакомиться с тамошним хозяйством, о чем я в первые дни после свадьбы, конечно, не думал. Жена повезла меня и по своим родным. Мы пожили некоторое время в Михайловке, Лебединского уезда, имении, которое некогда принадлежало Полуботку и от него непрерывною линией перешло по наследству моей теще, а после нее досталось брату жены, Василию Алексеевичу. Там, среди очаровательной природы и барского обилия, протекли счастливые дни ее детства. Громадный зал наполнен портретами предков. Возле усадьбы мне показали исторический дуб, под которым, по преданию, пировал Петр Великий после полтавской битвы; жена помнит еще прибитый к дереву деревянный орел, ныне сделавшийся жертвою тления. Мы посетили и родовое имение Капнистов*, прелестную Обуховку, воспетую дедом жены, Василием Васильевичем. Приют-

* Приютный дом мой под соломой
По мне ни низок, ни высок;
Для дружбы есть в нем уголок,
А к двери, знатным незнакомой,
Забыла лень прибить замок.

ный дом его под соломой, к которому лень забыла прибить замок, возобновлен в прежнем виде. Внизу извилистый Псел течет под зелеными сводами, образуя острова, которых пышная зелень переплетается над его прозрачными струями. По берегам стоят громадные серебристые тополи в несколько обхватов, перед которыми старик князь Репнин проходя мимо, всегда снимал шапку, как бы воздавая честь могучей старине. Недалеко оттуда лежат Сорочинцы с знаменитою ярмаркою. Мы проезжали и через Миргород, полный воспоминаниями Гоголя. Мне все хотелось спросить: где дома Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича? Проезжали также через Кибенцы, где старик Трощинский, вышедши в отставку, жил на покое после многолетних государственных трудов. Мы вошли в старый запустелый дом и видели тот самый диван, где умер Василий Васильевич Капнист, приехавший навестить соседа. Все в этой стране полно литературных воспоминаний. И все, вместе с тем, дышит какою-то поэтическою негой. Я увидел лучшие места Малороссии, берега Псела, с бесконечно разнообразными и красивыми видами, с селами, утопающими в зелени, с неправильно разбросанными белыми хатами, окруженными садиками, с многочисленными помещичьими усадьбами, возвышающимися среди стройных тополей и нежной зелени белых акаций; я увидел горы с разноцветными песками, поля, тщательно обработанные плугом, старых чубатых хлопцев и грациозных малороссиянок, украшенных венками цветов на голове. Этот волшебный край, с мягким климатом, с тучною почвою, представляется одним из самых привлекательных уголков русской земли. И на природе, и на населении лежит печать мирного приволья и какой-то сладостной лени.

К осени мы вернулись в Караул, который и по местоположению и по устройству не уступал этим очаровательным местам. Я мечтал поселиться здесь и зажить помещиком, как жил мой отец, с меньшими средствами, однако достаточными для безбедного существования в деревне, для приема родных и друзей. Я был тут в родной среде и мог, занимаясь хозяйством и участвуя в местных делах, пользоваться достаточным досугом для продолжения ученой работы, которая составляла все-таки главную цель моей жизни. Но прежде нежели я имел возможность исполнить свои желания, пришлось совершенно неожиданно, по земским делам, провести зиму в Петербурге. Я был выбран директором Тамбово-Саратовской железной дороги от Кирсановского земства.

Это была пора железнодорожной горячки. Уже с самого начала царствования Александра II, когда для частной предприимчивости открылось широкое поприще, стали возникать общества для построения железных дорог. Первое образовавшееся частное общество получило концессию на дорогу от Москвы до Саратова. Сначала,

однако, дела его шли плохо. Московский банкир Марк, который был главным акционером, разорился на этом предприятии. Но затем оно перешло в руки фон-Дервиза, который дал ему совершенно другой оборот. Не только он достроил участок от Москвы до Рязани, которым вследствие безденежья ограничилась старая компания, но он сам взял концессию на следующий участок, от Рязани до Козлова, и на этом нажил многие миллионы. Это было вполне заслуженное богатство: он был пионером и проложил путь. За ним кинулись и другие; в дело вмешались земства, которые хлопотали о проведении дорог по своим губерниям. Но с выгодностью дела росли и неправильные расходы. В Петербурге открылся настоящий рынок. Концессии получали те, которые умели деньгами и интригами привлечь на свою сторону влиятельных лиц. Между тем, как недавние преобразования более и более искореняли старую язву взяточничества в провинции, в высших бюрократических сферах оно получило страшное развитие. Для людей, ищущих заработать деньгу, соблазн был громадный. «Тут сидишь себе всю жизнь, – говорил мне Садомцев, – работаешь, как вол, и наколотишь, наконец, каких-нибудь десять, двадцать тысяч; а приедешь, в Петербург, тебе говорят: что это за пустяки? Можно в несколько дней получить сотню тысяч; умей только обделать дело».

И многие земцы поддались искушению. Первый пример подал орловский губернский предводитель Шереметев. Пользуясь связями, он выхлопотал для орловского земства концессию, которую передал Губонину, с уплатою миллиона земству и почти такого же магарыча себе. Я знал это из достоверных источников. Даже правительство было возмущено и несколько раз отказывало ему в утверждении в должности губернского предводителя. Но орловское дворянство с настойчивостью, достойною лучшего дела, выбирало его вновь, пока, наконец, правительство уступило. И чем же отплатил он своим избирателям? После первого земского собрания, в котором он, в качестве председателя, проявил всю свою деловитость, покончив с делами, запущенными в течение нескольких лет, он вдруг подал в отставку, как бы желая доказать, что он своим местом вовсе не дорожит. Когда мне сообщил это его тесть, Соловой, я сказал, что это пощечина не правительству, которое его утвердило, а дворянству, которое его выбирало. Впоследствии он понял, что сделал большую глупость, но было уже поздно. Дворяне не захотели выбирать его вновь.

В Тамбове искусителем явился Волконский. С своими сподвижниками, Садомцевым и Сальковым, они затеяли построить железную дорогу от Борисоглебска до станции Грязи на Козлово-Воронежской дороге. Осуществить это предприятие было тем труднее, что правительство в это время, вследствие финансовой скудости, при-

остановилось с выдачею гарантий и отказывало всем. Тамбово-Саратовская железная дорога была давно намечена в правительственных предположениях. Представителям местностей, хлопотавшим о проведении этого пути, было даже формально обещано, что он будет первым поставлен на очередь, как скоро финансовые средства откроют возможность гарантировать железнодорожные предприятия. Но, пока, дело стояло, и никакое общество не могло составиться. Как же, при таких условиях, можно было выхлопотать концессию на совершенно второстепенный участок от Борисоглебска до Грязей? Борисоглебцы изобрели земскую гарантию, и на этом основании правительство не только дало им концессию, но само взяло у них акций на несколько миллионов.

В 1868 году, когда я вступил в земство, это дело было только что сделано. Случилось, что на именинах моей двоюродной сестры Кондоиди я съехался у них в деревне с местными борисоглебскими дельцами. После обеда, за бокалом вина, я пристал к ним с вопросом: «Скажите пожалуйста, как вы получили эту концессию? Ведь не может же быть, чтобы правительство, которое в эту минуту отвечало отказом на ходатайства по важнейшим дорогам, из каких-либо видов общего блага дало вам концессию на дорогу из Грязей в Борисоглебск»? После некоторого колебания они, наконец, признались: «Ну, что тут таить! Дело было заранее обделано между инженером Садовским и Рейтерном. Когда мы явились к министру, он прямо сказал нам: я даю вам концессию и беру для казны акций на три миллиона». «Всего более меня удивило одно обстоятельство, – прибавил Кондоиди. – Заявив министру нашу глубокую благодарность за оказанную милость, я сказал ему: «Ваше высокопревосходительство, я имел честь благодарить Вас в качестве борисоглебского дворянина; теперь позвольте мне в качестве тамбовского губернского предводителя, ходатайствовать о другой дороге, весьма важной для губернии, о Козлово-Тамбовской». «Этой я не могу разрешить, – отвечал министр, – она гарантируется только двумя уездами». «Помилуйте, ваше высокопревосходительство, та дорога, которую Вы нам разрешили, гарантируется только одним».

Разумеется, и Тамбово-Козловская дорога была разрешена; давши концессию одному уезду, нельзя было отказать другим. Я потом рассказал этот анекдот Волконскому по поводу похвал, которые он расточал Рейтерну; он ужасно рассердился. «Должно быть, мои товарищи были очень пьяны, если они сказали вам такую штуку», – воскликнул он. Он мог сердиться на разоблачение, ибо сам получил весьма порядочный куш. Впоследствии мне случилось встретиться с Александром Борисовичем Казаковым, который вместе с Губониным был строителем Грязе-Царицынской дороги. «Волконский не может при мне отрицать, что он получил от меня акции даром», –

сказал он мне. На эти акции было куплено большое имение Романовна в Балашовском уезде.

Самое замечательное в этом деле было то, что гарантия, которую брало на себя Борисоглебское земство, была чистою фикциею. Всякий человек, сколько-нибудь знакомый с положением местного хозяйства, мог знать, что уезд не в состоянии платить шестьдесят копеек с десятины, как они обязались. И точно, как скоро дорога была построена, те же борисоглебцы явились к Рейтерну с заявлением, что они такой громадной суммы платить не в силах. «Сколько же вы можете платить»? – спросил министр. – «Четыре копейки». – И гарантия с шестидесяти копеек тотчас была сбавлена на четыре. Так у нас строились железные дороги. Я как-то в разговоре с Садомцевым смеялся над этим способом обделывать дела. «Что же? уезд должен быть нам благодарен», – отвечал он.

В то же время была построена и Тамбово-Козловская дорога. Здесь главным деятелем был козловский уездный предводитель Горсткин, который на ней нажил себе состояние. Затем тамбовский губернский предводитель Башмаков выхлопотал себе концессию на проведение линии от Ряжска на Моршанск и далее на Сызрань, на этот раз даже с правительственною гарантиею. У министра внутренних дел Тимашева было огромное имение в Оренбургской губернии, откуда нужен был сбыт. Естественно, что эта дорога была сочтена существенно важною для государства. Одна Тамбово-Саратовская дорога обреталась в накладе. Не было высокопоставленного лица, которого интересы были бы тут замешаны; не было и ловкого дельца, который бы сумел обработать дело. Земские люди хлопотали, но взяток давать было не на что, и вопрос не двигался. В Комитете министров было даже постановлено, что эта дорога оказывается лишней, так как уже проводятся две параллельные линии к Волге: от Ряжска до Сызрани и от Грязей до Царицына; зачем же нужен еще путь к Саратову? Для нас этот вопрос был существенно важный, ибо с проведением означенных двух дорог наши соседи получали перед нами громадное преимущество. Чтобы иметь возможность с ними конкурировать, надобно было во что бы то ни стало выхлопотать концессию. Волею или неволею, пришлось прибегнуть к земской гарантии. Мы были приперты к стене, и другого исхода не оставалось. Саратовская губерния, город Саратов и Кирсановский уезд вошли с ходатайством о разрешении им гарантировать дорогу, и концессия была дана. Это было как раз перед самым моим вступлением в земство.

Уполномоченным от кирсановского земства был мой двоюродный брат, Николай Бологовский, человек умный и деловой, но в других отношениях не совсем надежный. Дорога была построена, однако на весьма невыгодных для земства условиях. В концессии

стоимость ее была определена по 81 000 рублей на версту, сумма чрезвычайно высокая, и вдобавок при постройке не были даже соблюдены установленные в концессии условия, были уклоны, значительно превышающие норму, что должно было невыгодно отразиться на эксплуатации. Между строителями не было, в сущности, ни одного настоящего дельного человека. Деньги бросались зря, а толку было мало. Несмотря на полученные громадные суммы, ни один из них ничего не нажил. Гладины даже объявили себя банкротами, хотя был слух, что один из них кой-что приберег. Зато земские уполномоченные поживились. Представитель саратовского земства Лупандин купил имение в три тысячи десятин в Подольской губернии, куда и удалился. Бологовской впоследствии приобрел большое имение в Саратовской губернии. Все это нашему земству было известно; оно видело у себя на глазах и безобразное хозяйничанье, и постоянные кутежи. Кирсановцы смутились. Они влезли в дело, им совершенно неизвестное, и за которое они могли сильно поплатиться. Своему уполномоченному они перестали доверять. При выборах в директоры составившегося по постройке дороги правления он не был избран. Нужен был человек толковый и верный, который мог бы выяснить дело. Мои ревизии и доклады в губернском собрании побудили всех обратиться ко мне. Ехать в Петербург и погрузиться в совершенно незнакомые мне железнодорожные дела было мне вовсе не по вкусу. Однако, видя затруднение собрания и зная, что это вопрос для земства весьма существенный, я не счел себя в праве отказываться. Я объявил, что приму поручение на один год, постараюсь изучить дело и доложить о нем земскому собранию, а затем предоставлю ему выбрать другого. Так и было сделано. Осенью 1871 года я поехал в Петербург в качестве директора Тамбово-Саратовской железной дороги от Кирсановского земства.

Перед отъездом со мною случился эпизод, характеризующий судебные нравы того времени. Я был назначен присяжным в ту самую пору, как мне нужно было ехать в Петербург. Вообще, я от должности присяжного не уклонялся. Напротив, я вспоминаю, в особенности о первом разе, когда мне довелось заседать в суде, как об одной из хороших минут моей жизни. Так недавно еще в России, можно сказать, вовсе не было суда; он заменялся крючкотворством, взяточничеством и произволом. А тут я увидел процедуру, удовлетворяющую всем высшим требованиям правосудия, со всеми возможными гарантиями для подсудимого; представители общества призывались к участию в приговоре, и все это происходило в отечестве, которым мы могли в этом случае гордиться. Но на этот раз у меня было на руках общественное дело, не терпящее отлагательства. В это время в правлении происходили расчеты со строителями, и я, как представитель кирсановского земства, на которого возложена была обязанность

разобрать дело, не мог при этом не присутствовать. Я поехал в Тамбов к председателю окружного суда и изложил ему свои обстоятельства. Он сказал мне, что я могу прислать заявление, которое будет сочтено законным поводом к неявке. Я так и сделал. Однако выехавшее в Кирсанов отделение окружного суда не признало приведенной причины уважительною и оштрафовало меня на сто рублей. Я подал жалобу в Саратовскую судебную палату, но та утвердила постановление суда на том основании, что земское дело не казенное, а частное! Далее я тяжбы не повел.

Переселившись на зиму в Петербург, я весь погрузился в железнодорожные счеты и расчеты. Правление состояло из пяти членов: двух директоров от гарантирующих земств, Лупандина и меня, двух от акционеров, англичан Гвейера и Гранта, и одного от строителей, Пахитонова. Последний впрочем никогда почти не ездил в заседание. Дело вел главным образом председатель Лупандин, человек смышленый и толковый; но он скоро выбыл: саратовское земство удалило его, так же как мы удалили Бологовского. На место его был прислан совершенно пустой человек, Коваленков. Мне предлагали председательское место, но я отказался, объяснив, что я долее года в правлении не пробуду и не имею притом ни малейшего желания отсчитываться перед предстоящим первым акционерным собранием: это должны делать те, которые вели дело с начала. На место Лупандина председателем правления был выбран Гвейер, занятый многими другими делами и имевший в Саратовской дороге весьма второстепенный интерес. Главным дельцом остался Грант, человек, приобретший на Волжском пароходстве репутацию высокой честности и деловитости, но состарившийся и оглохший. Многое поэтому лежало на правителе дел Струговщикове. Это был красивый мужчина, разыгрывавший роль светского льва в средних петербургских гостиных, а вместе подвизавшийся на чиновничьем поприще. Вскоре после моего выхода из правления обнаружилось, что он пользовался железнодорожными деньгами для собственных надобностей. Сделать это было тем легче, что бухгалтерия была в полном беспорядке. Настоящий бухгалтер умер; место его занял его помощник, Куричанов, который дела вовсе не понимал. Я не раз пытался разобраться в этом хаосе, но не мог добиться от него толку, мне случалось задавать ему разные расчеты, и он делал их навыворот. У нас по этому поводу были постоянные споры с Грантом. Тот жаловался на леность Куричанова: «Борис Николаевич, он не хочет работать», – говорил он. «Александр Александрович, он не может работать», – отвечал я. «Пока у вас будет такой бухгалтер, ничего путного выйти не может». Действительно, перед акционерным собранием правление должно было нанять двух бухгалтеров со стороны, чтобы распутать счета.

При таких условиях приходилось изучать дело, мне совершенно незнакомое. Я целое утро сидел в правлении, на дом брал старые журналы, дела и счеты, старался ознакомиться со всеми подробностями железнодорожного хозяйства. Два раза я ездил в Саратов, чтобы видеть ход дела на местах, где оно под ведением дельного управляющего, Бунге, шло удовлетворительно. Я ездил и на железнодорожные съезды, которые произвели на меня впечатление собрания людей толковых и смышленых, основательно знакомых с практикой, хорошо понимающих свои интересы, но для которых не только интересы публики были вопросом совершенно второстепенным, но и собственные обязательства становились ничего не значащими, как скоро они противоречили выгодам. Между прочим, постановлениями съезда и частными соглашениями была установлена норма для обмена вагонов между соседними дорогами, причем за излишек была положена плата. В силу этих обязательств, при обмене с Тамбово-Козловскою дорогою нам приходилось получать довольно значительную сумму, но нам в ней упорно отказывали, и железнодорожные тузы, которым я на съезде представил это дело, советовали мне не настаивать, ибо соседним дорогам выгоднее жить в мире, нежели во вражде.

В Петербурге мне пришлось познакомиться и с бюрократическими порядками, дожидаться аудиенций у министров путей сообщения и финансов, мыкаться по министерским канцеляриям и департаментам, где я нашел крайнюю рутинность, полное равнодушие к делу, а в руководителях, пользовавшихся известною репутациею, даже удивительное тупоумие. Все это было мне так противно, что я обещал себе впредь держать себя как можно дальше от этих сфер. Но когда я впоследствии был выбран московским городским головой, пришлось опять проходить через всю эту канитель. Результатом моей годовой работы был доклад, который я осенью 1872 года представил кирсановскому собранию. Он стоил мне много труда, ибо я все данные должен был собрать и группировать сам, без малейшей помощи от кого бы то ни было. Я излагал в нем историю и настоящее состояние дела, представлял все расчеты, входил в хозяйственные подробности, делал сравнение с другими дорогами, рассматривал виды на будущее и в заключение советовал последовать примеру Борисоглебского земства и хлопотать о сбавке гарантий, с каковою целью мною уже были начаты переговоры с министром финансов. Перечитывая теперь этот доклад, нахожу его обстоятельным и дельным. Им могли бы удовлетвориться даже люди, хорошо знакомые с железнодорожным хозяйством. Кирсановское собрание осталось им вполне довольно, с благодарностью приняло мою отставку и выбрало на мое место Олива, который в это время переселялся в Петербург.

Однако совету моему оно не последовало вследствие малого знакомства с воззрениями и условиями петербургских сфер. Паши земцы вообразили, что если борисоглебцам сразу сбавили гарантию с шестидесяти копеек на четыре, то нас должны совершенно от нее избавить, так как не были выполнены существенные условия, на которых мы ее давали. На этом мы и уперлись. Мы собрали гарантию, но ее не выплачивали, а оставляли в казначействе в виде запасного капитала, что и послужило главным поводом к растратам Пенина. Началась также война между земством и акционерами. В Саратове директором был выбран дельный и деятельный Штрик, который неутомимо подвизался на этом поприще. Но так как в правлении земские директоры были двое против трех, то ничего из этого не выходило. Хлопоты о снятии гарантии также не повели ни к чему. Успех в петербургской бюрократической среде зависит вовсе не от правоты дела, а от умения подладиться и заинтересовать кого следует. Пришлось, наконец, пойти на условия менее выгодные, нежели те, которые мы могли получить вначале, Только в прошлом 1892 году, по случаю голода, гарантия была с нас совершенно снята. Так прекратилась эта странная аномалия в русском железнодорожном хозяйстве.

Погруженный в железнодорожные дела, я в Петербурге мало ездил в общество. Однако пришлось витать и в высших сферах. Нас пригласили на бал в Аничков дворец, где обитал наследник. Жена пользовалась репутациею красоты, и ее хотели видеть. Из дальнего угла, где она стояла, не желая соваться вперед, ее вытребовали на середину залы для представления императрице, которая была с нею чрезвычайно любезна. Немедленно даже пожилые дамы начали за нею ухаживать. Затем вытребовали и меня. Императрица сказала мне, что она очень жалела о том, что я оставил университет. Я отвечал, что оставаться дозволительно только там, где можно оставаться с честью. Государь тоже подошел ко мне и сказал несколько любезных слов. Тем и ограничились наши представления. У Елены Павловны в начале зимы были довольно частые вечера по случаю приезда пруссаков, которых надобно было забавлять; позднее она мало принимала, ибо стала уже прихварывать. Были большие вечера и у графини Протасовой*. Но все эти светские выезды, визиты и разговоры нагоняли на меня невыносимую скуку. Я не слыхал ни

* К. Головин в своих записках («Мои воспоминания», т. I, СПБ. – М.) так описывает салон Н.Д. Протасовой -Бахметевой: «Дом графини Натальи Дмитриевны был настоящим местом священнодействия. И обедни в ее крошечной церкви, и ее утренние приемы по вторникам, и дававшиеся у нее балы – носили полурелигиозный характер. Здесь был свет по преимуществу, и его центральная точка, главный алтарь ее культа. В заключительной сцене своего «Дыма» Тургенев, кажется, намекал именно на этот дом, называя его «храмом».

одной живой мысли, ни одного путного слова. Пустота, пустота бесконечная и однообразная, вот все, что я тут находил. Наполнявшие ее придворные, чиновные и светские интересы нисколько меня не занимали, а были мне скорее противны. Самая политическая атмосфера была в это время удушливая и гнетущая. О реформах не было уже и помину; вызванное ими юношеское одушевление исчезло. Это был самый разгар Шуваловской реакции, царствование Петра IV, как его тогда называли*. В сущности серьезных реакционных мер не принималось; государь не допустил бы искажения собственного своего дела. Но оно было вверено людям, которые портили его по мелочам, исподтишка. Над всем ощущалась какая-то тяжесть. Люди, сочувствовавшие преобразованиям, поникли головой и молчали. С петербургским ученым и литературным миром я не имел сношений. Я считался консерватором, следовательно, врагом. Присматриваясь в течение многих лет к петербургским жителям, я разделял их на две главных категории, между которыми немного было посредствующих звеньев: на беснующихся и пресмыкающихся. Ни с теми, ни с другими я не имел ничего общего. Для последних я был слишком независим, для первых не довольно яростен. В Петербурге не только не с кем было сойтись, но почти не с кем было перемолвить слово. Из прежних моих друзей остались весьма немногие. С Кавелиным я давно перестал видаться; Николай Алексеевич Милютин в эту самую зиму скончался в Москве; Дмитрий Алексеевич весь погружен был в свое военное управление. Только беседы с баронессою Раден постоянно доставляли мне сердечное и умственное удовлетворение, хотя и она в это время, так же как великая княгиня, предавалась германофильским сочувствиям, которых я вовсе не разделял.

Я рад был вырваться из этой удручающей атмосферы, отделаться от нисколько не привлекавших меня железнодорожных занятий и возвратиться к сельской свободе и тишине. Я мог наконец исполнить свое заветное желание: жить независимым помещиком и отцом семейства. Жена тоже ни мало не жалела о Петербурге и охотно поселилась в деревне, к которой она с детства привыкла. У нас была уж дочь**, источник семейных радостей, дающих полноту человеческому существованию. Все, казалось, устроилось как нельзя лучше.

---

* Петр IV – прозвище всесильного в описываемые годы шефа жандармов графа П. А. Шувалова. Известна эпиграмма Ф. И. Тютчева, опубликованная Г. И. Чулковым («Тютчевиана», М., 1922, стр. 13):

> Над Россией распростертой
> Встал внезапною грозой –
> Петр, по прозвищу Четвертый,
> Аракчеев же – второй.

** Дочь Б. Н. Чичерина, Катя, умерла в конце декабря 1874 г. или в первых числах января 1875 г.

В первый раз приходилось мне круглый год жить в деревне, заодно с природою, и это имело для меня неизъяснимую прелесть. Каждая пора года носит в себе свою, собственно ей принадлежащую поэзию, свое обаяние. У нас в России эти особенности выступают ярче, и переходы совершаются резче и быстрее, нежели на юге, а потому они чувствуются сильнее. Я любил не только лето с его разнообразными наслаждениями, когда караульский дом был полон, и вокруг матери собиралась семья. Мне милы были также осенние дни: и ранняя осень, когда вместо однообразного летнего одеяния, природа облекается в золото и пурпур, когда из свежей еще зелени дубов выделяются лиловый вяз, оранжевый клен и красная осина, когда облитый золотом лес глядится в прозрачной, гладкой, как зеркало, реке; и поздняя осенняя пора, когда человек закупоривается от внешней непогоды, на дворе воет ветер, а внутри тепло и уютно, и мирный домашний быт и семейное счастие чувствуются как бы с обновленною силою. Я любил и утренние осенние прогулки, когда под ногами хрустит мороз и шуршат увядшие желтые листья, волнуются туманы и утренняя свежесть, обдавая прохладой, вселяет бодрость и готовность на всякое дело. Мысль движется ясно и живо; умственный труд спорится. Тут начинаются и любимые мною садовые работы: посадка, порубка, проведение дорожек, начертание клумб. Затем, после утренней усталости и сытного обеда наступает длинный вечер с чтением вслух. И поэзия, и история, и старые романы, и воспоминания, все чередой проходит перед умственным взором и дает все новые наслаждения. Мирно встает день и мирно он кончается сладостным сном, обещая повторение за повторением.

И наступающая затем долгая зима имеет свое обаяние. В природе, облеченной белым покровом, водворяется торжественное и величавое молчание, подобно торжеству смерти вызывающее чувство бесконечного. Но это не смерть, а временный сон, собирание с силами для нового, радостного пробуждения. Порой среди этого однообразного величия взорам представляются чудные картины: при ярком вечернем зареве розовые оттенки на снежной пелене, над которою возвышается темная зелень сосен и елей; или покрывающий деревья пушистый иней, который всему ландшафту придает какую-то странную красоту и нарядность; лес стоит в серебристом уборе, рисуясь и блистая на глубокой синеве небосклона. Нам случалось при лунном свете гулять по осыпанной инеем роще; кажется, что забрел в какой то сказочный мир, где все таинственно и чудесно, и нет ничего похожего на земное существование: среди зимнего покоя природе как бы чудятся волшебные сны. А с восходом солнца эти сны сменяются другими; иней начинает оттаивать, и падающие капли, захваченные морозом, виснут на тонких и длинных ветвях берез; деревья кажутся как бы осыпанными бриллиантами, сверка-

ющими на солнце миллионами огней. Видениями фантастического мира представляются и морозные узоры, начертанные на окнах, когда они при солнечных лучах или при лунном сиянии искрятся разнообразными блестками в самых причудливых очертаниях. Пешеходу зима доставляет много неудобств; но они заменяются катанием в санках по пустынному полю, по безмолвному лесу или по широкой гладкой реке, окаймленной дубравами, с возвышающеюся на холме усадьбою вдали. А там уже, после веселых святок, дни начинают быстро расти, возвещая приближение радостной поры; солнце ярче светит в окна и греет теплее; в воздухе чувствуется мягкость, ивы краснеют, с крыш падает капель и одни за другими являются столь знакомые с детства весенние впечатления: первые проталинки, ручьи по холмам, превращающиеся в шумные потоки, первые желтые и синие цветки, мало-помалу заполняющие и рощи и поляны, прилет птиц, громкий говор гусей на широком половодье, веселое пенье жаворонков под небесами, разлив, на целые версты потопляющий луга. Мы с женою в теплые апрельские дни нередко ходили вдоль сияющей на солнце водной равнины, гладкой, как стекло. Она любила садиться в легкий челнок и кататься по этому зеркальному морю. И вот уже подходит конец апреля; везде кругом, и в кустах около дома, и в рощах, и в дальних лесах тысячами голосов защелкают соловьи, раздается звонкое пение иволги и знакомый голос кукушки; из болот поднимается беспрерывный гул; вся природа как будто ликует и празднует свое обновление. С тем вместе зацветает пахучая черемуха; за нею вишни и яблони покроются белою, как снег, пеленою; яркая зелень лугов усеется желтыми цветами, которые превращаются в пушистые одуванчики, разлетающиеся при малейшем дуновении ветра; наконец пышная сирень является как довершение весеннего наряда. Май наступил в полном очаровании.

Сельским жителям хорошо знакомы все эти впечатления, которые не уступят никаким другим. Кто любит природу и умеет жить с нею одною жизнью, тому она дарует бесконечные и разнообразные наслаждения. И все эти наслаждения воспринимаются глубоко и радостно, когда на душе мир, а в сердце любовь.

Постоянно жил с нами Василий Григорьевич*, в то время весьма погруженный в сельское хозяйство, а зиму проводил в Карауле и брат Василий с своим семейством. Он в это время вышел в отставку и поселился в деревне. Лето он проводил у себя, в Козловском уезде, где занимался хозяйством и устраивал усадьбу, а на зиму переезжал в Караул, пока не купил себе дома в Тамбове. Мы в эту пору во многом с ним расходились. В Париже под влиянием тамошних пиэтистов он заразился узкопротестантским направлением, которое в нем было

* Василий Григорьевич Вязовой.

тем менее понятно, что он был верующий православный. Я не раз встречал у него знаменитого лорда Редстока, казавшегося мне крайне ограниченным человеком, что составляет довольно обыкновенную принадлежность узкого фанатика. Но частные разногласия не мешали нашим братским отношениям. При его возвышенном нравственном строе, при невозмутимой ровности характера, свойственной брату, при его старании избежать всякого, сколько-нибудь жесткого соприкосновения, жить с ним было легко. К счастью, сошлись и наши жены. Да и трудно было не сойтись с моею невесткой*, одной из самых чистых и возвышенных натур, какие мне случалось встретить. И она, также как брат, даже более, нежели он, ибо сама была протестантка, заражена была пиэтистскими взглядами. Но это вполне искупалось безукоризненной нравственной прямизною и глубоко сердечным настроением. Жена моя, которая тоже была глубоко религиозна и постоянно изучала библию, но с преданностью православной церкви соединяла широкую терпимость, сходилась с нею в основных христианских воззрениях и полюбила ее сердечно. Дети были еще маленькие; они наполняли дом весельем. Мелкие домашние дрязги исчезали в общем задушевном строе. Жилось хорошо.

Я занялся и хозяйством более, впрочем, по обязанности, нежели по вкусу. Имение отца разделилось на восемь частей. На мою долю достался Караул, с 1600 десятин земли, с великолепною усадьбою, но весьма небольшими доходами. Тут были заливные луга, достаточное количество леса, но пашни было немного, и земля была не лучшего качества. Часть ее постоянно сдавалась в аренду крестьянам под заработки, что избавляло от необходимости иметь свой оборотный капитал. Имение жены в Малороссии в 1500 десятин могло давать от 4 до 5000 дохода. У нее был и небольшой капитал. Всего, сверх того, что шло на домашнюю жизнь из караульской экономии, мы могли рассчитывать на семь, восемь тысяч дохода, сумма, с которою, особенно при барских привычках и барской обстановке, далеко не уйдешь, если не следить за делом внимательно.

Первые годы после освобождения крестьян были весьма благоприятны для нашей губернии. Проведение по ней целой сети железных дорог значительно подняло цены как на хлеб, так и на земли. Урожаи были хорошие; у крестьян были отличные заработки; помещики не только не жаловались, а напротив, были совершенно довольны. Никакого оскудения, ни в нашем уезде, ни в соседних, я не видал. Были, как и всегда, люди, которые разорялись по собственной вине; их имения естественно переходили в руки тех, у кого были деньги, то есть купцов. Но это было исключение. Заброшенных усадеб и покинутых хозяйств у нас не встречалось. Напротив, могу при-

* Василий Николаевич Чичерин был женат на баронессе Жоржине (Каролине) Егоровне Мейендорф.

вести многие примеры помещиков, которые в это время построили себе новые усадьбы или перестроили старые. Степи и залежи распахивались, и площадь посевов значительно увеличилась. Помню, что в 1870 году, приехав зимою в Петербург, я попал как раз на вечер к великой княгине Елене Павловне. Она стала меня расспрашивать о том, что делается в провинции, и я рассказал ей о распространяющемся у нас благосостоянии. Она пришла в такой восторг, что тут же подозвала германского посла, принца Рейсса, и сказала ему: «Садитесь здесь и слушайте». Я должен был повторить свой рассказ.

Скоро, однако, наступили более трудные времена как для помещиков, так и для крестьян. Урожаи стали хуже, а цены, между тем, падали, с чем вместе сокращались и поземельные доходы и заработки. Вникая в дело, я увидел, что русское хозяйство находится в таких условиях, что с ним надобно обходиться очень осторожно. В других странах, где многолетним опытом выработались приемы и хозяйство поставлено на рациональную ногу, знаешь, что, положивши в землю известный капитал и нужную долю труда, получишь известный доход. У нас же оказывается коренное противоречие в самых задачах: с одной стороны, при распахивании земель и увеличении народонаселения приходится переходить от экстенсивного хозяйства к интенсивному; с другой стороны, надобно прежде всего остерегаться необходимой при интенсивном хозяйстве затраты капитала: кто делает улучшения в долг, тот прямо идет к разорению. Как новичок в этом деле, я хотел поучиться у людей опытных и знающих, но увидел, что в сущности учиться не у кого и нечему. У меня был сосед Козловский, человек молодой, энергический, необыкновенно деятельный, смышленный и предприимчивый. Я думал, что у него можно будет кое-что позаимствовать. Но что же вышло? Я был хозяин весьма заурядный, неопытный, без капитала, притом посвящавший этому делу только малую часть своего времени; он же работал, как вол, с утра до вечера, все смотрел сам, без устали скакал по железным дорогам, старался нажить деньгу, не пренебрегая никакими средствами, а между тем я сохранил неприкосновенным свое состояние, а он разорился. Предприимчивость, хотя и подбитая энергией и практическим смыслом, повела только к крупным убыткам, а вследствие того к долгам, из которых он не мог вылезти. Нечему было учиться и у князя Васильчикова, ибо это было хозяйство особого рода, неприложимое к нашим условиям, хозяйство при сахарном заводе, с значительным оборотным капиталом, с избытком доходов, которые могли идти на улучшение. Сам Васильчиков пробовал сперва хозяйничать в соседнем с нами Балашовском уезде Саратовской губернии, но бросил это дело, убедившись, что немыслимо при столь сухом климате вести рациональное хозяйство. И точно, возможно ли затрачивать капитал, когда все зависит от одного дож-

дя? Поэтому брат Владимир, который был практический хозяин, вел дело очень осторожно, и я последовал его примеру. Возможное улучшение пашни, постепенная замена сошной пахоты плужною, постепенное же улучшение овцеводства, единственной, сколько-нибудь выгодной у нас отрасли скотоводства, вот все, чего я старался достигнуть. Одно, что мне удалось и что выручало меня в дурные годы, – это расширение табаководства. Эту отрасль, в небольших размерах, завел у нас Василий Григорьевич, но у меня она значительно усовершенствовалась, и я довел ее до пятидесяти с лишком десятин. Дело ведется расчетливо; нашелся и хороший исполнитель, способный держать в порядке все мелкое население Караула, занятое при табачном производстве; с малолетства оно приучается к дисциплине и труду. Мне эта отрасль дает отличные доходы, а крестьяне получают на ней до двух тысяч рублей в год, преимущественно работою детей. В голодный год они говорили мне, что в прежнее время родители кормили детей, а теперь дети кормят родителей.

Я тем менее мог сделаться настоящим практическим сельским хозяином, что научная работа все-таки осталась главным делом моей жизни. Поэтому я мог уделять хозяйственным занятиям лишь часть своего времени; мелочи, требующие неусыпного наблюдения, неизбежно от меня ускользали. Я старался только в крупных чертах держать свои дела в порядке и этого достиг. Относительно своего благосостояния я не сделал ни шага вперед, но зато и не разорился. При небольших средствах откладывать было не из чего; часто даже приходилось стесняться. Столь приятного в жизни простора в расходах я не знал, но в долги не влез и надеюсь передать Караул своим наследникам не расстроенным, а улучшенным.

Большой интерес и украшение сельской жизни составляют добрые отношения к окружающему населению. Я получил их в наследство. Отец был истинным попечителем своих крестьян. При выходе из крепостного состояния, благодаря справедливому и гуманному управлению брата Владимира, старая нравственная связь не была нарушена. Меня караульские крестьяне знали с детства, а мне доставляет сердечное удовольствие не только знать каждого в лицо и по имени, но быть знакомым с его нравственными свойствами, с его положением и его нуждами. Все ко мне обращаются при всяких невзгодах; у одного пала лошадь, у другого нет коровы, а дети просят молока, у третьего развалилась изба. С небольшими средствами можно всем помочь, и знаешь и видишь, что эта помощь идет на дело. Жена, с своей стороны, вошла с ними в самые близкие сношения; она всех их лечит, знает всех баб и детей, постоянно ходит по избам. Мы много лет живем, как родная семья. Я полюбил русского мужика, хотя весьма далек от того, чтобы видеть в нем идеал совершенства. Подобные мечты могут питать лишь те, которые никогда к нему

не прикасались близко. Нравственное основание, бесспорно, хорошо. Иногда встречаются даже трогательные черты нравов. Так, например, у нас в селе существует обычай одарять сирот втихомолку: в темную ночь вдруг слышится стук у окна, хозяин, который знает уже в чем дело, подождав немного, чтобы дать принесшему удалиться, выходит и на наружном подоконнике находит какую-нибудь часть одежды для сироты. Когда некоторые из караульских крестьян, увлеченные рассказами, собрались на Амур, уходящие получили таким способом целые кучи вещей. Но рядом с этими умилительными чертами, свидетельствующими о высоконравственном строе, рядом с типами женщин, в которых глубочайшее смирение сочетается с глубочайшим благочестием, и невозмутимая кротость украшается таким отпечатленным на всем существе чувством достоинства, которое сделало бы честь любой аристократке высшего тона, сколько явлений совершенно противоположного свойства. Сколько взаимной зависти и злобы, сколько неуживчивости и ссор ведут к постоянным разделам, какое неуважение к родителям, недоверие к разумному слову при бессмысленном доверии ко всякому проходимцу; рядом с смышленностью часто непонимание самых явных своих интересов, рядом с строгим соблюдением внешних обрядов полное незнание и непонимание самых элементарных истин религии, при наружном добродушии дикая грубость, которая делает не только мужика, но и бабу, в минуты общего увлечения, готовыми на всякие зверства. За них никак нельзя поручиться, что они величайшим своим благодетелям в порыве исступления не свернут головы.

Благосостояние крестьян, которое временно поднялось в первые годы после освобождения, затем пошло под гору. Причины были частью внешние, частью внутренние. К первым принадлежали плохие урожаи и уменьшение зимних заработков вследствие построения железных дорог. В прежнее время крестьяне нашей местности возили хлеб в Моршанск не только из окрестностей, но даже из дальней Романовки Балашовского уезда. Это давало им деньги и возможность держать порядочное количество лошадей. С проведением железных дорог эта статья дохода значительно сократилась. Зимою дела почти не было. Тем сильнее действовали важнейшие внутренние причины: обеднение, семейные разделы, разорительное пьянство и неумение держать деньги в руках. Против разделов помощи не было никакой. Когда бабы ссорятся, братьям волею или неволею приходится расставаться, хотя это и ведет к нищете, а с освобождением сила баб возросла. Меткая русская пословица говорит: «Семь топоров идут вместе, а две прялки врозь». Кабак составляет, может быть, еще худшее зло. Против существования его в Карауле мы долго ратовали и наконец успели убедить крестьян его закрыть. Деньги, которые они получали от кабатчика за разрешение взять патент,

очевидно восполнялись с избытком из собственных их карманов. Прекратились, но крайней мере, безобразные мирские сходки около кабака, при которых обыкновенно пьянство продолжалось в течение трех дней. Но кто может помешать крестьянину, когда у него есть лишний грош, пропить его на соседнем базаре? Какое влияние это имеет на благосостояние крестьян, я мог видеть из следующего случая. Однажды, в плохой год, приходит ко мне старик, который был в числе перевозчиков на пароме, и приносит сто рублей, с просьбою положить их в банк на имя сына. Я это исполнил. На следующий год, который был еще хуже, он приносит опять сто рублей, все мелкою серебряною монетою, с просьбою положить их на имя внука. Я удивился. «Скажи мне, пожалуйста, – спросил я, – как это у тебя столько денег, когда в нынешнем году даже зажиточные крестьяне нуждаются?» «Ах, Борис Николаевич, – отвечал он, – ведь я в кабак не хожу, а в кабаке, вы знаете, рубль пропьешь, а десять потеряешь». Этот пример был для меня поучителен. А сколько я видал крестьян, пропивших хорошее состояние и даже погибших при переездах в пьяном виде.

Но у мужика деньги уходят не на одно вино; он просто не умеет их беречь. Века крепостного состояния, в соединении с размашистостью русской натуры, привели его к тому, что у него, так же как у барина, они уходят сквозь пальцы. Вследствие этого зачастую встречаем примеры, что крестьянин приносит деньги на сохранение, или сам купит что-нибудь ненужное, говоря, что иначе у него деньги уйдут. Привычки к сбережениям у него нет, а где эта привычка не укоренилась, там благосостояние неизбежно понижается. Народонаселение растет, земли на всех становится меньше, притом она выпахивается, а капитал, который должен восполнить этот недостаток, не увеличивается; что же из этого может выйти, кроме общего обеднения? Это мы и видим на глазах. Социал-демократы вопят о малости надела, придумывают благодетельные банки, на которые возлагается противная всякому финансовому расчету обязанность давать капитал неимущим, но закрывают глаза на истинные причины бедствия, и главное, считают неприкосновенною святынею то коренное зло, которое влечет за собою общее обеднение, – общинное землевладение. Пока крестьянин не привык думать, что он сам должен устраивать свою судьбу и судьбу своих детей, никаких путных экономических привычек у него не может образоваться. Крепким сельским сословием, способным служить источником обогащения для себя и для страны, может быть только сословие личных собственников или арендаторов-капиталистов, а никак не общинных владельцев. Положение 19 февраля не могло решить этого вопроса; нельзя было разом произвести два коренных переворота в судьбе сельского состояния. Но оно открыло путь личному землевладению,

предоставив каждому крестьянину право выкупать свой участок. Задача последующего законодательства состояла в том, чтобы довершить начатое и закрепить наделы за существующими семьями, воспретив переделы на новые души. Только этим способом можно было утвердить в крестьянском сословии понятие о собственности, составляющее основание всякого гражданского быта. Но ничего подобного не было сделано. Не только все предоставлено на произвол судьбы, но в последнее время произошел даже шаг назад: личный выкуп стеснен. Мудрено ли, что у крестьян все понятия о праве перепутываются, а проистекающие из чувства собственности экономические привычки не могут развиться:

Одна сторона быта в крестьянском населении нашей местности значительно подвинулась вперед. Жилища стали гораздо просторнее, опрятнее и светлее прежних. Курных изб почти не видать; лучины заменились керосиновыми лампами. В последние годы пошла даже мода на кирпичные строения с большими, светлыми, чистыми комнатами. Мужик тратит свой последний рубль, чтобы не отстать в этом отношении от соседей. Бабы также, бросив, к сожалению, свои старые, сделанные дома красивые паневы, стали наряжаться в разноцветные яркие ситцы. Но все это предметы расходов, когда же потребности увеличиваются, а доходы уменьшаются, то какое добро может из этого выйти? Куда мы идем? При существующих условиях будущее экономическое развитие России представляется в довольно безотрадном свете. Нашим потомкам придется, по всей вероятности, пройти через тяжелые времена. А может статься, и на нас еще падет это бремя.

Я сам с наслаждением принялся за убранство дома, употребляя свои небольшие сбережения на устройство родного гнезда. Отец много оставил недоделанным. В последние годы жизни он постоянно хворал и мало уже заботился о приведении в окончательный вид того, что он начал с такою обдуманностью и с такою настойчивостью. Все капитальные работы были совершены; дом в главных чертах был готов. Но для примыкающего к нему зимнего сада была выведена только половина стены, это придавало ему вид разрушения; внутри много было неустроенно. Переселившись в деревню после выхода в отставку, я перевез туда свои картины, которые развешаны были по стенам. Теперь к этому присоединилась кой-какая старинная мебель, люстры, вазы, фарфор, частью унаследованные женою, частью прикупленные в Петербурге. Украшением гостиной сделался принадлежащий жене прелестный шкафчик Vieux Boule*, некогда подаренный королем Станиславом Лещинским маркизе Вилльнев-

* «Буль» – особый стиль художественной мебели, названный по имени французского столяра-художника Андрие-Шарля Буль (1642 – 1732), создавшего этот стиль.

Тран *, а жене подаренный ее приятельницей, происходящей от этого рода и вышедшей замуж за малороссийского их соседа Богаевского. В деле устройства дома жена была мне лучшею пособницей; она отлично понимала все требования изящного комфорта, без всякой роскоши и затей. Мы мало-помалу прикупили или сделали дома нужную дополнительную мебель, выписали по случаю из Парижа и купили в Петербурге разные кретоны, а для спальных комнат московские ситцы; наш домашний старый столяр Аким по моим рисункам делал подставки для ваз и карнизы для драпировок. Все это было для нас источником беспрерывного удовольствия. Жена устраивалась по своему вкусу, а я в каждом новом улучшении видел довершение отцовского дела, украшение дорогого гнезда, продолжение семейных преданий. Я мечтал о том, чтобы, живя в деревне, постепенно привести Караул к идеальному совершенству и передать его своим детям уже окончательно устроенным, в полной красе.

Этим мечтам не суждено было сбыться. Провидению не угодно было продлить эту блаженную жизнь. В апреле 1874 года у нас родился сын**. Я думал, что этим достигнута полнота семейного счастья: есть и сын и дочь; чего же нам еще более желать. Но это был лишь мимолетный призрак. 6 июня, рано утром, меня разбудила нянька и объявила, что мальчик сильно хрипит. Доктор был за двадцать верст; мы сами были совершенно неопытны, жена к тому же больна. Через два часа малютки не стало. Это был первый, но, увы, не последний постигший нас тяжелый удар. Я взял на руки обитый белым гробик, в котором лежал младенец и понес его в церковь.

На каждое, даже самое обыкновенное, человеческое лицо смерть кладет печать какого-то торжественного величия и неземной красоты; но когда эта величавость бесконечного покоя отпечатлевается на лице младенца, она становится еще привлекательнее и еще более уносит душу в область нетленного бытия. Я стоял у маленького гробика и не мог оторвать от него глаз; и теперь еще этот ангельский образ с печатью смерти на челе мелькает перед моим умственным взором. Мне казалось, что ушедший от нас младенец призван служить живою связью между небом и землею. Только этим я мог объяснить себе появление его на свет.

После такого горя оставаться на месте для матери было слишком тяжело. Мы поехали в Малороссию, где пробыли два месяца в гостях у братьев жены. Под новыми впечатлениями, среди любимых

---

* Villeneuve de Trans – старинная французская баронская фамилия, одному из членов которой, Луи де Вильнев де Транс (1451 – 1516), за военные заслуги был дарован в 1506 г. титул маркиза; это был первый случай обращения бароната в маркизат. Из числа маркизов Вильнев де Транс один – Луи-Франсуа (1784 – 1850) – получил некоторую известность как литератор и историк.

** Алексей Борисович Чичерин.

мест и родной для нее обстановки жгучесть материнской скорби несколько сгладилась. Жена была еще молода, да и я не стар; времени впереди было много. У нас было и живое утешение, маленькая дочь, умненькая, живая, ласковая, которая нас более и более радовала. Мы преклонились перед волею провидения и благодарили его за то, что оно нам оставило.

К осени мы вернулись в Караул. Здесь я опять почувствовал себя дома, среди дорогих мне впечатлений, и снова в душе хлынула волна жизненного счастья. Однажды, стоя после обеда у камина, глядя на жену и на играющую дочку, любуясь изящным убранством родного гнезда, наслаждаясь деревенским миром и тишиною, я воскликнул от полноты сердца: «Мне кажется, что я насквозь проникаюсь счастьем!» Прошло три месяца, и от него не осталось и следа. Болезнь, продолжавшаяся целый месяц, унесла последний плод нашей любви. Кто не испытал этих страшных переходов от надежды к отчаянию, кто не просиживал долгие ночи, прислушиваясь к каждому шороху, к дыханию или стону младенца, кто всем сердцем не почувствовал всей глубины материнского горя, когда теряется последнее, любимое дитя, и родители остаются одни в опустелом доме, тот не поймет, что мы пережили в эго время. Снова я взял на руки обитый белым гробик с лежащим в нем младенцем и понес в церковь. Мы положили малютку возле брата.

Оставаться в Карауле опять не было возможности. На этот раз мы решились ехать в Италию. Сначала мы поселились в прелестном Ментоне, на берегу Средиземного моря, а в конце марта мы двинулись на юг, посетили Рим с его великолепными развалинами, очаровательное Альбано и голубое озеро Неми, которое мы видели в первый раз; две недели мы пробыли в Сорренто и сделали экскурсию в Амальфи. Но что значат все дивные красоты природы, когда в сердце точится неисцелимая рана, которая не оставляет ни минуты покоя? Я уподоблял себя человеку, который мирно сидел у своего камина, в уютной домашней обстановке, среди семейных радостей, и вдруг все около него рушится, его самого выбрасывают в окно, и он, не помня себя, бежит без оглядки, подальше от этих развалин, и как вечный жид, мыкается по белому свету, не зная, куда преклонить голову.

На лето, по совету Боткина, которого мы видели в Сан-Ремо, где он был с императрицею, мы для здоровья жены поехали в Франценсбад. В Караул мы возвратились в августе. Но тут опять явилась забота: жена заболела; пришлось ехать лечиться в Петербург. К марту мы вернулись, побыв некоторое время в Тамбове с матерью, которая была совсем здорова. Мы ничего не чаяли, как вдруг получаем телеграмму, снова вызывающую нас в Тамбов. Мы тотчас отправились по страшной весенней колоти и почти непроездной дороге, но

матери уже не застали в живых. Воспаление в боку унесло ее в несколько дней. Это было новое, тяжелое горе, присоединяющееся к прежним. В апреле в Караул привезли ее гроб; мы похоронили ее возле отца, на семейном кладбище, где покоятся и мои дети. На похороны в последний раз собралась вся семья. Мы живо почувствовали, какое высокое нравственное значение имеет слепая старуха, которая служит связью и центром семьи. Все живые семейные предания, ее бесконечная любовь, ее горячий интерес ко всему и близкому и дальнему, несмотря на потерю зрения в течение многих лет, все это исчезло навеки. Случилось, что в Тамбове мы с братом Василием вместе вошли в комнату, где читали псалтырь над усопшей. В эту самую минуту дьячок читал стих псалма: «Се что добро или что красно, но еже жити братии вкупе». Я просил брата, который упражнялся иногда по этой части, нарисовать этот стих в виде надписи, которую я вывесил в рамке в караульской столовой, в память нашего совокупного семейного житья.

Еще одну зиму довелось нам провести вместе с ним в Карауле, а на весну в апреле 1877 года явилось нам новое утешение: опять родилась дочь, которую мы в честь матери моей жены назвали Улинькой. Но после всего испытанного провести осень и зиму в деревне, вдали от доктора, казалось нам невозможным. Мы решили на зиму переехать в Тамбов. Там постоянно жил брат Андрей, который имел свой дом. Василий тоже в это лето купил дом, на том же перекрестке Большой улицы. Там жила и сестра, вышедшая замуж за Эммануила Дмитриевича Нарышкина. Остальные братья проживали или в Тамбове, или вблизи, по своим деревням. Мы могли провести зиму в семейном кругу. Я поехал в Тамбов и после многих поисков нашел подходящую квартиру. Случилось, однако, что хозяева были в отсутствии и не с кем было заключить условие. Я не хотел дожидаться, а поручил это дело брату Сергею. Вдруг, дней десять спустя я получаю от него известие, что нас предупредили, и квартира снята другими. Я опять полетел в Тамбов, но на этот раз все мои поиски были тщетны. Время было позднее, и ни одной сколько-нибудь удобной квартиры в Тамбове нельзя было найти. Волею или неволею пришлось ехать в Москву. Сама судьба решала за нас.

Я поехал и на шесть месяцев нанял дом. Проживши там зиму, мы решились постоянно переезжать на зимнее время в Москву. Мне удалось найти весьма удобную и недорогую квартиру на Волхонке, в нижнем этаже старинного барского дома князя Сергея Михайловича Голицына, где наверху был великолепный музей и домашняя церковь. На свои небольшие средства я купил кой-какую мебель и к приезду жены отделал кумачами и ситцами. Здесь мы прожили пять зим, о которых я вспоминаю с удовольствием.

Конец царствования Александра Николаевича

Москва в то время, как мы в нее переехали, была уже не прежняя Москва 40-х и 50-х годов. Дворянский город превратился в промышленный центр. В старое время она действительно заслуживала название сердца России. Сюда съезжались отовсюду самые зажиточные представители землевладельческого сословия, которое было господствующим в обширных пространствах русской земли. Здесь, в независимой среде, вдали от развращающего влияния двора, проявлялись чувства и мысли лучшей части русского дворянства, его пламенный патриотизм и его просвещенные стремления; здесь постоянно из него выдвигались люди образованные, даровитые и с характером, которые были украшением общества. Теперь Москва перестала быть сборным местом дворянства. Средней руки помещики, занятые хозяйственными и общественными делами, сидели на местах; более зажиточные, пользуясь удобством железных дорог и свободою выезда, жили за границею. В столице, более нежели в провинции, почувствовалось оскудение. Английский клуб ловил уже членов и сделался пристанищем невыносимой скуки. Иссякла и светская жизнь; не было тех беспрерывных празднеств, которых я был свидетелем в молодости. Балы стали редкостью; на них красовались преимущественно начинающие выезжать в свет девицы, которые с трудом находили женихов. Кавалеров набирали не только в университете, но и в гимназиях. Барские дома, один за другим, переходили в руки богатых купцов, которые выдвигались на первый план в замену расшатавшегося аристократического сословия. Но замена была плохая. Ни образованием, ни утонченными нравами, ни возвышенными стремлениями и интересами купечество не могло равняться со старым дворянством. Одно общество ушло, когда другое не успело еще сложиться.

Все литературные интересы сосредоточивались теперь в редакциях газет. Первенствующим светилом был Катков, с которым, однако, мало кто из порядочных людей имел сношения. У него собирались клевреты и поклонники, что было вовсе не интересно. С другой стороны, собирались у Аксакова, который был редактором «Дня». В год, предшествующий нашему переселению в Москву, тут

было, говорят, значительное славянское беснование; но уже в следующую зиму все это испарилось, и жена его удивлялась такому быстрому исчезновению напускного политического интереса. Вскоре последовала ссылка в деревню за речь о Берлинском конгрессе, а когда он вернулся, его еженедельные вечерние приемы, на которые я иногда ездил, были только скудными и вялыми сборищами разных второстепенных, преимущественно славянофильствующих лиц; на них никогда не слышалось живого слова или сколько-нибудь интересного разговора. Славянофильство вымирало, а Аксаков тщетно старался его подогреть. Еще тошнее были вечера у Кошелева, который выбивался из сил, чтобы поддержать свои исторические вторники, но напрасно: все элементы умственной жизни исчезли, и, кроме нестерпимой скуки, здесь ничего нельзя было обрести.

В Москве была и третья крупная газета – «Русские Ведомости», которые, однако, по таланту далеко уступали первым двум. В то время редактором был еще Скворцов, но они уже сделались центром университетских и разных других социал-демократов. Каковы были эти господа, это лучше всего можно видеть из анекдота, который случился несколько позднее, но который я не могу не рассказать, так он типичен и забавен. В 80-х годах редакторы и сотрудники «Русских Ведомостей», «Русской Мысли» и их единомышленники собирались, по примеру парижских экономистов, ежемесячно на обед, который сопровождался послеобеденными речами. Обычаи, как видно, были самые просвещенные. В это время приехал в Москву известный писатель Брандес читать публичные лекции о русской литературе. Это был социал-демократ чистокровный, свой брат, делавший честь партии, а потому эти господа тотчас пригласили его на свой ежемесячный обед. Оказалось, однако, что ни один из них не владел достаточно каким-либо иностранным языком, чтобы свободно объясняться с Брандесом. В качестве толмача приглашали Герье, который держался совершенно другого направления. После обеда, когда начали произносить речи, Брандес стал расспрашивать Герье о их содержании и о направлении обедающего кружка. Герье объяснил ему, что они социал-демократы и вместе признают себя либералами. «Как это может быть?» – воскликнул Брандес. Герье стал его уверять, что это именно так. Тогда Брандес не вытерпел, он вскочил и обратился к собранию. «Что я слышу, господа? – воскликнул он. – Мой почтенный сосед уверяет меня, что вы социал-демократы, и вместе считаете себя либералами. Да ведь это невозможно! Это монстр! это – теленок о двух головах!» Но те, на своем жаргоне, привились доказывать ему, что то, что представляется теленком о двух головах, очень хорошо умещается в русских радикальных мозгах. Связь понятий составляла для них совершенно излишнюю роскошь.

Брандес так и уехал озадаченный. Этот анекдот рассказывал мне сам Герье.

И эти хаотические мозги владычествовали в университете, считались светилами и увлекали юношей! Вскоре я мог испытать на себе, что с полною путаницею понятий соединялось у них и совершенное отсутствие всякого чувства приличия. Это случилось по поводу изданной мною, совокупно с Герье, книгою «Русский дилетантизм и общинное землевладение», которая заключала в себе критику на сочинение князя А. И. Васильчикова о землевладении.*

Происхождение этой книги было таково. Летом 1877 года, перед переездом в Москву, я отправился к Станкевичам в деревню, Бобровского уезда Воронежской губернии. Там жил и Герье, женатый на племяннице Станкевича**. Я нашел его в большом негодовании. Незадолго до того вышла упомянутая книга князя Васильчикова. Она была написана в социалистическом духе, а потому восхвалялась на все лады и в русских журналах и ученою братией. Я сам слышал, как профессор политической экономии в Московском университете Чупров на каком-то диспуте, в присутствии самого автора, пел ей восторженные гимны и ставил ее на первом месте в современной экономической литературе. Понадеясь на эти отзывы, Герье купил книгу и стал ее читать; но как же удивился он, увидав в ней сочетание самого колоссального невежества с невообразимым хаосом понятий! Он решил, что непременно следует написать критику; но так как он историею русского права никогда не занимался, а тут были исторические и юридические вопросы, касавшиеся России, то он обратился ко мне за содействием. Я сперва отказался. Зная князя Васильчикова, я не имел ни малейшего желания читать его произведения, а тем более заниматься их опровержением. Но тут у меня был досуг. Я две недели прожил у Станкевичей, и от нечего делать согласился прочесть книгу, которая возмутила меня, так же как и Герье. У Станкевичей гостил их приятель, Н. Н. Тютчев, вращавшийся в петербургских литературных кружках. Он горячо защищал книгу Васильчикова. Я увидел, что разобрать ее, в поучение русской публике, будет, пожалуй, не бесполезно, тем более что для этого не потребуется много времени. Мы разделили между собою работу. Я взялся написать главы об экономических воззрениях автора, о его взглядах на русскую историю, о его статистических выводах и, наконец, заключение, а Герье, принял на себя начало, главу о методе и разбор общих исторических воззрений князя Васильчикова. Вернув-

* «Русский дилетантизм и общинное землевладение». Разбор книги кн. А. Васильчикова «Землевладение в земледелие», М., 1878. Б. Н. Чичерину принадлежат главы II, IV и V; В.И. Герье – главы I и III.

** Евдокия Ивановна Герье, урожд. Станкевич.

шись домой, я в две недели написал свою часть, но у Герье работа затянулась. Отвлеченный другими занятиями, он мог приняться за нее только в конце зимы, да и то писал наскоро. Потому его критика вышла довольно несвязная и мелочная, что несколько вредило общему впечатлению нашей книги. Тем не менее, удар был жестокий. Из Петербурга посторонние люди писали, что князь Васильчиков совершенно уничтожен: после непомерного превознесения последовало падение. Сам он пришел в такую ярость, что, даже несколько лет спустя, не мог говорит обо мне иначе, как с остервенением, считая меня главным автором и зачинщиком этого дела. Вместе с ним и русская журналистика озлобилась на науку, обличающую невежество. В ее глазах обличать грехи писателя с социал-демократическою тенденциею было непростительным преступлением. На нас посыпалась брань со всех сторон.

Разумеется, и ученый люд, восхвалявший книгу князя Васильчикова, не мог не сказать своего слова. В это время один из видных профессоров Московского университета, бывший харьковский студент, Максим Ковалевский, издавал маленький журнал под названием «Критическое Обозрение». Мне за достоверное сообщили, что сотрудником и даже вдохновителем этого издания, которое должно было служить органом передовой молодежи, был знаменитый парижский социал-демократический философ, если можно так назвать пародию на философа, Лавров. Ковалевского я почти не знал, но имел о нем невысокое понятие со слов Герье, который рассказывал, что этот молодой ученый, выдавая себя за знатока английских учреждений, в своей магистерской диссертации приписывал: дарование Великой Хартии вооруженному восстанию баронов, предводимых Симоном Монфортским, графом Лейстер.* В сущности это был хлыщ, который нахватался кой-каких сведений и во что бы то ни стало хотел играть роль, щеголяя перед студентами разными выходками во вкусе новейшего материализма и социал-демократии. Но как ученик Каченовского, он искал со мною знакомства. Мы встретились в Юридическом обществе, которого я был выбран почетным членом. Он заигрывал и почти насильно запряг меня в какую-то комиссию, которая не имела смысла.

Чтобы сделать ему удовольствие и вместе оказать внимание Юридическому обществу, я согласился пойти, но, разумеется, из этого ничего не могло выйти.

---

* Симон де Монфор переселился из Франции значительно позже (1236), уже после подписания Иоаном Безземельным в 1215 г. «великой хартии вольностей». Восстание баронов, во главе которого он стал, относится к 1263 г. и было направлено против Генриха III, сына Иоанна Безземельного. Таким образом, у Ковалевского здесь явная описка.

Вдруг, после появления нашей книги о Русском дилетантизме и общинном землевладении в «Критическом обозрении» появилась статейка, в которой, мимоходом и чисто голословно, Ковалевский презрительным тоном утверждал, что мои воззрения на общинное владение почерпнуты из старых, давно забытых немецких учебников и что я отвергаю признанное всеми новейшими исследователями существование общинного землевладения как первоначальной формы поземельной собственности*. На подобные заметки обыкновенно не отвечают, и я твердо держался этого правила. Но Герье представил мне, что это журнал, издаваемый молодыми профессорами Московского университета, а потому могущий сбить с толку студентов. Он уговорил меня послать заметку в самое «Критическое обозрение»**. Я написал, что не только никогда не отвергал первоначальной формы общинного землевладения, а напротив, прямо на это указывал в напечатанной еще в 56-м году статье о сельской общине, которую Ковалевский не потрудился прочесть***. В последней его книге я вовсе не имел повода касаться этого вопроса, ибо хотел только доказать, на основании не подлежащих сомнению данных, что современное нам общинное землевладение не есть остаток древнейшей формации, а плод крепостного права и податной системы. При этом я сослался на цитированную мною еще в то время статью Грановского, напечатанную в Архиве Калачова, в доказательство, что взгляды, которые выдаются за результат новейших исследований, были хорошо известны уже двадцать пять лет тому назад****.

Тогда Ковалевский, видя, что он дал промах, кинулся в другую сторону. В своем ответе он стал уверять, что я, на основании старых немецких учебников, допускаю непосредственный переход от первоначальной родовой общины к личной собственности, помимо общинного землевладения. Это была возмутительная передержка. Я отвечал на этот раз уже не в «Критическом обозрении», а в «Рус-

* В № 2 «Критического обозрения» за 1879 г. Ковалевский поместил рецензию на книгу Е. Нассе: «О средневековом общинном землевладении» в которой, между прочим, писал: «Еще недавно кн. Васильчиков высказывался в том смысле, что одним славянам известно существование общинной пахоты. С своей стороны, проф. Чичерин, не приводя никаких новых данных для подкрепления своей, по меньшей мере устаревшей теории, усиленно убеждал читателей, что русскому народу общинное землевладение на первых порах не было известно»... и т. д.

** «Критическое обозрение» 1879, № 4. В том же № помещен ответ Ковалевского.

*** «Обзор истории развития сельской общины в России» («Русск. вестник», 1856, I, стр. 373 – 386, 579 – 602).

**** «О родовом быте германцев» (Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, изд. Н. Калачевым, кн. II, пол. 2) М., 1855.

ских ведомостях»*, что приписывать мне подобное мнение нет ни малейшего основания, ибо я об этом вопросе не говорил ни слова. Тут же я сделал заметку и о Грановском, которого Ковалевский задел также неприличным образом. Я прибавил, что при таких приемах, дальнейшее ведение спора совершено бесполезно: отныне мой противник может писать все, что ему угодно; я отвечать не буду.

Тогда Ковалевский разразился, на этот раз тоже в «Русских ведомостях», самою неприличною статейкою, в которой, кроме пошлейшей брани, ничего не было. Я даже удивился, как Скворцов, которого я считал все-таки порядочным человеком и с которым я некогда был в хороших отношениях, решился напечатать подобный пасквиль**. После я узнал, что Скворцов в это время был в отсутствии; когда он вернулся, он так рассердился, что даже уволил Неведомского, который заступал его место в редакции. Несколько лет спустя я случайно встретил Неведомского; он передо мною извинялся, говоря, что в отсутствие Скворцова приезжали в редакцию Ковалевский с Чупровым, который был одним из главных сотрудников газеты, и оба так настойчиво требовали напечатания статьи, что он не счел себя в праве отказать. Рассказываю подробно этот пустой инцидент, чтобы показать, каковы были в то время ученые и литературные нравы и каков был уровень молодых профессоров Московского университета, нас заменивших.

По этому поводу Победоносцев писал мне из Петербурга: «Любезнейший друг Борис Николаевич, сегодня услышал, что вы втянулись в полемику в московских газетах с Максимом Ковалевским. Какой злой гений подтолкнул вам руку? Послушайтесь дружеского моего совета – бросьте это и как можно скорее, хотя бы последнее слово оставалось за противником. Разве можно в наше время в России пускаться серьезному человеку в полемику, и с кем же? Неужели вы еще надеетесь, что разумное слово будет услышано, что разумная аргументация подействует! Напрасно! Вы имеете дело с толпою, которая способна только хохотать, не разбирая, когда видит, что на улице дерутся или ругаются, и только кричит, кому попало: еще его! хорошенько! вишь, как он его отдубасил! И стоит ли растрачивать свои внутренние силы, которые собирать надобно, стоит ли сеять свое негодование! Когда на рынке под окнами галдят мальчишки и кричат, ругаясь, торговки, посидим дома, либо обойдем осторожно безобразную толпу, пробираясь, куда лежит наша дорога».

Я прекратил спор еще до получения этого письма, ибо так же, как Победоносцев, был убежден, что при современных наших литературных нравах и направлении в журнальной полемике можно только загрязниться, не принеся никакой пользы.

---

* «Русские ведомости», 1879, 3 марта № 54.

** «Русские ведомости», 1879, 5 марта № 56.

Не все, однако, молодые профессора Московского университета были такого пошиба, как Ковалевский с компанией. Были и почетные исключения. Из них более всех выдавался Герье, с которым я издал упомянутую книгу. Можно сказать, что в это время он главным образом поддерживал в университете истинно научное направление.

При таких элементах, при таком состоянии общества, для человека, ищущего жизни, движения, умственных интересов или даже просто развлечений, Москва представляла мало привлекательного. В литературных и светских собраниях царила скука. Но кто хотел жить тихо и мирно, в тесном кругу друзей, у кого были свои кабинетные занятия, тому трудно было найти в России более приятное место жительства. Тут не было столичного шума и суеты, не было всеподавляющего двора, источника всякой суетности и тщеславия; не было и низменных чиновничьих интересов, и постоянных рассказов о всякого рода интригах и гадостях. Официальный центр Москвы, князь Владимир Андреевич Долгорукий, в кругу, где я вращался, вызывал только улыбку пренебрежения. А с другой стороны, тут не было тесноты и мелочных сплетен провинциального города, где все смотрят друг другу в глаза и знают, что делается в каждом доме. Это была провинция, пожалуй, даже деревня, но раскинутая на обширных пространствах, с большим все-таки количеством людей и с большею шириною интересов. У меня были тут и свои старые добрые друзья, с которыми я часто видался. Ближайшими были Щербатовы и Станкевичи. Щербатов в это время не занимал уже никакой общественной должности. Он жил себе московским барином, значительно умножив и без того весьма хорошее состояние, наслаждаясь счастливою семейною средою. Его общительный и приветливый нрав, его сердечность, соединенная с большим здравым смыслом, высокое благородство его характера, приобрели ему всеобщую любовь и уважение. Его положение в Москве было, можно сказать, совершенно исключительное. Чем реже становились представители старинного вельможества, тем отраднее было видеть в нем одно из лучших его воплощений. Держа свои дела всегда в полном порядке, он тем не менее жил на широкую ногу и принимал весь город. Жена его*, смолоду блиставшая обаятельною грациею и красотою, сохранила в зрелых летах всю живость и свежесть необыкновенно восприимчивого и тонкого ума, искавшего постоянной пищи в разнообразном чтении, что было редкостью не только между дамами, но и между мужчинами. Одаренная горячим сердцем и пылким воображением, она равно могла быть центром оживленного салонного разговора и соединить вокруг себя тесный приятельский кружок. Детей она, вку-

* Княгиня Мария Павловна Щербатова, рожд. Муханова.

пе с мужем, воспитывала в таком высоком нравственном строе, стараясь возбудить в них и умственные интересы и живое участие ко всякому добру, что любо было смотреть на их семейную жизнь. С дорогими своими друзьями Станкевичами я виделся почти каждый день и всегда находил у них и умственную и сердечную отраду. Старый наш литературный кружок распался*; выбывал один член за другим, а новые не прибывали. Одно время Станкевичи пробовали приютить к себе наиболее подходящих из молодых профессоров: но это не пошло: за весьма немногими исключениями, молодые элементы были такого рода, что они плохо клеились с старыми и представляли собою мало интересного. Приходилось довольствоваться обломками прошлого. Всегда милым другом был милый Кетчер, которого одно присутствие доставляло сердечное услаждение. На зимние месяцы приезжал Дмитриев, в то время поселившийся в провинции и весь погруженный в земские дела. Изредка появлялся Забелин, а также разбитый параличом наш добрый друг Пикулин, у которого мы иногда собирались вечерком. Как опытный гастроном, он обыкновенно угощал нас маленьким ужином, сам варил севрюгу в кастрюльке и ставил бутылку отборного вина, с удовольствием показывая надпись: tiré du chateau**. У Кетчера же, в день его именин, 6 декабря, собиралась целая ватага, ибо у него были приятели во всех кругах. До глубокой ночи друзья его должны были пировать и упиваться шампанским.

В Москве были некоторые удовольствия и для любителей художества, как я. Выше я сказал, что в самом доме, где мы жили, был музей, с отличною картинного галереею, где были первоклассные произведения, между прочим Распятие Перуджино, античные и новые бронзы, фарфоры, всякого рода великолепные вещи. Вскоре после нашего выезда этот музей был продан. В этом отношении Москве не посчастливилось. Все накопившиеся в ней в течение XVIII века сокровища исчезли, не только старинные барские собрания, Растопчинская галерея*** и одна из Мосоловских, которые были

* О литературном кружке, собиравшемся в 50-х годах в доме Станкевичей, см. в «Записях прошлого», Воспоминания Б. Н. Чичерина «Москва сороковых годов». М.,1929, стр. 199 – 201.

** «Разлива замка»– подразумевается замок Лафит (во Франции), прославившийся еще в XVIII в. своими виноградниками; здесь выделывалось первоклассное красное бордосское вино; среди любителей считалось особым шиком выписывать вино непосредственно от владельцев знаменитого замка.

*** Галерея гр. Андрея Федоровича Растопчина состояла из предметов, собранных в 1817 – 1823 гг. в Париже и помещалась в его доме на Лубянке; в 1836 г. А. Ф. перевез ее в Петербург и значительно пополнил в 1846 – 1847 гг.; в 1849 г. он перевез ее обратно в Москву, где отделал для нее дом на Садовой и открыл в 1850 г. для обозрения публики

проданы уже на моих глазах, но и то, что было присвоено городу. Я слышал об этом изумительные рассказы от московских старожилов, любителей искусства, каких в старину было много. Вельможи времен Екатерины были все ценители и собиратели художественных произведений. В то время была мода; сама императрица подавала пример, и все ее любимцы и сановники считали долгом ей подражать. Между прочим, русский посланник в Вене во времена Французской революции, князь Дмитрий Михайлович Голицын, пользуясь смутною порою, когда все во Франции продавалось за бесценок, составил великолепную картинную галерею. После смерти он оставил ее при основанной им Голицынской больнице, с тем, чтобы город пользовался ею на вечные времена. Но случилось, что в Москву приехала императрица Мария Федоровна. Осматривая больницу вместе с попечителем, князем Сергеем Михайловичем Голицыным, она заметила, что хорошо бы больницу расширить и прибавить кроватей. Надо было добыть денег. В это время в Москве проживали несколько больших любителей картин: братья Мосоловы, Власов, Протасов. Они уговорили князя Голицына пустить галерею в продажу и на вырученные суммы расширить больницу, в 1818 году был аукцион; драгоценные полотна разошлись по частным рукам и впоследствии большею частью ушли за границу.

Я видел список их у Егора Ивановича Маковского, одного из интересных и типичных представителей старого поколения любителей искусства. Он был бухгалтер Дворцовой конторы, человек бедный, но страстно преданный художеству. Смолоду он жил в этой атмосфере и до конца жизни весь был в нее погружен. Он рыскал по всем углам, знал все, свято хранил предания, на свои скудные средства собирал и картины и гравюры, умел до тонкости ценить произведения искусства. Немудрено, что он воспитал целую семью даровитых художников. Но мало того, что Москва лишилась картинной галереи. Тот же князь Дмитрий Михайлович Голицын составил великолепное собрание рисунков, в числе которых были Преображение Рафаэля и Пляска Смерти Гольбейна. Оно перешло к его родственникам, Долгоруким. И тут опекуном был князь Сергий Михайлович Голицын. Опять понадобились деньги, решено было это драгоценное собрание продать. В сороковых годах оно было выставлено в Москве для продажи.

Но времена изменились, богатых любителей уже не обреталось. Два или три года продолжалась выставка, и не только не находилось покупателей между частными лицами, но само правительство отказалось от приобретения этих сокровищ. Наконец, зубной врач Жоли купил все собрание за десять тысяч рублей ассигнациями, увез его в Париж и там продал за большие деньги. Случай весьма характерный для тогдашней эпохи.

Из князей Голицыных нашелся, однако, один, который снова одарил Москву собранием художественных произведений. Племянник князя Сергия Михайловича Голицына, князь Михаил Александрович, служивший в дипломатии и долго состоявший русским посланником в Испании, был большой любитель и знаток искусства. Получив богатое собрание от отца и дядей, он значительно его приумножил, постоянно живя за границею.

Из всех собранных им и унаследованных редкостей он оставил в Москве публичный музей, который помещался в его доме, в том самом, где мы жили. При открытии музея было отслужено торжественное молебствие; прочитана была воля князя Михаила Александровича, в силу которой этот музей предназначался для Москвы и должен был навеки оставаться открытым для публики. Но в России вечность непродолжительна. Наступило новое поколение, и все это исчезло. Сын князя Михаила Александровича, князь Сергий Михайлович, не только не разделял вкусов отца, но вовсе лишен был ума и образования. Еще очень молодым человеком он женился на цыганке, потом с нею развелся, прижив четверых детей; насильно увез какую-то замужнюю даму, но и ее через несколько лет бросил, наконец, женился вторично, на гувернантке своих дочерей, которых он оставил при себе. В виду всех этих похождений он принужден был оставить военную службу и поселился за границею. Огромное состояние было значительно расшатано. Старинный барский дом, с стенами в два аршина толщины, с каменными сводами в нижнем этаже, дом, в котором жила Екатерина, стал раздаваться на квартиры. В наше время отдавался в наймы только нижний этаж, где мы помещались, а наверху был музей; но после нас весь дом был сдан под учебное заведение.* На дворе воздвиглись новые постройки с коммерческою целью, а музей был продан, к счастью, на этот раз не в частные руки и не иностранцам, а русскому правительству, которое перевезло его в Эрмитаж. Но Москва окончательно лишилась картинной галереи.

Взамен старых русских вельмож разбогатевшие купцы начали собирать картины, но уже новейших школ, русской и иностранных. Так составились галереи братьев Третьяковых, Д. П. Боткина, Солдатенкова. Сохранились еще некоторые частные собрания и для ценителей старинного искусства. Такова была галерея, принадлежавшая Семену Николаевичу Мосолову, прелестному старику, представлявшему последний остаток старых московских бар, всецело преданных художеству. Это был, в более утонченной форме, такой же

---

* В 90-х годах, когда писались «Воспоминания», в доме кн. Голицына помещалось частное реальное училище Хайновского, позднее в нем был Народный университет имени Шанявского (до постройки им собственного здания на Миусской площади).

привлекательный тип прежнего поколения, как Егор Иванович Маковский. Его галерея, собранная еще его отцом, была одним из обломков знаменитого Голицынского аукциона. У Мосолова было составленное им самим великолепное собрание старинных гравюр, которым он часто услаждался. И в третьем поколении продолжалась та же страсть, наполнявшая всю жизнь. Сын Семена Николаевича, Николай Семенович, сам подвизался на этом поприще, побуждаемый и вдохновляемый отцом. Он был одним из видных русских граверов, и каждое новое его произведение рассматривалось и обсуждалось в небольшом кружке любителей.

Частью при моем содействии составилась небольшая, но очень хорошенькая галерея Станкевича. Истинным перлом была прелестная, купленная в Италии Мадонна Беллини, а также приобретенная в Москве картина Луини, изображающая Христа, несущего крест. Тут был Гверчино, первоклассный Гвидо-Рени, Мороне, Боль, Стеен, Ван-Гойен, в особенности Кюйп с очаровательным вечерним освещением, а из новых прелестный пейзаж Лессинга, пейзажи Каменева и Шервуда. В пятидесятых годах мы с Станкевичем со страстью предавались поискам. Тогда в Москве еще можно было приобретать хорошие вещи и не за дорогую цену. Иногда совершались дальние походы. Мне особенно памятен один, по своим характерным подробностям. Станкевичу сообщили, что в окрестностях Москвы, в Подольском уезде, продаются картины у помещика Медокса. Отец этого Медокса был первым антрепренером театра в Москве в начале нынешнего столетия.* В двенадцатом году его предприятие рушилось, но деньги у него были, и он тогда же накупил картин, которые уцелели в деревне. Сын был некогда военным, чуть ли не адъютантом наместника в Царстве Польском, но давно уже вышел в отставку и поселился в своей подмосковной. Мы решились туда ехать; но в самый день отъезда нам пришли сказать, что Медокс с семейством прибыл в Москву. Мы отправились к нему в гостиницу, чтобы переговорить о посещении. Оказалось, что он одну из дочерей выдавал замуж и ехал в другую деревню. Мы увидели тут двух девиц, разряженных, в шляпах с перьями. Деньги для свадьбы были нужны, и он решил тут же отправиться с нами обратно. Мы ночевали в Подольске и на следующее утро, по проселочной дороге, в маленьких санках гуськом, поехали к нему. Снаружи нас поразил вид совершенно разрушенного балкона с колоннами. Видно было, что старая помещичья усадьба вовсе не поддерживалась. Но это было ничто в сравнении с тем, что ожидало нас внутри. Изломанные столы, стулья без ножек, везде грязь невообразимая, вот что кинулось нам в

* Театр Медокса стоял на берегу р. Неглинки, на месте здания 2-го МХАТа; он был построен в 1780 г. и существовал до 1808 г.

глаза. Ничего подобного я не видывал. Можно было подумать, что тут стояла целая рота солдат. К тому же дом был нетопленный, и мы принуждены были оставаться в шубах. Но всего печальнее было, когда он вздумал угощать нас обедом: еда была такая отвратительная, что буквально нельзя было ничего взять в рот, и вдобавок все подавалось на грязнейшей, избитой посуде, с сломанными и запачканными вилками и ножами. Если бы подобное хозяйство встретилось где-нибудь в захолустье, у нищего русского помещика, то и тогда бы оно привело нас в изумление как признак совершенно варварского быта. Но это было под Москвою; хозяин был сын англичанина, имевшего видное положение, сам бывший адъютант, обладатель двух деревень; дочери щеголяли нарядами. И к довершению контраста на стенах висели если не первоклассные, то весьма хорошие картины, которые вознаградили нас за нашу поездку.

В 60-х годах в Москве было некоторое оживление и между художниками. Перов, Каменев, Шервуд вступали в состязание и выставляли свои произведения. Но в семидесятых годах этот мимолетный порыв значительно ослабел. Перов умер, Каменев спился, а Шервуд разбросался; он писал и пейзажи, и портреты и исторические картины, хотел быть и скульптором, и архитектором, и поэтом. Везде проявлялся талант, порой довольно сильный, но чрезвычайно неровный. Я сблизился с этим чистым, наивным и восторженным жрецом искусства, который то вдруг возносился до небес, воображая себя русским Микеланджело и открывая неведомых гениев, то свирепо ратовал против современного равнодушия и низменного направления.

В полном упадке находился и столь высоко стоявший в прежнее время Московский театр. Крупные актеры, украшавшие русскую сцену, сошли в могилу. Не было ни Мочалова, ни Щепкина, ни Садовского, ни Шуйского. Один старик Самарин, который недостаток природного таланта заменял умною игрою, оставался хранителем старых преданий. Театр пробавлялся пьесами Островского, которые приходились мне вовсе не по вкусу. Я всегда находил, что изображение пошлости тогда только терпимо, когда оно сопровождается комизмом; при отсутствии юмора оно становится невыносимо. Упадок театра обнаруживался в особенности, когда давали какую-нибудь из крупных комедий старого времени. В 1883 году праздновали столетие Недоросля парадным представлением в Большом театре. И что же? Один Самарин, который играл смертельно скучную роль Стародума, умел ходить, стоять и говорить, как человек. Все остальные были из рук вон плохи. Я уехал раздосадованный после второго действия, будучи не в силах выдержать до конца, а Аксаков, который был тут же, уехал еще прежде меня.

Одна музыка процветала под влиянием Николая Рубинштейна. Если не было порядочной оперы, какие бывали в прежние времена,

зато еженедельно давались симфонические концерты, на которые стекались толпы народа среди непомерной духоты, а также утренние квартетные собрания, на которые съезжались любители и даже посредственные слушатели, как я. Но для последних в особенности это было плохое утешение за оскудение во всем остальном. Москва конца семидесятых годов была, в сущности, не более как воспоминанием старой Москвы. Тем не менее в ней жилось тихо, мирно и приятно.

В тот год, как мы в ней поселились, был, однако, политический вопрос первостепенной важности, который занимал все умы, хотя без всякого толку. Я говорю о Болгарской войне.

Восточные замешательства и болгарская резня произвели в русском обществе небывалое возбуждение. Само правительство не только его поддерживало, но и поджигало. Не решаясь на первых порах выступить прямо и открыто на этот скользкий путь, оно действовало исподтишка. Своим орудием оно избрало Московский славянский комитет. Он не только послал в Сербию генерала Черняева, но направлял туда массы добровольцев, снабжал их деньгами и оружием, отправлял даже пушки. Это я знаю от самого Ивана Сергеевича Аксакова, который с удивлением восклицал: «Славянский комитет вел войну с Турецкою империею!» Однако война Комитета вышла неудачною, и русское правительство, затеявшее эту опасную игру, наконец, само было вовлечено в военные действия.

Значительно способствовал этому исходу наш тогдашний представитель при Оттоманской Порте, генерал Игнатьев, человек весьма неглупый, пронырливый, но крайне легкомысленный. Он систематически лгал не только иностранцам, но и перед собственным своим правительством, которое он вводил в заблуждение не с каким-либо умыслом, а просто по прирожденной наклонности заменять истину фантазией. Он не распутывал, а затягивал узел. Вернувшись в Россию после порвания дипломатических сношений с Турциею, он уехал в заграничный отпуск. Казалось, что на это время, по крайней мере, он становится безвредным. Не тут-то было. Ему было формально запрещено ездить в Англию; но он представил, что ему совершенно необходимо сделать визит лорду Сольсбери, вместе с которым он был уполномоченным на Константинопольской конференции. Ему разрешили эту поездку под условием, чтобы он отнюдь не заезжал в Лондон, где в то время происходило новое совещание. Несмотря на то, он не только заехал в Лондон, но виделся с лордом Дарби, тогдашним министром иностранных дел, наговорил ему в три короба и привел его в такое смущение, что тот потребовал включения нового условия, вследствие которого и вторичная конференция не привела ни к чему. Это я знаю от людей, близко стоявших к делам.

Война была решена. Правительство было втянуто в нее, можно сказать, нехотя, само не зная, чего оно хочет и к чему стремится. Впоследствии Милютина обвиняли в том, что он с самого начала не двинул в Турцию громадного количества войск, которое могло бы одним натиском раздавить врагов. Но сделать это было не легко без своевременного приготовления, а до последней минуты были в полном недоумении относительно нашей политики. Во всяком случае войск было двинуто такое количество, которое считалось с избытком достаточным по имеющимся сведениям о военных силах Турецкой империи. К несчастью, эти сведения доставлял тот же генерал Игнатьев, который представлял все дело в виде военной прогулки. Плевна разрушила эти фантазии. После несчастного приступа 30 августа главнокомандующий хотел отступить. Милютин спас дело, настоявши на том, чтобы выписан был Тотлебен, который придал действиям совершенно другой оборот. Затем последовал победоносный переход наших войск через Балканы и полный разгром неприятеля. Мы остановились у ворот Константинополя. Вопрос состоял в том: войдем ли мы в него или нет?

Разные патриоты, разумеется, кричали, что надо водрузить крест на Святой Софии. Но русское правительство благоразумно воздержалось. Оно видело, что этим может накликать на Россию новую и на этот раз уже европейскую войну. Английский флот был в Мраморном море; заключенная перед войною конвенция с Австрией вовсе не предусматривала подобного исхода, а потому не обеспечивала нас от нападения с тыла. Удержаться на Босфоре при отсутствии флота мы не могли; выгонять турок из Европы и тем самым водворить на Балканском полуострове полнейший хаос мы не имели ни малейшего интереса. Войти же в Константинополь с тем, чтобы опять из него выйти, было таким шагом, который мог иметь самые невыгодные для нас последствия. Как в 29-м году мы остановились при Адрианополе, так теперь мы остановились перед Стамбулом. Это было единственное разумное дело с самого начала замешательств. К сожалению, для заключения мира был послан тот же неизбежный Игнатьев. Пользуясь положением турок, которые, раздавленные и потеряв всякие средства защиты, соглашались на все, он раскроил Оттоманскую империю, лишив ее почти всякой возможности существования, создал невозможную Болгарию, к которой присоединил не только Восточную Румелию, но и значительную часть Македонии, тем самым возбудил против нас и греков и сербов, а между тем военных позиций не обеспечил, так что в случае возобновления действий наш тыл оставался открытым.

Русские патриоты возликовали. Но надо было считаться с Европою. После Сан-Стефано пришлось идти в Берлин. Здесь мы разыграли не совсем завидную роль. Без толку забравши слишком много

для освобожденных нами болгар, мы значительную часть завоеваний должны были уступить обратно. Однако, из собственно русских интересов ничего существенного не было принесено в жертву. От Болгарии была отделена Румелия, но, когда они несколько лет спустя соединились, мы первые восстали против этого слияния. Уступка, на которую мы согласились всего менее охотно, состояла в предоставленном Турции праве держать гарнизоны на Балканах, право, которым она никогда не воспользовалась. Тем не менее, русское общество сочло Берлинский мир позором для победителей. Аксаков публично произнес яростную речь, в которой обвинял русскую дипломатию в измене Россия. Его сослали на время в деревню, но неудовольствие не вдруг улеглось. За бессмысленным увлечением последовало столь же бессмысленное разочарование.

Я не разделял ни того ни другого. При первых замешательствах я с любопытством и даже с некоторым сочувствием следил за славянским движением. Начало народностей было выдающимся вопросом нашего времени, и я не сомневался, что рано или поздно славянские племена, подчиненные чуждым им правительствам, точно также поднимут народное знамя, как подняли его Италия и Германия. Не настала ли эта пора? Я слыхал от умных дипломатов, вовсе не причастных славянским увлечениям, как барон Будберг, что Сербии суждено разыграть роль Пиэмонта на Балканском полуострове. Потому, когда этот новый Пиэмонт, который в начале столетия так геройски отвоевал свою независимость, затеял войну против Турецкой империи, и генерал Черняев, выступив в поход, взял Бабью Гору, я с напряженным вниманием ожидал: что будет далее. Неужели он пойдет на Константинополь? Но вместо того, чтобы идти на Константинополь генерал Черняев остановился и стал обучать войска. При первом столкновении с турками вся эта ватага сербов и добровольцев рассеялась, как дым. Все это оказалось пуфом, предпринятым с целью затянуть Россию в войну. При таких условиях увлекаться движением казалось мне чистым безрассудством. Славянские племена, обитавшие Балканский полуостров, очевидно, были не в состоянии стоять на своих ногах. Россия должна была не помогать им, а все делать сама, что требовало громадных жертв, да и вовсе не было в ее интересах. С этой точки зрения я спорил с своим шурином, Дмитрием Капнистом, который гостил у нас весною 1877 года. Он был в то время советником министерства иностранных дел и хорошо знал все, что там творилось. Он сильно стоял за войну, утверждая, что нельзя найти более благоприятной минуты для разрешения Восточного вопроса согласно с нашими выгодами: Германия находится с нами в дружеских отношениях, с Австриею заключена конвенция, Франция ослаблена и не смеет двинуться, а Англия одна, без сухопутного войска, не в силах защищать Турцию. Я же возра-

жал, что на дружбу Германии полагаться нельзя, что Англия, даже одна с своим флотом, не дозволит нам утвердиться на Босфоре, что удержаться там, не имея флота в Черном море, даже совершенно невозможно, а всякий другой результат не стоит тех жертв, которые потребует от нас эта война.

Поэтому я и Берлинский мир встретил, как единственный возможный исход из положения, в которое мы затесались зря, не зная, куда мы идем. Свои мысли об этом событии я изложил в рукописной статье, которую написал в деревне под заглавием: «Берлинский мир перед русским общественным мнением». Она была писана как раз перед появлением в печати яростной речи Аксакова и могла служить ей ответом. Приведу вкратце ее содержание.

Прежде всего я восставал против разжигаемых газетами увлечений, которые требовали войны во имя филантропии и патриотизма. Я доказывал, что проливать кровь из благотворительных целей, во имя евангелия, есть чистая нелепость, а провозглашаемое с таким треском историческое призвание России освобождать братские народы противоречит собственной ее политике в Польше: нельзя идти на освобождение одних братьев, когда держишь в цепях другого. Никто не поверит, что это делается бескорыстно. Не историческое призвание, а политические интересы двигали и движут нашею политикою на Востоке. Для нас существенно важно, в чьих руках находится ключ к Черному морю, и по географическому положению, и по племенному, и религиозному сродству, Балканский полуостров составляет естественную сферу нашего влияния. Но какого рода это влияние? Ни один здравомыслящий русский, конечно, не думает о завоевании Турции и о присвоении себе Константинополя. Это было бы не усиление, а ослабление России. Центр тяжести перенесся бы на юг, и Россия перестала бы быть Россиею. Столь же нежелательно создание мелких государств, состоящих к нам в вассальных отношениях, которые всегда непрочны и требуют значительных жертв. Все, что мы можем и должны желать, это замены Турецкой империи небольшими государствами, связанными с нами своими существенными интересами и находящими в нас опору своей независимости. Но для этого необходимо, чтобы народы Балканского полуострова были способны стоять на собственных ногах. Мы можем подать им руку помощи, а никак не брать все дело освобождения на свои плечи, что совместно только с политикою завоеваний. «Отсюда ясно, – писал я, – что то, что называют разрешением Восточного вопроса, зависит вовсе не от изгнания турок из Европы, а от внутреннего развития подвластных Турции племен. Преждевременное изгнание турок было бы не концом, а началом вопроса, ибо тут только возникли бы бесчисленные затруднения от незрелых и сталкивающихся друг с другом стремлений освобожденных народов, к чему присоединилось

бы неизбежное соперничество европейских держав, желающих каждая приобрести свою долю влияния на эти государства. Весь смысл существования Оттоманской империи заключается в том, что естественные наследники ее – малолетние. Устраните этого созданного историей попечителя, и тотчас явятся другие, которые займут оставленное впусте место. А так как интерес России состоит вовсе не в том, чтобы владычество Турции заменилось непосредственным вмешательством европейских держав, то прямая ее выгода заключается в сохранении Оттоманской империи до тех пор, пока, в силу естественного хода вещей и внутреннего развития подвластных племен, это дряхлое тело само собою развалится и уступит место более свежим элементам. Следовательно, настоящая политика России в Восточном вопросе должна состоять не в ускорении разрушения, а в спокойном выжидании. Россия призвана не уничтожить Турцию односторонним действием, а помогать зреющим племенам, всякий раз как позволяют время и обстоятельства. В особенности она должна стараться улаживать их внутренние распри, становясь в беспристрастное отношение ко всем им. Это одно соответствует истинным ее интересам, ибо этим только обеспечивается одинаково влияние на всех».

С этой точки зрения я восставал против Сан-Стефанского договора, который мог приходиться по вкусу только проповедникам крестового похода против Турции во имя филантропии и либерализма. «И для поддержания этого трактата, – писал я, – приходилось начать новую и более опасную войну, на этот раз уже не с дряхлою Турцией, а с европейскими державами, с Англией, вероятно и с Австрией, которая после заключенной с нею сделки вовсе не ожидала подобных условий, притом без денег, без союзников, с утомленною армиею, с истощенными запасами, – и все это для фантастической Болгарии, о которой самое лучшее, что можно было сказать, это то, что никому неизвестно, что из нее может выйти».

Но, одобряя умеренность русского правительства, которое не поддалось возбужденным им самим безрассудным толкам и требованиям, я не скрывал, что ложный шаг не обошелся нам даром. «Если мы взвесим все результаты войны, – заключал я, – то едва ли окажется, что мы что-нибудь от нее выиграли. Восточный вопрос значительно подвинулся вперед; это несомненно. Турция разгромлена так, что впредь она не в состоянии уже оказать серьезное сопротивление и может держаться только чужою поддержкою. Из подвластных ей народов некоторые получили полную независимость, другие – политическую, третьи административную автономию. Всем им даны гарантии и открыто новое поприще для внутреннего развития. Но послужит ли этот шаг на пути развития к расширению русского влияния? В этом позволительно сомневаться. Как уже было указано

выше, именно сильнейшие племена Балканского полуострова стали нам во враждебное отношение. Кроме горсти черногорцев, к нам примыкают, и то с весьма значительными оговорками, одни болгары, которые пока не представляют ничего, кроме неизвестного будущего. Но неизвестное не может считаться достаточным вознаграждением за пролитую кровь и за потраченные деньги. С другой стороны, взамен разваливающейся Турции явились гораздо более опасные и могучие соперники, Австрия и Англия, которые стали твердою ногою в турецких владениях. Мы сильным ударом пошатнули ветхое здание; естественным последствием было то, что все имеющие интерес в доме пришли занять в нем свое место. Австрия приобрела в Боснии и Герцеговине крепкую военную позицию. Она расширила свое влияние и на Сербию. Англия заняла Кипр и гарантировала азиатские владения Турции. Отныне мы не можем сделать шага, не столкнувшись с ними... Вместо слабого соседа, мы приобрели сильных. Шаг сделан громадный, но не в нашу пользу».

Когда я писал эти строки, я не думал, что несколько лет спустя, даже скудные плоды наших побед на Балканском полуострове будут безрассудно разбросаны по ветру. Можно ли было предвидеть, что вместо бережного отношения к освобожденной нами народности, мы наложим на нее медвежью лапу, станем требовать от нее той же безусловной покорности, к какой мы привыкли у себя дома, и при встрече сопротивления, из чисто личной досады, покинем позицию, приобретенную потоками русской крови? Еще менее можно было ожидать, что самодержавное правительство, всегда стоявшее на страже порядка и гордое сознанием своего божественного права, станет заниматься тайными кознями, подкупами, возбуждением революции, подготовлением ночных нападений на законного, им же посаженного князя. И когда верные болгары, подняв знамя закона, выгнали заговорщиков и призвали своего насильно увезенного квязя назад, с высоты русского престола раздался голос, осуждающий его возвращение. Пример, подобный которому едва ли можно встретить в истории. Если болгарская политика прошедшего царствования страдала неясностью мыслей и нерешительностью действий, то политика нынешнего царствования страдает, напротив, чрезмерным пренебрежением ко всему, кроме личного самодурства*.

Печатать мою статью при наших цензурных условиях, конечно, было немыслимо. Дмитрий Капнист литографировал ее, однако с пропуском всех мест, могущих задеть высокопоставленные лица, и в этом виде пустил ее в ход в Петербурге. Она произвела некоторое

* См. М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России. Сборник статей, М., ГИЗ. 1923, стр. 345-355. С. Сказкин. Конец австро-русско-германского союза, т. I., 1879 – 1884, стр. 212 – 232.

впечатление в маленьком кругу читателей. Между прочим, граф Строганов говорил мне, что он был так поражен аргументацией, что послал статью императрице. Не знаю, как она там понравилась*.

В переписке князя П. А. Вяземского есть писаное в это время письмо, в котором он говорит: «Сохраните это письмо как доказательство, что в опьяневшей России был хотя один трезвый человек». Могу с документом в руках, сказать, что их было несколько, хотя, к сожалению, очень немного. Из ближайших моих друзей один Станкевич вполне разделял мои взгляды. Даже Дмитриев и Щербатов плакались над оскорблением патриотического чувства Берлинским трактатом. Я же не видел в постановлениях Берлинского трактата ничего нарушающего истинные интересы России; щелчок же, данный безрассудству, считал весьма полезным для будущего. К сожалению, подобные уроки проходят у нас совершенно без следа.

В других странах, где существует какая-нибудь свобода мнений, люди, остающиеся трезвыми при общем увлечении, могут, по крайней мере, поднимать голос, а при наступающем отрезвлении приобретают некоторый авторитет; у нас они принуждены шептать за кулисами, а минуты отрезвления они никогда не дождутся: за беснованием наступает или полное равнодушие, или безрассудство в противоположную сторону. Так и теперь, за слепым увлечением болгарами последовала столь же слепая ненависть к болгарам. В обоих случаях журналы били в набат, и пошлый патриотизм проявлялся во всем своем блеске. Всего противнее были раболепные восторги при чтении царской телеграммы изгнанному болгарскому князю.

Следя внимательно за ходом политических событий, я в то же время был занят философскою работою. Мне давно хотелось высказать созревшие у меня мысли об отношении философии к религии. Сначала я думал сделать это по окончании предпринятой мною истории политических учений. Но этот труд затягивался, и конца еще не предвиделось. Я решился временно отложить его в сторону и написать сочинение, обнимающее совокупность высших философских вопросов, в форме доступной если не для массы публики, то по крайней мере для людей, умеющих читать серьезные книги. Результатом было сочинение, которое я издал под названием «Наука и религия»**.

---

* Записку Чичерина по восточному вопросу Победоносцев переслал наследнику, будущему Александру III, при письме от 29 октября 1878 г. (Письма, т. I. Стр. 147 – 148). «Считаю нужным прибавить, – писал он при этом, – что, хотя многое в этой записке справедливо, но вся она мне не нравится, и мне, как и многим другим, даже неприятно было читать ее. Душа не принимает. При всем моем уважении к Чичерину, я не разделяю многих его взглядов и есть предметы, в которых никогда не могу с ним сговориться».

** Книга «Наука и религия» напечатана в Москве в 1876 г. Тотчас по напечатании она была через Победоносцева преподнесена наследнику, будущему Александру III.

Я работал над ним первую зиму, проведенную в Москве, с 1877 на 1878 год. Еще в рукописи я читал его Станкевичу, который в итоге остался им очень доволен, главным образом философскою частью. От Победоносцева по издании книги я получил восторженное письмо. Соловьев, не соглашаясь с моими взглядами на счет исторического развития религиозных верований, сказал мне перед смертью: «Дай бог побольше таких книг». Глава о развитии мифологии была, бесспорно, самая неудовлетворительная во всем сочинении. Этот предмет в своей совокупности был еще вовсе не разработан в науке, а многие его части оставались даже вовсе не исследованными. Приходилось в небольшой главе излагать его сжато, а вместе достаточно подробно для оправдания выводов, что представляло почти неодолимые трудности. Я в рукописи читал эту главу молодым московским ученым, Герье и Федору Коршу, думая от них получить какие-нибудь указания, но не слышал ни одного путного замечания и должен был напечатать главу в том виде, в каком она была написана. Думаю, однако, и теперь, что в ней есть мысли и взгляды, заслуживающие внимания.

Книга произвела некоторое впечатление и в петербургском обществе. Баронесса Раден писала мне, что она в первый раз слышит, что о моем сочинении говорят в светских гостиных. Я сам, несколько лет спустя, осматривая дворец в Алупке, к удивлению нашел свою книгу с заметкою на столе в будуаре княгини Воронцовой. Но печать, за исключением некоторых духовных журналов, встретила ее враждебно. В «Вестнике Европы» появилась маленькая статейка, касавшаяся только третьей части и обличавшая в авторе полное незнакомство с историею философии, о которой он брался толковать. Казалось, наши журналисты хотели оправдать сказанное в предисловии, что никогда еще легкомыслие и невежество так беззастенчиво не выставлялись напоказ. Что касается до Каткова, то он избрал самый верный путь: не сказал ни слова о сочинении, которое во всяком случае составляло оригинальное явление в нашей скудной философской литературе. Я слышал на этот счет любопытный рассказ от Ипполита Павлова, который зарабатывал себе деньгу в «Русском вестнике». Павлов сказал Каткову, что это книга замечательная, и что надобно об ней написать. «Я согласен с вами, что эта книга замечательная, – отвечал Катков, – но так как со многим нельзя согласиться, то лучше о ней промолчать». Так этот руководитель русского общественного мнения понимал задачи и обязанности критики. Сочинение, несмотря на то, почти совсем разошлось. Но какого-либо следа, хотя бы даже серьезного обсуждения поднятых ею важных философских и исторических вопросов, я не видал. О том, чтобы оценить достоинства и недостатки книги и оказать хотя бы малую долю уважения положенным в нее добросовестной мысли в много-

летнему труду, об этом в нашей журналистике не было и помину. Ярлычок был привешен не тот, какой требовался тем или другим направлением.

По окончании этого сочинения, я принялся вновь за историю политических учений; но посреди работы я был неожиданно отвлечен совершенно посторонним делом. Однажды Щербатов приехал ко мне за советом. Ему предложили председательство в одном из отделений Комиссии, учрежденной под председательством графа Баранова для исследования железнодорожного дела в России*. Он спрашивал: что я об этом думаю? следует ли принимать? Я отвечал, что, когда правительство обращается к обществу за содействием, то нет повода ему отказывать. Как человек свободный и практический, он легко справится с делом, и я не вижу причины от него уклоняться. «Хорошо, – сказал он, – я пойду, если ты пойдешь со мною в качестве товарища». В подкомиссиях товарищей не полагалось, что Щербатов принимал на том условии, что назначаемое председателю жалованье в 3000 рублей, от которого он отказывался, будет обращено на товарища. Я согласился.

Комиссия графа Баранова была, в сущности, некоторого рода подкопом под министерство путей сообщения, которое находилось в то время под управлением адмирала Посьета, хорошего человека, но совершенно неспособного министра. Решаясь приняться за эту работу, я питал надежду, что конкуренция авгуров**, как я выражался, даст возможность сторонним людям провести что-нибудь путное. Однако и наш председатель, граф Эдуард Трофимович, добрый, мягкий, обходительный, не отличался ни деловитостью, ни энергиею. Главный его делопроизводитель, генерал Анненков, впоследствии строитель Закаспийской железной дороги, был, напротив, человек энергический, очень деятельный, но ненадежный. Основательности в нем было мало: к делу он относился довольно легко, всегда руководствовался личными целями, и на слово его нельзя было положиться. Но подкомиссиям в их работах предоставлен был полный простор. Все русские железные дороги были распределены между ними. Во главе одной стоял сам граф Баранов; в других председателями были Щербатов, князь Волконский, бывший председатель Рязанской губернской управы, барон Менгден, председатель поземельного банка в Варшаве, Тернер, впоследствии товарищ министра финансов, и наконец бывший профессор Харьковского университе-

* «Барановская комиссия» возникла в результате записки, представленной царю в апреле 1876 г. военным министром Д. А. Милютиным о несостоятельности наших железных дорог в деле передвижения войск и грузов.

** Авгуры – римские жрецы, на обязанности которых лежало совершать гадание при разрешении государственных вопросов.

та Е. С. Гордеенко. На нашу долю досталось все протяжение пути от Вологды до Севастополя, то есть дороги Московско-Ярославская с ветвью до Вологды, Московско-Курская, Курско-Харьково-Азовская, Донецкая Каменноугольная и Лозово-Севастопольская. Приходилось проехать почти всю Россию, от дальнего севера до самой южной оконечности.

Кроме Щербатова и меня, наша подкомиссия состояла из двух инженеров по технической части, Титова и Михайлова, из профессора политической экономии в Московском университете Чупрова для статистики и двух членов Московского биржевого комитета, Бакланова и Санина, по коммерческой части. Состав был, вообще, хороший. Титов был весьма умный и сведущий инженер, сам строитель нескольких дорог, хотя к нашему делу он относился довольно легко и вообще был себе на уме. Михайлов, напротив, был человек вполне искренний, работящий, добросовестно относившийся к обязанностям, которые он на себя принял. К сожалению, ему мешало болезненное состояние, вследствие которого он вскоре и умер. Чупров в личных отношениях был тоже очень приятен; социал-демократ в душе, он не высказывал своих убеждений и держал себя крайне осторожно; в статистике он был сведущ и основателен, умел хорошо говорить, хотя в других отношениях образование было весьма скудное. Купцы тоже были отличные и дельные люди; в особенности сочувствие привлекал к себе Бакланов, милый и сердечный человек, впоследствии обанкротившийся, к общему сожалению. Только наш делопроизводитель Волков был человек веселый, но легонький. Щербатов часто журил его за небрежное отношение к делу, с которым он, однако, был знаком.

Наша задача состояла в том, чтобы объехать все дороги, останавливаясь на каждой станции, осматривать все сооружения, пути, здания, мастерские и собирать все сведения об отправке и движении грузов. О нашем прибытии заранее давалось знать местным отправителям и торговцам; составлялись совещания, на которых высказывались как потребности, так и неудовольствия на дорогу. Этим путем можно было получить самые верные и точные сведения о ходе русской торговли по всем железным дорогам. Способ был выбран весьма удачный. Мы были не правительственные чиновники, привыкшие к бюрократическим приемам, а люди из общества, которые на все смотрели свежими глазами и перед которыми можно было высказываться откровенно. Между нами были и купцы, сведущие в коммерческом деле. Эта сторона была, в сущности, самая живая и интересная часть нашей задачи. Но и вообще весь этот объезд представлял много привлекательного. Мы ехали в удобных вагонах, в которых и жили, исключая больших городов, где мы переезжали в гостиницы или переходили в царские комнаты на вокзале. Мы виде-

ли множество новых лиц, с которыми тотчас вступали в деловые сношения, видели отдаленные и интересные русские города, в которых без того никогда не пришлось бы побывать, знакомились с богатствами н потребностями русской земли. После осмотров и совещаний между нами происходили оживленные разговоры обо всем виденном и слышанном. И все это происходило в летнее время, когда путешествие, особенно при небольших переездах, и легко и приятно. Я сохранил об этом времени хорошее воспоминание.

Первая дорога, которую мы осматривали, была Московско-Курская. Она была в отличном состоянии. Построенная казною на дорогие деньги, но капитально, она вследствие убыточности казенного управления была продана компании московских купцов, которые на ней обогатились. В сущности, она досталась им почти даром. В несколько лет долг правительству был выплачен без труда, и дорога осталась в их руках, свободная от всяких обязательств и с крупным доходом. Главным заправилой в этой продаже был умерший уже тогда Федор Васильевич Чижов, известный литератор, но вместе весьма практический человек, который знал все ходы и умел обделать всякое дело. Оно объяснилось нам, когда мы узнали, что в числе крупных акционеров был Александр Аггеевич Абаза, который, однако, владел паями не под собственным именем, а прикрываясь именем своего шурина Бенардаки. Вскоре потом Бенардаки разорился, и правительство опять купило эти акции, за два или за три миллиона. Выяснять эти обстоятельств, принадлежавшие уже прошлому, не входило в ваши обязанности. Мы могли только удостоверить хорошее состояние дороги и указать на некоторые необходимые исправления.

Совершенно иной характер имела Курско-Харьково-Азовская дорога, которой начальные буквы К. Х. А. Ж. Д. самими служащими в ней толковались так: Канибальская, Хамская, Адская, Жидовская Дорога. Она принадлежала известному Самуилу Соломоновичу Полякову, еврею, вышедшему из ничтожества и в несколько лет составившему себе огромное состояние на построении железных дорог. Тут весь расчет предпринимателя состоял в том, чтобы строить как можно дешевле, сохранить за собою как можно более денег. Та же цель преследовалась и при эксплуатации. Это была одна из тех дорог, в отношении к которым акционерам выгодно, чтобы они находились в дурном состоянии. Правительство во всяком случае платило пять процентов с капитала; больше этого трудно было получить даже при хорошем управлении, а потому вся выгода заключалась в том, чтобы держать дорогу в дурном виде и на улучшение получать от правительства новые ссуды, из которых часть, разумеется, оставалась в кармане акционеров. В то время как мы осматривали дорогу, правление просило у правительства двадцать два миллиона для

приведения ее в хорошее состояние. Мы сбавили их, помнится, на семь. При всем том мы нашли дорогу в лучшем положении, нежели ожидали, судя по ее репутации и по тем возгласам, которые раздавались против нее отовсюду. Надобно отдать справедливость Полякову, что он для управления набирал людей, соблюдавших и его и свои выгоды, но дельных, деятельных и энергичных.

Это особенно нас поразило, когда мы вслед за тем переехали на Лозово-Севастопольскую дорогу, где господствовало уже полное неряшество. На всех станциях стояли громадные грузы хлеба, остававшиеся без движения, и казалось, что никому до этого нет дела. В Екатеринославе мы нашли собрание тамошних дельцов, которые хлопотали о проведении железной дороги от Донецкой-Каменноугольной, через Екатеринослав, к Кривому Рогу, где открыты были богатые залежи железа. Но собравши подробные сведения, мы пришли к заключению, что нет никакой выгоды строить с огромными издержками дорогу, параллельную с Лозово-Севастопольской, и без того убыточной, единственно в виду соединения каменного угля с отдаленною железною рудою, между тем как в ближайшем расстоянии от донецкого угля, у Корсак-могилы, найдены были залежи железа, могущие удовлетворить промышленным требованиям на многие годы. Это и было высказано на совещании с екатеринославскими дельцами, которые против этого ничего не могли возразить. Впоследствии, как я скажу ниже, дорога была все-таки построена.

Мы осмотрели только что выстроенную Донецкую сеть, которая была как с иголочки. Строителем был сам сопровождавший нас инженер Титов. От него мы узнали и причину малой доходности дороги. Сеть была намечена не в видах промышленных выгод страны, а ввиду выгод частных владельцев, имевших кредит в правительственных сферах. Во всем этом деле личные искательства и задабривания играли главную роль. Тем не менее, для нас в высшей степени интересно было знакомство с этим богатым краем, представляющим неистощимые запасы для будущего. Мы видели и знаменитые Юзовские заводы*, при осмотре которых я, как единственный член комиссии, говорящий по-английски, должен был служить толмачом; видели торговый Ростов и упадающий Таганрог, также Мариуполь, где надобно было собрать сведения на счет предполагавшегося устройства нового порта. Из Мариуполя мы с Щербатовым вдвоем, в маленькой колясочке, проехали по южным степям до ветви Донецкой дороги. День был чудесный и поездка была очаровательная. Южная степь, которой я дотоле не видал, представилась мне во всей

* Юзовскими назывались чугунноплавильные заводы «Новороссийского металлургического общества», построенные в 1869 г. с субсидией от казны Дж. Юзом в Бахмачском уезде тогдашней Екатеринославской губ.

своей пустынной красе, с мягкими переливами тонов, с перспективами виднеющихся друг за другом балок и с бесконечными горизонтами. В первый раз я видел и Севастополь, эту русскую твердыню, полную великих воспоминаний, возвышающих дух и заставляющих сердце сильнее биться за отечество. Он был еще весь в развалинах, и каждый камень, казалось, говорил о подвигах павших в нем героев. Мы посетили и Малахов Курган, и Братскую могилу, и воздымающийся на холме собор четырех адмиралов. Статуя Лазарева, создателя Черноморского флота, одиноко возвышалась над портом, впереди разрушенного арсенала, как бы возвещая миру, что может сделать русский человек с твердым умом и неуклонною волею.

Мы воспользовались пребыванием в Крыму, чтобы туристами объехать южный берег. Обозревши Георгиевский монастырь, с дивными скалами, отвесно вздымающимися над морем, мы ночевали в Байдарах и к восхождению солнца поднялись к Байдарским воротам, откуда внезапно открывается волшебный вид на морскую даль и на лежащую у подножья долину. После Италии я не видал ничего более восхитительного. Здесь нет той яркой и глубокой лазури, которая так привлекает в Средиземном море, зато, рядом с живописными скалами и с безбрежною водною равниною, тянется роскошная растительность, неизвестная в Италии. На протяжении сорока верст мы ехали непрерывным садом, с постоянно меняющимися видами. Осмотрев великолепную Алупку с ее чудным парком и английско-мавританским дворцом, мы к вечеру прибыли в Ялту, где впоследствии мне привелось проводить много зим. Через прелестный Гурзуф, в то время еще приютное жилище богатого барина*, мы вернулись в Симферополь. Перед тем мы осматривали и Бахчисарай, живописный восточный город, раскинутый в ущелье, с старинным дворцом ханов, полным воспоминаниями о Пушкине. Съездили и в Чуфут-Кале, где среди развалин опустевшего города нас встретил единственный оставшийся там жилец, старый караим, который доканчивал свой век хранителем священных преданий своего племени.

На север Щербатов не поехал. Он предоставил мне осмотр Ярославской дороги. И тут довелось видеть местности, дотоле мне совершенно незнакомые: древний Ростов с его старинными церквами, красивый Ярославль, живописно расположенный на берегу Волги. В Ростове, на воротах одного из соборов, меня поразила надпись: старинные массивные ворота были разбиты на квадраты толстыми брусьями, и в каждом квадрате была картинка с подписью. В одном

* Воспетый Пушкиным Гурзуф в то время принадлежал Ив. Ив. Фундуклею, впоследствии он был приобретен П. И. Губониным, который превратил его в роскошный, но безвкусный и пошлый курорт.

из квадратов был изображен повешенный лев, и подпись гласила: «Да знает правительствовать». Можно было подумать, что это какой-нибудь революционный символ. Не знаю, сохранилось ли доселе это изображение.* Путь из Ярославля в далекую Вологду произвел на меня грустное впечатление. Он лежит по лесистым местам, а между тем, на всем протяжении не видать ни одного порядочного дерева: все вырублено, осталось одно мелколесье. Недоумеваешь, куда все это пошло? Естественные богатства исчезли, но не видать, чтобы они заменились богатствами человека. Мне казалось, что во многих отношениях это прилагается ко всей нашей унылой и бедной русской земле. Я вспоминал Англию, где вся страна носит на себе печать обилия и просвещения, а между тем деревья, бережно хранимые человеком, стоят в вековой красе. Но самая железная дорога от Москвы до Вологды произвела на меня очень выгодное впечатление: построена дешево, без малейшей роскоши, управляется отлично, эксплуатация бережливая и разумная; это был тип дороги, какие нужно было строить в России.

Плодом всех наших объездов была целая масса докладов. Я взял на себя два: о жалобах и заявлениях и о выборных учреждениях при железных дорогах. На последние граф Баранов особенно напирал и выделял этот вопрос из всех других, с целью представить его на законодательное решение ранее прочих, как первый результат работы комиссии. Мы проектировали целый ряд учреждений местных и центральных, с элементами, частью правительственными, частью выборными от отправителей, в видах контроля и урегулирования товарного движения. Этим работам посвящена была вся зима с 79-го на 80-й год. Весною мы повезли свои доклады в Петербург. Другие подкомиссии сделали тоже. Но увы! все эти объезды и работы были истрачены даром. Конкуренция авгуров, на которую я надеялся, не привела ни к чему. Комиссия графа Баранова, со всеми исписанными ею кипами бумаг, канула в воду, не оставив по себе и следа. С таким треском возвещенное исследование обратилось в мыльный пузырь, и министерство путей сообщения, с своею бюрократическою рутиною, осталось торжествующим на развалинах. Тщета правительственных комиссий и бесплодность посвященной им работы выяснились для меня вполне.

Щербатов вышел ранее меня. Поводом послужила постройка Екатерининской дороги. Я сказал, что, собравши сведения на месте, мы все пришли к убеждению, что эта дорога не может приносить выгоды и что строить ее не следует. Но екатеринославские дельцы

* Б. Н. Чичерин говорит о железных воротах под церковью Воскресенья, ведущих в ростовский Кремль. На них сохранилась роспись середины XVIII в. на аллегорические сюжеты.

подъехали к княгине Юрьевской,* которая в этом деле пользовалась большим влиянием, а Лорис-Меликов, который тогда был в силе, хотел угодить фаворитке. Решено было построить дорогу, под предлогом, что на юге в то время был неурожай, и жителям местности надобно было дать заработки; между тем, зимою, когда именно нужна была помощь, земляные работы не производятся, а на лето для них выписываются землекопы из северных губерний, так как местные крестьяне заняты полевыми работами, а земляными вовсе не занимаются. Постройка была поручена сопровождавшему нас инженеру Титову, который с своей стороны подавал записку о бесполезности этого пути. При обсуждении вопроса о нашем докладе не было и помину; граф Баранов, в виду высших влияний, не заикнулся о нем ни словом. Тогда Щербатов к нему отправился и объяснил, что хотя он не думает требовать, чтобы выраженному им мнению непременно следовали, но когда людей независимых призывают к работе, они вправе ожидать, что она будет принята в соображение, а не положена просто под сукно. Он заявил, что выходит из Комиссии. Впоследствии я слышал, что дорога все-таки окупается не сближением каменного угля с железом, а тем, что она доставляет самый прямой сбыт донецкого угля в юго-западный край, и тем дает ему возможность конкурировать с польским.

Я не хотел усугублять демонстрацию и еще раз поехал в Петербург на съезд. Мне все-таки любопытно было следить за ходом дела. Я увидал, что оно вовсе не двигается. На следующий год и я вышел из Комиссии, когда был выбран московским городским головой. Несколько лет спустя, Щербатов где-то на железной дороге встретил представителя крупной иностранной компании в Донецком бассейне, инженера Авдакова. Тот подошел к нему, возобновил знакомство и сказал: «А знаете ли, что мы о вас вспоминаем с благодарностью». Но в эту самую минуту прозвонил звонок, они разошлись, и так мы никогда не узнали, какую мы по себе оставили благодарность и чем мы могли кому-либо принести хотя малую пользу.

Неспособность правительства, проявившаяся в этом частном деле, обнаруживалась еще ярче в общем управлении. В то время, как мы были заняты своею работою, в России росло движение, которое должно было иметь роковое влияние на ее судьбу. Нигилизм от пропаганды перешел в действие.

Ревнители произвола приписывают его развитие преобразованиям Александра II и связанному с ними ослаблению правительствен-

* Кн. Ек. Мих. Долгорукова, получившая в 1880 г. после брака с Александром II титул светлейшей княгини Юрьевской, еще до смерти имп. Марии Александровны в течение ряда лет была приближена к царю и с необыкновенным цинизмом пользовалась своим положением для обогащения, торгуя концессиями и т. п.

ной власти. Предыдущее изложение показывает, что еще до преобразований в 1861 году нигилизм был в полном разгаре. Гнет николаевского царствования накопил горючие материалы; брожение, вызванное Крымскою войною, дало им новую силу. Внезапное облегчение тяжести, последовавшее в новое царствование, обнаружило только то, что таилось внутри. Долго сдавленное общество, выпущенное на свежий воздух, шаталось, как человек, вышедший из многолетней тюрьмы и впервые увидевший свет божий. Бродячие элементы всплывали наверх и увлекали умы, в особенности молодежи. В то время уже издавались прокламации, взывавшие к истреблению всех высших слоев общества. Чернышевский держал в своих руках все нити этого движения, организуя и поджигая своих единомышленников. Последовавшие затем великие реформы могли удовлетворить и привязать к правительству разумных людей; но социал-демократам, мечтавшим о разрушении всего общественного строя, они казались ничтожеством. Ссылка Чернышевского и Михайлова произвела только временную остановку; затеянное ими дело продолжалось. В Швейцарии образовался притон русских революционеров, которые, при удобстве сообщений, могли посылать своих эмиссаров, куда хотели. В самой России сложилась подпольная организация, которая везде имела свои разветвления. Выстрел Каракозова обличил их замыслы.

Наступила реакция, но реакция не руководимая государственным смыслом, не опирающаяся на разумные элементы общества, а чисто полицейская, и притом бестолковая. Начались произвольные аресты массами, одиночное тюремное заключение без суда, административные ссылки, которые еще более озлобляли свои жертвы и разносили пропаганду по самым отдаленным краям России. Нигилисты представлялись мучениками своих убеждений. Судебное следствие, распространенное на все государство, вверено было лицу, пользовавшемуся самою незавидною репутацией, человеку, не стеснявшемуся ничем и без всяких правил, прокурору Жихареву, который впоследствии, когда был сделан сенатором, не смел даже заседать среди своих товарищей. Оно было ведено возмутительным образом, с нарушением самых элементарных понятий о законности и человеколюбии. Ни в чем неповинные свидетели, оторванные от семейств, по целым годам сидели в тюрьмах, многие из обвиняемых в отчаянии налагали на себя руки. Самый суд оказался несостоятельным. Из недоверия к независимой магистратуре суждение политических преступлений было отнято у судебных палат и перенесено в Сенат. Но Сенат, в который помещалось все отжившее свой век и негодное к действительной службе, обнаружил всю свою неспособность. Громадный процесс, которым завершилось следствие, так называемый процесс 193-х, был настоящим скандалом.

В 1875 году главный руководитель всей этой полицейской реакции, граф Петр Андреевич Шувалов, внезапно пал вследствие одного из тех поворотов, которые довольно обычны в самодержавном правлении. Княжна Долгорукая, впоследствии княгиня Юрьевская, бывшая уже тогда в фаворе, сообщила государю все толки, ходившие тогда в обществе, о всемогуществе Шувалова, о том, что его зовут Петром IV. Государь, как истинный самодержец, был очень щекотлив на счет своей власти и своего авторитета. Он не терпел, чтобы кто-нибудь его затмевал. Однажды вечером, мирно играя в карты, он вдруг сказал Шувалову: «А ты давно желал быть послом в Лондоне; я тебя назначил». Для Шувалова это был громовой удар. Он действительно когда-то говорил о приятности положения посла в Лондоне, но никогда не думал об этом серьезно. Он принужден был удалиться, но клевреты его остались: Тимашев, граф Пален, Толстой. Остался и петербургский градоначальник, генерал Трепов, человек умный, деятельный и энергический, но в своем произволе не стеснявшийся ничем. Однажды узнали, что он в тюрьме высек политического преступника за то, что тот не снял перед ним шапки. Даже друзья Трепова рассказывали об этом с негодованием. В отмщение за это гнусное дело последовал выстрел Веры Засулич.

Мне случилось быть в Петербурге во время этого процесса и я присутствовал на суде. Трудно было сочинить больше несообразностей, нежели те, которые наделало тут министерство юстиции. Главным руководителем следствия был прокурор судебной палаты Лопухин, который приобрел себе репутацию в должности председателя Окружного суда отличным ведением дела Овсянникова*, но как прокурор был совершенно негоден. Они придумали с графом Паленом, что так как Сенат оказался несостоятельным в ведении судебного дела, то лучше вовсе не придавать процессу политического характера, а судить его как обыкновенное покушение на убийство судом присяжных. Ничего более нелепого нельзя было изобрести. Присяжные, по самому своему характеру, гораздо более податливы к увлечениям, нежели коронные судьи. Петербургские присяжные в особенности не раз уже выказывали свою наклонность к оправданию даже явных преступников. А тут был акт возмутительного полицейского произвола, отомстить за который, при молчании власти и закона, самоотверженно взялась молодая девушка. Какая тема для воззвании к чувствам! Мало того: прокурора намеренно назначили из слабых, и когда это было замечено Лопухину, он отвечал, что они сделали это именно для того, чтобы не придавать процессу слишком большого значе-

* 2 февраля 1875 г. сгорела работавшая на военное ведомство паровая мельница Ст. Тар. Овсянникова на Измайловском проспекте. Владелец был привлечен к суду по обвинению в поджоге и присяжными заседателями признан виновным и приговорен к ссылке в Сибирь.

ния. Глупость была сугубая. Впоследствии представители министерства юстиции хотели свалить вину с больной головы на здоровую. Обвиняли председателя окружного суда, Кони, в том, что он допустил на суде показание свидетелей о том, что происходило в тюрьме. Выходило, что судилась не Вера Засулич, а Трепов, который притом отсутствовал и не мог защищаться. Но устранить выяснение мотивов преступления не было возможности без вопиющего нарушения правосудия. Уважающий себя председатель не мог на это идти. Самый закон дозволял подсудимым на свой счет вызывать каких угодно свидетелей; нельзя было лишить их этого права, составляющего одну из важнейших гарантий правильного суда. Если Трепов отсутствовал, то это было добровольно. Он не был вызван свидетелем, благодаря своему высокому положению, и благо ему было, ибо его исполнители, которые явились на суд, разыграли плачевную роль. И когда, выясняя побуждения, которые заставили обвиняемую совершить свое дело, защитник в своей речи выставил всю возмутительность совершенного истязания, когда он показал, как после всех произведенных реформ, после отмены телесного наказания, человек вышел из-под розги, поруганный и опозоренный, когда после этого прокурор отказался отвечать, Вера Засулич была оправдана в глазах многих. К сожалению, я не дождался приговора. Мы с Дмитриевым, который был тут же, должны были обедать в гостях; совещание присяжных затянулось, и мы уже после узнали, что происходило в суде. Прокуратура покрыла себя вящим позором, когда после оправдательного вердикта, в силу которого подсудимая тотчас была выпущена на свободу, она вздумала арестовать ее снова, руководясь тайным предписанием, но распорядилась так плохо, что выпустила ее из рук. Она тут же скрылась, делая тщетными все поиски полиции, и была выпровожена за границу, где благополучно проживает доселе.

Я был поражен не столько самым ходом процесса и его содержанием, сколько вопиющим противоречием между торжественною обстановкою гласного и публичного суда, установленного новейшими преобразованиями, и теми действиями, которые на нем раскрывались. С этой точки зрения я написал небольшую статью, которую прочел Абазе. Он пришел от нее в восторг и рассказывал даже своим приятелям, что это было для него радостное событие. Я в рукописи распространил ее между знакомыми. Здесь ограничусь выдержками.

«Настоящий процесс, – писал я, – раскрыл существенное зло, заключающееся в нашем общественном строе, именно то коренное, несовместимое противоречие, которое лежит между преобразованиями нынешнего царствования и системою произвола, внесенною в полицейскую деятельность после прискорбного события 4 апреля 1866 года».

Отметив главные черты этого противоречия, указав в особенности на яркое проявление его в суде, я старался возвести вопрос к высшим началам государственного управления.

«Полицейская система, водворившаяся в 1866 году, – продолжал я, – была вызвана революционным своеволием, распространившимся в русском обществе. Желание противодействовать этим стремлениям было вполне законно; но способ исполнения, вместо того, чтобы уменьшить зло, еще более его усилил. Если своеволие вызывает произвол, то произвол, в свою очередь, вызывает своеволие. Это две крайности, которые всегда следуют друг за другом. Победить их может только законное начало высшего порядка. Эта мысль и была положена в основание преобразований нынешнего царствования. Но русское общество не успело еще свыкнуться с новым жизненным строем, как оно было совершенно сбито с толку возрождением полицейской деятельности в прежней его форме. Преобразования остались, но рядом с ними установилась система, не имеющая с ними ничего общего, система полицейских преследований, произвольных арестов, административных ссылок. Мудрено ли, что общество пришло в недоумение, что все мысли перепутались, что в самой политике правительства обнаружилась неисцелимая двойственность? Результаты этого противоречия у нас на глазах: они проявились в усилении пропаганды, в скандальных политических процессах, наконец, в деле Засулич. Общество, к которому в лице присяжных взывало правительство, не дало ему поддержки, ибо оно в своей совести осуждало систему, вызвавшую преступление, и боялось закрепить его своим приговором».

Я говорил далее о необходимости выйти из этого положения, для чего единственным верным путем представляется честное и откровенное вступление на почву законного порядка. «Но, решаясь на такой шаг, – замечал я – необходимо дать себе ясный отчет, что значит вступить на почву законного порядка. Если бы все дело ограничивалось исполнением предписанных законом форм, то для этого не требовалось бы ни особой мудрости, ни особенного умения. Но правительство, стоящее во главе общества и призванное им руководить, не может ограничиться мертвым формализмом. Оно должно поддержать силу власти, иметь нравственный авторитет. Оно должно идти твердым шагом среди бесчисленных задержек, созданных им самим установленным порядком вещей. Нет ничего легче, как действовать путем произвола. Тут все просто и препятствий нет никаких. Но когда приходится иметь дело с самостоятельными силами, считаться с разнообразными интересами, улаживать постоянно возникающие столкновения, и при этом сохранить всю свою твердость и все свое обаяние, то задача становится гораздо сложнее. Первобытная простота произвола может довольствоваться и пер-

вобытными средствами; совершеннейший способ действий требует и усовершенствованных орудий».

Я настаивал на том, что в виду глубоко укоренившегося зла нужны не новые меры, а именно новые орудия. Мера – ничто иное, как клочок бумаги, который и остается бумагой. Дело не в мерах, а в людях, не в предписании, а в исполнении...

Благие намерения государя не подлежат ни малейшему сомнению; они яркими чертами написаны на каждой странице настоящего царствования. Но исполнение так далеко отстоит от намерений, что сердце каждого русского человека не может не быть поражено глубокою скорбью при том зрелище, которое ныне представляет наше отечество. Все расшаталось; нигде нет ни ясной мысли, ни твердой точки опоры. Умы опошлились, характеры исчезли, уровень образования понизился... Не новых преобразований мы просим, – восклицал я в заключении, – а людей, людей, ради бога, людей!»*

Разумеется, подобные воззвания были гласом вопиющего в пустыне. Правительство продолжало ведение неуклюжей полицейской реакции до тех пор, пока сами события не убедили в необходимости вступить на новый путь. Нигилисты, подстрекаемые успехом, принялись за свое разрушительное дело с большею энергией и еще большею беззастенчивостью, нежели когда-либо. Выстрел Веры Засулич послужил сигналом к целому ряду политических преступлений. Сначала пошли убийства в провинции, затем сам шеф жандармов Мезенцев был убит среди белого дня на улицах Петербурга, и убийца успел ускользнуть от всех преследований и поисков неумелой полиции. Наконец, последовал ряд покушений на жизнь государя: взрыв железнодорожного пути, учиненный Гартманом, взрыв Зимнего дворца, обнаруживший невероятное неряшество дворцового управления. Благодушного монарха, совершившего величайшие дела, заслужившего беспредельную благодарность всех русских людей, любящих свое отечество, травили как дикого зверя. В таком положении нельзя было оставаться. Очевидно требовалась некоторого рода диктатура, но не чисто полицейская, а опирающаяся на общественное мнение. С этою целью призван был Лорис-Меликов.

Мысль была совершенно верная, но, к сожалению, исполнителю недоставало государственного смысла. Лорис-Меликов был хороший генерал, умный, распорядительный, хотя не без значительной доли азиатской хитрости. После войны, где он выказал свои способности, он послан был исследовать ветлянскую чуму ** и обна-

---

* Записка Б. Н. Чичерина о деле Веры Засулич напечатана целиком в издании «Academia»: А. Ф. Кони. Воспоминания о деле В. Засулич. М. – Л., 1933.

** В 1878 г. в Астраханскую губ. была занесена, по-видимому с азиатского театра военных действий, чума. Главным очагом эпидемии было селение Ветлянка.

ружил там большую деятельность. Назначенный затем харьковским генерал-губернатором, он своими энергическими мерами и своею обстоятельностью умел снискать общее расположение. Но России он вовсе не знал, о гражданских порядках имел самые смутные понятия, готов был на всякие кривые пути и при этом заражен был непомерным тщеславием, которое побуждало его во что бы то ни стало искать популярности. Один мой деревенский сосед рассказывал мне, что его повели знакомить с Лорис-Меликовым, когда тот жил уже в Ницце на покое. С первых слов бывший государственный муж спросил его: кто популярнее в провинции, он или Скобелев? Сосед мой, не желая кривить душой, сказал, что лубочные изображения Скобелева на белом коне значительно содействовали распространению его славы в народе. Тогда Лорис-Меликов с яростью начал доказывать ему, что репутация Скобелева совершенно незаслуженная. Сам он про себя воображал, что его имя известно во всякой хижине и наивно это высказывал. При таком необузданном стремлении к популярности, главная задача заключалась в том, чтобы бить на эффектные меры. К совету призывались легенькие петербургские публицисты и журналисты; хватались за все и ничего не умели сделать путным образом.

Не много мог помочь ему в этом деле его главный сподвижник, Абаза, который был назначен министром финансов. Абазу я знал давно и был с ним в хороших отношениях. Он был гофмейстером великой княгини Елены Павловны; сестра его* была замужем за Николаем Алексеевичем Милютиным. Вращаясь постоянно в этом кругу, он набрался кое-каких либеральных идей; но они не могли заменить полного отсутствия образования и серьезной подготовки. Смолоду светский лев и страстный игрок, он женитьбою на дочери откупщика Бенардаки приобрел большое состояние, которое он умножил денежными оборотами и умением пользоваться своим положением и влиянием для коммерческих дел. Он был сведущ в финансовых вопросах, отлично говорил в Государственном совете и умел осторожной уклончивостью пробивать себе дорогу к высшим почестям. Но, проводя всю жизнь в высших петербургских сферах, он мало прикасался к настоящей жизненной почве и легко смотрел на людей и на вещи, имея в виду более личное свое положение, нежели пользу общественную. Самолюбивый, важный и тщеславный, он был вместе с тем ленив и нечестен. Его участие в сдаче Московско-Курской дороги, те вопиющие льготы, которые он успевал выхлопатывать для сахарозаводчиков, показывали, что он личной выгоде мог жертвовать и государственными и народными интересами. Но среди политических деятелей того времени он все-таки выгодно

* Мария Аггеевна, рожд. Абаза.

отличался и умом и более просвещенным взглядом на вещи, приобретенным в соприкосновении с выдающимися людьми. Он мог иногда, в минуту досады или даже в благородном порыве, пожертвовать иногда и личным положением для убеждений известного рода, никогда, однако, не отрезая себе пути к новому осторожному восхождению на высшую ступень. При других условиях, в союзе с людьми, одаренными государственным смыслом, Абаза мог быть полезным деятелем в финансовой сфере: как правая рука Лорис-Меликова, он не в состоянии был сделать ничего дельного.

Первая мера, которою ознаменовалось его вступление в министерство, была отмена соляного налога. В это время мне случилось быть в Петербурге. За несколько дней до появления указа я обедал у Абазы. Идя с ним под-руку в столовую, я спросил: «Правда ли, Александр Аггеевич, что вы отменяете соляной налог?» Он несколько замешался. «Может быть», отвечал он. «Меня это очень порадует, – сказал я, – это будет значить, что у вас много денег». Несколько дней спустя появился указ, а через месяц обнародован был бюджет с пятьюдесятью миллионами дефицита. Такое легкомыслие превосходило все мои ожидания. В то же время я виделся с Тернером, который говорил мне, что он предлагал сбавку и упорядочение налога, при котором казна все-таки сохраняла 17 миллионов дохода; но об этом не хотели и слышать. Нужно было эффектною мерою приобрести популярность. Результат был тот, что казна потеряла значительный доход, народ не почувствовал никакого облегчения, а обогатились крупные солепромышленники, которые, вследствие безобразия принятых финансовым управлением мер, получили громадные барыши.

Если я не мог сочувствовать отмене солевого налога, то был другой акт нового министерства, которому я искренне порадовался. Это было падение Толстого. Как после выстрела Каракозова, первым делом Муравьева было низвержение Головнина, который по петербургским понятиям считался представителем либералов, так теперь первым делом Лорис-Меликова было предание Толстого на жертву общественному негодованию. Трудно представить себе, сколько ненависти накопил против себя этот человек. Причина заключалась в бездушном управлении министерством народного просвещения, которое, в связи с реформою гимназий, тяжелым гнетом легло на все молодое поколение. Толстой, также как Лорис-Меликов, хотел ознаменовать свое министерство эффектным делом только не в видах популярности, а совершенно наоборот. Его союзники, редакторы «Московских ведомостей» настаивали на коренной классической реформе. В этом у них были свои личные цели. Они устроили классический лицей, для которого они выхлопотали неслыханные льготы и пособия, и который должен был служить центром и рассадником всего русского просвещения. К удивлению, они успели убедить

невинных петербургских государственных людей, не видавших в глаза ни одного классика, что классицизм составляет неисчерпаемый источник консервативного духа, и что в нем заключается все спасение России. О том, что греки и римляне были республиканцы, что почерпнутыми из классиков вольнолюбивыми идеями вдохновлялись деятели французской революции, наши сановники, по-видимому, не имели понятия. Катков твердил, что помощью зубрения латинской и греческой грамматики он истребит в русском юношестве всякие вольные мысли, и Каткову верили на слово. Была, правда, оппозиция в самом Государственном совете, но она обреталась в меньшинстве. В то время, как там происходили горячие споры об этом вопросе, я, будучи в Петербурге, как-то зашел с визитом к князю Горчакову. «Вы классик»? – спросил он меня с первых слов. «Да, я приверженец классического образования», – отвечал я. «Ну, так мы с вами не сойдемся». «А, может быть, и сойдемся. Именно потому, что я приверженец классического образования, я не могу не быть врагом такой реформы, которая не может иметь иного последствия, как возбудить в русском обществе ненависть к классицизму».

Так и вышло; плоды у нас на лицо. Дело в том, что для классической реформы, как для всякого дела, касающегося народного образования, требуется подготовка. Просвещение не дается скачками: оно движется медленным путем, тут нужно осторожное и бдительное руководство. Для классического преподавания необходимы, прежде всего, учителя, а их-то и не было. Но написать устав и назначить в нем какое угодно число часов на известный предмет ничего не стоит, а приготовить хороших учителей дело трудное, требующее многолетнего, заботливого внимания. Недостаточно выписать из-за границы целую ватагу чехов, не знающих русского языка и незнакомых со свойствами, уровнем и направлением русского юношества, как сделал граф Толстой. Подобные меры ведут только к бесчисленным столкновениям и разладу между учащими и учащимися. В сущности в то время коренная классическая реформа вовсе даже не была нужна. Устав гимназий, изданный при Головнине, в этом отношении давал совершенно достаточное удовлетворение всем разумным требованиям. Обнаружившиеся на практике недостатки этого устава можно было исправить частными мерами; для этого не нужно было коренной ломки. Сам граф Толстой, в частных разговорах, которые впоследствии сделались известными в печати, сознавался, что его союзники, или патроны, идут слишком далеко. Но они упорно добивались своей цели, и он уступил. Русское юношество еще раз было отдано им на жертву. Реформа была проведена в самых широких размерах и введена в действие чисто бюрократическим путем. С зубрением латинской и греческой грамматик в гимназиях водворился самый бездушный формализм. Тупоумный Георгиевский, правая рука

графа Толстого в этом деле, с услаждением говорил, что в данную минуту во всех русских гимназиях ученики пишут сочинения на одну и ту же тему. Бабст, который сам некогда был учителем гимназии, с изумлением и горестно говорил мне о тех чисто формальных отношениях, которые установились между учащими и учащимися, и это подтверждалось со всех сторон. В результате получилось, можно сказать, отупение русского юношества. Все внимание сосредоточивалось на бесплодном зубрении грамматических форм, которое не только не сообщало молодым умам живого духа классических писателей, но не давало даже порядочного знания языка. Профессор классической литературы в Московском университете, Ф. Е. Корш, который в этом деле мог быть лучшим судьею, удивлялся, как, с удвоенным числом часов, вступающие в университет студенты хуже знают по-латыни, нежели прежде с вдвое меньшим. Он с негодованием говорил о введенной графом Толстым классической реформе, считая ее гибельной для юношества, и подавал даже об этом записку. А рядом с этим одуревающим налеганием на грамматику, самые важные предметы гимназического преподавания: история, русский язык и русская литература, оставались в полном пренебрежении. Молодое поколение разучилось даже писать. Не мудрено, что отцы и матери, и без того слишком склонные хныкать над детьми, подняли вопль. Имя графа Толстого сделалось ненавистным во всей России, и весть о его падении была приветствована общим ликованием. Рассказывали, что люди, встречаясь на улице, поздравляли друг друга.

Занимаемые им должности были вновь разделены. Обер-прокурором святейшего синода назначен был Победоносцев, министром народного просвещения Сабуров.

Обоих я знал хорошо. С Победоносцевым я сблизился по возвращении из-за границы, когда я вступил на кафедру. Он был тогда обер-секретарем Сената и читал лекции гражданского права в Московском университете. В это время это был прелестный человек. Тихий, скромный, глубоко благочестивый, всею душою преданный церкви, но еще без фанатизма, с разносторонне образованным и тонким умом, с горячим и любящим сердцем, он на всем существе своем носил печать удивительной задушевности, которая невольно к нему привлекала. Сын довольно плохого профессора русской словесности в Московском университете, происходящего из духовного звания, он сам воспитывался в училище правоведения. Получаемое там скудное образование он восполнил собственною работою и сделался не только дельным, но и ученым юристом по гражданскому праву. Другие отрасли правоведения были ему мало знакомы. Государственного права он никогда не изучал, политического смысла не имел никакого, не ведал ни общественных собраний, ни общественной жизни и не годился не только в государственные люди, но и в

администраторы. Это был чисто кабинетный человек, который весь день сидел за своими книгами и бумагами, работая усердно и ведя самую скромную жизнь в своем небольшом деревянном домике в Хлебном переулке. Благо было бы и ему и России, если бы он оттуда никогда не выезжал! Но судьба распорядилась иначе: из средневекового монаха она сделала петербургского чиновника и тем его погубила. Сначала он назначен был сенатором, потом членом Государственного совета, наконец обер-прокурором св. синода. Перед переселением в Петербург он женился. Я был у него шафером. Жену свою*, которая была гораздо его моложе, он знал с детства. Она была племянница его товарища по правоведению; еще будучи в школе, он езжал на лето в деревню к ее родителям, заинтересовался девочкой, давал ей уроки, можно сказать, воспитал ее для себя. Скромная, хорошенькая, с прекрасными сердечными свойствами, она дала ему семейное счастье; но желание доставить удовольствие молодой женщине вовлекло его в светские сферы, которые были ему чужды и совсем ему не приходились, а служба, с своей стороны, втянула его в бюрократическую среду, в которой он совершенно погряз.

Сначала петербургская жизнь его тяготила. В 1868 году он писал мне: «Здешняя жизнь мне не по душе – все так измельчало на здешнем большом рынке и мельчает все больше и больше, не по дням, а по часам. Когда бы у меня был такой угол, как есть у вас, любезнейший Борис Николаевич, охотно мы с женою оставили бы здесь все и уехали бы жить в деревню. Оттого, когда думаю о вас, как о деревенском жителе, невольно вам завидую. Вы на высоте, о которой мы здесь из болота, и мечтать не смеем». Позднее, в 1874 году, он опять писал: «Поистине благую часть избрали вы, ту самую, которую судьба возле вас поставила, т.е. поселились в деревне, где у вас не только покой, свобода и природа, но и общество людей близких и сочувственных. Вы там живете с мудростью, хотя и не змеиною, меняя кожу с каждой весной, а мы здесь разрушаемся в ветхой коже, и без всякой мудрости подвергаемся опасности превратиться в пресмыкающихся».

Но эти вопли сердца, просящегося на свободу, мало-помалу заглохли. При полном недостатке характера, он поддался тлетворному влиянию окружающей среды. Болото его затянуло и затопило выше ушей; грязь залепила ему глаза, так что он потерял даже способность различать добро и зло. Положение пресмыкающегося начало ему казаться естественным состоянием человека, а хождение на своих ногах непозволительным своеволием. Видя вокруг себя постоянные низости, он сделался к ним снисходительным и стал даже осуждать разделение людей на черных и белых. Все казались ему одинаково

* Екатерина Александровна Победоносцева, рожд. Энгельгардт.

окрашенными в тот темно-серенький цвет, который господствует в петербургской нравственной атмосфере. Этому отчасти способствовали и семейные обстоятельства. Его тесть Энельгардт, которому он доставил выгодное место в Таганрогской таможне, крупно проворовался. Нужны были неимоверные ухищрения и хлопоты, чтобы выгородить его из дела, за которое другие пошли в Сибирь. Рассказывают, как достоверный факт, что нынешний государь, узнав из доставленного ему дневника умершего морского министра Шестакова, как Победоносцев его в этом деле обманывал, потерял к нему доверие. Строго винить за это нельзя: нужно слишком много твердости, чтобы не покривить душой, когда отцу жены приходится идти на каторжную работу. Мягкий Победоносцев всего менее был рожден спартанцем. Но это приучило его скрытничать, лукавить, интриговать. В сущности, это был единственный способ действия, который мог упрочить ему успех в петербургской среде, и он, при отсутствии характера, стал все более на него падок. Чем выше он восходил, тем глубже эти растлевающие начала всасывались в его плоть и кровь. Искреннее благочестие превратилось в узкий фанатизм; он стал гонителем всего иноверного. Новое царствование, в котором он на первых порах получил преобладающее влияние, сделавшись главным советником царя, в этом отношении развязало ему руки. Всюду обнаружилось его тлетворнее действие, то в притеснительных мерах, то в лживых советах. Он провел в министры народного просвещения Делянова и свел государя с графом Толстым, хотя хорошо знал свойства этих людей. В вопросе о новом университетском уставе он явился предателем. Вполне понимая все безумие этой меры, он сначала сам против нее ратовал, но затем поддался хныканью Делянова и настояниям Каткова: рассчитавши, что в конце концов ему все-таки выгоднее оставаться в союзе с теми, которые проводили эту меру, он посоветовал государю, после того как предложенный министерством устав был отвергнут большинством Государственного совета, вновь обсудить это дело в маленьком совещании лиц, подобранных из меньшинства, где единственным будто бы защитником противоположного мнения являлся сам потерявший совесть обер-прокурор. Таким извилистым путем, опять и опять русское юношество и судьба высшего просвещения в России были отданы на жертву чисто личным интересам. В характеристическом для современных наших государственных людей деле молодого Дервиза, которого рекомендованный Победоносцевым министр юстиции Манассеин, предлагал взять в опеку, деле, которое, по приказанию государя, разбиралось в Комитете министров, Победоносцев вместе с остальными подписал согласие, не считая даже нужным потребовать объяснения от обвиняемого и дать ему возможность сказать слово в свое оправдание. И когда вся гнусность этого приговора

всплыла наружу, и оказалось, что не было ни малейшего повода лишать ни в чем неповинного человека гражданских прав, он, говорят, со слезами извинился перед государем, говоря, что был введен в заблуждение; как будто порядочный человек и вдобавок юрист мог заблуждаться насчет самых элементарных требований правосудия.* Наконец, даже в частных делах он стал проявлять такое полное отсутствие не только всякого чувства деликатности, но и простой честности, что прежние его друзья не могли не придти в изумление в происшедшей в нем перемене. Я мог это видеть на любопытном случае. Летом 1891 года появилось в газетах объявление о выходе учебника по истории церкви, изданного под редакциею Победоносцева. Я удивился, как это обер-прокурор св. синода среди всех своих дел находит еще досуг для издания учебников для народных школ. Приехав в Москву, я стал расспрашивать о нем Александру Николаевну Бахметьеву, которая тоже написала книгу по этой части. «Представьте, – отвечала она, – я тотчас послала купить его учебник, как только прочла о нем в газетах, и что же я вижу? Это ни что иное, как извлечение из моей собственной книги. Едва есть страниц двадцать чужих, а то все взято целиком, иногда с перестановкою некоторых фраз, даже совершенно бессмысленною». Приятели Александры Николаевны приезжали к ней даже с сетованием, что ее обокрали. Все думали сначала, что Победоносцев дал себя обмануть какому-нибудь чиновнику, которому он поручил работу. Но оказалось, что учебник составляла его собственная жена, под личным его руководством. И когда об этом пошли толки, которые дошли и до Победоносцева, он написал обобранному им автору такое иезуитское письмо, которое обличало всю сознательность его поступка и то странное состояние души, в которое поверг его одуряющий чад петербургской чиновничьей атмосферы. Спекуляция была выгодная, и обер-прокурор хорошо знал, что его не захотят и не посмеют притянуть к ответу. В письме к А. Н. Бахметевой он даже прямо говорил, что едва ли издатель ее книги может за это извлечение призвать его к суду.

Так низко пал этот человек, некогда столь чистый и полный самых возвышенных стремлений. Я не могу думать о нем без глубокой грусти. Что такое после этого человеческая душа и как мало она способна противостоять растлевающему действию почестей и власти! Глядя на него, я еще большим почтением проникаюсь к тем немногим, которые, как Дмитрий Алексеевич Милютин, сумели устоять

* Победоносцев письмом от 29 апреля 1883 г. обратился к Александру Ш с ходатайством о прекращении дела его тестя. «Время коронации, – писал он, – время милостей чрезвычайных – единственный случай к прекращению этого несчастного дела по высочайшей милости в административном порядке». 27 мая он имел уже возможность благодарить царя за исполнение этой его «усердной просьбы» (Письма, т. II, стр. 29 – 31, 37).

против всех соблазнов высокого положения, и в развращающей среде сохранили неприкосновенною всю свою нравственную чистоту. Долго я все еще верил в искренность Победоносцева и обращался к нему, как к старому приятелю, которого сердце, так же как и мое, билось на благо отечества. Но наконец я убедился, что кажущаяся его искренность не более, как нажитой внешний прием, который удержался при совершенно изменившейся подкладке. Когда он после 1-го марта стал проводить Делянова в министры народного просвещения, я пришел в ужас и негодование: «Помилуйте, Константин Петрович, – воскликнул я, да ведь это отребье человеческого рода, а вы хотите, при нынешних обстоятельствах, сделать его руководителем взволнованного юношества и поставить его во главе русского просвещения!» На это он стал объяснять мне, что Делянов удобен для проведения разных мер, тогда как с бароном Николаи не всегда сладишь, прибавляя, что, отзываясь таким образом о Делянове, я ничего не возьму. Но я ровно ничего не хотел взять, а только возмущен был до глубины души от такого отношения к важнейшим интересам отечества. Ниже я приведу отрывки из нашей переписки и расскажу, как я наконец высказал ему все на-чисто. Наши внешние отношения остались приличными, но я потерял к нему всякое уважение. Я искренно любил Победоносцева, скромного труженика; Победоносцев – обер-прокурор св. синода, в моих глазах, достоин только презрения. Это тоже одна из тех дружб, с которою пришлось с грустью расстаться.*

Совершенно иной человек был Сабуров. Я знал его с детства. Наши семьи были дружны. Отличных душевных свойств, честный, прямой, но недалекий, он вовсе не был подготовлен к тому положению, на которое он был призван. Воспитанный в Царскосельском лицее, где образование получалось более чем посредственное, он служил сначала по министерству юстиция, где в качестве председателя петербургского окружного суда приобрел весьма хорошую репутацию. К сожалению жена его**, дочь известного писателя графа Соллогуба, женщина довольно суетная, но в которой он души не чаял, тянула его вверх. Сперва он поступил директором департамента министерства юстиции, а затем перешел в министерство народного просвещения и сделался попечителем Дерптского учебного округа.

* Отношение Победоносцева к Чичерину в описываемую эпоху определяется в письме, написанном им 14 декабря 1878 г. Е. Ф. Тютчевой: «Чичерин мне приятель, но того тона, которым он пишет, я переносить не могу, и наши отношения от того портятся, что он наивно ждет сочувствия своим мыслям, а во мне нет его, и спорить с ним я не берусь, зная наперед, что его не убедишь и толку не выйдет. Я желаю только от души, чтоб Чичерин не попал в люди, власть имущие».

** Елизавета Владимировна Сабурова, рожд. графиня Соллогуб.

Там она любезничала со всеми профессорами, а он, с своей стороны, старался всеми мерами приобрести популярность между немцами, которые были от него в восторге и превозносили его до небес. Когда Толстой был уволен, государь спросил его: кого из попечителей он может рекомендовать на свое место? Тот указал на Сабурова, который и был назначен. Это показывает, как мало у него было способных людей. В сущности эти два лица представляли между собою полный контраст: один был темный негодяй, другой вполне честный человек; один был ярый крепостник, другой был легенький либерал. Непонятно даже, с точки зрения нормальных человеческих отношений, каким образом Сабуров мог служить при Толстом, и как Толстой мог рекомендовать Сабурова. Но в чиновничьей сфере все как-то сглаживается и слаживается.

Сабуров искал, однако, пособников. Он понимал, что с персоналом графа Толстого оставаться нельзя. Весною 80-го года брат Владимир поехал в Петербург по земским делам. Он встретил Сабурова, который сказал ему, что он очень желал бы меня видеть и хочет предложить мне место попечителя. Мы вошли в сношения; свидание было назначено в Москве, во время открытия памятника Пушкину. Я поехал ко дню торжества, но по случаю смерти императрицы оно было отложено. Дожидаться я не захотел. Мне нужно было ехать в Малороссию, и я написал Сабурову, что если ему необходимо видеть меня именно теперь, то я, по возвращении, проеду в Петербург; но лично я предпочел бы иметь перед собой свободных шесть месяцев, так как у меня в ходу ученая работа, которую я желал бы привести к концу. Я в это время писал сочинение «Собственность и государство». Нигилистическое движение убедило меня в необходимости выяснить эти вопросы в форме, более или менее доступной для читающей публики. К концу осени у меня готов был первый том.*

Между тем, Сабуров принялся за свое путешествие по России, которое произвело на меня самое странное впечатление. Легкомысленные речи при отсутствии всякой серьезной мысли, какое-то развязное заигрывание и либеральничание были вовсе не к лицу человеку, поставленному во главе русского просвещения. Такое же впечатление он производил и на других благоразумных людей. Баронесса Раден писала мне из Костромы, где она проводила лето у своей сестры: «Трудно было бы представить себе фиаско более полное, чем то, которое постигло Сабурова: он осуществляет собой в полной мере где-то вычитанные мною у Цицерона слова: воображение без таланта и власть без здравого смысла – это злейшие из бичей. Быть может этот бледный призрак министра был менее несчас-

* I часть вышла в Москве в 1882 г., II ч. – в 1883 г.

тлив в другом месте. – Здесь он оставил отвратительное впечатление. Его глупое шествие по России в сопровождении господина Висковатова в роли «Пятницы» показалось верхом неприличия. Он шокировал благоразумных людей, привел в уныние немногие серьезные умы этого уединенного уголка и вызвал шуточки со стороны вредных посредственностей, которым он льстил. Куда же девал он свою простоту и что сталось с умеренностью нашего доброго Сабурова, который порой был так глуп, но так преисполнен прекрасных и серьезных чувств? Вообще вокруг нас происходят странные события».*

В ноябре, когда я уже собирался в Москву, я получил от него телеграмму с просьбою приехать в Петербург. Я тотчас отправился. С первых же слов он предложил мне должность попечителя, по моему выбору, в Москве или в Петербурге, ибо и здесь и там были вакансии. Я отвечал, что во всех отношениях предпочитаю Москву. «Очень рад, – сказал он, – ну, теперь нам надо условиться на счет программы». Он вынул бумагу и начал читать мне целый ряд пунктов о предполагаемом им корпоративном устройстве студентов. Им разрешались сходки, кассы, читальни, столовые, все под управлением собственных выборных. «Бога ради, Андрей Александрович, – воскликнул я, – что вы затеваете? Да вы хотите разом зажечь избу на всех четырех углах!» Он совсем опешил. Я начал ему доказывать, что по дерптским студентам нельзя судить о русских; что я все это видел вблизи и знаю, что такое сборища и увлечения молодых людей; что настоящее смутное время менее всего благоприятно для узаконения студенческих сходок и для водворения всяких студенческих прав. Он отделывался пошлыми либеральными фразами. Мы протолковали несколько часов; он оставил меня обедать, и после обеда мы опять толковали. Наконец, я ему сказал: «Знаете, Андрей Александрович, я думаю, что мы с вами не сойдемся и что лучше от этого отказаться. Принять попечительство при таких условиях, помогать вам в таком деле, которое я считаю в высшей степени вредным, я по совести не могу. Но как человек близкий вашему семейству и всю жизнь свою посвятивший русскому просвещению, я умоляю вас быть осторожным. Вы в несколько месяцев наделаете таких дел, что их после не расхлебаешь и в десять лет». «Нет, погодите, – отвечал он, – приезжайте завтра утром. Я подумаю, а вы подумайте с своей стороны». На следующее утро, когда я приехал, он сухо сказал мне, что не может отказаться от своей программы, а я изъявил сожаление, что не могу быть ему пособником. Потом я узнал, что в это самое утро, еще до моего приезда, в Москву была послана телеграмма моему шурину Капнисту, который в это время был прокурором Судебной палаты, с предложением принять место попечителя Московского учебного

* В подлиннике отрывок из письма приводится на французском языке.

округа. По-видимому, программа Сабурова была уже пущена в ход, так что ему трудно было от нее отступиться. Едва ли даже, в бытность его в Ливадии, во время путешествия по России, она не была показана государю. Мне рассказывали, будто, возвращаясь оттуда в одном поезде с наследником и цесаревной, он так их растрогал своими планами на пользу русского юношества, что те плакали. Мне оставалось уехать обратно в Москву; но Победоносцев сообщил мне, что он встретил цесаревну, которая сказала ему, что наследник очень желает меня видеть, и чтобы я непременно приехал. После смерти покойного его брата я сперва считал долгом представляться ему всякий раз, как бывал в Петербурге; но потом, видя, что свидания ограничиваются несколькими пустыми фразами, которые были в тягость обоим собеседникам, я перестал являться, полагая, что если я на что-нибудь могу быть нужен, то за мною пришлют. На этот раз он сам хотел меня видеть по вопросу, которым он интересовался, и я надеялся услышать наконец хоть какое-нибудь путное слово. После получасовой аудиенции я вернулся в полном отчаянии: ни одной живой мысли, ни одного дельного вопроса я не слыхал. Все ограничилось возгласами: «Ах, это очень жалко!» С тем меня и отпустили. Боже мой, что же готовит нам будущее? думал я с ужасом.

Вопрос был, однако же, так важен, стремление взволновать всю русскую университетскую молодежь и внушить ей всякие несбыточные мечты о своих правах было так опасно, что я счел обязанностью изложить свое мнение письменно. Я составил небольшую записку, один экземпляр которой я переслал через Победоносцева наследнику, а другой передал Абазе. Графа Строганова в это время не было в Петербурге. Абаза уговаривал меня остаться еще один день, другой. Ждали возвращения государя из Крыма; с ним ехал и Лорис-Меликов. Но я не хотел дожидаться, не желая подавать повод думать, что я интригую против Сабурова. Вернувшись в Москву, я послал ему также экземпляр своей записки для сведения. Вот ее содержание:

«Студенческий вопрос в настоящее время снова выдвинулся на первый план. Обнадеженные переменою министерства, студенты всюду собираются подавать прошения о своих нуждах и требуют себе прав. Эти заявления поддерживаются университетскими советами; правительство готово им уступить.

Требования состоят в том, чтобы студенты получили корпоративные права; они желают иметь своих выборных, свои собрания для обсуждения общих дел, свои кассы, столовые и читальни, которыми бы они заведовали сами.

Защитники этой программы утверждают, что все это уже существует на деле, и что гораздо лучше, чтобы все это делалось явно и законно, нежели тайно и беззаконно. Они надеются, что правильною организацией парализуются вредные элементы, которые ныне,

при неустроенном состоянии, получают верх над другими. Они видят спасение в том, чтобы соединять студентов, а не в том, чтобы разъединять их.

Напрасные надежды. Такого рода меры не уменьшат, а лишь усилят зло. Это – игра с огнем, которая может способствовать не тушению пламени, а тому, чтобы оно разгорелось в пожар.

Самое возбуждение этого вопроса чисто искусственное. Оно коренится, с одной стороны, в смутном состоянии молодежи, с другой стороны – в шаткости ее руководителей. В действительности, у студентов нет таких общих нужд, которые требовали бы совокупных совещаний и общих учреждений. Настоящая задача студентов состоит в том, чтобы учиться. Все, что отвлекает их от этой цели, есть зло; все, что производит агитацию и ставит учащихся в ненормальное положение, есть еще большее зло. А к этому именно клонятся выборные учреждения. Таких учреждений нет ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии; тем менее они уместны в России, при слабости нашего образования, при отсутствии всяких преданий и при полной неустойчивости руководителей. В Германии студенческие корпорации существуют веками; но это не более как частные товарищества для общего кутежа, для дуэлей и прогулок с собаками. Работающие студенты в них не участвуют или уходят из них, как скоро принимаются за дело. Студенты в общем составе принадлежат к университетской корпорации; но они состоят в ней подчиненными, а не самостоятельными членами. Они смолоду приучаются к разумной дисциплине, и это составляет лучшую школу для будущей самодеятельности.

У нас студенческая жизнь имеет свои особенности. В наши университеты стекается масса молодых людей, лишенных всяких жизненных средств, не имеющих никакой опоры в семье и получивших самое скудное и поверхностное образование. Но именно подобная масса нуждается не в правах, а в разумном руководстве. К сожалению, именно этого она не находит, вследствие чего в ней бродят всякие смутные мысли и стремления.

Напрасно мечтают о том, что с правильною организацией выборов выдвинутся вперед лучшие элементы, а беспокойные и вредные будут затерты. Лучшие студенты те, которые работают у себя дома и не занимаются общественными делами. На студенческих же, так же как и на мирских сходках, владычествуют горланы, которые, специально занимаясь агитацией, всегда будут стоять во главе других. И теперь они играют роль запевал; но будучи признаны правительством, они явятся уже представителями корпорации, облеченные правами, как законом упроченная сила. И теперь существуют сходки, неизбежные, как скоро есть вопрос, волнующий толпу молодых людей; но теперь это – явление случайное и редкое. Университетс-

кое начальство смотрит на них сквозь пальцы, когда они имеют невинный характер и всегда может их воспретить, как скоро они принимают более бурное направление. Когда же сходки обратятся в право, они сделаются явлением постоянным и нормальным; запрещение их будет казаться действием произвола. Подобная мера не что иное, как узаконение агитации, парламент несовершеннолетних, учрежденный в стране, где не существует парламентской жизни и в среде взрослых.

Напрасно мечтают и о том, чтобы сходки ограничивались тем или другим курсом. Нет возможности помешать студентам других курсов и даже факультетов войти в общую аудиторию. Всякое живое прение привлекает массы, а живыми прениями будут именно те, в которых будут высказываться самые крайние мнения. Кто знает молодые умы и их увлечения, тот не может в этом сомневаться.

Товарищество между студентами, о восстановлении которого хлопочут, бесспорно хорошая вещь, но товарищество во имя общих умственных интересов, а не во имя искусственно организованной агитации. Истинное товарищество есть дело свободы; оно устанавливается нравами и всего более процветает там, где умы находятся в спокойном состоянии. Оно существовало в университетах в то время, когда ни об каких выборных правах и учреждениях не было речи, и восстановится только тогда, когда умы придут в нормальный порядок.

Для того, чтобы привести их в это положение, необходимо прежде всего разумное руководство. Всякий, кто имел дело с молодежью, не может сомневаться в том, что единственное средство получить над нею нравственный авторитет состоит в твердости, соединенной с любовью. Не потачка страстям молодых людей, не пошлое искание популярности, не робкие уступки искусственному возбуждению, прикрывающему себя именем современного духа, а ясное сознание целей и значения студенчества может ввести в надлежащую колею наши высшие учебные заведения. Молодые силы, привлекающиеся к университетам, надобно направлять не к бесплодной агитации, не к легкомысленной игре в студенческий парламентаризм, а к серьезной умственной работе, в которой всего более нуждается Россия и которая ныне почти совершенно исчезла. Отсюда то страшное умственное оскудение, которое замечается всюду, и которое составляет главную язву нашего отечества.

Скажут, что уже все другие меры испробованы и что остается испробовать ту систему, о которой идет речь. Но разве позволительно производить опыты над душою молодых поколений, которые мы должны беречь, как зеницу ока, ибо они составляют всю надежду России? А если опыт не удастся? Если вместо того, чтобы направить юношество на разумный путь, оно будет направлено к погибели? Если, возбудивши несбыточные надежды и даровавши ни с чем не-

сообразные права, придется потом принимать самые крутые меры, пожалуй даже закрывать университеты, чтобы организовать их на новую ногу? Какая неисцелимая рана нанесется и зреющим силам и всему русскому просвещению, и какую страшную ответственность берут на себя те, которые наталкивают правительство на подобный путь!

После того тяжелого гнета, который много лет господствовал в министерстве народного просвещения, несомненно нужна свобода; но есть свобода, которая ведет к мирному развитию, и есть свобода, которая приводит лишь к новой и более суровой реакции. Именно эту последнюю хотят водворить защитники разбираемых мер, с добрыми намерениями, без сомнения, но не ведая, что творят. Чтобы направить корабль в неведомое море, где на каждом шагу встречаются подводные камни, нужна искусная и опытная рука; но где тот искушенный мореплаватель, который стоит у кормила? А если кормчий, незнакомый с своим делом, возьмется вести корабль среди мелей и камней без карт и компаса, то не будет ли это верхом легкомыслия? И если направленный неопытною рукою корабль разобьется и драгоценный груз погибнет, то на ком будет лежать вина?

И точно ли испробованы уже все другие меры? Что мы видели до сих пор в народном просвещении, в этой важнейшей и наиболее чувствительной отрасли общественной жизни? Постоянные переходы из одной крайности в другую, от слепой суровости к робкому слабодушию и обратно. Как будто нарочно обходится именно та разумная середина, которая составляет единственный истинный путь. И когда среди общего хаоса случайно образуется ядро, около которого могли бы собраться разумные силы, то со всех сторон на него сыплются удары, от которых оно разлетается в прах. Быть выданным сверху и оплеванным снизу – вот судьба, которая слишком часто постигает у нас всякую твердую мысль и всякое разумное слово.

Но разумная середина – не значит система сделок или колебание между противоположными взглядами. Для действия на молодые умы нет ничего хуже колебаний, сделок и полумер. Нравственный авторитет над ними может получить только тот, кто ясно сознает, чего он хочет, и твердо идет своею дорогою, не уклоняясь ни на шаг. Надобно прежде всего приобрести уважение молодых сердец, всегда чутких к нравственным качествам, а робостью и полумерами уважения никогда не приобретешь. Твердость в началах и мягкость в исполнении – такова должна быть программа руководителей молодежи. Полумеры же в некотором отношении даже хуже крайностей, ибо они ставят людей в ложное положение и вселяют смуту и недоверие в умах.

Истинная задача народного просвещения в России состоит не в том, чтобы производить новые опыты или входить в сделки с совре-

менным легкомыслием и с возбужденными страстями, а в том, чтобы после всех бесконечных колебаний, которым оно подверглось в течение многих лет, после перемежающихся периодов гнета и распущенности, прийти наконец к твердому пути и направить молодые силы на серьезную умственную работу, необходимую для отечества. На это нужно время, терпение и труд, нужна тщательная подготовка персонала, на котором лежит все здание народного просвещения. А для того, чтобы совершить такое дело, необходима прежде всего сознательная и постоянная поддержка сверху, без которой руководитель на этом поприще не может сделать ни единого полезного шага».

Написавши эту записку*, я немедленно вернулся в Москву. Там, на моей квартире, ожидали уже Щербатов и Капнист. Я рассказал им все свои разговоры с Сабуровым. Щербатов был очень огорчен этим исходом дела. Ему казалось, что можно было найти какой-нибудь компромисс. Капнист, с своей стороны, только и ждал моего возвращения, чтобы принять место, от которого я отказался. Для него это была находка. Пользовавшись полным доверием графа Палена, он с новым министром юстиции Набоковым был в таких натянутых отношениях, что оставаться долее в министерстве становилось для него невозможным. Между тем, служба была ему необходима. Легкомысленно растратив свое состояние и имея семью, он жил одним жалованьем. Предложение Сабурова падало ему, как дар с неба. Убеждения не служили препятствием, ибо их в этом отношении вовсе не было. Капнист служил и при либеральном Сабурове, и при умеренном бароне Николаи, и при лакее Каткова Делянове. Со всеми он умел ладить, являясь ловким и дельным исполнителем; а с другой стороны, он, особенно на первых порах, располагал к себе подчиненных своею обходительностью. Руководителем в деле народного просвещения он, конечно, быть не мог, но при данных условиях и при полном отсутствии у нас образованных людей, едва ли можно было найти лучшего попечителя.

Вскоре подъехал Дмитриев, которого Сабуров тоже вызывал для переговоров. Ему министр хотел предложить Петербургский округ. При проезде его через Москву Щербатов уговорил нас собраться втроем, чтобы обсудить этот вопрос. Признаюсь, на этот раз мой старый друг несколько меня раздосадовал, упорно настаивая на компромиссе. В практических делах компромиссы часто бывают необ-

* Записку Б. Н. Чичерина об университетском вопросе Победоносцев отослал наследнику при письме от 22 ноября 1880 г. (Письма Победоносцева к Александру III, т I, стр. 305). От себя Победоносцев добавляет о деятельности Сабурова: «Можно судить о впечатлении, когда от Чичерина, бывшего всегда ожесточенным врагом гр. Толстого, я слышал такие слова: «Придется, пожалуй, пожалеть о гр. Толстом».

ходимы, но не тогда, когда дело идет о самом направлении и духе, в котором надобно действовать. Менее всего они уместны в отношениях к молодым людям, которые требуют прежде всего ясной мысли и твердой воли. Каково было бы положение попечителя, который, стоя посредине между требованиями молодежи и ищущим популярности министерством, должен был был служить тормозом для обоих? Мне даже непонятно было, как Щербатов, с своим практическим смыслом, мог остановиться на подобной мысли. Между тем Дмитриев жадно за нее хватался. Ему надоела мелочная деятельность в провинциальной среде, да и здоровье не позволяло ему во все время года разъезжать по уезду. Он стремился занять видное положение в Петербурге, а потому предложение Сабурова приходилось ему как нельзя более кстати. На этот раз, однако, дело не сладилось. После разговора со мною Сабуров понял, что он в Дмитриеве найдет скорее тайного врага, нежели ревностного пособника. Он сделал ему предложение нехотя и при таких условиях, что Дмитриев не мог принять. Попечителем он сделался уже при бароне Николаи. К счастью для университетов, программа Сабурова никогда не была приведена в исполнение, но последствия легкомысленной болтовни министра не замедлили обнаружиться. Едва я вернулся в Москву, как уже начались студенческие волнения. Целую массу студентов окружили войском и отвели в острог. Но этим дело не кончилось. Молодежь, возбужденная либеральными речами министра и данными им обещаниями, предъявляла требования, подавала адресы. После 1 марта волнение усилилось; сходка следовала за сходкою. Наконец, произошло новое побоище на Страстном бульваре, перед квартирою Каткова, где студенты хотели устроить враждебную ему демонстрацию. В Петербурге дела шли еще хуже. Студенты, не видя исполнения данных им обещаний, озлобились на министра, который как будто их обманывал. На университетском акте, 6 февраля, он получил даже от студента тумака. Он перенес это с невозмутимым хладнокровием; но положение его становилось все более и более шатким. Самые его патроны, Лорис-Меликов и Абаза, от него отступились, видя, что он их компрометирует. По поводу студенческого вопроса устроено было министерское совещание, на котором Сабуров оказался крайне слабым. Его программа была отвергнута, а его самого решено было спустить при первом удобном случае. Этому значительно способствовал Дмитриев, который старался разъяснить Абазе истинную сущность дела. Однако окончательное падение последовало уже в новое царствование. Победоносцев, который на первых порах пользовался полным доверием нового государя, постоянно и настойчиво твердил ему, что Сабурова нельзя оставить министром народного просвещения. Наконец он был уволен; на место его был назначен барон Николаи, чистый чиновник, узкий и

формалист, но умеренный, не глупый и честный. Дмитриев сделался попечителем Петербургского учебного округа.

Между тем как Сабуров волновал студентов своими либеральными речами и перспективою новых прав, Лорис-Меликов и Абаза, с своей стороны, принялись за реформы всякого рода. Прежде всего необходимо было ввести в границы тот необузданный произвол, который господствовал при административных ссылках. Для разбора этих дел была учреждена комиссия, в которую вошел и Победоносцев. Он рассказывал мне, что они приходили в ужас от тех вопиющих беззаконий, которые тут раскрылись. Относительно многих молодых людей, сосланных в отдаленные губернии или в Сибирь, не могли даже добиться сведений, за что они были подвергнуты такому жестокому наказанию. В большинстве других случаев поводы были самые ничтожные и подозрение вовсе не доказанное. Жандармское управление, которое было тут главным деятелем, по-видимому, поступало совершенно наобум. Многие невинные были возвращены, что, без сомнения, должно быть отмечено, как большая заслуга Лорис-Меликова.

Но этим новые правители не ограничились; они хотели перестроить и самые учреждения. Для собирания сведений о состоянии дел на местах в губернии были посланы ревизующие сенаторы. Земствам был разослан целый ряд вопросов, которыми не только предполагалось преобразование недавно созданных уездных присутствий, но косвенно открывалась возможность расширения прав самых земских учреждений. Приготовлялся проект коренного изменения Положения 19 февраля в смысле соразмерения выкупных платежей с доходностью земли. Наконец, государю представлен был на утверждение проект созвания выборных для обсуждения целого ряда мероприятий. Этот проект, рассмотренный Комитетом под председательством наследника, получил уже его одобрение; недоставало только подписи, как вдруг катастрофа 1 марта положила всему конец.

Я был в это время в Москве. Вечер 1 марта мы провели вдвоем с женою, не зная ужасной вести, которая уже разнеслась по городу. Утром я встал и пошел одеваться в свою уборную. Вдруг слышу в коридоре громкое рыдание моего камердинера, который влетел ко мне в комнату и с воплем воскликнул: «Государя убили злодеи!» Я был совершенно ошеломлен. Не верилось в такое страшное дело. Утренние газеты принесли ужасающие подробности зверского злодеяния: как этот благодушный монарх, истерзанный, истекающий кровью, на маленьких санках привезен был в Зимний дворец и там кончил свою многотрудную и плодотворную для отечества жизнь. Одно из величайших царствований в русской истории завершилось неслыханною в наших летописях кровавою драмою.

История произнесет над Александром II правдивый приговор, не утаивая его слабостей, но справедливо ценя его высокие качества. Не одаренный от природы ни сильным умом, ни крепкою волею, не получив даже воспитания, способного дать ему руководящие нити среди тех шатких условий, в которые он был поставлен, он призван был исполнить одну из труднейших задач, какие могут представиться самодержавному правителю: обновить до самых оснований вверенное его управлению громадное государство, упразднить веками сложившийся порядок, утвержденный на рабстве, и заменить его гражданственностью и свободою, учредить суд в стране, которая от века не звала, что такое правосудие, переустроить всю администрацию, водворить свободу печати при безграничной власти, везде вызвать к жизни новые силы и скрепить их законным порядком, поставить на свои ноги сдавленное и приниженное общество и дать ему возможность двигаться на просторе.

История едва ли представляет другой пример подобного переворота. И он совершил свыше возложенное на него добросовестно и разумно, по мере своих способностей и средств. Недостаток ума заменялся у него устойчивым здравым смыслом, который дозволял ему, при долгом и внимательном изучении дела, остановиться, наконец, на среднем, благоразумном решении; слабость воли заменялась постоянством, с каким он держался раз принятого пути, не давая увлекать себя далеко в сторону. Александр II никогда не отдал на жертву реакции созданных им учреждений; он хранил их, как любимое детище, хотя при возникших в России смутах он допускал частные искажения.

Главный его недостаток состоял в плохом знании людей и в неумении ими пользоваться. Добрый по природе, он был мягок в личных отношениях; но, не доверяя себе, он не доверял и другим; он скрытничал, лукавил, старался уравновешивать различные направления, держа между ними весы, но делал это так, что каждое парализовалось в своих действиях и не чувствовало под собою твердой почвы. Самодержавие приучило его смотреть на людей как на простые орудия, призванные исполнять данные им приказания. Отсюда, например, чудовищное назначение заклятого врага освобождения крестьян, графа Панина, председателем Редакционных комиссий.

О том, что у порядочного человека есть собственные убеждения и собственная воля, и что только следуя им, он может действовать с успехом, он вовсе и не помышлял. Безграничная власть и предания отца заставляли его смотреть на независимость мысли и характера, как на беспокойное и вредное начало, которого следует остерегаться. Он охотнее видел вокруг себя людей податливых и удобных, то есть пошлых. Можно сказать, что из всех окружавших его лиц один только человек с высшим умственным и нравственным значением,

Дмитрий Алексеевич Милютин, может быть, вследствие своей специальности, а может быть, вследствие своей осторожности, до конца сохранил его расположение. Других он устранял весьма легко, как скоро они не были ему необходимо нужны. Он устранял даже и таких людей, которые не претендовали ни на какую независимость суждений и воли, но которые слишком выдвигались вперед. Удаление Шувалова служит тому примером. Самодержавная власть и в этом отношении делала его весьма щекотливым.

Не поддаваясь влиянию мужчин, Александр II имел необыкновенную слабость к женщинам. Близкие ему люди, искренно его любившие, говорили, что в присутствии женщины он делался совершенно другим человеком. Его страсть была разъезжать по институтам, где воспитанницы его обступали, и он всем расточал любезности. В Смольном он обрел и свою последнюю фаворитку, княжну Долгорукую, с которою он обвенчался тотчас после смерти императрицы. Он даже собирался ее короновать.

Епитроп Иерусалимской церкви, ныне государственный контролер, Тертий Филиппов*, по этому случаю ездил даже в Москву, чтоб из архивов извлечь подробности о коронации Екатерины I. Я знал этого господина еще домашним учителем в нашем соседстве. Из этой скромной доли он без ума и без таланта, одним елейным благочестием и льстивым низкопоклонством, дополз до высших почестей. Островский, который был ему товарищем по университету, втянул его в контроль. Но сведения его по этой части были таковы, что, когда он брался объяснять это дело молодым людям, готовящимся к этому поприщу, он возбуждал всеобщий смех. Это я знаю от братьев, которые служили по этой части. Зимою 1881 года я видел его у Абазы, который тогда был в силе, а потому был предметом поклонения. Филиппов, как студент филологического факультета, помнящий своих классиков, декламировал ему стихи из Илиады, в которых сравнивал его с Агамемноном. Добыв в Москве архивные сведения для будущей коронации, он с торжеством возвращался в Петербург, как вдруг на полупути узнал о событии 1 марта. Сведения были спрятаны; вскоре улетучился и Агамемнон; но Островский пошел вверх, и за ним в государственные люди попал и Тертий.

Провидение избавило Александра II от позора коронации. Вместо того он принял мученический венец, который искупил все его слабости и оставил его образ светлым ликом между русскими царями. Многие превосходили его способностями, но никто не сделал больше него для России, хотя ни ему, ни его современникам не было дано видеть добрые плоды его трудов, а пришлось только испытывать терния, рассеянные по пути. Он погиб жертвою стремлений,

* Т. И. Филиппов был назначен государственным контролером в 1899 г.

не им вызванных, не им разнузданных, а составляющих глубочайшую язву современного человечества и сталкивающихся в мало образованном обществе в особенно безобразных формах. Нет в мире ужаснее явления, как взбунтовавшиеся холопы, а таковы именно нигилисты.

Начало нового царствования

Трагическая смерть царя-освободителя была поворотною точкою в нашем общественном развитии. Если первые попытки нигилистов произвели остановку в преобразовательном движении и вызвали реакционные меры, то теперь, когда сам зачинатель реформ пал жертвою их безумных стремлений, реакция должна была проявиться еще сильнее. Правительство, испуганное страшною катастрофой, естественно отшатнулось назад. Общество, с своей стороны, сильнее, нежели когда-либо, почувствовало потребность власти. Наконец, самые нигилисты увидели, что добившись своей цели, они в сущности ничего не достигли: народ остался спокоен; никакой революции не произошло: даже многие из тех. которые прежде им сочувствовали, от них отвернулись.

Но все эти последствия проявились только мало-помалу. На первых порах казалось даже, что все осталось по старому и не произошло ничего необыкновенного. Русское сознание вообще удивительно неповоротливо. Оно способно увлекаться, нередко через край; но чтобы двинуть его в ту или другую сторону, нужно время. Оно мало восприимчиво к внешним впечатлениям. Я мог убедиться в этом в самый день, когда в Москве распространилось известие о гибели царя. Я вышел на улицу и не заметил никакого народного волнения, даже никакой суеты. Патриархальная тишина царствовала по-прежнему. Знакомые сообщали друг другу ужасные подробности, но не выходя из обычного спокойствия и не ожидая никаких знаменательных событий.

В Петербурге было не то. Северная столица, действительно, была вся в суете, но не вследствие народного волнения или возбужденного общественного интереса, а благодаря совершенно необычной деятельности нового градоначальника, генерала Баранова, Поставленный на этот важный пост после 1 марта, он совсем растерялся и начал выкидывать такие штуки, которые всех приводили в изумление. Не только он по всем заставам расставил караулы, которым велено было никого не пропускать, хотя ничего не стоило их обойти, но он организовал совещательный комитет, основанный на всеобщей подаче голосов. Полиция ходила по домам и всех, как мужчин,

так и женщин, кого только могла поймать, заставляла писать на листах имя лица, которое они избирают представителем своего участка. Даже несчастные жертвы в домах терпимости облеклись политическим правом голоса по распоряжению градоначальника. Сам он кидался всюду, как угорелый, принимал самые удивительные меры, болтал без умолку, рассказывал всем о своих подвигах и о доверии к нему государя, одним словом, вел себя как сумасшедший. Граф Строганов с ужасом говорил мне: «Каково наше положение! В такую страшную минуту призывают человека, которого все считают умным и дельным, и вдруг оказывается арлекин!»

Но если Баранов суетился, то главные заправилы оставались, напротив, совершенно спокойны и продолжали свое дело так, как будто ничего не случилось. Характеристический анекдот в этом отношении ходил про Сабурова. На следующий день после катастрофы он отправился в университет, чтобы посмотреть, какое впечатление произвело там это известие и переговорить с ректором на счет нужных распоряжений. Когда он вернулся, его спрашивали о результате совещания. «Мы с ректором решили не придавать этому событию особенного значения», – отвечал он. Такое же невозмутимое хладнокровие сохранял Лорис-Меликов, на котором лежала главная ответственность за ход дел. Он так был уверен в себе, что, по-видимому, вовсе не подозревал, чтобы что-нибудь могло случиться. Рассказывали, что, когда раздался взрыв, он был в гостях у кого-то из сановников. Собеседник его вскочил в ужасе; но Лорис его успокоил: «Вы можете сидеть, – сказал он, – если бы это было что-нибудь важное, я бы не был здесь». Страшная действительность нисколько его не смутила. Он продолжал поддерживать представленный им покойному государю проект о созвании выборных, как будто в промежуток не произошло ничего необычайного. Проект по мысли был разумный и дельный, но самодержавному монарху не легко было решиться на такой шаг. Даже покойный государь, давая свое согласие, говорил, что он понимает, куда это ведет: он видел в этом первый шаг к конституции. Проводить подобную меру в эту минуту, когда новый царь не успел еще опомниться от потрясающих впечатлений, когда и обществу надобно было дать время одуматься, возбуждать вопрос, не подготовив заранее почвы, было крайне опрометчиво. Это значило излишнею торопливостью и неуместною настойчивостью компрометировать все дело. Лорис-Меликов всего менее мог за это браться. Ему, по-видимому, не приходило даже в голову, что событием 1 марта его положение было расшатано и доверие к нему подорвано. Облеченный чрезвычайною властью с целью предупредить катастрофу, он не сумел ничего ни предвидеть, ни отвратить, а между тем он думал диктовать условия, на которых мог настоять только человек с полным авторитетом, увенчанный успе-

хом. Удивительное его самообольщение, а вместе и легкомыслие, обнаружились с первых же шагов. Созвано было совещание из важнейших государственных сановников для обсуждения этого вопроса. Лорис-Меликов стал читать доклад, представленный еще Александру II. В нем, в изложении мотивов, стояла такая фраза: «ныне, когда все успокоилось». И это читалось вслед за убийством царя! Можно себе представить, какое это должно было произвести впечатление.

Граф Строганов первый восстал против этой меры, доказывая всю неуместность ее в настоящую минуту. Его поддержал Победоносцев. За проект стояли Лорис-Меликов, Абаза и Милютин. Государь ничего не решил; он хотел дать себе время на размышление.

Несколько времени спустя мне случилось говорить об этом с графом Строгановым. «Я был бы согласен, – сказал он, – но не теперь. К коронации, да». Но когда наступила коронация, все защитники этого проекта давно сошли со сцены и об нем не было уже и помину. Мера, которая могла внести зачатки политической жизни в русское общество, была надолго погребена, в значительной степени по вине главного руководителя. Таков был ближайший результат события 1 марта*.

Между тем, живя в Москве и ничего не ведая о предположениях Лорис-Меликова, я, с своей сторона, пришел к убеждению в необходимости подобной меры для скрепления союза между правительством и обществом. Это убеждение родилось во мне уж в прошлом царствовании; происшедшая катастрофа могла только его усилить. Она очевидно указывала на глубокое общественное расстройство. Надобно было искать исхода из невозможного положения. Мне казалось, что одно правительство не в состоянии справиться с этой задачею. Неспособность государственной полиции при всех следовавших друг за другом покушениях и убийствах обнаружилась в полной мере. Приходилось взывать к общественным силам, чтобы в союзе с ними дать отпор торжествующему нигилизму. Но о введении конституционного порядка не могло быть речи в такое смутное время, надо было, во что бы то ни стало, укрепить власть, а не ослаблять ее, подвергая ее ограничениям. Теоретически, в нормальном порядке, я не одобрял подобной полумеры. Но при существующих условиях она представлялась мне единственным способом собрать воедино все силы русской земли и приготовить почву для лучшего будущего.

В этих видах я написал статью «Задачи нового царствования». Я роздал ее в рукописи некоторым московским знакомым и послал в

---

* Изложенные в тексте события подробно рассказаны в «Дневнике статс-секретаря Перетца» (изд. Цептрархива, М., 1927, стр. 31 – 41).

Петербург. Здесь сделаю довольно пространные выписки, чтобы показать, как мне в это время представлялось положение дел и какой я видел возможный для нас исход*.

«Страшною катастрофою завершилось одно из величайших царствований в русской истории, – писал я. – Монарх, который осуществил заветные мечты лучших русских людей, который дал свободу двадцати миллионам крестьян, установил независимый и гласный суд, даровал земству самоуправление, снял цензуру с печатного слова, этот монарх, благодетель своего народа, пал от руки злодеев, преследовавших его в течение нескольких лет и, наконец, достигших своей цели. Такая трагическая судьба не может не произвести потрясающего впечатления на всякого, в ком не помутилась мысль и не иссякло человеческое чувство.

Но еще более политический мыслитель смущается при виде того наследия, которое этот благодушный государь, сеятель свободы на русской земле, оставляет своему преемнику. Казалось бы, что совершенные преобразования должны были поднять русскую жизнь на новую высоту, дать крылья слишком долго скованному народному духу. А между тем, в действительности произошло не то. Вместо подъема, мы видим упадок, и умственный, и нравственный, и отчасти материальный. Вместо нового, благотворного порядка, везде ощущается разлад. Повсюду неудовольствие, повсюду недоумение. Правительство не доверяет обществу, общество не доверяет правительству. Нигде нет ни ясной мысли, ни руководящей воли. Россия представляет какой-то хаос, среди которого решимость проявляют одни разрушительные элементы, которые с неслыханною дерзостью проводят свои замыслы, угрожая гибелью не только правительству, но и всему общественному строю. Последнее злодеяние переполнило меру; оно показало, что мы должны ежеминутно трепетать за самые священные основы народной жизни.

В чем же заключаются причины зла, и где найти против него лекарство?»

Я устранял ходячее объяснение поверхностных либералов, которые все наши невзгоды приписывали реакционным стремлениям правительства, взявшим верх во вторую половину царствования Александра II. Я показывал, что если правительство принуждено было принять чрезвычайные меры, временно устранить гарантии личной свободы, то это было вызвано террором, исходящим из недр самого общества.

* В брошюре, изданной за границей под заглавием: «Конституция графа Лорис-Меликова», приводятся выдержки из приписанной мне рукописной статьи, причем меня обзывают «лже-либералом». Эти выдержки взяты не из моей записки, а из написанной в то же время записки Дмитриева. – *Прим. Б.Н.Чичерина*

«Взваливать на происшедшую в правительстве реакцию вину общественной смуты, приписывать существующий в обществе разлад тем или другим циркулярам министров, мнимому деспотизму губернаторов, предостережениям, которые даются журналам, или даже существованию подушной подати и паспортной системы, значит пробавляться пустяками. Кто довольствуется подобными объяснениями, с тем столь же мало можно говорить о политике, как с слепым о цветах.

Причины зла кроются гораздо глубже: они заключаются в самом состоянии русского общества и в быстроте, с которою совершились в нем преобразования.

Всякое общество, внезапно выброшенное из своей обычной колеи и поставленное в совершенно новые условия жизни, теряет равновесие и будет некоторое время бродить наобум... Народ, в течение веков находившийся в крепостном состоянии, привыкший преклоняться перед всемогуществом власти, внезапно очутился среди гражданского порядка, созданного для свободы. Крепостное право исчезло; сословия уравнялись. Везде возникли самостоятельные силы; явилась потребность совокупной деятельности. Руководящее сословие в особенности было поставлено совершенно на новую почву и должно было отказаться от всех своих прежних привычек. Ему разом приходилось и поддерживать свое потрясенное материальное благосостояние и приниматься за новую общественную работу, и все это без надлежащей подготовки, при том скудном образовании, которое доставляла русская жизнь.

Даже весьма просвещенное общество с трудом могло бы вынести подобный переворот; что же сказать об обществе мало образованном? Все отношения изменились; все понятия перепутались. В довершение беды преобразования совершились в такую пору, когда наша учительница на пути гражданского развития, Западная Европа, вместе с великими началами, легшими в основание преобразований прошедшего царствования, принесла нам и смуту. И там происходит кризис, и в умственной и в политической области: идет борьба между капиталом и трудом; материалистические учения обуревают умы, а дикие страсти, волнующие народные массы, стремятся к ниспровержению всех основ, которыми держится человеческое общежитие.

Мудрено ли, что эти смутные идеи, проникая в невежественную среду и находя восприимчивую почву в бродячих элементах, разнузданных общественным переворотом, окончательно сбивают с толку неприготовленные умы и производят те безобразные явления, которые приводят нас в ужас и негодование?

Вот где кроются причины зла; где ж искать против него лекарства?»

Я разбирал ходячую либеральную программу, которую проповедовали передовые журналы и за ними повторяли многочисленные их поклонники:

«Лекарство не заключается в прославляемой ныне свободе печати, – писал я. – Собственный наш двадцатипятилетний опыт, которым подтверждается давнишний опыт других народов, мог бы излечить нас от этого предрассудка. Свобода печати, главным образом периодической, которая одна имеет политическое значение, необходима там, где есть политическая жизнь; без последней она превращается в пустую болтовню, которая умственно развращает общество. Особенно в среде мало образованной разнузданная печать обыкновенно становится мутным потоком, куда стекаются всякие нечистоты, вместилищем непереваренных мыслей, пошлых страстей, скандалов и клеветы. Это признается самыми либеральными западными публицистами, беспрестанно наблюдающими явления жизни. В России периодическая печать, в огромном большинстве своих представителей, явилась элементом разлагающим; она принесла русскому обществу не свет, а тьму. Она породила Чернышевских, Добролюбовых, Писаревых и многочисленных их последователей, которым имя ныне легион... Если правительство, желая задобрить журналистику, откажется от единственного находящегося в руках его оружия, от предостережений, то социалистической пропаганде открыт будет полный простор. Напрасно мы будем надеяться, что она встретит противодействие со стороны здоровых элементов общества. Чтобы противодействовать рассеваемой под научным и филантропическим призраком лжи, нужны мысль, знание, труд; а огромное большинство читающей публики именно потому пробавляется журналами и газетами, что оно само не хочет ни думать, ни работать. При таких условиях громкая фраза и беззастенчивая брань всегда будут иметь перевес. Уважающий себя писатель с омерзением отвернется от этого турнира. Свобода необходима для научных исследовании; без этого нет умственного развития. Но периодическая печать требует у нас сдержки, а не простора. Она составляет самое больное место русского общества».

Точно также устранял я и удовлетворение требований молодежи, доставлявшей главный контингент нигилизму.

«У нас, – говорил я, – отношения начальства к учащемуся юношеству беспрерывно переходят из одной крайности в другую, как будто нарочно для того, чтобы сбить с толку молодые умы и не оставить в них ни одного твердого понятия. Конечно, когда вожжи слишком натянуты, нужно послабление. Но чтобы само правительство добровольно вносило в учебные заведения смуту и разлад, возбуждая юношество, возмущая всех разумных людей и вызывая громкие рукоплескания легкомысленных агитаторов, чтобы оно, в погоне за

популярностью, вело к систематическому разрушению учреждений, в которых воспитываются молодые силы, этому едва ли представляет пример какая-либо другая европейская страна... Положить как можно скорее конец этой растлевающей деятельности, грозящей гибелью молодому поколению, такова насущная потребность дня. На юношестве, по самым его свойствам, всего более отражается общественная смута; тут легкомысленный либерализм вреднее, чем где-либо».

Я восставал и против надежд, возлагаемых на возвращение политических ссыльных, отмену чрезвычайных мер и восстановление законного порядка. Характеристическим признаком тогдашнего состояния умов служит тот акт, что тотчас после 1 марта в нашей периодической печати раздались голоса, требующие прощения главного виновника всех этих событий, Чернышевского. Выражая признательность государственному человеку, который взялся за пересмотр политических процессов и вернул неправильно сосланных, соглашаясь с тем, что власть должна в этих случаях поступать с крайнею осторожностью, обставив себя всевозможными сведениями, я настаивал, однако, на том, что, пока существует социалистическая пропаганда, стремящаяся к ниспровержению всего общественного строя, до тех пор чрезвычайные меры будут необходимы. «Когда шайка крамольников доходит до самых неслыханных злодеяний, тогда спасение общества требует приостановки гарантий».

Я утверждал, что лекарство не лежит и в реформе местного управления. «Хотя желательны частные улучшения, однако никакого коренного преобразования в местном управлении не требуется. Реформами прошедшего царствования оно поставлено на настоящую ногу, и отношения между властями установлены правильные. Только никогда не участвовавшие в земских делах могут утверждать, что деятельность земских учреждений парализуется властью губернаторов. В действительности, власть губернаторов нельзя ни усилить, ибо этим нарушились бы дорогие земству права, ни ослабить, ибо через это правительство лишилось бы необходимого органа. А с другой стороны, невозможно расширить и круг ведомства выборных учреждений. При наличных силах они едва справляются с своей задачей; как же они справятся с большею?»

«Самое больное место провинциальной администрации, – продолжал я, – находится в крестьянском управлении, особенно волостном. Недостаточность суда, произвол старшин, владычество писарей, все это слишком известно. Но и тут помочь злу можно только частными мерами: усилением личного состава уездных присутствий, предоставлением некоторых дел мировым судьям, заменой кассации апелляциею и т. п. Всякое же коренное преобразование, при нынешних условиях провинциального быта, немыслимо. Уничтожить во-

лость нельзя, не расстроивши всего уездного управления; можно только или взять ее в опеку или ввести в нее образованные элементы. Но ни то, ни другое не приведет к желанному результату именно вследствие крайней скудости образованных элементов в провинции. В этом заключается главное зло, которым страдает наше местное управление, зло, которое может быть устранено только временем. При нынешнем безлюдии всякая органическая перемена будет только бесполезною ломкой. Усиление чиновничьего элемента, не говоря уж об известной его неблагонадежности, нежелательно уже потому, что через это изменится земский характер учреждений. Водворение же маленьких пашей из местных помещиков повело бы только к эксплуатации крестьянского населения во имя частных интересов и к преобладаемому значению этих лиц в земских собраниях, где половина голосов будет в их руках».

Я коснулся и крестьянского хозяйства, о котором в то время трубили социалистические газеты, провозглашая, что теперь, как двадцать лет тому назад, перед нами стоит грозный крестьянский вопрос. Я утверждал, что этот грозный вопрос не что иное как миф, созданный воображением петербургских журналистов. Признавая обеднение части крестьянского населения, происходящее от плохой обработки земли, хищнического хозяйства, непривычки к сбережениям и излишней привычки к пьянству, от семейных разделов, а главное от закрепощения крестьянина общине и круговой поруке, я говорил, что этому злу не поможет ни увеличение наделов, ибо через некоторое время, с приращением народонаселения, наделы опять окажутся малы, ни переселения, которые могут быть полезны в отдельных случаях, но которые, как широкая мера, не имеют смысла при скудном населении России. Единственною разумною мерою могло бы быть лишь освобождение крестьянина от общины и круговой поруки, но именно против этого возопят не только социалистическая печать, но и значительная часть консерваторов, увлекающихся славянофильскими идеями или пугающихся призрака пролетариата. Что касается до уравнения податей, то это – начало весьма почтенное, но надобно знать, на кого падут снятые с крестьян подати. Если на помещиков, то они не выдержат, и из провинции исчезнут последние образованные элементы. Кроме того, этот вопрос имеет и политическую сторону, которою нельзя пренебрегать, особенно в настоящее время, когда дворянство может оказаться весьма полезным, именно как наиболее охранительная часть общества, всех более способная служить связью расшатавшегося здания.

Наконец, я говорил и о возможности конституции.

«Не следует ли, однако, приступить к дарованию политических прав, к тому, что привыкли называть завершением здания? В настоящую минуту оно было бы менее всего уместно. После освобождения

крестьян дворянство некоторое время мечтало о конституционных правах, которыми оно думало вознаградить себя за утраченные привилегии. Но эти стремления встречали противодействие в наиболее разумной части общества, которая понимала, что не в эпоху коренных преобразований, изменяющих весь общественный строй, можно думать об ограничении верховной власти. Впоследствии, когда умы успокоились и русское общество начало привыкать к новому порядку вещей, конституционных гарантий могли желать и те, которые не увлекались современными страстями. Но и эта пора спокойного усвоения преобразований прошла. Проявившиеся с страшною энергией разрушительные силы внесли новую смуту в только что начинавшее приходить в сознание общество... Теперь всякое ограничение власти было бы гибельно».

«Таким образом, – заключал я, – вся ходячая либеральная программа, с которою носятся известного разряда русские журналисты и их поклонники, должна быть устранена. Она ведет лишь к усилению разлагающих элементов общества, а нам нужно прежде всего дать перевес элементам скрепляющим.

Однако из этого не следует, что нельзя сделать шага в либеральном смысле. Свободою можно и должно пользоваться, но не распуская, а направляя. Новое правительство неизбежно должно будет обратиться к обществу и искать в нем опоры; но целью должно быть не ослабление, а усиление власти, ибо такова наша насущная потребность».

Рассматривая современные явления нигилизма, я приходил к заключению, что это внутренняя болезнь, с которою правительство одними внешними средствами не в состоянии справиться. Тут нужна нравственная поддержка народа, не та, которая дается официальными адресами, а та, которую может дать только живое общение с представителями земли. Только этим путем может установиться и разумное руководство, необходимое во всяком обществе, а тем более в таком расшатанном состоянии, в каком находится ныне Россия.

«Было время, – писал я, – когда самодержавная власть, с помощью своих собственных орудий, беспрепятственно руководила народом... Но это время прошло безвозвратно. Уже при Александре I совершился перелом. В царствование Николая, при внешней покорности, он сделался еще глубже. Преобразования прошедшего царствования, принявши во внимание изменившееся течение жизни, имели в виду организовать русское общество, как самостоятельную и свободную силу. При таком порядке одной правительственной деятельности недостаточно. С самостоятельными силами надобно считаться; надобно призывать их к совету и совокупно с ними направлять общественное движение. Конечно, при незрелости русского

общества от него получится немного; но только этим способом его самого можно воспитать к политической жизни. Надобно создать орган, в котором могли бы вырабатываться общественная мысль и общественная воля».

«Нет необходимости, чтобы таким органом был непременно парламент, облеченный политическими правами. Такого рода учреждение пригодно только для общества зрелого, установившегося на своих основах, а нам пока предстоит воспитаться. Политическая свобода может быть отдаленным идеалом русского человека; насущная потребность заключается единственно в установлении живой связи между правительством и обществом для совокупного отпора разлагающим элементам и для внесения порядка в русскую землю. Эта цель может быть достигнута приобщением выборных от дворянства и земства к Государственному совету».

Я предлагал призвать по одному депутату от дворянства и по два от земства каждой губернии и дать им одинаковое право голоса с правительственными членами. Так как мнения Государственного совета не связывают верховной власти, то вопрос о большинстве и меньшинстве не имеет тут значения. «Существенная задача состоит в том, чтобы собрать достаточное количество сил и создать действительный центр политической жизни». А для этого надобно поставить задачу широко, не выказывая мелкого и боязливого недоверия, которое к тому же не имеет и почвы. «Ныне русское общество менее, нежели когда-либо, расположено требовать себе прав. Оно напугано явлениями социализма и готово столпиться около всякой власти, которая даст ему защиту». Надобно только, чтобы сама эта власть обратилась к нему с доверием. «Правительство, разобщенное с землею, бессильно; земля, разобщенная с правительством, бесплодна, – заключал я. – От прочной их связи зависит вся будущность русского государства».

Эту записку, которая показывает, как в то время могли смотреть на положение дел беспристрастные люди из общества, я роздал в рукописи нескольким московским знакомым и послал в Петербург, между прочим, Победоносцеву. Он писал мне от 15 марта:

«Получил сегодня вашу записку и благодарю искренно. Тотчас же прочел. Не стану скрывать свое мнение – оно совсем несходно с вашим. Первые две трети записки, содержащие критическую часть, я одобряю вполне, но предлагаемое вами лекарство, по мнению моему, может оказаться хуже болезни. Я не верю, чтобы из этого вышло то единение, которого вы желаете, но вижу ясно, что выйдет новое разъединение и новая фальшь. Все дело в том, что правительство перестало знать, чего оно хочет, и утратило инстинкты народного самосохранения. Вы сами пишете, что предполагаемое вами учреждение предполагает твердое правительство, и вы же хотите, чтобы

посредством этого учреждения правительство стало твердым. Тут есть круг, в котором мысль безысходно вращается.

Впрочем всего не объяснишь в кратком письме, а я хотел только выразить вам мысль свою, основанную на крепком убеждении, которое сидит во мне с тех пор, как я начал мыслить, и все более укореняется.

Записку вашу постараюсь передать великому князю Владимиру, до которого это дело принадлежит специально...

Когда приедете сюда, вас здесь встретят, ради этой мысли, с объятиями, и вы будете лить воду на здешнюю мельницу, которая в ходу, скажу к несчастью. Это – самая последняя мода в высшей официальной интеллигенции. Пусть бы в другое время, но теперь, в эту минуту, когда все расшатано и потрясено в первых элементах, я с глубоким прискорбием смотрю в а это стремление, льстивое, по моему мнению, и обманчивое. Впрочем, думаю, сами вы несколько поколеблетесь в своей мысли, когда увидите в здешних кривых зеркалах ее отражение. Обнимаю вас. До свиданья».

На это я отвечал: «Получил я ваше письмо, любезнейший Константин Петрович. Думал сам быть в Петербурге на днях и лично переговорить с вами; но мне пишут, что бог знает еще, когда нас соберут, а ехать туда для препровождения времени не считаю нужным. Но не могу не отвечать на ваше письмо. Мы живем в такое время, когда людям, искренно желающим пользы отечеству, необходимо столковаться. Нам с вами это тем более возможно, что в сущности мы одинаково смотрим на положение и расходимся лишь в средствах. В ответ на ваше возражение я вам поставлю один вопрос: неужели вы думаете, что с существующими петербургскими элементами вы в состоянии сделать что-нибудь путное? Можно верить или не верить в то, что даст страна, но есть одно, во что нельзя не верить – это то, что петербургские сферы износились совершенно и, кроме гнили, ничего в себе не содержат. А вы с этою гнилью хотите спасать Россию! Одно из двух: или нынешнее правительство способно выставить из себя человека вроде Михаила Николаевича Муравьева, которого имя теперь у всех на устах; но в таком случае он сам захочет опереться на земскую силу и поведет ее за собою. Или же, нынешнее правительство, кроме существующей размазни, ничего не в состоянии произвести; но тогда одно спасение в воззвании к земле. Соглашусь с вами, что, пожалуй, даже большинство будет состоять из пустых болтунов; но явится и здравомыслящее меньшинство, которое в состоянии будет смело высказать свое мнение и в котором правительство найдет опору. Продолжать же нынешний порядок, при котором каждый министр тянет на свою сторону и все сходятся только в одном – чтобы взапуски, друг перед другом, либеральничать и кувыркаться перед петербургскою швалью, это, по-моему, не-

мыслимо. Это именно тот путь, который ведет к погибели. Затем я вовсе не думаю, что нужно с этим спешить. Напротив, дайте правительству установиться и обществу одуматься. Не мутите умы мнимо либеральными мерами, которые теперь совершенно несвоевременны, и не бойтесь проявлений власти, которые одни могут успокоить взволнованное общество. Но у вас, когда проявляется власть, так это бывает всегда наперекор здоровой политике, «Петербургские ведомости» запрещают, а «Страну», «Голос» и «Порядок» оставляют неприкосновенными. Что тут будешь делать? Крепко жму вам руку».

Сущность моей мысли заключалась в том, что надобно собрать центру все охранительные элементы страны и на них опереться, чтобы действовать на общество и дать отпор нигилизму. Но Победоносцев ничего не понимал, кроме канцелярии и консистории. Выборных учреждений он не видал в глаза и боялся их, как огня. Гражданский идеал его был чисто монашеский: «да тихое и безмолвное житие проживем». Этот идеал он вынес из своего происхождения, из своей жизни, и остался ему верен до конца.

Вскоре я поехал в Петербург на заседание железнодорожной комиссии. Я нашел там войну между двумя министерскими партиями в полном разгаре. Меня это смущало и огорчало. Мне казалось, что в эту минуту всем надобно соединиться и действовать дружно во имя общей цели, даже с пожертвованием личных взглядов и стремлений. В этом смысле я старался действовать на Победоносцева, убеждая его сблизиться с Абазой, который далеко не был рьяным либералом. «Как, вы хотите, чтобы я с ним сблизился, – отвечал он, – когда он почти перестал мне кланяться?» С Абазой я не пробовал говорить. Он действительно так возгордился своим положением и сделался так важен и величествен, что к нему не было приступа. Но перед возвращением в Москву я отправился к его приятельнице, Елене Николаевне Нелидовой, и старался ей растолковать, что, ведя дело таким образом, они оттолкнут от себя всех благоразумных людей и легко могут проиграть сражение, от которого зависит вся наша будущность. При этом я внушал, что гораздо лучше столковаться с Победоносцевым, который пользуется доверием государя, нежели быть с ним на ножах. Но это были напрасные слова: самомнение обуяло их совершенно.

Всего более меня тревожило то, что в видах популярничанья, они вздумали перевернуть все Положение 19 февраля. Опираясь на то, что в некоторых местностях выкупные платежи оказывались слишком тяжелыми и накоплялись недоимки, они хотели, в виде общей меры приравнять платежи к ценности земли. Это значило разом опрокинуть всю систему, принятую при освобождении крестьян, ибо в северных губерниях платежи соразмерялись не с ценностью земли, а с средним оброком, который платили крестьяне в значитель-

ной мере с промыслов. Я старался доказать Абазе, что если они в отдельных случаях будут облегчать те неизбежные неравенства, которые должны были оказаться при такой всеобщей и коренной реформе, то это встретит общее сочувствие, но что ниспровергать все Положение 19 февраля, на котором зиждется весь наш новый гражданский строй, и заменять действовавшую в течение двадцати лет выкупную систему совершенно иною было бы крайне неблагоразумно и даже опасно. Но в своем величии он принял мои возражения весьма неблагосклонно, а приятель его Константин Иванович Домонтович, сам бывший членом Редакционных комиссий, тут же отвечал мне: «В то время этого начала нельзя было провести, а теперь можно; этим следует воспользоваться». Так эти господа смотрели на величайший законодательный акт в русской истории: они видели в нем дельце, которое можно провести бюрократическим путем. Когда Александр II задумал освободить крестьян, он не ограничился узкою сферою петербургских чиновников, и вызвал всеобщее обсуждение вопроса и в печати, и в дворянских комитетах собранных по всем губерниям. В Редакционные комиссии призваны были самые видные люди из русского общества; в Петербург вызваны были депутаты от дворянства, и только после двухлетнего всестороннего обсуждения каждой подробности издан был великий акт, положивший основание новому гражданскому строю в русской земле. И вдруг несколько петербургских либеральных чиновников, пользуясь счастливым министерским созвездием, вздумали опрокинуть всю эту громадную работу и провести чисто бюрократическим путем свои личные виды. Далее этого чиновничье легкомыслие не могло и т.д. Меня поразило то, что, когда я, вернувшись в Тамбов, рассказал обо всем этом жене губернатора, баронессе Фредерике, она тут же воскликнула: «Да как же это можно, это значит ломать все Положение 19 февраля». «Вот видите, – отвечал я, – вы, дама, понимаете это с первого раза, а петербургские сановники никак не могут этого понять».

Я сообщил свои опасения Победоносцеву, который советовал мне составить об этом краткую записку и представить ее государю. Это я и сделал, но уже по возвращении в Москву. Перед отъездом я получил от Лорис-Меликова косвенное предложение, которое я отклонил. Мой университетский товарищ и приятель Зубков, один из краеугольных столпов петербургского Яхт-клуба, писал мне, что ему нужно видеть меня по весьма важному делу. При свидании он сообщил мне, что Черевин, по поручению Лорис-Меликова, просил его разузнать от меня, не приму ли я на себя руководство печатью. Оно в это время находилось в ведении Николая Саввича Абазы, который очень этим тяготился. Я отвечал, что периодическая печать в эту минуту требует палача, а я к этой роли не чувствую никакого призвания. Думаю, что предложение, в сущности, было не серьезное. Если

бы действительно хотели привлечь меня к делам, незачем было употреблять такие косвенные пути.

Записку о выкупном деле я из Москвы послал через Победоносцева в пакете на имя государя при следующем письме:

«Всемилостивейший государь! Беру смелость представить на усмотрение Вашего Величества приложенную при сем записку о предполагаемых правительством мерах по крестьянскому делу. Несколько месяцев тому назад Вы соблаговолили принять от меня записку по университетскому вопросу. Ныне положение еще серьезнее и предполагаемые меры еще опаснее, а потому я решаюсь снова высказать свою мысль перед вашим величеством. Когда колеблются основания Положения 19 февраля, этой дарованной вашим родителем великой хартии русского народа, русский человек не может не трепетать за будущность своего отечества. Смею уверить Вас, государь, что я не один так думаю, и что мои опасения разделяются многими людьми, основательно знающими Россию, и которых мнение может иметь вес. Иначе я не осмелился бы утруждать Ваше Величество своими соображениями.

Пользуюсь этим случаем, чтобы повергнуть к стопам Вашего Величества чувства безграничной преданности Вашего императорского величества верноподданного Б. Чичерина.

11 апреля 1881 г.»*

К сожалению, по какому-то случаю самая записка не сохранилась у меня целиком. Из нее выпал средний листок и остались только начало и конец. Я рассматривал в ней два проекта, представленные Абазой: 1) о понижении выкупных платежей; 2) об обязательном выкупе в тех имениях, где крестьяне не перешли еще в разряд собственников. Относительно первого я говорил, что против этой меры ничего нельзя было бы сказать, если бы имелось в виду облегчение тяжестей в тех местностях, где они лежат непосильным бременем на крестьянах. «Положение 19 февраля, – писал я, – как общая государственная мера, не могло принять во внимание всего бесконечного разнообразия местных условий, а потому неизбежно должна была оказаться неуравнительность в платежах. Исправление этого недостатка, коренящегося не в началах, положенных законодателем, а в их приложении, было бы благодеянием для крестьянского населения. Единственное, чего можно было бы желать, это то, чтобы эта льгота давалась, по возможности, без шума и без огласки так, чтобы не взволновать остальных крестьян, которые будут ее лишены.

* Подробно обсуждение вопроса о понижении выкупных платежей в Государственном совете в 1881 г. изложено в Дневнике Перетца, записи 7 апреля (стр. 59 – 60) и 27 – 28 апреля (стр. 66 – 69); о дальнейшей судьбе законопроекта там же, записи 10 – 11 мая (стр. 73 – 74), 15 мая (стр. 74 – 75) и 20 мая (стр. 75 – 80).

Польза должна быть действительная, а не на показ. Но не то имеется в виду в правительственном проекте. Хотят именно чтобы мера была общею, а не частною, чтобы она совершилась с огласкою, а не втихомолку; хотят не облегчения правил в приложении, а изменения самого их основания». Против этого я восставал, указывая, с одной стороны, на несправедливость такого уравнения, которое облегчит богатых промышленных крестьян северных губерний, оставляя тяжести на беднейших черноземных, а с другой стороны, напирая на то, что Положение 19 февраля есть краеугольный камень новой русской гражданственности, которого нельзя касаться, не колебля самые юридические основания общественного порядка и не подавая поводов к новым смутам.

Что касается до второго проекта, то, признавая обязательный выкуп полезным, как довершение великого дела освобождения крестьян, я возражал против предполагаемой скидки двадцати процентов с цены имений, утверждая, что подобная мера, принудительно введенная, не что иное как частная конфискация, которая может найти извинение в революционном положении страны, но в приложении к настоящего состоянию России не находит никакого оправдания, а способна только поддержать смуту, действуя в смысле направления, отрицающего право собственности.

Я кончал взглядом на общее положение дел. «Напрасно думать, – писал я, – что все ограничивается небольшою шайкою злоумышленников. Масса сбитой с толку молодежи дает этим злоумышленникам постоянно новый контингент, и чем более в обществе будет волнения, чем более в нем будет на практике возбуждено вопросов, касающихся самых основ гражданского строя, тем более будет смуты в умах и тем благоприятнее будет среда для нигилистов. Не придавать постигшему Россию удару никакого политического значения, идти сегодня тем же путем, как мы шли вчера, предлагать в смутную пору такие меры, которые требуют спокойного состояния общества, значило бы закрывать глаза на действительность и поступать не так, как подобает государственным людям. В настоящее время требуется успокоение, а не возбуждение умов, требуется утверждение существующего, а не новая ломка. В этом деле правительство может, по зрелом обсуждении и не торопясь, собрать вокруг себя лучшие силы земли, но не с тем, чтобы предлагать им переустройство только что созданного порядка вещей, а с тем, чтобы вкупе с ним охранять этот порядок от нарушений и упрочить его, как основание для всего будущего развития России. Черед, как для новых преобразований, так и для довершения уже содеянных, придет в свое время; ныне задача иная. Охранительная политика, опирающаяся на страну, таков лозунг настоящего дня. И только когда союз с землею будет упрочен, можно будет думать о дальнейших реформах».

Мне после сообщали, что государь остался доволен и письмом и запискою. Он говорил об этом Игнатьеву.

Этот изворотливый дипломат в это время выдвигался вперед. Он был назначен министром государственных имуществ: но это было только ступенью для дальнейшего движения. Из двух партий, на которые разделялось министерство, он принадлежал к Победоносцеву, прельщая его своими православноруссофильскими тенденциями и тщательно скрывая другие свои виды. Победоносцев прочил его на место Лорис-Меликова и втайне действовал на его пользу. Не имея ни малейшего понятия о внутренних делах, Игнатьев искал света и в других сферах. Будучи послан в Нижний Новгород для охранения порядка во время ярмарки, он там сошелся с бывшим сызранским предводителем, Дмитрием Ивановичем Воейковым, который впоследствии сделался у него правителем канцелярии, а через него он вошел в сношения с Дмитриевым, который был сызранским помещиком. Игнатьев приезжал совещаться с Дмитриевым насчет выкупного вопроса. Дмитриев рассказывал мне, что он советовал созвать людей, знающих дело, из общества, и при этом назвал Щербатова и Дмитрия Самарина.

«Зачем же ты это сделал? – сказал я ему тут же. – Самарин будет фантазировать, а Щербатов пойдет на компромиссы. Из этого ничего путного не выйдет». Оба они были мои близкие друзья; я их любил и высоко ставил во многих отношениях, но, зная их свойства, я не предвидел никакой пользы от их участия именно в этом вопросе. Так и вышло в действительности. Однако предложение Дмитриева имело полезные следствия. При обсуждении проекта в Государственном совете Игнатьев предложил созвать сведущих людей, и это затормозило дело. Когда они собрались, Лорис-Меликов и Абаза сошли уже со сцены и некому было поддерживать их проект.

Представляя свою записку государю, я копию с нее в то же время препроводил Абазе при следующем письме:

«Многоуважаемый Александр Аггеевич, посылаю вам составленную мною записку о предполагаемых вами мерах по крестьянскому делу. Другую такую же записку посылаю от своего имени государю. Третьего экземпляра нет в чужих руках.

Вы, вероятно, будете меня бранить; но я отвечу вам, как Фемистокл: бей, но слушай.* Думаю, что с принятою диспозициею легко

---

* Намек на известный анекдот про афинского полководца Фемистокла. При обсуждении плана действий против персов накануне Саламинской битвы (в 480 г. до н. э.), он так увлекся, что прерывал всех несогласных с ним. Председательствовавший на совещании спартанский царь Эврибиад замахнулся на него палкой. «Бей, но выслушай»,– отвечал будто бы Фемистокл. В конечном итоге Фемистокл добился осуществления именно своего плана, в результате чего была одержана блестящая морская победа над персами.

можно проиграть Саламинское сражение, от которого зависит вся будущность России. Если вы желаете созвания выборных, то на этой мере следует сосредоточить все свои силы, и на этом вы сойдетесь со многими. Если же вы будете вести разные атаки, то вы рискуете потерять все или произвести такую неурядицу, при которой останется одно спасение в чистой диктатуре. В предполагаемой мере в особенности вы будете иметь поддержку одной петербургской журналистики, а против нее будут, смею вас уверить, множество разумных и либеральных людей, которые с крайним опасением смотрят на этот шаг. Грустно видеть, Александр Аггеевич, что вы, которого все мы, близко вас знающие и вас ценящие, желали бы иметь своим вожаком, в настоящее смутное время вступаете на такой путь, по которому мы не можем за вами следовать.

С горестью жму вам руку, не теряя впрочем надежды, что вы сами, обдумавши дело, убедитесь в необходимости более зрелого его обсуждения.

11 апреля 1881 г.»

Любезности по адресу Абазы были вставлены по совету Дмитриева, который говорил, что ему непременно надобно сказать несколько приятных слов, чтобы чего-нибудь от него добиться. Но это было совершенно напрасно. Я получил от него следующий ответ:

«Многоуважаемый Борис Николаевич.

Извините, что за множеством дел и забот я не отвечал ранее на письмо ваше от 11 апреля.

Напрасно вы думаете, что я буду вас бранить; долго занимаясь государственными вопросами, привыкаешь относиться с уважением и к противному мнению. Поэтому не обращаю к вам заключительных слов вашего письма «что вы сами, обдумавши дело, убедитесь в необходимости более зрелого к нему отношения».

Вы пишете также о поддержке одной петербургской журналистики, между тем, я прочел в «Московских ведомостях» статью весьма дельную в смысле моего представления.

Но, конечно, это не важно, а нужно правильное обсуждение и решение крупного вопроса в установленном у нас законодательном порядке. В этом отношении могу вам сообщить, что сегодня в общем собрании Государственного совета дело прошло, хотя и не без разногласия. А. А. Тимашев, соглашаясь со всем представлением, настаивал только на вопросе о 20%. При собирании голосов он остался один. Его ли признавать вожаком множества разумных и либеральных людей, о которых вы упоминаете?

Душевно преданный А. Абаза.

27 апреля 1881 г.».

Это письмо я получил в Кирсанове на экстренном земском собрании, и в то же время был получен знаменитый манифест о само-

державии, который всех нас привел в недоумение. Кто в эту минуту думал посягать на самодержавие? и что означал этот манифест? Для России это оставалось тайною. Даже я, несколько посвященный в петербургские закулисные интриги, не мог объяснить себе этого шага. Я догадывался только, что это какой-то камуфлет, направленный против Лорис-Меликова. Не зная в чем дело, я отвечал Абазе:

«Получил я ваше письмо, многоуважаемый Александр Аггеевич. Не могу скрыть от вас, что оно произвело на меня грустное впечатление. Я искал возможности сойтись, и когда писал вам: «бей, но слушай», то хотел этим сказать: «оставимте в стороне все, что может перенести вопрос на личную почву и будемте говорить о пользе отечества». Когда же я выразил надежду, что вы сами, может быть, убедитесь в необходимости более зрелого обсуждения вопроса, то в этом высказывалось только желание прийти к соглашению на основании всестороннего суждения не в среде одной петербургской бюрократии, а совокупно с людьми, заинтересованными в деле и могущими иметь в нем голос. Я полагал, что вы сочувствуете этому направлению, и некоторые из нас охотно бы видели вас в его главе. Вместо того вы нам указываете, как на вожака, на единственного человека, который в Государственном совете поддерживал необходимость вознаградить помещиков полностью, а не со скидкою 20%. Что я вам на это скажу? Вы знаете, Александр Аггеевич, что для того, чтобы быть вожаком, недостаточно быть министром, генерал-адъютантом или действительным тайным советником; в настоящее время для массы публики, это скорее служит препятствием. Нужны качества совершенно иного рода; поэтому я и обращался к вам, а не к другому. И если во всем составе Государственного совета, только один человек, который никогда не может быть вожаком земских людей, остановился на мысли, что принудительное отнятие частной собственности государством, без должного вознаграждения, есть конфискация, и что конфискация, всегда неуместная в правильном государственном порядке, менее всего может быть допущена в такое время, когда идет борьба с социализмом, то это доказывает только то, в чем мы с вами, к счастью, сходимся, именно необходимость радикального обновления Государственного совета приобщением к нему свежих элементов, без содействия которых правильное и всестороннее обсуждение государственных вопросов представляется едва ли возможным. Но это доказывает, вместе с тем, и другое, в чем мы, к сожалению, с вами расходимся, именно, что без содействия этих элементов нельзя проводить подобные меры. Мы, земские люди, близко знающие земскую практику, и некоторым из которых вы, может быть, не откажете и в более обширном знании государственных вопросов, мы вправе желать, чтобы в делах, касающихся существенных наших интересов, наш голос был услышан. Без этого,

вместо желанного единения правительства с обществом, произойдет только больший разлад. В настоящее нремя голос имеют только петербургская бюрократия и журналистика. Ни той, ни другой мы не доверяем, а потому все более отчуждаемся от правительства. Вашего содействия в устранении этого зла, вот чего мы вправе были от вас ожидать. И зная вас, я все-таки не теряю надежды когда-нибудь стоять с вами в одних рядах, хотя мы и можем расходиться в отдельных вопросах.

Душевно преданный Б. Чичерин. 8 мая 1881 г.»

Это письмо не застало уже Абазы министром. Вследствие манифеста и он и Лорис-Меликов подали в отставку. Вслед за ними вышел и Милютин. Я после узнал, как все это совершилось. Государь опять созвал министров на совещание с тем, чтобы решить, что следует делать при настоящих обстоятельствах. Но полномочный диктатор не выработал никакой программы; никто из министров не был приготовлен к вопросу, и когда принялись высказывать мнения, все пошли, кто в лес, кто по дрова. Решения опять не было принято никакого. Тогда государь сказал им, чтобы они совещались между собою и пришли к какому-нибудь решению. Несколько времени спустя сановники собрались, как вдруг перед открытием заседания министр юстиции вынул из кармана присланный ему для напечатания манифест. Все присутствующие были поражены, как громом, ибо никто ничего о нем не ведал, исключая Победоносцева, который его писал. Дмитрий Алексеевич Милютин с юмором рассказывал мне эту сцену: как все накинулись на Победоносцева, требуя объяснения, и как он, растерянный и прижатый к стене, извинялся тем, что государь за ним прислал и велел написать манифест, а он только исполнил приказание и больше ничего не знает. Игнатьев тоже притворился удивленным, хотя он, кажется, был внушителем всего дела. Государь, не имея духа прямо объясниться с своими министрами, прибегнул к этой уловке, которая всех поразила неожиданностью, а Россию привела в полное недоумение. Рассказывали, что одною из главных причин гнева государя на Лорис-Меликова было неисполнение его приказаний. В это время произошло побиение жидов в Киеве. Государь велел тотчас телеграфировать Дрентельну, чтобы он употребил военную силу; но Лорис, который всего более боялся за свою популярность, задержал телеграмму и едва ли даже не послал инструкций в ином смысле. Как бы то ни было, он тотчас понял, что манифест направлен против него и подал в отставку. Абаза с шумом вышел вместе с ним, несмотря на выраженное государем желание, чтобы он остался. Удар самолюбию был так силен, что на этот раз его покинула даже обычная осторожность. Скоро, однако, он получил положение, которое, сохраняя за ним полное влияние в финансовой сфере, гораздо более соответствовало его наклонно-

ти к лени. Он сделался председателем департамента экономии в Государственном совете. Заменивший его министр финансов, бывший при нем товарищем, Бунге следовал всем его внушениям, сам не имея ни малейшей устойчивости или инициативы. Это была утлая ладья, созданная для маленького пруда и пущенная в безбрежное море петербургских дел и интриг. Отличных душевных свойств, с основательными сведениями, но лишенный всякого характера и непривыкший вращаться в высших политических сферах, он двигался туда, куда его толкали. Приверженец свободы торговли и честный человек, он под давлением Абазы вводил покровительственную систему и приносил казенные деньги и народные интересы в жертву сахароварам, которые обогащались безмерно. Что касается до Лорис-Меликова, то он понял, что роль его кончена, и уехал за границу, услаждаясь мыслью, что он остался популярнейшим человеком в России. Милютин также удалился в Крым, чтобы там наслаждаться свободой и покоем, подальше от опротивевших ему петербургских сфер. Он мог, по чувству долга, оставаться в этой среде, пока на нем лежало бремя военного управления, но быть свидетелем всех творящихся там гадостей было ему вовсе не по вкусу.

Узнавши из газет об отставке Лорис-Меликова и Абазы, я писал Победоносцеву:

«Если бы все эти непереваренные преобразовательные планы (о переустройстве уездного управления), а вместе с ними и прошедшие уже через Государственный совет общие меры по крестьянскому вопросу канули в воду, то нельзя было бы не признать пользы происшедшего в правительстве поворота; но не могу скрыть от вас, что способ действия, насколько он мне известен, неспособен внушить доверия. Переговорим об этом с вами при свидании. Теперь же скажу вам одно: в настоящее время, более чем когда-либо, правительству необходимо доверие общества, между тем, в виду совершающихся перемен, Россия остается в полном недоумении. Перед нею происходит какая-то игра, в которой она ровно ничего не понимает. В Кирсанове, во время земского собрания, был получен манифест, и все спрашивали: что это значит? кто посягал на самодержавие? Внутри России об этом нет и вопроса. Для кого же пишутся манифесты? для посвященных в петербургские таинства? Все это убеждает меня еще более в необходимости приобщения к правительству земских элементов. Мне пишут из Петербурга, что в Государственном совете, при обсуждении обязательного выкупа, один Тимашев стоял за вознаграждение помещиков полностью. Неужели во всем составе этого собрания один только человек догадался, что скидка 20% есть конфискация, всего менее уместная, когда идет борьба с социализмом? С одними бюрократическими силами, любезнейший К. П., вы с своею задачей не справитесь. На бумаге будет сосредоточение

власти, а на деле будет, как уже ныне есть, полное отсутствие власти; на бумаге будут платонические воззвания к обществу, а на деле будет все большее и большее разъединение. Когда же я в грустные минуты размышляю о возможных последствиях недавнего переворота, то мне представляются война, банкротство и затем конституция, дарованная совершенно неприготовленному к ней обществу. Дай бог, чтобы мои предчувствия не сбылись».

В то же время я писал баронессе Раден:

«Пишу Вам из деревни, куда новости приходят так медленно, что мы только два дня тому назад узнали о великих переменах, происшедших в Петербурге. Итак, оказывается, что сказанное мною известной Вам даме осуществилось. Я впрочем лично предупреждал Абазу. Я писал ему из Москвы в стиле Фемистокла. «Бей, но слушай! С принятою Вами диспозицией Вы проиграете Саламинское сражение...» И сражение проиграно для них и через них, а я – признаюсь – не особенно об этом сожалею, ибо под влиянием господ Домонтовича и компании они увлекли бы нас на путь социального переустройства, которое оказалось бы роковым для страны. Надеюсь, что преемники их не пойдут по тому же ложному пути, но я совершенно убежден, что находящимися в их руках средствами и орудиями и они не сделают ничего путного. Во-первых, печально то, что битва была выиграна не в правильном сражении, но нанесенным в тыл ударом. Я жалею, что наш общий друг* дал вовлечь себя в подобные махинации. Только следуя по совершенно прямому пути, правительство может заслужить доверие. Как они не видят того, что, эти тайные происки компрометируют самый принцип, который они хотят поддерживать? Нельзя требовать от нашего друга, чтобы он заставил правительство держаться твердой политики, ибо это не в его характере; но можно требовать, чтобы он никогда не давал других советов, кроме абсолютно честных. К несчастию я начинаю думать, что его можно повести куда угодно, и чем меньше у людей добросовестности, тем легче это им будет сделать. В результате страна ничего не понимает. Читают манифест, обращенный ко всем, но никто, за исключением тех, кто посвящен в происходящее за кулисами, не знает, против кого и против чего он направлен. А еще хуже то, что замкнутая бюрократическая сфера, составляющая правительство, все более и более суживается, и что, в конце концов, немногие лица, всем руководящие, останутся совершенно изолированными. В этих условиях как не пойти ко дну?.. Ну, поживем, – увидим, но будьте уверены, что ничего хорошего мы не увидим, если не обратятся к живым силам страны»**.

* «Общий друг» – имеется в виду Победоносцев.

** В подлиннике по-французски.

Победоносцев мне отвечал:

«Жалею, любезнейший Борис Николаевич, что не могу устно передать вам подробности о здешних событиях – всего не напишешь, да и нет возможности мне писать, ибо я непомерно занят и озабочен. Скажу вам только одно: манифест был необходим; в противном случае люди, обезумевшие от прикосновения к власти, вскоре привели бы нас к гибели. Радоваться надобно, что нет уже ни Лорис-Меликова, ни Абазы. Последний совсем потерял голову и уже не мог бы возвратиться к рассудку. Что будет дальше, ведает господь, но во всяком случае, о том, что произошло, жалеть нечего. Вы сами, думаю, согласились бы со мной, когда бы знали подробности дела; теперь же до вас доходят лишь сплетни, разросшиеся до громадных размеров, именно здесь в Петербурге.

К заседанию о выкупных платежах я всю ночь готовился и намерен был настаивать на том, что дело должно быть отложено. Готовился вытерпеть бурю, но ночью же меня телеграммою вызвали в Гатчину, и я не мог быть в заседании.

Впрочем, насколько можно было еще спасти дело, оно спасено. Решение будет несогласно с желанием авторов, и важнейшая часть дела, т. е. оценка, будет отложена и представлена новому обсуждению при участии местных хозяев, которые будут сюда вызваны».

Высказанные мною опасения насчет войны вызывались назначением Игнатьева. Он сделался министром внутренних дел, а вместе первенствующим лицом в государстве. Но трудно было ожидать, что он ограничится своей областью, в которой он к тому же был совершенным новичком. Как старый дипломат, которому ближе всего были иностранные дела, и который при том имел страсть во все мешаться и везде играть роль, он мог запустить лапу и в наши внешние сношения. Сделать это было для него тем легче, что он ловко умел играть на патриотической струнке, которой поддавались не только Победоносцев, но и сам государь. И когда вспоминалось, что он был главным виновником последней войны, и что его специальность состояла в том, чтобы везде мутить, то невольно возникало опасение за будущее. К счастью, влияние его было кратковременно, и он пал, прежде нежели мог наделать кутерьмы.

Что касается до внутренней его политики, то она, в сущности, мало чем отличалась от направления его предшественников. Он был человек живой и хорошо понимал, что с одною бюрократией ничего не поделаешь; но у него не было ни основательности, ни знания страны. Все это он думал заменить изворотливостью и полным презрением к истине. И он хотел быть популярным, хотя заискивал более в московской, нежели в петербургской журналистике; и он хватался за всякие проекты и ничего не умел путным образом

совершить, своим легкомыслием компрометируя то дело, за которое он принимался. Вследствие этого он скоро сломал себе шею.

Для обсуждения выкупного вопроса созваны были так называемые сведущие люди, или эксперты. В числе их были мои близкие друзья: Дмитриев, Щербатов, Дмитрий Самарин. Я не был приглашен. Игнатьев объяснял это тем, что он не мог обойти князя А. И. Васильчикова, который считался авторитетом, а между тем после нашего литературного столкновения нас нельзя было посадить в одну комиссию. Думаю, что это была отговорка. Князь Васильчиков вовсе даже не являлся в комиссию, а прислал только свое мнение. Какая была истинная причина, не знаю; вероятнее всего, меня считали не довольно податливым. Но я на это не сетовал, ибо я в это время погружен был в ученую работу, и от правительственных комиссий вообще и этой в особенности ничего путного не ожидал. Действительно, результат вышел печальный, и я мог только радоваться, что я не был участником этой комедии. Проект Абазы был устранен, но вместо него сочинен был другой, который точно также, лишь другим способом, ниспровергал все положение 19 февраля и устраивал выкупы на совершенно новых основаниях. Самарин, который, как истинный славянофил, любил сочинять всякие фантастические планы, исписал по этому поводу целые кипы бумаги, и другие мои друзья все это подписали. Мало того: они вкупе ходатайствовали об отмене 166-й статьи Положения о выкупе, устанавливающей право каждого отдельного крестьянина выкупать свой надел. Приверженцам общинного владения эта статья была всегда бельмом в глазу; но я никак не мог понять, зачем это ходатайство подписал Дмитриев, который вовсе не разделял этих взглядов. Когда я его об этом допросил, он оправдывался тем, что нельзя было отделяться от других. Я нашел весьма странною такую систему компромиссов по коренным вопросам нашего гражданского быта.

К счастью, вся эта работа и это ходатайство пропали даром. Правительство, обуреваемое самыми разнородными проектами и предположениями, не знало, на что решиться, и остановилось наконец на предложенной некоторыми экспертами мере, которая сама по себе не имела никакого смысла, но которая, по крайней мере, оставляла существующий порядок неприкосновенным. В виде царской милости все выкупные платежи были понижены на один рубль. Это был, конечно, довольно дикий способ обращаться с финансовыми вопросами и внушать крестьянам понятие о том, что такое выкуп и собственность. Но кто у нас заботился о понятиях? Зато обязательный выкуп был установлен со скидкою двадцати процентов. Там был подарок, здесь была конфискация, но никто этим не тревожился. Я писал по этому поводу Победоносцеву из деревни: «Пишу к вам, любезнейший К. П., чтобы снова обратить ваше внимание на крест-

янский вопрос, который, по доходящим до меня сведениям, получил от вызванных правительством экспертов совершенно неправильный оборот. Они, по-видимому, хотели исправить нелепый проект Абазы, но никак не отставая от него в желании оказать крестьянам всевозможные льготы, а напротив расширяя заботу о меньшей братии. Филантропия дело похвальное, но надобно, чтобы она согласовалась со здравым смыслом и с государственными потребностями, а здесь я именно этого не вижу. Спрашивается, на каком основании можно произвести всеобщее понижение повинностей. Утверждать, что эти повинности слишком тяжелы в сравнении с тем, что крестьяне получили, нет возможности. Это значит прямо идти наперекор истине. В нашей местности, например, крестьяне за $3^1/_2$ десятины на душу платят 7 р. 20 к. процентов и выкупа, между тем как наемная плата за одну десятину равняется 12 – 15 руб., т. е., если считать все три поля, от 8 до 10 рублей. Как же тут говорить о тяжести платежей? Если же взять в расчет выкупаемые повинности, то надобно сказать, что помещик по закону имел три рабочих дня в неделю, или 150 дней в году, мужских и женских (а в действительности брал больше). Считая мужской день (пеший и конный) средним числом по меньшей мере в 30 коп., а женский в 15 коп., выйдет 67 р. 50 к. с тягла, состоящего из $2^1/_2$ душ; ныне же с души идет оброчных 9 рублей, а выкупа всего 7 р. 20., т. е. с тягла оброка 22 р. 50 к., а выкупа всего 18 рублей, следовательно, менее трети против прежнего. И этот расчет приложим ко всей России. Как же тут опять говорить о тяжести платежей? Если же понижение платежей должно быть просто милостью, то спрашивается: на каком основании вдруг одному сословию оказывается такая милость и из каких сумм? Думаю, что подобная мера будет не только вредною, но и опасною, ибо после этого крестьяне всегда будут ожидать такого рода милостей. Нет нелепого слуха, которому бы они не поверили. Наконец, если понижение вызывается тем, что есть избыток платежей, то гораздо лучше сократить срок и скорее разделаться со всею этой операцией. Это будет выгоднее и для государства и для самих крестьян. Одним словом, как я ни ломаю себе голову, я никак не могу придумать, на основании каких соображений эксперты пришли к такому выводу. Опасаюсь, что если правительство и общество будут взапуски друг перед другом играть в популярность, то бедной нашей России не сдобровать. Вероятно дело пойдет через Государственный совет. Как член сего филантропического заведения, обратите внимание на это дело. Вы один из немногих, способных сказать разумное слово. Когда я подумаю, что проекты Абазы прошли там единогласно, то мороз подирает по коже. Куда мы заберемся, наконец, с филантропиею и либерализмом?»

Столь же мало результатов принесли совещания сведущих людей и по другому вопросу, для обсуждения которого они были созваны, по вопросу об уменьшении пьянства. Это было наболевшее место в крестьянском быту; необходимо было принять меры против развращающего влияния фискальной системы, Каково же было удивление русского общества, когда услышали из газет, что сведущие люди, созванные правительством для изложения местных потребностей, в виду сокращения пьянства, стоят за общественные кабаки! Мудрено ли, что общество от них отвернулось, и что они окончили своей век среди общего равнодушия, скомпрометировав то начало, которого они являлись представителями? Мудрено, ли что само правительство, не видя никакой помощи от призванных им к содействию представителей общества, перестало их созывать и довольствовалось своим чиновничеством, которое во всяком случае было для него удобнее?

Но и тут вопрос окончательно получил чисто бюрократическое решение. После сведущих людей он обсуждался в разных других комиссиях и учреждениях. Мне самому довелось участвовать в обсуждении его Московским городским присутствием. В конце концов правительство решило его по-своему. Для вида сделаны были некоторые изменения устава, вместо кабаков учреждены были винные лавочки, которые были те же кабаки под другим названием; созданы местные по питейным делам присутствия с участием выборных лиц, но в которых казна, разумеется имела перевес. В результате все осталось по старому. Винная продажа не только не сократилась, а увеличилась. Министерству финансов нужны были деньги, и оно, делая видимые уступки общественному мнению и требованиям нравственности, косвенными путями достигало своих целей. Вся эта процедура была, в сущности, только лицемерною комедией, в которой бюрократия обманывала и государя и общество.

Я с горестью следил за всеми этими мытарствами, убеждаясь более и более в пустоте всяких случайных правительственных комиссий и необходимости прочного учреждения, в котором могли бы вырабатываться и люди и понятия. Но я не мог не видеть, что все, что происходило у нас на глазах, способствовало отдалению в неопределенное будущее подобного учреждения. В этом случае, как и в других, Москва сбивала с толку провинцию и оказывала плохую услугу развитию общественного сознания. Думаю, что главное зло заключалось в распространенных в ней славянофильских идеях, представителем которых являлся Дмитрий Самарин, и которым поддавались Щербатов и другие. Чего ни прикасалось славянофильство, науки или практики, оно все портило. Отправляясь от ложных взглядов на прошедшее и настоящее, оно, вместо выяснения понятий, вносило в них смуту.

К тому же привело, наконец, и обсуждение реформы местного управления. Я сказал, что при Лорис-Меликове разослан был по губерниям целый ряд вопросов. Кирсановское экстренное собрание, на котором был получен манифест о самодержавии, было созвано именно по этому поводу. Все мы были убеждены, что местное управление, в особенности крестьянское, нуждается в частных исправлениях, но что никакого общего преобразования не требуется. Главное зло заключалось в произволе волостных старшин и судов и в плохой организации поставленного над ними уездного присутствия. Это учреждение по мысли, было совершенно правильно. Оно было составлено из разных выборных лиц, под председательством уездного предводителя, с приобщением к ним правительственных властей уезда. Но когда оно организовалось, в высших правительственных сферах господствовало уже недоверие к выборному началу, без которого, однако, не считали еще возможным обойтись. К тому же в это время в Петербурге не оставалось уже ни одного человека, способного выработать путный закон. Вследствие этого уездное присутствие, составленное из всех властей, было в сущности лишено всякой власти. С одним непременным членом на уезд оно не в состоянии было контролировать волостных старшин, а предоставленная ему кассация приговоров волостных судов была чистою нелепостью, обличавшею тот хаос, который господствовал в умах законодателей. Но исправить все эти недостатки можно было, не прибегая ни к какой ломке. Достаточно было увеличить число непременных членов и расширить их права, а для волостных судов учредить апелляционную инстанцию в виде судилища, составленного из волостных заседателей под председательством мирового судьи. Этим, вместе с тем, связывались обе части местного суда, общий и крестьянский, дотоле разобщенные, и открывалась возможность связать общий гражданский закон с местными обычаями.

С этой точки зрения, Кирсановское земское собрание, ответив на все частные присланные ему вопросы, по моему предложению сделало следующее единогласное постановление:

«Представляя ответы на предложенные ему вопросы, в видах исправления оказавшихся в жизни недостатков существующих учреждении, Кирсановское уездное земское собрание считает вместе с тем долгом заявить перед правительством: что в общих чертах оно признает преобразования, совершенные в местном управлении в прошедшее царствование вполне соответствующими настоящим потребностям земства и нуждающимися лишь в добросовестном исполнении; что оно дорожит дарованными ему правами и видит единственный залог будущего преуспеяния в охранении, упрочении и развитии существующих учреждений; всякое же коренное изменение в местном управлении считает нежелательным и вредным, а

стремление к общей ломке столь недавно установленного порядка положительно опасным».

Вместе с тем, брат Владимир, по соглашению со мною, представил отдельное мнение с указанием всех недостатков уездного присутствия.

Но пока мы думали только о сохранении существующего, Москва и Петербург пели совершенно на другой лад: Дмитрий Самарин печатал в газете Аксакова свои мысли насчет переустройства всего уезда; Московская земская комиссия, с своей стороны, фантазировала в полном тумане. Социалистическая газета «Земство», издаваемая Скалоном на деньги Кошелева*, тянула ту же ноту. В Петербурге легкий политико-эконом В. П. Безобразов писал либеральные статьи о необходимости расширить права земства**; ему вторил столь же легкий профессор Градовский, никогда не видавший в глаза земского собрания. Само правительство гнуло в ту же сторону. Мудрено ли было окончательно сбить с толку слабые русские головы, и без того склонные постоянно кидаться то в одну, то в другую крайность и всего менее способные держаться благоразумной середины? Вспоминаю по этому поводу разговор, который мне случилось иметь в Петербурге с известным английским путешественником Макензи-Уоллесом. «Знаете ли, что меня в России поражает, – сказал он; – это то, что я не встречал еще человека, который был бы консерватором в том смысле, в каком понимают это англичане, то есть стоял бы за постепенное улучшение существующего. У вас одни хотят все ломать в видах прогресса, другие хотят все ломать, чтобы идти назад». «Позвольте представить вам в моем лице один из экземпляров этой редкой породы», – отвечал я.

Я разослал разным лицам постановление Кирсановского собрания, между прочим, Победоносцеву, которому я писал:

«Посылаю вам для сведения постановление нашего уездного собрания по поводу предполагаемых реформ в администрации. Мы имели в виду дать отпор тем стремлениям к ломке, которые проявляются и в правительственных сферах и даже среди земских людей. Москва служит примером последнего. Дмитрий Самарин говорил мне, что Игнатьев будто бы разделяет его взгляд на переустройство уездов. Это было бы очень грустно, ибо уезды ни в какой перестройке не нуждаются».

---

* «Земство» – ежедневная политическая и общественная газета, издававшаяся в Москве с 3 декабря 1880 г. по 3 июля 1883 г. на средства А. И. Кошелева под редакцией В. Ю. Скалона.

** Статьи В. П. Безобразова по земскому вопросу собраны в книге: «Государство и общество. Управление, самоуправление и судебная власть». СПБ., 1882. Здесь, по-видимому, имеется в виду его статья: «Земские учреждения и самоуправление».

Победоносцев отвечал мне:

«Думается мне, что благоразумнее было бы Кирсановскому уезду воздержаться от заявления. В одном месте заявляют одно, в другом другое; что же тут хорошего?»

Мне такой взгляд показался весьма странным. По-видимому, такое постановление должно было идти совершенно на руку истинному охранителю, а выходило наоборот: не надобно было высказывать консервативных идей, потому что другие могут высказать противное. Эта черта рисует Победоносцева, который все хотел делать втихомолку и считал всякое гласное выражение мнений со стороны управляемых делом опасным.

Из уездов вопрос был перенесен в Губернское собрание. Легкая простуда помешала мне прибыть к началу заседаний. Когда я приехал, была уже составлена комиссия, в которую я, в моем отсутствии, был избран членом. Комиссия собиралась в течение нескольких вечеров; происходили горячие споры, образовалось большинство и меньшинство. Коренной вопрос заключался в слиянии крестьянского управления с земским. За это стояло большинство комиссии, которое хотело вручить органам земства все управление уезда, за исключением полиции. Но держась этого начала, оно не могло согласиться насчет приложения, и в докладе своем Губернскому собранию созналось, что оно, вследствие разногласия, не касается подробностей. Меньшинство состояло из брата Владимира и князя Чолокаева, которые восставали против самого принципа. Я подписал их мнение, но при этом счел нужным подробно изложить свой взгляд, который и внес в собрание в виде особого мнения. Помещаю его здесь:

Мнение члена комиссии Б. Н. Чичерина

Учреждения, дарованные России императрицею Екатериной, в течение почти целого столетия служили основанием местного управления. Они были приспособлены к тогдашнему быту, дворянскому и крепостному. С освобождением крестьян они отжили свой век; надобно было заменить их новою системою. Преобразования прошедшего царствования исполнили эту задачу. Они устроили местное управление на совершенно новых началах, примененных к изменившемуся жизненному порядку.

Основания этой новой системы заключаются в разделении властей, правительственной, земской и судебной. Правительственная власть осталась во главе управления; заведуя делами, касающимися общих государственных интересов, она вместе с тем контролирует остальные власти. Земство получило свой особый круг действия; ему вверены все хозяйственные интересы местности. Судебная власть, в виде мировых учреждений, состоит от него в некоторой зависи-

мости, ибо мировые судьи избираются земскими собраниями, но, тем не менее, она имеет свои особые органы, которые действуют на основании общих законов. Наконец, и контроль над общинным управлением, городским и сельским, получил особую организацию. Первый сосредоточился в Губернском по городским делам присутствии, второй в Губернском и Уездных по крестьянским делам присутствиях.

Можно сказать, что мысль, лежащая в основании этой системы, совершенно верна и вполне отвечает насущным потребностям обновленного русского общества. Существеннейший вопрос заключается здесь в отношении правительственной власти к земской. Это отношение может быть двоякое: слияние ведомств и их разделение. В странах, где правительственная власть имеет силу, где она не ограничивается страдательною ролью, слияние ведомств неизбежно ведет к тому, что она остается центром местного управления. Такова система французско-бельгийская, где префект или губернатор является исполнительным органом по всем делам, а рядом с ним учреждаются состоящие под его председательством выборные советы, которых решение или согласие требуется в указанных законом случаях. Вытекающее отсюда преобладание бюрократического начала умеряется в конституционном правлении тем, что министры, которым подчинены начальники областей, в свою очередь состоят в зависимости от народного представительства. Этой сдержки нет в самодержавном правлении, а потому здесь единственное средство дать земству относительную самостоятельность состоит в том, чтобы отмежевать ему особую сферу деятельности, где бы оно являлось вполне хозяином. Это и есть то, что было сделано у нас. Нет сомнения, что эта система, как и всякая другая, имеет свои невыгодные стороны; но при данных условиях, это единственный способ поставить земство на ноги, не подчиняя его, с одной стороны, бюрократической власти, а с другой стороны, не расширяя его деятельности в ущерб государственному управлению, и не возлагая на него таких задач, которые оно не в состоянии исполнить.

На практике, эта система дала выгодные результаты. Земство приобрело самостоятельность и ведает предоставленные ему хозяйственные дела настолько успешно, насколько позволяют ему его силы и средства. Многие жалуются на то, что оно слишком стеснено в своей деятельности, чему приписывают неустройство земского хозяйства. Беспристрастный взгляд на дело не позволяет разделять это мнение. В действительности, ни установленные законом границы, ни вмешательство правительственной власти не препятствуют правильной деятельности земства. Оно чинит дороги, строит мосты, ведает подводную повинность, заводит больницы, нанимает докторов, управляет своими богоугодными заведениями, сиротскими до-

мами, фельдшерскими школами и т. п. без всякого препятствия со стороны кого бы то ни было. Относительно продовольствия и страхования, ничто не мешает ему, вместо того, чтобы действовать через волостные правления, и без того обремененные делами, иметь своих собственных агентов, им назначаемых и вполне ему подчиненных. Это отчасти и делается. Единственное затруднение, которое оно иногда встречает, состоит в недостатке денег. Подати, как государственные, так и земские, взыскиваются не земством; понуждение исходит от правительственных агентов, причем нередко взносы за счет земства обращаются на пополнение государственных податей, а земские сборы остаются в недоимке. Но лекарство против этого зла находится в значительной степени в руках самого земства. Председатель управы и уездный исправник оба состоят членами уездного по крестьянским делам присутствия. При достаточной настойчивости со стороны первого недоимки будут взыскиваться, как доказывает практика. Земская управа может п воспрепятствовать злоупотреблениям, проверяя взносы по волостным книгам и предъявляя жалобы всякий раз как взнос, сделанный за счет земства, обращается на государственные подати. Наконец, есть весьма простое средство прийти в этом отношении к совершенно удовлетворительным результатам, не ломая без нужды учреждений. Надобно ходатайствовать о том, чтобы подати государственные и земские вносились в казначейство безразлично, но так, чтобы первые всегда составляли известную долю общей суммы. Тогда недоимки будут распределяться соразмерно.

Ощущаемое в иных местах неустройство земского хозяйства зависит вовсе не от ограниченной сферы деятельности земского управления, а от недостатка наличных сил и средств. Всякому, принимающему близкое участие в делах, известно, как трудно составить дельную управу, а тем более заместить удовлетворительным образом те должности, выбор в которые предоставлен земству. Наличных сил у нас положительно недостает. Недостаток и денежных средств. Чтобы привести дорожные сооружения и медицинскую часть в положение, соответствующее потребностям благоустроенного общества, нужно несравненно больше денег, нежели какими мы можем располагать при бедности нашего населения. А если так, то не в расширении деятельности земства надобно искать лекарства против ощущаемого зла. Там, где не имеется средств для приведения вверенной части в надлежащее положение, не надобно забирать еще больше дел.

В действительности, то неустройство, которое оказывается на практике, касается даже вовсе не земского хозяйства, а крестьянского управления. В этом все согласны, и все указания уездных собраний направлены именно в эту сторону. Неустройство же крестьянс-

кого управления проистекает от недостаточного контроля. Из учреждений, созданных в прошедшее царствование, менее всех удачными оказались позднейшие, именно, присутствия, установленные для контроля.

Составленные из разнородных элементов, приспособленные более для коллегиальных приговоров, нежели для действия, они могли применяться к городскому управлению, содержащему в себе более сил, а потому способному стоять на своих ногах, но они гораздо менее применялись к крестьянскому управлению, которое по неразвитости населения требовало ближайшего надзора и даже некоторой опеки. В этом заключается то зло, на которое все жалуются, и сама практика указывает против него лекарство. Практическая потребность состоит в том, чтобы подтянуть крестьянское управление, для чего необходимо усилить деятельность контролирующего учреждения, то есть, уездного присутствия. Такова именно была цель, которую предположило себе Губернское собрание в своих ответах на вопросы, поставленные министерством внутренних дел. Если прибавить к этому необходимость снять с волостного старшины все излишние, обременяющие его дела, то этим ограничиваются все те преобразования, которые требуются на практике в крестьянской администрации.

Но не одна только крестьянская администрация находится в расстроенном состоянии. Таково же положение и крестьянского суда. И он нуждается в высшем контроле. Крестьянам необходим особенный суд: они им дорожат и неохотно бы с ним расстались. У них есть свои, разнообразные, хотя довольно шаткие обычаи, которые служат им руководством при решении гражданских споров. У них есть свои наказания, за которые они стоят, ибо штрафы и тюремные заключения для них разорительнее розги. Волостным судом решается миролюбиво множество дел, которые даже и не вписываются в книги. Но, с другой стороны, крестьянский суд, предоставленный себе, слишком часто подпадает под влияние волостного старшины, писаря или попойки. И его надобно подтянуть, связавши его с мировыми судебными учреждениями, и допустивши в той или в другой форме, апелляцию на его приговоры.

Таковы указанные практикою задачи, которых разрешение требуется в настоящее время. Для этого не нужно никакой ломки существующих учреждений; надобно только несколько усилить ныне действующие власти, давши им возможность ближайшим образом контролировать крестьянское управление. Идти далее, значит выходить из пределов указаний и пускаться в область теоретических идей и соображении, с тем, чтобы на основании их перестроить все существующее. Таково именно направление тех, которые стремятся к слиянию крестьянского управления с земским.

Это слияние может быть произведено: 1) в мелких земских единицах, 2) в уезде.

Мелкою земскою единицею, соединяющею в себе все сословия, может быть приход, волость или округ. Но приход – единица слишком мелкая и притом случайная. Тут нередко окажется один более или менее крупный землевладелец среди целого крестьянского населения. Притом все, по-видимому, согласны, что при существовании общинного владения, сельская община должна составлять отдельную хозяйственную единицу. Для влияния сословии требуется более широкое поприще. С другой стороны, округ слишком обширен. В административном отношении, трудно иметь дело с множеством мелких сельских обществ. В особенности для контроля над крестьянским управлением необходимо соединение крестьянских обществ в более крупные единицы. Таковыми именно являются волости. Сама жизнь указывает на волость, как на необходимую административную инстанцию, как для контроля над сельским управлением, так и для исполнения правительственных распоряжений в отношении к крестьянскому населению. Это явствует из того множества нужных и ненужных дел, которые взваливаются на волостного старшину, единственно потому, что он занимает место, куда силою вещей стекаются все дела. Можно сделать волости больше или меньше, дать ей то или другое название, на практике она всегда будет составлять необходимое административное звено, и если суждено совершиться слиянию сословий, то оно непременно совершится в ней. Мелкая земская единица есть всесословная волость. Ничего другого практически невозможно устроить.

Спрашивается, желательно ли в настоящее время учреждение у нас всесословной волости?

Для того, чтобы слияние совершилось законодательным путем, необходимо, чтобы оно было предварительно приготовлено жизнью, а именно этого мы в настоящее время не видим. Сословия могут сливаться в городах, где господствует среднее состояние, и между крайностями богатства и бедности существует множество посредствующих звеньев. Но в селах историею выработаны одни крайности; как же слить их воедино? Во всесословной волости несколько бывших помещиков, а иногда даже один, будут стоять рядом с массою крестьян; первые неизбежно потонут в толпе. Кроме антагонизма интересов, который может принять даже весьма острый характер, из этого ничего не может выйти.

Антагонизм окажется прежде всего в вопросе об обложении. Если всесословная волость будет единицею самоуправления, то она необходимо будет и единицею самообложения. Между тем, волостные расходы, имеющие весьма существенное значение для крестьян, не имеют никакого значения для землевладельцев. Крестьянское управ-

ление находит в волости главный свой центр: взыскание податей, рекрутские списки, учет сельских старост, фактически составление приговоров, утверждение сделок, исполнение распоряжений правительства, надзор за исполнением сельских уставов, наконец, суд – все это сосредоточивается в волости. С увеличением средств, вследствие привлечения помещичьих земель, предметы ведомства могут расшириться еще более. Крестьяне, образуя большинство, будут иметь возможность беспрепятственно черпать в кармане соседей на свои собственные нужды. И это будет тем заманчивее, что средства соседей нередко гораздо больше их собственных. Есть волости, где рядом с крестьянами, имеющими 3000 десятин, находится один помещик, владеющий 20000; каковы же будут их взаимные отношения во всесословной волости? В настоящее время многие помещики приносят более или менее значительные жертвы для удовлетворения крестьянских нужд учреждением школ, медицинской помощью, ссудами денежными и хлебными; через это установляется и охраняется нравственная связь между бывшими крепостными и их прежними господами. Но как скоро крестьяне получат возможность облагать податями своих бывших господ по своему усмотрению, так всякая нравственная связь исчезнет и заменится антагонизмом. При таких отношениях беспрерывные столкновения неизбежны.

Образованные элементы местности подчинятся необразованным не только в отношении к обложению, но и в отношении к управлению. Будет или не будет допущено самообложение земской единицы, установленное в ней управление во всяком случае распространится на всех, а это произведет существенное изменение отношений. В настоящее время помещик совершенно независим от волостного старшины; при всесословной волости он будет ему подчинен. Сделавшись выборным от земства, волостной старшина, или каким бы другим названием не украсился управляющий земским округом, будет общим начальником. Кем же будет замещаться эта должность? Многие мечтают о всесословных единицах в тех видах, чтобы во главе их стояли образованные люди, под руководством которых крестьянское управление воспрянет и процветет. Можно наверное сказать, что эти мечты не сбудутся: 1) потому что у нас в деревнях образованных элементов слишком мало; 2) потому что те образованные люди, которые живут в деревнях, не пойдут в должности волостного старшины. По существу своему эта должность хлопотливая и подчиненная; между тем, образованных людей, имеющих свои собственные дела, можно заманить только должностью, не требующею особенных хлопот и более или менее независимою. Конечно, найдутся несколько дилетантов, которые в порыве либеральных стремлений на первых порах пойдут в начальники волости. Но этот пыл скоро остынет, и в конце концов, кому бы ни был предоставлен

выбор, самим ли жителям волости и уездному собранию, эта должность неизбежно попадет в руки малограмотных крестьян или мелких землевладельцев. Дай, бог, чтобы она не попала в руки радикала или нигилиста! Тогда придется бежать из деревень.

Таким образом, вместо ожидаемого слияния сословий пробудится между ними антагонизм; вместо возвышения образованных элементов, последует их порабощение. Одна возможность подобного исхода должна заставить задуматься всякого здравомыслящего человека.

Лучше ли будут результаты от слияния крестьянского управления с земским в уезде? В настоящее время контроль над крестьянским управлением принадлежит уездному по крестьянским делам присутствию. Оно большею частью состоит из лиц выборных от дворянства и земства. Во главе его стоит уездный предводитель, который есть вместе и председатель Земского собрания. В Присутствии заседает председатель управы, земством избираются непременные члены и мировые судьи. К выборным лицам присоединяется уездный исправник, что необходимо для согласного действия правительственных агентов с земскими в управлении уездом. Правительство имеет в уезде свои весьма существенные интересы, касающиеся общих нужд государства. Для наблюдения за ними оно имеет своего агента, исправника. Весьма важно, чтобы этот агент действовал не врозь, а в согласии с выборными людьми. Только этим путем может сохраниться гармония в уездном управлении, и с этою именно целью исправник приобщается к уездному присутствию. Между тем, перенесение контроля над крестьянским управлением на Уездную управу влечет за собой устранение исправника. В результате окажется одно из двух: или исправник останется самостоятельным агентом правительства по всем делам, касающимся общих государственных интересов, или он сделается чисто полицейским чиновником, все же остальные дела будут вверены управе. В первом случае правительственный агент не только вступит в антагонизм с управою, но в конце концов, как заведующий высшими интересами государства, он может сделаться главным лицом в уезде. Во втором случае сама управа будет поставлена в положение исправника. К ней будут обращаться все требования в понуждения; она сделается агентом правительства на местах. Едва ли такое положение для нее желательно. Она потеряет свою независимость, и через это ее положение не возвысится, а умалится.

К тому же клонится и другая замена, которую влечет за собою подобное преобразование. С перенесением контроля над крестьянским управлением на уездную управу, председатель управы заступит место предводителя дворянства. Между тем, именно в этом случае предводитель дворянства совершенно на месте, а председатель уп-

равы был бы поставлен в ложное положение. Последний находится под контролем земского собрания, которым он избирается и которому он ответствует за все свои действия. Но в состоянии ли будет уездное собрание контролировать действия управы в отношении к крестьянскому управлению? Это более чем сомнительно. Мы знаем по опыту, до какой степени в настоящее время слаб даже контроль собраний над собственною деятельностью управы; контролировать же контроль управы над крестьянским управлением собрание положительно будет не в силах. Для этого было бы необходимо, чтобы члены ревизионных комиссий разъезжали по волостям и сами их ревизовали, чего, конечно, ожидать от них нельзя и что повело бы к бесконечным столкновениям. Высший контроль в этом отношении принадлежит не собранию, а правительственной власти, которая ни в каком случае не может от него отказаться, ибо с этим связаны существеннейшие интересы государства. Но через это управа будет поставлена под двойной контроль: с одной стороны земского собрания, с другой стороны начальника губернии. Она будет раздваиваться внутри себя, из чего неизбежно произойдут колебания, внутренний разлад, столкновения и антагонизм.

В совершенно ином положении находится предводитель дворянства. Он не состоит под контролем собрания; он отвечает за свои действия только перед высшею властью, а между тем независимое его положение, как представителя высшего сословия, безвозмездно отправляющего общественную службу, делает то, что власть должна с ним считаться. Предводитель дворянства есть лицо, занимающее должность историческую и почетную, а этого рода должности во всех странах мира имеют свой особенный характер, которого ничто заменить не может. Они, по своему аристократическому оттенку, служат самою сильного преградою напору бюрократии. Поэтому там, где эти должности выработались исторически, ими следует дорожить, а не заменять их без нужды демократическими выборами, которые, как доказывает всемирный опыт, гораздо менее способны противостоять действию власти. Земская управа, поставленная под ближайший контроль правительства, легко новеет превратиться в собрание чиновников, а подобный исход был бы гибелью всего земского дела.

Именно этого следует опасаться при сосредоточении всего уездного управления в земской управе. Те, которые мечтают о таком порядке вещей, воображают себе, что правительство может все исполняющиеся на месте дела, как местные, так и государственные, вверить земству, оставаясь само на вершине, как высшая контролирующая власть. Подобная система возможна в федеративной республике, где всякое движение идет снизу, и где центральная власть, ограниченная самым тесным кругом деятельности, не нуждается в

особых органах. Но в централизованном государстве, и особенно при самодержавном правлении, такое устройство администрации совершенно немыслимо. Тут правительство нуждается в собственных агентах, чрез посредство которых оно действует, исполняя все, что требуется в общих интересах государства. Власть, бессильная на местах, будет бессильна и в центре. Это все равно, что если бы мы в человеческом теле перерезали все нервные нити и оставили бы голову с правом проводить свою волю платоническими воззваниями к самостоятельной деятельности членов.

Власть, которой сила создана всею предшествующею историею и которая всегда была центром народной жизни, не может стать в такое положение. Если бы она приняла его сегодня, то завтра она будет принуждена взять назад то, что она дала, ибо от ее бездействия не может произойти ничего, кроме всеобщей анархии. А с своей стороны, русское земство в настоящем своем положении не может принять на себя подобного бремени. Если, как было указано выше, существенный недостаток нашего земского хозяйства заключается в скудости образованных сил, то можем ли мы, сверх наших земских дел, взять на себя ответственность и за ход крестьянского управления и за исполнение государственных требований? Это было бы чрез меру отважно и могло бы привести к совершенно обратному исходу. Кто слишком много захватывает, тот рискует потерять и то, что приобрел. При настоящем положении нашего земства, для него гораздо выгоднее и благоразумнее держаться в более тесной предоставленной ему сфере, не задаваясь слишком обширными задачами, и в особенности не притягивать к себе то, что по существу принадлежит государству и что неминуемо вызовет вмешательство государственной власти. В стремлении расширить свою деятельность земство очутится под опекою и слишком поздно узнает, что излишнее честолюбие может быть опасно.

Благоразумное соблюдение меры требуется и устойчивостью учреждений, которая составляет первое условие общественного преуспеяния. Крепкую опору общественным силам доставляют только те учреждения, которые не колеблются ежеминутно. В странах, где общественная свобода прочна, местные учреждения преобразуются не иначе как с величайшею осмотрительностью, медленно и постепенно. В Англии до сих пор в графствах, составляющих главный центр местного самоуправления, не только суд и администрация, но и самое обложение податями находятся в руках мировых судей, назначаемых правительством. Но англичане, которые знают цену исторических учреждений, не касаются их, несмотря на то, что они коренным образом противоречат отвлеченным теоретическим требованиям. Даже в революционной стране, как Франция, которая каждые 13 – 20 лет меняет свой образ правления, административная

система, созданная твердою рукою Наполеона I, остается непоколебимою, и только мало-помалу к ней приобщались либеральные элементы, без изменений коренных оснований системы. Только вследствие этого французский народ мог выдерживать все политические бури и постоянно подвигаться вперед среди постигавших его разгромов. Пока на вершине все изменялось, внизу местная администрация, с которой связываются и около которой группируются все местные интересы, охраняла частную жизнь от всяких колебании. У нас же не прошло двадцати лет с тех пор, как нам дарованы учреждения, значительно расширившие наши права и положившие основание местному самоуправлению, а между тем мы уже готовы подвергнуть их коренной ломке и водворить новую систему. Такой способ действия не может привести к добру. Общество, которое каждые двадцать лет меняет свои местные учреждения, быстро идет к разложению. И без того у нас все отношения расшатались, а в умах господствует смута. Посягая на систему местного управления, мы только усилим смуту и внесем в общество еще больший разлад. Мы нарушим сложившиеся уже в жизни привычки и отношения и будем созидать новый порядок, черты которого нам самим представляются в тумане. Особенно в отношении к крестьянскому населению такой способ действия в высшей степени опасен. Не колебать существующее, не расшатывать и без того уже слишком расшатанные общественные отношения, а охранять и упрочить либеральные преобразования прошедшего царствования, такова истинная задача земских людей. Исполнить ее мы можем, только прочно становясь на почву существующего и изменяя дарованные нал учреждения только постепенного указаниям опыта, не нарушая жизненных привычек. Если же мы, покинув практическую почву, пустимся в неведомую даль, мы неминуемо придем к кровавой катастрофе, виною в которой будем мы сами. Всякий истинный русский гражданин должен употребить все усилия, чтобы предотвратить подобный исход.

В собрании произошли горячие прения. Петр Борисович Бланк, бывший председатель губернской управы, известный составитель всяких проектов, в течение полутора часа распространялся о зловредности чиновничества и о необходимости передать все местные дела в ведение земства. Я возразил, что говорить против чиновничества легко, но устранить его невозможно, ибо оно составляет необходимый элемент всякого государственного управления. Весь вопрос заключается в том, как распределяются дела между ним и земством. Настоящие наши земские учреждения дают нам самостоятельный круг деятельности, которым мы при наличности наших сил и средств можем быть вполне удовлетворены. Требовать большего неблагоразумно, 1) потому что мы с этим не справимся; 2) по-

тому что если мы возьмем в руки дела, по существу своему принадлежащие правительственной власти, мы неизбежно подпадем под опеку, и если один министр внутренних дел все нам отдает, то можно наверное сказать, что следующий все возьмет обратно, и мы, желая получить больше, потеряем ту независимость, которою мы ныне пользуемся. Стремиться к слиянию крестьянского управления с земским значит делать скачок в потемки, между тем, как существенная наша задача состоит в охранении дарованных нам учреждений и в постепенном их развитии по указаниям жизни. После меня городской голова Тимофеев, тамбовский адвокат, ухватившись за выражение подтянуть, которое встречалось в моем особом мнении, с чисто адвокатскою уловкою стал развивать ту тему, что недостаточно все подтягивать: надобно удовлетворять потребностям населения, а насущная потребность состоит именно в слиянии крестьянского управления с земским которые ныне разобщенные члены одного тела. Он уверял, что для исполнения этой задачи найдутся и люди, ибо учреждения пересоздают людей. На некоторых этот ораторский эффект подействовал. Я возразил, что подтягивание, о котором я говорил, относится вовсе не к населению, а к властям, злоупотребляющим своим правом и притесняющим население: существенная потребность последнего состоит именно в том, чтобы их подтянуть, и далее этого не идет. Мечтать же о пересоздании людей можно, только совершенно покинув практическую почву. Но возможно ли было бороться против течения, когда и столичное земство, и печать, и само правительство взапуски друг перед другом били на общую ломку. Члены большинства комиссии усердно читали газету «Земство» и черпали свою мудрость из печатавшихся в ней прений московской комиссии. Трудно было стоять за охранительные начала, когда ревизующий сенатор Мордвинов с усмешкой спрашивал меня: «Неужели вы довольны валуевскими учреждениями?* А я совершенно согласен с статьями Безобразова и Градовского». Сам губернатор, недавно вернувшийся из Петербурга, объявил во всеуслышание, что в высших сферах вопрос считается решенным, и скоро все местное управление будет передано земству, а губернатор останется только наблюдающим органом. При таком общем безумии трезвый голос рассудка естественно должен был остаться в меньшинстве. Однако, из 42 членов собрания 18 подписали мое мнение, а 24 подали голос против. В сущности количество голосов было безразлично, ибо не постановлялось никакого решения, и оба мнения представлялись министру внутренних дел. Но столь значительное меньшинство, при господстве противоположных течений, убедило меня в том, что в

* Положение о земских учреждениях 1 января 1864 г. было разработано в комиссии под председательством министра внутренних дел П. А. Валуева.

России можно было составить разумно охранительную партию. Надобно было только собрать побольше людей, а не ограничиваться фантазирующими верхушками. Многие гласные, даже из большинства, просили меня напечатать мое особое мнение в виде отдельных оттисков для распространения между знакомыми, и управа обещала доставить мне 150 экземпляров; но губернатор наложил на это запрет, сказавши, что если я хочу напечатать отдельные оттиски, то могу обратиться в любую цензуру. Ограничительные мнения постоянно считались у нас противоправительственными, в то время в одном направлении, а недолго спустя в прямо противоположном.

Слишком скоро, увы, пришлось обернуть фронт и стоять за охранительные начала против торжествующей реакции, которая из всей этой смуты одна вышла победительницею. Вопросы, некстати поднятые Лорис-Меликовым, были решены, но совершенно в ином смысле, нежели предполагалось вначале. Работавшая над ними Кахановская комиссия, которая в первый период своего существования сочиняла для России всякие либеральные учреждения, с назначением графа Толстого министром внутренних дел внезапно повернула в противоположную сторону и по мановению сверху стала вырабатывать реакционные меры. Прошло немного лет, и вместо расширения прав земства последовало значительное их стеснение. Не только оно было лишено всякого влияния на крестьянское управление, но и мировые учреждения были уничтожены. Заведшийся было в России близкий к народу и правый суд, на который лучшие местные люди положили всю свою душу, внезапно был выброшен за окно и заменен системою чистейшего произвола. Управы были поставлены под непосредственный контроль губернаторов. Введены сословные выборы. Одним словом, вместо необдуманного шага вперед, который затевался в видах популярности, сделан был значительный шаг назад, в обоих случаях без малейшего практического повода. Так у нас самовластие, по минутной прихоти, гнет в ту или в другую сторону, не дорожа ничем, ломая все, что попадется ему под руку, не обращая никакого внимания на потребности жизни и на мнение общества. Бедное отечество!

В том же губернском собрании мне довелось представить доклад по другому весьма важному делу, именно по вопросу об учреждении земского банка для содействия крестьянам в покупке земель. Этот вопрос был возбужден еще в 1880 году. В Тамбовское губернское собрание присланы были два проекта, один от Московского общества сельского хозяйства, другой от нескольких частных лиц, в числе которых были известные земские деятели, князь А. И. Васильчиков и Н. А. Ваганов. Для рассмотрения этих предложений была избрана комиссия, которой поручено было подготовить дело к будущему собранию. Я был выбран председателем и вместе докладчиком. Члена-

ми были князь Чолокаев, усманский уездный предводитель князь Вяземский, ныне управляющий Уделами, и елатомский помещик князь Кудашев. Мы решили между собою, что отдельные члены будут собирать сведения по своим уездам, а я взялся пересмотреть земские статистические работы, которые в то время производились под руководством московского земского статистика Василия Ивановича Орлова, человека очень дельного, добросовестного и хорошего. На предварительное совещание мы условились собраться у меня в Москве, на масленице. За несколько дней до назначенного срока я получил от Вяземского телеграмму с просьбой повременить день, другой, ибо он не может поспеть во время. Оказалось, однако, что приехал он один и привез с собой весьма дельную работу. Он лично объехал весь свой уезд и собрал нужные сведения. На основании этих данных и земской статистики по другим уездам, я и составил доклад, который был одобрен комиссиею и представлен в собрание. Приведу несколько подробные из него выписки, чтобы показать, как в то время благоразумные люди смотрели на этот вопрос, поныне возбуждающий столько толков. Заключение было не в пользу учреждения банка. Прежде всего надобно было решить вопрос: действительно ли благосостояние крестьян зависит от размера их надела? Рассматривая подробно статистические данные по Тамбовской губернии, особенно относительно количества скота, которое служит главным признаком благосостояния крестьян, мы пришли к заключению, что такого соответствия нет. Многие села государственных крестьян, пользующихся весьма значительным наделом, живут в бедности, между тем как иные села крестьян, даже состоящих на даровом наделе, оказываются зажиточными. Жалобы на обеднение слышатся со всех сторон, но причины этого явления весьма сложны. Первою и главною причиною мы признали прирост народонаселения без соответствующего прироста капитала.

«Пока нераспаханной земли много, – сказано в докладе, – и прибывающее народонаселение может беспрепятственно расширяться на счет непочатых еще богатств природы, быстрое возрастание народонаселения, как умножение сил, составляет благо для страны. Это – период экстенсивного хозяйства. Но когда земли уже все распаханы, и естественные богатства не только не остаются в запасе, но постоянно истощаются обработкою, тогда прирост народонаселения должен сопровождаться соответствующим приростом капитала, который один может заменить скудеющие силы природы. В странах, где пустопорожних земель становится мало, и где поэтому экстенсивное хозяйство должно замениться интенсивным, прирост народонаселения, превышающий прирост капитала, есть зло, которое неизбежно должно вести к обеднению. А в таком именно положении находится центральная Россия. Крестьяне, как и встарь, про-

должают основывать семейства с самых ранних лет; народонаселение растет, а привычка к сбережениям соответственно этому не возрастает. Но из этого самого ясно, что лекарство против подобного зла заключается не в расширении крестьянского землевладения, а в изменении нравов, которое может быть только плодом жизненного опыта. Если бы сегодня наделы крестьян были увеличены, а народонаселение продолжало вы возрастать по-прежнему, то завтра вопрос возник бы с новою силою. Как скоро оказывается необходимость от экстенсивного хозяйства перейти к интенсивному, так все внимание правительства и общества должно быть устремлено не на расширение землевладения, а на увеличение капитала. У нас, к сожалению, не только народонаселение растет несоразмерно с капиталом, но есть причины, которые ведут прямо к уменьшению последнего. Сюда принадлежат прежде всего семейные разделы. Сдержанные в прежнее время властью помещика, они со времени освобождения приняли громадные размеры, а это не могло не отразиться самым вредным образом на благосостоянии крестьян. Устройство всякого нового двора, с одной стороны, поглощает капитал, а с другой стороны, раздробляя рабочие силы, уменьшает их производительность. Одинокий работник не только хуже обрабатывает свой собственный участок, но он не в состоянии иметь и тех посторонних заработков, какие получает многорабочая семья. Отсюда общее явление, что зажиточностью пользуются только те дворы, в которых есть несколько работников, одинокие же почти неизбежно беднеют.

К этому присоединяется и другая причина, столь же сильно поглощающая крестьянские сбережения, а именно, увеличившееся потребление вина со времени освобождения крестьян и введения акцизной системы. Из приведенных выше примеров видно, что отсутствие кабака составляет одно из важных условий благосостояния крестьян. У непьющих оказываются даже значительные сбережения, там, где кругом все принуждены прибегать к чужой помощи. До каких размеров простирается уничтожение этим способом народного капитала, видно из того, что но весьма тщательно собранным сведениям в Усманском и Липецком уездах в течение неурожайного 1880 года продано вина по 9 рублей на душу, что составляет почти $^3/_4$ повинностей, лежащих на бывших помещичьих крестьянах, и около $^9/_{10}$ повинностей, лежащих на государственных крестьянах. Если мы сообразим, что именно для уплаты повинностей крестьянин нередко сдает свою землю или подряжается под работу за низкие цены, то станет очевидным, что даже годовое сбережение на вине могло бы поставить крестьянина на несравненно лучшую ногу и таким образом значительно возвысить его благосостояние. Надобно надеяться, что правительство, которого внимание обращено на этот предмет, примет нужные меры; но если бы осуществилось предложение

о возведении кабаков на степень общественных учреждений, что неизбежно сделало бы их центром общественного управления, то без сомнения, зло только бы усилилось.

И в настоящее время неустройство крестьянского управления составляет одну из причин, ведущих к обеднению крестьян. На это в нынешнем году указывали некоторые уездные собрания при обсуждении вопросов, присланных от министерства внутренних дел. С одной стороны, частые растраты, с другой стороны, повальное пьянство, которым нередко сопровождается мирское хозяйство, несомненно поглощают более или менее значительную часть крестьянского капитала. Помочь этому злу может только более строгий контроль со стороны высшей власти. К причинам, уничтожающим капитал, присоединяются причины, задерживающие развитие промышленных сил. Сюда принадлежит главным образом общинное владение. Как скоро является потребность прилагать к земле капитал и заменять экстенсивную обработку интенсивною, так необходимо, чтобы земледелец был обеспечен в постоянном пользовании участком, в который он полагает свои деньги и свой труд. Переделы же, существующие при системе общинного владения, ведут лишь к тому, что земля более и более истощается, вследствие чего крестьяне получают с нее менее и менее прибыли. Приведенный выше пример возрастающего благосостояния выселков, выделяющихся из общего владения, служит тому подтверждением. Только сидя на своей земле, крестьянин привыкает к той тщательной обработке, которая требуется изменившимися условиями жизни, и которая одна дает мелкому землевладению возможность конкурировать с крупным...

Наконец, важнейшею причиною частного обеднения крестьян является самая дарованная им свобода. Если свобода развязывает руки сильным, то она губит слабых. Крепостного человека помещик мог поддерживать, принуждать к работе, наказывать за пьянство, наконец, отдавать в рекруты, если он окончательно оказывался неисправимым. Свободный же человек должен стоять на своих ногах; кто не в состоянии держаться сам, тот неизбежно валится. Вследствие этого свобода роковым образом ведет к обогащению одних и к обеднению других, и это служит первым признаком движения вперед. Неподвижная масса остается в безразличном состоянии; но как скоро в ней проявляется движение, так различные ее элементы отделяются друг от друга, одни движутся скорее, другие медленнее, одни забегают вперед, другие остаются позади. В обществе является разнообразие положений, которое составляет необходимое следствие разнообразия сил и первое условие общественного преуспеяния. Нынешний наш сельский быт на каждом шагу представляет тому пример. В приведенной выше описании Мураевенской волости, сделанном г. Семеновым, можно видеть, каким образом общее возвы-

шение благосостояния, происшедшее со времени освобождения, произвело движение в обе стороны: одни разбогатели, другие обеднели. Этим же объясняется, почему среди государственных крестьян, долее пользовавшихся свободою, встречается большее неравенство, нежели между помещичьими. Такое обеднение части народонаселения, бесспорно, составляет прискорбное явление; но предупредить это зло, вытекающее из самой природы вещей, нет возможности. Свобода, благодетельная в общем итоге, имеет свои темные стороны, с которыми необходимо мириться. Уничтожить их нельзя иначе, как посягнувши на то коренное начало, которое делает человека ответственным за свои действия. Для того, чтобы поддержать равномерный уровень, надобно задержать развитие высших и употребить принуждение против низших, то есть уничтожить свободу. Сохранение же равенства при свободе не что иное как химера.

При таких условиях, спрашивали мы, можно ли признать расширение крестьянского землевладения общественной потребностью? Это выло бы слишком опрометчиво. В этом деле надобно руководствоваться не туманной филантропией, а трезвым взглядом на вещи и ясным пониманием того, что общество может и должно делать для своих членов.

Составители проектов земских банков имели в виду обеспечение земельною собственностью именно беднейшей части населения, которая страдает, по их мнению, от недостаточности наделов. Между тем, с точки зрения народного хозяйства, вовсе не желателен переход земель в руки тех, которые всего менее способны извлечь из нее настоящую выгоду. Как скоро земля начинает истощаться и вследствие того оказывается необходимость перейти к интенсивной обработке и прилагать к земледелию капитал, так является естественное стремление к переходу земель в руки капиталистов, и это стремление вполне соответствует требованиям общественной пользы. Взгляд на купеческое хозяйство, как на хищничество, и старания, минуя капиталистов, перевести землю в руки крестьян, как настоящих земледельцев, равно противоречит и здравым экономическим понятиям и указаниям практики. Нет сомнения, что в местностях, где есть еще непочатые естественные богатства, земля может сделаться предметом спекуляции: аферист покупает ее затем, чтобы, взяв с нее хорошую прибыль, сбыть ее потом с рук; но такой способ действия совершенно неприложим к местностям, где приходится не извлекать капитал из земли, а вкладывать в нее капитал, чтобы получить доход. В действительности, самое хищническое хозяйство есть хозяйство крестьян, которые обыкновенно берут из земли все, что можно, и не возвращают ей ничего. С точки зрения общественной пользы, гораздо выгоднее, чтобы неимущий кресть-

янин обрабатывал землю, нанимаясь у капиталиста, нежели чтобы он сам приобретал ее в долг. В первом случае земля дает много, во втором почти ничего.

Весьма часто это будет выгоднее и для самого крестьянина. Кредит не всегда есть благодеяние; он может быть и разорением. Кредитом, также как и свободою, надобно уметь пользоваться; иначе он может погубить заемщика. Летопись помещичьих займов в кредитных установлениях служит тому живым доказательством. В особенности кредит опасен, когда он дается в широких размерах человеку, не имеющему других средств. Притом общественный кредит еще опаснее частного: у него нет жалости, оп не входит в соображение обстоятельств, он действует, как машина; иначе он не может существовать».

Мы рассматривали расчеты составителей проектов. Оказывалось, что заемщик, получая 0,62 покупной цены, должен был платить с них 11,4%, а в первые три года даже 12%. Мы доказывали, что подобная плата разорительна. Допуская, что могут быть случаи, когда крестьянам выгодно купить землю, даже платя высокие проценты, мы утверждали, что таким требованиям вполне могут удовлетворить частные банки.

«Замена частных банков земским, – говорилось в докладе, – может быть желательна единственно в том случае, если бы последний мог доставить заемщикам большие выгоды, нежели первый, либо увеличением размера ссуд, либо дешевизною кредита... Но возвышение размера ссуд колеблет самые основания банка. Неизбежные ошибки при оценке земель, возможное падение ценности земель от случайных обстоятельств, наконец, неизбежные потери при продаже с публичных торгов в случае несостоятельности, все это заставляет существующие банки не выдавать ссуд свыше $^3/_4$ оценочной суммы. При высшем размере пришлось бы оценку делать строже, но тогда покупатель не получил бы никакой выгоды от увеличенного размера. Можно даже опасаться, что возвышенный размер ссуд вместо благодеяния окажет обратное действие. Кроме совершенно исключительных случаев, где земля продается за бесценок, нельзя признать ни правильным, ни полезным в хозяйственном отношении покупку земель на чужие деньги. Назначение кредита – давать помощь, а не служить заменою собственного капитала. Кто покупает имение, не имея гроша в кармане, тот почти наверное разоряется. Можно еще платить высокие проценты на половину ценности имения, ибо остальная свободная половина служит обеспечением уплаты, но нельзя платить проценты на всю ценность имения. Тут истинным собственником является уже не покупщик, а заимодавец, которому заложена земля, покупщик же в отношении к нему становится в положение закабаленного на многие годы должника, рабо-

тающего над чужим капиталом и обязанного доставлять с него хозяину хорошую прибыль. Землю, обремененную долгами, следует не покупать, а продавать. А потому невозможно признать возвышенный размер ссуд выгодною для кого бы то ни было хозяйственною операциею.

Что касается дешевого кредита, то он всегда дается на счет когонибудь. Размер процентов определяется ходячею ценностью капиталов. Где капиталов мало, а требование на них большое, там процент неизбежно будет высок; с накоплением же капиталов уменьшается и процент. Поэтому понижение процента против ходячего размера может рассматриваться только как подарок, который делается заемщику. Но при системе закладных листов такой подарок совершенно немыслим, ибо здесь земство становится посредником между имеющими капиталы и желающими их получить. Оно может установить какой угодно процент, истинный процент будет определяться курсом закладных листов; а так как никто не купит последних, если они приносят меньше процентов, нежели можно получить иным путем, то очевидно, что этим способом невозможно достигнуть дешевизны кредита.

Иное дело, если бы земство стало собирать деньги посредством податей и выдавать пх взаймы за низкие проценты. К этой именно системе приходят защитники дешевого кредита. Но такой способ действия нельзя назвать иначе, как злоупотреблением земского права. Это значит насильственно брать собственность у одних, с тем, чтобы выдавать ее в ссуду другим по уменьшенной цене. Заемщикам делается подарок на счет плательщиков».

«По всем этим причинам, – заключали мы, – комиссия не может признать проект учреждения земского банка, или кассы для поземельного кредита, приложимым к нашей губернии. Нельзя не согласиться, что положение крестьян, находящихся на третном или четвертном наделе, во многих случаях весьма печально; но этому злу не поможет покупка дорогих земель на чужие деньги, занятые по высоким процентам людьми, едва имеющими насущное пропитание. Подспорьем в этих случаях служат сторонние заработки или наем земель. Пользуясь этими средствами, с помощью трудолюбия, крестьяне, находящиеся на даровом наделе, в некоторых местах достигли значительного благосостояния. Там же, где эти средства оказываются недостаточными, остается крайнее прибежище нужды – выселение. Крестьяне могут продать свои земли и свой скот и с помощью приобретенного этим путем капитала искать себе выгодных мест. В России необработанных пространств много, и недостатка в них не может быть. Однако и этим средством надобно пользоваться крайне осторожно. Без сомнения, свободному человеку нельзя помешать уйти туда, где ему выгоднее жить. Это его право, и в этом

состоит, вместе с тем, и требование общественной пользы, которая достигается наиболее выгодным для народонаселения размещением рабочих сил. Но иное дело свобода, иное дело искусственное содействие переселенцам. В последнем случае нельзя не настаивать на необходимости величайшей осмотрительности. Правительство может и должно ограждать переселяющихся от разорения, доставляя им возможность получать точные сведения о свободных землях, которые они могут приобрести. Но идти далее того, поощрять переселение вызовами, пособиями и льготами, было бы опасно. Может быть, следовало что-нибудь сделать для безземельных, но точных данных на этот счет не имеется, и никакой общей меры советовать нельзя. В свободном обществе, не государство и не земство должны распределять промышленные силы; они распределяются сами собою, свободным передвижением. Искусственные же меры приносят более вреда, нежели пользы.

Вообще, надобно сказать, что наш земледельческий быт находится в настоящее время в переходном состоянии. Ни способы обработки земли, ни покупные и арендные цены, ни заработная плата не установились прочным образом, так что трудно сделать надлежащий хозяйственный расчет на более или менее продолжительное время. Причины кроются отчасти в переходе от крепостного труда к свободному, отчасти в необходимости перейти от экстенсивного хозяйства к интенсивному, наконец в колебаниях цен и в неустойчивости монетной единицы. С падением курса на металлический рубль, все должно подниматься в цене; но это поднятие происходит неравномерно. В особенности заработная плата нередко остается позади. Если бы случилось новое понижение, то произошло бы новое замешательство, неизбежно сопряженное с страданиями и потерями. При такой неопределенности, всякие общие меры представляются преждевременными. Иначе можно переходное явление принять за постоянное и нанести зло, которое потом трудно исправить».

Земское собрание согласилось с заключениями комиссии и отклонило проект земского банка. Но вскоре, как известно, само правительство создало это филантропическое учреждение, которое, однако, имело весьма печальный исход. Много крестьян разорилось покупкою земель, иные даже после нескольких взносов прекратили платежи, считая их для себя невыгодными. На руках банка осталось громадное количество земель, с которыми он не знал, что делать. Наконец, он принужден был по возможности сокращать ссуды и превратился почти что в номинальное заемное учреждение. Теперь идет речь о радикальном его преобразовании.

Но этим благотворительный кредит не ограничился. Вслед за тем создано было другое подобное же учреждение, только в пользу другого сословия. В направлении правительства внезапно совершился

перелом: за крестьянскою эрою последовала эра дворянская. И наверху и внизу начали хлопотать о поддержании дворянского землевладения, которое само никак не умело поддерживаться. С этою целью учрежден был Дворянский банк. Помещикам не только давались ссуды по весьма низким процентам, но им прямо делались неожиданные подарки, за исключением тех лиц, которые были закабалены в Обществе взаимного поземельного кредита: они почему-то остались париями. Скоро, однако, и этот благотворительный банк пришел к невозможности продолжать свои дела. Чтобы поддержать его, пришлось прибегнуть к безнравственному средству лотерейного Займа. И благородное российское дворянство в восторженных и раболепных выражениях подавало благодарственные адреса. За то, что ему путем развращения народа кидали грошевую подачку. Вот, до чего мы дожили, чего же нам ожидать впереди.

К счастью земство от всего этого осталось в стороне; на него только безвинно сыпались удар за ударом.

По окончании земского собрания я поехал в Москву с целью печатать вторую часть моего сочинения «Собственность и государство».* Я все лето и осень усердно над ним работал и перед самым отъездом из деревни привел его к концу. Теперь надлежало издать его в свет. Но тут я неожиданно был призван к деятельности на совершенно новом для меня поприще.

* I ч. книги Чичерина «Собственность и государство» вышла в 1882 г. в Москве, II часть – в 1883 г.

Служба Московским городским головой

Я приехал в Москву 17 декабря*. В тот же день я виделся с Щербатовым. Мы толковали о земских делах, об общем положении, о замешательствах в Московской городской думе, где Щербатов состоял гласным. Перед тем, вследствие бурного заседания по вопросу о Сокольничьей роще, городской голова Третьяков подал в отставку и уехал за границу. Кого выберут на его место, нельзя было угадать, кандидатов не было в виду.

На следующее утро Щербатов приехал ко мне. «А я к тебе с неожиданным предложением, – сказал он. – Тебя прочат в московские городские головы; согласен ли ты идти?».

Оказалось, что накануне, один из старейших и влиятельнейших членов Думы, купец Аксенов, приехал совещаться о выборах с Дмитрием Самариным, который тоже был гласным и пользовался в Думе большим уважением. Они перебирали разные лица, и все оказывались непригодными. Из купцов не было ни одного, который имел бы достаточный авторитет, чтобы совладеть с довольно трудным в то время положением, а из дворян не на ком было остановиться. Наконец, Самарин назвал меня. «Да чего же лучше, – сказал Аксенов, – нечего больше искать». И с этим предложением он отправился к Щербатову. Последнему эта комбинация не приходила даже в голову, так далеко я стоял от Думы, но с радостью ухватился за эту мысль.

Аксенова я знал уже прежде. В 1868 году, перед моим выходом из университета, мне случилось быть с ним вместе присяжным. Мы две недели сидели в суде, часто беседовали, даже ночевали в одной комнате. Обоюдное впечатление было самое благоприятное. Аксенов был отличный человек, тихий, благочестивый, но с характером, нечто в роде патриарха между купцами, притом с образованными и умеренно либеральными стремлениями. Для себя он ничего не искал, но во всех думских делах ему поручались переговоры и улаживание столкновений.

Я ни на минуту не колебался принять предложение. Я был свободный человек; предпринятый мною ученый труд был кончен, и я

* 1881 г.

мог располагать своим временем. Знакомство с земскими делами давало мне основание предполагать, что я справлюсь и с городскими. К тому же испробовать свои силы на таком поприще было лестно. Можно сказать, что это была самая видная выборная должность в России, должность, облеченная доверием, независимая и почетная. Как общественная деятельность, я большего ничего не желал.

Выборы назначены были в конце декабря, а мне надобно было еще приобрести ценз, которого у меня не было. Все это было устроено в миг. В один день найдена была земля, с стоявшим на ней ветхим домиком; друзья снабдили меня деньгами. Затруднение состояло в совершении купчей, так как перед рождеством наступили уже каникулы, и Окружной суд более не заседал. Но судьи согласились собраться на экстренное заседание специально для этого дела, и все было улажено.

Перед выборами устроено было несколько частных совещаний, на которые сзывались все сколько-нибудь выдающиеся гласные. Первое собрание происходило на дому у Щербатова. Но он в это время был болен, нервен и собирался с семьей за границу. Его отъезд даже поторопили, потому что он слишком волновался этим выбором и горячо принимал к сердцу мельчайшие инциденты. Он передал ведение дела Дмитрию Самарину, у которого было второе совещание. Моя кандидатура обсуждалась со всех сторон. Сильно поддержали меня члены Биржевого комитета, Бакланов и Санин, которые участвовали со мною в Барановской комиссии и видели мою работу; поддерживал и председатель Мирового съезда Греков близкий приятель Станкевичей, человек отличный во всех отношениях, а также гласные Герье и Черинов, профессора Московского университета и мои друзья.

Но и незнакомые мне люди старались добывать сведения, которые оказывались благоприятными. Один из дельных членов Думы, купец Шилов, заявил на собрании, что он справлялся обо мне у знакомого ему председателя одной из тамбовских уездных управ, и тот сказал, что если я пойду, то это будет для Москвы приобретение. Он предложил дать адрес этого господина всякому, кто захочет проверить эту справку. Немедленно встал один гласный из мещан и записал адрес.

На предварительном заседании Думы, в котором предлагались кандидаты, я по запискам получил 93 голоса. Против меня были некоторые радикалы, как то: Скворцов, редактор «Русских ведомостей», Плевако, Ланин и другие, которые видели во мне крайнего консерватора. В печати против меня высказался Гиляров, редактор «Современных известий». Но все эти господа имели мало влияния. На выборах я получил 101 избирательных и 56 неизбирательных шаров. Единственным, впрочем, не серьезным конкурентом был

разорившийся аферист Пороховщиков*, который получил 34 голоса. Вторым кандидатом, в сущности только для формы, выбран был Василий Дмитриевич Аксенов.

Утверждение последовало уже во второй половине января. В промежуток случился инцидент, который с самого начала поставил меня в хорошие отношения с столичною властью. Генерал-губернатор, в силу предоставленных ему чрезвычайных полномочий, издал обязательные постановления о дежурстве дворников и об освещении дворов. Эти правила, обременительные для домовладельцев, строго говоря, имели весьма отдаленное отношение к преследованию и предупреждению политических преступлений, в виду которых введено было Положение об охране. Об этом возбуждены были прения в заседании Думы, происходившем под председательством товарища головы Сумбула. Вопрос поднял член Судебной палаты Охлябинин, человек высокой души, независимый и благородный, но не отличавшийся осторожностью. Он оспаривал не только уместность и пользу, но и самую законность этих постановлений. Его поддержал Герье. Дума решила просить генерал-губернатора об отмене этих постановлений, как слишком обременительных для домовладельцев, и вместе обратиться к высшей власти за точным разъяснением прав, предоставленных генерал-губернатору Положением об охране. Не будучи гласным, я сидел в публике, но откровенно высказал свои впечатления. Мне казалось, что при обширности полномочий, данных генерал губернатору, оспаривать законность его распоряжений было невозможно, а требование разъяснений ни к чему не вело: если хотели добиться отмены новых постановлений, то надобно было действовать иным путем, не восстановляя против себя лицо, их издавшее. Мое суждение, которое немедленно же было передано по принадлежности, расположило князя Долгорукого в мою пользу, а постановление Думы, напротив, поставило его на дыбы, так что на первых порах от него ничего нельзя было добиться. Уже впоследствии, как я расскажу ниже, мне удалось склонить его на уступку.

Уведомление о моем утверждении было препровождено мне официальным путем через генерал-губернатора; но при этом Игнатьев прислал мне лично телеграмму с поздравлением и пожеланием полного успеха в новой деятельности. Как только я получил официальную бумагу, я собрал думу. Гласные были почти в полном составе; публики было множество. Это было событие в московской жизни. Я открыл заседание следующею речью:

---

* Победоносцев в письмах к Александру III, в бытность его наследником (1876 г.), и к Николаю II (1895 г.) тоже отзывается об А. А. Пороховщикове, как об «известном в Москве прожектере, спекулянте и человеке весьма сомнительной репутации».

«Милостивые государи. Прежде, нежели я открою заседание, позвольте мне сказать несколько слов. Прошу извинения в том, что мне придется отчасти говорить о себе; надеюсь, что это будет в первый и последний раз. Говорить о себе и неловко и неприятно. Но в настоящую минуту я чувствую в этом потребность, ибо вам угодно было призвать на эту почетную должность человека стороннего, никогда не принимавшего участия в делах Московского городского управления, человека, большинству из вас лично совершенно незнакомого.

Многие, пожалуй, могут даже не считать меня москвичом. И точно, я родился в провинции; я все свое детство провел в провинции; там мой семейный и имущественный центр: там я принимал более или менее деятельное участие в делах земства. Куда бы ни поставила меня судьба или доверие моих сограждан, я родной своей Тамбовской губернии всегда буду верен. Но это самое делает мое положение в некотором отношении выгодным. Я позволю себе по этому поводу припомнить черту из истории средневековых городов. Многие вольные города, из самых значительных, имели обычай призывать своих городских голов из чужих городов. Почему они это делали? Не потому, что у них не было достойнейших граждан, которым могли быть вверены общественные дела, а потому что они думали в этом найти большие гарантии беспристрастия. Если вы, м.м. г.г., обратив на меня свое внимание, искали человека, который, стоя поодаль от внутренних партий, поставил бы себе высшею целью соблюдение справедливости, то я постараюсь сделать так, чтобы вы не ошиблись в своем расчете. Я не боюсь это сказать, ибо есть нравственные начала, которые каждый человек обязан носить в своей душе, и когда он их сознает, он не должен бояться высказывать их, как основные правила своей деятельности.

Однако, м.м. г.г., когда я настоящий выбор сравнил с тем, что происходило в средневековых городах, то я не хотел этим сказать, что связь Москвы с русскою провинцией такая же, какая существовала некогда между вольными городами. Те были независимые друг от друга державные общины; Москва же для русской провинции составляет центр, куда стекаются все силы, и где они получают свою духовную пищу. Москве не чуждо ничто русское, ибо Москва, это не только город с несколькими сотнями тысяч жителей; она не ограничена в своих выборах пределами столицы. Вы доказали, что вы шире понимаете свое призвание. Москва, это все, что думает и чувствует в России и за Россию; Москве принадлежит всякий, в ком бьется русское сердце.

Мы, уроженцы внутренних губерний, живо чувствуем эту связь. И я, м.м. г.г., хотя я родом не москвич, но я связан с Москвою всею своею жизнью, и умственно и сердечно. В Москве зародилась и про-

текла вся моя умственная жизнь. Я учился в Московском университете, и этого времени я никогда не забуду. Я семь лет служил Московскому университету. Москве я обязан всем своим умственным достоянием, и это я считаю для себя великим счастием, ибо только в умственной жизни Москвы можно обрести те крепкие основы, то верное понимание смысла русской истории, то чутье истинных потребностей народной жизни, которые предохраняют от легкомысленных увлечений и от слепого следования за мимолетными авторитетами.

Я связан с Москвою и сердечно. В течение моего многолетнего жительства в здешней столице я обрел в ней лучших своих друзей, и между ними не могу не упомянуть об одном, с которым меня связывает тесная 35-летняя дружба с самой студенческой скамьи, и чье доброе и благородное имя так высоко стоит в летописях Московского городского самоуправления. Я счастлив тем, что мне довелось быть одним из его преемников, и я не могу не выразить сожаление, что его в настоящее время нет среди нас.

Ныне связь моя с Москвою сделалась еще теснее. Сделав меня своим городским головою, Москва как бы меня усыновила, признала меня своим, и это налагает на меня двойную обязанность служить ей всеми своими силами и способностями. Но здесь, м.м. г.г., я чувствую всю свою недостаточность. До сих пор моя жизнь была посвящена главным образом умственной работе. Если я в течение тринадцати лет принимал участие в делах земства, если нашему земству угодно было возлагать на меня даже сложные и важные практические поручения, если я участвовал в железнодорожных комиссиях, то что же все это в сравнении с теми громадными практическими интересами, которыми приходится заведовать в настоящее время. Я вполне сознаю, что для этого нужно несравненно более опытности, нежели та, которою я обладаю. Поэтому я прошу снисхождения к невольным ошибкам. Я прошу более, нежели снисхождения: я прошу содействия и помощи.

Здесь, м.м. г.г., позвольте мне высказать, как я понимаю отношение Думы к Управе. Дума – хозяин города; Управа – ее уполномоченный. Поэтому нам, м.м. г.г., принадлежит прежде всего указание целей, а затем контроль над городским управлением. Этот контроль должен быть полный, всесторонний, вникающий во все подробности. Если я просил снисхождения, то это не значит, что я прошу закрывать глаза на мои ошибки. Напротив, только указанием ошибок они исправляются, и я смею уверить, что всякое добросовестное указание будет принято с должною благодарностью. Но для того, чтобы указания принесли настоящую пользу, надобно чтобы они были не отрывочны и случайны, а соображены со всем положением дела. Это лучше всего достигается ежегодными подробными реви-

зиями всего общественного хозяйства. Моя земская опытность привела меня к убеждению, что весьма часто ревизионными комиссиями дается толчок общественному делу, тогда как без этого Управа, занятая ежедневными текущими делами, легко может погрузиться в рутину. Я буду просить ежегодных ревизий и утверждений отчетов.

Но мало контроля, нужно еще содействие. Самоуправление, м.м. г.г., как я его понимаю, не состоит только в том, чтобы выбрать несколько человек, поручить им дела, и смотреть за тем, чтобы они не уклонялись от своих обязанностей. Самоуправление есть самодеятельность. Оно требует живого участия всех общественных сил. Без этого опять-таки всякий исполнительный орган легко может впасть в бюрократический формализм. Нет сомнения, что каждый из вас имеет свои частные дела, от которых трудно оторваться. Но общество вправе ожидать от своих членов, чтобы они часть своего досуга, а когда нужно, и своего рабочего времени, посвящали общественному делу. Без этого оно не пойдет. Задача же лица, поставленного во главе управления, состоит в том, чтобы воспользоваться этими силами, приготовить для них материал, сделаться для них средоточием. Он должен стараться устранять те мелкие пререкания, те личные столкновения, которые неизбежны везде, где люди сходятся для совокупного дела, но которые, повторяясь, роняют достоинство учреждения и умаляют значение его в глазах народа. Он должен стараться вывести общественные вопросы из низменной области личных интересов и самолюбий и поставить их на ту высоту, где имеется в виду интерес общий, который один может быть связующим началом плодотворной общественной деятельности.

Я не стану излагать вам подробности того, что нам предстоит делать в этом направлении. Если бы я, чуждый доселе Московскому городскому управлению, не успевши еще познакомиться порядком с его делами, вздумал выступить перед вами с готовою программою, вы, без сомнения, сочли бы меня весьма опрометчивым, а это – такое нарекание, которого я не желаю заслужить. Скажу только, что я постараюсь обратить особенное внимание на те вопросы, которые, по-видимому, составляют больные места нашего общественного управления, а именно: 1) на потребность организации Думы и Управы, которые доселе не имеют ни регламента, ни инструкций, и 2) на финансовое положение города: когда представляется смета с 1200 000 дефицита, то об этом надобно подумать.

Но ограничиваясь этими замечаниями на счет наших внутренних дел, я не могу не сказать несколько слов о другой, весьма важной стороне городского управления, именно о том, что можно назвать внешними сношениями. Хотя закон говорит, что городское общество в предоставленных ему пределах действует самостоятельно, однако вы все знаете, что эти пределы весьма растяжимы, и что

внутри этой черты есть поводы к бесчисленным столкновениям и пререканиям. Городское общество не самостоятельная держава, которая все свои внутренние дела может решать по своему усмотрению. Городское общество есть член государственного организма, высшим же выражением этого организма является правительственная власть, которой мы, по этому самому, силою вещей подчинены. В какое же мы станем к ней отношение?

И тут, м.м. г.г., позвольте мне высказаться с полною откровенностью. Я желаю, чтобы вы знали, чего от меня можно и чего нельзя ожидать.

По своему характеру, по своим убеждениям, я не человек оппозиции. Я держусь охранительных начал, не в том, конечно, смысле, в каком нередко принимается у нас это выражение, которое выставляется каким-то пугалом, означающим врагов всякого улучшения, а в том смысле, какой может придавать ему разумный человек, любящий свободу, но понимающий необходимость чего-нибудь прочного в жизни. Я приверженец охранительных начал в том смысле, что я глубоко и живо чувствую потребность власти и порядка. Я вижу в этом завет всей русской истории и существеннейшую нужду настоящего смутного времени. Поэтому я всегда готов буду идти рука об руку с властью.

Но идти рука об руку с властью не значит поступаться своими правами, а еще менее отрекаться от независимости своих суждений. Человек с самостоятельным образом мыслей дает свое содействие не иначе как сознательно и свободно. Я уверен, что в интересах самой власти встречать перед собою не страдательные только орудия, а живые, независимые силы, которые одни могут дать ей надлежащую поддержку, ибо тот, кто способен стоять за себя, может быть опорою для других. Поэтому нет хуже политики, как та, которая стремится сломать всякое сопротивление. Действуя таким образом, власть воображает иногда, что она увеличивает свою силу, а между тем, она подрывает собственные основы, и в минуты невзгоды она слишком поздно видит перед собою лишь надломленные орудия или встречает глухую оппозицию, способную произвести брожение, но неспособную ничего создать.

К счастью, пора такой политики миновала для России. Великими преобразованиями прошедшего царствования по всей русской земле вызваны к жизни самостоятельные силы; на этой почве мы можем твердо стоять. Но к общей скорби всех русских людей, глубоко запавшая нравственная болезнь, которая проявляется в страшных злодеяниях, остановила Россию в правильном ее гражданском развитии. Мы живем в трудное время, где приходится бороться с внутренними врагами, и это налагает на нас обязанность быть вдвойне осторожными в своих действиях. Мы должны обдумывать каж-

дый свой шаг, дабы не поколебать и без того обуреваемую враждебными стихиями власть. Не покидая созданной для нас почвы права, мы должны стараться соблюдать счастливую середину между старыми привычками безусловной покорности и новыми стремлениями к безотчетной оппозиции, в чем, впрочем, нам не предстоит быть начинателями: нам нужно только держаться тех преданий независимой стойкости, соединенной с должным уважением к власти, которые утвердились в Московском городском управлении с самого начала преобразования его на новых либеральных началах. Прежде же всего, будем постоянно помнить, что русское государство в настоящее время находится не в нормальных условиях, и что только согласным действием правительства и общества мы можем победить гнетущий нас недуг и приготовить для своего отечества более светлое будущее. Я убежден, м.м. г.г , что, действуя так, мы ничего не проиграем. Напротив, только этим мы подвинем вперед общественное дело. И придет время, когда само правительство, видя в нас не элементы брожения, а охрану порядка почувствует потребность расширить тесный круг местного самоуправления и ввести общественное начало в общий строй русской государственной жизни. Не торопить раздражительно это время, не выступать вперед с неумеренными или несвоевременными требованиями или с притязаниями, выходящими из пределов предоставленного нам круга деятельности, а с доверием ожидать решений верховной власти и показать себя достойными своего высокого призвания дружною деятельностью на общественную пользу, – такова, по моему мнению, должна быть наша политика. На этом пути, м.м. г.г., вы найдете меня всегда готовым посвятить все, что у меня есть сил и умения, не только на служение Московскому городскому самоуправлению, но и на поддержание того значения, которое Москва, как сосредоточие народной жизни, имеет и всегда будет иметь в истории русского общественного развития».

Речь была встречена благоприятно и в Думе и в публике. Гласные же подошли ко мне с поздравлением; некоторые с тех пор сделались моими горячими приверженцами. Дмитрий Самарин говорил мне, что у него впечатление было такое, что все было в меру. Аксаков, который сидел в зале в качестве зрителя, все время одобрительно кивал головой. Он потом писал мне: «Речь ваша была очень хороша и произвела серьезное впечатление. Даже Гиляров ею очень доволен и собирается принести перед вами свое извинение печатно». Щербатов извещал меня также из-за границы, что ему пишут из Москвы о хорошем впечатлении, произведенным этим началом.

Но не так посмотрело на дело столичное начальство. Генерал-губернатору понравилось то, что я говорил о необходимости власти и порядка, но вовсе не понравилось то, что я говорил о независимо-

сти. Все это он в печати велел выкинуть, так что речь явилась в «Московских ведомостях» совершенно обезображенною. Всем остальным газетам послано было предписание печатать ее не иначе как по цензурованному тексту.

Я узнал об этом уже в Петербурге, куда я отправился на следующий день после думского заседания. Надобно было представиться государю. Игнатьев встретил меня самым любезным образом. Я знал его уже прежде, а с семейством его жены был хорошо знаком еще с 50-х годов. Он пригласил меня на вечер и немедленно устроил аудиенцию. Государь принял меня в своем кабинете, стоя, сказал по обыкновению несколько незначащих слов, заметил только, что до сих пор никто еще не слыхал, чтобы хозяйство Москвы было с дефицитом.

Между тем, из Москвы Аксаков, которому я сообщил текст своей речи, писал мне: «Возвращаю вам вашу речь. Право, не мешало бы в Петербурге показать ее Игнатьеву и с его разрешения напечатать целиком. Не глупо ли со стороны Долгорукова компрометировать нового голову рассылкою чиновника по редакциям, чтобы не печатали речь в том виде, как она была сказана, и не дозволять печатать то, что было произнесено публично, торжественно, на всю Москву! Не говорю уже о том, что этот голова – вы, что правительство должно прежде всего радоваться тому, что нашелся человек, мужественно исповедующий уважение к принципу власти и т. п.»

Я действительно представил Игнатьеву, что я вовсе не желаю являться перед публикою не с теми мыслями, которые мне принадлежат, а с теми, которые допускаются князем Долгоруким, прибавив, что и правительству нет никакой выгоды отталкивать от себя порядочных людей, и всякого независимого человека, даже с самым консервативным образом мыслей, волею или неволею ставить в ряды оппозиции. Он совершенно с этим согласился, показал полный текст речи государю и с его разрешения написал мне следующее письмо:

«Милостивый государь, Борис Николаевич, в знак особенного внимания к вашим личным качествам и направлению, известным правительству, и к Московскому городскому обществу, я признал возможным уклониться от цензурных правил и разрешить напечатать полностью вашу речь согласно представленному вами экземпляру».

Опущен был только конец фразы, в которой говорилось, что «придет время, когда само правительство, видя в нас не элемент брожения, а охрану порядку, почувствует потребность расширить тесный круг местного самоуправления и ввести общественное начало в общий строй русской государственной жизни». Игнатьев нашел это неудобным для печати.

Этот оборот был дан с целью не оскорбить князя Долгорукого, которого распоряжение таким образом отменялось. Однако он очень

рассердился за такое неуважение к его приказаниям. Но еще более разгневался Катков, который тогда уже лестью и раболепством успел снискать расположение в самых высших сферах и не допускал никакого выражения независимых мнений. Игнатьеву пришлось выдержать от него целую бурю.*

Вернувшись в Москву, я принялся за совершенно незнакомую мне дотоле административную деятельность.

Московское городское самоуправление находилось в то время во второй фазе своего всесословного развития. Городовое Положение 1862 года**, отменив прежние, чисто сословные порядки, образовало Думу из выборных от пяти сословий, входивших в состав городских обывателей: от дворян потомственных, дворян личных, купцов, мещан и цеховых. Каждое из них имело равное с другими число представителей, чем самым давался некоторый перевес дворянству, за которым охотно следовали другие сословия, тогда как в отношении к купцам они составляли некоторого рода оппозицию.

---

* Вступительная речь Чичерина в Московской городской думе была произнесена 26 января 1882 г., и уже 28 января «речь московского городского головы, хорошо сказанная и достойная внимания» была переслана Победоносцевым Александру III. (Письма Победоносцева к Александру III, т. I, стр. 372). Несмотря на лестный отзыв в письме к царю, Победоносцев был недоволен речью Чичерина. 8 апреля 1882 г. он писал про него своей неизменной корреспондентке Е. Ф. Тютчевой: «Боюсь, что он скоро зарвется далеко; первые шаги его неверны и не ладны. Он начал речью, в которой изложил свое profession de foi [символ веры], и поместил в ней фразы, по моему мнению, неловкие и могущие иметь двоякий смысл для слушателей. Я ему сказал, что если бы видел его до произнесения речи, посоветовал бы ему выпустить эти фразы. Кн. Долгорукий вымарал их в печати. Здесь Чичерин настаивал, чтобы разрешили напечатать речь сполна. Ему разрешили, замарав лишь несколько строк. Теперь Долгоруков считает себя обиженным и, конечно, озлоблен на Чичерина».

** 20 марта 1862 г. в Москве было введено Городовое положение, по образцу петербургского Положения 16 февраля 1846 г. По Положению 1862 г. Московская городская дума делилась на пять обособленных отделений по сословиям: в первое входили потомственные дворяне, во второе – дворяне личные и потомственные почетные граждане, в третье – гильдейское купечество, в четвертое – ремесленники и в пятое – мещане. Такая организация городского управления, дававшая значительную долю власти в городе дворянству, не могла удовлетворить буржуазию. 17 июня 1870 г. было опубликовано новое Городовое положение, которым вводилась куриальная система, основанная на цензе, по которой избиратели распределялись без разделения по сословиям на три курии по размерам уплачиваемых ими налогов, причем каждая курия избирала равное количество гласных. Иначе говоря, небольшая по числу участников курия крупных плательщиков, включавшая 2,2% избирателей, назначала столько же гласных, сколько и многолюдная курия мелких плательщиков (87,1 % избирателей). Таким образом, Положение 1870 г. отдавало город всецело в руки крупной буржуазии.

Я сказал уже, что первым всесословным городским головой был мой старый друг, князь Александр Алексеевич Щербатов, который не только практически умел поставить управление на надлежащую ногу, но своею симпатическою натурою способен был вдохновлять городское общество, сообщая гласным воодушевлявший его благородный жар к общественному делу. Это было, бесспорно, лучшее время Московского городского управления, время юности и надежд. После шестилетней неутомимой работы, Щербатов почувствовал потребность отдыха. Он вышел, нашедши себе достойного преемника в князе Черкасском, который, хотя и не умел возбудить к себе всеобщее сочувствие, как его предшественник, но был человек с высшим умом, с громадною энергией, с благородными стремлениями, способный администратор. Для Москвы это был клад; но он пробыл всего два года. В 1871 г. он вышел, частью потому, что сам несколько тяготился мелкими городскими интересами после тех крупных государственных дел, которыми он призван был орудовать, частью вследствие поданного им адреса, который встречен был неблагосклонно со стороны государя. Говоря выше о Черкасском*, я уже сказал, что после долгого сопротивления адресу, на котором настаивали все, он наконец уступил, но решился не ограничиваться пошлою фразеологиею официальных документов, а воспользоваться случаем, чтобы высказаться в пользу расширения внутренней свободы. Он сумел даже убедить генерал-губернатора, что государь с восторгом примет этот адрес. Тот ожидал себе похвал, как вдруг последовала страшная нахлобучка. Князь Долгорукий сам рассказывал мне, что у него уже были уложены чемоданы, и что только благодаря заступничеству императрицы он остался на месте. С тех пор он сделался крайне осторожным в отношении к политическим заявлениям городских голов.

Выходя, Черкасский говорил, что теперь настало время выбрать купца. Место его заступил Лямин, один из московских миллионеров, человек неглупый, осторожный, хорошо заправлявший своими частными делами, но без всякого образования и как голова совершенно незначащий. На общественном поприще он прославился лишь тем, что отлично говорил наизусть речи, которые писал ему Аксаков. Но и он оставался недолго. В 1873 году всесословное устройство заменилось бессословным. Избиратели были разделены на три разряда, по количеству платимых ими податей. Вся сумма городских сборов делилась на три части. Самые крупные плательщики, которые уплачивали первую треть, составляли первый разряд, средние второй, а мелкие третий. Каждый разряд избирал равное с дру-

* См. т. 1 настоящего издания «Литературное движение в начале нового царствования» с. 333 –334

гими количество гласных; но так как крупных плательщиков было меньше, то они естественно получали перевес.

Эта система, заимствованная у Пруссии, отдала городское управление в руки купечества, которое своим богатством значительно возвышалось над остальными сословиями. Юридическая бессословность фактически повела к преобладанию одного сословия. Иного исхода трудно было ожидать, ибо подкладка все-таки оставалась сословною. Купцы, мещане, ремесленники образовали отдельные корпорации с своими старшинами и выборными. Дворяне, с своей стороны, составляли самостоятельную корпорацию, стоящую вне городского общества, хотя многие из его членов, владея домами в городе, входили в состав последнего. Но с развитием Москвы, как промышленного центра, особенно после освобождения крестьян, дворянство, в отношении к материальному благосостоянию, не могло соперничать с купечеством. Последнее имело значительное большинство в первых двух разрядах, и только в третьем оно находило оппозицию в низших сословиях, которые имели тут перевес. Может быть, шаг к бессословности сделан был слишком рано, прежде нежели была подготовлена для него почва. Он фактически был как бы возвращением к старому порядку, однако при расширенных условиях и со включением сторонних элементов.

Имущественный перевес естественно вызвал в купечестве стремление к преобладанию. Это сказалось уже в выборе первого головы. Помня заслуги Щербатова, многие из влиятельных лиц в городе предложили ему кандидатуру, и он принял ее, желая воспользоваться своею опытностью и авторитетом для утверждения нового порядка на правильных основаниях. По запискам он получил наибольшее число голосов, так что выбор его считался обеспеченным. За ним шел Лямин. Но при баллотировке оказалось не то: Лямин получил перевес и был утвержден головой. Только проявились, впрочем, не одни купеческие стремления. Это была маленькая гадость, главным виновником которой был сделавшийся городским секретарем Митрофан Павлович Щепкин, человек умный, с обширными экономическими сведениями, работящий, но не брезгавший косвенными путями для достижения своих целей. Он понимал, что при Щербатове он будет играть совершенно второстепенную роль, тогда как Ляминым он вертел, как хотел. Нужно было только переместить несколько голосов, чтобы дать перевес последнему, и все средства были пущены в ход для достижения этого результата.

Однако на этот раз торжество купечества имело весьма плачевный или, лучше сказать, комический исход. Новый голова надел присвоенный ему новым Городовым положением мундир и поехал представляться генерал-губернатору. Затем надобно было явиться к губернатору, Петру Павловичу Дурново. Лямин спросил у Долгору-

кого, следует ли ему также ехать в мундире. Долгорукий, который любил, чтобы ему почет оказывался гораздо больший, нежели другим, и который притом с Дурново был в дурных отношениях, сказал, что это будет лишнее. Лямин поехал представляться во фраке. Но Дурново, который не любил шутить и не стеснялся в выражениях своего неудовольствия, так его распек, что растерянный миллионер, не привыкший к такому обращению, тотчас подал в отставку и с тех пор уже в головы не совался.

На место его был выбран не купец, а чиновник Данило Данилович Шумахер, человек отличный, дельный, работящий, давно состоявший гласным и принимавший горячо к сердцу городские интересы. Однако и ему не посчастливилось. Последовало крушение Коммерческого банка вследствие биржевых спекуляций, в которые, под влиянием известного Струсберга, пустился председатель правления Полянский. Шумахер, который до Полянского занимал эту должность, держал в банке не только свои капиталы, но и капиталы опекаемых им племянников. В минуту малодушия он вынул все эти деньги, когда банк уже прекратил платежи. Это произвело очень неблагоприятное впечатление, и хотя он, одумавшись, внес их обратно, однако свирепый прокурор Манассеин, ныне министр юстиции, привлек его к следствию и суду. Шумахер подал в отставку, как от казенной, так и от общественной службы, и его отставка была принята. Он сел на скамью подсудимых, и хотя был оправдан, однако его карьера навсегда была кончена.*

Последовало довольно продолжительное междуцарствие, после которого опять был выбран купец, Сергей Михайлович Третьяков, человек мягкий, добрый, пользовавшийся общим расположением, но без характера. При нем главными заправилами были товарищ головы Сумбул и член Управы Петунников, оба люди в высшей сте-

* Коммерческий ссудный банк возник в период банковской горячки, наступившей после 1870 г. и сделался жертвою, как и ряд других банков того времени, недобросовестной биржевой спекуляции его заправил. Первое время председателем правления банка состоял Д. Д. Шумахер, а председателем совета – Вас. Мих. Бостанджогло, а затем Никан. Мартин. Борисовский; избранный в городские головы, Шумахер уступил место своей креатуре П. М. Полянскому, но продолжал принимать участие в деятельности банка в качестве члена правления. 5 октября 1875 г., вследствие неудачных операций, в которые правление дало себя втянуть известному аферисту Струсбергу, банк внезапно прекратил платежи, причем выяснилось, что накануне краха Шумахер вынул из банка свои вклады. Последнее обстоятельство дало повод для следствия и возбуждения уголовного преследования против членов правления и совета. Дело было назначено к слушанию уже 29 мая 1876 г. 21 октября состоялся приговор, по которому Струсберг, как иностранный подданный, был выслан за границу, члены правления Ландау и Полянский были приговорены к ссылке, Ландау удалось скрыться до приведения в исполнение приговора.

пени честные, независимые, трудолюбивые, но упрямые и кривотолки. Петунников в особенности приводил меня в изумление: он имел разнообразные и основательные сведения, был работник неутомимый; изучал всякое дело в подробностях, притом весьма неглупый, но всякий раз он бил вовсе не туда, куда следовало. После выхода из Управы он писал статьи по самым крупным вопросам городского хозяйства, и меня всегда поражало, что он без всякого лукавого умысла постоянно оставлял в стороне самое существенное и упорно выезжал на второстепенных пунктах, что естественно придавало делу совершенно ложное освещение. Вдобавок все это приправлялось язвительными выходками и самоуверенным тоном, которые делали его писания крайне непривлекательными. И он, и Сумбул питали к Думе полнейшее презрение и считали себя вправе все делать собственною властью. Не мудрено, что они гласных поставили на дыбы. Дело кончилось скандалом по поводу введения нового хозяйства в Сокольничьей роще, о котором Дума не была спрошена. После бурного заседания Третьяков подал в отставку и уехал за границу. Вместе с ними просили об увольнении Сумубл, Петунников и член Управы Холмский. В таком положении застал я городское управление. После всех этих тревог, при таком возбуждении страстей первая задача состояла, разумеется, в том, чтобы поладить с Думою. Она была главным хозяином города, собранием его представителей. С нею прежде всего надобно было считаться.

Большинство в ней, как сказано, принадлежало купцам. Из старого дворянства влиятельными гласными оставались Щербатов и Дмитрий Самарин. С ними всегда совещались по всем важным делам; но непосредственно в прениях Думы они принимали мало участия. Щербатов всю первую половину 82-го года был за границею, а по возвращении редко посещал заседания. На Самарина частью перешел тот почет, которым некогда пользовался старший брат его Юрий Федорович, который был одним из самых деятельных и авторитетных членов Думы, но и сам он вполне мог поддержать свое значение. Это был человек в высшей степени благородный и добросовестный, притом работящий, способный изучить и написать целые фолианты, вникающий во все подробности дела, за которое он принимался, вдобавок обладающий даром слова. Он был председателем Совета попечителей и попечительниц городских училищ; но в Думе он говорил редко и неохотно, только по особенно важным вопросам. Еще молчаливее был Александр Иванович Кошелев, который к тому же был глух; но он был полезным членом финансовой комиссии. Я всегда находил в нем дельную поддержку в правильном ведении городского хозяйства.

Из других лиц, не принадлежавших к купеческому сословию, выделялись медики и профессора: добросовестный и основатель-

ный, хотя далеко не всегда практический Герье* и вовсе неосновательный Муромцев, доктора Черинов, Маклаков, Гагман. Медики имели существенное значение по санитарной и больничной части, которые составляли важную отрасль городского управления. В юридической комиссии, рассматривавшей разные жалобы, председательствовал дельный, хотя довольно радикальный адвокат Пржевальский, брат знаменитого путешественника**. Другой, еще более известный, адвокат Плевако был председателем Комиссии о пользах и нуждах, место, которое с таким блеском занимал некогда Юрий Федорович Самарин. Но несмотря на свой талант, Плевако стоял неизмеримо ниже своего предшественника: к городским делам он вообще относился весьма легко, а когда представлял доклад, то выезжал больше на фразах. В Комиссии об обязательных постановлениях работал председатель Мирового съезда Петр Николаевич Греков, о котором я уже говорил выше. Но главным деятелем был тут Николай Сергеевич Четвериков, добросовестный канцелярский чиновник, для которого буква закона был важнее всего. В специальных комиссиях, избираемых временно по тем или другим вопросам, нередко председательствовал упомянутый выше член Судебной палаты Охлябинин, который пользовался в Думе общим уважением, хотя практическое дело было не совсем по нем. Нельзя не упомянуть наконец и о девяностолетнем старце Грудеве, который заседал и поныне заседает в Думе более в качестве мощей.

Купеческое большинство было вообще невысокого уровня. Образования было очень мало, а участия к общественному делу, пожалуй, еще меньше. Работать умели весьма немногие; большая часть сидела молча и только подавала голос за своими вожаками. Добродетельною вывескою сословия был почтенный Василий Дмитриевич Аксенов, а главным заправилой Николай Александрович Найденов, председатель Биржевого комитета, представитель фирмы, существующей в Москве более ста лет и имеющий свой дом с обширным поместьем на Яузе, чем он очень гордился. Найденов был человек очень умный и деловой, но хитрый, преследующий свои личные цели и на которого никак нельзя было положиться. Для него интерес купеческого сословия был несравненно выше городского, а свое личное значение выше всего. Это выражалось иногда довольно бесцеремонно. Так, например, при обсуждении санитарных мер насчет скота мне потребовались некоторые сведения о скотопригонном рынке, который находился в ведении купеческого общества, хотя

* В начале 80-х годов в правительственных сферах Петербурга В. И. Герье представляли как «известного московского агитатор а и оратора». (Письма Победоносцева к Александру III, т. I, стр. 319).

** Николая Михайловича Пржевальского.

было сомнение, не должен ли он по праву принадлежать городу. Я обратился к недавно выбранному купеческому старшине Кольчугину, который обещал их составить. Когда я упомянул об этом в разговоре с Найденовым, он с некоторым азартом воскликнул. «Это он еще тут без году неделя; посмотрим, какие он даст сведения!». Действительно, я их не получил. В заседания Думы Найденов являлся не часто и говорил только по крупным финансовым вопросам; но как истинный московский патриот, готов был поддерживать все, что могло вести к возвеличению столицы.

За Найденовым следовали представители богатых торговых и фабричных московских фирм: Гучков, Ганешин, Ширяев, Залогин, всеми любимый и уважаемый Иван Кузьмич Бакланов, бывший с нами членом Барановской комиссии, Горбов, имевший несколько высшее образование и интересовавшийся школьным делом, братья Бахрушины, из которых Василий Алексеевич, человек удивительной доброты и чистоты, был главным двигателем сделанного ими основания названной их именем больницы. Это не мешало ему в то же время настойчиво добиваться грошевой уступки, вопреки установленным правилам, за помещение, нанимаемое ими на городском общественном дворе. Это было как раз вслед за пожертвованием; Герье, который случайно был свидетелем этого странного торга, пришел в изумление от этой черты русских купеческих нравов. К той же партии принадлежал и средней руки купец Осипов, в то время один из самых деятельных членов Думы, человек умный и толковый, но совершенно лишенный образования, с грубыми приемами и без всякой нравственной подкладки. Он был председателем Комиссии о мостовых, которая сама стремилась заведывать этим делом и от которой Управе часто приходилось защищаться. По этому поводу у меня было с ним довольно характеристическое столкновение, окончившееся благополучно. В заседании Думы в ответ на мое возражение по вопросу о мостовых, он сказал: «Городской голова заявил то-то; это – неправда». Я не успел еще сказать слова, как в собрании поднялся неописанный шум; все встали с места и закричали на Осипова: «вон! вон!» Тот в сердцах объявил, что не хочет более заседать в собрании и слагает с себя звание гласного; с тем он и вышел. Я благодарил Думу за поддержку. Однако, одумавшись, он понял, что был кругом виноват. Через день явились ко мне от него депутаты, В. А. Бахрушин и, кажется, Кольчугин, с извинением, прося как-нибудь уладить дело. Я сказал, что всегда был уверен, что необдуманное слово вырвалось у него в запальчивости, без всякого умысла, и как скоро он извиняется, так я считаю свое личное дело поконченным; но он оскорбил Думу, перед которой он должен извиниться письменно. Набросан был проект письма. Меня просили дать Осипову возможность оставаться гласным. Я отвечал, что Думе не-

прилично его о том просить, но полагал, что после принесенного им извинения, я могу обратиться к Думе с просьбою разрешить мне сделать это от своего имени. О своем намерении я сообщил гласным, которые приехали ко мне с изъявлением сожаления по поводу происшедшей неприятности. Дума сочла нужным сделать большую манифестацию. Целою вереницею явились ко мне гласные на дом, признак порядочности чувств, одушевлявших собрание. В следующем заседании прочтено было редактированное мною извинительное письмо Осипова. Я просил Думу считать это дело поконченным и в знак примирения, чтобы не осталось от него и следа, позволить мне лично от себя просить Осипова взять назад свое заявление о выходе из гласных. Так и было сделано. Враги Осипова, которых было не мало, ибо он был одним из главных деятелей в походе, поведшем к отставке Третьякова, были этим недовольны и на меня за это пеняли; но я приобрел расположение, как самого виновника этих приключений, так и всех благоразумных и миролюбивых членов Думы. Не долго, впрочем, Осипов продолжал принимать деятельное участие в делах Московского городского управления. Вскоре он был выбран председателем Нижегородского биржевого комитета, и это отвлекло его в другую сторону.

Если старые купцы были вообще приверженцами Найденова, то молодые, напротив, стояли в резкой к нему оппозиции. Из них более всех выделялся Алексеев, которого тогда уже прочили мне в преемники, и который впоследствии сделался почти полновластным городским головой. Он был представителем одной из старейших и богатейших фирм в Москве. Мать его была гречанка, рожденная Бостанжогло*, и сам он соединил в себе хитрость и уклончивость грека с широкой разнузданностью русской натуры. Очень умный, необыкновенно живой, даровитый, энергический, неутомимый в работе, с большим практическим смыслом, обладающий даром слова, он как будто создан был для того, чтобы командовать и распоряжаться. Всякому делу, за которое он принимался, он отдавался весь; оно у него кипело, и он упорно и настойчиво доводил его до конца. Но образование он получил весьма скудное; воспитание не приучило его сдерживать необузданность в сущности несколько грубой натуры. Умом понимая благородные потребности и побуждения, умея подчас идти с ними в полном согласии, он нередко своими резкими приемами оскорблял не только утонченные понятия изящного, но

* Елизавета Михайловна, жена Александра Владимировича Алексеева (1821 – 1882), была дочь Мих. Ив. Бостанджогло (1826 – 1891) и сестра видных московских негоциантов, членов московского отделения совета торговли и мануфактур, Бостанджогло Василия Михайловича (1826 – 1876), занимавшего с 1867 г. должность старшины московского купеческого сословия, председателя совета Московской практической академии, и Николая Михайловича (1826 – 1891).

и простое чувство приличия. Этим он многих отталкивал от себя; зато многих привлекал своею даровитостью, а на других действовал своим сильным характером. В то время он не успел еще выказаться вполне и имел, можно сказать, более врагов, нежели друзей. Старые купцы его не любили; с Найденовым он был на ножах. Но я и тогда и впоследствии был с ним в наилучших отношениях. Меня пленяли блестящие и благородные стороны этой необыкновенно богатой натуры, а вместе подкупало то неизменное расположение, которое он всегда мне оказывал. Даже после моей отставки, когда я был в опале, открывая городское училище, учрежденное им в память своего отца, он в деревню прислал мне приглашение с письмом, которое меня тронуло, а затем и приветственную телеграмму. Сделавшись головой, он настаивал на том, чтобы я остался гласным в Думе, хотя я не жил более в Москве. С удовольствием отмечаю эти черты, которые показывают, что этот сын нашего русского купеческого сословия не раболепствовал перед властью, а умел держать себя независимо. Трагическая его смерть, застигшая его, по собственному его выражению, как солдата на посту, загладила все его темные стороны. Как блестящий метеор, он пронесся над Москвою, которая его не забудет.*

С Алексеевым рука об руку шли Шилов и Рукавишников. Одно время у них собирались поочередно, чтобы потолковать о думских делах и сговориться насчет тех или других вопросов. Шилов был купец среднего состояния, без образования, но весьма неглупый, сдержанный, практический. Он принимал живое участие в городских делах, изучал все доклады, говорил часто и нередко дельно, председательствовал в комиссиях, где вел дело основательно. Рукавишников, напротив, вследствие природной робости самолюбия, никогда не пускался в прения и редко участвовал в комиссиях. В собрании я не слыхал его голоса, но в личных отношениях находил его очень приятным. Студент Московского университета, с хорошими внешними формами, обладатель большого состояния, неглупый и деловитый, он весь был предан основанному его умершим братом приюту для малолетних преступников**. Под его руководством это

---

* Один современник Б. Н. Чичерина по Московской городской думе в своих неизданных записках так характеризует Н. А. Алексеева: «Молодой Алексеев, как по фамильной традиции, так и по властолюбивому темпераменту свыкся с призванием руководить людьми. Образованием он не стоял высоко, в обращении был резок, а иногда даже дерзок, но он был умен и способен войти в круг идей, которые ему были чужды».

** Николай Васильевич Рукавишников с 1870 г. но 1875 г. был директором основанного в 1864 г. в Москве «Общества распространения полезных книг». После его смерти братья Николая Васильевича, Константин и Илья Васильевичи, внесли в кассу городской управы специальный капитал на содержание приюта.

заведение шло отлично, и он приносил для него большие жертвы. Однажды он приехал ко мне в Управу: «Вы знаете, – сказал он, – я человек боязливый; мне все как-то совестно перед Думой, что я ввожу ее в слишком большие расходы. Так вот я привез вам 50000 рублей для покрытия процентами лишних издержек». И он тут же передал мне эту сумму из рук в руки. После смерти Алексеева, он почти против воли, уступая настойчивым просьбам и видя безвыходное положение, стал городским головой. Думаю, что лучшего выбора нельзя было сделать.

Из молодых купцов полезным членом Думы был Епанешников, тихий, скромный, добросовестный работник, умевший хорошо излагать свои мысли по финансовым вопросам, которые были его специальностью. Симпатическое впечатление производил и богатый, молодой Лепешкин, основатель общежития для студентов, которое отлично и совершенно втихомолку шло под руководством известного земского статистика В. И. Орлова. Особенную преданность ко мне выказывал Дунаев, который не раз даже приезжал совещаться со мною о своих личных делах и впоследствии сохранил ко мне неизменно хорошее расположение. Зато вовсе невыгодное впечатление производил принадлежавший также к поколению молодых купцов Иван Николаевич Мамонтов*. Заика и кривотолк, он говорил обо всем, придумывал и представлял самые обширные проекты, которые он отстаивал с величайшим упорством, но без малейшего практического смысла. Это была такая же язва собрания, как инженер Попов, который по всем техническим вопросам говорил бестолковые речи. В мое время несколько присмирела третья язва, выезжавший на громких либеральных фразах купец Ланин; он изредка продолжал еще разглагольствовать в собраниях, но большею частью довольствовался издаваемым им «Русским курьером». Из этих говорунов Мамонтов был самый неугомонный. Своею назойливостью он получил, однако, такой авторитет, что состоял председателем финансовой комиссии, одной из важнейших, и пользовался порядочною популярностью в третьем разряде гласных. Впоследствии они даже выставляли его своим кандидатом в городские головы.

Этот третий разряд, носивший прозвание текинцев**, состоял из мещан и ремесленников. В числе их было несколько совершенно

---

* По несколько ехидному замечанию современника, И. Н. Мамонтов «был предприимчив и не умел сообразоваться со своими силами и средствами».

** Текинцы (теке) – воинственное туркменское племя, населявшее Ахал-Текинский оазис на север от гор Копет-Даг, в Средней Азии; текинцы промышляли разбоем и своими набегами постоянно тревожили соседние области Персии. С 1879 г. началось военное наступление на Ахал-Текинский оазис русских войск, завершившееся взятием крепости Геок-Тепе 12 января 1883 г. В устах думской интеллигенции прозвище «текинцы» означало то же самое, что «разбойники».

нестерпимых болтунов: Жадаев*, Киселев, Серебряков, Смирнов. Иные из них были невежественно добродушны, другие себе на уме. Совались они всюду, говорили ежеминутно, обо всем и без всякого толку. Но зато это была единственная партия, крепко сплоченная и принимавшая живо к сердцу все городские дела. Они являлись почти всегда в полном составе, знали, чего хотели, и подавали голос, как один человек. Вследствие этого, при малейшем колебании или при недостаточном числе гласных из других разрядов, они получали перевес. Я говорил иногда, что наша Дума представляет отсутствующее дворянство, равнодушное купечество и наглую демократию.

При таких элементах надобно было держать ухо востро и подробно изучить каждое дело, чтобы всегда быть готовым отвечать на малейшее возражение. Это было тем необходимее, что председатель собрания был вместе с тем ответственным лицом за управление, следовательно предметом критики. Многие находили и находят такую двойственность положения неудобною и стоят за разделение этих двух должностей. Я не держусь этого мнения. Значение городского головы, непосредственно подчиненного правительственной власти, и без того достаточно стеснено; с разделением должностей оно еще более умалится. Голова потеряет всякую самостоятельность; он перестанет быть представителем города, а превратится в подчиненное орудие городского общества, останется предметом критики без соответствующего авторитета. С своей стороны, председатель собрания не приобретет значения, потерянного исполнительным органом. Не заведуя управлением, не будучи ответственным за дела, он не может иметь и того веса, который дается ведением дела, и не в состоянии отстаивать, как следует, городские интересы. И хорошо еще, если эти два лица будут действовать согласно; в случае розни, которая, при столкновении человеческих самолюбий, составляет явление заурядное, будут одинаково страдать и значение лиц, и интересы города. Такого исхода могут желать только те, которые стремятся к ослаблению и принижению городского управления, а не те, которые стоят за большую или меньшую его самостоятельность. Конечно, соединение председательства с исполнительною властью имеет свои невыгодные стороны; но они налагают только на председателя обязанность быть осторожным и не подавать повода к нареканиям деспотическим стеснением критики. Я постоянно держался этого правила. Меня даже упрекали в том, что я предоставляю слишком много простора пустой болтовне. Но я всегда думал и ду-

* Жадаев – «человек невысокого роста, в чуйке, говоривший очень бегло, но малограмотный, чрезвычайно рьяно, хотя и не всегда кстати, врывавшийся в прения», – как характеризует его автор неизданных записок.

маю, что председатель общественного собрания обязан давать высказаться всем, не допуская только уклонений в сторону от вопроса и направляя прения к надлежащей цели, что всего легче сделать председателю, который есть вместе исполнитель, ибо он во всякую минуту может дать надлежащие объяснения и указать важнейшие пункты. Алексеев вел дело иначе; он резко прекращал всякую болтовню, но зато собрание лишилось самостоятельности и превратилось в послушное орудие головы, что в общественном самоуправлении вовсе не желательно.

Меня упрекали в том, что я лично слишком часто вмешиваюсь в прения, вместо того, чтобы предоставить объяснения по делам членам Управы, заведующим отдельными частями городского хозяйства. Но в этом отношении я был поставлен в особенное положение. Я в членах Управы находил хороших помощников в практическом ведении дела, но ни один из них не был в состоянии толково объясняться в собрании. Управа, при моем вступлении, подверглась значительным изменениям. Вместе с Третьяковым вышли все речистые члены: Сумбул, Петунников и Холмский. Место товарища городского головы занял старейший член Управы, Михаил Федорович Ушаков. Я решил его предложить после многих размышлений. Для меня, приступающего к совершенно новому для меня делу, было существенно важно иметь хорошего товарища. Но люди были мне столь же мало знакомы, как и дела. Я должен был полагаться на чужие рекомендации. Некоторые лица, которые были желательны, отказывались; другие, которых мне навязывали, были, напротив, вовсе не желательны. Генерал-губернатор рекомендовал мне своего родственника, земского кривотолка Оленина. Я отвечал, что будучи совершенно новым человеком, я не могу от себя проводить никого, а должен наперед осведомиться, какие есть шансы для выбора. Собравши справки, я сказал князю Долгорукову, что у Оленина шансов нет никаких, и я не могу взять на себя подвергнуть его родственника опасности быть забаллотированным. Сумбул советовал мне временно взять Ушакова, а там я увижу, ибо через год наступал законный срок для выбора товарища. Я так и сделал; но когда срок наступил, и мне предлагали разных кандидатов, я сказал, что я Михаила Федоровича обойти не могу. Так он и остался доселе товарищем городского головы.

Во многих отношениях это был полезный помощник. Он хорошо знал формальную часть дела; в этом на него можно было вполне положиться. Притом он был человек добрый, мягкий, любимый подчиненными. Председательствовать в Управе для текущих дел и заведовать личным составом было настоящим его призванием, которое он исполнял самым добросовестным образом. Но держать людей в руках и направлять их он был не в состоянии. Для него сделать чело-

веку замечание было подвигом, на который он решался с трудом. Однажды Управа заседала под его председательством, а я сидел сбоку и слушал. Оказался крупный недосмотр одного из городских архитекторов, который пользовался некоторым почетом. Я настаивал на том, чтобы ему сделать выговор, в назидание остальным; но Михаил Федорович смотрел на это даже с каким-то испугом. Наконец, он обратился ко мне: «Ну, если вы так на этом настаиваете, так подпишите сами». «Эго я сделаю с величайшим удовольствием», – отвечал я и тут же подписал, а за мною и остальные. В другой раз я просил его сказать экзекутору, чтобы он подал в отставку. Несколько дней спустя, я спросил его, сделано ли это. «Представьте, ведь он не хочет уходить», – отвечал он с выражением полного недоумения. Я принужден был сам призвать экзекутора и объявить ему, что если он сам не подаст в отставку, то он будет уволен. При такой осторожности и нерешительности трудно было поручить ему какое-нибудь крупное дело, особенно требовавшее некоторой инициативы. Я возложил на него, между прочим, доклад по полицейской типографии, поступившей в ведение города. Он действительно написал довольно обширный доклад; но я был им не совсем доволен и указал ему на необходимость некоторых изменений. Эти изменения никогда не последовали; не знаю даже, был ли доклад когда-либо представлен в Думу.

В собрании же Ушаков совершенно терялся. Скромный, тихий, боязливый, он не только не имел достаточной уверенности в себе, но не мог даже ясно высказать свою мысль. Случалось, что поутру он мне рассказывал дело совершенно отчетливо и толково, а когда я просил его вечером представить эти объяснения собранию, выходило совсем не то. Волею или неволею приходилось самому вмешиваться в прения.

Вместе с товарищем головы обновилась и вся Управа. На место выбывших членов выбраны были Трунин, Попов и Созонович. Вскоре вышел и Башкиров, которого заменил Бабаев. Из старых членов оставался один Кознов, человек не глупый, но далеко не деятельный; он вел свое скромное отделение и мало вступался в остальные дела. Трунин и Попов были инженеры. Первый, бывший управляющий Московско-Брестской железной дороги, был отличный человек, с литературным образованием, переводчик Фауста, знающий свое дело, но довольно неповоротливый и несколько ленивый. Попов, служивший прежде в земстве и вместе преподаватель в Петровской академии, был, напротив, деятелен и распорядителен; он подробно изучал всякое поручаемое ему дело; но насколько на него можно было положиться, не могу сказать. Лично я не имел повода на него жаловаться, а вскоре после меня он оставил Управу. Присутствие в Управе двух инженеров было для меня большим пособием. По всякому

техническому вопросу, а их было не мало, можно было устроить совещание и рассмотреть дело с разных сторон. Созонович, которому вверено было строительное отделение, был человек отличных свойств, но мягкий, как воск, и еще молчаливее и боязливее Ушакова. Держать в руках городских архитекторов он был решительно не в состоянии, вследствие чего в его отделение легко могли вкрадываться разные злоупотребления. Вполне отличный человек был и Бабаев, которому поручена была воинская часть. Впоследствии он сделался городским секретарем, заступив место внезапно умершего Строльмана, который еще до меня и при мне занимал эту должность. О нем ничего не могу сказать ни хорошего, ни дурного. Говорили про него, что он и нашим и вашим; но со мною он был всегда в очень хороших отношениях, добросовестно исполнял свою весьма немногосложную обязанность, влияния же не имел никакого и, надобно сказать к его чести, не добивался ничего.

Был еще член Управы, в ведении которого находились многочисленные городские училища. Занимавший эту должность Басистов умер летом 1882 года; надобно было его заменить. Я был в большом недоумении. Представлялось несколько кандидатов, но ни одного сколько-нибудь выдающегося или заявившего себя педагогическими способностями. В это время кто-то из знакомых барона Корфа, известного педагога, сообщил мне, что он был бы не прочь занять это место. Корф пользовался большою репутацией. Он был одним из главных инициаторов школьного дела в России. Некогда передовое Новгородское земство его чествовало и носило на руках. Юрий Федорович Самарин, занявшись народной педагогией, говорил о нем с большим уважением. Лично я встретился с ним в Петербурге, и он произвел на меня очень хорошее впечатление, как человек живой и вполне преданный своему делу. Я поручил его приятелю разведать обстоятельно о его намерениях, а между тем принялся за чтение его книг, которые мне понравились. К сожалению, не с кем было потолковать основательно об этой кандидатуре. Время было летнее, и купцы были на Нижегородской ярмарке. Дмитрий Самарин, который в школьном деле считался главным авторитетом, находился еще в деревне. Но те гласные, с которыми мне доводилось говорить, сильно стояли за Корфа. Ко мне заехал Сумбул, который, узнавши о возможности иметь такого корифея народной школы, сказал, что о другом нечего и думать. На беду в это самое время Корф напечатал статью против затевавшихся тогда церковно-приходских училищ, за что «Московские ведомости» обрушились на него с обычною своей бесстыдною бранью. Прочитав статью Корфа, я нашел ее совершенно разумною и умеренною. Нападки московской газеты отличались всегдашнею ее бессовестностью; но на часть публики они произвели впечатление.

Я решился, как только станут собираться гласные, созвать их на частное совещание по этому делу. Это я учинял всегда в библиотечной зале находившегося наверху музея в доме князя Голицына. Собрание было многочисленное, и прения весьма оживленные. Нападки на Корфа за антирелигиозное направление легко было устранить выдержками из его сочинений. С некоторым опасением смотрели на его кандидатуру попечители и попечительницы городских школ, которые ревниво оберегали свою самостоятельность и боялись, что он будет на нее посягать. Но я представил им, что Корф будет давать только советы, а собственною властью, без попечителей и Управы, ничего не может ввести. Сильно поддерживали его прогрессисты, с Кошелевым во главе; за него стоял также Алексеев, а равно и весь третий разряд гласных. Но старые благочестивые купцы были не совсем довольны. Аксенов даже не приехал в собрание, что было плохим знаком. Однако значительное большинство высказалось за кандидатуру Корфа. Он и по запискам из всех предложенных кандидатов получил наибольшее число голосов, вследствие чего я написал ему пригласительное письмо. В это время подъехал и Дмитрий Самарин, который был против него предубежден; но когда я дал ему прочесть сочинения Корфа, он с ним примирился и обещал свою поддержку.

Вскоре явился и сам Корф. Я познакомил его со всеми и ввел его в собрание гласных. Вообще он произвел хорошее впечатление. Дело, казалось, шло на лад, как вдруг все разом перевернулось. Именно в ту минуту, когда требовалась крайняя осторожность, наивный барон напечатал в одном из петербургских журналов, кажется в «Голосе», статью, наполненную восторженными похвалами новой французской народной школе. Начитавшись в «Journal Pedagogique» о тех громадных издержках, которые делаются во Франции для народного образования, и забывши о вызванном специальными политическими условиями чисто светском характере школы, идущем совершенно в разрез с потребностями России, забывши и о разных антирелигиозных демонстрациях, которые всего более производили впечатление на русскую публику, он указывал на Францию, как на образец, которому надобно следовать, и возвещал, что отныне там, а не в Германии, нам приходится учиться. Нельзя было скомпрометировать себя более неловким образом. Это значило прямо отнять у себя всякую почву.

Я ничего не знал об этой статье. Однажды, вернувшись домой, я нашел ее у себя на столе, с запиской Дмитрия Самарина. «Нельзя было оказать себе более медвежью услугу, – писал он, – как выступив теперь с статьею, которая баллотировке лица на довольно второстепенную должность придает политическую окраску, между тем как именно эту окраску следовало стараться с нее снять. Эта статья име-

ет характер задорный: выступать перед публикой с такою статьей, в то время, как он более или менее келейно старается установить взгляд на себя, благоприятный для его баллотировки, по моему мнению, не совсем честно; либо, наконец, он уж очень тупоумен».

Прочитавши статью и зная настроение московского общества, я тотчас понял, что о кандидатуре Корфа не может быть более речи. Он был бы забаллотирован огромным большинством. Я прямо сказал это Самарину. Действительно, за него еще усерднее продолжали стоять одни радикалы, которые увидели в нем союзника, но масса, от которой зависел исход, от него отшатнулась.

Положение было неприятное. Приходилось отказываться от кандидатуры, которую я сам выставил. Я поехал к Корфу, откровенно изложил ему все обстоятельства дела и советовал взять свою кандидатуру назад в виду тех пререканий, которые она возбуждает в московском городском обществе. Повод был благовидный и совершенно достаточный. К сожалению, он этому совету не последовал. Кошелев с компанией сбили его с толку. Я получил от него письмо, в котором он объяснял, что ему несравненно легче перенести забаллотирование, нежели отказаться от баллотировки. «Последнее, – писал он, – значило бы признать себя виновным в чем-то предосудительном, лишающем меня права, в моих собственных глазах, баллотироваться; или же проявить отсутствие гражданского мужества, которое между тем, руководило до сих пор всею моею жизнью». Он уверял даже, что его отступление могло бы бросить тень на мою деятельность в отношении к его кандидатуре, между тем как именно его настойчивость ставила меня в неловкое положение, а отступление, по моему же совету, в виду возбужденных раздоров, не компрометировало никого. Обсудив дело с Щербатовым и Самариным, я созвал к себе новое, еще более многолюдное, собрание гласных. Я открыл его пространною речью, в которой выставил все заслуги барона Корфа, привел цитаты из его сочинений, доказывающие вполне правильный и консервативный его образ мыслей в педагогическом деле, а затем высказал, почему я после напечатанной им статьи не могу долее поддерживать его кандидатуру, вызывающую недоумение в самых искренних людях и вселяющую раздор в Московское городское общество. После меня Дмитрий Самарин изложил свои колебания, намерение поддерживать кандидатуру Корфа по прочтении его сочинений и затем перемену мнения после статьи в «Голосе». В том же смысле говорил и старик Горбов, который принимал живое участие в учебном деле. В результате мне поручено было просить барона Корфа от имени гласных снять свою кандидатуру. Это я исполнил следующим письмом:

«Милостивый государь, Николай Александрович, собрание гласных, бывшее у меня вчера, признало нежелательным выставление

кандидатуры, имеющей такую возбуждающую недоумение окраску, какую получила Ваша в настоящее время; но с другой стороны, вполне ценя ваши заслуги по делу народного образования и не желая подвергать вас шансам баллотировки, оно поручило мне просить Вас снять свою кандидатуру, в виду того разлада, который он вносит в Московское городское общество.

Исполняя это поручение, не могу не выразить вам искреннего сожаления по поводу оборота, который приняло это дело. Прошу вас вместе с тем быть уверенным в глубочайшем моем уважении и преданности».

Я нарочно сделал это сообщение письменно, чтобы дать ему возможность отвечать не с глазу на глаз, а перед лицом публики. Я сам повез ему письмо и предложил напечатать его вместе с ответом. Он согласился. Ответа я не сохранил в своих бумагах, но он был напечатан во всех газетах. Аксаков находил, что Корф придавал себе эффектную роль, и что я напрасно предоставил ему все выгоды положения. Но я считал своею обязанностью, вызвав почтенного человека, дать ему возможность отступить с честью. Мы с Корфом расстались друзьями, хотя он был очень огорчен таким исходом дела. Говорили, что это даже ускорило его кончину.

Напечатание письма и ответа последовало уже после заседания Думы, на котором происходила баллотировка. Собралось великое множество гласных и публики; возбуждение было большое. Аксенов говорил мне, что вся эта толпа пришла, чтобы забаллотировать Корфа. Открывши заседание, я, сидя, что было замечено, спокойно объявил, что барон Корф снимает свою кандидатуру и вкратце рассказал причины. Нервное напряжение собрания разом отошло. Муромцев хотел говорить. Я сказал, что, по моему мнению, этот вопрос не подлежит обсуждению, а впрочем, как угодно собранию. Я поставил вопрос на голоса; прения были отклонены. Вместо Корфа был выбран учитель гимназии Лебедев, человек отличный, тихий, скромный, но вовсе не выдающийся педагог. Радикалы сорвали сердце в язвительной статейке, которая осталась без ответа.

Возбуждение массы сделалось для меня понятным, когда я после узнал о тех интригах, которые велись за кулисами. Еще до появления статьи Корфа приехал в Москву Победоносцев. Он пригласил меня шествовать с ним вместе на крестном ходе 12 октября, который совершается ежегодно в память освобождения Москвы от французов. Идя с ним рядом, я в разговоре между прочим сказал: «А вы знаете, что мы для училищной части приглашаем барона Корфа». Он, подумав немного, отвечал: «Я бы Корфа не взял». «Что же вы против него имеете?» спросил я. Он уклонился от ответа. Вскоре мы вошли в собор и разговор прекратился. И что же я узнал впоследствии? Победоносцев писал самые настойчивые письма епископу

Амвросию, Аксенову и Найденову, убеждая их действовать на всех честных людей и всеми силами восставать против кандидатуры Корфа, которая, по его словам, составляла позор для Москвы*. Амвросий действительно собирал купцов и читал им письмо Победоносцева, которое, однако, надобно сказать, производило на многих слушателей скорее дурное впечатление. Вмешательство обер-прокурора в думскую кандидатуру гласные считали неприличным. Меня он, очевидно, не причислял к разряду честных людей, а потому и не старался меня убедить. Любопытнее всего, что он сам лично мне во всем этом признался, когда я стал упрекать его в таком образе действия.

Так кончилось это дело, которое было одним из наиболее бурных эпизодов моей общественной службы. Из этого можно видеть, как бережно и осторожно надобно было относиться к настроению Думы. Будучи новым человеком, я не успел еще приобрести надлежащего авторитета, а Управа издавна внушала к себе недоверие. За нею зорко следили; каждое лыко ставилось в строку. Были гласные, особенно из третьего разряда, которые старались всюду совать свой нос и отыскать какой-нибудь недосмотр. И под этим публичным и мелочным контролем приходилось вести обширное и сложное хозяйство, неся за него полную ответственность. Если текущие мелкие дела ведались Управою, то все сколько-нибудь крупные дела сосредоточивались в руках головы. Надобно было все изучить и всему дать направление. Мостовые, железноконные дороги, газовое и электрическое освещение, по которым приходилось заключать новые контракты, водопроводы, которые требовалось значительно расширить, планы канализации, свалки нечистот, составлявшие больное место городского хозяйства, пожарный обоз, который надобно было ремонтировать, больницы, школы, поддержание многочисленных городских строений и возведение новых, расквартирование наполняющих столицу войск и содержание казарм, наконец рекрутский набор, который поглощал целый месяц, все это требовало бдительного внимания, а нередко и быстрых распоряжений. К этому присоединялась необходимость знакомиться с делопроизводством Управы, ревизовать отделения. Для человека, совершенно незнакомого со всеми этими отраслями, это был целый новый мир практических дел, внезапно обрушившийся на голову. Я ежедневно в десять часов

* См. ответ Н. А. Найденова (от 18 окт. 1882 г.) на письмо К. П. Победоносцева (от 15 окт.) с уведомлением о ходе дела с кандидатурой Корфа («К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки», т. I, Novum Regnum, стр. 294 – 296). Знакомство Победоносцева с Найденовым началось с 1879 г., когда он приезжал в Москву между прочим для переговоров с московскими чаеторговцами о перевозке грузов на судах Добровольного флота. (Письма Победоносцева к Александру III, т. I, стр. 240).

утра отправлялся в Управу. В доме графа Шереметьева, на Воздвиженке, который в то время нанимался городским управлением, у головы не было даже отдельного кабинета*. Ему предоставлен был только маленький столик в углу залы, где заседала Управа, под образами как называли это место. Сюда с самого утра стекались всякого рода просители и деловые люди. Обыкновенно я сидел тут до двух или трех часов, если не было объездов и осмотров, что случалось довольно часто. Вечером, кроме еженедельных, а при обсуждении сметы и более частых заседаний Думы, бывали комиссии, в которых надобно было присутствовать, или домашние совещания о разных делах. Мне лично приходилось пересматривать все представляемые Управою доклады. Раза два случилось даже писать доклады самому, что для городского головы было делом неслыханным. Подготовление сметы всегда происходило под моим председательством. Наконец, много времени поглощалось разными официальными представлениями и торжествами. Приходилось даже по пустейшим делам заседать в сословном суде, этом нелепейшем из произведений реакции. Одним словом, дела было по горло. Однако я этим вовсе не тяготился. После кабинетных занятий я находил даже удовольствие в этих бесконечно разнообразных столкновениях с новыми людьми и с новыми отношениями. В первый раз мне приходилось стоять во главе крупного общественного управления и вести его по собственной мысли и под собственною ответственностью. Административная школа была отличная. К сожалению, она оказалась для меня совершенно бесполезною, ибо дальнейшего приложения она не имела.

Первая существенная задача состояла в приведении в порядок городских финансов. Смета на 1882 год, составленная еще прежнею Управою, простиралась до 6164000 рублей, при чем оказывалось 1 200000 рублей дефицита, которые предполагалось покрыть из так называемого запасного капитала, более или менее фиктивной суммы, никогда не обретавшейся в наличности, и состоявшей в недоимках и обороте. Правда, в этот громадный недочет входили экстраординарные расходы, которые в правильном хозяйстве не могли быть отнесены на текущие доходы, как то: 38000 рублей на постройку Ново-Устинского моста и 53000 на постройку Мало-Устинского моста. Были и другие постройки, часть которых вовсе не была безотлагательна. Сверх того можно было надеяться и на более или менее значительную экономию при ремонте зданий. Издавна смета вообще и эта в особенности несколько вздувалась, из опасения, чтобы правительство не вздумало налагать на город новые расходы. Но

* Дом гр. С. Д. Шереметева на Б. Воздвиженке; в собственное здание Городская Дума перешла при Н. А. Алексееве. Впоследствии в доме Шереметева помещался так называемый Охотничий клуб.

все же финансовое положение было таково, что оно требовало чрезвычайных мер. Финансовая комиссия, рассматривавшая смету, остановилась на двух. Во-первых, она предлагала превратить долг Государственному казначейству в 1 600 000 рублей из краткосрочного в долгосрочный. Этот долг произошел, главным образом, вследствие возложения на город расходов на устройство площади и постройку набережной около храма Христа Спасителя. Во-вторых, комиссия предлагала заключить долгосрочный заем в 1 000 000 рублей.

При обсуждении сметы в Думе, первое, на что я напирал, это было возможное сокращение расходов. Я изложил собранию свой взгляд, который состоял в том, что при финансовых затруднениях следует воздержаться от всяких новых затрат, не отказываясь, однако, от поддержания того, что уже заведено. Шаг назад я допускал только в крайности, а до этого мы еще не дошли. В общих чертах трудно было, конечно, с этим не согласиться; но в приложении приходилось бороться главным образом с сопротивлением гласных третьего разряда. С одной стороны, они сильно домогались уничтожения поливки улиц, которая производилась только на главных проездах и не приносила пользы жителям отдаленных частей города. Это значило относительно городского благоустройства возвращаться к первобытному состоянию. Дума отвергла это предложение. С другой стороны, они настаивали на учреждении двенадцати новых училищ, о которых ходатайствовал Совет попечителей. Я говорил, что как скоро финансы города будут поставлены на надлежащую ногу, я первый буду стоять за это предложение, но при нынешнем положении благоразумие требует воздержаться от всяких новых затрат. В этом вопросе мещане и ремесленники находили поддержку в ревнителях просвещения из молодых купцов, главным образом в Лепешкине, который не внимал никаким увещаниям со стороны своих товарищей. Благодаря случайному составу собрания, вопрос о двенадцати новых училищах был решен утвердительно. Но это было мимолетное торжество. Учреждать их приходилось всетаки на заемные деньги, а при окончании обсуждений сметы я провел постановление, что все новые работы, падающие на заем, могут быть произведены только тогда, когда заем будет заключен. Это значило отложить дело до следующего года. Гласные третьего разряда вознегодовали; они хотели даже, пользуясь отсутствием купцов в летнее время, созвать экстренное собрание по требованию двадцати гласных, что допускалось законом, и этим путем провести свое предложение. Но я объявил, что такой шаг ни к чему не послужит: я созову собрание, если меня к тому принудят, но постановление всетаки не исполню, а представлю снова вопрос на усмотрение Думы при полном составе. Они отказались от своего намерения, а в следу-

ющую смету, которая была представлена уже без дефицита, я внес учреждение этих двенадцати новых училищ.

Насчет превращения краткосрочного займа в долгосрочный я поехал для переговоров с министром финансов в Петербург. Бунге иронически заметил мне, что Москва пожертвовала миллион на Красный крест, а потому должна довольствоваться дарованной ей милостью в виде высочайшей благодарности, а не просить о рассрочке долгов. Я отвечал, что этот долг проистекает вовсе не из пожертвованного миллиона, а накинут на нас после войны самим правительством, которое возложило на город все расходы по устройству набережной около храма Христа Спасителя, да кроме того надбавило 400000 рублей в год на содержание полиции. Я полагал, что, возложив на город такие тяжести, правительство обязано ему помочь. Бунге не мог с этим не согласиться и обещал устроить дело. Но Государственный банк объявил, что он по уставу не может делать долгосрочных ссуд иначе, как под залог процентных бумаг. Для этого нам нужно было выпустить городские облигации.

К той же необходимости я пришел и с другой стороны. Я видел, что при значительных финансовых оборотах города и не всегда своевременном поступлении доходов, городскому управлению весьма важно пользоваться иногда кредитом на более или менее короткие сроки. Всего лучше было иметь открытый текущий счет в каком-нибудь банке. Прежде нежели обратиться к государству, я собрал на совещание представителей самых крупных московских банков и предложил им открыть городу текущий счет. Однако ни один из них не выразил согласия на это предложение, которое непосредственных больших выгод не обещало. Аксаков приходил даже в негодование от такого равнодушия к городским интересам, хотя сам он стоял во главе одного из банков и присутствовал на совещании, а между тем никакой помощи не оказал. Пришлось обратиться к Государственному банку, но тот опять не мог открыть текущего счета иначе, как под залог процентных бумаг. Следовательно, и в этих видах надобно было выпустить облигации.

Я решил просить разрешения на выпуск трех миллионов, имея в виду, что, кроме обеспечения 1600 000 долга и текущего счета, нам потребуется еще около миллиона на постройку нового здания Думы и на предварительные работы по водоснабжжению. «Просите уже зараз побольше», – говорил мне Бунге. «Я, напротив, желаю просить как можно меньше, – отвечал я, – ибо всякие лишние деньги открывают только простор для новых трат». «В первый раз я встречаю администратора, который так смотрит на вещи», – заметил он. «А я считаю это первым основанием путного хозяйства», – отвечал я. Дума приняла мое предложение, однако не без колебаний. Это был первый облигационный заем, заключенный городом, и многие смотре-

ли на него с опасением: боялись затянуться. Другие, напротив, видели в этом первый шаг к правильному развитию городского благоустройства, с отнесением на займы экстраординарных расходов. «Поздравляю вас, – сказал мне Алексеев после заседания, – вы сделали крупное дело». Реализация займа на предложенных мною условиях последовала уже после моего выхода в отставку; но главная цель, для которой он заключался, оказалась излишнею: еще при мне министр финансов нашел возможным рассрочить уплату долга в 1600000 рублей.

Однако займом нельзя было ограничиться; надобно было искать новых источников дохода. Все существующие источники были исчерпаны. Свободным ресурсом оставался только десятый процент с домовладельцев, которые и без того кряхтели под тяжестью городского налога. В сущности Москва, несмотря на то, что с проведением железных дорог она сделалась главным промышленным и торговым центром России, несмотря на несколько находившихся в ней миллионных состояний, была бедный город, как и вся Русская земля. Я как-то сообщил это замечание Митрофану Павловичу Щепкину, который в этом вопросе был первым знатоком. «Вы совершенно правы, – отвечал он, – даже эти миллионеры большею частью лопнут, как скоро Кнооп закроет им кредит. Все наши капиталы, в сравнении с иностранными, не более как капля в море».

Значительное повышение доходов могло получиться от переоценки недвижимых имуществ, ибо существующая оценка уже устарела и была крайне неравномерна. Это предположение еще при мне было пущено в ход и впоследствии было приведено в исполнение. Но это была большая работа, которая требовала времени. Давно был намечен и новый квартирный налог, на который, однако, купцы смотрели с большим недоверием, ибо налог на квартирантов влек за собою приобщение к избирателям целой массы новых лиц, а потому и полное изменение состава избирательных собраний. Тем не менее, финансовая комиссия, рассматривавшая смету 1882 года, предложила и Дума приняла: поручить Управе представить к смете 1883 года предположение о квартирном налоге. Это поручение было неисполнимо в такой краткий срок. Для того, чтобы составить проект квартирного налога, надобно было дождаться разработки всех данных произведенной в начале 1882 года переписи, а на это также требовалось немалое время. Я хотел приняться за это дело и уговорил даже Living Kознова, который из членов Управы был наиболее сведущ по финансовой части, взять на себя руководство работами; но я вышел прежде, нежели мог исполнить свое намерение. Затем последовала перемена во взглядах правительства: вместо того, чтобы предоставить квартирный налог городам, как было установлено Городовым положением, оно обратило его в пользу государства, лишая через

это города значительного дохода. Щепкин упрекал городское управление за то, что оно упустило благоприятное время; но кто может предугадывать законы перемены ветра? Москве не одной пришлось пострадать. Оставались промышленные налоги. Бедность столицы наглядно выражалась в том, что эти разнообразные, но вообще весьма невысокие сборы в последние годы постоянно уменьшались, исключая теплового сбора, который шел возрастая, вследствие превращения холодных помещений в теплые. Но этот налог, совершенно неуравнительный, представлял полнейшее финансовое безобразие, вследствие чего он давно уже был предназначен к уничтожению. Предполагалось заменить его налогом на промышленные и торговые заведения. Проект нового налога еще до меня был представлен правительству; но теперь он вернулся в Думу и надобно было обсудить его вновь. Самый существенный вопрос заключался в том, какой процент обложения предоставлено будет взимать городу. В первоначальном проекте Дума, применяясь к существующему тепловому сбору, который требовалось заменить, останавливалась на трех процентах с предполагаемого чистого дохода; но с тех пор тепловой сбор возрос и сумма его не могла покрыться этою цифрою. Я представил собранию, что во всяком городском налоге желательно иметь некоторый простор, ибо, если он взимается в крайнем пределе обложения, то плательщики и их представители перестают быть заинтересованными в расходах: они готовы идти на всякую издержку, ибо знают, что с них ничего больше не возьмут. Поэтому я предлагал назначить высший размер в семь процентов. Однако Дума на это не пошла и ограничилась пятью. Правительство же дало только три. При таких произвольных ограничениях, какая есть возможность вести правильное хозяйство!

Следующую смету я представил уже без дефицита, по крайней мере в обыкновенных расходах. Последние предположены были в сумме 4 985 000, а так как обыкновенные доходы исчислены были в сумме 5 044 000, то оказывался остаток в 59 000 рублей. Но затем было на 320 000 экстраординарных расходов, в том числе 200 000 рублей на коронацию. Эта сумма должна была покрываться займом из Государственного банка в виде специального текущего счета. Последнее, однако, пришлось изменить, после того как министр финансов нашел возможным рассрочить нам уплату займа и не было уже надобности особенно торопиться выпуском облигаций. При обсуждении сметы, из экстраординарных расходов выкинуты были 70 000 рублей на постройку новых бараков; этот расход был отложен до заключения долгосрочного займа. Затем на покрытие издержек по коронации положено было, несмотря на сильное сопротивление многих гласных, взять десятый процент с недвижимых имуществ. И все-таки совокупная смета обыкновенных и чрезвычайных расходов

заключена была с дефицитом в 248 000, которые отнесены на остаточный капитал. В действительности эта цифра должна была сократиться вследствие сбережений на ремонте зданий. Как уже замечено выше, городу выгодно было выставлять себя в дефиците. Это было единственное средство отклонять от себя все новые и новые тяжести, возлагаемые на него правительством. Еще Щербатов, во время своего управления, держался этого правила. Значительные пожертвования Москвы в Болгарскую войну внушили мысль о громадных ее богатствах, вследствие чего на нее взвалили непосильное бремя. Теперь надлежало снова приняться за осторожность.

Недостаточно было привести в порядок смету; надо было завести отчетность. Трудно поверить, что едва ли не с 1873 года Управа не представляла никаких отчетов, кроме чисто бухгалтерских сведений о движении сумм, и ни разу со стороны Думы не была произведена ревизия. Мне, привыкшему к земским порядкам, это казалось совершенно несообразным. Я потребовал, чтобы непременно был представлен полный отчет за первый год моего управления. Мне возразили, что это невозможно.

Надобно было, прежде всего, иметь твердую точку исхода, а ее нельзя было получить без отчетов за все предыдущие годы. Тогда я решился взвалить на канцелярию громадную работу: составить отчеты за весь предшествующий период, отправляясь от последнего полного отчета. Это и было исполнено. Сметой я руководил сам: надзор же за составлением отчетов я поручил Ушакову, указав только, чего я хочу, и изредка подгоняя работу. В апреле 1883 года я имел удовольствие положить на столе перед Думой целую кипу фолиантов и просить ее выбрать ревизионную комиссию. Комиссия была выбрана: но результатов ее работы я не дождался, ибо вышел в том же году.

Все это представляло, однако, лишь формальную сторону управления. Существенную или жизненную сторону составляло хозяйство. В это время стояли на очереди два из самых крупных хозяйственных вопросов: водоснабжение и канализация. О них уже много лет шли толки, и предшествующая управа, по-видимому, подготовила дело для окончательного решения.

Недостаток воды в Москве был давно вопиющим злом. Мытищинской воды было мало; искали других источников. При Третьякове приглашен известный немецкий инженер Зальбах, по указаниям которого были произведены геологические изыскания посредством буровых скважин в различных местностях Московской котловины. На основании этих исследований, Зальбах пришел к заключению, что в Мытищах можно получить от семи до десяти миллионов ведер. На первый раз он составил проект водопровода на 3 600000 ведер, который мог быть расширен впоследствии. В таком виде я зас-

тал это дело. Познакомившись с ним и перетолковав с специалистами, я пришел к убеждению, что заключения Зальбаха недостаточно основательны и что браться за такое крупное предприятие без надлежащей проверки было бы опрометчиво. Чтобы стать в этом отношении на совершенно твердую почву, я послал все изыскания и проект Зальбаха в Русское техническое общество, председателем которого был мой хороший приятель, Петр Аркадьевич Кочубей. Рассмотревши это дело, отделение Общества, под председательством известного инженера, барона Дельвига, который сам перестраивал Мытищинский водопровод, пришло к заключению, что цифры Зальбаха совершенно гадательны, и что в Мытищах можно положительно рассчитывать не более как на один или два миллиона ведер. Нам советовали на первый раз устроить сборные колодцы и произвести пробную откачку. Барон Дельвиг при личном свидании очень на этом настаивал, а геолог Гельмерсен советовал обратить внимание на артезианские колодцы, которые непременно должны удасться в Москве.

Меня вместе с тем спрашивали, не соглашусь ли я построить водопровод концессионным способом. Я лично весьма к этому склонялся и полагал, что городу во всяком случае полезно иметь предложение компаний, что открывало возможность выбора, а потому я поощрял все таковые заявления. Действительно, поступили предложения от трех компаний: бельгийской, представителем которой был инженер Семячкин, английской, составленной петербургским инженером Алтуховым, и русской, во главе которой стоял московский инженер Сытенко. С другой стороны, я поручил заведующему городскими водопроводами инженеру Зимину составить проект водосборных колодцев, согласный с мнением Технического общества, а между тем старался привлечь побольше воды и из существующих источников. Их было два, которыми можно было воспользоваться: Преображенский колодезь и покинутый артезианский. Углубивши первый, можно было получить из него тысяч сорок ведер лишней воды. Я предложил Думе провести эту воду в Преображенскую часть и сделать первый опыт противопожарного водопровода в Москве. Это было принято, и я вместе с гласными имел удовольствие видеть громадную струю, бьющую на двадцать сажень вверх на высокой местности города. Что касается до артезианского колодца, то он был начат еще при Щербатове: но в то время в нем сломался бурав, и он был брошен. Между тем, из него можно было получить более двухсот тысяч ведер воды, годной для употребления. Строивший его инженер Бабин предложил мне сделать штольню на свой счет и взять колодезь на аренду, с правом выкупить его, если найдет нужным. После долгих переговоров и обсуждений, я заключил контракт, и мне удалось еще до выхода в отставку провести его в Думе. Год спус-

тя, я присутствовал на освящении. Проект же Мытищского водопровода* я не успел довести до конца, как расскажу ниже.

Предшествующая Управа выработала и целый подробный проект канализации. Он был составлен берлинским инженером Гобрехтом и привезен Петунниковым в Москву в начале 1882 года. И этот проект я послал в Техническое общество вместе с другим проектом инженера Попова, который за несколько лет перед тем рассматривался в комиссии при генерал-губернаторе, но был отвергнут Думой. Техническое общество признало их оба неудовлетворительными, но второй все-таки более соответствующим условиям Москвы. Критика была получена уже после моего выхода.

Не дожидаясь ее, я старался улучшить существующее положение этой части, которая находилась, надобно сказать, в совершенно первобытном состоянии, а между тем стоила домовладельцам чрезвычайно дорого. Введение в это дело хотя некоторого порядка было тем необходимее, что по случаю устройства Всероссийской выставки на Ходынском поле пришлось закрыть близкую к этой местности Пресненскую свалку, и все обозы отправлялись на остальные. Труниным был составлен проект, который, не изменяя существующих приемов, вводил в них значительные улучшения. Но требовалось нечто более совершенное. Проживавший в Москве иностранный инженер Фаллиз предложил мне устроить центральную станцию для удаления нечистот нагнетательным путем на поля орошения, и устроить с этой целью общество. Я охотно ухватился за эту мысль, стараясь лишь вести переговоры в таком направлении, чтобы городу это ничего не стоило, и чтобы он не принимал на себя никакой га-

* Первый проект московского водопровода, составленный инженером Бауэром при Екатерине II, использовал для водоснабжения старой столицы Мытищинские ключи под Москвою; он был утвержден еще в 1779 г., но работы приостановились вследствие начавшейся войны с Турцией, возобновились после смерти императрицы и завершены были только в 1805 г. Этот первый водопровод действовал чрезвычайно плохо, и самые сооружения очень скоро обвалились и требовали непрерывных исправлений и ремонта; поэтому в конце 40-х годов было приступлено к перестройке всего водопровода и увеличению водоснабжения, причем решено было воспользоваться водою Москва-реки. В 1850 – 1853 гг. было построено два новых водопровода при Бабьем городке и при Красном Холме в черте самого города (проект генерала Максимова). Но в виду полной их непригодности, уже в 1853 г. вновь назначенный директором водопроводов, известный инженер барон А. И. Дельвиг предложил восстановить и увеличить снабжение водою из Мытищ, что и было осуществлено в 1858 г. Однако, Мытищенский водопровод, дававший до 500 000 ведер в сутки, не удовлетворял всей потребности Москвы в воде. С 1876 г. производились изыскания для выяснения возможности усиления водоснабжения Москвы из Мытищенских источников; исследование показало, что эти источники могут давать втрое больше воды, чем давали до тех пор (1500 000 ведер вместо 500 000).

рантии, в чем и успел. Но в Думе были против этого проекта большие предубеждения. Опасались попасть в руки иностранных эксплуататоров; боялись и зловония от центральной станции, несмотря на то, что, по условию, город сохранял за собою право в этом случае ее просто закрыть. Вдобавок поступили и другие предложения: инженер Бари заявил готовность построить станцию за счет города, а при обсуждении доклада мой приятель, художник Шервуд, бывший тогда гласным, с большим пафосом возгласил, что в России есть гениальный человек, Зарубин, который открыл способ удалять нечистоты за самую дешевую цену. Он говорил с такою горячностью, что гласные ему поверили. Обсуждение предложения Фаллиза было отложено, и мне поручено было войти в сношение с Зарубиным. Оказалось, однако, что никакого новооткрытого способа не было; я от Зарубина не мог добиться ничего, кроме непонятных алгебраических формул, и он прямо отказался выработать какой бы то ни было проект. Результат был тот, что дело затормозилось, и я вышел в отставку, прежде нежели успел представить Думе новый доклад. После меня все эти предположения канули в воду. Теперь, спустя десять лет, вырабатывается какой-то новый проект канализации, но что из него выйдет, покажет будущее. А пока Москва остается при первобытных способах удаления нечистот.

Кроме собственно городского хозяйства, приходилось удовлетворять и потребностям государства. Из них в мое время наиболее хлопот причиняло расквартирование войска. Город владел многочисленными казармами, которые он обязан был ремонтировать и держать в порядке. Как раз перед моим вступлением выстроены были и великолепные Александровские казармы, стоившие значительных сумм. Но сверх того в Москву вводились все новые и новые части, для которых надобно было приискивать помещения, а с военным ведомством дело иметь было не легко. Оно находилось в то время, можно сказать, в анархическом состоянии. Милютин заменил корпусную систему окружною. После него опять были восстановлены корпуса, но и окружная система осталась, не слаженная с первою. Кроме того, были еще начальники отдельных частей, из которых каждый имел свой голос, и все пели врозь. Нельзя было знать, на кого же наконец положиться. А между тем городу предъявлялись требования, которые он должен был исполнить немедленно, не взирая ни на какие затруднения. Все это пришлось мне испытать при первом моем вступлении в должность.

Еще до меня, в июне 1881 года, Управа получила от Губернского распорядительного комитета требование о расквартировании двух батальонов II Гренадерского фанагорийского полка и двух батарей I Гренадерской артиллерийской бригады. Дело было спешное; найти и приспособить дом к помещению войск до возвращения их из лаге-

ря было нелегко. После многих поисков, найден был старый пивоваренный завод, принадлежавший потомственному почетному гражданину Тимофею Терентьевичу Волкову. Осмотрев его совокупно с чинами военного ведомства, Управа нашла его подходящим, и Волков взялся сделать все нужные переделки и приспособления, с тем, чтобы с ним заключен был контракт на двенадцать лет. Контракт действительно был заключен, однако, под условием утверждения Думою. Но прежде, нежели Думе был представлен доклад, прежде даже нежели был сделан предписанный законом осмотр, войска, которым за холодным временем нельзя уже было оставаться в лагере, сами вошли в свои зимние квартиры и в них разместились. В таком виде я застал дело.

Прежде всего надобно было сделать официальный осмотр. Я созвал кого следует, и сам отправился на место. Но представитель артиллерийского ведомства не прибыл, и я должен был ограничиться частным осмотром вместе с начальниками и депутатом от Окружного штаба. Помещение было не отличное, но сносное; только в подвальном этаже, где помещались столовые, на стенах оказывалась маленькая сырость. Однако доктор заявил, что это подвальное помещение нездорово и непригодно для войск. Я сказал, что об этом надобно было говорить раньше, когда дом осматривался совокупно с депутатами военного ведомства, а не теперь, когда все уже устроено. Но доктор возразил, что тогда его не приглашали и заявил протест. Еще хуже вышло дело при официальном осмотре. Депутатом от артиллерийского ведомства явился генерал Щеголев, некогда прославившийся в чине прапорщика несколькими выстрелами, которые он сделал против соединенного англо-французского флота в Одессе. Он прямо объявил, что вся эта местность для артиллерии не годится. Я заметил, что это похоже на шутку: военное ведомство само одобрило эту местность и это помещение, а когда все готово, нам объявляют, что все это никуда не годится. Он возразил, что то было одно ведомство, а это другое.

С другой стороны, в самой Думе было неодолимое предубеждение и против дома Волкова, который считался негодным, и против самого Волкова, который действительно был старый плут, и, наконец, против прежней Управы, заключившей контракт. При обсуждении вопроса в собрании, попробовали сперва свалить все дело на Распорядительный комитет, предоставив ему нанять дом от себя. Но Распорядительный комитет снова перекинул нам брошенный ему мячик, и нам все-таки приходилось расхлебывать дело самим.

Начальник Окружного штаба, С. М. Духовской, в видах соглашения, предложил мне попробовать другую комбинацию, в которую входил и дом Волкова. Предполагалось соединить в одной местности все шесть артиллерийских батарей, стоявших в Москве, чего до-

могалось артиллерийское ведомство. Я согласился вести переговоры на этом основании и отрядил члена Управы для составления нового плана совокупно с депутатом от Штаба. Это был, помнится, полковник Милорадович. Целый месяц они работали и наконец представили план, который обе стороны нашли удовлетворительным. Надобно было сделать всеобщее передвижение, причем некоторые части вводились в недавно построенные Александровские казармы, которые были слишком просторны для помещавшихся там войск, и где требовалось только сделать небольшие пристройки. Мы вместе с Духовским объехали все помещения, переговорили с начальниками частей и нашли все вполне удобным. Затем последовал официальный осмотр, для которого был командирован тот же полковник Милорадович. Он сам писал протокол, и мы все его подписали. Этот протокол был передан на утверждение в Губернское по воинским делам присутствие, которого я, как городской голова, состоял членом. Протокол был прочтен в заседании. «А тут приложено еще особое мнение полковника Милорадовича», – сказал секретарь. «Какое особое мнение? – воскликнул я. – Он сам писал протокол и со всем был согласен».

Оказалось, что в этом особом мнении полковник Милорадович заявлял, что стоящие в Александровских казармах будут стеснены введением туда новых частей, а потому все предполагавшееся перемещение не может состояться. Я после узнал, что это было сделано по требованию командира гренадерского корпуса. Окружной штаб находил новый план расквартирования удобным, но в последнюю минуту корпусный командир наложил свой запрет, и вся наша работа пропала даром.

Между тем, дом Волкова все-таки оставался на руках; надобно было с ним покончить. Я полагал, что можно будет склонить Думу к утверждению контракта, если взять с Волкова обязательство, ограждающее город от возможного процесса. После долгих переговоров он наконец согласился и привез обязательство, написанное самым безграмотным образом, но, казалось, достаточное. Вся Управа сочла его таковым, и меня даже поздравляли с успехом, хотя много смеялись над слогом Тимофея Терентьевича. Я сам написал доклад и представил его в Думу, которая выбрала комиссию для рассмотрения дела. Не помню, кто именно, председатель ли комиссии Шилов нашел обязательство недостаточно ясным, или Ушаков выразил сомнение, но для приведения дела в полную ясность я вызвал Волкова и предложил ему подписать другую редакцию, ту самую, на которой мы предварительно сошлись. Но на этот раз он решительно отказался, говоря, что не желает надеть на себя петлю. Оказалось, что под безграмотностью скрывалась целая плутня. Он просто хотел меня надуть. Тогда я ему объявил, что у меня теперь развязаны руки:

доселе я действовал не только в виду интересов города, но и с тем, чтобы ему была оказана справедливость; но после такого поступка я прерываю с ним всякие сношения, и вместо того, чтобы настаивать на заключении контракта, я предложу собранию этого контракта не утверждать, будучи уверен, что он судом ничего не получит. На том и порешили. Мы воспользовались тем, что войска вошли в дом самовольно и предложили им деньги, с тем, чтобы они наняли помещение от себя. Волков затеял было процесс, но неудачно, и все-таки согласился поместить войска по временному найму, чтобы получить что-нибудь. Этим, однако, вопрос о расквартировании войск не кончился. В Москву вводились еще две батареи, которые надобно было разместить. Некоторые уездные города сами просили оставить у них войска, которые доставляли им выгоду; но их оттуда выводили, а на Москву взваливали все новую и новую обузу. Нам в это время предложили нанять закрывшуюся фабрику, которая с некоторыми приспособлениями могла быть обращена в казармы. В нее можно было поместить не только две новые батареи, но и войска, стоявшие в доме Волкова. Помещение было осмотрено и найдено удовлетворительным; но прежде нежели приступить к этому делу, я счел необходимым переговорить с военным начальством. Видя, что преобладающий голос имеет здесь штаб гренадерского корпуса, я в начале лета 1883 года отправился в лагерь к начальнику штаба Маныкину-Невструеву и сообщил ему свои предположения. «Ради бога, не делайте этого, – отвечал он, – вы у нас все расстроите. Мы хотим соединить в одно место все шесть артиллерийских батарей и в настоящее время находимся в переговорах с военным министерством относительно приобретения дома с этою целью. Переговоры уже близятся к концу, а если вы сделаете предполагаемое вами размещение, то от этого надобно будет окончательно отказаться». «Хорошо, – сказал я, – это дело ваше; но только не ставьте нас потом в необходимость пороть горячку и готовить вам квартиры в осеннее время, когда порядком ничего нельзя сделать». Он обещал. Но вышло именно то, чего я опасался. Переговоры с военным министерством не привели ни к чему, и в октябре месяце вдруг Управе предъявлены были требования относительно немедленного расквартирования новых частей. В это время я уже оставил должность, и все хлопоты пали на моего заместителя. Ушаков с отчаянием писал мне: «Вы, конечно, не забыли ту путаницу, которою военный люд способен обставлять касающиеся до него дела; но вы не можете себе представить, до каких размеров довели эту путаницу в настоящее время, когда к концу приходит лагерная жизнь, и две батареи, батальон и целый казачий полк стоят перед нами как кошмары. Просто паутина, как говорится: ни в сказке сказать, ни пером написать. Разве только Щедрин способен изобразить эти дела в лицах и приличных им красках».

Как бесцеремонно военное ведомство обращалось с городом, можно видеть и из длившейся много лет истории с жандармским дивизионом. В Петербурге как помещение, так и содержание этого дивизиона были отнесены на счет казны. Но в Москве он стоял в принадлежащих городу Петровских казармах. Считая его частью войска, городское управление требовало уплаты тех окладов, которые по закону полагались за расквартирование войск. Но военное ведомство отказывалось их платить, ссылаясь на то, что дивизион исполняет полицейскую должность. С другой стороны, если дивизион считался полицией, то на городе, по закону, не лежала обязанность давать отопление и освещение, а между тем, с нас требовали и то и другое. Когда казне нужно было платить, жандармы оказывались полицией, когда нужно было получать деньги, они оказывались войском. Дума принесла жалобу в Сенат, но по обыкновению она лежала несколько лет без рассмотрения. При обсуждении сметы 1883 года, Холмский предложил выкинуть из сметы, с 15 марта, статью об отоплении и освещении жандармского дивизиона, и хотя я стоял за то, чтобы повременить решением до будущей сметы, однако Дума согласилась с Холмским. Но Губернское присутствие кассировало это постановление, и город должен был, по-прежнему, давать даровое помещение, как бы для полиции, и платить за отопление и освещение, как бы для войска. При этом, кажется, он остается и доныне.

Губернское по городским делам присутствие, которое было высшею инстанциею для городского управления, состояло из семи членов, четырех правительственных: губернатора, вице-губернатора, председателя Казенной палаты и товарища прокурора, и трех выборных: городского головы, председателя Губернской земской управы и председателя Мирового съезда. Но каково бы ни было дело, как бы ясны ни были права города, правительственные члены всегда подавали голос за правительственные требования, а так как они составляли большинство, то город никогда не мог добиться справедливого решения. Председатель Присутствия Василий Степанович Перфильев, бывший кирсановский предводитель и земский гласный, был мне приятель. Он был человек чрезвычайно мягкий и даже по направлению довольно либеральный, но перед властью он трепетал и не смел сделать ни единого шага, который мог бы быть поставлен ему в укор. К этому он побуждался личным положением: любя пожить, он растратил не только свое собственное состояние, но и состояние жены, а потому, волею или неволею, должен был держаться службы. Мне рассказывали, что иногда он, заливаясь слезами, говорил, что чувствует себя подлецом, оставаясь на своем месте, терпя всякие унижения от князя Долгорукого, но в виду жены принужден все это переносить. При таких условиях, он, конечно, был покорным исполнителем всякого беззаконного распоряжения. Один толь-

ко раз вышел довольно забавный случай. Прислан был какой-то министерский циркуляр, нарушавший права города в явную противность закону. Три правительственных члена, разумеется, стояли за исполнение, а три выборных против. Вдруг, к крайнему моему изумлению, Перфильев начинает говорить в пользу города. Я сидел возле него. Наклонившись к нему на ухо, я шепнул: «Что это, Василий Степанович, вы, кажется, хотите сделаться гражданином?». Он мне, также шепотом, отвечал: «А который министр издал этот циркуляр?» «Прежний». «Так топи его!» – воскликнул он, рассмеявшись.

Но Перфильев был, в сущности, последняя спица в колеснице. Главное лицо, от которого все зависело и с которым более всего приходилось иметь дело, был генерал-губернатор, князь Владимир Андреевич Долгорукий.

В Москве было три генерал-губернатора, которые могут служить типическими представителями трех последовательных эпох русской истории. Князь Дмитрий Владимирович Голицын был настоящий вельможа времен Александра Первого, великосветский, просвещенный, либеральный, с некоторыми замашками русского сановника, но допускавший и даже одобрявший независимость суждений в подчиненных. Это был истинный градоначальник старинной барской Москвы. В противоположность ему граф Закревский мог служить полным типом николаевского генерала: крутой, самовластный, считавший опасными для государства всякую независимость мысли и малейшее проявление свободы, сам лишенный всякого образования и нечестный в денежных делах, он назначен был с целью держать в ежовых рукавицах патриархальную Москву и старался, по мере сил, исполнить свое назначение. Наконец, князь Владимир Андреевич Долгорукий представлял собою тот уровень людей, которым после великих преобразований, совершенных Александром Вторым, вверено было управление освобожденной России. Многое в истории нашей общественной жизни объясняется этим явлением. Я говорил иногда, что князь Долгорукий как будто нарочно поставлен был на пьедестал в поучение молодым поколениям. Возвеличивая его, правительство, казалось, говорило:

«Смотрите, вот пример для вас!

Узнайте, молодые люди, что требуется в России для достижения высших почестей и власти: не нужно ни ума, ни образования, ни малейшей доли нравственного смысла, ни звания дела; нужно быть пошляком и подлецом с головы до ног; нужно ползать, любезничать и лгать. И тогда вас осыпают всевозможными почестями, дают вам целую четверть века управлять столицею с безграничными полномочиями, делают вас кавалером всех орденов, верховным маршалом при коронации, вас украшают портретами с бриллиантами; перед вами кувыркаются и великие и малые; в честь вашу называют улицы

и заведения; вам устраивают юбилей за юбилеем, с пышными адресами и драгоценными подарками; имя ваше надписывается на мраморной доске на исторических памятниках; и все эти блага накопляются на вас в течение многих лет, пока, наконец, по минутной прихоти самодержавной власти, вас пинком свергнут с высоты, и вы полетите стремглав вверх ногами!»

Умственные способности князя Долгорукого были характеризованы еще в 50-х годах его сродником, известным эмигрантом, который в своем сочинении о России писал, говоря о его брате, тогдашнем шефе жандармов: «Князь Василий Андреевич Долгорукий, который мог бы считаться самым глупым человеком в России, если бы у него не было брата, квязя Владимира Андреевича».* Родственник, по своему обыкновению, несколько пересолил. За недостатком ума, у князя Владимира Андреевича была хитрость, которая у ограниченных людей часто служит заменою высших умственных способностей. Но уровень во всяком случае был весьма невысок. Мне он всегда представлялся скорее комическим лицом, нежели человеком, с которым можно вести серьезное дело. Что касается до нравственных его свойств, то о них я знал от своего зятя, почтенного Эммануила Дмитриевича Нарышкина, который громогласно говорил: «C'est la plus grande canaille, que j'ai renconre dans ma vie»**, и сетовал на то, что во время коронации он должен был подавать руку этому господину.

Нарышкин знал его по опекунским делам. Эммануил Дмитриевич был опекуном Василия Львовича Нарышкина, мать которого Мария Васильевна, рожденная Долгорукая, сошла с ума и состояла под опекою своего близкого родственника, князя Владимира Андреевича. Она жила у него в Москве, в третьем этаже генерал-губернаторского дома. Через год приблизительно после назначения опеки она умерла. Князь Долгорукий представил счет содержания старухи, простиравшийся до ста тысяч рублей. Василий Львович в это время вышел из опеки. Он поступил как вельможа: не возражая ни слова, он заплатил деньги, но порвал всякие сношения с ограбившим его родственником.

Этого мало. У старухи было два знаменитых убора, один бирюзовый, а другой рубиновый. Оба находились на хранении у опекуна. Первый был возвращен; но все бирюзы, кроме одной, оказались фальшивыми. А на счет второго была представлена записка сумасшедшей Марьи Васильевны, по которой она этот убор дарила дочери князя Владимира Андреевича. Василий Львович и это дело оставил без последствий.

---

* См. издававшийся кн. П. В. Долгоруковым за границей «Листок» № 7, 19 мая 1863 г.

** «Это величайшая каналья, какую я когда-либо встречал».

Если князь Владимир Андреевич умел извлекать такие выгоды из опекунских прав, то немудрено, что он в тех же видах пользовался и своею генерал-губернаторскою властью. У купцов он брал, что хотел, но платить далеко не всегда считал нужным. Об этом ходили совершенно достоверные рассказы. Был, между прочим, купец Епанешников, который ставил дорогие ковры и самому князю и его фаворитке, танцовщице Собещанской. Долг ему простирался до шести тысяч рублей. Он, разумеется, не дерзал предъявлять ему какое-либо требование, но, наконец, дела его пошатнулись. Деньги нужны были до зарезу. В таком положении он решился отправиться к князю Долгорукому и просить его уплатить хоть часть. Но тот затопал ногами и прогнал его, сказавши, что пришлет ему ответ. Этот ответ никогда не последовал.

А вот и лично мне известное дело. Моему приятелю, художнику Шервуду, князь Долгорукий заказал два своих портрета: один для себя, а другой для конногвардейского полка, в котором он некогда служил. За последний заплатил председатель Городского кредитного общества, сын которого, тоже служивший в конной гвардии, повез с собою этот портрет в Петербург. Второй же портрет так и остался неуплаченным. Князь Долгорукий пригласил Шервуда к себе обедать и счел эту высокую честь совершенно достаточным вознаграждением за работу.

Надобно, однако, сказать, что после его смерти все ожидали, что окажутся громадные долги, но их не нашлось. Дочь его отказалась даже от наследства, но вырученными из продажи имущества деньгами можно было бы с избытком выплатить не только оставшиеся долги, но и разные сделанные в завещании пожертвования. Это объясняется тем, что особенно в последние годы его управления у него был неисчерпаемый источник, из которого можно было покрыть все расходы. Евреи состояли под специальным его покровительством. Если Лазарь Соломонович Поляков ежегодно платил десять тысяч рублей Каткову за молчание, то можно себе представить, что он переплачивал князю Долгорукому, от которого все зависело и под рукою которого, в обход закону, находили приют целые массы евреев. Это было, в сущности, единственное сделанное им добро, хотя и беззаконным и бесчестным путем. За это он и слетел. После его падения последовало позорное для России и для Москвы повальное изгнание евреев из столицы.

Нечистый на руку, князь Долгорукий в пользовании предоставленными ему широкими полномочиями проявлял самый возмутительный произвол. Приведу один из многих случаев, бывших при мне. На Кузнецком мосту существует дом Попова, где нанимал магазин золотых дел мастер Постников. Хозяин был за границею; постоялец не платил за помещение, и управляющий домом счел своею

обязанностью ему отказать. Тогда Постников, состоящий под особым покровительством генерал-губернатора, обратился к своему патрону. Тот призвал к себе управляющего и приказал ему оставить квартиру за Постниковым. Тот отвечал, что помещение сдано уже другому, и теперь он уже ничего не может сделать, ибо дом принадлежит не ему, а хозяину, который вверил ему свои интересы. Тогда Долгорукий, в силу данных ему полномочий, в двадцать четыре часа выслал управляющего из Москвы, как человека опасного. При этом известии Попов тотчас прискакал из-за границы; Постников, разумеется, остался в своем помещении, и Долгорукого едва могли упросить, чтобы он вернул управляющего. Подобные дела выходили и в Сенат и в Комитет министров; но это не служило ни к чему. Самые сенатские указы клались под сукно, когда они шли в разрез с видами или интересами генерал-губернатора, и все это ему сходило с рук.

При таком направлении князь Долгорукий естественно окружал себя всякою дрянью, людьми, которые ему льстили и обделывали его делишки. Но он искал и более широкой популярности, старался любезничать со всеми, расточал улыбки и милостивые слова, неизменно являлся на всех публичных и частных торжествах, где он выказывал изумительное для его лет терпение. Он понимал, что только угождая всем, он может держаться на своем месте. И вся огромная масса пошляков, составляющих всякое общество, и русское в особенности, для которых внимание власти представляется манной небесной, польщенные и очарованные, льнули к нему толпою и преклонялись перед его особою. Те, которым он покровительствовал или доставлял незаконные выгоды, превозносили его до небес и кричали, что такого генерал-губернатора в Москве еще не бывало. Каждое пятилетие ему в Москве устраивали юбилей; его клевреты объезжали всех, уговаривая не уклоняться от общего празднества. И по обыкновению, русские люди уклоняться не смели, иные потому, что желали угодить начальству, другие потому, что боялись, что отсутствие их будет принято за демонстрацию. В последние годы даже судебные власти ездили в мундирах встречать и провожать князя на железную дорогу. В Петербурге все были убеждены, что князь Долгорукий пользовался в Москве громадною популярностью; думали, что древняя столица без него жить не может. Какова была эта популярность, в этом я мог удостовериться с самых первых своих шагов на общественном поприще.

Во время первой моей поездки в Петербург явился ко мне русский консул, кажется из Рущука, с просьбою свести его с московскими купцами, в видах заведения торговых сношений между Москвою и Болгарией. Я сообразил, что я только вступил в должность и авторитета не успел приобрести, между тем как князь Долгорукий, двадцать лет управлявший столицею, пользовался несравненно большим

авторитетом и мог скорее подвинуть дело. Хотя я лично всегда вращался в обществе, где на князя Долгорукова смотрели с некоторым презрением, но видя постоянные чествования этого сановника, я воображал, что в купеческой среде он пользуется значительным весом.

Я сообщил свои сомнения Аксакову, которого специальностью были болгарские сношения, и он мне сказал, что можно попробовать. Заручившись его согласием, я поехал к князю Долгорукому и сообщил ему, в чем дело. Он был очень польщен и тотчас взялся все устроить. Но когда я заговорил об этом с купцами, они мне сказали: «Что вы наделали? Да ни один из нас не двинет пальцем для князя Долгорукого. Передать ему дело, значит его похоронить». И я принужден был снова ехать к князю и сказать ему, что по собранным мною сведениям дело не уладится, а потому я не смею просить его стать во главе предприятия, которое может иметь неудачный исход. Он был не совсем доволен, но должен был согласиться. Консул приехал в Москву; я адресовал его к разным купеческим тузам. Были частные совещания, на которые являлся и Скобелев, но из всего этого действительно ничего не вышло.

Во всяком деле князь Долгорукий имел в виду только одно: какую роль он может тут разыграть? Собственно дела он не понимал и не старался даже в него вникнуть; но он любил, чтобы про него говорили, чтобы оказывали ему почет и приписывали ему почин или руководство. В этом состояла главная забота его жизни. Это выказывалось у него даже в такой наивной форме, что внутренне нельзя было не усмехнуться. Каждый шаг его не только в Москве, но и во время отлучек, тотчас описывался в газетах. Когда он ездил по России, путешествующий с ним чиновник рассылал телеграммы по всем редакциям, с подробным повествованием о всех его движениях. Однажды случилась с ним даже забавная история. В одной из таких телеграмм, присланных в «Русские ведомости», стояло в конце: «о чем, по приказанию его сиятельства, честь имею вас уведомить». По оплошности ли типографщика или намеренно, это было напечатано, и секрет раскрылся.

Весь исполненный важностью своей роли, князь Долгорукий очень заботился о собственной своей особе. Маленький, пухленький, с ничего не значащею физиономиею, он до восьмидесяти лет тщательно завивался и красил свои волосы. Каждое утро к нему являлся парикмахер Леон, и князь встречал его милыми шутками: он в халате прятался за драпировку, и когда парикмахер проходил мимо, он вдруг выскакивал из засады и стрелял в него пальцем с восклицанием: паф! И парикмахер, которому все это хорошо было известно, должен был всякий раз пугаться при этом неожиданном нападении. Таковы были невинные забавы сего государственного мужа.

Со мною князь Долгорукий с самого начала рассыпался в любезностях и старался сделать мне все приятное. У меня было литературное имя и положение в московском обществе; я путешествовал с покойным наследником, и он воображал, что я имею опору при дворе. Тут соединялись все условия для того, чтобы быть со мною в хороших отношениях. Я, с своей стороны, заявив о своем желании идти рука об руку с властью, вовсе не хотел становиться в оппозиционное положение, а напротив, старался всякое дело уладить миролюбиво. Я сказал, что еще до вступления в должность я высказал неодобрение оппозиционным решениям Думы в вопросе об обязательных постановлениях, изданных генерал-губернатором на счет дворников и освещения дворов. Этот вопрос имел длинную историю, которая может характеризовать отношения.

Однажды заехал ко мне Перфильев и, не застав меня дома, велел сказать, что очень нужно со мною переговорить. «Что мне делать? – сказал он при свидании; – я не могу пропустить ваших постановлений». «В таком случае внесите их в Губернское присутствие; оно их кассирует, но предупреждаю вас, что может последовать апелляция в Сенат. Постановления Думы могут быть неполитичны, но в них нет ничего противозаконного». «Нет, я не могу вносить их в Губернское присутствие. Пойдут толки, споры; князь Долгорукий отнюдь этого не желает. Я должен отменить их собственною властью». «На это вы не имеете ни малейшего права. Вы поднимете бурю; на вас подадут жалобу в Сенат».

Он старался доказать мне, что есть министерские циркуляры, которые будто бы уполномочивают губернатора кассировать постановления собственною властью. Я, напротив, доказывал ему, что министерские циркуляры, даже при самом широком толковании, не имеют силы закона и не могут дать ему никаких прав относительно Думы. «Да что же мне делать?» – воскликнул он наконец. «Ничего; предоставьте мне это дело; я постараюсь его уладить». Я думал, что я его убедил, как вдруг, несколько дней спустя, я получаю от него бумагу, в которой он собственною властью отменял постановление Думы. Самбул в то время исправлял еще должность товарища. Я показал ему бумагу, заметив, что они непременно хотят поставить Думу на дыбы. Он советовал мне, прежде нежели внести бумагу в книгу входящих, переговорить об этом с генерал-губернатором. В это самое утро у генерал-губернатора был попечительный совет о больницах, которого я состоял членом. Я поехал пораньше и велел о себе доложить. Я показал присланную мне бумагу князю Долгорукому, сказавши, что из этого непременно выйдет скандал, чего он пуще всего боялся. «Оставьте мне бумагу», – сказал он. Вскоре приехал Перфильев; его тотчас позвали в кабинет. Через несколько минут он вышел оттуда красный, как рак; очевидно, он получил нахлобучку. По-

дошедши ко мне, он шепнул: «Вы записали уже мою бумагу?» «Нет еще». «Так не записывайте».

Дело затихло. Несколько времени спустя, кто-то из рьяных гласных спросил, какой же наконец последовал ответ на ходатайство Думы об отмене обязательных постановлений генерал-губернатора. Я отвечал, что для предъявления ходатайства нужно выбрать удобный момент, а я, по предварительным справкам, увидел, что в настоящую минуту ответ не будет благоприятный, а потому и не счел пока нужным предъявлять ходатайство. Я присовокупил, что, по моему мнению, и обращение к высшей власти за толкованием закона не будет иметь благоприятного исхода, и просил Думу предоставить мне вести это дело по своему усмотрению, на что собрание согласилось.

Все временно успокоилось, как вдруг из полиции получены были новые обязательные постановления, изданные помимо Думы, вопреки закону. Опять поднялись толки и ропот. Я тотчас отправился к князю Долгорукому и представил ему, что такой способ действия возбуждает даже людей, желающих жить в самых мирных отношениях с властью. Обер-полицеймейстером был в это время Янковский, которого Долгорукий недолюбливал. Он называл его не иначе как «мой венецианский мавр». Янковский действительно был смуглый, курчавый и недавно женат на молоденькой и хорошенькой женщине, в которую был страстно влюблен. Долгорукий, по своему обыкновению, видя что дело не ладно, решился взвалить всю вину на подчиненного. На другой день я получил от него в пакете, с надписью: доверительно, следующую любопытную бумагу, в которой генерал-губернатор делал выговор обер-полицеймейстеру за обязательные постановления, которые изданы были по собственному его приказанию:

«Копия с предложения г. московского генерал-губернатора к г. московскому обер-полицеймейстеру от 18 апреля 1882 года за № 2232.

Рапортом от 20 марта сего года за № 537 Ваше превосходительство вошли ко мне с представлением, в котором, указывая на опасность, в пожарном отношении усвоенного московскими фабриками и заводами освещения помещений их керосиновыми лампами, ходатайствовали о том, не признаю ли я возможным сделать распоряжение о замене употребления на помянутых фабриках и заводах керосиновых ламп масляными или свечами.

Возбужденный Вашим превосходительством вопрос этот был передан мною на заключение образованной мною комиссии для осмотра фабрик и заводов, мнение коей по сему вопросу и было сообщено мною вам в предложении моем от 7 апреля сего года за № 195а для надлежащих с Вашей стороны распоряжений.

Ныне, из приказа по московской полиции на 14 апреля за № 104, я усматриваю, что распоряжение Вашего превосходительства по

сему моему предложению состояло в том, что Вы нашли нужным предписать местной полиции обязать содержателей фабрик и заводов подписками о прекращении освещения минеральным маслом в срок, указанный в мнении помянутой выше комиссии.

Принимая во внимание: 1) что в законе не определен обязательный для фабрик и заводов материал освещения; 2) что обязательного на сей предмет постановления до сего времени, по отношению к Москве, установленным в законе порядком издано не было; 3) что на основании пун. 3 ст. 1949 т. II ч. I изд. 1876 г принятия мер предосторожности против пожаров составляет в городах предмет ведомства городских общественных управлений; 4) что по силе п. 9 ст. 2050 того же тома и части (изд. 1876 г.) ими же, в случае признания необходимости, издаются, по соглашению с начальником местного полицейского управления, и обязательные по сему предмету постановления; 5) что инициатива возбуждения вопроса об издании городскими думами таковых по сему предмету постановлений предоставлена и самому начальнику полицейского управления, но не иначе как порядком, установленным ст. 2051 – 2053 т. II ч. I; 6) что таковые постановления становятся обязательными к исполнению в отношении лиц, до коих они относятся, лишь по соблюдении указанного в помянутых статьях закона порядка их составления и обнародования; 7) что затем, никакое распоряжение полиции, не основанное на законе или обязательном постановлении, законным порядком изданном и обнародованном, не имеет для жителей обязательной силы, – я нахожу, что распоряжения вашего превосходительства по предложению моему от 7 апреля № 1959, могли состоять исключительно лишь в сообщении, на точном основании ст. 2051 т. II ч. I Св. Зак. (изд. 1876 г). Московскому городскому общественному управлению проекта обязательного по настоящему предмету постановления, составленного на точном основании и в пределах, указанных помянутым предложением моим, и затем, только по изъявленному Городскою думою согласию на таковой проект и по исполнении указанных в ст. 2053 т. II, ч. I предписаний закона, таковое постановление, как обязательное, могло бы быть обнародовано к надлежащему исполнению.

В виду изложенных соображений, я предлагаю Вашему превосходительству сделать по вверенной вам полиции распоряжение о том, чтобы в исполнение приказа по Московской городской полиции 14 апреля сего года за № 104 было немедленно приостановлено, и затем, если вы признаете нужным осуществить меру вами проектированною то составив проект обязательного постановления, на основаниях, изложенных в одобренном мною мнении комиссии для осмотра фабрик и заводов, в дальнейшем направлении сего дела Вы имеете поступать по указанию ст. 2050-2054 т. II, ч. I (изд. 1876 г.)».

Прочитав эту бумагу, я тотчас поехал поблагодарить князя. «Видите, как я справедлив», – сказал он мне подбоченясь. Я, разумеется, вполне с этим согласился и воздал ему должною честь, но про себя не мало смеялся всей этой комедии и этой фигуре.

Яновский долго не выдержал подобных приемов. Он вскоре вышел, о чем никто не жалел, и сделан был полтавским губернатором. Его заменил Козлов, бывший уже прежде обер-полицеймейстером в Москве, человек легонький, но весьма обходительный, с которым можно было иметь дело.

Вскоре представился случай отменить и постановления о дворниках. Летом 1882 года государь приехал в Москву на Всероссийскую выставку. Я заранее получил от генерал-губернатора некоторого рода воззвание к патриотизму Думы с вопросом, не пожелает ли она с своей стороны сделать что-нибудь для охраны его величества. Весь этот вопрос об охране я считал глупыми пустяками, выдуманными легкомысленными людьми, которые желали выслужиться, а потому не хотел брать на себя никакой инициативы. В это время приехал ко мне один из старообрядческих заправил, Шибаев, с предложением устроить охрану совокупными силами. Я отвечал ему, что совершенно понимаю их положение: будучи несправедливо теснимы, они желают выражением верноподданнических чувств и преданности царю получить какие-нибудь облегчения. Но мы вовсе не находимся в тех же условиях и не желаем соваться вперед с предложениями, которые в сущности смысла не имеют. Если полиции нужно содействие, мы не откажемся; но предлагать свои услуги помимо полиции, значит показывать к ней недоверие и брать на свою ответственность охрану государя, чего мы ни в каком случае сделать не можем. Я прибавил, что и руководить этим делом у нас некому. Неизвестным нам лицам из Петербурга мы не доверяем и не желаем им подчиняться. Из местных же властей, на кого мы положимся? На Александра Александровича Козлова? или на Василия Степановича Перфильева, или, может быть, на вице-губернатора Ивана Ивановича Красовского? Он расхохотался и спросил меня, знаю ли я графа Алексея Павловича Баранова? Это был молодой товарищ прокурора. Я отвечал, что знаю и тем менее имею причину считать это дело серьезным. На том мы и расстались. Когда назначен был день приезда царской фамилии, я поехал к генерал-губернатору и сказал ему, что мы никакого заявления не сделали, ибо не можем принять на себя ответственность за охрану государя: если доверяют нашему вызову, он приедет в Москву и что-нибудь случится, вина падет на нас. Но мы всецело ставим себя в распоряжение князя, как начальника столицы, если ему нужно наше пособие, то мы готовы. Он прислал в этом смысле конфиденциальное воззвание; я собрал всех гласных на частное совещание. Многие из самых почтенных людей Думы

вызвались добровольно участвовать в охране; старшиной был выбран Иван Кузьмич Бакланов. Все это, как я ожидал, вышло чистою комедией. Никакой нужды в этой охране не было, и Бакланов с негодованием рассказывал мне о способе обращения с ними полиции. Наконец, в самый день отъезда государя, сидя в Управе, я в два часа пополудни получил извещение от генерал-губернатора, что все участвовавшие в охране должны в три часа собраться в здании выставки, на Ходынском поле, что государь будет их благодарить. Разумеется, исполнить это в такое короткое время было невозможно. Князь об охране совсем забыл, и это была не более, как отписка. Проводив царственных гостей, я на следующее утро отправился к князю Долгорукому и представил ему, что гласные могут считать себя обиженными. Мы не хотели соваться вперед с заявлениями, а поставили себя вполне в его распоряжение; по его вызову многие почтенные гласные пошли в охрану, – он лишил их даже случая лично представиться государю и получить от него благодарность. «Я вам выхлопочу благодарность», – сказал он. «Этого мало, – отвечал я; – им было бы лестно видеть самого государя и получить от него благодарность; а бумага не имеет ровно никакого значения. Теперь есть только один способ поправить дело: вы можете изъявить благодарность от себя, облегчивши обязательные постановления. Теперь есть к тому прямой повод: государь уехал, все обошлось благополучно, и нет никакой причины удерживать строгие меры. Вам не нужно даже отменять свои постановления; вы можете просто, в виду успокоившегося положения, поручить обер-полицеймейстеру войти в переговоры с городским управлением на счет возможных облегчений». Долгорукий чувствовал себя кругом виноватым и на все согласился. Я созвал в Управу нескольких гласных, в том числе Охлябинина и Герье, которые все более ратовали в Думе; приехал Козлов, и всех дело было устроено к общему удовольствию. Гласные, участвовавшие в охране, получили конфиденциальную благодарность, над чем не мало смеялись.

Так уладилось это дело. Как видно, мы с князем Долгоруким жили в миру. До самого конца у нас не было никаких столкновений и он всегда старался быть очень любезным. Но я хорошо знал, что он меня недолюбливает. Ему нужен был лакей, а я был независимый человек, с которым надобно было считаться. Стараясь устранить всякие столкновения и шероховатости, я был далеко от тех угождений, которые более всего его пленяли. Я ему не льстил и считал несовместным со своим достоинством ездить встречать и провожать его на железную дорогу. Он меня терпел и даже старался со мною ладить, пока он думал, что я крепко стою в высших сферах. Но летом 1882 года совершилась перемена министерства, которая поставила меня в совершенно другое положение.

На место Игнатьева министром внутренних дел был назначен граф Толстой.

Об обстоятельствах, сопровождавших падение Игнатьева я был извещен следующим письмом Победоносцева:

«Любезнейший Борис Николаевич. Ныне вы – человек честный и прямой мысли – состоите в голове Москвы; вы же и старый приятель мой. Поэтому к вам обращаюсь для разъяснения вам дела, стоящего у всех на языке и отуманенного невообразимою сплетней и намеренно пускаемою ложью. Между тем, крайне важно, чтобы все честные русские люди знали истинную суть его – важно не для меня, ибо я не забочусь о лжи, отовсюду на меня сплетаемой, а для правого суждения о действиях поистине честного нашего государя.

Вот вам истинная история о земском соборе.

Не ведая ничего, 3 мая вечером я получил от государя приказание приехать на следующее утро в Петергоф. Из письма я видел, что дело идет о каком-то предмете важном, сильно волнующем государя. На утро, по приезде, государь объявил мне, что гр. Игнатьев убеждает его к принятию меры, представляющейся весьма странною и сомнительною, – к созванию земского собора.

Я пришел в ужас от такого легкомыслия. Но ужас мой удвоился, когда я прочел подлинные бумаги. Это были – кроме двух объяснительных записок, готовые проекты манифеста, предназначенного на 6 мая, и рескрипт министру внутренних дел на то же число. 6 мая предполагалось как двухсотлетие со времени последнего собора.

В манифесте напыщенным языком, напоминавшим фразы передовых статей «Руси», сказано было, «помянув дни древние и примеры великих предков, первовенчанных царей и пр. – заблагорассудили мы торжество коронации (на Пасху 1883 года) совершить перед собором – всех чинов и «выборных от земли» – от дворян, от купцов, от городов, от землевладельцев, от крестьян каждого уезда – отовсюду, из Туркестана, Сибири, Польши, Финляндии и проч... «для совещания государя со всей землей: так и отныне да будет». Объясняется, что будут предложены вопросы об устройстве губернских и уездных учреждений! Далее ряд фраз в таком роде: «да обновится единение в любви, уже не токмо властной и покорной, но и советной»...

Что я мог сказать государю, кроме того, что это – безумие и легкомыслие неописанное!

Государь выразил намерение собрать некоторых министров и предложить им на обсуждение проект Игнатьева. Я не сомневался, что всякий человек со здравым смыслом и некоторым знанием истории будет одного со мною мнения.

Вечером того же дня, часу в 12-м, вдруг вторгся ко мне П. Д. Голохвастов, известный проповедник земских соборов. Я и не знал,

что он в Петербурге. Он пробыл у меня пять минут, и я узнал от него, что с месяц тому назад Ив. С. Аксаков отправил его в Петербург к Игнатьеву, сказав ему торжественно, что готовится земский собор, и что он определяется чиновником особых поручений к Игнатьеву. Он пришел ко мне в ужасе, что дело слишком быстро двинут, а может быть и пришел для того, чтобы выведать кое-что; но я посоветовал ему бросить глупости о соборе и уезжать назад в Воскресенск.

Прошло несколько дней. Я никому не говорил ни слова, но слышал, что в городе что-то шушукают. Вдруг появился номер «Московских ведомостей» со статьей о земском соборе; затем на другой день – статья в «Новом времени» аналогическая, а «Новое время» считается – основательно – органом Игнатьева.

Прошла неделя. Игнатьев был у государя и просил его оставить все дело без последствий. А между тем, сам не только не молчал, но ездил по разным лицам и доказывал правду и необходимость своего предприятия. Со мною – ни слова; но ездил он несколько раз к Островскому, пытался его уговаривать, присылал к нему за тем же Воейкова и Голохвастова и пел ту же песню разным дамам в Петербурге и в Петергофе. Он продолжал упорно отстаивать свою несчастную мысль. Это было нехорошо с его стороны – пускать в обращение толки об этом деле, когда ему известно было, что государь не одобряет его, и когда сам он просил оставить его без последствий.

Мало того: с удивительным легкомыслием он повел игру в газетах. Раздосадованный первою статьей «Московских ведомостей», он стал обращать на «Московские ведомости» вину первого разглашения.

Объявил газетам распоряжение – не печатать статей ни pro ни contra* о земских соборах. Но в то же время, конечно, по уговору с Аксаковым, в «Руси» появилась известная статья, потом в «Московских ведомостях» – другая, потом в других газетах. Толки пошли по всему городу. Поднялась полемика и в газетах и в гостиных.

Все это стало известно и государю. Положение становилось крайне неудобным. Необходимо было прекратить его, и государь назначил у себя предположенное совещание. Внезапно получил я и еще трое, в том числе Рейтерн и сам Игнатьев, приказание приехать в Петергоф 27 мая.

Я вынес тяжелое впечатление из этого заседания. Игнатьев поставил себя в позорное положение. Не чувствуя под собою почвы, он пытался выпутаться и хотел дать делу такой вид, что предполагался им лишь церемониальный вызов, подобный тому, какой всегда бывал в коронации. Но бумаги были налицо. Манифест говорил совсем другое, и он сам на обличение себе должен был прочесть его.

* «За» и «против».

Все присутствовавшие, без всякого различия в мнениях, признали предприятие исторической фантазией, которая на практике оказалась бы безумным и опасным делом. Пришлось ему выслушать и обличения в том, что он сам разгласил об этом деле в публике и в журналах!

Сам он высказался в том смысле, что затем ему оставаться нельзя (хотя продолжал отстаивать свой проект), и вероятно вскоре последует его увольнение. Вот вам, любезнейший Борис Николаевич, правдивая повесть об этом жалком деле.

До 4 мая, пока я не знал об этом, я считал долгом отстаивать Игнатьева, хотя его лично предупреждал неоднократно, что нельзя быть без правды, и что его политика оборвется, так как он не имеет прямого и твердого слова. С этой минуты, с 4 мая, я от него отрекся.

Он обличил себя перед теми, кому известен весь ход дела. Но остается еще широкое поле обмана и обольщений для тех, кому истина неизвестна.

Я не сомневаюсь, что на этом поле он будет работать для того, чтобы оправдать себя и утвердить свою популярность в нашем дряблом обществе. И теперь уже здесь многие прославляют его за проект земского собора. В Москве фантазеров и болтунов тоже непочатый угол. Одним он будет пускать пыль в глаза конструкцией фантастического собора, других будет уверять, что хотел устроить только церемониальное собрание. В умах только прибавится от того смуты.

Я пишу вам не с тем, чтобы вы показывали письмо мое, но с тем, чтобы вы сами знали истину, и в случае нужды могли бы объяснить ее тем, кто ее не знает и судит о деле по слухам и бабьим сплетням.

О существе дела нечего и говорить вам. Вы лучше многих знаете, что за фантазия эти земские соборы, которые с легкой руки К. С. Аксакова, пожаловали у нас демократические мечтатели в, какое-то исконное, органическое учреждение русской правды.

Обнимаю вас. Ваш К. Победоносцев. 28 мая 1882 г. Петербург».

Я отвечал Победоносцеву, что описанные им события действительно представляются мне чистою комедией: Аксаков, отряжающий для сочинения земского собора глупого Павла Голохвастова, известного только бездарным переложением древних былин; Игнатьев, который, как настоящий фокусник, выкидывает какую угодно карту: хотите, туза! хотите, семерку! Обличение этого фокусника, который принужден сам читать свои собственные измышления, от которых он только что отказывался, все это было достойно пера Гоголя. И к довершению всего, вдруг на сцене появляются опять Дон-Мерзавец и Донна Ослабела...

Для России назначение графа Толстого было, однако, не шуткою. Это был роковой шаг, определивший окончательно направление

нового царствования. Против Игнатьева давно поднимался вопль, особенно в Петербурге. При его лживости и легкомыслии не только невозможно было на него положиться, но никогда нельзя было знать, какую штуку он вздумает выкинуть. Давно искали его преемника; но никому не приходило в голову, что на важнейший пост в государстве призван будет человек, даже не служивший на этом поприще, не имеющий в нем ни малейшего опыта и ознаменовавший себя только тем, что заслуженно возбудил против себя всеобщую ненависть.

И вдруг, неожиданно для всех, по мановению державной воли, этот человек, злобный и лживый, бюрократ до мозга костей, ненавистник всякого свободного движения, выдвигался из тьмы, в которую он был погружен, и облекался безграничными полномочиями для подавления всякого живого начала в несчастной русской земле!

Это был вызов, брошенный всему, что думало и чувствовало в России, всему, что питало в себе какие-нибудь благородные помыслы и стремления. Правительство во всеуслышание заявляло, что оно в обществе не нуждается и отныне будет опираться исключительно на доползшее до вершин отребье бюрократических порядков. Это было вместе с тем проявление полного отсутствия всякого нравственного смысла в тех, кому вверены судьбы отечества. Макиавелли замечает, что князь познается по тем людям, которыми он себя окружает. Толстой был личным выбором монарха. Победоносцев его подсунул, советовав поговорить с ним о мерах против католицизма, а царю он полюбился.

Узнав о его назначении я сказал, что верно государь, как честный человек, хочет испытать ложь во всех ее видах: ложь хитрую в лице Лорис-Меликова, ложь легкомысленную в лице Игнатьева и ложь злую в лице графа Толстого. Но последняя, видимо, понравилась и до конца осталась в фаворе. Толстой угождал крутому и самовластному нраву, а это было именно то, что требовалось.

Признаюсь, я в то время не верил, чтобы такое управление могло быть продолжительно. В виду страшной энергии, которую проявили разрушительные элементы после катастрофы 1 марта, казалось, едва ли будет достаточно всех сил русской земли, чтобы побороть все возрастающее зло. К внутренней неурядице присоединялось и напряженное внешнее положение. При громадных вооружениях Европы, ежеминутно можно было опасаться, что вспыхнет война, в которую мы волею или неволею будем вовлечены, и которая потребует от России неизмеримых жертв. При таких условиях выбор Толстого представлялся мне еще большим безумием, нежели возложение иностранных дел на ограниченного и дряблого Гирса и назначение ничтожнейшего полишинеля Делянова министром народного просвещения. Худшей комбинации нельзя было вообразить.

Все это я высказал в разговоре с Победоносцевым, который летом 1882 года приезжал на выставку и остался в Москве после отъезда царской фамилии. «Вы – единственный серьезный человек из всех окружающих царя, – сказал я ему; – вам он всего более доверяет. Вас, поэтому, Россия считает всего более ответственным за то, что совершается, с вас мы, русские люди, вправе требовать отчета. К чему вы нас привели? После 1 марта все единодушно готовы были столпиться около престола и следовать каждому мановению царя. А теперь в какое вы нас поставили положение? Вы окружили престол грязью, так что он весь ею обрызган; вы вытащили из тьмы всякое отребье и вверили ей управление Россией. Все порядочные люди принуждены отвернуться с негодованием. Вы восстаете против земского собора, но вы нас насильно наталкиваете на земский собор». «Земский собор, это – хаос!», – воскликнул он. «Знаю, что это хаос, – отвечал я; – но из хаоса выходит новый мир, а из гнилого дерева ничего не выйдет, кроме разложения». «Да кто же вам его даст?» Я схватил его за плечо: «Возьмем, Константин Петрович, возьмем. И для этого не нужно нам двинуть пальцем, достаточно сидеть открывши рот, и все будет в него падать само собою. Неужели вы в самом деле воображаете, что вы с вашею петербургскою гнилью в состоянии вывести Россию на правильный путь?»

Говоря таким образом, я, конечно, имел в виду не дряблое русское общество, которого раболепство постоянно приводило меня в негодование, а те подземные силы, которые проявились с такою ужасающею энергиею и которые требовали отпора. Но я рассчитывал на неведомый мне элемент. Мог ли кто-нибудь предугадать, что и эти разрушительные силы улетучатся так же, как улетучились дворянские конституционные поползновения и все общественное движение 60-х годов, как улетучиваются вообще все увлечения русского общества. Народная пословица гласит: «на то щука в море, чтобы карась не дремал». Щука оказалась неважная; удалось их несколько выловить, и огромный русский карась задремал в болотной тине, позволяя ползающим по нем насекомым питаться его плотью и кровью. И будет он дремать, пока какая-нибудь новая катастрофа, внутренняя или внешняя, не пробудит его от постыдного сна. И тогда вдруг на совершенно неприготовленное к тому общество навалится и земский собор и, пожалуй, состряпанная кем-нибудь наскоро конституция. Никто, конечно, не поручится за то, что в одно прекрасное утро замолкнувший на время нигилизм не воспрянет с новою силой. Вогнанная внутрь болезнь разъедает организм и проявляется внезапно, в ужасающих признаках. Но скоро ли наступит неминуемый кризис? Все человеческие расчеты оказываются тщетными, когда смотришь на современное напряжение Европы, которое, казалось бы, не может длиться и которое, однако, тянется год за годом

в течение двадцати лет, и не предвидится ему конца. Чувствуется, что пора наконец очиститься удушливому воздуху, который сделался невыносим; но когда соберется гроза? и что она за собою принесет? Можно предвидеть страшные катастрофы, погибель миллионов людей, но не видать еще ни малейшего облика того светлого мира, который водворится по миновании бури. Наши потомки увидят лучшие дни, а мы доживем разве только до разрушения.

Победоносцев уныло слушал мои негодующие упреки. Он считал меня безвозвратно погибшим человеком. После этого внешние отношения сохранились, но дружеская связь порвалась навсегда.

Граф Толстой тоже явился в Москву на выставку, сопровождая государя. Со мною он был более нежели холоден. Немедленно по приезде, после выхода, на котором я подносил хлеб-соль, я поехал к нему расписаться. В тот же день я был приглашен к царскому столу в Петровский дворец. Он был там, но не сказал мне ни слова. И после этого мне случалось не раз бывать в Петербурге; всякий раз я по обязанности являлся к нему, даже в его приемные дни, но как будто нарочно случалось, что я не заставал его дома, и так до конца я не обменялся с ним ни единым словом, хотя, казалось бы, для министра внутренних дел Москва представляла нечто довольно существенное. Личные отношения стояли для графа Толстого выше всяких общественных обязанностей. Мне, с своей стороны, было приятно иметь с ним как можно меньше дела. Я знал его за негодяя, и ему это было известно. Поэтому он и старался меня избегать, а я, по возможности, держал себя в стороне.

Вскоре я мог испытать последствия перемены правления. 12 января был обычный обед старых студентов Московского университета. Я хотел воспользоваться этим случаем, чтобы сказать несколько слов в пользу существующего университетского устава, на который ополчались со всех сторон. Катков вел против него бесстыдную войну в «Московских ведомостях», по обыкновению, извращая факты, раздувая мелочи и скрывая самое существенное, а Делянов представил уже свой новый проект в Государственный совет. Я полагал, что если журналисту дозволено с яростью нападать на существующий закон, то старому профессору и представителю общества дозволено его защищать. За обедом я сидел возле Капниста. Меня несколько удерживало опасение, что он будет поставлен в ложное положение как попечитель, если я выступлю в защиту существующего устава; но он вовсе не разделял взглядов министерства и одобрил мое намерение. Тогда я после обычных тостов, поднявши бокал, сказал следующую речь:

«М. м. г. г. Здесь, на общем празднестве, собрались люди разных поколений, различных направлений, действующие на разных поприщах; но всех нас соединяет одно общее чувство – любовь к воспитав-

шему нас учреждению. Мы с напряженным вниманием следим за его судьбами, иногда с сердечною болью, иногда – с радостью. В наступающем году мы можем смотреть на Московский университет с чувством радости. Во всех университетах и во многих других высших учебных заведениях были волнения и беспорядки; одни студенты Московского университет остались спокойны. Они не поддались внешним подстрекательствам и не нарушили порядка. В этом я узнаю студентов Московского университета, как я их знал в прежнее время, когда я имел честь быть профессором. Более двадцати лет тому назад, когда я вступил на кафедру были тоже волнения и беспорядки; но Совет Московского университета, как один человек, стоял за соблюдение закона, и скоро волнения утихли и в течение многих лет не возобновлялись. Молодые, горячие головы легко увлекаются, но они также легко поддаются советам благоразумия, когда эти советы даются им с должным авторитетом. Эти явления доказывают, что причину беспорядков следует искать не в уставах, а в том духе, который господствует в учреждениях и в окружающей их среде. В то время, о котором я говорю, не было еще оклеветанного устава 1863 года, который ныне становится козлом отпущения за все грехи, – за грехи подчиненных так же как и начальства, но в особенности за грехи начальства. Тогда господствовал устав 1835 года и ректор был даже не выборный, а назначенный от правительства, и беспорядки все-таки были. Но у нас, к сожалению, вместо того, чтобы искать причины зла и лекарств от него там, где они есть, ищут их в чернилах и бумаге. Как скоро замечается зло, хотят менять законы и уставы. Без сомнения, Это гораздо легче, нежели действовать на людей. Людей надобно подготовлять, выбирать, надобно с ними ладить и давать им направление; а чернильная строка всему поддается. Достаточно выбрать трех, четырех человек, насквозь проникнутых канцелярским духом и устав готов, и можно его провести. На это идут тем охотнее, что в перемене законов каждый видит возможность устранить препятствия своей воле: подчиненные хотят расширить свои права; управляющие хотят расширить свою власть. Мы не умеем пользоваться тем, что есть, а требуем все большего и большего, между тем как первое условие правильного общежития состоит в умении жить среди преград, поставляемых чужою волею. Отсюда, м. м. г. г., прискорбное явление, характеризующее современное русское общество. Вместо стремлений к охранению столь недавно созданного является стремление к разрушению. Оно идет не только снизу, но и сверху. Двадцать лет тому назад были совершены величайшие преобразования, которые обновили всю русскую землю.

Казалось бы, надобно их упрочить, укрепить; нельзя же каждые двадцать лет менять учреждения. Вместо того хотят все переделать на новый лад. Это стремление проявляется всюду: и в попытках из-

менить Положение 19 февраля, этот краеугольный камень обновленной России, и в стремлении пересоздать земские учреждения, и в сочинении фантастических единиц, которыми думают заменить существующие органы управления. То же стремление проявляется и в походе против Устава 1863 года. Этот Устав, м. м. г. г., мы обсуждали в Совете Московского университета в то время, как он готовился перейти в закон. Совет Московского университета был тогда насквозь проникнут охранительным духом; мы твердо стояли за законный порядок. Но этот охранительный дух был вместе и дух либеральный. Это был дух Положения 19 февраля, дух, создавший земские учреждения и Городовое положение. Мы были убеждены, как я и ныне убежден, что университеты еще более, нежели земство и города, нуждаются в ограждении от административного произвола, и эти гарантии были им даны. Устав 1863 года узаконил независимое положение университетской корпорации, положение, которое было уже подготовлено жизнью. Независимость, м. м. г. г., как и все человеческое, может дать и хорошие и дурные плоды, смотря по тому, как ею пользуются; но нет сомнения, что только при независимости может развиться крепкий корпоративный дух и нравственный авторитет над учащейся молодежью, тогда как раболепная покорность порождает только крайности бессилия и возмущения. Но, узаконивая независимость корпорации, устав 1863 года не умалил значения власти. Мы ясно сознавали, что только при дружном содействии университетской корпорации и контролирующей ее власти в университете может установиться тот нравственный порядок, который составляет жизнь всех учебных заведений. К сожалению, вместо того, чтобы действовать в этом направлении, хотят уничтожить самую почву, на которой эта согласная деятельность возможна; хотят ниспровергнуть самый устав 1863 года и заменить его чем-то новым, у нас небывалым. И к удивлению, все это делается во имя успокоения умов. Забывают первое правило здравой политики: если вы хотите успокоить умы, не ломайте учреждений, не уничтожайте существующего порядка, не выбивайте людей из обычной колеи; если же вы производите ломку, вы неизбежно породите брожение. Что из всего этого выйдет? Никто не может сказать. Но мы надеемся, что университет выдержит это испытание, так же, как он выдержал многое другое, так же как он выдерживал период гнета и периоды распущенности. Во всяком случае, сохраняя спокойствие среди общею волнения, студенты Московского университета доказали до очевидности, что мир в стенах университета зависит не от уставов, а от нравственного духа, который в них водворился. Этим они оказали услугу и университету и России. Как старый профессор, я поднимаю бокал за настоящих и бывших студентов Московского университета!»

Речь произвела некоторое впечатление. Все присутствующие подошли ко мне с радостным поздравлением. Даже радикалы, смотревшие на меня искоса, приветствовали меня приятною улыбкой. Из Петербурга я получил сочувственную телеграмму от нескольких профессоров: Сергеевича, Горчакова, Дювернуа. Менделеев также прислал мне следующую телеграмму: «Сейчас только прочел вашу речь. Нельзя не благодарить за громкое слово; истинно остается радоваться сказанному и чествовать произносящего». Дмитриев также был очень доволен и говорил, что это было сказано как нельзя более кстати. Но в Москве некоторые гласные находили, что городскому голове лучше было воздержаться от сторонних заявлений. Между прочим, Найденов сказал мне, что он пожалел об этой речи. Я отвечал, что на мои глаза городской голова не есть только думский чиновник, но представитель Москвы, как нравственного и умственного средоточия России, а потому ему не только не могут быть чужды все общественные интересы, а напротив, он должен быть на них вдвое отзывчив: иначе он не стоит в уровень с своим положением.

Но правительство смотрело на голову именно, как на думского чиновника, и считало для него непозволительным то, что разрешалось каждому гражданину. Журналисту дозволялось самым бессовестным образом нападать на существующий закон, а старому профессору, если он занимал должность головы, не дозволялось защищать этот закон. Через несколько времени после этого обеда я встретился с князем Долгоруким на похоронах двух дочерей Дмитрия Алексеевича Милютина, которые скончались в Оренбурге и хоронились в Москве, в Девичьем монастыре.* Мы вместе с князем поднимались по лестнице, которая вела в церковь. «А я должен вам сообщить очень неприятную весть, – сказал он, – мне поручено сообщить вам, что государь очень недоволен вашей речью и нашел ее неуместною». – «Я очень об этом жалею, – отвечал я спокойно. – Я действовал по совести и думаю, что исполнил долг гражданина». Князь посмотрел на меня с изумлением: «Вы так это принимаете?» – сказал он. – «А как же?» «Я думал, что это вас совсем сразит». «Напрасно вы думали; моя совесть чиста, и мне не о чем сокрушаться». Мы вошли в церковь и стали рядом. Он подозвал своего лакея и велел снять с меня шубу. Во время службы он все поглядывал на меня с недоумением и все повторял: «Однако, вы удивительный человек!» После похорон я отправился к нему, и он прочел мне конфиденциально министерскую бумагу, весьма лаконическую и не содержавшую никаких объяснений. «Но что же мне отвечать?» – спросил он. «Скажите, что я

* Гр. Мария Дмитриевна Милютина (род. 1854) и Елена Дмитриевна Гершельман, рожд. гр. Милютина (род. 1857) скончались в 1882 г.

очень жалею о том, что навлек на себя неудовольствие государя; но я поступил по совести и не воображал, что выхожу из пределов своих прав, защищая существующий закон, на который другим дозволено нападать самым бессовестным образом».

Он опять посмотрел на меня с удивлением. «Однако вы молодец!» – воскликнул он. «Это происходит оттого, князь, что я для себя ничего не ищу и ничего не боюсь». Но он, видимо, был озадачен и, провожая меня до дверей, против обыкновения, все повторял ту же фразу: «однако вы удивительный человек!» Вечером я встретил его на празднике, который давало немецкое общество в Москве по случаю дня рождения императора Вильгельма, и он опять выразил мне свое изумление. Возможность спокойно принимать выражение царской немилости никак не входила ему в голову. Он считал меня или сумасшедшим или человеком на все готовым, опасным для государства.*

Я думал написать государю письмо с объяснением своих действий и вместе воспользоваться случаем, чтобы высказать ему всю правду на счет общего положения дел. И жена и друзья отсоветовали мне это делать, и я разорвал проект письма. Хорошо ли я поступил, не знаю. Без сомнения, я был бы отставлен несколько ранее. Но какая была бы от этого беда? Я очень хорошо понимал, что от подобного шага нельзя ожидать прямых результатов; но для стоящих наверху бывает полезно хоть однажды в своей жизни услышать правду из независимых уст. Воздержавшись от объяснений, приняв молча сделанный мне выговор, я поступил осторожнее; но исполнил ли я долг гражданина, об этом пусть судят другие.

Вскоре после этих происшествий нужно было ехать в Петербург приглашать государя на праздник, который город должен был дать по случаю коронации. В январе манифестом было возвещено, что коронация совершится 15 мая. От думы была выбрана комиссия, в которую вошли Щербатов, Самарин, Аксенов, Найденов, Алексеев и художник Шервуд. По предложению Щербатова решено было в Сокольниках устроить праздник с угощением войск. Переговорив с моим старым приятелем Бобринским, который был губернским предводителем, я отправился к генерал-губернатору с официальным

---

* Роль кн. В. А. Долгорукого в истории с речью Б. Н. Чичерина выясняется из «Копии с конфиденциального письма г. московского генерал-губернатора к г. министру внутренних дел от 20 января 1883 г.». напечатанной в Трудах Госуд. Румянцевского Музея, вып. II (К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Том I, Novum Regnum, полутом I, М. 1923, стр. 344-346). Письмо это было доложено Толстым императору, в результате чего последовало распоряжение Долгорукову «пригласить к себе г. Чичерина и объявить ему, что е. в - во находит эту речь совсем неуместной и не соответствующей званию городского головы» (там же, стр. 344).

письменным прошением, не благоугодно ли будет государю принять праздник от города, но при этом заявил, что поеду сам, чтобы лично пригласить его величество. «Зачем вам ехать? – с неудовольствием воскликнул Долгорукий, который любил, чтобы все делалось не иначе как через него. – На днях, я сам еду в Петербург и все вам устрою». Я отвечал, что, когда город дает праздник в честь государя, он не может довольствоваться официальною бумагой; голова должен лично просить государя. «Да ведь никогда нельзя знать, в какую минуту попадешь, – возразил Долгорукий, – ну если вас не примут?» «Это будет афронт городу, и я выйду в отставку». «Вы это так принимаете?» «Точно так». Он знал уже, как я отношусь к царской немилости и не настаивал. С тем я и уехал.

По приезде в Петербург я немедленно отправился к Рихтеру и просил его сообщить государю о цели моего приезда и при этом внушить, что если меня не примут, то это будет оскорбление Москве, чего желательно избегнуть. Если меня не хотят, то пускай мне скажут, и я тотчас выйду в отставку, не желая быть помехой в таком торжестве. Я поехал представляться к министру внутренних дел, но он не принимал, и я расписался. Вслед за мною приехал и Долгорукий. Он сообщил мне с некоторым неудовольствием, что поданную мною официальную просьбу он должен представить через министра внутренних дел. Я, с своей стороны, сообщил ему, к великому его изумлению, что я получил уже приглашение явиться к обедне в Аничков дворец в день рождения государя.

Я поехал. Народу было множество. Тут был и Бобринский. Я стал на пути государя и императрицы при выходе из церкви. Они остановились, я просил их принять городской праздник. Оба весьма любезно изъявили согласие. Меня пригласили к завтраку. Уезжая, я встретил князя Долгорукого. «Ну что же, вы пригласили государя»? – спросил он с любопытством. «Пригласил». «И что же он вам сказал?» «Что он очень рад принять городской праздник». «Я решительно ничего не понимаю». «И я тоже ничего не понимаю». Неделю спустя по возвращении в Москву я получил через генерал-губернатора официальное уведомление от министра внутренних дел, что государю угодно принять праздник. Бюрократическая комедия шла своим чередом.

Приготовления к коронации требовали больших хлопот и поглощали все время. Надобно было в Сокольниках построить павильон для массы гостей, заказать посуду для войска, приготовить яства и некоторое угощение для избранной публики. Город же должен был устроить трехдневную иллюминацию вне пределов Кремля, который находился в ведении Дворцового управления. Наконец, мы должны были поставить подмостки для публики в день въезда и раздавать билеты. К назначенному времени начали съезжаться и русские са-

новники и иностранные гости. Все считали долгом сделать визит городскому голове и всем надобно было отдавать визиты. Кроме нескончаемых хлопот и приемов в Думе, приходилось рыскать по городу с утра до вечера, представляться целому сонму иностранных принцев и всех звать на Сокольничий праздник. Голова шла кругом.

Еще до праздника предстояло на другой день после коронации торжественною депутациею подносить государю хлеб-соль. Я полагал, что от имени Москвы придется сказать несколько слов, и желал, чтобы эти слова имели некоторое значение. Набросив проект краткой речи, я показал его Щербатову и Самарину. Мы тщательно взвесили все выражения. Однако я не считал возможным сказать что бы то ни было, не заручившись заранее согласием государя. Поэтому в самый день приезда императорской фамилии в Петровский дворец, я поехал к Рихтеру.

Не зная, застану ли я его дома, я в письме к нему изложил побуждения, руководившие мною. Но он меня принял и тут же, прочитав письмо и речь, передал то и другое Воронцову, который в эту минуту шел к государю.

Письмо было следующего содержания:

«Любезнейший Дмитрий Борисович. Обращаюсь к вам, как к старому другу, с которым меня связывают дорогие воспоминания, прошу вас оказать услугу, не лично мне, а русскому обществу, которого я состою одним из представителей.

Думаю, что в таком торжественном случае, как предстоящая коронация, когда царь и народ становятся лицом к лицу, соединяясь в общей молитве о ниспослании божьей благодати на новое царствование, невозможно, чтобы все ограничилось официальными церемониями и празднествами, чтобы не было живого излияния мыслей и чувства народа перед царем. В этих видах, как представитель столицы, составляющей нравственное средоточие русской жизни, я счел бы уместным сказать несколько слов при поднесении их величествам хлеба-соли. Понятно, однако, что в такую минуту нельзя сказать ни единого слова, которое бы не было одобрено государем. Но если бы для получения этого одобрения я пошел обыкновенным официальным путем, то мысль и чувство по дороге скоро бы испарились. Тут встретились бы препятствия и со стороны этикета и со стороны мнимых преданий; всякому изъявлению старались бы придать возможно казенный и бесцветный оттенок, и живое слово обратилось бы в обычный мертвый формализм. Поэтому-то я и обращаюсь к вам. Не сочтете ли вы возможным представить на благоусмотрение государя приложенную при сем речь. Если она будет одобрена, если в ответ на наши искренние излияния мы услышим одно лишь слово: «надейтесь на меня», то мы будем вполне удовлетворены и сохраним от коронации не одни лишь воспоминания

пышности и церемоний, но нечто более глубокое и плодотворное. Постарайтесь это сделать».

Проект речи был следующий:

«От имени Москвы, по старому русскому обычаю, имею счастие, в этот торжественный день, поднести вашим императорским величествам хлеб-соль.

На этом блюде, государь, изображено знаменательное событие русской истории – венчание на царство прародителя дома Романовых, Михаила Федоровича, излюбленного всею землею. Цари этого дома оправдали безграничное доверие к ним русского народа: они сделали Россию великою, могущественною и славною, они насадили в ней гражданственность и просвещение. Ваш незабвенный родитель довершил деяние своих предков, сделав Россию страною свободной. Ныне снова русские люди стеклись в Москву на всенародное торжество. Мы, ваши верные подданные, повергаем к стопам Вашего величества наши чувства и упования. Мы надеемся, что с помощью божьею, великие дела предков будут увенчаны новыми, славными делами; мы надеемся, что под вашею державою семя, насажденное вашим августейшим родителем, будет крепнуть и развиваться; мы твердо верим, что в дарованных им дорогих нам учреждениях положено начало новой, великой эпохи русской истории. Ваше величество! Укажите путь, и вся Россия, собранная вокруг вас, пойдет за вами, как искони он шла за своим царем.

Государь! Москва приветствует вас и царицу с радостью и любовью! Провидение да хранит ваши дни на счастие и славу отечества!»

Вскоре по возвращении домой я получил официальное уведомление, что государю не угодно, чтобы при поднесении хлеба-соли произносились какие бы то ни было речи. Приказ, по-видимому, был отдан уже накануне, ибо бумага была помечена предшествующим числом. Граф Толстой догадывался, что могут что-нибудь сказать и хотел это предупредить. Мне это было все равно, ибо до сведения государя было уже доведено то, что я хотел высказать, а это было все, что требовалось. На следующий день я встретил князя Долгорукого на вечере у Гирса. «А вы опять обратились к государю помимо меня!», – воскликнул он с неудовольствием. «Я, князь, не хотел ставить вас в ложное положение, – отвечал я. – Если бы я мог прямо через вас испросить волю государя, я был бы очень рад; но вы знаете, что просьба опять пойдет через министра внутренних дел, а это не может быть приятно ни для меня, ни для вас. Поэтому я и избрал другой путь».

В виду столь недавних злодеяний, все опасались за въезд. И точно, немудрено было из несметной толпы, наполнявшей подмостки, окна и крыши, бросить маленькую бомбу. Об этом ходили тревожные слухи. Однако все обошлось благополучно. Въезд был торже-

ственный и великолепный: раззолоченные кареты, запряженные цугом, придворные и сановники в великолепных мундирах, пышно одетые дамы, разнообразные войска в полной парадной форме, азиатские инородцы в своих пестрых и оригинальных костюмах, и при этом звон колоколов и массы ликующего народа, все это представляло зрелище, какое редко удается видеть. И как напоминание о всех великих эпохах русской истории, по всему пути, между убранными зеленью арками, расставлены были по мысли и рисункам Шервуда красивые, украшенные флагами хоругви, с портретами замечательнейших русских государей, св. Владимира, Александра Невского, Калиты, Дмитрия Донского, Ивана III, Михаила Федоровича, Петра Великого, Екатерины, Александра I и Александра II, с надписями приличными каждому и могущими иметь значение для настоящего дня. Под изображением св. Владимира была надпись: «Гряди с миром! Вера святая да будет силою твоею и спасением народа твоего». Под Невским: «Да укрепит господь десницу твою на врагов твоих». Под Калитой: «Да преисполнится сокровищница твоя и да изольются щедроты твои на подданных твоих». Под Донским: «Да защитишь праведных от врагов креста господня и да исполнишь святой завет предков твоих». Под Иваном III: «Да возвеличит господь державу твою и да прославится она от края и до края земли». Под Михаилом Федоровичем: «Да услышишь глас народа твоего: глас народа – глас божий, избравший предков твоих». Под Петром: «Да исчезнет тьма и плоды просвещения да возрастут обильно в царстве твоем». Под Екатериною: «Да возвеличат царство твое мужи чести и совета, призванные тобою, и да утвердится ими строй земли твоей». Под Александром Первым: «Да не усомнишься в народе твоем среди восставшей из пепла столицы твоей». Под Александром Вторым: «Да святится свобода верою и правдою и да явит она силу свою под державою твоею».

Некоторые гласные настаивали на том, чтобы в числе других поставить и потрет Николая; но я решительно объявил, что ни за что на это не соглашусь. По мысли составителей эти надписи должны были служить выражением самых высоких пожеланий русского народа; для николаевского гнета тут не было места. Увы! Этим пожеланиям не суждено было сбыться. Царственное шествие совершилось иными путями.

Для Думы устроен был особый павильон, где я во главе городских представителей должен был встретить царя. Толстый и неуклюжий, он ехал впереди свиты, мало от нее отделяясь. Раскланявшись, я поспешил на Красную площадь, где на громадной эстраде собраны были ученики городских школ. При проезде государя они все хором должны были петь: боже, царя храни! К сожалению, я не поспел к этой минуте, которая, говорят, была удивительно торжественна.

15 мая была коронация. С утра нас собрали во дворец и разместили по группам для церемониального шествия. Городские головы собрались со всей России и даже из дальней Сибири. Столичные шли во главе и одни имели доступ в Успенский собор. При входе в храм меня остановил новый государственный секретарь Половцев с вопросом: «Avez vous lu les rescrits de ce matin?» «Pas encore». «Lisez! il y a pourtant quelque chose la dedans!»* – сказал он, ударяя себя по лбу. Я потом прочел: кроме обычных официальных пошлостей там ничего не оказалось.

Я стоял в группе, помещавшейся сзади эстрады, и видел только спины государя и императрицы. При таких условиях коронация не произвела на меня особенного впечатления. Самый Успенский собор с поновленною позолотою потерял тот почтенный вид древности, который придает ему величие и красоту. По окончании службы из церкви двинулось длинное шествие по соборам и оттуда во дворец. День был великолепный; Кремль был полон народа; церкви сияли, колокола гудели. Новый царь в порфире и короне шел прикладываться к мощам и затем поднялся по ступеням Красного крыльца. В массе господствовало одно чувство беспредельной любви и восторга. Для тех, кто умели думать и останавливались не на мимолетном настроении минуты, а на том будущем, которое возвещалось нынешним торжеством, оно представлялось покрытое мраком.

Надежда своим светлым ликом не осеняла всенародного ликования. Вслед за царем мы вошли во дворец. Государь вышел на балкон, чтобы показаться народу. При обратном шествии я стоял на пути. Он прошел мимо меня, с своим спокойным и светлым взором, который произвел на меня хорошее впечатление. Мне показалось, что он лучше того, что его окружает.

После того во дворце был парадный обед. Цари церемониально кушали в Грановитой палате, возобновленной к этому дню в чисто лубочном стиле какими-то нарочно выписанными для того провинциальными мазилками, которые расписали ее невероятно безобразными сценами из св. писания. Это был настоящий позор. На следующий день был коронационный бал. Тут зрелище действительно было волшебное. Великолепные залы Кремлевского дворца сияли бесчисленными огнями. Их наполняла густая толпа разодетых дам в русских нарядах, осыпанных жемчугами и драгоценными каменьями, и мужчин в вышитых золотом мундирах. Все с напряженным вниманием ожидали царского шествия, которое потянулось длинною вереницею, с императором во главе, и за ним вся царская фамилия, съехавшиеся отовсюду иностранные принцы и послы и высшие са-

---

* «Читали ли вы сегодняшний рескрипт?» «Нет еще». «Прочтите. Здесь все-таки что-то есть».

новники государства. Внутренней пышности соответствовало и наружное великолепие. С террасы Кремлевского дворца, на которую двери были отворены настежь, открывался совершенно фантастический вид: кругом пылающие огнями Кремлевские башни, а внизу отражающая блески река и за нею бесконечная даль Замоскворечья, с улицами, домами и колокольнями, освещенными миллионами плошек. Иллюминация возобновлялась три дня; целую ночь несметная толпа двигалась по улицам, и пешая и в экипажах.

Городские головы решили ознаменовать это единственное для них собрание совокупным обедом. Как хозяин Москвы, я был приглашен на него гостем и посажен на председательское место. Если мне казалось неуместным, чтобы царь и народ соединялись в общем торжестве чисто церемониальным образом, не сказавши друг другу ни слова, то еще более я считал неприличным, чтобы собравшиеся один раз в жизни городские головы ограничились обычным в России поглощением яств и питей и выкрикиванием официальных тостов, не обменявшись мыслями, не сказавши разумного слова. И кому же было сказать это слово, как не представителю Москвы, умственного и нравственного центра России, принимавшего гостей у себя. Я решил, что мне необходимо сказать речь. А об чем было говорить, как не об отечестве, о его настоящем положении и о его будущем? Недавно произошла страшная катастрофа, торжество разрушительных сил; и теперь еще мы трепетали каждую минуту, чтобы чего-нибудь не случилось. Царь не смел показаться народу без явной и тайной охраны. Неужели при этих условиях мы могли молчать? Тема была дана: единение всех для отпора разрушительным элементам. В ответ на тост, провозглашенный за мое здоровье, я сказал следующую речь:

«М. м. г. г. Прежде всего считаю долгом поблагодарить вас от души за ту высокую честь, которую вы мне оказали, пригласивши меня сюда своим гостем. Я этим обязан, конечно, не себе, а тому, что я состою представителем Москвы. Вы хотели почтить древнюю столицу, в которой все мы, русские люди, видим нравственное средоточие русской жизни. Как представитель Москвы, приношу вам глубокую благодарность и смею уверить, что если русские города чувствуют свою живую связь с Москвою, то и Москва не менее живо чувствует свою связь со всеми частями русского государства. Москва перестала быть местопребыванием высшего управления, но она осталась главою русских городов. Москва даже более, чем город; Москва – это все истинно русское, принимая это слово не в смысле узкой и исключительной национальности, как иногда его понимают, а как начало широкое, всеобъемлющее, способное все в себя воспринять.

Я счастлив тем, что мне довелось быть представителем Москвы в эти торжественные дни, когда со всех сторон стеклись в нее рус-

ские люди для всенародного празднества. Не могу выразить того глубокого и отрадного чувства, которое возбуждает во мне нынешнее наше собрание. В нем есть что-то ободряющее и возвышающее душу. Я вижу перед собою представителей русских городов, пришедших сюда с противоположных концов Русской земли: из Перми, из Тавриды, из Риги, из Астрахани, из дальних городов Сибири. Что же знаменует это собрание? Вынесем ли мы отсюда только воспоминание тех торжеств, в которых нам довелось быть участниками, или среди нас, как искра, зародится живая мысль, которая послужит на общую пользу, или мы вынесем отсюда теплое чувство, которое останется для нас связью и будет поддерживать нас в нашей общественной деятельности?

Желательно, м. м. г. г., чтобы нынешнее наше собрание не прошло бесследно, чтобы оно было началом объединения земских людей на пользу отечества. Это единение составляет насущную нашу потребность. Мы принуждены оберегать, как зеницу ока, то, что нам всего дороже, самую святыню русского народа. Мы радуемся, когда день прошел благополучно, между тем как все должно быть исполнено доверия и любви. России в настоящее время приходится вести борьбу уже не с внешними врагами, а с собственными своими сынами, посягающими на мирное и правильное ее развитие. Все мы алчем и жаждем законного порядка, а есть ли возможность утвердиться законному порядку среди тех ужасных преступлений, которые заставили содрогнуться всю Русскую землю? Тут приходится усиливать полицейский надзор, облекать власти чрезвычайными полномочиями, приостанавливать законные гарантии свободы. Все остальное должно быть отложено до более благоприятного времени, когда нам удастся осилить удручающее нас зло. Сумеем ли мы это сделать?

Всем нам, м. м. г. г., известно, что само по себе это зло не так страшно, как оно кажется по своим последствиям. Та партия, которая производит всю эту смуту, весьма немногочисленна. Она вербуется из недоучившейся молодежи, сбитой с толку и развращенной нелепыми учениями. Что же дает ей силу? Единственно то, что она организована, между тем как все остальное в России разрознено и разобщено. Одно правительство, очевидно, не в состоянии справиться с этою задачею: оно может действовать только внешними средствами, а внешние средства бессильны против внутренней болезни: тут необходимо воздействие самого организма; нужно содействие общества. Возможность этого содействия существует; начало ему положено в великих преобразованиях прошедшего царствования. По всей Русской земле созданы самостоятельные центры жизни и деятельности. Эти учреждения нам дороги; мы видим в них будущность России. Но все это разрознено, а потому бессильно. Петр Великий любил уподоблять тогдашнюю Россию рассыпанной храми-

не, требующей руки зодчего. Нынешняя обновленная Россия тоже подобна рассыпанной храмине; но в отличие от прежней, тут требуется не одна рука зодчего; надобно чтобы сами камни стремились сложиться в стройное здание. Старая Россия была крепостная, и все материалы здания были страдательными орудиями в руках мастера; нынешняя Россия свободная, а от свободных людей требуется собственная инициатива и самодеятельность. Без общественной самодеятельности все преобразования прошедшего царствования не имеют смысла. Мы по собственному почину должны сомкнуть свои ряды протии врагов общественного порядка. А для этого необходимо прежде всего, чтобы люди узнали друг друга, чтобы они обменялись мыслями, чтобы они протянули друг другу руку. Вот этому-то и может служить нынешнее наше собрание; в этом смысле я говорю, что оно может сделаться началом единения земских людей. Пройдет немного дней, и все мы снова разойдемся по всем концам нашего обширного отечества: но если мы унесем отсюда сознание общей связи и потребность совокупной деятельности, наше собрание не исчезнет бесследно. Дух, м. м. г. г., не знает границ; он связывает людей, разделенных тысячами верст, в одно живое органическое целое.

Таковы наши стремления, таковы наши мечты. Враги свободных учреждений, те, которые видят единственное спасение России в голом начале власти, могут усмотреть в этом опасность; пожалуй увидят в них даже нечто революционное. Мы можем равнодушно взирать на эти нарекания. Мы знаем, что нас одушевляет одно общее чувство, которое служит нам связью: верность престолу и любовь к отечеству, которому мы готовы жертвовать всем. Мы не становимся в оппозиционное отношение к правительству; мы не требуем себе прав. Мы спокойно ожидаем, когда сама власть признает наше содействие; но когда этот зов последует, он не должен застигнуть нас врасплох: мы должны быть готовы. И мы можем быть уверены, м. м. г. г., что пора этого зова не слишком отдаленная. Ни внутреннее положение России, ни положение Европы не обещают нам период долгого мира. Могут настать грозные времена, когда потребуется напряжение всех сил Русской земли. Но если эти времена застанут нас соединенными, нам нечего опасаться. Крепкая единодушием своих сынов Россия выдержит все бури, как она всегда выдерживала постигавшие ее испытания. И она явит миру новые силы духа, не только те, которые возбуждаются действием сверху, но и те, которые возбуждаются в народе внутренним, жилым движением свободы.

М. м. г. г., я поднимаю бокал за единение всех земских сил для блага отечества!»

Перечитывая теперь эту речь, я думаю, что я сказал наименьшее, что можно было сказать, менее даже того, что я сказал при вступле-

нии в должность городского головы. В ней нет и тени не только революционных, но даже оппозиционных стремлений, высказывать которые во время коронации я считал бы совершенно неуместным. Вся мысль заключается в том, что при трудных обстоятельствах, в которых находится отечество, верховной власти может потребоваться наше содействие, и этот призыв не должен застигнуть нас врасплох. Многими мои слова были встречены сочувственно. Сидевший возле меня Старывкевич, всеми уважаемый президент Варшавы, сказал мне, что он ожидал от меня такой речи. На дворцовом бале самарский городской голова, простой, но почтенный и дельный человек, благодарил меня за высказанные мысли. Но не так посмотрела на это администрация. Я ничего не подозревал, как вдруг на следующее утро я получаю записку от Аксакова, с извещением, что ночью по всем редакциям разъезжал чиновник с циркулярным предписанием министра внутренних дел, воспрещающим печатать речь московского городского головы, в которой он требовал конституции.

Это была чистая гадость, клевета, пущенная в ход от правительства с целью меня компрометировать. Я тотчас поехал к Долгорукому и отвез ему текст речи, которая никому не была сообщена и вовсе не предназначалась для печати. Он притворился, что ничего не знал, что распоряжение было сделано без его ведома, и что только поутру, когда он поехал во дворец, его со всех сторон стали расспрашивать о моей речи, чем он поставлен был в самое глупое положение, ибо ничего не мог отвечать. Разумеется, я этому не поверил. Толстой, с своей стороны, уверял, что к нему с обеда приехали некоторые головы, возмущенные моими словами; но и это была такая же ложь. Впоследствии оказалось, что первым виновником всей этой переполохи был известный негодяй, взяточник и подлец, генерал Богданович, староста Исакиевского собора*. За обедом все городские головы нашли у своих приборов заранее литографированные им лубочные листки с изображением царя и царицы в коронационном одеянии, и он присутствовал тут на хорах, в качестве стороннего зрителя, в ожидании, что ему окажут какую-нибудь честь или благодарность; но ничего подобного не последовало. Услыхав мою речь, он тотчас полетел к Толстому с доносом, говоря, что я требовал конституции. Толстой с Долгоруким тут же смастерили штуку: не допросив меня, не потребовав от меня ни текста речи, ни каких-либо объяснений, они разослали по редакциям означенный циркуляр.

---

* «Знаменитый полковник Богданович, староста Исаакиевского собора и издатель елейно-холопских брошюр, которыми впоследствии, вымогая себе субсидии от правительства, он усердно и широко отравлял самосознание русского народа», – так характеризует Богдановича А. Ф. Кони, тоже навлекший на себя доносы и клевету с его стороны за недостаточное почтение. (А. Ф. Кони, Воспоминания о деле В. Засулич. М.-Л., 1933, стр. 327 – 328).

Другой экземпляр своей речи я тут же отвез Рихтеру с просьбою представить его государю. Я после у него спрашивал: сердится ли на меня государь за эту речь? Он отвечал, что нет. Ни один здравомыслящий человек не мог, конечно, толковать ее в смысле требования конституции. Прочитав ее, Дмитрий Самарин писал мне: «С благодарностью возвращаю. По прочтении, я еще более убедился, что на тебя, любезный Борис Николаевич, возведена клевета. Этой речи добросовестный человек не может придать значения требования конституции». Так смотрели на это даже некоторые министры, пользовавшиеся доверием и расположением государя. Между прочим, Островский, в то время один из видных деятелей нового царствования, встретив меня на вечере, просил сообщить ему текст. У меня в ту минуту не было экземпляра в руках, а так как он на следующий день уехал в Петербург, то я туда послал ему экземпляр. Он отвечал мне следующим письмом:

«От души благодарю вас за присылку экземпляра вашей речи. Я могу теперь с документом в руках зажать, по крайней мере, рот всякому, кто позволит себе при мне искажать смысл сказанных вами слов. Мне нечего, конечно, прибавлять, что в вашей речи нет, на мой взгляд, ничего такого, что бы могло подать повод к обвинению вас в заявлении каких-либо, с видами правительства несогласных требований. А между тем, как вы это лучше меня знаете, именно эти обвинения к вам предъявляются. Мы живем в странное время, живем среди таких, не скажу веяний (это слово опошлено), а таких течений, направление которых не поддается точному определению, и которые, помимо вашей воли, могут сказанное или сделанное вами прибить к такому берегу, с которого вы сами себя не узнаете в собственных своих словах или поступках. В такое время, во всяком обществе, которое не имеет совершенно интимного характера, надо как можно менее говорить обо всем том, что не подсказывается вам вашими прямыми обязанностями, что я и делаю».

Самарин настаивал на том, чтобы я для оправдания себя и для чести города, которого я состою представителем, требовал напечатания речи; но об этом нечего было и думать. Я довольствовался распространением ее в копиях. Несколько времени спустя, когда об ней проникли толки в печать, краткое изложение ее содержания было помещено в газете Аксакова.

Я должен сказать, что после всей этой истории, особенно когда я принужден был подать в отставку, и друзья и недруги нападали на меня за произнесение этой речи. У нас в России всегда оказывается виноватым тот, с кем делают гадость. Но я и поныне убежден, что на моем месте молчать было неприлично, а ограничиться пошлостями позорно. Для провозглашения тостов и для хозяйственных распоряжений можно было в московские городские головы выбрать дру-

гое лицо; я же считал себя обязанным поддержать нравственное значение и достоинство Москвы, и эту обязанность я исполнил.

Между тем, предстоял Сокольничий праздник. Он удался как нельзя лучше. Погода была благоприятная, зрелище восхитительное Красивый павильон, весь убранный флагами и хоругвями, среди свежей зелени Сокольничьей рощи, представлял нечто необыкновенно оригинальное и живописное. Толпа народа была громадная и внутри и вне павильона. Для царской фамилии и свиты была построена особая эстрада с угощением. Для войск снаружи были расположены столы, на которых были расставлены яства и питье. Все вышло вполне удачно за исключением приготовленного для офицеров завтрака, который был съеден публикой, проголодавшейся в ожидании государя. Он в это утро был у обедни в Измайловской богадельне* и там принял завтрак, вследствие чего он прибыл в Сокольники двумя часами позднее, нежели было назначено. Я повел его на видное место, приготовленное для приветствия войскам, стоявшим у своих столов. Тут стояла водка. Государь спросил, что он должен сказать? Я отвечал, что он это лучше меня знает. Он поднял чарку за здравие войск, которые отвечали оглушительным ура. Я повел его по всем столам; затем, побыв немного времени, он уехал с императрицею. Мало-помалу разъехались и остальные гости. Войска, довольные угощением, потребовали меня и стали меня качать. Пришлось не в первый раз вытерпеть это не совсем приятное изъявление благодарности.

Празднества завершились освящением храма Спасителя. Это было торжество, которое всего более произвело на меня впечатление. Погода была прелестная. И площадь, и берега Москвы-реки, и крыши домов были усыпаны народом. И когда из храма вышла процессия с царем и царицею, с духовенством в полном облачении, с развевающимися хоругвями, и за ними войска с своими покрытыми славою знаменами, среди которых, как величавые памятники славной старины, красовались изодранные знамена двенадцатого года, с шедшими возле них немногими, оставшимися в живых ветеранами, когда вся эта процессия двинулась вокруг собора, при громе пушек, при звоне колоколов, нельзя было не почувствовать в себе какой-то подъем духа, какое-то восторженное состояние. Это было не мимолетное торжество настоящего дня. Россия праздновала свое величие, освящала память знаменательнейшего события в ее исто-

* Дворцовое село Измайлово служило в XVII в. летней резиденцией царской семьи. При Алексее Михайловиче здесь был выстроен укрепленный дворец с садами, искусственными озерами, зверинцем и проч. и заведено обширное сельское хозяйство. От усадьбы сохранились двое въездных ворот и церковка «Иоасафа, царевича иудейского» и Покрова (1679). При Николае I, в 1837 г. в Измайлове была устроена «богадельня» для военных инвалидов.

рии, того, которое выказало перед лицом мира всю несокрушимую стойкость народного духа. С тех пор прошло семьдесят лет, и она стояла, обновленная, свободная, отрешившись от уз, которые сковывали ее в течение веков, ожидая только державного слова, чтобы с верою и надеждою двинуться на новый, открывшийся перед нею путь.

Но эго слово не было произнесено. Коронация Александра III была официальным обрядом, а не живым действием, соединяющим царя и народ в единой мысли и в едином чувстве. Несмотря на весь блеск и на все великолепие, она оставила во мне тяжелое впечатление. Царь явился, окруженный людьми, которые способны были возбуждать только негодование и презрение. Им он вверял управление обновленной России. Всякая разумная мысль, всякое живое чувство отвергались и подавлялись. К престолу допускалось одно только раболепное, закоснелое в рутине, интригующее в личных видах высшее чиновничество. В будущем представлялась бесконечная тьма, сквозь которую не пробивался ни единый луч света. Внешняя удача коронационных празднеств утверждала только ту бездушную систему управления, которая водворилась в России.

Проводив царских гостей, я почувствовал, что у меня как будто гора свалилась с плеч. Я был страшно утомлен и жаждал только одного: уехать на две-три недели в деревню, чтобы отдохнуть от всех этих треволнений. Но прежде этого мне еще нужно было покончить некоторые городские дела, запущенные во время коронации. Все, казалось, успокоилось: даже толки о моей речи замолкли, как вдруг в «Московских ведомостях» появилась статья, в которой мне приписывались совершенно нелепые мысли, со слов иностранных газет, передавших мою речь в извращенном виде. Поднятие вновь этого вопроса, после того как о нем, по-видимому, забыли, и газетам воспрещено было даже упоминать о моей речи, было неожиданностью. Катков, после моего выбора в городские головы, возобновил со мною знакомство. Мы встретились с ним на обеде, который князь Долгорукий давал по случаю приезда князя Болгарского.* Он подошел ко мне, протянул руку и сказал, что очень рад видеть меня городским головой. Я на вежливость отвечал вежливостью. На похоронах митрополита Макария нас в Троицкой Лавре посадили за трапезой рядом, и мы все время разговаривали как хорошие знакомые. Точно также он возобновил знакомство с Дмитриевым, когда тот сделался попечителем петербургского учебного округа. Очевидно, он заискивал. Но как скоро он увидел, что мое положение было непрочно, он тотчас воспользовался случаем и обрушился на меня с самой бессовестной клеветой. Ему очень хорошо было известно, что

* Александр Баттенбергский приезжал на коронацию.

ничего подобного я не только не говорил, но и не мог говорить. Это было не даром. Я отвечал в «Руси» следующей заметкой.

«В № 187 «Московских ведомостей» приведены из иностранных журналов отрывки из речи, произнесенной мною 16 мая на обеде городских голов. Здесь сказано и подчеркнуто: «власть не там уже, где она была прежде; власть принадлежит нам, представителям народа». Считаю нужным заявить, что ничего подобного я не говорил. Содержание моей речи было передано в № 12 «Руси» на основании подлинного документа, и если редакция «Московских ведомостей», вместо того, чтобы черпать свои сведения из достоверного источника, настойчиво продолжает ссылаться на заведомо искаженный текст и делает выписки из журнала, где рядом с превратным изложением смысла речи говорится, что за такую смелость я был отставлен от должности и сослан в деревню, то это лишь один из тех обычных газетных приемов, которые, к сожалению, слишком часто встречаются в известного рода печати. Будучи приглашен гостем на обед городских голов, о чем же я мог говорить, как не об единении земских людей на помощь правительству против врагов общественного порядка. Зная наши нравы, я прибавил, что враги свободных учреждений, пожалуй, усмотрят в этом опасность. Те свободные учреждения, о которых я говорил, это – учреждения, дарованные императором Александром II, а кто их враги, все мы знаем: это те, которые ежедневно и неустанно изливают свою злобу на все, что вызвано к жизни царем-освободителем, и что дорого русскому человеку, на независимый суд, на земские учреждения, на Городовое положение. Я заметил, что мы можем оставаться совершенно равнодушными к таким нареканиям, ибо мы знаем, что нас одушевляет одно общее чувство: верность престолу и любовь к отечеству, которое служит нам связью. Я и теперь не счел бы нужным обращать внимание на эти пустые газетные толки, если бы я, по своему положению, не должен был иметь в виду тот, к сожалению, слишком еще многочисленный у нас класс читателей, которые, несмотря на ежедневный опыт, добродушно продолжают верить всему печатному».

30 июня 1883 г.

Но Катков продолжал свои инсинуации. «Гражданин» ему вторил в свойственном ему нахально-раболепном тоне. Очевидно, что-то готовилось.

Между тем, я старался подвинуть задержанные городские дела. Последние заседания Думы, в течение июня, были посвящены вопросам о газовом освещении и о водопроводах. Надобно было заключить контракт с новым газовым обществом, к которому дело перешло после крушения старого. Много было предварительной работы и переговоров. Оградить интересы города и потребителей, обеспе-

чить хорошее освещение, предусмотреть все случайности, дело нелегкое. Представленный мною проект был одобрен Думою. Я успел провести и заключенный с Бабиным контракт об артезианском колодце. Когда я в 1885 году опять вернулся в Москву, я мог присутствовать на торжестве открытия источника, который давал городу от 200 до 250 тысяч ведер в сутки, что при недостатке воды было существенным подспорьем. Теперь этот колодезь потерял свое значение. К сожалению, мне не пришлось провести другой, более важный проект по общему водопроводу. Я хотел, не дожидаясь переговоров с компаниями, немедленно приступить к устройству водосборных сооружений в Мытищах. Проект, заказанный Зимину, был готов: для исполнения требовалась ассигновка в 71000 рублей. Но так как в Думе многие Зимину не доверяли, то я предлагал для обсуждения проекта пригласить несколько опытных инженеров, на что требовалась еще небольшая дополнительная сумма. Приступив теперь же к работам, мы могли при переговорах с компаниями знать наверное, сколько воды можно получить в Мытищах, что давало мне твердую точку опоры. Против этого проекта восстал думский инженер кривотолк, Ф. П. Попов, который доказывал, что надобно предоставить дело самим компаниям, а не предрешать его заранее. Речь была длиннейшая, пересыпанная техническими соображениями и совершенно непонятная. По окончании ее оказалось, что гласные не в достаточном числе. Пришлось закрыть заседание. Собрать Думу вновь, когда значительная часть членов уже разъехалась, было мудрено. Большинство составилось бы случайное, что в таком важном деле было нежелательно. Я решил отложить вопрос до осени. Если бы я успел его провести, Москва имела бы воду десятью годами ранее и с меньшими расходами. Теперь, после многих попыток и даром растраченных денег, делают именно то, что я предлагал в последнее заседание Думы, бывшее под моим председательством.

Я уехал в деревню и начинал уже с некоторым ужасом думать о возобновлении занятий после слишком кратковременного отдыха, как вдруг я получил от генерал-губернатора следующее конфиденциальное сообщение:

«Милостивый государь, Борис Николаевич. Письмом от 23 сего июля за № 526 г. министр внутренних дел уведомил меня, что «государь император, находя образ действий доктора прав Чичерина несоответствующим занимаемому им месту, соизволил выразить желание, чтобы он оставил должность московского городского головы».

О таковой высочайшей воле имею честь уведомить вас, м. г., покорнейше прося принять уверение в совершенном моем почтении и преданности. Кн. Вл. Долгорукий.

№ 2588. 27 июля 1883 г.»

Я немедленно поехал в Москву, где всем уже было известно, что мне велено подать в отставку. Я написал прошение в следующей форме:

«Исполняя волю вашего императорского величества, покорнейше прошу уволить меня от занимаемой мною должности московского городского головы».

Это прошение я отвез к князю Долгорукову, которого не застал дома. На следующее утро он прислал просить меня к нему заехать. «Вы хотите подпустить мне камуфлет, – сказал он, – в ответе на конфиденциальное сообщение вы пишете: исполняя волю вашего величества». «Что же тут конфиденциального, когда все об этом знают? – отвечал я. – Да, я вовсе не намерен это скрывать. Я даже не имею права этого делать в виду своих избирателей». Он стал убеждать меня, чтобы я написал: «по домашним обстоятельствам», но я согласился только написать просьбу, не выставляя причины. Приводить фиктивные мотивы я не хотел, но не хотел и препираться о фразе, имея в виду написать письмо прямо государю с объяснением своего поведения. При этом князь Долгорукий рассказал мне, что все это дело шло совершенно помимо его, уверяя, что даже и теперь он ничего об нем не знает: он приехал в Петербург к именинам императрицы и не успел даже повидаться с министром внутренних дел, который в тот же день уехал в отпуск, оставив ему присланное ему сообщение. Разумеется, это была такая же ложь, как и все его уверения. После я узнал, что они вместе с Толстым обработали это дело во время приезда Долгорукого в Петербург. Последний заявил даже, что он не ручается за спокойствие столицы, если я останусь головой.

Подав прошение, я написал государю следующее письмо:

«Всемилостивейший государь. Вашему императорскому величеству угодно было признать мой образ действий не соответствующим занимаемому мною месту и приказать мне подать в отставку. Исполняя волю вашего величества, я подал прошение об увольнении меня от должности, но, не сознавая за собою дурного умысла, осмеливаюсь просить позволения объяснить свое поведение.

Два раза я имел несчастие навлечь на себя неудовольствие вашего величества. В первый раз я в неофициальном собрании, не как городской голова, а как старый профессор и старый студент среди старых студентов, говорил в защиту существующего закона, который подвергался и доселе подвергается рьяным и недобросовестным нападкам со стороны некоторых газет. Я сам участвовал в обсуждении этого закона, видел его на практике и глубоко убежден, что предлагаемые перемены принесут гораздо более вреда, нежели пользы. Мог ли я думать, что лицу, занимающему должность городского головы, воспрещено, даже в частном собрании, выступать в защиту закона, когда журналам дозволяется нападать на него самым резким

образом, взваливая на него то, в чем он совершенно неповинен? Мне казалось, что, становясь представителем общества, городской голова не перестал быть гражданином своего государства. Если я в этом случае ошибался, то ошибался добросовестно. Вашему величеству угодно было приказать объявить мне за это высочайший выговор.

В другой раз мне довелось во время коронации говорить на обеде, на который я был приглашен гостем собранными в Москве городскими головами. Отвечая на тост, я не мог молчать. Мне казалось, что не за тем собрались на общую трапезу русские люди со всех концов земли, чтобы довольствоваться обычным обедом и провозглашением тостов, не выразив ни единой мысли, не вспомнив об отечестве, об его положении и об его будущем. Коронация, государь, это – символ новой эры, будущность отечества, и я, говоря об этой будущности, высказал то, что, по моему глубокому убеждению, составляет нашу насущную потребность, наше единственное спасение: это – союз всех общественных сил против врагов общественного порядка.

Зная, что эти желания могут быть истолкованы криво, я прямо и буквально заявил, что мы не становимся в оппозиционное отношение к правительству, не требуем себе прав, а должны только быть готовы на случай призыва к содействию. Правительство само не раз взывало к этому содействию, и я всегда был глубоко убежден, что и способ и время могут быть определены только самою верховною властью, которая одна должна окончательно решить, что нужно для блага России.

Между тем, в самую ночь после произнесения этой речи, не спросивши у меня даже текста, в газеты был разослан циркуляр с воспрещением упоминать о ней, так как я, будто бы, просил конституции. Вследствие этого в обществе возникли преувеличенные толки, которые перешли и в иностранную печать. Моя речь была кем-то сообщена в иностранные газеты в совершенно извращенном виде: меня заставили говорить то, чего я не только как русский, но и как здравомыслящий человек, никогда не мог сказать. Уверяли даже, что все это я произнес перед лицом вашего величества. Затем, несмотря на запрещение, и в русских газетах стали взводить на меня самые гнусные клеветы. Я счел нужным печатно заявить, что я не говорил того, что мне приписывают. Но публиковать истинный текст я не мог; я принужден был в защиту себя и в опровержение нелепых толков ограничиться частным сообщением списков некоторым лицам, которые меня о том просили. Не знаю, было ли и в каком виде все это передано вашему императорскому величеству, но как честный человек, считаю долгом заявить, что мною не было сказано ни единого слова, кроме того, что заключается в сообщенном мною тексте. Если

что-либо проникло в заграничную печать, то это сделалось без моего ведома и согласия.

Таков мой образ действий. Вины за собою не знаю. Я мог ошибаться в своих суждениях и поступках, но я поступил, как честный гражданин, воодушевленный одним нераздельным чувством верности престолу и любви к отечеству. Это чувство всегда останется для меня самою заветною святынею моей жизни.

Одно мне горько, Государь. Если бы я был удален от должности немедленно после коронации, все бы знали, что я подвергался опале за ту речь, которую я произнес. Но после того, как в печати были пущены против меня всякого рода клеветы, нынешняя моя отставка служит им как бы официальным подтверждением. Удаляясь в частную жизнь, утешаю себя сознанием, что я, по совести и разумению, исполнил свой долг перед государем и перед отечеством».

Щербатов советовал мне вручить это письмо прямо генерал-губернатору для доставления государю. Я с этим к нему отправился; но он сказал мне, что едет в заграничный отпуск и уже сдал свою должность, а потому не может принимать никаких бумаг. При прощании он облобызал меня три раза, как друга, с которым ему жаль расставаться. Это напомнило мне лобызание П. М. Леонтьева.*

Письмо я послал в Петербург через помощника городского секретаря с поручением лично вручить его Рихтеру. Но и эта попытка вышла неудачною. Рихтер тоже был в отпуску. Пакет был передан баронессе Раден, а она отдала его графу Воронцову, который и доставил его государю. Ответа не последовало. Я просто получил отставку. Исправлявший в то время должность министра внутренних дел Иван Николаевич Дурново рассказывал тогдашнему правителю канцелярии Воейкову, что государь с раздражением отзывался обо мне, говоря, что он имеет против меня документ, причем показал изданную за границею брошюру**, где напечатана была моя речь, с предисловием, содержащим в себе резкие нападки на министра внутренних дел. Эта брошюра была мне тут же доставлена. Кем она была напечатана, я до сих пор не знаю, но наверное радикалом, ибо в ней есть маленькое, не лишенное знаменательности искажение. Вместо фразы: «нас одушевляет одно общее чувство, которое служит нам связью: верность престолу и любовь к отечеству», поставлено просто: «нас соединяет одно общее доброе чувство», а какое, неизвестно, так что выходит некоторая бессмыслица. Печатавший брошю-

---

* Чичерин намекает на эпизод, описанный им в главе «Вступление на кафедру». Когда Леонтьев в знак примирения поцеловался с Чичериным, то приятель последнего проф. Дмитриев уверял даже, что он видел, что Леонтьев воспользовался этим случаем, чтобы «ужалить... (Чичерина) прямо в щеку».

** Речь Б. Н. Чичерина, московского городского головы, 16 мая 1885 г. Эпизод из истории коронации в Москве. С предисловием Р. Р., Берлин, 1883.

ру, по-видимому, не хотел допустить в русских людях верности к престолу. Эту брошюру Толстой представил государю, приписывая ее мне и указывая на все неприличие такого рода нападков на министра внутренних дел со стороны подчиненного. От меня, конечно, не думали потребовать объяснений, а просто велели подать в отставку. Таким образом, я был удален от общественной должности за действия лица, совершенно мне неизвестного. Так у нас водится. После этого я вправе был говорить, что я всю свою жизнь честно и бескорыстно работал для пользы отечества. И единственная награда, которую я за это получил, состояла в том, что меня на старости лет выгнали из службы, не сказавши даже за что. Прежние государи отвечали, по крайней мере, хоть одним словом на представляемые им оправдания обвиненных; теперь и это считается лишним.

Живя целые века под самодержавною властью, русское общество до такой степени привыкло к этому образу действий, что оно никого не возмущает. Даже те, которые признавали, что со мною сделали гадость, обвиняли графа Толстого и князя Долгорукого, бережно обходя главного виновника. Но я всегда утверждал, что нечего пенять на диких зверей за то, что они терзают свою добычу; на то они и звери. Но можно и должно пенять на хозяина, который своих собственных слуг отдает на жертву зверям. Делая гадости, негодяи исполняют свое назначение, – но монарх, который эти гадости утверждает своим словом и дает им силу, идет наперекор своему высокому призванию, и за это он нравственно ответственен. Извинение есть знак раболепства.

Сам виновник этих приключений, по-видимому, даже и не сознавал, что он делал. Года два или три спустя я жил в Ялте, в то время как царская фамилия была в Ливадии. Случилось однажды, что мы с женою гуляли пешком по Массандрской дороге. Жена пошла в лес рвать цветы, а я остался сидеть на скамейке. В это время проехала коляска. Жена слышит, что сидящий в ней военный самым дружеским голосом воскликнул: «А, Борис Николаевич!» Вышедши из лесу, она спросила: «Какой это генерал так дружелюбно с тобой раскланялся?» «Государь император».

На следующий день нас приглашали к обеду в Ливадию. Жена отказалась вследствие нездоровья, а я поехал. Государь старался быть возможно любезным. Через несколько дней они уехали, но я на проводы не пошел, что многих удивило. Все думали, что царского милостивого слова достаточно, чтобы все загладить. Я объяснил, что я не собачка, которую можно прогнать пинком, а затем подозвать, когда гнев хозяина прошел, и она будет, махая хвостом, лизать у него руку. Когда меня зовут, я считаю долгом явиться и тем оказать уважение царю, но сам от себя ни в каком случае не пойду. После этого я видел его еще раз на свадьбе Петра Капниста, которая происходила

в Петергофском дворце. Жена была посаженою матерью у своего брата, а я, как близкий родственник, был в числе приглашенных. Государь с нами обоими опять старался быть любезным, что от него всегда требует некоторого усилия над собой. Тем наши сношения и покончились. После этого царская фамилия бывала в Ливадии, в то время как мы жили в Ялте; я не являлся на встречах, и нас уже не приглашали.

Но возвращаюсь к своему рассказу.

Я уехал из Москвы в половине августа, не дожидаясь отставки. На действие письма к государю я не питал никакой надежды, и мне вовсе не хотелось торчать в Москве в фальшивом положении. Товарищи по Управе пожелали в последний раз отобедать со мной и проводили меня с выражениями искренних чувств. Также проводили меня и все служащие в Управе, что меня особенно тронуло, ибо я в сущности мало имел с ними дела. Даже на следующий год, когда я из деревни вернулся в Москву, вся канцелярия и служащие просили меня дать им мои фотографические карточки, а они поднесли мне свои, которые и поныне висят у меня, как памятник доброго расположения подчиненных. Я высказал им, что не знаю, чем я мог заслужить такое теплое чувство при столь кратковременном управлении. «Вы с нами обращались по-человечески», – отвечал мне начальник торговой полиции, Юнг.* Это не дало мне высокого понятия об обычном обращении с подчиненными. С Ушаковым я продолжал вести переписку. Осенью 1883 года он писал мне: «В наших обычных занятиях (теперь мы составляем роспись) наши беседы не раз уже прерывались напоминаниями, в которых произносилось и ваше имя: «а помните, Борис Николаевич проводил такую-то мысль; а помните, он то-то говорил». Не скрою, что ваше отсутствие более всего тяжело для меня, брошенного превратностями судьбы в море думских дел, без руля и без ветрил. Одна только память о вашей энергии, взглядах и направлениях, с которыми удалось мне познакомиться в кратковременную службу с вами, придает мне силы!» Эти теплые отношения доставили мне такую же отраду, как некогда сочувственные заявления студентов при выходе из университета.

И между гласными были многие, выражавшие мне сочувствие. Даже Найденов, узнавши о моей отставке, прилетел в Управу и воскликнул: «Если воображают, что это пройдет гладко, то очень ошибаются». Но масса осталась равнодушною, одни из раболепства перед правительством, другие потому, что все-таки не считали меня

* И. А. Найденов в своих «Воспоминаниях», вып. II, М., 1905, стр. 31 – 32, характеризует Юнга, в бытность его гласным, как человека низкопоклонного и всегда присоединявшегося к мнению влиятельных гласных, «чем и достиг выбора его в начальники торговой полиции... а затем членом Управы».

своим, как не принадлежащего к купеческому сословию. При отъезде весьма немногие из них меня провожали: были Охлябинин, Василий Алексеевич Бахрушин и не помню еще кто. Явился и Митрофан Щепкин, который постоянно оказывал мне большое расположение. Я не удивился малочисленности членов Думы, ибо никому не говорил о своем отъезде и не воображал, что будет какая-нибудь демонстрация. К тому же время было летнее; многие купцы были на Нижегородской ярмарке, другие на дачах. Но Охлябинин говорил мне, что ему было известно, кто мог приехать и не приехал. Он был возмущен и тотчас подал в отставку. Тогда же вышел из гласных и Щербатов в виде протеста против правительственных действий.

Однако, этим дело не кончилось. Надобно было знать, как примет это известие Дума, когда она опять соберется после ваканций. Решено было, что Аксенов произнесет речь и предложит мне благодарность. Обо всем происходившем я был извещен следующим письмом Герье, который в это время как раз вернулся из-за границы.

«С тех пор, как газеты стали приносить в нашу даль такие необычайные и противоречивые известия о вас, не проходило дня, чтобы я о вас не думал, недоумевал и не волновался по поводу вас. Только на возвратном пути в Россию, в Киссингене, я узнал от Александра Владимировича*, в чем дело, и тут же узнал о печальном исходе его. Наше московское небо представилось мне еще более пасмурным и безотрадным, а сама Москва еще безлюднее и скучнее. На другой день после приезда я получил обычное приглашение на субботу к Рукавишникову. Туда явилось человек 16; не было Алексеева, который находился за границею; зато были Аксенов и Найденов; остальные – обычные посетители. Долго ждали Аксенова, который был у всенощной.

Очевидно, собрание было созвано по его настоянию; порешили просить Аксенова взять на себя заявление. Он отправился в другую комнату составлять его. Я предложил ему через Найденова свои услуги, но он отказался от помощи, и я был приятно изумлен, когда чае спустя он возвратился в зал с своим заявлением. В конце у него шла речь о том, что Дума не разделяет нареканий, высказанных в газетах; я просил его опустить полемику с газетами, и протест против нареканий получил у него вследствие этого более общий смысл и более веса. Говорил еще о том, чтобы основать стипендию вашего имени, но ввиду того, что это потребовало бы ассигновки капитала, против чего могли бы появиться возражения со стороны текинцев, я предложил вместо стипендии городскую школу, против которой никто бы не решился возражать. В общем все считали необходимым еще одно собрание, и Аксенов взялся устроить его у себя. На другой

* Александр Владимирович Станкевич.

день вечером отправились мы с Грековым в Монетчики.* Публика была многочисленная и преимущественно состояла из текинцев. С первого же слова начались разногласия: Шестеркин и Жадаев считали неуместным какое бы то ни было сочувственное заявление. Шестеркин говорил дерзко, вызывающим тоном. С глазу на глаз он сказал мне: «Если я прогоню своего управляющего, то кто же посмеет сказать мне, что я неправ?» Жадаев вслух сказал: «Ну что же, что министр удалил по своей воле? на то он и министр, кого, значит, хочет, того и может удалить». Я не удержался, чтобы не спросить у Скалона, этого поборника suffrage universel**, нравится ли ему этот народный голос? С другой стороны, Муромцев требовал горячего и открытого протеста: он, кажется, бил на скандал и подливал масла в огонь. Дело приняло очень критический оборот, когда заговорил Осипов; он говорил громко, в сердцах бил себя кулаком в грудь, подымал кулак к небу, был настоящим Мининым, как назвал его Епанешников. Осипов высказался против полумер, говорил о необходимости сделать запрос правительству, отправить депутацию в Петербург и объявил, что он лучше в Думу не приедет, чем ничего не делать. Между тем, многие уходили и зала начала пустеть. Аксенов сообщил мне, что Лепешкин, который вечером не мог быть, заезжал к нему и спрашивал, не лучше ли, вместо стипендии или школы, поднести вам почетное гражданство. Я с радостью ухватился за эту мысль и просил его поддержать ее и предложить собранию; но было уже поздно, и толку из этого не вышло. На следующий день я с грустью отправился в думское заседание. Дело, казалось, примет дурной оборот и кончится жалкой попыткой что-нибудь сделать. Осипов не пришел; Пржевальский готовил какое-то огненное, как выражался, предложение. Мы вошли в залу; что-то торжественное воцарилось в ней. Необычно ясным голосом прочел Аксенов свое заявление, несколько смягченное в угоду Ушакову, потом прочел и проект приговора, написанный Четвериковым и усиленный нами в последнюю минуту. Черинов судорожно схватил меня за руку, когда председатель своим сухим деловым голосом поставил вопрос: угодно ли собранию принять приговор? Ни одного возражения, несколько одобрительных голосов, и дело было сделано. Эта минута вознаградила за многие тяжелые часы, бесплодно проведенные в Думе.

* «Монетчики», район между Пятницкой и Кузнецкой улицами, заселенный в XVII в. мастерами монетного дела. Здесь «в приходе церкви Воскресения Славущего» в Монетчиковском пер. («Пятницкая часть, 5 квартал»), как видно из «Книги адресов жителей Москвы, 1863. 2-я часть. Лица неслужащие». М., 1862, стр. 4, и «Адрес-календаря разных учреждений г. Москвы на 1881 год», М., 1881, стр. 283, 334, находился «собственный дом» братьев Василия, Ивана, Сергея и Николая Дмитриевичей Аксеновых.

** Всеобщего голосования.

Черинов потом спрашивал меня, чем объясняется такое настроение Думы: случайность ли это, или какое вдохновение сошло на нее? Во всяком случае, это показало, что самое неразвитое и бестолковое политическое собрание может в известных случаях руководиться верным инстинктом. Но нельзя слишком полагаться на этот инстинкт. Ушаков уже вытащил какую-то бумагу. К счастью, мы с Чериновым сидели рядом с Лепешкиным, который как будто забыл о своем предложении. Он смутился, покраснел, но оправился, встал и очень недурно мотивировал свое предложение. Опять раздался глухой вопрос председателя; еще более у нас замерло сердце в ожидании неуместных возражений, – и опять собрание оказалось на высоте своего положения. Только в конце заседания, когда стали читать приговор, послышалось запоздалое возражение Шестеркина, которое заглушено было криками. Мы с Чериновым хотели в тот же вечер послать вам телеграмму, но не сделали этого из опасения, чтобы не воспользовались этим, чтобы умалить случившееся и выставить его делом кружка. Три дня спустя газетам запрещено было говорить о заседании 12 сентября. Один «Курьер» напечатал о нем».

Так описывал мне это заседание Герье. Но не на всех оно произвело то же впечатление. Митрофан Щепкин, который сидел тут же в числе публики, был им очень недоволен. «Что почтенный Аксенов прошамкал с младенческой робостью, – писал он мне, – и в двух несвязных фразах высказал Лепешкин, предложивший почетное гражданство «за усердие», я, простите, не могу считать за выражение сочувствия своему достойному представителю. Это скорее канцелярская отписка. А гробовое молчание я давно уже отвык признавать за единогласное выражение общественного сочувствия». Но Щепкин требовал гораздо более того, что могла дать Московская дума. Можно было довольствоваться и тем, что было сделано.

Отчет о заседании, напечатанный в «Московском курьере», был следующий:

«Вчера, 12 сентября, состоялось первое, после перерыва на летнее время, заседание Московскоп городской думы. Председательствовал исправляющий должность городского головы М. Ф. Ушаков. Заседание началось чтением отношения г. московского губернатора о том, что «поданное доктором государственного права Чичериным всеподданнейшее прошение об увольнении его от должности Московского городского головы, в 11-й день сего августа было представляемо г. управляющим министерством внутренних дел на всемилостивейшее воззрение государя императора и его императорскому величеству благоугодно было на сие высочайше соизволить». По прочтении этого отношения, старейший гласный Думы В. Д. Аксенов обратился к собранию с следующею речью: «Позвольте по поводу оставления городским головой своей должности сказать не-

сколько слов. Мне кажется, достоинство самой городской Думы обязывает ее не пройти молчанием такой прискорбный случай. Нельзя не высказать сожаления, что среди множества поднятых вопросов, накануне решения некоторых из них, наш глубокоуважаемый Борис Николаевич вынужден был оставить свой пост. Нет сомнения, что выход его в отставку тяжело отзовется на городском благоустройстве. Считаю долгом, в виду высказывающихся нарекании на его общественную деятельность, предложить городской Думе высказать, что она не только не разделяет такого мнения, но считает его деятельность полезною для московского городского хозяйства, и вместе с тем выразить искреннюю благодарность Борису Николаевичу за его усердную, но, к сожалению, кратковременную деятельность на поприще городского управления и глубокое сожаление о том, что так неожиданно прекратилась его деятельность». Речь эта была выслушана гласными с полным сочувствием. Гласный С. В. Лепешкин предложил избрать Б. Н. Чичерина почетным гражданином города Москвы ввиду той энергии, с которой бывший голова стремился к городскому благоустройству. Предложение это было принято и тут же составлен следующий протокол:

«Московская городская Дума, выслушав заявление исправляющего должность городского головы, что Б. Н. Чичерин, согласно принесенному им прошению, получил увольнение от занимаемой им должности московского городского головы, постановила: 1) выразить Борису Николаевичу глубокую и искреннюю признательность за труды его на пользу Московского городского общества в звании московского городского головы и при этом заявить крайнее сожаление, что встреченные им обстоятельства вынудили его оставить пост, предоставленный ему общественным доверием, почти накануне разрешения поднятых им весьма важных вопросов городского хозяйства, 2) признать Бориса Николаевича Чичерина почетным гражданином города Москвы, на что и испросить высочайшего государя императора соизволения».

По прочтении этого протокола гласный И. И. Шестеркин протестовал против избрания Б. Н. Чичерина в качестве гражданина города Москвы, находя что бывший голова ничем не заявил себя, чтобы заслужить такое звание. Этот протест вызвал целую бурю. Почти все гласные заговорили: «Довольно... дело решено».

Городские власти переполошились. Это был как бы протест против воли государя. Долгорукий был за границею; должность его исправлял Перфильев, на которого падала вся ответственность, а он был не из храброго десятка. «Бедный Василий Степанович был у меня 19 сентября, – писал мне Пикулин. – Он совсем повесил голову, говорит: «Что скажет теперь Владимир Андреевич по возвращении? Не успел выехать из Москвы, как случилась такая неудобная вещь!»

Губернатор решил затормозить дело до приезда князя, предъявив протест и представив дело в Губернское присутствие, под предлогом, что постановление Думы о поднесении мне почетного гражданства было незаконно, так как по Городскому Положению всякое новое предложение может быть решено только в следующее заседание после того, как оно было предъявлено. Этот протест, в сущности, не имел ни малейшего законного основания, ибо предложения, которые делаются по поводу обсуждаемых вопросов, не считаются новыми и решаются тут же. Подобное требование тем менее было уместно, что постановление о почетном гражданстве князя Долгорукого по поводу его юбилея было сделано в том же заседании, в котором оно было предложено. Было и множество других подобных дел, и никогда губернатор протеста не предъявлял. Тем не менее Губернское присутствие, по обыкновению, четырьмя голосами против трех кассировало постановление Думы.

Между тем, приехал Долгорукий и тотчас вызвал к себе Аксенова. «Вот подлинный рассказ Аксенова, – писал мне Пикулин, описывая эту сцену. – Меня вызвали в кабинет князя, который сказал мне громко: «Как вы осмелились говорить в Думе о Чичерине и сожалеть о его выходе из Думы? Вы знаете, что он был удален по желанию высшего начальства? Вы знаете, что по данной мне власти, я могу вас выслать из Москвы, как человека, нарушающего покой города?» Аксенов вначале сконфузился, но вскоре, оправившись, отвечал: «Ваше сиятельство, если я сказал что в пользу Чичерина, то это мое крайнее убеждение, и я повторяю то же и теперь: человек пришел править городом, не приготовленный к этим делам, и в самое короткое время, при неутомимой работе, поднял столько благих вопросов и частью привел их в исполнение, что еще ни один бывший городской голова не сделал бы этого. Я ведь служу гласным с самого начала устройства Думы и знаю это. Если бы Борис Николаевич послужил подольше, то он бы много сделал. За что же меня судить строго? Мне уже около 80-ти лет, и я говорю то, что мне кажется правдой; отчего же меня никто не остановил во время моей речи, а гласных было 120 человек, и все одобрили мое слово. Что же касается вашего обещания меня выслать из Москвы, то я буду просить ваше сиятельство выслать меня туда, где бы была хоть одна церковь. В мои годы мне единственно остается молиться богу». Долгорукий ответил, что «напрасно вы так приняли к сердцу мои слова; надеюсь, что вы всегда будете моим гостем» и проч. Каковы у нас есть старики из простого народа! – прибавлял Пикулин.

В дополнение к этому Самарин мне писал: «Долгорукий объявил Аксенову, что обязан исполнить неприятное для него поручение министра внутренних дел, а затем прочел бумагу, в которой граф Толстой делает замечание Аксенову, в виду того, что постановление

Думы по предложению Лепешкина состоялось вследствие «необдуманного предложения» Аксенова; так как до сих пор он ни в чем замечен не был, то он, министр, ограничивается замечанием, с предостережением, чтобы он на будущее время действовал осмотрительнее. Аксенов держал себя с достоинством, отвечал, что он своего образа мыслей не скрывает, что он вполне сочувствует тебе, что его образ мыслей даже либеральнее чем твой, и что он просит довести это до сведения министра внутренних дел. Долгорукий, разумеется отказался, предоставив ему самому писать министру, если он желает, и сказал, что он был до сих пор другого мнения об нем».

«Министр, который делает выговор частному лицу, гласному Думы, за необдуманные поступки, это, право, чересчур!» – писал я в ответ Самарину.

Затем призван был Лепешкин. Как молодого человека, Долгорукий, должно быть, его сильно распек, но он об этом молчал, о своем свидании никому не рассказывал, и писал мне только, чтобы я не верил всяким сплетням, уверяя, что он твердо стоит на своих убеждениях. Призван был также Муромцев и множество других гласных. Всем было сделано должное внушение.

Купцы перетрусили и не знали, что им делать. Идти против власти они не привыкли и не чувствовали себя для этого довольно сильными. Даже Самарин, более независимый и по положению и по образу мыслей, был озадачен. Он видел, что возобновление прений в Думе подаст повод, с одной стороны, угодникам Долгорукого к неуместным нападкам на меня, с другой стороны, думским радикалам, Муромцеву, Пржевальскому и компании к каким-либо неумеренным заявлениям. Ему самому казалось, что предложение мне почетного гражданства являлось как бы протестом против действий самого государя и тем самым переходило за черту дозволенного. Единственный исход из этих затруднений, который он придумал, состоял в том, чтобы я от себя просил Думу не давать этому предложению дальнейшего движения. Этот взгляд разделяли не только купцы, с которыми он совещался, Аксенов и бывший голова Третьяков, но даже и Иван Сергеевич Аксаков. В этом смысле Самарин написал мне в деревню письмо, которое прислал с артельщиком.

Мне казалось, что впутывать в это дело меня, стоящего совершенно вдали, было неуместно. Тем не менее, я послал требуемое письмо. Мотивировать мой отказ от баллотировки тем, что я слишком малое время служил городу, как предлагал Самарин, я считал неловким, всякому было понятно, что почетное гражданство предлагается мне не за оказанные услуги, а как некоторое вознаграждение представителю города, с которым сделали гадость. Поэтому я заявил, что «при существующих известных мне обстоятельствах, в которых состоялась моя отставка, я считаю поднятие вновь этого

вопроса неудобным и убежден, что оно не может привести к цели. Мнение Думы высказалось, – прибавлял я, – и это сторицею вознаграждает меня за все нападки. Настаивать было излишне, тем более, что это могло бы повести к пререканиям в самой Думе, к чему я никогда не желал подать ни малейшего повода».

При этом я писал Самарину:

«Посылаю тебе письмо к Ушакову, но не могу скрыть, что я это считаю отступлением, и отступлением не перед верховною властью, а перед угрозою министра внутренних дел и генерал-губернатора. Не знаю, отчего ты думаешь, что предложение Лепешкина переходит за черту и создает невозможные отношения между Думою и государем. Так как оно идет на высочайшее соизволение, то оно менее резко, нежели простое выражение благодарности и сожаления, притом нужно именно, чтобы оно дошло до государя. Щербатов, которому я сообщил приговор, пишет, что он считает его самым лучшим и самым сильнейшим протестом со стороны Думы, радуется за нее и за меня. Репрессивных мер против Москвы я не боюсь; десять раз подумают, прежде нежели к ним прибегать; да если бы на это и решились, то, право, это гораздо лучше, нежели нынешнее унизительное и все мертвящее положение. Еще менее боюсь заявлений радикализма. Во-первых, с ними можно сговориться, а во-вторых, надобно именно напирать на то, что, когда прогоняют консерваторов, то неизбежно выдвигаются вперед радикалы. Есть случаи, когда консерваторам и радикалам приходится действовать вместе, именно когда власть одинаково направляет свои удары на тех и других. От нее зависит их соединить или разделить. Единственное, что могло бы заставить отступить от принятого раз и отмененного по чисто формальной причине предложения, это – опасение, что сама Дума спасует; ее надобно спасти от подобного унижения. Но об этом я отсюда не в состоянии судить. Если бы дело шло о другом, и я был бы уверен в Думе, я бы ни на минуту не усомнился вести его до конца. В настоящем же случае, предоставляю вам действовать, как знаете. Вот письмо; делайте из него что угодно... Мы мирно живем в деревне, – прибавлял я, – и очень доволен своею судьбою. Я отдохнул, что мне весьма было нужно, и нисколько не сожалею обо всем происшедшем. Напротив, считаю это во многих отношениях весьма полезным. Для меня вопрос ставится так: самим ли действовать или предоставить действие одним нигилистам? Последнее представляется мне вовсе не желательным; напротив, вижу спасение России только в первом, хотя должен сознаться, что при дряблости русского общества на это мало надежды. Но попытаться во всяком случае следует; в этом состоит общая наша гражданская обязанность».

Я сознавал и теперь сознаю, что эту обязанность я исполнил и тем получил право говорить о равнодушии, бездеятельности и рабо-

лепстве русского общества. Если меня не поддержали, то в этом виноват не я.

Получив мой ответ, Самарин опять собрал на совещание Аксенова, Третьякова и Герье. По прочтении моего письма, Третьяков воскликнул: «Вот и прекрасно!» Аксенов был того же мнения. Но Самарин, одумавшись, решил, что моего письма в Думу представить нельзя, и Герье с ним согласился. Таким образом, этот компромисс был устранен.

Взамен того пошли на другой, гораздо худший, хотя для меня он имел ту выгоду, что я лично не был ни во что впутан. Вопреки закону постановление Губернского присутствия, кассирующее приговор Думы, не было предъявлено собранию. Молчаливым соглашением никто вопроса не поднимал, и дело просто кануло в воду. Представители города были запуганы, и власть торжествовала. Не могу не сказать, что Самарин не оказался в этом случае на высоте той роли, которую он призван был играть. От купцов и мещан трудно было требовать гражданского мужества. Они издавна привыкли преклоняться перед властью. Частные их интересы находились в полной зависимости как от министерства, так и от генерал-губернатора, особенно при тех широких полномочиях, которые были предоставлены последнему. Из других сословий никто не имел нужного авторитета. Самарин один в этом собрании являлся представителем лучших преданий дворянской независимости; при совокупном действии сословий, эти благородные предания следовало поддержать, как пример и поучение другим, и он имел достаточно веса, чтобы настаивать на своем мнении. Если бы даже Дума за ним не последовала, он мог бы выйти из гласных, и этот протест против общественной дряблости имел бы свое высокое значение. Но к такому решительному способу действия он, ни по характеру, ни по образу мыслей, не был способен. Слишком консервативные убеждения, опасение в такие смутные времена стать в оппозиционное отношение к правительству, боязнь радикалов, все это повело к тому, что и он, вместе с другими, пошел на эту недостойную Думы сделку, которая как нельзя более приходилась на руку генерал-губернатору.

Скоро представился случай повторить манифестацию, не возбуждая прений. Первые выборы в городские головы вслед за моим выходом не привели ни к какому результату. Баллотировались два кандидата: думский кривотолк Иван Николаевич Мамонтов, который уверял, что его требует общественное мнение, и кандидат князя Долгорукого, довольно грязный, разорившийся аферист Пороховщиков, выступавший уже при моем выборе. Оба были забаллотированы, и Дума решила остаться при исправляющем должность до новых общих выборов, которые должны были наступить через год. На этих выборах я заочно был выбран гласным от первого разряда.

Щербатов и Самарин отказались от баллотировки. В это время мы поехали в Москву, чтобы окончательно распорядиться с своею квартирою и мебелью. В качестве гласного я отправился на открытие Думы. Найденов с некоторым самодовольством заявил мне, что он хлопотал о моем избрании, так как он не принадлежит к партии Долгорукого. После присяги было короткое заседание. Охлябинин произнес маленькую речь, в которой, между прочим, выразил удовольствие по поводу того, что гласные видят меня опять в своей среде. Эти слова произвели гвалт, не в собрании конечно, а в правящих сферах. Князь Долгорукий послал жалобу на Охлябинина министру юстиции и даже самому государю, выставляя этого почтенного и весьма умеренного человека красным революционером. Охлябинин был членом Судебной палаты; к великому его негодованию, на него восстали даже его товарищи, заискивавшие у правительства. Не имея самостоятельных средств к жизни, он принужден был выйти из Думы.

Затем приходилось выбирать городского голову. Аксенов приехал ко мне с вопросом: соглашусь ли я баллотироваться? Я отвечал, что лично не имею никакого желания, при нынешних обстоятельствах, сделаться опять городским головой и думаю, что меня не утвердят; но если Дума желает поддержать свое достоинство и показать свою независимость, выбирая меня, то я готов баллотироваться. Здесь был случай подняться после сделанной генерал-губернатору уступки, которая по-моему мнению, была унижением. Я советовал только выбрать второго кандидата, которого бы государь мог утвердить. То же самое я повторил Ушакову, который приезжал ко мне с тем же вопросом, и наконец Осипову. Но, по совещании, купцы не решились идти на такую демонстрацию. По запискам я получил всего 37 голосов, в том числе порядочное количество от избирателей третьего разряда, некоторые из которых изъявляли мне тайное сочувствие и уговаривали баллотироваться. Таким образом я окончательно был сдан в архив.

Обстоятельства, сопровождавшие эти последние выборы, были довольно забавны; они характеризуют действия московских правителей. В это самое время сестра моей жены* заболела в деревне, и мы собрались туда ехать. День отъезда был уже назначен, но потом отложен вследствие полученной телеграммы. Я нарочно не посылал отказа от баллотировки, зная, что городские власти ожидают ее с трепетом. Глупость их была так велика, что они не понимали, что я при 37 записках не могу баллотироваться. За каждым моим шагом следили тайные агенты; о каждом моем движении власти были осведомлены. Утром мне случилось зайти в Управу за справкою по какому-то неважному думскому делу. Тотчас Ушаков был вытребован к

* Мария Алексеевна Кочубей, рожд. Капнист.

Перфильеву и подвергнут допросу, зачем я именно приходил. Полагая, что мне придется уехать до выборов, я отдал свой отказ жене Герье, которая приезжала навестить мою жену, и просил ее передать эту бумагу ее мужу, с тем чтобы он хранил ее в тайне и предъявил только в самую минуту баллотировки. Но несмотря на эти предосторожности, несмотря на то, что и Герье, и его жена были люди, на скромность которых можно было вполне положиться, Перфильеву каким-то образом сделалось известным, что в руках Герье находится эта бумага, и он допрашивал Ушакова, почему она не поступила в Управу. За справками был отряжен и обер-полицеймейстер Козлов. Он воспользовался случаем находки украденного у моей жены медальона, чтобы приехать к ней с визитом и расспросить ее, когда именно мы едем. Жена иронически отвечала, что еще неизвестно, но что во всяком случае мы отправляемся не в Вятку. Он очень сконфузился. Наконец наступил вечер выборов. Перед самым заседанием я подал свой отказ. Тотчас об этом дали знать князю Долгорукому, который в страхе ожидал исхода. Когда приехавший из Думы чиновник сообщил ему эту радостную весть, он вскочил со стула и воскликнул от полноты облегченного сердца. «Я всегда говорил, что он благородный человек!» Некоторые из доброжелательных мне гласных опять тайком уговаривали меня баллотироваться; но я отвечал им: «дайте мне 90 записок вместо 37, и я пойду, а теперь об этом не может быть речи». Баллотировались опять те же кандидаты, Мамонтов и Пороховщиков, и опять были забаллотированы.

Купечество искало, однако, исхода. На этом же собрании я увидел Аксенова и Найденова в тайном совещании с Степаном Алексеевичем Тарасовым. Это был пожилых лет гласный, бывший когда-то правителем канцелярии обер-полицеймейстера, затем председателем одного из московских мировых съездов, в то время когда Москва была разделена на два мировых округа*, человек с порядочным состоянием вследствие женитьбы на богатой купчихе, но совершенно пошлый и раболепный, именно такой кандидат, какой требовался князю Долгорукому. И его-то прочило в городские головы именитое московское купечество, его уговаривал Найденов, который после моей отставки хорохорился и говорил, что очень ошибаются, если думают, что все пройдет гладко, Найденов, который недавно еще

** При введении мировых учреждений 17 мая 1866 г. Москва была разделена на два мировых округа, в каждом из которых был особый съезд. Но уже 15 января 1867 г. на соединенном совещании судей обоих «кругов постановлено ходатайствовать о соединении всех мировых судей г. Москвы в один мировой округ с одним мировым съездом. Соответствующее постановление Сената состоялось 11 сентября 1872 г. С. А. Тарасов был председателем I округа в течение трехлетия с 1866 по 1869 гг.

хвастался передо мною, что он не принадлежит к партии Долгорукого. И многие гласные, которым это вовсе было не к лицу, пошли на эту сделку. Но Алексеев был возмущен и на выборах объявил, что пойдет баллотироваться в конкуренцию с Тарасовым. Он получил всего несколькими голосами меньше, и тот был утвержден.

Однако выбор генерал-губернаторского лакея вышел неудачный. Тарасов совсем потерял голову и даже заболел. Через несколько месяцев он принужден был выйти в отставку. Оставался один возможный кандидат – Алексеев. Найденов его ненавидел, и вообще старые купцы его недолюбливали; но делать было нечего: надобно было согласиться. Алексеев был выбран значительным большинством и с первых же шагов воцарился в Думе. Это было уже не самоуправление, а самовластие на общественной почве. Своею энергиею, деятельностью, умом, а частью и бесцеремонностью, он одних привлек, а других обуздал. Купцы гордились им, как своим братом, и поддерживали его массой: противники частью удалились из Думы, частью замолкли. Ораторов из третьего разряда он осаживал грубым проявлением власти; всякие неприятные ему предложения он устранял, не стесняясь. Вообще, несмотря на некоторые довольно крупные промахи, дело шло как по маслу. Дума безмолвствовала, а голова делал, что хотел.

Выселившись из Москвы, я вышел из числа гласных. Но при наступлении нового трехлетия, я опять был выбран как в Думу, так и в Губернское собрание. Алексеев, который всегда оказывал мне большое расположение, убедительно просил меня не отказываться, полагая, что желание видеть опального голову своим сочленом все-таки знак порядочности. Доселе, как я проездом бываю в Москве, я являюсь в заседание Думы и, должен сказать, всегда с некоторым удовольствием. Вижу все знакомые лица, которые встречают меня с радушным приветом. Я как будто возвращаюсь в свою семью*. Видя, как ведет себя благородное российское дворянство относительно власти, я не могу слишком строго судить купечество, которое веками было приучено к рабской покорности, и которого все жизненные интересы зависят от произвола власти. «Если бы мы вздумали делать оппозицию, нас бы в бараний рог согнули», – сказал мне как-то Осипов в оправдание их поведения.

По этому поводу мне припоминается разговор, который я имел с Дмитрием Алексеевичем Милютиным во время коронации. Он расспрашивал меня об условиях моей деятельности. «Вам, должно быть, хлопотливо и неприятно иметь дело с таким разношерстным

---

* Это было писано в 1892 г. В 1893 г., при введении нового Городового положения, я продал свой московский дом, купленный для выбора в головы и, потеряв ценз, окончательно вышел из Думы. – *Прим. Б.Н. Чичерина.*

составом», – заметил он. «Бывает подчас неприятно, – отвечал я; – но съездишь в Петербург и утешишься». «Я в первый раз слышу, что Петербург производит такое действие». «Это очень просто, – сказал я, – когда вернешься оттуда, то видишь, что жить и действовать среди московских купцов и мещан еще рай земной в сравнении с тамошней атмосферой».

И эта темная масса поднялась бы еще на совершенно иную высоту, если бы на нее постоянно и непреклонно не давило сверху развращающее действие власти. Благородные стремления общества воспитываются теми людьми, которые стоят в его главе. Надобно показать ему возвышенные цели и поддерживать в нем независимые чувства; тогда оно воспрянет освеженное и бодрое. Но когда сверху все направлено к тому, чтобы подавить в обществе всякую независимость и развить в нем раболепное подчинение, когда самостоятельная мысль преследуется, как возмущение, а на вершине не видать ничего, кроме лицемерия, произвола и лжи, то, чего можно требовать от подвластных. В течение двадцати пяти лет во главе Москвы было поставлено лицо, как князь Владимир Андреевич Долгорукий, какие могли быть плоды такого управления! Великие преобразования Александра Второго были рассчитаны на то, чтобы дать русскому обществу возможность стоять на своих ногах; но и он, и еще более его преемник, делали все, что могли, чтобы унизить это освобожденное общество и не дать созреть посеянным плодам. Ныне Россия управляется отребьем русского народа, теми, которых раболепство все превозмогло, и в которых окончательно заглохло даже то, что в них было порядочного смолоду. При таких условиях ограничение самодержавной власти становится насущною потребностью. Оно одно может очистить охватывающую нас со всех сторон удушливую атмосферу, внести жизнь в гниющее болото и дать вздохнуть тем здоровым элементам, которые таятся в недрах Русской земли. Этот исход увидят наши потомки.

Старость

Когда я, подавши в отставку, вернулся в Караул, я почувствовал, что у меня как будто гора свалилась с плеч. Полтора года постоянных, напряженных, большею частью мелочных и притом необычных занятий сильно меня утомили. Я ощущал потребность более или менее продолжительного отдыха и даже с некоторым ужасом видел перед собою необходимость опять приняться за ту же лямку. К тому же обстоятельства сложились так, что мое служебное положение сделалось крайне затруднительным и тяжелым. Полтора года тому назад я вступал на новое для меня поприще с готовностью работать изо всех сил, полный надежды на возможность принести некоторую пользу. После ужасного события 1 марта состояние России, казалось, требовало, чтобы все любящие свое отечество, все честные граждане приложили руку к общественному делу. Правительство нуждалось в опоре, общество нуждалось в деятелях. Можно было думать, что сам новый царь, неопытный и потрясенный страшною катастрофою, но исполненный самых чистых намерений и нравственных побуждений, окажет сочувствие и поддержку всякому искреннему стремлению, всякому добросовестному труду. Скоро, однако, пришлось во всем этом разочароваться. Оказалось, что правительство вовсе не нуждается в порядочных людях. Перевес получили самые темные и вредные личности. В журнализме царил Катков, который один пользовался вниманием государя. Личною инициативою царя граф Толстой был выдвинут из тьмы, в которую заслуженно был погружен, он был поставлен во главе управления. Ничтожному и раболепному Делянову было вверено народное просвещение в России. Моя отставка показала, что самые человеческие отношения были чужды новому монарху. Я был уволен по неизвестным мне наветам, без объявления вины. В этом случае нельзя было даже сослаться на влияние графа Толстого или князя Долгорукого, ибо во время получения моего оправдательного письма оба были в отпуску. И, несмотря на мое заявление, что я вины за собою не знаю, несмотря на прежние мои отношения к покойному наследнику, на имя, приобретенное литературными трудами и учебным поприщем, я не удостоился даже ответа и был просто уволен.

При таких условиях я был рад, что мне возвращается свобода. Оставаться московским городским головой в виду враждебных мне властей, не имея поддержки в обществе, в сущности равнодушном к общественному делу, привыкшем к раболепной покорности и пугающемся всякой угрозы, было немыслимо. Это была бы бесплодная трата сил в мелочной борьбе, без всякой возможности исхода. Такая перспектива не представляла ничего привлекательного. Теперь же я возвращался к мирной деревенской жизни, к своим любимым занятиям, к привычной деятельности на научном поприще. Пожив некоторое время в деревне, я говорил жене, что чувствую себя точно мышь, удалившаяся от света*, которая наслаждается обитаемым ею сыром и знать не хочет того, что делается кругом.

В моих бумагах сохранилось начало недоконченного письма к Дмитриеву, в котором я выражал это настроение. Дмитриев был очень опечален моей отставкою и писал мне, между прочим, что в наши лета трудно уходить восвояси. Я отвечал: «Не знаю, любезный друг, отчего ты находишь, что в наши лета трудно уходить восвояси. Я нахожу, напротив, что это очень легко и приятно. В молодости человек рвется к деятельности и, пожалуй, мечтает о карьере; а в наши лета он успел создать себе внутреннюю жизнь, которая наполняет его существование. Когда есть природа, семья, друзья и книги, без остального можно обойтись. Трудно не уходить восвояси, трудно тянуть лямку при существующих условиях, когда не знаешь, на кого опереться, а еще чаще знаешь, что положительно не на кого опереться. Воображать, что при такой обстановке сам по себе можешь принести пользу, это, друг мой, чистое самообольщение. Кто примыкает к вредному направлению и поддерживает его своим нравственным авторитетом, тот приносит не пользу, а вред. Как ни старайся порядочный человек пристегнуться к этой колеснице, рано или поздно он все-таки должен будет уйти, именно потому, что он порядочный человек»...

Я не продолжал письма, вероятно из опасения, чтобы Дмитриев не принял на свой счет этих намеков. Он был тогда еще попечителем Петербургского учебного округа, следовательно, одним из видных колес той правительственной колесницы, на которую я нападал. Вскоре он действительно должен был оставить свое место. Для меня научная работа, кроме личного призвания, имела и ту громадную выгоду, что она ставила меня в положение совершенно независимое от всяких политических созвездий. Возносясь в чисто умственную область, я не знал ни гнусного правительства, ни раболепного общества. И я принялся за работу с своим прежним жаром. Целый

---

* Намек на известную басню Ж. Лафонтена (1621 – 1695): «La rat qui s'est retire du monde» («Крыса, удалившаяся от мира»).

год провел я таким образом в деревенской тиши, среди поэтических впечатлений любимой мною природы, при самой счастливой семейной обстановке.

Но и на этот раз провидению не угодно было продлить эту мирную и уединенную жизнь. Именно в ту пору, когда человек уходит восвояси, он всеми силами души привязывается к тому, что составляет прелесть и счастие домашнего очага, и здесь-то нежданным ударом у меня вдруг все рушилось. Нас постигло горе, более жестокое, нежели все предыдущие.

Радостью нашей семейной жизни, солнышком, ее озаряющим, была маленькая дочка*, родившаяся после смерти первых двух детей. Ей было около семи лет, и чем более она росла и развивалась, тем крепче мы к ней привязывались, тем более мы любовались и ее детскою прелестью и ее душевною красотою. Да простит читатель отцовскому чувству, изливающемуся в этих строках. Поныне еще, по прошествии десяти лет, я не могу об ней вспомнить без жгучей боли и без горьких слез. Чистый ее образ восстает в моей душе в неизгладимых чертах, и я должен его изобразить так как я его вижу и чувствую [...]

Вдруг нежданно, негаданно налетела страшная болезнь, которая унесла ее в несколько дней. В начале сентября 1884 года я вернулся из Малороссии, с хозяйственной поездки, которою я остался совершенно удовлетворен. Мне казалось, что можно без особенного стеснения устроить свою жизнь. Жена и дочь были здоровы. Мы втроем делали прогулки по лесу, готовились тихо и мирно провести осенние месяцы. Ни о каких заразных болезнях в окрестностях не было слышно, как вдруг у Уленьки заболело горло: оказался дифтерит! Лечение нашего земского врача не помогало; выписали доктора из Тамбова. Скоро пришлось выписать другого, чтобы сделать трахеотомию. Во время операции я держал ноги своего ребенка. Что я испытывал в эти минуты, пересказать невозможно; они стоят десятка лет жизни. Почувствовав освобожденное дыхание, она приподнялась и, сидя на операционном столике, уже без голоса, но с радостным лицом, указала через окно на любимую собаку, которая лежала на дворе. Ей дали полрюмки вина, и она с прелестною улыбкой, кивнув головой докторам, сделала знак, что пьет за их здоровье. Луч надежды промелькнул в моей душе. Но это был только мимолетный луч. Дифтерит пошел вглубь. Доктор вытащил громадную пленку, но и это не помогло. Ее стало душить. Не будучи в состоянии говорить, она попросила бумажку и четкими словами написала: «я умру»! Мать старалась ее утешить, говорила, что если богу угодно будет взять ее к себе, то у него ей будет хорошо, и все мы там соединимся. Она с

*Ульяна Чичерина родилась в 1877 г., умерла в 1884 г.

сияющим лицом кивнула головкой в знак, что она это понимает. Сознательно и спокойно отходило в вечность кроткое дитя. Перед смертью она нас благословила и тихо отдала богу свою душу, напутствуемая прощальными словами и молитвами родителей, пораженных в самом корне жизни, в самых глубоких своих чувствах, в самых святых своих привязанностях.

В третий и последний раз я взял на руки маленький обитый белым атласом гробик и понес его в церковь, а оттуда на семейный погост, где он был опущен в землю с другими детьми, рядом и с моими родителями, в ожидании той поры, когда и нам дано будет успокоиться там непробудным сном. Опять, и на этот раз уже окончательно, мы с женою остались одни на земле [...]*

Этот удар сломил меня окончательно. С тех пор я уже не поднимался. Всякие надежды на счастье, всякое стремление к деятельности исчезли. Душевные силы были подорваны в самом корне. С тех пор я живу, покорно ожидая, когда богу угодно будет призвать меня к себе, продолжая работать по мере сил и стараясь по возможности облегчить наложенный на нас крест с той, которой суждено было делить со мной все радости и горе. Еще в цвете лет я мечтал о старости, как о ясной поре жизни, когда утихают все житейские волнения и страсти и все кругом представляется как бы облитое теплыми лучами заходящего солнца, любуясь которыми, человек тихо и незаметно достигает конца своего земного пути. Такова должна быть старость при нормальных условиях человеческого существования; но она не дана тому, у кого с корнем вырвана живая часть его сердца и кому приходится кончать свой век сторожем кладбища. Можно счастливо жить, не имея детей; но остаться на старости лет без детей, это едва ли не самое тяжелое, что может постигнуть человека на земле.

Все, что я видел вокруг себя, не могло ни ободрить меня, ни утешить. Наравне с семьей, а может быть и более я люблю отечество, и в каком же положении оно находилось? В молодости я застал его под гнетом Николаевского деспотизма. Давление было страшное, всякая независимость преследовалась неумолимо. Но несмотря на то, в обществе сохранились живые силы и неугомонные надежды. Лучшие люди того времени верили в мысль, в свободу, в просвещение, и дружными рядами работали для будущего. Ожидания их наконец сбылись: давящий их гнет рухнул в сознании своего бессилия; открылись новые поприща, на которые все ринулись, полные веры, под обаянием совершающихся событий. Нам довелось быть свидетелями величайших преобразований, какие испытывала на себе русская земля: одним законодательным актом дарована была свобода

* Пропущен абзац в издании 1934 г. под редакцией М.Я. Цявловского

двадцати миллионам крепостных людей; в первый раз со времени ее существования в России водворилось правосудие; организовано было местное самоуправление; явилась неизвестная прежде свобода печати; страна покрылась сетью железных дорог, Россия, можно сказать, обновилась вся, как бы в купели живой воды, бьющей из вечных источников свободы и правды. Вспоминая прежнее время, едва верилось, что живешь в той же земле. И к чему все это наконец привело? Вместо новых, свежих сил для открывшихся всюду новых поприщ, оказалось умственное, нравственное и материальное оскудение. Независимые и образованные люди исчезли; пошлость царит всюду. Печать извратилась и изолгалась в конец; таланты все вымерли или заглохли. Правительство наполняется отребьем общества; все раболепное, низкопоклонное, бездарное лезет вверх и приобретает силу. Ложь господствует во всех сферах. Самые нелепые меры принимаются отуманенною властью, не имеющею ни мысли, ни совести, и расшатанное, опошлевшее общество не только не поднимает против них голоса, а, напротив, готово им рукоплескать. И чем дальше мы идем, тем гуще и безотраднее становится окружающая нас тьма. Что готовит нам будущее, – известно одному богу.

История расскажет поучительную повесть реакционных мер царствования Александра III. Если бы мы не были им свидетелями, мы едва ли бы могли верить, что все это происходило именно так, как это было на деле.

Первый удар постиг университеты. Давно уже Катков вел против них бесстыдный поход, который, наконец, увенчался успехом. Всегда покорный силе, Делянов внес в Государственный совет проект устава, отнимавший у университетских корпораций всякие права как по выборам, так и по экзаменам. Этим университеты низводились на степень чисто бюрократических учреждений. Однако в Государственном совете этот проект встретил сильный отпор: значительное большинство высказалось против. Сам Победоносцев, хорошо понимавший всю нелепость предлагаемой меры и весь вред, который она могла нанести русскому просвещению, ратовал за сохранение старого устава. Даже настояния Каткова не могли его поколебать. Но Делянов приехал к нему плакаться, и ему, как он сам говорил, стало жаль старика. В сущности, он верно расчел, что ему выгоднее и покойнее быть в союзе с имеющими силу, и он решился изменить делу. Видя колебания государя, он посоветовал ему окончательно обсудить вопрос в совещании, составленном из немногих доверенных лиц. Победоносцеву было хорошо известно, что Государственный совет, как высшее законодательное учреждение в империи, установлен самою самодержавною властью именно для того, чтобы изъять монарха из-под влияния отдельных личностей и мелких стачек. Государь может не согласиться с мнением большинства;

его собственные убеждения не связаны постановлениями совета. Но когда у него нет определенного мнения, голос высшего учреждения в государстве служит ему точкой опоры; утвердить его, значит оказать ему уважение. Переносить же дело из Государственного совета на обсуждение немногих лиц есть прямо выражение недоверия; это – публичное оскорбление, нанесенное первому учреждению в государстве. Между тем, именно на это бил Победоносцев, даже вопреки собственным убеждениям. Изменяя себе, жертвуя интересами русского просвещения для чисто личных видов, он бросал тень на самого государя. И дело было подстроено так, что во время совещания все видные защитники старого устава находились в отсутствии. И Бунге, и барон Николаи были в отпуску. Совещание составилось из Делянова, графа Толстого и всегда следовавшего за ним Островского. Мнимым противником нововведения явился только сам предатель Победоносцев. После совещания государь ему прямо сказал, что когда все против его одного, то он, разумеется, должен с ними согласиться. Штука была сыграна; устав был утвержден в том виде, как он был представлен Деляновым. Катков торжествовал полную победу.

Безобразнее этой меры ничего нельзя было придумать.

Лишение университетов всяких корпоративных прав не имело ни теоретического, ни практического оправдания. Противники самоуправления представляли выборное начало плодом либеральных стремлений шестидесятых годов: между тем, в действительности, и Александровские уставы 1804 года, и даже Николаевский устав 1835 года предоставляли университетам право выбирать ректора и деканов. Только в 1848 году, в самый разгар реакции, в то время, как русские университеты как бы в наказание за революционные движения Западной Европы были подвергнуты огульной опале и число студентов ограничено тремястами, правительство взяло на себя назначение ректора.

Таким образом, искони корпоративные права присваивались русским университетам, что хорошо было известно тем, которые вели против них кампанию, хотя они намеренно представляли дело в ложном свете. Эти права вытекают из самого назначения университетов, как высших центров науки и преподавания. Профессора не чиновники, исполняющие приказания начальства. Они преподают то, что они добыли собственным трудом и собственными убеждениями. Поэтому за ними всегда признается более или менее независимое положение, которое и выражается в корпоративном устройстве. Конечно, этим можно злоупотреблять. Университеты могут выбирать людей с крайним направлением, враждебных существующему государственному строю. Но само правительство, отменившее все права, позаботилось о том, чтобы устранить подобные

нарекания. Предоставив себе назначение ректора и деканов, оно во всех университетах, от первого до последнего, назначило тех же самых лиц, которые были уже выбраны. Спрашивается: зачем же нужно было производить такой коренной переворот? Значит, все выбранные лица были достойны доверия; чем же вызывались чрезвычайные меры?

Другая реформа была еще безобразнее. Вместо факультетских экзаменов введены были государственные экзамены в особых правительственных комиссиях. Такая перемена могла вызываться требованием более образованных чиновников и недоверием к университетским испытаниям. В действительности, однако, ничего подобного не было и не могло быть. Русское правительство вовсе не нуждалось в образованных людях; оно, напротив, оказывало им полное презрение. Любой гвардейский офицер, совершенно непричастный просвещению, мог с успехом претендовать на высшие места в государстве. Совершив такое преобразование, министерство не подумало даже о том, что для государственных экзаменов нужны программы, необходимы учебники, которых у нас не было. Кроме самих преподавателей, некого было даже назначить экзаменаторами. Когда пришлось прилагать новый закон на практике, все стали в тупик. Надобно было опять прибегнуть к всеведущему, всемогущему Каткову. Его клевреты принялись за работу, и после двухлетних недоумений была наконец выработана такая безобразная программа, от которой все университеты пришли в ужас. Со всех сторон посыпались возражения. Сам недогадливый армянин Делянов, как называл его Дмитриев, смутился и нарядил комиссию для рассмотрения дела. Однако его колебаниям скоро был положен конец. Я слышал по этому поводу анекдот, живо рисующий лица и тогдашнее положение. Однажды директор департамента Аничков сидит за своим столом в министерстве. Вдруг дверь с шумом отворяется, влетает Катков и, даже не поздоровавшись, поднявши руку, начинает кричать: «Что вы делаете? Вы учредили комиссию для разбора возражений против программы. Это – измена; я доложу об этом государю императору». Напрасно Аничков старался его успокоить, уверяя, что он тут не при чем; Катков продолжал беснонаться, до тех пор пока пришли доложить, что приехал Делянов. Тогда он мигом устремился в кабинет министра, запер изнутри дверь на ключ и через четверть часа вышел с торжествующим лицом, неся в руках бумагу, приписывающую отмену комиссии и введение новой программы без изменений. Так у нас управляли русским юношеством и народным просвещением. Мудрено ли, что одно сбивалось с толку, а другое угасало.

Все это, однако, не послужило ни к чему. Пресловутая программа произвела только невообразимый сумбур, в котором ни профессора, ни студенты не могли найтись. Пришлось волею или неволею

возвращаться к старому порядку курсовых экзаменов по тетрадкам профессоров. Сначала они введены были для перехода со второго курса на третий, а потом и для перехода с первого на второй. Только студенты третьих курсов остались без испытаний.

Спрашивается: для кого и для чего нужна такая ломка, в жертву которой принесены были несколько поколений учащейся молодежи? Она требовалась единственно затем, чтобы удовлетворить мести журналиста, который не мог простить Московскому университету его оппозиции наглым его притязаниям и хотел из-за журнального стола самовластно управлять министерством. И все это совершалось под омерзительною личиною свободы преподавания и любви к просвещению!

Но всего, может быть, печальнее та покорность, с которою все это было принято обществом и университетами. Протеста, даже самого умеренного, не последовало ниоткуда. Сколько мне известно, из всех профессоров, вновь назначенных в ректоры и деканы, один только бывший ректор Харьковского университета, Цехановецкий, отказался и уехал в отпуск за границу. Остальные все, не обинуясь, приняли новые должности. Для русского человека променять общественное положение на чиновничье, из выборного представителя корпорации превратиться в правительственного агента ровно ничего не значит. Мало того: самая учащаяся молодежь, недавно еще волновавшаяся по пустякам, устроила празднество в честь государя и после постигшего университеты разгрома сделала ему восторженную овацию. Перед тем царская фамилия ездила, по обыкновению, в Финляндские шхеры и заезжала в Гельсингфорс. Там студенты устроили в честь его концерт, что было совершенно уместно, ибо Гельсингфорский университет, один среди развалин, остался цел и невредим. Мой шурин Капнист, попечитель Московского учебного округа, задумал то же самое учинить в Москве. Как представитель правительства, он думал этим способом показать государю Московский университет в выгодном свете и задобрить его в пользу заподозренного учреждения. Государь, после некоторых колебаний, согласился наконец поехать. Концерт удался как нельзя лучше; овация была громадная, восторг неописанный. Все ликовали, ожидая каких-то необыкновенных благ, которые не последовали, а те немногие, которые считали неприличными подобные демонстрации, после того как университеты лишены были всяких прав и низведены на степень бюрократических канцелярий, признавались озлобленными людьми и врагами общественного порядка. Как собачка, которую хозяин высек без всякой причины, университет приходил лизать руку, от которой он получил незаслуженную кару. После этого, как не сказать, что такое общество заслуживает такого управления? Помнится, однако, что были государи, которые старались общество

поднять и облагородить; ныне стремятся единственно к тому, чтобы его опошлить и унизить.

Не менее любопытным примером способов действия нашего управления может служить случившаяся почти в то же время история Московских городских рядов. Она характеризует отношения правительства к городскому обществу.

Вопрос о перестройке старых городских рядов, которые были безобразны и неудобны, возник уже давно. Когда я был головою, об этом был представлен проект в министерство внутренних дел; но там он затормозился. Главное затруднение при ведении этого дела состояло в том, что собственниками лавок были их владельцы; на это они имеют неоспоримые документы. Чтобы совершить перестройку, надобно было всех их привести к соглашению, а это было дело не легкое. Оно тянулось несколько лет; однако удалось наконец составить из них общество, в которое многочисленные пайщики вошли каждый со своим владением. На этом и был основан посланный в министерство проект. Но министерство почему-то вообразило, что собственником земли, находящейся под лавками, непременно должен быть город, и требовало, чтобы он отыскал свои права. В этих видах проект был возвращен Думе во время моего управления. Мы всячески старались открыть неуловимые документы, рылись в архивах, обращались к Забелину, как главному знатоку московских древностей, и все напрасно. Единственно, на что мы могли претендовать, была собственность проходов. На этом вопрос и остановился, когда я вышел в отставку. Князь Долгорукий, который во всяком деле имел в виду только прославление самого себя, хотел воспользоваться междуцарствием, чтобы двинуть перестройку по собственному почину. Он прислал в Думу бумагу, требуя, чтобы она взяла это дело в свои руки. Дума отвечала, что она не может этого сделать, ибо ряды составляют частное владение, для перестройки которого уже образовалось акционерное общество. Тогда рассерженный генерал-губернатор назначил от своего имени комиссию для осмотра строения; в нее не были даже призваны архитекторы Думы, под ведением которой оно состояло. Комиссия, исполняя данные ей приказания, нашла, что строение опасно, и князь Долгорукий, в силу полномочий, данных ему Положением об охране, приказал его закрыть к 1 октября, а сам уехал в отпуск за границу.

Это было нечто чудовищное во всех отношениях. Ряды состояли в ведении города, и генерал-губернатор не имел ни малейшего права ими распоряжаться. Положение об охране, на которое он ссылался, касалось политических преступников, а вовсе не городских строений, хотя на практике оно нередко применялось в обеих столицах и к мостовым, и к извозчикам, и ко всему на свете. Фактически строение вовсе не грозило опасностью и с небольшими поправ-

ками легко могло простоять еще лет пятьдесят. Закрытие его через два месяца, без всякой подготовки, не только нарушало самые существенные интересы владельцев, но многим грозило неминуемым разорением.

Московские купцы переполошились. Алексеев, который в то время был уже головой, принялся хлопотать об отмене распоряжения. От рядовых торговцев послана была просьба на имя государя. Найденов, со своей стороны, обратился к Победоносцеву, с которым он был в сношениях по Добровольному флоту. Наконец, Алексеев получил из Петербурга телеграмму от Рихтера с приглашением немедленно приехать. Когда он явился во дворец, Рихтер спросил его, отчего нет просьбы от городского управления для подкрепления прошения торговцев. Алексеев отвечал, что так как Дума здесь в стороне, то они не считали нужным этого делать, но что удовлетворить этому требованию очень легко. Он тут же написал просьбу, а Рихтер при нем понес ее государю. Вернувшись, он сказал, что дело будет улажено. Алексеев, от которого я слышал весь этот рассказ, возвратился в Москву успокоенный и объявил торговцам о результате своей поездки. Все думали, что этим вопрос и кончится, и никто уже не заботился о приготовлении новых помещений на случай закрытия рядов.

Но хозяин распорядился без своего приказчика, а это в самодержавном правлении бывает так же неверно, как и в частном хозяйстве. В это время граф Толстой был в отпуску. В сентябре он из деревни возвращался в Петербург. Перфильев, который в отсутствии генерал-губернатора управлял Москвою, ожидал его с нетерпением. Положение его было весьма затруднительное. С одной стороны, он вполне понимал все безумие и беззаконие этой меры; с другой стороны, он не мог ослушаться формального приказания генерал-губернатора. Поэтому ему было очень важно заручиться мнением министра. Но и граф Толстой не любил брать на себя ответственности. Сваливать всякое щекотливое дело на подчиненных было одною из главных задач его политики, а когда он хотел ускользнуть, уловить его было трудно. Еще до его приезда в Москву к Перфильеву явился чиновник с извещением, что министр не желает никакой встречи на железной дороге. Перфильев отправился в гостиницу Дрезден, где граф Толстой остановился на одни сутки; ему сказали, что министр не приказал никого принимать. Вторичное посещение имело тот же результат. Тогда Перфильев решился ехать провожать министра при отъезде его в Петербург, пользуясь тем, что на этот счет не было сделано никакого распоряжения. Действительно, он застал графа Толстого, расхаживающего в одиночестве в императорских комнатах. Государственный сановник был застигнут врасплох. Однако он тут же нашелся. Он немедленно послал Перфильева пригла-

сить обер-полицеймейстера Козлова, который находился на дебаркадере, уверяя, что тот обидится, если его не позовут. Когда же оба пришли, министр начал рассыпаться с ними в любезностях, без умолку говорил о разных предметах, не давая им вставить ни слова. В это время послышался звонок; он поспешно пожал им руки и, не давая им опомниться, убежал, оставив Перфильева в полном недоумении. Это была сцена из водевиля. Так решилась судьба многих людей.

Приезд министра в Петербург разом повернул все дело. Поддерживая во всех случаях и во что бы то ни стало авторитет власти, он не мог допустить, чтобы городское управление взяло верх над генерал-губернатором, хотя бы для этого надобно было пожертвовать и законом, и совестью, и благосостоянием граждан. Из Петербурга послан был техник для осмотра рядов. Я думал, что по обыкновению ему приказано было найти их опасными, и он, как чиновник, исполнил это поручение. Но Алексеев уверял меня, что видел поданное техником донесение; в нем ряды, при небольших поправках, признавались совершенно безопасными. И несмотря на это, вышло высочайшее повеление, которым решение генерал-губернатора признавалось законным и правильным. 1 октября ряды были закрыты. Торговцы, не ожидавшие такой катастрофы, были выброшены на улицу. Многие из них были совершенно разорены; купец Солодовников в отчаянии зарезался в Архангельском соборе. Кровь его вопиет против всех участников в этом возмутительном деле.

Такой исход не мог быть приятен и самим властям, совершившим разгром. Генерал-губернатор вернулся из-за границы мрачнее ночи. Перфильеву и Козлову сильно от него досталось. Вскоре оба оставили свои должности и получили звание почетных опекунов. Тем все и кончилось.*

Когда таким образом поступали с массами ни в чем неповинных людей, то чего же мог ожидать отдельный человек. В этом отношении весьма любопытным эпизодом было дело Дервиза; оно, может быть, яснее всего характеризует нравственный уровень тех, кому вверено было управление Россией.

---

* В 1860 г. Московским генерал-губернатором был возбужден вопрос о сносе пришедшего в ветхость Гостиного двора, построенного в 1805 г. по плану Гваренги; дело тянулось до 1886 г., когда на общем собрании лавковладельцев Верхних торговых рядов, созванном по инициативе городского головы Н. А. Алексеева, избран был особый комитет, которому была поручена выработка устава, имеющего образоваться акционерного общества и финансового плана постройки. Когда О-во Верхних торговых рядов сконструировалось, 20 сентября 1889 г. началась сломка прежних рядов, а 21 мая 1890 г. состоялась уже закладка новых, которые окончательно были отстроены к 1893 г., когда временные железные ряды, в которых производилась торговля во время стройки, были перенесены на Болотную площадь.

Известный богач Павел Григорьевич фон-Дервиз, строитель Рязанской, Козловской и Курско-Киевской железных дорог, можно сказать, зачинатель частного железнодорожного дела в России, оставил после своей смерти вдову и двух сыновей, из которых старший был уже совершеннолетний, а младший состоял еще под попечительством. У старика Дервиза был брат, Дмитрий Григорьевич, горбун, имевший репутацию человека очень умного, но лукавого и неуживчивого. Некогда он был видным деятелем в министерстве юстиции, затем был сделан сенатором и, наконец, членом Государственного совета. По близости к брату он участвовал в его железнодорожных предприятиях и давал на них свои значительные капиталы. После смерти старика Дервиза во главе Козловской дороги стоял бывший его правою рукою И. Е. Ададуров, с которым Дмитрий Григорьевич был в ссоре. Он хотел прижать Ададурова внезапным требованием денег; но у последнего был неисчерпаемый источник в состоянии молодого Дервиза, который, зная его отношения к отцу, поддерживал его против дяди. Потребовалось положить этому конец, взявши племянника под опеку. Сделать это было не трудно. Дмитрий Григорьевич фон-Дервиз был товарищ по Училищу правоведения и близкий приятель министра юстиции Манассеина, а высшее управление правосудием продолжало, как и встарь, служить орудием всякой неправды. Идти в этом деле законным путем было невозможно. Молодой Дервиз был дворянин Рязанской губернии, а по закону для учреждения над ним опеки надобно было обратиться в депутатское собрание. Там немедленно обнаружилась бы вся гнусность этой интриги. Но если трудно было провести представителей сословия, то ничего не стоило провести государя и выхлопотать высочайшее повеление. Так и было сделано. Манассеин представил, что молодой Дервиз расточает за границей огромные, приобретенные в России капиталы и ведет к разорению несовершеннолетнего брата. Были даже намеки, что деньги идут на нигилистов. Однако, государь не решился прямо подписать указ; но вместо обращения дела к законному ходу он приказал рассмотреть его в комитете министров. Собрался весь сонм правителей государства. По высочайшей воле они становились судьями личности и собственности русского гражданина. Всем им и прежде всего сидевшему тут Победоносцеву и представлявшему дело министру юстиции было хорошо известно, что первое требование правосудия, даже по русским законам, состоит в том, чтобы дать обвиняемому возможность защищаться. Между тем, не только от Дервиза не было потребовано объяснения, но ему не было даже предъявлено обвинение; не было допрошено и ближайшее к нему лицо, его мать, попечительница младшего брата. Из всех присутствующих один Абаза, к его чести, заметил, что следовало бы предварительно допросить обвиняемо-

го. На это остальные возразили, что если министр юстиции представляет о необходимости наложения опеки, то без сомнения он имеет уже все нужные сведения, и ему надобно верить; все, не обинуясь, подписали согласно с мнением министра постановление, которое и было утверждено государем. Русский дворянин лишен был гражданских прав и подвергнут позорному наказанию, не имея даже возможности сказать слово в свое оправдание, притом по такому делу, которое в сущности не составляло никакого преступления, ибо, тратя деньги, унаследованные от отца, Дервиз пользовался только неотъемлемо принадлежащим ему правом собственности. Наложение опеки есть крайний случай, при значительных долгах и разорении семейства, чего здесь не было и в помине. Согласно с постановлением комитета министров, назначен был и опекун, другой товарищ и приятель Манассеина, сенатор Коробьин, которому совершенно неожиданно свалилось с неба тридцать тысяч рублей в год за опекунское управление колоссальными капиталами. Все поздравляли его с таким радостным событием. Штука удалась как нельзя лучше; дядя торжествовал.

Между тем, жертва всей этой гнусной проделки преспокойно жил в деревне, не подозревая того, что над ним творится. Вдруг ему объявляют, что он по высочайшему повелению, неизвестно за что, взят в опеку. И он и его родные пришли в полнейшее недоумение и отчаяние. К счастью, его мать, живя в Ницце, была хорошо знакома с моею сестрою, Нарышкиной, которая когда-то проводила там зиму. Она тотчас к ней прискакала и объяснила, что не только сын ничего не растратил, но со времени смерти мужа состояние возросло на несколько миллионов. Сестра советовала ей написать прошение на имя государя и направила ее к Дмитриеву, который бумагу пересмотрел и исправил. Черевин, предупрежденный заранее, передал просьбу государю. Велено было, по открывшимся данным, сызнова пересмотреть дело в комитете министров. Манассеин не приехал в заседание, сказавшись больным, а остальные, также спокойно, как они наложили опеку, решили ее снять. На этот раз дело сорвалось. После того и Победоносцев и сам Манассеин плакались перед государем, уверяя его, что они были введены в заблуждение; как будто можно заблуждаться на счет того, что непозволительно подвергать человека наказанию и лишать его гражданских прав, даже не предъявив ему обвинения и не давши ему сказать слова в свою защиту. Смею думать, что если бы государь приказал рассмотреть дело в собрании самых последних мещан, то и они не решились бы на такой поступок; и между ними нашлись бы люди, которые подняли бы голос против такого возмутительного произвола. Но коллегия русских государственных людей без всякого зазрения совести попирала ногами самые элементарные требования правосудия, и все это им сходило с

рук. Гнев государя обратился на дядю, который подстроил всю это интригу. Рассказывали, что он в негодовании воскликнул: «Уж я до этого горбуна доберусь!» Однако, горбун продолжал преспокойно сидеть на своем месте в Государственном совете, и сам министр, который подвел монарха и обнаружил полнейшее презрение к праву и нравственности, который в этом деле выказал себя совершенным негодяем, продолжал по-прежнему управлять правосудием в русской земле.

Таковы были люди, которые стояли во главе управления. А между тем, вся забота правительства клонилась к тому, чтобы поднять обаяние власти. Никто и не думал о том, что власть в государстве держится не одною солдатскою субординацией, но также и, еще более, нравственным авторитетом. Всю вину господствующей неурядицы сваливали на преобразования прошедшего царствования. Пытались доказать, что необдуманные либеральные реформы породили нигилизм, как будто нигилизм, вскормленный николаевским гнетом, не существовал во всеоружии, прежде нежели были предприняты какие-либо реформы. Те скудные права, которые были дарованы русскому обществу, подверглись подозрению; выборное начало старались всячески урезать. По мановению графа Толстого пошла ломка всех учреждений. После разгрома университетов дошла очередь до местного управления.

В одной из предыдущих глав я старался выяснить, каковы были недостатки крестьянского самоуправления и какие требовались против них лекарства. Нужно было связать волостной суд с мировою юстицией и подтянуть волостных старшин, усилив количество и права непременных членов уездных присутствий. Для этого не требовалось никакой ломки. Достаточно было дополнить и исправить существующие учреждения по указаниям практики. Но нашим законодателям, как либералам, так и реакционерам, непременно хотелось все перевернуть вверх дном и только что преобразованную Россию вновь преобразовать по собственным измышлениям. При Лорис-Меликове, под председательством Каханова, учреждена была комиссия, которая сочиняла всесословную волость и задумала установить новую должность волостелей*. С появлением графа Толсто-

* В 1880 г., при М. Т. Лорис-Меликове, было приступлено к собиранию материалов для выяснения необходимых улучшений в системе местного управления и в законоположениях о крестьянах. Уже при его преемнике, Н. П. Игнатьеве, была организована (4 сент. – 20 окт. 1881 г.) под председательством статс-секретаря М. С. Каханова. «особая комиссия для составления проекта местного управления», которая должна была разработать план местной реформы. Из недр комиссии вышел проект «волости», как мелкой территориальной административной единицы, обнимающей все население местности; во главе «волости» должен был стоять «волостель», по выбору уездного земства.

го все это разом переменилось, и та же комиссия стала работать в совершенно противоположном смысле. Сперва предлагалось подчинить крестьян начальству помещиков, давши последним право выбирать из себя волостелей. Однако, на такую меру окончательно не решились. Это было косвенное возвращение к крепостному праву и могло возбудить слишком сильное неудовольствие в народе. Помирились на замене дворянства чиновничеством, что всего более приходилось по сердцу новому министру. Вместо выборных непременных членов, которым дотоле принадлежал ближайший надзор за крестьянским управлением, решили учредить назначаемых правительством и подчиненных непосредственно губернатору земских начальников. Но для того, чтобы помазать по губам дворянству, было постановлено, что они должны, по возможности назначаться из местных помещиков, по совещании губернатора с предводителем дворянства.

Инициаторы этого предложения хорошо понимали, что это был чистый обман. Мне довелось читать возражения министра юстиции на этот проект и ответы министра внутренних дел. Первый, считая серьезным делом предполагавшееся возвеличение дворянства, возражал, что если земские начальники, облеченные произвольною властью, лягут тяжелым бременем на сельское население, то все неудовольствие обратится на дворянство, которое через это лишится всякого влияния на народ. На это граф Толстой откровенно отвечал, что дворянство тут ровно не при чем; оно призывается к участию, как поставщик служилых людей, чем оно было искони, но ответственности на него не возлагается никакой: как назначение лиц, так и ответственность за их управление, все это исключительно должно лежать на правительстве. Действительно, когда при Николае Павловиче учреждались становые пристава, точно также велено было по возможности назначать их из местных помещиков, по совещании с предводителями; но никто не думал выдавать это за расширение дворянских прав. И несмотря на такое сознательное отношение к делу высших правительственных лиц, высочайшим манифестом, изданным при введении земских начальников, возвещалось всенародно, что этим дворянству даруется новая милость. Явная ложь изрекалась с высоты престола. Без сомнения, царь был этому непричастен; он искренно думал, что новою мерою возвеличивается первая опора престола. Но это доказывает только, как мало он понимал дело и как легко было ввести его в заблуждение.

Обман был тем возмутительнее, что именно этою реформою дворянство лишилось последних своих прав. Со времен Екатерины оно было, можно сказать, полным хозяином уезда. Оно выбирало и полицию и судей. Крепостное право давало ему почти безграничную власть над сельским населением. С освобождением крестьян все это

от него отошло. Помещичья власть была упразднена; полиция всецело поступила в ведение правительства; уездные суды были закрыты и заменены общими судебными местами. Взамен того дворянство получило преобладающее значение в земских учреждениях, которые не только заведывали местным хозяйством, но посредством выбора непременных членов и мировых судей влияли и на все местное управление. Как председатель земского собрания и уездного присутствия, предводитель дворянства был главным лицом в уезде. Можно сказать, что после реформ Александра II все уездное управление, то есть фундамент всей администрации, лежало на предводителях. Никогда их значение не стояло так высоко. Теперь же все это изменилось. Место выборных непременных членов заступили назначаемые и увольняемые правительством земские начальники. Подчинением последних непосредственно губернатору устранялось всякое влияние на них предводителя, которого положение в уезде через это существенно умалялось. В первый раз бюрократия внедрялась в самое сердце уезда и забирала все местное управление в свои руки. Наконец, с довершением всей этой реакционной ломки мировые суды были уничтожены.

Эта последняя мера была самым чувствительным ударом, нанесенным земским людям, то есть, главным образом, живущему на местах дворянству. Если было учреждение, которое вызывало полное сочувствие местных помещиков, которое совершенно приходилось по их нравам и понятиям, то это был мировой суд. В первый раз, с тех пор как существовала Россия, преобразования Александра II водворили у нас правосудие; дотоле, под видом закона, властвовали только лихоимство и крючкотворство. Но учрежденные вновь общие суды были далеки от местных жителей; обращение к ним, сверх хлопот, требовало и более или менее значительных издержек. Мировой суд, напротив, был близок всем; земские люди из среды себя выбирали доверенных лиц, призванных судить несложные, но важные для обыденной жизни дела. Живя у себя дома, помещик являлся вместе с тем представителем всего населения и блюстителем правосудия в своем округе. И в огромном большинстве случаев это делалось добросовестно и беспристрастно. Никаких дворянских поползновений и притязаний, ни малейшего стремления к притеснению низшего народонаселения в этом вверенном земству деле нельзя было заметить. Так же как мировые посредники первого призыва, мировые судьи делают честь местному русскому дворянству. Если и случались промахи и неправильности, то они обыкновенно исправлялись на съездах, где, кроме участковых, заседали избираемые земскими же собраниями почетные мировые судьи. На это лучшие местные люди положили свою душу. И вдруг, совершенно для всех неожиданно, без малейшего к тому повода, все это было выброшено

за окно. Начинавшее водворяться на местах правосудие было заменено чистейшим произволом. Россия была отдана на жертву массе набираемых отовсюду молодых людей, которых само правительство науськивало на проявления необузданной дикости. Некоторую сдержку эти начала встречали еще там, где успели упрочиться предания мирового суда. В других местах рукопашная расправа сделалась обычным явлением. Русское юношество развращалось привычкою к полному произволу относительно низших и раболепной покорности в отношении к высшим.

Эта реформа не была уже делом графа Толстого. Прежде, нежели реакционный проект сделался законом, он, к счастью для отечества, сошел в могилу. Но зловещая его тень царила над его наследием, она внушала решения государю. Уничтожение мирового суда было личным делом царя. Никто об этом даже и не думал, и когда выработанный министерством проект вышел из царского кабинета с собственноручною отметкой, требовавшей отмены мировой юстиции, все были поражены недоумением. Но делать было нечего; надобно было проект переработать в указанном смысле, соединить юстицию с администрацией, распределить дела, подведомственные мировым судьям, между волостными судами, земскими начальниками и другими учреждениями. Все это было состряпано наскоро; закон был редактирован согласно с волею государя. Актом личного произвола зачатки близкого к населению правосудия были уничтожены в русской земле.

Главною побудительною причиною этой ломки было то, что введение земских начальников требовало значительных расходов. Между тем, казна и без того была скудна, а возложение их на местных жителей могло возбудить сильное неудовольствие против новых учреждений. Возвещаемая милость отразилась бы только крупным увеличением податного бремени. Это представлялось самым существенным возражением против новой реформы. Чтобы выйти из затруднения, не нашли ничего лучшего, как уничтожить мировой суд и ассигнованные на него деньги обратить на земских начальников. Этим способом реформа могла быть введена без возвышения налогов. О том, что при такой перемене земству приходилось оплачивать из собственных средств уже не содержание выборных его лиц, а жалованье правительственных чиновников, никто, разумеется, не думал. Еще менее заботились о том, что этим наносится удар правосудию.

Но всего возмутительнее в этом деле было то, что правительство всячески старалось вызвать по этому поводу выражения благодарности со стороны дворянства. В этих видах сыпались на него разные денежные льготы. Перед тем учрежден был Дворянский банк, который выдавал помещикам ссуды за весьма низкие проценты и со

всевозможными рассрочками; а так как через это банк разорялся, то для поддержания дворянского кредита были пущены в ход лотерейные займы. Таким образом, справедливому негодованию за умаление прав затыкали рот медными грошами, добытыми безнравственным путем, и все это представилось в виде возрождающейся новой дворянской эры, долженствующей поднять российское дворянство из угнетенного положения, в которое оно было повергнуто преобразованиями предшествующего царствования. К умалению прав присоединялось лицемерие и нравственное унижение. О чести благородного сословия давно уже перестали говорить. Самое понятие о ней утратилось.

И надобно к прискорбию сказать, многие дворянские собрания отозвались на эти недостойные приманки. Губернские предводители, наперерыв друг перед другом, старались подслужиться, и дворяне, ожидавшие золотых гор от нового банка, следовали за ними с увлечением. Раболепными адресами наполнялись столбцы газет. В лирических излияниях выражалось, как дворянство возликовало от грошовых подачек и увидело перед собою зарю новой жизни. Я не мог читать их без омерзения. Помнится, черниговское и нижегородское дворянства особенно отличались своими восторгами. Но и московское, некогда столь либеральное, не отставало от других.

Были, однако, немногие почетные исключения. В Полтаве исполнявший должность уездного предводителя Волков объявил, что он не подпишет никакого адреса, в котором не будет упомянуто с благодарностью о преобразованиях прошедшего царствования. Пришлось идти на сделку; написали адрес, в котором выражалась благодарность за то, что царь продолжает преобразования своего отца. Это выходило иронией и многие считали это неприличным; но я находил, что это все-таки лучше, нежели благодарность за умаление прав.

У нас в Тамбове колебания были большие. Еще до издания нового положения я считал полезным представить от дворянства адрес с просьбою сохранить дарованные земству права, составляющие замену тех, которыми дворянство пользовалось со времен Екатерины. У нас предстояло дворянское собрание. Надобно было предварительно заручиться поддержкою более или менее влиятельных людей. Будучи в Москве, я обратился в этих видах к двум молодым уездным предводителям, Соловому и Новосильцеву. Оба они были зятья моего старого друга, князя Щербатова*, люди отличные, вполне неза-

* Дочери кн. А. А. Щербатова были замужем: княжна Мария Александровна за темниковским уездным предводителем дворянства Ю. А. Новосильцевым (род. 1859), а кн. София Александровна за тамбовским уездным предводителем В. М. Петрово-Соловым (1850 – 1908).

висимые, либеральные и преданные общественному делу. Они горячо ухватились за эту мысль, и я позвал их к себе на совещание; а между тем набросал проект адреса. Но когда они на следующий день явились, я нашел их уже в совершенно ином настроении. Семейные влияния, в особенности советы моего старого приятеля, который при всех своих гражданских доблестях слишком охотно шел на компромиссы и, в виду самой пользы дела, опасался резких демонстраций, заставили их призадуматься. Они стали говорить, что подобный адрес может произвести наверху дурное впечатление и, пожалуй, даже повредит делу, что при наших условиях лучше действовать осторожнее и подождать, что будет. Сюда примешивалось опасение компрометировать свое положение предводителей, навлекши на себя гнев правительства и не находя надлежащей поддержки в обществе. По-моему, главная наша беда состоит в том, что мы не решаемся мужественно высказывать свое мнение, а предпочитаем действовать уклончиво, что и привело нас к нынешнему положению. Я разорвал проект адреса и не поехал на дворянское собрание. Если так колебались лучшие люди, то чего же можно было ожидать от других? Меня считали каким-то сорванцом, готовым на всякие ужасы.

Случай предъявить некоторого рода протест представился уже по введении новых учреждений. Значительным городам по закону было предоставлено ходатайствовать о сохранении у них мирового суда. Можно было воспользоваться этим постановлением, чтобы предъявить подобное же ходатайство и со стороны земства, тем более, что уже были тому примеры. На губернском земском собрании я сообщил эту мысль многим гласным и в большинстве нашел полное сочувствие. Составленный мною проект ходатайства был следующий:

«Тамбовское губернское земское собрание, имея в виду, что со времени царствования Екатерины Второй местные суды были в руках: местного населения; что после освобождения крестьян и введения земских учреждений мировые суды заменили прежние, выборные от сословии; что, будучи основаны на началах устного и гласного судопроизводства и на полном отделении судебной власти от административной, мировые суды впервые водворили у нас близкое и доступное народу правосудие, чего не достигало прежнее судоустройство; что, развивая в населении начала и чувство законного порядка, они сослужили добрую службу отечеству; что тем самым они привлекали к себе лучшие местные силы и вполне удовлетворяют потребностям населения, которого самые хозяйственные интересы нуждаются в прочности и охранении права; что существование мировых судов совместно с необходимым улучшением крестьянского управления, о котором Тамбовское земство представляло еще десять

лет тому назад, признавая полезным расширение нрав и умножение числа выборных от земства непременных членов уездных присутствий; что только при существовании мировых судов возможно действительное улучшение волостных судов, о чем также представляло Тамбовское земство; что наконец многие города и некоторые земства ходатайствовали о сохранении мировых учреждений, опираясь на самый закон, допускающий изъятия и дополнения.

Тамбовское губернское земское собрание, надеясь на то, что высшее правительство не оставит без внимания существенных его нужд, ходатайствует о сохранении в губернии мировых учреждений в настоящем их виде».

Это предложение было подписано большинством губернских гласных, так что принятие его земским собранием не подлежало сомнению. Но оно не было допущено к обсуждению. Губернским предводителем был в это время мой родственник, Ф. Д. Хвощинский, человек крайне ограниченный и находившийся под полным влиянием губернатора, которому это заявление было вовсе не по нутру, и который старался его напугать. В частном разговоре со мною он с большою наивностью, указывая на своего маленького сынка, который был полуидиот, говорил мне: «я лично для себя не боюсь никаких демонстраций, но из-за этого мальчугана не могу». Робкие люди охотно ссылаются на детей, когда трепещут за себя. Все, чего можно было добиться, это то, что внесенное мною предложение, подписанное большинством гласных, было прочитано в собрании; но затем предводитель прекратил всякие прения, объявив, что считает такое ходатайство незаконным. Мы не настаивали, ибо ходатайство во всяком случае было чисто платоническое, а подписи большинства гласных заменяли решение собрания. Государь зорко следил за всяким заявлением, и наше, без сомнения, сделалось ему известным, а это все, что требовалось. Успеха мы не ожидали, но нам оно служило облегчением совести и некоторого рода личным удовлетворением. Покоряясь тому, что было не в нашей власти, мы, по крайней мере, высказали гласно свое желание сохранить права и учреждения, дарованные нам преобразованиями Александра II.

В это самое время дворянское депутатское собрание занималось составлением благодарственного адреса по поводу возвещенного манифестом дарования новых милостей дворянству. Оппозиция Соловго и Новосильцева не допустила раболепных излияний и в особенности изъявления благодарности за земских начальников. Адрес, посланный в третьем лице, через министра внутренних дел, вышел краткий и далеко не восторженный. Редакция была следующая:

«Съехавшиеся предводители и депутаты тамбовского дворянства просят Вас повергнуть к стопам его императорского величества чув-

ства глубочайшей верноподданнической преданности и благоговейной признательности за милостивое желание его величества поднять материальное благосостояние нашего сословия и уверения в полной готовности нашей, по завету предков, исполнять предначертания своего излюбленного монарха».

Я не был доволен ни общим тоном, ни в особенности последним выражением. Мне казалось, что, посылая адрес, дворянство могло сказать что-нибудь менее пошлое. Но по крайней мере тут не было явной лжи и лирических восторгов, оскорбляющих чувство человеческого достоинства. Между тем, такой холодный адрес наверху был принят очень неблагосклонно. Со стороны государя не последовало даже обычного выражения благодарности. Тогда все дворянские подлецы, а их везде не мало, всполошились. У нас был сенатор Жихарев, некогда прославившийся зверским следствием над нигилистами, человек, которого репутация была такова, что он не мог даже заседать в Сенате, где никто не хотел подавать ему руки, а жил в деревне в отпуску, но всячески старался подслужиться, в надежде опять всплыть наверх. Он громко кричал, что такой адрес, за который даже не получено благодарности, составляет позор для тамбовского дворянства. Другие ему вторили; губернский предводитель перепугался. На следующем затем дворянском собрании, которое было в январе 1891 года, решено было послать новый адрес, на этот раз уже от всего дворянства. Не замечали, что этим самым наносится оскорбление предводителям и депутатам, пославшим первую редакцию. Пришлось воевать шаг за шагом. Либеральные предводители добились только того, что не было выражено благодарности за земских начальников. В остальном они пошли на компромисс. Новый адрес был написан самым раболепным языком; в нем говорилось, что мы, по примеру доблестных предков, готовы положить свои животы за все предначертания возлюбленного монарха.

Мы с братом Владимиром не были на этом собрании. По обыкновению, мы зиму проводили в Ялте. Когда до нас дошел текст адреса, мы были глубоко огорчены. Нам совестно было за свою губернию, которая дотоле держала себя прилично. Я говорил, что уж если ссылаться на доблестных предков, то надобно было, по их примеру, подписываться: «холоп твой Федька, Ванька и т. д.» Действительно, такая подпись была самая уместная для большинства тех адресов, которые посылались от благородного российского дворянства. Века холопства не внушили нам чувства человеческого достоинства и не научили нас говорить благородным языком. А пока этого нет, тщетно думать о какой-нибудь оппозиции. Беззастенчивое правительство может все себе позволить.

По этому поводу я писал Щербатову:

«Я не виню твоих зятьев, которых люблю и считаю вполне благородными людьми; но не могу не скорбеть глубоко о том уровне русского общества, который заставляет вполне порядочных людей подписывать подобные адреса. Ты соглашаешься, что он пошл; но в чем состоит его пошлость? Не в том, что он содержит в себе общие места, ничего не значащие фразы, а в том, что он писан языком XVII века, каким ни ты, ни я не обратились бы к власти. Ты сам признаешь, что там есть невозможные выражения. Пока мы не отучились говорить таким языком, думаю, что об общественной пользе не может быть речи. Дело не в материальных улучшениях, а в нравственном уровне. Надобно прежде всего возвысить и облагородить души приниженных многовековым гнетом русских людей, а для этого показывать им пример независимости. В этом состоит первый долг перед отечеством, и это – первое требование, с которым я обращаюсь ко всякому общественному деятелю. Не понимаю, отчего нельзя было воспрепятствовать подаче подобного адреса. Мы имели пример полтавского дворянства, где Волков объявил, что не подпишет никакого адреса, в котором не будет помянуто о реформах прошедшего царствования, и волею или неволею принуждены были согласиться на подачу адреса, который, что о нем ни говори, составляет отрадное явление среди господствующего у нас неизменного уровня. Из Тамбова писали, что предложенный Хвощинским адрес был принят всеобщим молчанием; зачем же нужно было заменять его адресом, который в сущности ничем не лучше? Если бы два предводителя объявили, что они не подпишут адреса, несогласного с их убеждениями и с тем, что они считают достоинством дворянина, то подобного адреса нельзя было бы послать. Подавать в отставку было не за чем; но надобно было сказать своему уезду, что если у них другие понятия о дворянской чести и о дворянском достоинстве, то пусть избирают других предводителей. Нельзя оставаться во главе сословия при таком коренном различии в основных понятиях. Если бы после этого они были выбраны вновь, то это было бы нравственное торжество, с сознанием поданного хорошего примера и действительно принесенной пользы. Тогда бы я с нераздельным сочувствием отнесся к прекрасной речи Василия Михайловича (Солового), которую я с грустью сравниваю с поданным адресом. Очень рад, что мне не пришлось быть на тамбовском дворянском собрании. Когда с лучшими людьми так радикально расходишься в мыслях и чувствах, лучше совсем устраниться от общественной деятельности. К счастью, мне 63 года; впереди у меня нет ничего, и мне, вероятно, не долго уже остается быть свидетелем таких явлений, с которыми я, любя свое отечество, никогда не могу примириться».

Но и между вполне независимыми людьми были разногласия на счет образа действий, которого следовало держаться относительно

новых учреждений. При уничтожении мирового суда сохранены были почетные мировые судьи с правом заседать в съездах земских начальников. Следовало ли принимать на себя эту должность и тем как бы освящать своим присутствием новые порядки. На этот счет мнения расходились. Брат Владимир думал, что только этим способом можно сохранить в новых учреждениях прежний дух законности, дать им надлежащее направление и воздержать произвол. Мне же казалось, что почетные мировые судьи, при настоящих условиях, будут поставлены в ложное положение, и что устранение себя от насильно навязанных нам учреждений было единственною возможною для нас формою протеста. В этом убеждении я послал председателю Кирсановского мирового съезда, Виктору Михайловичу Тарновскому, письмо, в котором заявлял, что, не желая оставаться почетным мировым судьей при изменившихся условиях, я прошу меня уволить. На это я получил от него следующий ответ:

«Милостивый государь, Борис Николаевич.

С чувством глубокого сожаления прочитали все наличные члены съезда Ваше письмо. Реформа надвигается, и перед нами полная неизвестность: какой след проложит она в жизни нашего уезда. Желалось бы передать молодым силам, выступающим теперь на общественную деятельность, и старый дух наших прежних учреждений, и их старый, крепкий завет. А как это сделать, когда старейшие люди, так сказать, нравственные устои нашего уезда, станут отказываться от участия в общем деле. Нам дорого Ваше имя в списке старейших деятелей уезда и твердая уверенность, что последний в трудную минуту всегда встретит в Вас могучую поддержку.

Передавая Вам общую просьбу всех наличных членов съезда не слагать с себя звание почетного мирового судьи по крайней мере первые два-три года введения реформы, считаю долгом добавить, что если требование Ваше останется неизменным, то для представления в Сенат об увольнении Вас от должности требуется форменное прошение на имя съезда».

На это я отвечал:

«Милостивый государь, Виктор Михайлович.

Письмо Ваше причинило мне многие колебания. Желание мирового съезда, чтобы я остался почетным мировым судьей, выражено в столь лестной для меня форме, что я не хотел бы отвечать отказом. Если, тем не менее, я решаюсь остаться при прежнем намерении, то я делаю это в силу соображений, которые предоставляю на усмотрение Ваше и Ваших товарищей.

Когда вводится преобразование, которому не сочувствуешь, честный человек может избрать двоякий путь: либо устраниться совершенно от дела, в его глазах вредного для отечества, и не делаться орудием зла, против которого он бессилен; либо, преклоняясь пе-

ред неизбежною необходимостью, стараться из этого зла извлечь возможную пользу и не дать ему, по крайней мере, принять слишком большие размеры. Я лично всегда склонен к первому способу действия. Если бы я решился от него отступить, то сделал бы это единственно вследствие сознания, что я действительно могу принести существенную пользу. Но именно этого сознания у меня в настоящем случае нет. Кирсановскому мировому съезду известно, что я в мировом суде никогда не принимал участия. Когда я в первый раз был выбран почетным мировым судьей, брат мой был председателем съезда и я по закону не мог в нем участвовать. Вследствие этого я тогда же вышел и с тех пор не выбирался вновь. Только на последнем земском собрании меня выбрали в моем отсутствии и без моего ведома. Таким образом, я опытности в деле не имею вовсе и не могу принести какую-нибудь серьезную пользу. К этому присоединяются отдаленность моего имения от города и лета, которые делают для меня передвижение затруднительным. При таких условиях мое участие в новых учреждениях было бы только номинальным; но именно этого я не желаю. Дать свое имя в учреждение, которым нарушаются самые дорогие для меня интересы отечества, не имея при том возможности принести в нем какую-нибудь существенную пользу, это противоречило бы всем тем правилам жизни, которыми я постоянно руководствовался в своей деятельности. Надеюсь, что съезд оценит мои побуждения и не посетует на меня за прилагаемое при сем прошение об отставке».

Привожу всю эту переписку, чтобы показать, с каким настроением встречали эту возвещенную в виде милости ломку самые бескорыстные и преданные отечеству русские люди. Правительство беспощадно било по самым заветным нашим чувствам, по самым лучшим стремлениям, поддерживая и возбуждая в обществе только раболепство и произвол. Многих эта реформа поразила в самое сердце. В Полтаве председателем мирового съезда был родственник моей жены восьмидесятилетний старик Белуха-Кохановский. Когда пришел указ о закрытии мирового суда, он отслужил молебен, взял на руки икону и торжественною процессиею, в сопровождении всего съезда, понес ее через весь город и поставил в собор, как священный памятник прошлого. Хороня учреждение, которому он отдал последние свои годы, он как бы хоронил самого себя. Вскоре он скончался.

Вопрос поднялся вновь при реформе земских учреждений. Но на этот раз я не стоял за уклонение. Произведенные перемены не полагали существенных преград деятельности собраний и не ставили гласных в стеснительные условия. В это время граф Толстой сошел уже со сцены, а преемник его Дурново, дряблый и ничтожный, не решился проводить начало власти во всей его резкости. Слухи о

том, что управы будут назначаться правительством, оказались неверны. Права губернатора были расширены: он мог производить ревизии и по усмотрению не утверждать выборных лиц; члены управы получили права государственной службы и таким образом сделались чиновниками; но в хозяйственном управлении самостоятельность земских учреждений не была умалена. Самое крупное изменение произошло в составе избирательных съездов: они были построены на сословном начале. От дворян землевладельцев отделены были купцы и другие лица, владеющие землею на личном праве, что оскорбляло последних и нарушало единство интересов. Можно было спорить о том, следовало ли при введении земских учреждений придерживаться господствующего в России сословного деления или нет; но после того как они действовали в течение двадцати пяти лет, возвращаться к сословному началу было неуместно и неполитично. Тем не менее, так как в значительной части русских губерний громадный перевес среди личных землевладельцев имели дворяне, то этим состав собраний, в сущности, не изменялся. Гораздо более существенным являлось преобразование сельского представительства. Число гласных от крестьян было сокращено на половину, и губернатору было предоставлено назначение их из числа выборных от волостей кандидатов. Через это они становились чистыми орудиями власти. Такое положение было, впрочем, неизбежно при учреждении земских начальников. Так как последним был открыт доступ в земское собрание, то они в гласных от крестьян получали такую же покорную команду, какую некогда имели мировые посредники. С введением этой реформы, сокращение числа сельских гласных было даже желательно. Однако и этим мало изменялось положение дел. И прежде гласные от крестьян составляли более или менее безмолвную массу, которая следовала за указаниями более образованной части общества. Только при раздорах среди последней они могли получить решающий голос. У нас к этому не было повода: уезд, вообще, действовал дружно; враждующих между собою партий не было, и самые земские начальники подчинялись общему направлению.

При таких условиях я не считал нужным устраняться от преобразованных учреждений. Пока независимые местные жители имеют возможность собираться и решать местные дела по своему разумению и совести, я думаю, что они должны пользоваться своими правами. Частные стеснения имеют тут второстепенное значение. К этому присоединялось и чисто личное чувство. Из всех общественных сфер, которые я видел в России на своем веку, дворянских собраний, городского управления, университетов, ученых и промышленных обществ, наконец, высших правительственных слоев, земские собрания, несмотря на все их недостатки, оставили во мне самые приятные воспоминания. Это не был хаотический шумный

сброд, как дворянские съезды; я не встречал тут преобладания личных целей и бесконечного сплетения интриг. Земство представляло цвет местных независимых помещиков, собирающихся для обсуждения общих интересов, без большого запаса сил, но с искренним отношением к делу; это были среда с детства мне близкая и родная, где я чувствовал себя своим человеком, где я со всеми находился в дружелюбных отношениях. Мне хотелось кончить свой век с теми людьми, с которыми я жил и действовал в зрелую пору своей жизни. Потому, несмотря на то, что передвигаться становится для меня уже трудным, я остался гласным, как уездного, так и губернского собрания.

Но были люди, которые решились пожертвовать и этими связями для своих убеждений. Брат Сергей, один из самых чистых и вместе мягких людей, каких я встречал на своем веку, не мог примириться с искажением любимых им учреждений. После долгих мытарств по самым разнообразным службам, после многих путешествий, даже кругом света, он наконец уселся в своем родном городе и всею душою предался земскому делу. Долго он был председателем Тамбовского мирового съезда; после смерти Вышеславцева его громадным большинством выбрали председателем губернской управы. Все его ценили и любили. И, несмотря на то, когда последовали реакционные реформы, он не только не хотел оставайся почетным мировым судьею, но вышел даже из гласных. По этому поводу он писал мне:

«У нас были выборы в уездные гласные, и я от баллотировки отказался. Я заявил, что вот уже более двадцати лет я служу своему старому земству и не хочу переживать его, и потому, исполнивши до конца последнее данное мне поручение, я удаляюсь в частную жизнь. Я остался один при своем мнении и прослыл за это упорным чудаком, а между тем я все-таки чувствую, что я прав. Все эти новые преобразования местного управления суть не что иное, как реакция против лучших учреждений прошлого царствования. И кто верил в пользу и будущность этих учреждений и дорожил дарованными ему тогда правами, тому кажется унизительным так легко мириться с новыми условиями нашей общественной жизни. Новые преобразования разрушают самые коренные основы этой жизни и наше самоуправление заменяют правительственной опекой. Здесь основной принцип уже другой, и никакое примирение между этими двумя началами невозможно. Быть же слепым орудием в руках этой реакции и собственными руками помогать разрушать то прошлое, которое нам до сих пор дорого, я не хочу и не могу. Это нравственно невозможно. Пусть же я, как председатель управы, останусь последним представителем старого земства. Я исполню свой долг до конца и затем удалюсь в частную жизнь».

Такой возвышенный пуританизм убеждений так, к сожалению, у нас редок, что его нельзя не отметить. Но что сказать о правительстве, которое без всякого повода и без всякой нужды оскорбляло до глубины души самых благородных и бескорыстных русских людей.

Постигшие нас беды были, однако, ничто в сравнении с теми гонениями, которые воздвигались на иноплеменников. Самодержавие в самом грубом его виде, выставлялось исконно неотъемлемою принадлежностью великорусского племени, и все должно было подводиться к уровню этого племени. Исторические предания, местные особенности, родной язык, все подвергалось неутолимому преследованию со стороны не знающей никаких нравственных сдержек власти. Даже то, что щадила железная рука Николая, было раздавлено неосмысленною рукою его внука.

Остзейский край подвергся полному разгрому. Без сомнения, тут необходимы были некоторые преобразования. Надобно было ограничить феодальные права баронов и устаревшие привилегии городов, дать гарантии подвластному населению, сделать правосудие независимым от интересов владычествующего сословия. Подобные меры не могли не встретить общего сочувствия. Но при этом надлежало поступать с большою осторожностью. Остзейский край имел свои исторические права и учреждения, которыми он дорожил и сохранение которых было неоднократно обещано ему русскими царями. В течение полутора столетий он оставался верен России. Русское правительство находило в остзейских немцах самых верных слуг; они наравне с природными русскими проливали свою кровь за отечество и оказали немалые услуги на гражданском поприще. Самые эти местные права, которые обеспечивали их самостоятельность, содействовали благосостоянию края; страна была цветущая и просвещенная более, нежели какая-либо иная часть русского государства. Все бывшие там беспристрастные наблюдатели свидетельствуют о таком материальном уровне массы, не только хозяев, но и батраков, какой неизвестен в наших деревнях. Школы были многочисленные и отлично поставленные; гимназии, наполненные настоящими немецкими педагогами, стояли несравненно выше наших. Дерптский университет давал видных деятелей не только России, но и Европе, и сам он, в свою очередь, пользуясь преподаванием на немецком языке, вызывал из Германии выдающихся ученых для занятия кафедр. И вдруг все это, без малейшего повода, потребовалось низвести к однообразному уровню русской бюрократии и русского раболепства.

Назначенный в Ревель губернатор, князь Шаховской, который был одним из главных деятелей в этих реформах, рассказывал мне, что, когда его вызвали в Петербург для этого назначения, он сперва отказывался, ссылаясь на незнание немецкого языка. На это ему от-

вечали, что это вовсе не нужно: он посылается именно затем, чтобы вводить русский язык и не допускать другого. Тогда он просил, чтобы ему, по крайней мере, дали закон, которым бы он мог руководствоваться. Ему отвечали, что и это не нужно: «вы действуйте, а мы вас будем поддерживать». Таким образом, всеобщая ломка веками сложившихся учреждений должна была производиться путем губернаторского произвола. Это характеризует воззрения наших правителей.

И точно, пошла беспощадная ломка. Старые учреждения пали. Те лица, которые оказывали противодействие произвольным требованиям и распоряжениям, предавались суду, и Сенат был в недоумении, не зная, как осуждать людей, которые действовали по закону. Немецкий язык преследовался не только в официальных актах, но и в преподавании и даже в частной жизни. Медиков, выставлявших на своих дверях дощечки на родном наречии, отдавали под суд, и назначенные правительством новые мировые судьи штрафовали их, как ослушников высочайшей воли. Многие школы закрылись; десятки лучших преподавателей вышли из гимназий. Дерптский, ныне Юрьевский университет, некогда столь высоко стоявший, превратился в помойную яму, куда посылалось отребье русских университетов. Я сам слышал отзывы из Ярославля и из Москвы о радости профессоров по поводу избавления от негодных лиц, которые сбывались в Дерпт. Число студентов сразу значительно убавилось. Желающие служить в России предпочитают учиться в русских университетах; другие отправляются в Германию. Некогда Катков, ратуя против мнимого сепаратизма остзейских провинций, признавал, что введение русского языка в тамошних школах было бы преступлением против просвещения; это преступление было совершено. Ко всему этому присоединились, наконец, религиозные гонения. Данное в прошедшее царствование разрешение при браках лютеран с православными крестить детей по воле родителей было отменено. Сотни почтенных пасторов подверглись преследованиям и ссылке за исполнение самых священных своих обязанностей. Одним словом, не знающая сдержек власть всюду проявлялась в выражениях самого дикого произвола. Неистовая пропаганда Каткова и злобные памфлеты Самарина* принесли желанные плоды.

Преследования языка и религии не ограничились Остзейским краем. Малороссийское наречие подверглось тому же гонению. Недавно (1894), в бытность мою в Малороссии, мне рассказывали анекдот о посещении одной сельской школы попечителем Киевского

* Б. Н. Чичерин имеет в виду известное сочинение Ю. Ф. Самарина, вышедшее в 5 выпусках в Берлине в 1868 – 1876 гг. «Окраины России», посвященное вопросу о Прибалтийском крае.

учебного округа, человеком, которого я считал образованным и порядочным, известным ориенталистом Вельяминовым-Зерновым. Все было найдено в отличном порядке. Попечитель был в восторге и всем обещал награды. На беду, при его отъезде, образованные учителя и ученики вздумали проводить его пением. Дети хором затянули малороссийские песни. Тогда разгневанный начальник с неистовством вернулся назад и разнес всех так, что не знали, куда деваться. Самое близкое и родное человеку считается у нас политическим преступлением.

Еще возмутительнее гонения, воздвигнутые на совесть. В начале царствования, перед коронацией, когда все трепетали за жизнь царя, и правительство старалось задобрить население разными льготами, дозволено было сектам, отделившимся от православия, собираться беспрепятственно в молитвенных домах. Но скоро пришедшая в сознание власть подняла знамя нетерпимости, и гонения возобновились с новой силой. Распространяющийся на юге штундизм в особенности подвергся неумолимому преследованию. Еще горшая участь постигла польских униатов, насильственно присоединенных к православию и упорствующих в своей вере. Сотни несчастных по целым годам томятся в тюрьмах; дети остаются некрещеными, а те, которые, ставя божественное повеление выше человеческого, осмеливаются крестить их тайно, с помощью проезжих ксендзов, подвергаются всей суровости закона и всей беспощадности административного произвола, посягающего на совесть.

Но всего ярче характеризуют современный дух правительства возобновившиеся гонения на евреев. Самые низкие народные страсти снизу и самая узкая нетерпимость сверху – все соединялось для отягчения судьбы этих несчастных. В начале царствования произошли на юге избиения и грабежи, позорные для благоустроенного общества, и как бы в ответ на этот вызов черни, со стороны правительства последовал целый ряд мер, которыми не только подтверждались, но и установлялись новые. Даже в чертах оседлости евреям воспрещается не только покупка, но и арендование земель; воспрещается содержание питейных заведений; ограничивается для них доступ в гимназии и в университеты. Теснимые отовсюду, они нигде не видят исхода. И все эти меры проводятся с неумолимою строгостью. Мягкая политика прошедшего царствования, не отменяя стеснительных законов, смотрела сквозь пальцы на их нарушение. Множество евреев поселилось в разных великорусских городах. Москва ими наполнилась, и князь Долгорукий пользовался этим для своих денежных дел, как вдруг последовало повеление об изгнании всей этой массы. Поводом, как говорят, послужила жалоба священника того прихода, где жил богач Лазарь Поляков. Он заявил, что у него не остается почти прихожан, ибо все наполнено евреями.

Его предшественник получал от Полякова деньги, но вновь назначенный настоятель не хотел их принимать и обратился к правительству. Это открытие повело к отставке князя Долгорукого и к замене его великим князем Сергеем Александровичем. Но перед приездом нового генерал-губернатора велено было Москву очистить от евреев. И вдруг в несколько дней произошло повальное изгнание всех, кто по закону не имел права жительства в столице. Семьи, давно поселенные в Москве, имевшие в ней свои занятия и торговли, ученицы консерватории, учителя и учительницы, ремесленники и антиквары, люди самые безобидные и полезные, получили приказание в самый короткий срок выехать в черту оседлости. Никакие просьбы и настояния не помогали. Мера была исполнена с беспощадной суровостью, несмотря на вопли бедных семей. Это был Исход, напоминавший времена фараонов. И так поступали не язычники, для которых иноверец и иноплеменник был чем-то в роде отверженного; это делали христиане относительно племени, от которого они получили все свое нравственное достояние, и которого единственная вина заключалась в том, что оно в течение веков, рассеянное и гонимое, крепко держалось переданного предками священного завета, между тем как гонители попирали ногами и требование справедливости, и всякие человеческие чувства, и всего более начала христианской любви.

Результат был плачевный для самого русского населения. Проживавшие в Москве евреи были посредниками между русскими фабрикантами и юго-западным краем. Изгнанные из центра России, они завели сношения с Лодзью, и русские фабрики потеряли сбыт. Убыток Москвы от выселения евреев рассчитывали в двадцать миллионов, но так как вред нанесен был постоянный, то, конечно, он не ограничился этой цифрой. Любопытно было и другое явление. Евреи, по своему обыкновению, завели в Москве множество ссудных касс. Они брали непомерные проценты: до трех в месяц, за что и подвергались жестоким нареканиям. Добрые граждане ликовали, когда все эти кассы были закрыты, и сосавшие кровь бедных иноплеменники подверглись позорному изгнанию. Но что же вышло? Остались русские ростовщики, которые, не имея конкурентов, стали брать по пяти процентов в месяц.

И точно, всякий, кто соприкасался с местного жизнью, знает, что русский кулак в десять раз хуже всякого жида. Оборотливый еврей довольствуется малым барышом, а русский всегда старается схватить как можно больше, без малейшего зазрения совести. Эту привычку имеют не только мелкие деревенские ростовщики, но и самые крупные торговцы. Русским помещикам известно, какое благодеяние составляет появление в крае еврейских комиссионеров, избавляющих производителей от монополии местных хлебных торговцев. Управ-

ляя двумя имениями, одним в Тамбовской губернии, где нет ни одного еврея, и другим в Малороссии, где все ими полно, я могу засвидетельствовать, что не только торговая деятельность евреев не разоряет крестьян, а напротив, существенно содействует их благосостоянию. Несмотря на то что великороссиянин вообще деятельнее, оборотливее и предприимчивее малороссов, последние имеют больше денег в руках и лучше уплачивают свои аренды. Мне доводилось говорить об этом и с малороссийскими помещиками, не отуманенными предрассудками, и даже с отличными священниками, проводившими всю жизнь свою среди евреев. И те и другие считали присутствие их в деревнях не только не вредным, но и весьма полезным для населения. Обыкновенно вопиют против разных практикуемых ими мошеннических проделок; но когда людям преграждаются все законные пути, что мудреного, что они приучаются прибегать к средствам косвенным? Виноваты в этом не гонимые, а гонители. Во всяком случае русские купцы в этом отношении нисколько им не уступают, а потому нет ни малейшего повода ставить их в привилегированное положение, устраняя конкуренцию. Напротив, можно утвердительно сказать, что как государственная мера, беспрепятственное допущение евреев в великороссийские губернии было бы лучшим средством для оживления местной торговли и для противодействия деревенскому кулачеству. Этого требует не только справедливость, воспрещающая притеснять людей, не совершивших ничего преступного, но и самая польза страны. Только признанием гражданской равноправности всех вероисповеданий Россия может стать в ряды образованных государств. Но мы, в непостижимом ослеплении, угнетаем деятельное и оборотливое население, поставленное провидением под охрану русской державы, стесняем торговлю, выживаем капиталы, которые могли бы оживить нашу промышленность, и отдаем производителей и потребителей в руки монополистов. Мы одинаково выказываем себя и близорукими политиками и людьми, презирающими самые священные требования нравственности, человеколюбия и религии.

Русское общество вообще смотрело равнодушно на это позорное гонение. Масса пошляков даже рукоплескала суровым мерам правительства. Однако нашлись люди, которые задумали предъявить протест. Живя в деревне, я получил от Владимира Соловьева письмо с составленным им заявлением, которое было подписано некоторыми видными людьми, между прочим Львом Толстым и Герье. Меня просили тоже дать свою подпись, но я в этом отказал, считая коллективные протесты в журналах пустою демонстрацией и питая к ним даже некоторое отвращение. Вместо того я написал Владимиру Соловьеву письмо, в котором высказывал свой взгляд, уполномочивая его делать из него то употребление, какое он вздумает. Все это

дело было ведено довольно гласно, а потому не могло укрыться от правительства. Результат был тот, что журналам воспрещено было помещать какие бы то ни было заявления по еврейскому вопросу. Пришлось печатать протест за границею. Там появилась брошюра, которой я не видал. Мне говорили, что она рассматривалась в Комитете министров и что в ней, между прочим, были выдержки из моего письма, к большому негодованию Победоносцева. Разумеется, все это делалось только для очищения совести. Практической пользы это не могло принести.

Неумелый произвол, тяготевший над внутренними нашими распорядками и искажавший все лучшие преобразования прошедшего царствования, проявился и во внешней политике. Он повел к потере для нас Болгарии. Наше положение в освобожденной нами стране было куплено русской кровью и русскими деньгами. Это был главный результат последней победоносной войны. Из-за него мы отдали Австрии Боснию и Герцеговину; из-за него мы возбудили против себя и сербов и греков. Болгария вполне находилась под нашим влиянием. Наши офицеры командовали войском; наши генералы были министрами посаженного нами князя, близкого родственника русской царской семьи. Но привыкши к раболепной покорности у себя дома, мы хотели также властвовать и в освобожденной стране; мы наложили на Болгарию медвежью лапу, и она от нас ускользнула.

Началось с того, что, желая оказать поддержку князю, мы перессорились с болгарскими партиями, а затем, не помирившись с партиями, перессорились с князем. Конституция, данная нами болгарскому народу, была самая либеральная и демократическая, какую только можно было изобрести. Любопытно, что она писалась петербургскими чиновниками и исправлялась чуть ли не во Втором отделении собственной его величества канцелярии; затем она вновь была пересмотрена и исправлена в еще более либеральном смысле Тырновским собранием, с согласия и утверждения русского же сановника, князя Дундукова-Корсакова, который здесь, как и везде, показал себя образцом легкомыслия.

Поставленный нами князь был связан по рукам и по ногам. Испробовав все средства и не видя исхода, он задумал наконец совершить переворот, на что получил согласие нашего правительства. Под руководством состоявшего при нем русского генерала Эрнрота, дарованная нами конституция была ниспровергнута, и князь получил почти неограниченную власть. В сопровождении русского генерального консула он разъезжал по Болгарии и всюду водворял повиновение. Но способный Эрнрот вскоре ушел, и на место его князь выхлопотал себе двух других генералов, Соболева и Каульбарса. На этот раз поставленные нами министры выказали себя настоящими русскими генералами: они хотели командовать самим князем, а так как

последний не поддавался, то они вступили в интриги с оппозиционными партиями. Князю стало невтерпеж, и он настойчиво просил, чтобы его избавили от этих опекунов. На беду он в это время успел насолить и государю и министру иностранных дел. Государю он надоел денежными просьбами, а министра он восстановил против себя перехваченною телеграммою, в которой он сообщал своим родственникам: «Giers feiger als je»*. От него потребовали, чтобы он своих опекунов оставил при себе еще на два года. Он обещал, но не выдержал и решился во что бы то ни стало от них отделаться. С этой целью он сам вступил в соглашение с оппозиционными партиями. В силу тайного договора, Тырновская конституция была восстановлена, а генералы спущены по представлению вновь выбранного собрания. Тогда нашему ставленнику была объявлена непримиримая война. Русские агенты всеми силами хлопотали о его низвержении. Я сам на вечере у Аксакова слышал рассказ управлявшего в Болгарии путями сообщения князя Хилкова о том, как в его присутствии, на обеде у русского генерального консула, последний уговаривал созванных им вождей партии Каравелова и, кажется, Панкова, соединиться для низвержения князя.

Положение последнего становилось опасным. Окруженный и внутренними и внешними врагами, он решился для поддержания своей популярности стать во главе давно подготовлявшегося Румелийского восстания. Соединение Румелии с Болгарией было давнишним желанием России. Оно было постановлено Сан-Стефанским договором; разделение этих областей было самою крупною уступкою, которую мы сделали по Берлинскому трактату. С тех пор, со стороны наших агентов, шли неустанные интриги в смысле соединения; восстание было ими подготовлено. Но когда оно, наконец, вспыхнуло и князь Александр стал в его главе, русское правительство не только отказалось его поддерживать, но в знак протеста отозвало всех русских офицеров из болгарской армии, к крайнему изумлению последних, которые ожидали, что им прикажут выступить в Румелию. Это значило отречься от всей прежней политики и покинуть завоеванную нами позицию на произвол судьбы. Вдобавок эта демонстрация не привела ни к какому результату: Румелия осталась за Болгарией, а последовавшая затем победоносная война с Сербией еще более укрепила положение князя.

Тогда начались козни другого рода. Под руководством русского агента на законного, нами поставленного князя, произведено было ночное нападение, к которому призваны были не только заранее подговоренные солдаты, но и кадеты военного училища. С пистолетом в руках от князя потребовали отречения, которое немедленно

* «Гирс трусливее чем когда-либо».

было послано русскому министру иностранных дел. Сам он был тайно отвезен в Россию, но по приказанию русского правительства вывезен за границу и отпущен на свободу.

Однако и это возмутительное дело не послужило ни к чему. Весь этот гнусный заговор, ровно ничем не вызванный и колебавший самые основы государственного строя, был делом ничтожной шайки, которая не могла продержаться и двух дней. Верные болгары, со Стамбуловым во главе, подняли знамя законного порядка, и насильно вывезенный князь возвратился при общем ликовании подданных.

Но тут он показал непростительное легкомыслие. Устрашенный заговором, не доверяя никому, он вздумал прибегнуть к великодушному покровительству русского царя и послал ему телеграмму, прося прислать доверенное лицо, с которым бы он мог уладить дело. Для нас это было самое лучшее средство восстановить утраченное положение; русское правительство снова являлось решителем судеб Болгарии. С осторожностью и умением можно было провести все, что угодно. Но личная неприязнь взяла верх над самыми элементарными требованиями политики. В ответ на телеграмму князя Александра, по личной воле государя, была послана телеграмма, начинавшаяся словами: «Я не одобряю вашего возращения». Просьба о поддержке и примирении отвергалась самым грубым образом. Все сколько-нибудь способные думать и понимать были поражены изумлением. Законный государь, самодержавный властитель великого народа, с высоты престола осуждал возвращение законного же, самою Россиею поставленного князя, подвергшегося наглому насилию и вновь призванного своими верными подданными! Стало быть, он одобрял ночные разбойничьи нападения на законных князей, отречение, подписанное под дулом пистолета! Это было нечто невиданное и неслыханное. Сам Катков приходил в отчаяние, хотя он считал нужным печатно поддерживать царское слово. Но вся бессмысленная и раболепная масса ликовала. Везде с восторгом говорили о твердой воле государя, о благородном достоинстве его речи. Даже тошно было слушать.

Это забвение всяких приличий не прошло безнаказанным. Отвергнутый Россией, на которую он думал опереться, князь Александр отрекся от престола и уехал восвояси; но и Болгария от нас отшатнулась. Для восстановления русского влияния был послан Каульбарс, который хотел командовать от имени царя, издавал приказания, разъезжал по стране – и потерпел полнейшее фиаско. Власть, привыкшая к беспрекословному повиновению подданных, встретила в недавно поставленном ею на ноги народе неожиданное сопротивление. Тогда с Болгарией порваны были всякие сношения. Надеялись, что предоставленная самой себе, она, вследствие внутренних неурядиц, принуждена будет снова пасть к ногам России и оказать

ей полную покорность. Козни и заговоры продолжались через посредство болгарских эмигрантов, которых русское правительство снабжало и деньгами и оружием; они пытались то здесь, то там производить возмущения и не гнушались даже тайными убийствами.

Все было напрасно. Предводимый Стамбуловым, болгарский народ твердо стоял на своем. Помимо нас, был призван новый князь, который, вопреки трактатов, уже семь лет сидит на престоле, не признанный формально Европою, но поддержанный сочувствием других держав и издеваясь над нашим бессилием. Избавленная нами от мусульманского ига Болгария нашла в Турции опору против русских притязаний. Пролитые русским войском потоки крови, истраченные миллионы пропали даром. Упроченное со времен Екатерины влияние России на Балканском полуострове исчезло совершенно. Туземные племена, которым мы помогали оружием, которых мы поставили на ноги, Румыния, Сербия, Болгария, одна за другою обратились против нас. Приобретенное вековыми усилиями и жертвами было потеряно вследствие безрассудной политики, которая, отвергнув предания осторожности в международных сношениях, пыталась замашки русского самовластия проявить и в отношении к освобожденным нами народам.

При всяком другом правительстве Россия не вынесла бы такого оскорбления. Чувство своего достоинства, сознание униженной чести и утраты положения, купленного кровью, заставили бы ее взяться за оружие. В прежнее время войны возгорались и по несравненно меньшим поводам. Но на этот раз желание мира взяло верх, и мы проглотили обиду. Видев вблизи войну, со всеми ее ужасами, испытав всю неверность военных соображений, в которых всегда есть значительная доля риска, государь решительно не хотел воевать. И этого нельзя не одобрить, ибо кто знает, что принесла бы с собою новая война при тех горючих материалах, которые накопились в Европе и при той неспособности, которая царствует у нас? Можно скорбеть о том, что мы поставили себя в такое унизительное положение, но лучше было его снести, чем стараться из него выйти путем новых неисчислимых жертв. Все это чувствуют, а потому так единодушно прославляют миролюбие монарха, твердою решимостью которого спокойствие Европы было сохранено в течение тринадцати лет. Иностранцы могут быть за это даже более благодарны, нежели мы, ибо им не пришлось за сохранение мира платить умалением своих прав и своего влияния.

Неудачи на Балканском полуострове имели для нас одно благодетельное последствие: они дали новое направление нашей европейской политике. Обманутые в своих надеждах на поддержку Германии, мы сблизились с Францией. Противоестественное присоединение к направленному против нас союзу двух соседних

империй, за которое стояли самые видные наши дипломаты, к счастью для России было порвано. Восстановлено единственно возможное при существующих условиях равновесие сил, которое хотя и не обещает Европе долгого периода мира, но по крайней мере не дает возгореться страшной войне, которой исхода нельзя предвидеть.

Каким образом совершился этот дипломатический поворот, об этом я слышал разные рассказы. Самое, по-видимому, достоверное то, что сообщали мне братья моей жены, которые занимали или занимают видные места в министерстве иностранных дел. Утверждают, что в царствование Александра II велись только дипломатические переговоры на счет союза с Германией и Австрией; первый же Формальный документ, которым мы присоединились к союзу двух императоров, был подписан уже при Александре III.* Затем, когда вследствие болгарских дел, положение на Востоке совершенно изменилось и продолжение союза с Австрией сделалось невозможным, возобновлен был на два года союз с одной Германией, которая, в свою очередь, заключила отдельный договор с Австрией. Так состояло дело до падения Бисмарка.

Но когда вслед за тем наступило опять время возобновить трактат, то новый имперский канцлер, Каприви, как честный немец, объявил, что, заключив союз с Австрией против России, он не может в то же время заключить союз с Россией против Австрии: такая двуличная политика могла входить в виды его предшественника, но он ей следовать не может. Вследствие этого договор с Россией не был возобновлен. Оказалось, следовательно, что Бисмарк все время нас кругом надувал, и если мы вышли из этого унизительного положения, то единственно благодаря честности немцев, а отнюдь не по собственной прозорливости. Мы были покинуты Германией, и тогда союз с Францией остался для нас единственным исходом. К чести русского правительства следует сказать, что оно решительно вступило на этот путь. Так мне рассказывали это дело. Будущий историк восстановит по документам все эти события, знаменательные для Европы. Я мог записать только то, что я слышал из, по-видимому, вполне достоверных источников.

История произнесет и свой окончательный приговор над царствованием Александра III. В ту минуту, как я пишу эти строки, в Ливадии происходит потрясающая душу драма. Смертельная, по-видимому, болезнь уносит государя, окруженного любящей семьей, при напряженном внимании всего народа, привыкшего обоготворять своих царей. В эти минуты с грустным взором обращаешься на эти печальные тринадцать лет, в течение которых все, что было луч-

---

* Договор трех императоров (русского, германского и австрийского) был подписан 6/18 июня 1881 г.

шего в России, подверглось гонению и разгрому. Перед торжественною кончиной стараешься быть беспристрастным и помянуть добром, если не дела, то намерения.

Сводя к общему итогу все, что происходило на наших глазах, нельзя не признать, что нынешний государь имел добрые душевные качества. Он был не только хороший семьянин, но и честный человек, с нравственными стремлениями с чистою любовью к отечеству. Но лишенный от природы способностей, с натурою несколько грубою и необтесанною воспитанием, получив образование самое скудное и совершенно неприготовленный к делу, он вступил на престол после страшного события, которое помутило все его мысли и перевернуло всю его душу. В этом растерянном состоянии он отдался людям, в которых ожидал найти опору колеблющейся власти, а они опутали его кругом, отдалили от него все живое, внушили ему самые ложные понятия и о состоянии общества и о задачах правительства. Самодержавие довершило остальное. Власть, не знающая сдержек, естественно развивает все дурные наклонности человека. Тем более она укреплялась, чем более приобреталась привычка всюду встречать раболепное повиновение, тем более личное самовластие становилось руководящим началом деятельности, тем более преследовалась всякая независимость и тупой произвол становился на место законного порядка. Я слышал от вполне достоверных людей, которые сами видели бумаги и снимали с них копии, поистине ужасающие рассказы о тех заметках, которые делались государем на представляемых ему донесениях. При всяком представлении о противозаконном сечении, например, георгиевского кавалера или купца второй гильдии, сбоку ставилась надпись: «и прекрасно!» На донесении орловского губернатора Неклюдова о том, что, подвергнув телесному наказанию мужиков, оказавших сопротивление начальству, он не трогал баб, хотя они были главными зачинщицами дела, государь надписал: «с них-то и следовало начать». Природная наклонность к грубой силе с привычкою к безграничной власти проявлялась в более и более беззастенчивой форме. Это не был подавляющий и всеохватывающий гнет Николая; после великих реформ Александра II это было уже притуплённое орудие, которое обращалось на мелкие притеснения и уродливые искажения того, что было сделано предшественником. Но дело свое оно совершило. Россия выходит из этого царствования внутренне расстроенною, нравственно приниженною, умственно недоумевающею. Что сулит ей будущее?

Оно покрыто непроницаемым мраком. Не только Россия, но и вся Европа стоит перед какими-то зловещими призраками, которые грозят разрушением всему существующему строю человеческих обществ. Настоящее положение невыносимо. Страшное напряжение военных сил, истощение средств, повсюду внутренняя разладица,

впереди ожидание нескончаемых потрясений и кровавой борьбы, невежественные массы, которые дружными фалангами сплочаются под знаменем демагогов и грозным натиском идут на завоевание государственной власти, с тем, чтобы сделать ее орудием для ограбления зажиточных и образованных классов, вот что мы имеем перед глазами. Последний великий государственный человек, который ныне гложет свою узду в вынужденном бездействии, Лизандр нового времени,* как я назвал его в другом месте, сделал голую силу высшим решителем судеб человечества. И право, и нравственность, все было попрано ногами без малейшего зазрения совести. Мы были свидетелями того, как в одно прекрасное утро несколько тысяч невинных польских семейств, издавна поселенных в северных провинциях Пруссии, без малейшего повода были выброшены за границу, и вся Европа безмолвствовала перед этими «проделками милой Фанни», как выражался об этом событии «Таймс». Эго было нечто вроде изгнания у нас евреев. Чего же мы могли ожидать в своем отечестве, когда среди самых просвещенных народов Европы правительства действовали с таким возмутительным произволом? В Англии другой государственный человек, в течение многолетней жизни стяжавший и славу и уважение современников, вдруг, на старости лет, из личного честолюбия отрекся от всех прежних своих убеждений, оттолкнул от себя лучших своих сподвижников и протянул руку тем, которых накануне еще и совершенно справедливо обзывал грабителями, разбойниками и убийцами, отдавая им на жертву полтора миллиона своих соотечественников и повергая свое отечество в такую бездну зол, из которых не предвидится исхода.** Италия, которой возрождение мы приветствовали в молодости, ныне напрягает все силы в безумных и бесполезных военных тратах; разоренная, недовольная, потерявшая всякие нравственные устои, она управляется ловким фигляром, меняющим, как перчатки, свои цели и убеждения, и счи-

---

* Б. Н. Чичерин имеет здесь в виду Бисмарка, государственного канцлера Германской империи с 1871 по 1890 г. В другом месте Чичерин характеризует его как «деятеля, который, идя по стопам Фридриха II и сочетая коварство с железною волею, умел перевернуть всю Европу и сделать Пруссию могущественнейшею державою в мире, не возбуждая, впрочем, сочувствия в тех, которые не поклоняются силе, а ищут удовлетворения высших потребностей человека».

** Надо полагать, что автор имеет в виду Гладстона, который в августе 1892 г., после победы либералов на выборах, образовал свой четвертый кабинет с весьма радикальной по тому времени программой. Уже в феврале 1823 г. Гладстон внес билль о гомруле (автономии) для Ирландии, намечавший учреждение специального ирландского парламента. Борьбе ирландцев за автономию Чичерин, очевидно, не сочувствовал, его пугали террористические акты, которыми она сопровождалась и против которых в свое время (в начале 1880-х годов) тот же Гладстон прибегал к самым суровым мерам, вплоть до смертных казней.

тающимся между тем необходимым человеком.* Во Франции демократия, оставшись одна на развалинах постыдно павших монархий, представляет только зрелище полной внутренней неустойчивости и беспрерывных денежных скандалов. В обществе, развращенном до самых глубоких слоев и потерявшем всякую веру в высшие идеалы, нет ни зрелой мысли, ни выдающихся деятелей. Монархические партии покрыли себя позором низкими интригами и союзом с проходимцем**, которого они, жертвуя всеми интересами отечества, выдвигали на первый пост в государстве; а умеренные республиканцы, принужденные для сохранения правительственного большинства делать постоянные уступки легкомысленному и наглому радикализму, шатаются из стороны в сторону, не зная, за что ухватиться. Всюду, во всех европейских странах, как возрастающая, неотразимая сила, выдвигается социализм, бессмысленный в своих основах, но грозящий разрушить весь сложившийся трудами человечества общественный порядок и в самом корне подавить человеческую свободу, подчинив ее всецело всеохватывающему деспотизму масс. Невольно вспоминаешь слова старика Пасси, приведенные в одной из предыдущих глав: «Европе придется пройти через страшные потрясения, прежде нежели она путем горького опыта придет к более или менее нормальному порядку вещей».

Некогда я воображал, что если демократия и не принесет того, что ожидают ее поклонники, то все же, приобщая к политическому праву самые глубокие слои общества, она вызовет из глубины народного духа новые, непочатые силы и внесет в дряхлеющую европейскую жизнь свежие элементы. В действительности, она не принесла ничего, кроме разве усиления разрушительных стихий.

При таком состоянии общества, иногда невольно спрашиваешь себя: точно ли сохранение мира составляет благо для современного поколения? Не требуется ли всеобщая война для того, чтобы выйти наконец из напряженного состояния, очистить наполненный миаз-

---

* Криспи, итальянский премьер с 1887 до 1890 г.; при помощи самых циничных приемов на выборах 1890 г. он добился незначительного большинства в новой палате, но не удержался у власти и в 1891 г. уступил свой пост Джиолитти; в ноябре 1893 г. ему удалось снова занять место премьера. Типичный ренегат, начавший свою политическую деятельность как революционер, член революционного сицилийского правительства в 1848 г. и сподвижник Гарибальди, он в качестве премьера усмирял военной силой восстания в Сицилии и в Ломбардии, проводил исключительные законы.

** Намек на генерала Буланже, кумира французской армии, пользовавшегося громадной популярностью во Франции, кандидата в диктаторы, человека совершенно беспринципного, который одновременно пытался в своих целях опираться и на радикалов, и на монархистов и, запутавшись в двойной игре, в решительную минуту бежал 1 апреля 1889 г. из Парижа в Бельгию.

мами воздух, поднять человеческие силы и вывести Европу на правильный путь. Но когда сообразишь с другой стороны те страшные бедствия, которыми сопровождается война при современных орудиях разрушения, когда подумаешь, что нет в современном мире той силы, которой можно было бы пожелать успеха, что на чьей бы стороне ни осталась победа, она, пожалуй, может породить еще большее Зло, тогда невольно преклоняешь голову в покорном ожидании того, что пошлет нам высшая воля, невидимо руководящая судьбами народов. Кто из людей дерзнет взять на себя такой почин? Разве ни в чем не сомневающийся германский император.*

Тяжело при таких условиях доживать свой век. Еще тяжелее, когда от удручающей общественной жизни нельзя уйти в счастливую семейную жизнь, когда и тут есть рана, которая точит сердце, не давая ему успокоиться в конце своего земного поприща. В таком положении человеку остается одна отрада: переноситься мыслью в прошлое, воскрешать в себе милые, дорогие сердцу образы, память прожитых дней, все радости и страдания жизни. В этом он находит утешение, которого не дает настоящее.

Стариков обыкновенно обвиняют в том, что они восхваляют прошедшее в ущерб настоящему. Я не думаю, чтобы это было вообще справедливо. Я хорошо знал предшествовавшее мне поколение; я был к нему, может быть, даже ближе, нежели к своему. Но я от людей того времени не слыхал восхваления прошлого. Напротив, они видели в молодежи зачинателей того, что им было недоступно; они от полноты сердца поддерживали ее на новых путях; они с радостью приветствовали открывающуюся перед их взорами зарю новой жизни и сошли в могилу в ожидании лучшего будущего.

А между тем, за исключением немногих избранных натур, которых высшие требования не находили удовлетворения, они собственною жизнью не тяготились; они бодро наслаждались всеми радостями, которые дает человеку земное существование, и желали своим детям прожить свой век также счастливо, как жили они. Таково нормальное отношение поколений. Нам оно не дано, ибо условия жизни иные. Нас в пору зрелости, после пылких надежд, постигло разочарование, а на склоне дней, вместо теплых лучей заходящего солнца, обещающего на завтра ясный восход, перед нами воздвигается темная завеса, скрывающая от нас будущее. Стоя на пороге могилы, обращаешь взор кругом и на всем умственном горизонте не замечаешь ни одного явления, на котором можно бы остановиться с надеждой и любовью.

В таком настроении я в 1887 году решил помянуть старину, отпраздновав пятидесятилетний юбилей приобретения Караула. В

* Вильгельм II.

первой главе * я описал, как отец мой праздновал это семейное событие: сперва съездом друзей и родных на именины матери, а затем осенью угощением крестьян. Для нас семейных праздников уже не было. Все домашние радости были похоронены в могилах детей. Но с крестьянами я хотел соединиться в общем чувстве и помянуть прежних владельцев. По окончании полевых работ я задал им пир. К этому дню случайно подъехал мой старый друг Щербатов; приехал зять его Соловой с своею женой. Из братьев был только Андрей. Двое в это время уже сошли в могилу**; Владимир был болен; Сергей где-то странствовал за границей, а Петр, кажется по рассеянности, забыл число, сестра была далеко.

После обедни, на которую сошелся весь мир, мы отслужили торжественную панихиду на могиле моих родителей. Затем все собрались у дома к парадному крыльцу, и я держал им следующую речь:

«Я собрал вас сегодня, чтобы вместе с вами помянуть пятидесятилетие перехода Караула во владение нашей семьи и нашего постоянного жительства здесь. В 1837 году мой отец купил Караул и основался в нем. Тогда было угощение крестьянам. Я был еще маленьким мальчиком, но живо это помню. Вероятно ваши старики также хорошо это помнят. Сегодня мы вместе с вами отслужили панихиду по моим родителям. Их следовало помянуть с благодарностью. Старики могут сказать, как отец мой, при крепостном праве, управлял Караулом: справедливо и разумно, не требуя лишнего, прилагая строгость, где нужно, заботясь о благосостоянии всех. При нем Караул процветал. Даже те, которые нищенствовали прежде, зажили в довольстве.

После него управлял мой брат, Владимир Николаевич, которого также нельзя не помянуть добрым словом. Жалею, что нездоровье не позволило ему присутствовать здесь сегодня. При нем вы получили от царя свободу; он устроил ваш новый быт и устроил безобидно, соблюдая выгоды не только помещика, но и крестьян. Всякий из вас скажет, что он, так же, как отец, управлял справедливо и разумно. Оттого и отношения не изменились. Крепостное право было упразднено, власть помещика исчезла; но связь с крестьянами осталась прежняя, дружеская, семейная.

Затем мы разделились. Желание матери было, чтобы я, как старший, остался хозяином в Карауле. Я не забуду той минуты, когда я в первый раз приехал сюда с молодою женой. Слепая мать встретила

* Впервые публикуется в 1-м томе настоящего издания. Глава «Мои родители и их общество», также как и вторая глава «Мое детство», не вошли в выпуски серии «Записи Прошлого» Издания М. и С. Сабашниковых.

** Василий Николаевич Чичерин, умерший в 1882 г., и Аркадий Николаевич Чичерин, умерший в 1875 г.

нас с иконою на этом самом крыльце. Вся деревня была тут, и мать представила нас миру, как новых хозяев Караула. С тех пор прошло шестнадцать лет, и мы всегда жили с вами в мире и согласии. Вы делили мои радости; вы делили и мое горе. Когда богу угодно было послать нам величайшее несчастие, какое может постигнуть человека на земле, когда мы хоронили своих детей, вы также были тут. Сторонние люди были тронуты тем участием, которое выражалось во всех. И это я не забуду.

Теперь я стар и удручен горем. Детей у меня не осталось. Вероятно не долго уже мне придется с вами пожить. Но кто бы ни были мои наследники, я желаю одного: чтобы они жили с вами в мире и любви, как жил мой отец, как жил мой брат, как жил и я. И если через пятьдесят лет, бог даст, хозяином в Карауле будет кто-нибудь из нашего рода, я заказываю тем из молодых, которые здесь присутствуют и которые будут тогда живы, чтобы они пришли к нему и сказали, что в 37-м году отец мой купил Караул и задал угощение крестьянам, что в 87-м году я устроил также угощение в память истекшего пятидесятилетия, в память отца и матери и в ознаменование постоянных дружеских отношений между караульскими помещиками и караульскими крестьянами, и при этом заказал, чтобы через пятьдесят лет было опять такое же угощение, в память всего прошлого и всех прежних владельцев Караула.

Теперь я выпью с вами чарку водки. За процветание Караула и за сохранение добрых, сердечных, семейных отношений между караульскими помещиками и караульскими крестьянами из рода в род!»

Все мои гости выпили вслед за мною. Крестьяне были, видимо, тронуты моею речью. Каждый из них по очереди подходил к приготовленной тут бочке вина и выпивал чарку, затем получал кусок мяса и пирог; детям раздавались булки и пряники. Вдоль широкой въездной аллеи были расставлены столы и скамейки. Каждая семья садилась за свой стол и обедала. Мы ходили между рядами. Многие старики подходили к нам со слезами и говорили, что видно бог нас наставил, чтобы устроить такое угощение. После обеда все опять получили по чарке, а охотникам давали и больше. Крестьяне разгулялись. День был чудесный, воздух мягкий; солнце сияло в полном блеске. Песни и пляски продолжались до самой ночи. Многих развезли по домам.

Но редко в человеческой жизни к радости не примешивается горе. И тут общее веселье омрачилось печальным происшествием. Один из крестьян, который уже прежде был болен и которого доктор предостерегал от вина, напился допьяна и на следующий день умер, не пришедши в себя.

Погружаясь душою в прошлое, я решился писать свои воспоминания. В течение шести лет, от 88-го года до нынешного 94-го, я по-

чти каждую осень, в деревенском уединении, принимался за эту работу. Она доставила мне много хороших часов. С особенною любовью писал я первые главы, которые воскрешали передо мною давно минувшее время, золотые сны детства, пылкие надежды и все обаяние молодости, все, что похоронено в душе и как бы заплыло житейскими наносами, но что на закате дней восстает из заветной ее глубины и является воображению в виде поэтической картины, отошедшей в туманную даль, но полной и гармонической жизни. Как живые возникают передо мною дорогие лики: отец с его серьезным, но мягким характером, с его разумным и просвещенным взглядом на жизнь, любящая и заботливая мать, все старые друзья нашей семьи, величавая фигура Кривцова, неиссякаемый блеск Баратынского, Жемчужникова с его тонким умом и вечною нерешительностью, веселый и сердечный Петр Андреевич*, все, что окружало мои ранние годы, кроткий и ясный образ Катерины Петровны**, чудак-гувернер, которому я стольким обязан ***, чистый и восторженный учитель истории Сумароков, Василий Григорьевич****, в течение многих лет неизменный член нашей семьи, который в детстве был нам и товарищем и учителем, а затем Московское литературное и университетское общество, умный, живой и участливый Павлов, который ввел нас в эту сферу, возвышенный образ Грановского, который, как светлый идеал, озарял мою молодость и оставил неизгладимые следы на всей моей жизни, увлекательная борьба славянофилов и западников, то умственное упоение, которое носилось в тогдашней атмосфере и зажигало огонь в молодых сердцах. Люблю повторять эти имена; они будят во мне целый рой воспоминаний; они примиряют меня со всеми невзгодами и разочарованиями, которые составляют удел человека. Памятуя их, я верю, что на земле есть место для счастья, для поэзии и для увлечений.

Ныне, когда мы с женою, на старости лет, одинокие, живем в Карауле, посещая дорогие могилы и взаимною любовью поддерживая свое земное существование, мне сдается иногда, при этих воспоминаниях, что здесь опять когда-нибудь возродится полная и счастливая жизнь, что эта пышная местность снова сделается приютом цветущей семьи, что в обширном доме будут раздаваться детские голоса и новое поколение, наслаждаясь настоящим, вспомнит о тех радостях и горе, которые пали на долю их предшественников. Поэзия прошлого проливает свой тихий свет на будущее.

---

* Петр Андреевич Хвощинский, двоюродный брат матери автора.

** Екатерина Петровна Кривцова, жена Н. И. Кривцова.

*** Голландец Тенкат.

**** Василий Григорьевич Вязовой.

И теперь еще, когда в нем царит неисцелимая скорбь, Караул не перестал быть центром, куда порою стекаются родные и друзья. Живой и общительный характер моей жены, ее сердечное участие ко всем, не только близким, но и посторонним, ее возвышенный нравственный строй, воспитанное горем глубокое, но чуждое всякой исключительности религиозное чувство, ее образованный ум и неизменная деликатность привлекают к ней и старых и молодых. У нас подолгу гостят и ее и мои родные. Так мы проводим большую половину года, летом в небольшом дружеском обществе, осенью большей частью одни. А на зиму мы обыкновенно отправляемся в Крым.

В первый раз мы посетили Южный берег после смерти дочки, мыкая свое горе. Очарование южной природы, безбрежное морс, впечатления живописной местности Ялты благотворно подействовали на жену. Мы решили туда возвращаться. Несколько зим сряду мы занимали господствующую над Ялтою дачу Дондукова, с громадным парком, где на каждом шагу открываются прелестные виды. Любил я в зимнее ясное утро выходить в галерею и, открывши окно, впитывать в себя благоухание южного воздуха, видеть кругом густую зелень лавров, миртов, кипарисов, а вдали бесконечный горизонт сизого моря, сверкающего под солнечными лучами. Но еще очаровательнее Крым весною, когда горы покроются зеленью, луга усеются весенним первоцветом, а в садах и лесах зацветут деревья, белые миндали, розовые персики, густо облепленное красно-лиловыми цветами иудейское дерево, ниспадающий золотым дождем гибкий ракитник, наконец в начале мая миллион роз, украшающих и цветники и дома. В первые годы нашего пребывания в Ялте мы с женою совершали большие прогулки пешкой: ходили на развалины Генуэзской крепости Исар, в живописнейшей местности, где грозные скалы и вековые сосны напоминают ландшафт Швейцарии и Тироля; спускались по каменистым тропинкам в красивое ущелье Ай-Василя и оттуда поднимались на дорогу в Массандру. С годами эти пешие прогулки прекратились; стариковские ноги не носят так далеко. Остались поездки в очаровательные и разнообразные окрестности, какими изобилует Ялта: в величественную Массандру с громадными кипарисовыми рощами и пиннами, переносящими воображение в волшебные края Италии; в живописную Ореанду, где по скалам и ущельям среди моря зелени вьются игривые тропинки, в Алупку, украшенную всем, что могла изобрести человеческая роскошь, на водопад Учан-Су, низвергающийся с высокой скалы среди громадного соснового бора, на вздымающийся над ним Пендикюль, откуда восхитительнейший вид простирается на всю лежащую у подножия долину, покрытую густою зеленью сосновых и буковых лесов, на скалистое ущелье с низвергающимся водопадом, на панораму гор, на

извилистый берег с окаймляющим его городом, наконец на безбрежное Черное море.

В Ялте собралось небольшое дружеское общество, которое видалось почти ежедневно. Наше пребывание там привлекло сестру моей жены, замужем за Василием Аркадьевичем Кочубеем; они купили участок в парке Дондукова и построили себе дачу. Над ними построился старый мой приятель Петр Федорович Самарин. Брат Владимир стал ежегодно ездить в Ялту для поддержания здоровья; постоянно приезжал и брат Петр, который селился у нас, вполне наслаждаясь тамошнею привольною жизнью. Первые годы жила там и наша деревенская соседка и добрая приятельница, старушка Наталья Андреевна Соловая. Жила также княгиня Черкасская, вдова князя Владимира Александровича; с нею мы перечитывали переписку ее мужа с Милютиным по польским делам и вспоминали прежние годы.

В Крыму я видаюсь и с старым своим приятелем, Дмитрием Алексеевичем Милютиным, который после жизни, посвященной славе отечества, кончает дни свои в деревенском уединении Симеиза. В прошлом 1893 году мы праздновали золотую свадьбу этого достойного и почтенного человека, оказавшего России незабвенные услуги. Его ялтинские друзья поднесли ему медный щит, символ защиты отечества, и в нем пятьдесят роз, в знак юбилейного торжества. При этом я написал ему письмо, вылившееся из души, которое, по-видимому, его тронуло. Он напоминает мне не только хорошие дни моей молодости, но и лучшее время для русской земли, эпоху пробуждения и преобразований, которых он был одним из крупных участников. И после всех почестей он остался все тем же, каким я знал его сорок лет тому назад, скромный, мягкий, сердечный, с живыми интересами, с искренней любовью к просвещению, чуждый всего мелочного, что так часто прилепляется к человеку, призванному действовать в высших правительственных сферах.

Среди этого маленького общества господствовала полная простота отношений. Все жили в мире и дружбе. Жена говорила, что в Ялте все друг друга любят. Приятно приезжать туда на пароходе, и на дебаркадере найти дружеские лица, которые собрались встретить вас, как членов семьи, возвращающихся из дальних стран. И у нас там основался постоянный приют: старший брат моей жены, Дмитрий Алексеевич, построил великолепную дачу для себя и для нас. Совместное наше жительство продолжалось недолго. Ему, отставному дипломату, неожиданно было предложено место директора Азиатского департамента, которое он и принял; мы же помещаемся в просторном и уютном доме, где живется удобно и спокойно. Когда меня спрашивают, что меня притягивает в Ялту, я говорю, что это лучшая в России богадельня для стариков.

И несмотря на все эти услаждения старости, которой русская зима становится уже не в мочь, несмотря на всю прелесть южной природы, на величавые впечатления моря, я все-таки с сердечным умилением возвращаюсь к своей родной русской равнине, к низким холмам, к далеким горизонтам, к прозрачным водам едва струящихся рек, к полям, покрытым обильною жатвой. Те впечатления, которые лелеяли рассвет жизни, остаются до конца дней самым дорогим достоянием души. Когда мы, в нынешнем 1894 году, решились не ехать на зиму в Крым, а вернуться в деревню и встретить там весну, может быть в последний раз, я испытал такое глубокое наслаждение, какого не дают самые великолепные картины юга. Все, что пленяло меня с детства, все окрыляющее душу обаяние весны, ее постепенные переходы и пышный расцвет, все опять было передо мной: сначала мягкий мартовский воздух, с тающим снегом, с катанием на санках по реке, первые проталины с пробивающейся на них травкой, затем появление желтых и синих цветков, которыми устилается отходящая земля, первый полет бабочек, шум ручьев, сбегающих по холмам, веселое пенье жаворонка в небесной лазури, широкое половодье, леса, одевающиеся зеленою дымкой, гул лягушек, звонкое, неумолкающее пение птиц под развернувшейся листвой, наконец роскошное цветение вишен, яблонь и упояющей воздух сирени, а в лесной тени белых ландышей и душистых фиалок. Все это переносило меня в мои ранние годы, все будило сердечные воспоминания; настоящее и давно минувшее сливалось в одно поэтическое впечатление. Покорная вечным законам природа и молодым и старым дарует те же утешения; за глубоким сном зимы следует пробуждение к новой жизни, которое могучим дыханием уносит человека в горный мир и вселяет в него смутное чаяние чего-то светлого и радостного, ожидающего его возрождения. Не в городском шуме, а в деревенской тиши, и главным образом среди северных снегов, сменяющихся быстрым обновлением природы, это отрадное чувство ниспадает в душу и дает ей крепость для довершения своего жизненного пути.

Особенно сильно действуют эти впечатления в весенний праздник светлого христова воскресенья. В этом году он приходился на половину апреля. Ночь была тихая и теплая. Мы с женой пошли в церковь, вокруг которой народ стоял уже в безмолвном ожидании торжественного благовеста. При первом ударе колокола все благоговейно перекрестились; подняли хоругви и иконы; зажглись свечи и вокруг храма двинулось символическое шествие. Когда оно остановилось перед закрытыми дверями и хор запел: «Христос воскресе из мертвых», душу охватил глубокий и таинственный трепет, возносивший ее в невидимый мир. Среди сельской тишины ночное богослужение приобретало какое-то особенное, простое величие. Красивая караульская церковь, с высоким куполом, сияла огнями;

наполнявший ее деревенский люд смиренно сливался в общей молитве; незатейливые хоры поочередно пели радостные пасхальные напевы.

Когда по окончании заутрени священник вышел с крестом и снова торжественно возгласил: «Христос воскресе!»; когда за ним весь народ с верою повторил: «Воистину воскресе!» и это слово запечатлелось братским лобзанием, чувствовалось, что это слово есть истина, возвещающая спасение человечеству. Мы вышли из церкви, и нас охватило обаяние прелестного весеннего утра; птицы радостно щебетали; первые лучи восходящего солнца играли на едва распускающихся листах. Мы пошли в контору, где приготовлено было розговенье для служащих и рабочих. Все были тут собраны, и мы со всеми братски похристосовались и отведали пасхи. Оттуда мы пошли в школу, где было такое же розговенье для учеников; и там, после молитвы, мы облобызались со всеми. После этого мы долго еще сидели в саду на скамейке, любуясь чудным видом, рекою, освобожденною от зимних оков и текущею широким потоком, вдыхая все упоение ранней весны. Потом пришла вся деревня похристосоваться со старым помещиком. Все приносили красные яйца; лобзаниям не было конца. Целую неделю звонили в колокола, празднуя великий день возрождения. А в небе пели жаворонки; солнце сияло полным блеском; в воздухе носилось весеннее благоухание. Это было одно из самых поэтических впечатлений моей старости.

Много светлых воспоминаний сохранила для меня и Москва, где я прожил столько лет. Обыкновенно мы между Ялтой и деревней проводили там месяц, другой. И там у меня осталось уже немного, но близких сердцу людей. Остался Щербатов, неизменный товарищ со студенческой скамьи; ныне он овдовел, но среди постигшего его горя сохранил всю живость впечатлений и интересов, всю свежесть чувств, весь сердечный пыл, отличавшие его в молодости. Остались Станкевичи, которых дружба составляет одно из драгоценнейших благ, дарованных мне провидением. Давно уже дом их перестал быть центром литературного кружка. Один за другим ушли старые друзья и собеседники. Громкий голос Кетчера не раздается уже в изящной гостиной. Только совсем побелевший Забелин, как обломок старины, приходит иногда разделить гостеприимную трапезу. Но для меня уютное, окруженное красивым садиком жилище в Чернышевском переулке составляет святыню, где и все там похороненное и то, что поныне осталось, одинаково согревает сердце и возвышает душу. Задушевный привет хозяев, их горячее участие ко всему, что касается их друзей, свидетельствуют, что там горит еще сердечный огонь, около которого и старику становится тепло и отрадно. Туда всегда тянет меня внутреннее влечение; там я нахожу удовлетворение и умственным своим потребностям. Станкевич один из немногих ос-

тавшихся в живых людей старого поколения, с которым можно говорить и о философских, и об общественных, и о литературных вопросах, встречая глубокое понимание и живое сочувствие. Это поколение почти все вымерло, и мы с ним остались одинокие, и часто, когда приходится свидеться, ведем грустную беседу о настоящем и прошлом. Одинаково мы смотрим на вещи, все еще негодуем на то, что совершается у нас перед глазами, и с тем большею любовью возвращаемся к светлым образам давно минувшего времени, к высокой личности Грановского, который обоим нам близок и дорог, вспоминаем огненную и благородную натуру Герцена, всю блестящую плеяду славянофилов и западников. Станкевич многих из них ближе меня видел и знал, живя с ранней молодости в кружке своего брата. Мы вспоминаем горячие, неумолкающие споры, живую журнальную полемику, затем пробудившиеся с новым царствованием надежды, великие преобразования, которых мы были свидетелями, и последовавшее затем умственное и нравственное отупение общества. Состарившись, мы о многом горюем; но связывающая нас дружба остается нам великим утешением в конце предназначенного нам земного пути. Я благодарю провидение за то, что оно даровало мне такое сокровище. На склоне лет, еще более нежели в молодости, я глубоко чувствую, каким существенным и высоким элементом является дружба. Она составляет необходимое дополнение, а для иных и замену семьи. Счастлив тот, кто на своем веку обрел искренних, верных, горячих друзей.

Но не одни воспоминания прошлого и остатки дорогих старых связей наполняли мои последние годы. Я и в старости продолжал заниматься наукою, которая всегда была моим главным призванием в жизни. Правда, от многолетней своей деятельности я не видал осязательных плодов. Писать ученые сочинения составляет в России самое неблагодарное ремесло, особенно когда не отдаешься современному течению, а стараешься сохранить требуемое наукою беспристрастие. Книга выходила за книгою, не встречая ни отзыва, ни признательности. Я не замечал, чтобы высказанные мною, частью совершенно новые мысли были кем-нибудь усвоены или развиты. Я говорил себе, что если так мало действия, несмотря на многолетний, добросовестный труд, значит талант не велик, а потому нечего обольщать себя надеждой на будущие плоды. Тем не менее я продолжал работать усердно. Меня лично сильно занимали умственные, в особенности философские вопросы, и я старался их себе выяснить. Были целые области знания, мне почти неизвестные. Из естественных наук, которые в современном мире имеют преобладающее значение, я изучал отчасти зоологию, и тут я пришел к некоторым общим выводам. Но физика, химия, высшая математика оставались для меня закрытою книгой. Теперь я за них принялся.

Поводом послужила небольшая книжка Вюрца об атомистическом учении, которое занимало меня с философской точки зрения. Из нее я узнал теорию Менделеева о химических периодах и рядах. Размышляя об этом предмете и сопоставляя числовые отношения, я пришел к убеждению, что тут должен быть общий математический закон, который только нужно раскрыть и формулировать. Видя, что в каждом ряде объем каждой единицы материи, входящей в состав атома, уменьшается по мере увеличения массы, я спросил себя: не будет ли это уменьшение пропорционально количеству соединяющихся атомов? Преследуя эту мысль в приложении к первому ряду, заключающему в себе щелочные металлы, я действительно нашел искомую пропорциональность. Это открытие чрезвычайно меня обрадовало. Оно послужило исходною точкой для дальнейших изысканий. Более года я все занимался разными математическими выкладками, с помощью которых у меня выработалась цельная, последовательная система химических отношений. Однако, я видел, что этого далеко не достаточно. Я стал в тупик перед уравнением третьей степени, которое элементарною алгеброй не решается. Я решился изучить высшую математику. Один, без руководителя, живя в деревне или в Ялте, где не у кого было даже спросить объяснения встречающихся трудностей, я сперва возобновил в своей памяти тригонометрию, которую порядочно знал при вступлении в университет, затем прошел аналитическую геометрию, дифференциальное и интегральное исчисления, высшую алгебру, наконец механику и физику. Для разработки системы химических элементов пришлось, разумеется, подробнее познакомиться с химией.

Усвоить себе целую обширную область новых наук, приближаясь к седьмому десятку, дело нелегкое. Но для меня оно было в высшей степени увлекательно. Передо мной открывался целый новый мир; каждый шаг был приобретением нового знания. Математика в особенности приводила меня в восторг. Для ума, стремящегося к точной истине, иметь опору в науке, в которой все совершенно рационально и безусловно достоверно, было необыкновенно важно. Перед этим все колебания, все недомыслие, все неверные выводы, все фантастические построения, которыми изобилуют другие отрасли знания, казались мне жалкими и ничтожными. Это изучение утвердило, вместе с тем, непоколебимую мою веру в силу человеческого разума, ибо не может быть, чтобы в одной только области ему доступна вполне достоверная истина, а в остальных она для него покрыта непроницаемою тайной.

Результатом моей пятилетней работы была выработанная мною система химических элементов, которую я изложил письменно. Но так как это было дело для меня совершенно новое, то я предварительно хотел иметь совет человека, сведущего в математических

науках. С этою целью, будучи в Москве, я обратился к профессору Слудскому, с которым давно был в хороших отношениях. Он познакомился с первыми главами моего сочинения, оценил мой труд, сделал некоторые замечания, но, не будучи химиком, советовал обратиться к Менделееву. С последним я был слегка знаком еще с Гейдельберга, а затем опять встретился в Москве на Техническом съезде, когда я был головою. Я послал ему первую главу моего исследования, с письмом, в котором говорил, что он вероятно очень удивится, увидев, что юрист берется за химические исследования, но что на старости лет, имея досуг, я занялся этими вопросами и пришел к некоторым выводам, которые и подвергаю его суду. Несколько дней спустя, я пошел к обедне в домовую церковь дома князя Голицына, где мы квартировали. При выходе смотрю: стоит Менделеев. «Я к вам приехал прямо с железной дороги, – сказал он. – Я получил ваше письмо перед самым отъездом из Петербурга на юг и в тот же вечер сделал о нем сообщение в заседании Русского физико-химического общества. Все этим заинтересовались, и теперь ваше открытие занесено в протокол. Но я успел пробежать только первые страницы, и вот я приехал к вам, даже не переодевшись, чтобы просить у вас дальнейших разъяснений. Возьмите карандаш и покажите мне все, что вы вывели». Я объяснил ему весь ход своей мысли. Он слушал с величайшим интересом, расспрашивал толково и подробно обо всем и настаивал на том, чтобы я непременно напечатал свою статью в журнале Русского физико-химического общества. Сам он тут же написал редактору записку, в которой вместе с тем предлагал меня в члены общества. Позавтракав у нас, он отправился к Столетову, которому с восторгом говорил о моем исследовании.

Это был один из хороших дней моей жизни. Результат нескольких лет усидчивой работы был оценен одним из самых видных деятелей современной науки. Я думал, что попал наконец в такую область, где можно работать не в полном одиночестве, как я делал доселе, а находя поддержку, критику и оценку. Но эта была только мимолетная мечта. Менделеев вскоре после нашего свидания упомянул о моей работе на происходившем в Англии юбилейном празднестве в память Фарадея; при этом он заявил, что надобно дождаться окончания исследования, прежде нежели произнести о нем настоящее суждение. Но окончания не вышло, а он молчал. Я писал ему, прося дать какой-нибудь отзыв, говоря, что я, человек новый в этой области, зажег свой собственный светильник и иду во тьме кромешной по никем еще не пробитому пути, а потому нуждаюсь в освещении со стороны; он ответил, что теперь занят другим, что прежде всего надобно есть, но что, когда ему будет досуг, он непременно займется этим делом и выскажет свое мнение. Впоследствии он при свидании подтвердил, что я стою на совершенно научном пути; но

критики я все-таки не дождался. Несчастное увлечение промышленными вопросами и в особенности тарифной системой отвлекло его от научных занятий.

Другие дали и того менее. В Москве меня просили изложить свою теорию в Обществе любителей естествознания, которого я, даже без моего ведома, был выбран действительным членом. Я прочел лекцию в течение двух часов, но не услышал в ответ ни одного дельного замечания. Химики говорили, что судить об этом должны математики, а математики говорили, что судить об этом должны химики. Основательно познакомиться с вопросом никто не взял на себя труда. Немного об этом потолковали, и дело кануло в воду. Так я до сих пор и не знаю, сделал ли я важное открытие, бросающее новый свет на науку, или это только остроумная фантазия, которая, блеснув мгновенно, предается забвению. А между тем, нельзя не сказать, что затронутые мною вопросы составляют предмет величайшего интереса для всякого научного деятеля. Если только отворена дверь в область, куда еще никто не заглядывал, если указана возможность подступить к вопросам, доселе покрытым непроницаемой тайной, то и эго уже немаловажная заслуга в науке.

Таково безотрадное положение русских ученых, в особенности тех, которые не пишут в иностранных журналах и не проповедывают модных идей. Они принуждены работать в полном одиночестве, не встречая ни сочувствия, ни оценки и не видя плодов от своего многолетнего труда. Хорошо еще, если их не забросают грязью за то, что они осмеливаются восстать против господствующего течения. У нас это дело самое обычное. Серьезная критика исчезла; уважение к мысли и труду утратилось совершенно; но хватить человека, который не носит на себе модного ярлычка, на это способен всякий нахал и невежественная публика рукоплещет этой журнальной расправе.

По своим прежним работам мне приходилось испытать это не раз; но я мог убедиться, что и в области естествоведения дело обстоит не лучше. Изучив на своем веку разнообразные отрасли человеческого знания: правоведение, историю, философию, политику, наконец, математику и естественные науки, я хотел в конце жизни свести к общему итогу результаты своих исследований и размышлений. Поводом послужила премия на заданную Дмитрием Аркадьевичем Столыпиным тему о вытекающем из положительной философии единстве науки. Столыпина я давно знал. Он был человек очень недалекий, но ревностный последователь Огюста Конта, с поклонением которому у него странным образом сочетался другой конек, именно, пропаганда хуторного хозяйства. Он думал содействовать разработке мыслей, высказанных Контом; мне же, напротив, хотелось воспользоваться этим случаем, чтобы при обзоре результатов

современной науки показать всю несостоятельность господствующей ныне положительной философии и необходимость метафизических начал для утверждения истинного знания. Мое сочинение было представлено на конкурс в Психологическое общество, которому поручено было присуждение премии. На беду, в комиссии, выбранной для рассмотрения представленных рукописей, оказался ярый дарвинист, зоолог Иванцов, который возмутился моими нападками на современного кумира. Мне впоследствии сообщили его отзыв; он был писан тоном газетного фельетона и совершенно бессмыслен по содержанию. Попытка установить в зоологии рациональную классификацию была учтена за ученое преступление, как будто научная классификация составляет неоспоримую истину, которой касаться непозволительно. Покойный профессор Усов, которому я давно уже в рукописи сообщал свой опыт, отнесся к нему с большим сочувствием, что и побудило меня изложить в сочинении главные его основания. Несмотря, однако, на совершенное скудоумие означенного возражения, на неспециалистов оно произвело впечатление. Я получил половинную премию. По этому поводу я вспомнил, что в начале своего ученого поприща я точно также получил половинную Уваровскую премию за диссертацию об Областных учреждениях России в XVII веке, на основании отзыва Калачова, который, поддаваясь возгласам славянофилов, усмотрел в ней отрицательное направление. Еще до этого Соловьеву было совершенно отказано в премии за диссертацию о родовых отношениях великих и удельных князей, которая составила эпоху в русской историографии. Такова у нас строгость суждений при всей скудости нашей ученой литературы.

Сочинение о единстве науки* обсуждало самые крупные вопросы современного значения. Но русская журналистика не проронила о нем ни слова. Только в одном из иностранных философских журналов меня разругал позитивист де-Роберти, который представлял сочинение на конкурс вместе с моим, но которому вовсе было отказано в премии.

Я утешал себя отзывами немногих существующих у нас компетентных людей. Станкевич писал мне, что он не знает книги, которая бы более отвечала потребностям его ума и его души. Я говорил ему, что в сочинении есть один существенный пробел: нет ни логики, ни метафизики, которых я не коснулся, потому что их нет и у разбира-

* Сочинение Б. Н. Чичерина «Положительная философия и единство науки» печаталось в «Вопросах философии и психологии» (кн. IX – XIII), после чего вышло в 1892 г. отдельной книгой, с приложением «Опыта классификации животных». Статьи по химии печатались в «Журнале физико-химического общества» в 1887 – 1892 гг. и вышли книгой уже по смерти Б. Н. Чичерина в 1911 г. под заглавием «I. Система химических элементов. II. Законы химических элементов».

емого мною автора. «Если бы я был моложе, – прибавлял я, – я принялся бы за пополнение этого недостатка. Пока нет выработанной метафизики, нет и философии. Но в мои лета взять на себя такую работу слишком тяжело». Однако, поразмыслив хорошенько, я увидел, что в сущности на это много работы не потребуется, так как главное было уже в моей голове. Я принялся за дело, и в шесть месяцев были готовы «Основания логики и метафизики», которые я затем и издал*.

Личное мое влечение побуждало меня идти еще далее в изучении естественных наук. Мне хотелось основательно познакомиться с сочинением Максвелла об электричестве и магнетизме, хотелось также выяснить себе основания механики, доселе еще не разработанные и в новейшее время подвергающиеся странным извращениям. В особенности я задавался мыслью свести к единству различные потенциалы, которых ныне расплодилось великое множество. Через это я думал дать высшее логическое и математическое основание самой выработанной мною системе химических элементов. Но все это требовало такой работы, которая 65-летнему старику уже не по силам. А между тем, у меня в портфеле лежал написанный, но не изданный курс государственного права, который я некогда читал в университете. Он нуждался в некоторых исправлениях, сообразно с новыми данными современной истории; а после меня никто уже не мог бы их сделать. Мне казалось, что лучше всего завершить свое ученое поприще изданием лекций**, читанных в самую зрелую пору жизни. На этом я и остановился.

Принесут ли мои труды какую-нибудь пользу? Что нужды? Человеческая мысль никогда не пропадает даром. Я верю, что добросовестно взрощенное семя когда-нибудь попадет на благоприятную почву и принесет плоды, может быть, невидимые для сеятеля, но полезные для отечества. Каждый труд, по выражению поэта, составляет едва заметную песчинку в многовековом здании человечества. Эта мысль утешает русского ученого, работающего в пустыне.

Лично мне занятия наукою не только помогали затыкать на старости лег тяжкие пробелы времени, но они возводили меня в такую область, из которой человек может спокойным в беспристрастным взором оглядывать окружающие его житейские смуты, оценивая настоящее и, насколько возможно, предвидя будущее. Наука дала мне непоколебимое убеждение в развитии человечества, в силу мысли, в существовании высших начал, которые невидимо для современников ведут человеческий род к конечной цели его существования.

---

* «Основания логики и метафизики», М. 1894.

** «Курс государственной науки» (в 3-х томах) был напечатан Б. Н. Чичериным в 1894, 1896 и 1898 гг.

Историею руководит дух, ей присущий, изнутри действующий, устанавливающий согласие там, где для поверхностного взгляда есть только беспорядок, и окончательно все направляющий к высшему совершенству. В этом преемственном пути поколений человечество, как я выразился в другом месте, идет через долы и горы. Есть эпохи, когда оно нисходит в низменности, надеясь найти обильные сокровища в непочатых еще недрах земли. И точно, оно упорным трудом добывает в них богатый умственный материал. Но в этой работе человеческий ум суживается и затемняется: перед ним исчезают далекие горизонты, а с тем вместе глохнут высшие силы души. Таково наше положение в настоящее время; отсюда то неустройство, тот умственный и нравственный хаос, который царствует всюду. Тяжело жить в такую пору людям, носящим в себе высшие потребности; но сомневаться в исходе нет основания. Настанет время, когда, окрыленное мыслью, новое поколение опять взойдет на горную высоту и озаренное высшим светом увидит простирающиеся перед ним бесконечные горизонты, когда буйная борьба сил сменится свободным согласием и для человеческих обществ снова наступят светлые дни. Это время, конечно, не для нас. Еще солнце не озарило горных вершин; еще не видать луча света, который рассекал бы окружающий нас мрак. Нам, состарившимся среди волнений и смут, остается только с верою в лучшее будущее терпеливо ожидать той вожделенной минуты, когда, передавая творцу усталую душу, человек может от полноты сердца сказать: «Ныне отпущаеши раба твоего».

22 октября 1894 г.
Село Караул.

Алфавитный указатель имен и примечания

Александр I Павлович (1777 – 1825), император (с 1801 г.) 70, 99, 102, 104, 380, 403

Александр II Николаевич (1818 – 1881), император (с 1855 г.) 102, 103, 104, 218, 221, 267, 290, 291, 305, 403

Александр III Александрович, вел. князь (1845 – 1894), наследник престола после смерти старшего брата Николая Александровича в 1865 г.; с 1881 г. – император Александр III 259, 287, 342, 349, 354, 366

Александр Баттенбергский (1857 – 1893), сын принца Александра Дармштадтского, шурина Александра II; участвовал в Турецкой войне 1877 – 1878 гг., по окончании которой под давлением России был избран князем Болгарским, причем присягнул соблюдать конституцию; после смерти покровительствовавшего ему Александра II совершил при участии прикомандированных к нему русским правительством генералов государственный переворот, но своей реакционной политикой вызвал против себя движение в Болгарии, а попыткой избавиться от русского влияния раздражил Александра III; в 1886 г. был вынужден отречься от престола и уехать в Дармштадт 411

Александра Федоровна (Луиза-Шарлотта-Вильгельмина, 1798 – 1860), императрица, жена Николая I 62

Александр Ярославич (1220 – 1263), вел. князь владимирский; прозван Невским за победу над шведами в устье Невы в 1240 г. 122

Алексеев Николай Александрович (1852 – 1893), известный московский городской голова с 10 декабря 1885 по 1893 г., пользовавшийся большой популярностью среди московской буржуазии; при нем получили разрешение затянувшийся вопрос о новом водопроводе и ряд других важных мероприятий по городскому хозяйству; убит в 1893 г: в здании городской думы В. С. Андриановым, признанным впоследствии Судебного палатою сумасшедшим 356, 357, 367, 441

Алексеева Елизавета Михайловна (рожд. Бостанджогло, 1821 – 1882), жена Александра Александровича Алексеева, мать Московского городского головы Н. А. Алексеева 356

Алмазов Борис Николаевич (1827 – 1876), поэт; пользовались успехом его юмористические стихотворения и пародии 14

Алтухов Михаил Иванович (1851 – ?), инженер, главный техник О-ва петербургских водопроводов (1889); печатал статьи по водопроводному делу 373

Альберт-Эдуард, принц Уэльский, см. Эдуард VII.

Альфонский Аркадий Алексеевич (1796 – 1869), хирург, профессор Московского ун-та; ректор в 1842–1848 и в 1850 –1863 гг. 56, 72, 81, 84

Амвросий (Алексей Иосифович Ключарев, 1821 – 1901), епископ дмитровский и викарий московского митрополита с 1878 г.; в 1882 г. переведен на Харьковскую кафедру; пользовался славою красноречивого проповедника; известен как активный реакционер, боровшийся против просвещения масс 365

Анджелико, точнее Джиованни ди-Фиезоле (1387 – 1455), знаменитый итальянский художник; автор фресок во Флоренции в монастыре св. Марка, в церкви Благовещения; в папской капелле св. Петра и т. д. 117

Андреевский Иван Ефимович (1831 – 1891), профессор русского права и энциклопедии Училища Правоведения (с 1855); профессор полицейского, права Петербургского ун-та в 1857 – 1867 гг.; в 1861 – 1863 гг. читал наследнику Николаю Александровичу энциклопедию законоведения и полицейского права, затем в 1864 – 1866 гг. – курс энциклопедии и государственного права наследнику Александру Александровичу. Важнейшие его труды: «О правах иностранцев в

«Дело», «Слово», «Знание», «Русск. Мысль», «Русск. Богатство», «Наблюдатель» и др.30

Берг Федор Федорович (1793 – 1874), граф, генерал-фельдмаршал (с 1865 г.); в 1863 г. был назначен наместником Царства Польского; член Госуд. совета 77, 82, 85, 88

Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792 – 1870), в 1837 – 1892 гг. – губернатор Ю.-Зап. края, ввел систему «инвентарей», подготовившую освобождение крестьян; в 1852 г. – м-р внутр. дел; уволен от этой должности в 1855 г. 150

Бирилев Николай Алексеевич (1829 – 1832), вице-адмирал 121

Бисмарк фон Шенгаузен Оттон-Эдуард-Леопольд (1815 – 1898), князь, государственный канцлер Германии с 1871 по 1890 гг. 465, 468

Бланк Григорий Борисович (1811 – 1889), помещик Усманского и Липецкого уездов Тамбовской губ.; почетный мировой судья Усманского округа; публицист, в 60-х годах сотрудник «Вести», в 70-х годах – «Русского мира»; 205, 209

Бланк Петр Борисович, брат предыдущего, председатель Тамбовской губернской земской управы; автор нескольких работ по земскому вопросу; в 60-х годах сотрудничал в «Вестях»; ему принадлежит также исследование об Екатерининской комиссии 1767 – 69 гг. (Рус. Вестник, 1876) 210, 239

Блудов Дмитрий Николаевич (1785 – 1864), граф, известный государственный деятель; в 1830 г. управлял м-вом внутр. дел; в 1837 – 1859 гг. – м-вом юстиции, в конце 1839 г. назначен главноуправляющим II отд. «собствен, е. и. в. канцелярии», членом Госуд. совета и председателем департамента законов; с 1840 г. присутствовал в департаменте дел Царства Польского; в 1842 г. возведен в графское достоинство; в 1855 г. назначен президентом Академии Наук и в 1862 г. – председателем Госуд. совета 39

Бобринский Алексей Васильевич (1831 – 1888), граф, егермейстер двора е. и. в., член Госуд. совета с 1863 г.; московский губернский предводитель дворянства с 1875 г. 399

Богаевский, украинский помещик 237

Богданович Евгений Васильевич (род. 1832), генерал-лейтенант, член Совета министра внутренних дел; староста Исакиевского собора, составитель и распространитель всевозможных «патриотических» изданий 407, 408

Боголюбов Алексей Петрович (1824 – 1896), художник-маринист 65

Богословский Михаил Измаилович (1807 – 1884), доктор богословия, протопресвитер Московского Успенского собора, член московской Синодальной к-ры, почетный член Петербургской и Московской духовных академий и О-ва любителей духовного просвещения; участвовал в многих комиссиях по вопросам религиозного образования и церковной администрации, преподавал закон божий детям вел. кн. Константина Николаевича 150

Бодянский Осип Максимович (1808 – 1877), известный профессор истории и литературы славянских наречий в Московском ун-те (с 1842 г.); секретарь О-ва истории и древностей российских (1845 г.); ему принадлежат исследования «О времени происхождения славянских племен» 28, 29, 57, 59, 129, 131, 133, 136

Бологовская Наталья Александровна (ум. 1907), замужем за Г. В. Кондоиди 201

Бологовский Николай Александрович, сын Александра Дмитриевича Бологовского и Софии Борисовны Хвощинской, сестры матери Б. Н. Чичерина; помещик Кирсановского уезда 224, 226

Боль Фердинанд (1617-1680), живописец Нидерландской школы 251

Плевако Федор Никифорович (1843 – 1908), присяжный поверенный, знаменитый судебный оратор 341, 354

Победоносцев Константин Петрович (1827 – 1907), известный государственный деятель; с 1868 г. – сенатор; с 1872 г. – член Государствен. совета; в 1880 – 1905 гг. прокурор Синода; после смерти Александра II негласно руководил первыми шагами молодого императора Алекесандра III и способствовал повороту политики в сторону реакции; инициатор церковно-приходских школ; автор ряда трудов по истории права 64, 123, 168, 171, 246, 259, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 287, 288, 295, 304, 305, 308, 311, 312, 313, 315, 319, 342, 349, 354, 365, 366, 389, 392, 393, 394, 399, 435, 440, 443, 461

Победоносцева Екатерина Александровна, рожд. Энгельгардт, жена предыдущего 277

Погодин Михаил Петрович (1800 – 1875), профессор русской истории Московского ун-та (1826 – 1344), член Академии Наук (с 1841 г.), секретарь О-ва Истории и древн. российских; наряду с научной деятельностью выступал в качестве журналиста; им издавались журналы «Московский Вестник» (1827 – 1830) и «Москвитянин» (1841 – 1856) 169, 190

Покровский, студент медицинск. факультета Московского ун-та 29

Половцев Александр Александрович (1832 – 1910), сенатор с 1872 г., в 1883 г. назначен статс-секретарем; с 1892 г. член Госуд. совета 403

Полуботок Павел Леонтьевич (? – 1724), полковник и наказной гетман украинский; проводил политику уничтожения украинской автономии, чем навлек гнев Петра I; умер в Петропавлоской крепости 220

Полунин Алексей Иванович (1820 – ?), профессор патологической анатомии и физиологии Московского ун-та (с 1849 г.) 79

Поляков Лазарь Соломонович, коммерции советник, банкир 459

Поляков Самуил Соломонович (1837 – 1888), известный железнодорожный деятель, строитель ряда железных дорог (Курско-Харьковской, Харьково-Азовской, Козлово-Воронежско-Ростовской, Орлово-Грязской, Фаустовской и Бендеро-Галацкой 382

Полянский Павел Моисеевич, председатель правления Московского учетно-коммерческого банка; в 1876 г., после краха банка привлечен к судебной ответственности и приговорен к ссылке в Сибирь 352

Понятовский, студент медицинского факультета Московского ун-та 29

Попов Александр Иванович, инженер, член Московской городской управы, ведал II отделением (городское благоустройство) и городским присутствием по воинским делам 382

Попов Константин Семенович, московский чаеторговец 382

Попов Нил Александрович (1833 – 1891), профессор русской истории Московского ун-та (с 1860 г.); известен как публицист; по взглядам был близок к славянофилам 179, 181

Попов Федор Павлович, инженер-технолог, помощник Московского механика, гласный Московской городской думы, составитель записки о водопроводе, поданной в 1877 г. 358, 361

Пороховщиков Александр Александрович (ок. 1810 – 1894), штабс-капитан, врем. московский I гильдии купец, пытавшийся играть роль в Московском городском управлении, издавал в 90-х годах газету «Русская Жизнь» 342, 426

Постников Андрей Михайлович, фабрикант серебряных и бронзовых изделий, преимущественно церковных 382

Содержание

Борис Николаевич Чичерин

ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор Л. Заковоротная

Компьютерная верстка Н.А. Кильдишева

Подписано в печать 30.10.10
Формат 60x90 $^{1}/_{16}$
Тираж 3000 экз.
Заказ № 1741

Издательство им. Сабашниковых
119270, Москва, Фрунзенская набережная, 38/1
тел.: (499) 242-59-63
e-mail: sabashnikov@sabashnikov.ru

Отпечатано в ППП Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6